Евгений Шварц

...Я буду писателем





Евгений Шварц

...я буду писателем. Дневники. Письма.



Евгений Шварц. 1917 г.

Евгений Шварц

... я буду писателем.

Дневники и письма

Корона-принт. Москва. 1999.

Составители: М. О. Крыжановская,
И. Л. Шершнева.
Примечания:
к “Дневникам”: К.М. Кириленко, И. Л. Шершневой,
к “Письмам”: Е. М. Биневич.
Художник: Е. В. Войцеховская.

МОСКВА 1999

От составителей.

Воспоминания, дневники, мемуары едва ли не самая интересная область литературы — как для читателя, так и для писателя. Читатель, понятно, ищет занимательности и созвучности своим мыслям. Писатель, лицедей по природе, имеющий столько лиц, сколько у него персонажей, только в дневниках и может быть самим собой. "Я пишу не для печати, не для близких, не для потомства — и все же рассказываю кому-то и стараюсь, чтобы меня поняли эти неведомые читатели" (Е.Шварц. Дневники. 22 февраля 1951). Пьесы и сказки Е.Шварца — мудрые, веселые и поучительные — понимают читатели и зрители любого возраста.

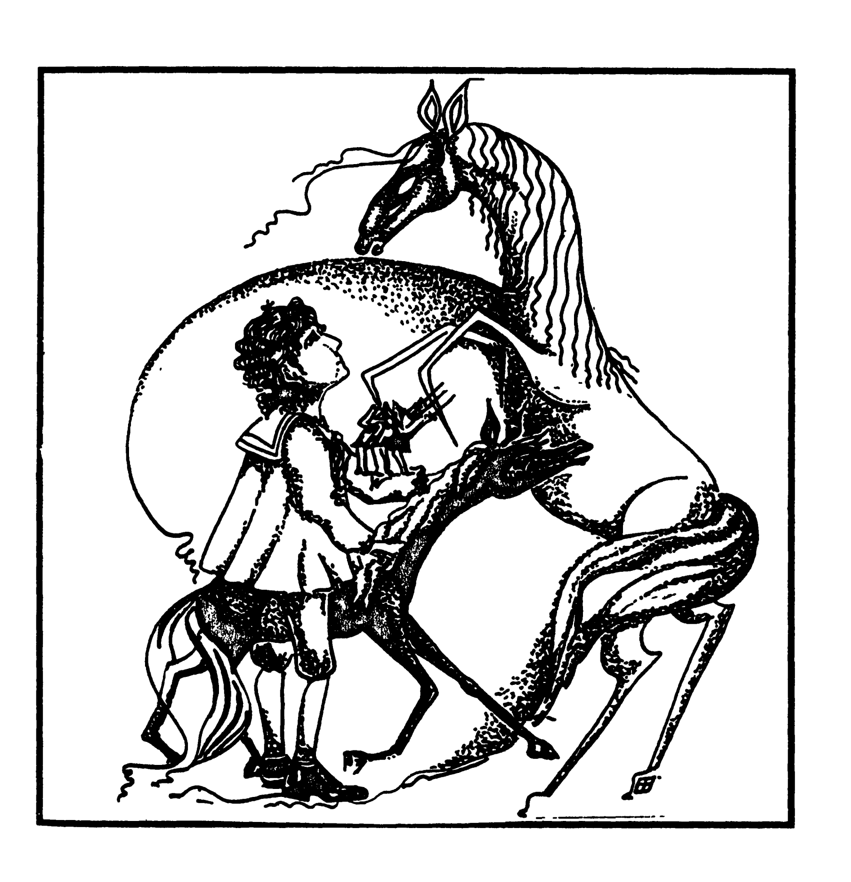
Откуда же пришли к автору его герои и сюжеты? Где начало "Обыкновенного чуда" или "Тени", "Сказки о потерянном времени" и "Клада"? Как Шварц стал писателем? Ответы на многие вопросы мы найдем в дневниках писателя. Как заметил Шварц в одном из своих первых дневников (1928), "...концы и начала замечательных вещей прячутся в серединах и продолжениях других замечательных вещей". Книга, которую вы держите в руках, — тайный плод многолетних ежедневных трудов писателя. Она составлена из дневниковых записей 1950 — 1952 годов и представляет собой первое полное издание воспоминаний Евгения Львовича Шварца (1896 — 1958) о его детстве и юности. Феноменальная память писателя сохранила, а его перо донесло до нас замечательно своеобразные картинки быта южной провинции дореволюционной России, материальный мир его детства, когда телефонный аппарат еще был экзотикой, а по улицам ходили мороженщики с синими ящиками, наполненными колотым льдом. Однако детали быта и описание глазами очевидца событий, для нас уже давно ставших параграфами в учебниках истории (такими, как революция 1905—1907 годов), не заслоняют главную задачу автора — рассказать о духовном развитии мальчика, затем подростка и, наконец, юноши, описать свои детские ощущения и мысли, боль и обиды, утешения, разочарования, любовь и фантазии. Трудно,

"словно ... взялся поднимать и ворочать тяжести", давались Евгению Львовичу многие, многие страницы воспоминаний: "Я писал сказки, стихи, пьесы. А как люди растут — этого я описать не умею" (Е.Шварц. Дневники. 30 июня 1951). Евгений Шварц был веселым и легким человеком, и мало кто, даже из близких ему людей, знал о том, что мучило его всю жизнь, что, возможно, и заставляло его снова и снова приниматься за воспоминания как за исповедь. Откровенные и честные дневниковые записи позволяют нам в полной мере оценить мужество и мудрость их автора, сумевшего без ханжества, но сдержанно, со свойственной ему от природы чистотой, передать драму взросления ребенка. Непростые отношения в семье, мучительная первая любовь, словно из "Очерков бурсы" взятые картинки школьной жизни, высвечивают два главных непреходящих ощущения Шварца-ребенка: "предчувствие счастья" и "я буду писателем". Предчувствие не обмануло: прожив всю сознательную жизнь в сталинскую эпоху, Е.Шварц на личном примере подтвердил известную сказочную истину — Дракон не может победить Волшебника.

Семилетний Женя Шварц объявил, что он будет "романистом", — он ошибся только в жанре.В этой книге воспоминаний просматривается лишь начало пути от неуклюжих юношеских стихов к созданию собственного жанра "сказки для взрослых". Что требовалось, чтобы этот путь пройти? И на этот вопрос можно найти ответ в дневнике: "...кроме знаний, которые имеют названия, есть душевный опыт — драгоценный, но безымянный" (Е. Шварц. Дневники. 13 ноября 1952 г.).

Составителя выражают искреннюю благодарность за помощь в подготовке этого издания и предоставленные материалы К. Н. Кириленко, Е. М. Биневичу, а также К. М. Успенской.

Дневники



БЕЗ ДАТЫ

Флюгер, а на флюгере петух.

Полукруглые ступеньки. Это вход в клинику.

Длинная, деревянная, во весь вагон ступенька. Конка.

Высокая палуба парохода. Я сижу у мамы на коленях.

В предыдущих воспоминаниях мама тоже присутствует. Мы смотрим в окно и говорим о флюгере. Мы с мамой идем в клинику, о которой я слышу часто. Мы с мамой садимся на конку. А теперь едем на пароходе по Волге. У берега напротив бежит маленький буксирный пароход, который вызывает у меня братские чувства, мне кажется, что он тоже мальчик, и мы с мамой смеемся ласково.

Я всегда знаю, когда я в Казани, когда в Екатеринодаре, когда в Рязани.

Я в Екатеринодаре. Стою у кирпичной стены. Светит солнце. Возле меня не мама, а нянька Христина. “Сколько тебе лет?” — спрашивают меня. И я отвечаю: “Два года”.

Мы много переезжали, вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.

1950

1 июля 1950 г.

Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником. Мне и теперь непонятно, когда меня спрашивают, не мешают ли мне поезда, которые проходят довольно близко от нашей дачи. Не мешают, а радуют, особенно когда слышу их сквозь сон.

25 июля 1950 г.

Что еще я помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае, хозяйские девочки показывали мне “Ниву” в переплете, где сильное впечатление на меня произвела картинка “Голодающие индусы”.

Это были, как я понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама и сказала: “Не пугайся, мы поедем кататься”. Это, очевидно, 98-й или 99-й год, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним. Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. “Не шуми! — говорит мать. — Полицейский заберет”. — “А вон полицейский”, — говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя, по рассказам, знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: “Откройте рот!” Отец бросился на жандарма. И я все забыл.

26 июля 1950 г.

Помню имение, где отец после освобождения из тюрьмы служил врачом. Вероятно, хозяева были греки. Одного из них звали Папа Капитонович, что поразило меня. Я полагал, что папа один. Здесь мы собирались к обеду за большим столом на террасе. Помню, идет отец — высокий, чернобородый, в сапогах. В руках у него ружье — он вышел стрелять ястреба. Помню, здесь впервые меня пронзило чувство жалости: куда-то ехали кататься, и мама вдруг отказалась. И кто-то маленький, черненький, вероятно, один из братьев, владельцев имения, сказал печально: “Вот тебе и раз...” Отсюда мы уехали тоже неожиданно, как из Дмитрова. На этот раз отец поссорился с кем-то из владельцев. Почему — так и не сказал мне, хотя я спрашивал его об этом уже в тридцатых годах. Из имения мы поехали, очевидно, в ожидании нового места, в Екатеринодар, в одну из тех квартир, которые мне смутно запомнились. У родителей отца мы в те времена не жили. Мама ссорилась с бабушкой. Смутно припоминаю и одну из таких ссор. Приключилась она, как видно, рано утром, потому что все были в ночном белье — и мама, и бабушка, и сестра отца, тетя Феня. Помню явление, имевшее свое точное название и в моем представлении столь же обыденное, как дождь или ветер: “У бабушки истерика”. Помню и самую истерику, которую видел однажды: бабушка, окруженная сыновьями, которые ее уговаривают и утешают, вертится на месте заткнув уши, ничего не желая слушать, повторя: “Ни, ни, ни, ни!” Я потом играл в бабушкину истерику. Деда того времени забыл. По воскресеньям отец водил меня обе-

дать к своим родителям. Помню, как однажды ни с того ни с сего я отказался идти обедать к старикам. Почему? Отец страшно вспылил, больно дернул меня за руку, но я не сдался. Впоследствии я придумал объяснение: не хочу идти к дедушке и бабушке потому, что там повязывают салфетку, которая меня душит. Но это была чистая ложь. Почти столь же отрывочно, как Екатеринодар, помню Рязань и дачу возле Рюминой рощи. Сюда я ездил с мамой на ее родину, к ее родителям.

27 июля 1950 г. Записывая все, что запомнил о раннем своем детстве, я заметил, что, не выдумывая и не прибавляя ничего, я тем не менее искажаю то, что было пережито. Прежде всего: запомнил я один миг, и только его, в сущности, могу рассказать. Но в душе моей этот миг неразрывно связан с целым долгим периодом, который окрашен ясно и существует рядом с тем, что пережито сегодня. А рассказать о нем не умею. Попробую опять вернуться к детству. Случай с маленьким человечком, сказавшим: "Вот тебе и раз" и пронзившим душу мою жалостью, — я запомнил. А историю с поросенком на пасхальном столе помню едва-едва, и то, вероятно, потому, что мать рассказывала мне ее неоднократно. Это был первый пасхальный стол, устраивавшийся у нас дома, — значит, отец уже служил твердо. В Ахтырях? Не спросил в свое время. Я утром, радостный, в новой рубахе и сапогах, вбежал в столовую. И вдруг родители услыхали отчаянный плач и крики: "Хвостик, хвостик". Мать поспешила ко мне и увидела, что я показываю на поросенка, лежащего на блюде, и все повторяю, обливаясь слезами: "Хвостик". Этим я пытался (как я смутно припоминаю) объяснить ужас поразившего меня явления. Поросенок совсем как живой, с хвостиком, лежит в страшной неподвижности, разрезанный на куски. Еще вот какую странную историю вспоминаю я. До сих пор не знаю, сон это или случилось наяву, и не знаю, к какому времени моей жизни относится это событие. Я стою с какой-то моей няней (я не запомнил ни одной из них, ввиду частых переездов они менялись), стою в церкви, как будто в алтаре, что невозможно было бы с няней. Впрочем, я ее не вижу, но сознаю, что она где-то близко. Несколько священников в светлых ризах служат, поют, взмахивая кадилами, а где-то между ними лежит на тарелке нечто, похожее на полукруг масла, в который воткнули прямые недлинные волоски. Эта странная служба, которую и сейчас отчетливо представляю себе, так

поразила меня, что я постоянно играл в нее, поворачивался величественно, как один из священников, взмахивал кадилом, пел. Примерно к этому же времени относится не то явь, не то сон о том, как я потерял на улице маму. Я спрашиваю у людей, сидящих возле магазина на скамеечках, где она, но люди только посмеиваются. А напротив, на другой стороне улицы, сидят гигантские дети с крылышками и пишут острыми палочками по кругу. Я впоследствии узнал этих детей на рекламе каких-то граммофонных пластинок. Так как дети в воспоминании моем находились на противоположной стороне улицы, на крыше, то возможно, что я видел укрепленную над магазином рекламу пластинок. Как бы то ни было, чувство ужаса, одиночества, заброшенности, которое я пережил, запомнилось на всю жизнь, во сне ли то приключилось или наяву. Отчетливо встает передо мною двор какой-то екатеринодарской квартиры, где мы сидим рядом с Тоней и с гордостью показываем друг другу шоколадки в цветной обложке. Однажды нас повели слушать фонограф, который демонстрировался где-то на Красной улице. Чтобы услышать чудесную машину, надо было вставить в уши длинные резиновые трубки с белыми костяными наконечниками. Я сделал это, услышал негромкий, странный голос и кинулся бежать, пораженный ужасом. Рязань и все отрывочные воспоминания о ней праздничнее екатеринодарских. Это, видимо, потому, что с матерью я был в те времена связан куда теснее, чем с отцом, и поэтому ее круг, ее семья казались мне ближе. Кроме того, в Рязань мы ездили летом, на дачу, что было празднично само по себе. Маму звали тут не Маня (как папа называл ее дома), а Маша. Дяди и тетки были ласковы и с ней, и со мной. Вспыльчивый, мало мне понятный отец, помнится, не приезжал сюда. Рязань я помню, вероятно, еще раньше, чем Екатеринодар. Во всяком случае, ясно представляется мне следующее происшествие: я лежу на садовом диване и решительно отказываюсь встать, несмотря на то что кто-то из моих дядей стоит надо мной и зовет куда-то. Я пригрелся. А если встану, мокрые штанишки дадут себя знать. Вероятно, мне еще нет и двух лет. Ясно помню фамилию — барон Дризен. Он устроил в Рязани любительский кружок, в котором (как я узнаю впоследствии) со славой играют почти все Шелковы. Особенно мама и дядя Федя. Позже фамилия барона Дризена начинает принимать переносный смысл. Я вижу, что тетя Саша прячет на шкаф от своих детей виноград. “Почему?” — спрашивает мама. “К Ване (мой двоюродный брат) пришел барон Дризен”,— отвечает

тетя Саша. Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пиявки (помню их на окне в цирюльне), дергал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я заходил в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфту с двумя ручками, и дед, и мастера весело приветствовали меня. Как я узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: "Иди встречай, сестрицы приехали". Благодаря сложности положения незаконнорожденного у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен носить русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался — Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование. А у него было много детей: Гавриил, Федор, Николай, Александра, Мария и Зинаида. Имя еще одной сестры забыл. Кажется, Вера или Катя. Она жила не в Рязани — с мужем, и я мало знал ее. Зина в те времена была гимназисткой и вечно дразнила меня. У Саши было двое детей: Ваня и Лида. Ваня мой сверстник, Лида моложе, но их я очень мало помню в те годы. Зато их отец — черный, сухой, суровый — Иван Иванович Проходцов стоит передо мною как живой на дорожке рязанского сада. Из дядей я больше всего любил дядю Колю — худого, длинного, длиннолицего, который все показывал мне разные чудеса: то бузинные шарики прыгали у него в коробочке со стеклянной крышкой, то он звал меня в коридор дачи, и там разыгрывалось целое представление: зима. Кто-то появлялся из-под лестницы, ведущей на второй этаж, съезжал на санях с горки, валил снег, все хлопали в ладоши, и я был счастлив. В один из приездов мы застали дядю Колю больным. Он лежал в кровати и был так страшен, что я не осмеливался подойти к нему, хотя он ласково улыбался и манил меня к себе. Возле Рюминой рощи стоял большой деревянный дом Рюминых, двухэтажный, огромный, как мне тогда казалось. Внизу в широких рамах либо не было стекла, либо открывалась форточка. И вот дядя Коля подсадил меня в эту форточку, и я попал в большой зал. Наверх вела лестница с белыми перилами, у стены стоял клавесин, как мне кажется теперь. Вероятно, это было первое

в моей жизни поэтическое впечатление. Кресла, столы, клавесин, лестница— и никого тут нет, ни одного человека. К ужасу дяди Коли, я побежал наверх по лестнице. Он звал меня, а я не шел к окну, все бегал да бегал... Я тогда говорил не теми же словами, что теперь. Передавая теперешним моим языком тогдашние богатейшие мои ощущения, я, конечно, вру, но поневоле. Привычные мои детские воспоминания как бы прикрыты отныне этими сегодняшними страницами. Но вместе с тем, оттого что сознательно я не лгу ни в одном слове, что-то встает передо мною живее, чем до сих пор. Немые дни как бы начинают говорить и дышать. Вот, например, я пишу: "Я не запомнил ни одну из нянек". Что-то смутно тревожит меня после этих слов. И вдруг выплывает имя Христина. Я вижу веселое лицо. Веснушки. Да это и есть моя екатеринодарская няня. Я слышу, как мама говорит о ней: "Вот это хорошая няня". Я вспоминаю, как мы с няней стояли в толпе, смотрели на чьи-то пышные похороны. Опершись о колено отца, я сообщаю ему, что видел, как хоронили царя. "Цавя", — весело передразнивает отец и объясняет, что умер не царь, а городской голова. Я после этого, к великому утешению мамы, рисую голову на ножках и спрашиваю, таким ли был голова при жизни. Все это не вспоминал я много-много лет, в особенности же няню Христину.

29 июля 1950 г.

Еще и еще выступают люди. Знакомая, каждый раз появляющаяся, когда мы живем в Екатеринодаре: светлые волосы, пенсне, зовут ее Клара Марковна. Квартира с большим садом у людей по фамилии Дуля. Хозяева — военные. Тут я обрезал палец левой руки, средний, и сохранил шрам на всю жизнь. И порезался-то не сильно — на неудачном месте — на сгибе. Здесь же я под столом разговариваю с кошкой, и вдруг она протянула лапу и оцарапала меня. Это меня оскорбило. Ни с того ни с сего, без всякого повода, вызова протянула спокойно лапу — вот что обидно — да и оцарапала. Будто дело сделала. И вскоре после этого — еще большая обида: теленок, который казался мне огромным, бычок с едва прорезавшимися тупыми, еле видными рожками погнался за мною по саду и догнал у самого перелаза во двор. И прижал своими тупыми рожками к плетню. Это само по себе было обидно, но еще обиднее показалось мне то, что, прогоняя теленка, мама смеялась! Но вернусь в Рязань. Мирные разговоры на балконе и удивительно спокойный и ласковый

дедушка, который, по маминым словам, ни разу в жизни не повысил голоса. Правда, он все грозил мне, что выпорет меня крапивой. И поэтому на карточке его, присланной нам после его смерти бабушкой, стоит надпись: "Милому внуку на память о дедушке крапивном". Но я отлично понимал, что угроза шуточная. Дедушка, видимо, был несколько расточителен, а при такой большой семье каждая копейка была на учете, и учетом этим ведала бабушка. Однажды мы с ним ехали на извозчике, и дедушка попросил меня не говорить об этом бабушке. Я и не сказал. Но яйца, которые мы везли на дачу, разбились, и извозчик, знакомый деду, шутил добродушно: "Яичницу привезете на дачу хозяйке". Вот это я и рассказал, когда все уселись пить чай. Помню, как захохотали дяди и тетки, а дед схватился за голову.

31 июля 1950 г.

Все не хочется отрываться от воспоминаний самых ранних лет. Отрывочные эти воспоминания радуют, а между тем самое раннее мое детство было полно физических мучений. То, что теперь называют диатезом, а тогда — экземой, мучило меня до двух лет. Боялись, что у меня не вырастут волосы. От диатеза, по тогдашним медицинским законам, закармливали меня яйцами всмятку, отпаивали коровьим молоком и мазали цинковой мазью. Любопытно, что яйца и молоко, как утверждают ныне, вызывают диатез, а не излечивают. Кроме того, меня постигло еще одно горе — гнойное воспаление лимфатической железы за ухом. Я кричал недели две-три, пока профессор-педиатр не поставил диагноз. Меня оперировали без наркоза. Но я не помню операции, болей, крика, которым не давал спать всему дому полмесяца. О диатезе же запомнил одно — нежные мамины пальцы накладывают прохладную цинковую мазь на голову и за уши. Мне кажется, что я был счастлив в те дни, о которых вспоминаю теперь. Во всяком случае, каждая минута, которая оживает ныне передо мной, окрашена так мощно, что я наслаждаюсь и ужасаюсь поначалу, что передать прелесть и очарование тогдашней краски — невозможно. Вот я стою в кондитерской, вечером, в тот отрезок жизни, когда мы жили в комнате, где я познакомился с голодающими индусами. Не знаю, что мне нравится в этом воспоминании. Но до сих пор, зайдя в кондитерскую вечером, я иногда вдруг погружаюсь на одно мгновение в то первобытное, первоначальное, радостное ощущение кондитерской, которое пережило по крайней мере пятьдесят лет — и каких еще лет.

2 августа 1950 г.

Из отрывочных воспоминаний — забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, "Гамлета". (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них — в короне. "О духи, духи!"— кричал один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошел к афише, имени которой не знал, и сказал: "Прощай, писаная". Все засмеялись, что очень мне понравилось. Помню репетицию любительского спектакля (это уже в Рязани). Маленькая сцена, на ней много народа. Все больше женщины, я теряюсь среди длинных юбок. Помню спектакль "Волшебная флейта". Мама села где-то позади, а меня усадили в первом ряду. Когда героя стали вязать, я заорал: "Мама!" и побежал по проходу, чтобы найти ее. Помню, как раздвинулся куст, впрочем, больше похожий на шкаф, и в нем обнаружилась флейта. Больше ничего не помню. На даче в Рязани я помню старую прислугу Марьюшку, у которой был сын Васька, мой ровесник. Все его бранили: непослушный, дерзкий, неумный. Однажды я забежал на кухню. Васька, только что вымытый, с чистыми волосами, сидел на подстилке где-то высоко. Почему-то мне кажется, что на столе. "Будешь кушать кашу, Васютка?"— спросила Марьюшка ласково. И Васька отвечал: "А как же!" Меня потрясло, как это Марьюшка разговаривает нежным голосом с общепризнанным преступником! Вечер. Мы пьем чай не на террасе, а в саду у кустов. И вдруг замечаем, Васька крадется по поляне, хочет без спроса уйти куда-то. Бабушка окликает непослушного, и он исчезает в ужасе.

3 августа 1950 г.

Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в губернских городах — и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99-900 годы. Мне четыре года. Вначале мы живем у священника. Имени его не помню, но помню твердо, что старшие относятся к нему хорошо. Для меня это непреложный закон. Если хорошо — то и для меня он хорош. Второй друг — приятель старших — учитель Гурий Федорович. Этого я просто обожаю и радуюсь, когда он приходит к нам. Затем бывает у нас ветеринар с двумя

дочками моих лет и с грудным ребенком. Он вспоминается мне в мундире— легенький, маленький, а жена крупная и полная. Затем есть тут Ромащук. Он, кажется, полицеймейстер. Его считают хорошим человеком, а в Майкопе, куда его переводят в 907 году, негодяем. Очевидно, в обществе все тихо, мирно, если у молодого врача встречаются в гостях священник, полицеймейстер, учитель. Кто еще бывает у нас? Человек очень хорошо одетый, с усами, плотный. Все зовут его Дрейфус, потому что он представитель экспортной компании "Дрейфус", вывозящей хлеб. Когда начинаются разговоры о деле Дрейфуса, то мне кажется, что речь идет о нашем знакомом. Я обожаю его пса, сеттера, который отлично выдрессирован: умеет снимать с хозяина шляпу, умирать, подавать калоши и нажимать кнопку звонка. Так пес и делает, когда самостоятельно, без хозяина, приходит ко мне в гости. Мы сразу узнаем, что пришла собака, по ее в высшей степени продолжительному звонку. Во дворе у священника живут ручные журавли. Один из них отличает своих от чужих. Помню, как погнался за нами этот журавль, когда мы с мамой шли через двор. Мы вбежали в коридор и долго смеялись. Вообще мама в это время нашей жизни весела. Она шутит, смеется и даже шалит не только со мной, но и с подругами. Я вижу, как она умеет их рассмешить, — я радуюсь.

4 августа 1950 г.

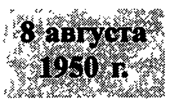
В этот период жизни мама была весела и ласкова. Когда я иной раз, чтобы утешиться, мечтаю о том свете, то представляю маму именно того времени — веселую, молодую, она встречает меня в раю, чуть наклонившись, глядя вниз, как глядела на меня маленького. Я считал маму красавицей и удивлялся, что она смеется, когда я говорю ей это. Мы были необыкновенно дружны в те дни. Иной раз она называла меня Женюрочкой, что я очень любил. Я считал, что на одной фотографии я изображен именно в качестве Женюрочки. К сожалению, эта фотография пропала, и мне трудно теперь понять, почему я так думал. Когда мама была недовольна мною, то заявляла, что ее сейчас унесет ангел — и исчезала. Я метался в страхе по комнатам — в каком страхе! Я до сих пор не люблю, когда кто-нибудь из близких, шутя, прячется от меня или теряется в магазине или в толпе. На мгновение меня ударяет тот, прежний, ужас, как будто маму опять уносит ангел. Обыкновенно мама обнаруживалась, когда я начинал громко плакать. Иной раз я сам находил ее в шкафу, или за две-

рью, и выяснялось, что ангел уронил ее именно сюда. Я часто болел — то ложным крупом, то ангиной, то бронхитом. Папа никогда не лечил своих. Ко мне приходил маленький, круглый и добрый доктор Шапиро. Он предписал обливать мне на ночь ноги холодной водой и ходить круглый год в носках. Помню, как мама обливает мне ноги водой из графина, и я хохочу и кричу— мне и холодно, и весело. У Шапиро тоже есть дети, но я с ними не знаком. Один раз мы встречаем его на улице с сыном — маленьким, черненьким мальчиком, у которого заплаканное лицо. Шапиро отвечает на вопрос мамы: "Никак не может успокоиться, видел, как курицу зарезали". Взрослые улыбаются грустно, а я смотрю на мальчика, сочувствуя. Я сам был потрясен недавно подобным зрелищем.

5 августа 1950 г.

Однажды я проснулся ночью и увидел, что мама молится, стоя на коленях и кланяясь в землю. У нас была единственная икона, которой благословляли маму перед свадьбой, — Богоматерь с младенцем, в серебряной ризе. Эта икона почему-то не висела в углу, а стояла в книжном шкафу, в том месте, где не хватало стекла. И вот перед этой иконой и молилась мама. Когда много лет спустя я вспоминал за столом вслух при отце раннее детство (я тогда был примерно в пятом классе реального училища) и рассказал, как молилась мама, она повернулась ко мне и показала украдкой язык, то есть назвала меня без слов болтуном. Отец спросил мать с удивлением: "Это действительно было?" И она ответила, не глядя на отца: "Да ерунда, путает он что-то". О чем она молилась? Судя по тому, что икона стояла в книжном шкафу, мы еще жили у священника, где было тесно и где мы, очевидно, остановились на время. Но вот мы переехали в большую квартиру, помнится, в полуторном этаже, с длинным застекленным коридором, с просторными комнатами, с квадратным двором со службами и с дворником у ворот. Икону повесили в столовой в углу. Когда маму уносил ангел, то разыскивать ее стало потрудней. Здесь я отчетливее помню отца, чем до сих пор. Вот он идет из больницы, размахивая палкой с круглым костяным набалдашником, высокий, чернобородый, в шляпе и пальто. Вот он лежит после обеда на кушетке, укрытый белым одеялом, и весело болтает с нами. Он натягивает одеяло, складывает руки на груди и говорит: "Вот так я буду лежать в гробу". Это приводит маму в ужас. Одна из нянек рассказывает сказку об Ивасеньке, которому мать поет: "Ивасень-

ка, сыночек мой, приплынь, приплынь до бережку". Слово "приплынь" глубоко трогает меня. Мне кажется, что мать так и должна звать сына.



Более пятидесяти лет назад в Ахтырях, в новой большой квартире вдруг заболел папа. Он стал носить руку на перевязи, не спал ночей — у него появился нарыв на указательном пальце правой руки. Пришлось ехать в Екатеринодар, где ему удалили фалангу пальца. Я боялся его руки, его пальца. Он привез мне заводного велосипедиста на трехколесном велосипеде. Я играл в столовой, а в кабинете папе делали перевязку. К моему ужасу, велосипедист так и норовил заехать в кабинет, а я уговаривал его не делать этого. А в кабинете старшие со смехом говорили о том, что я боюсь отцовской перевязанной белой руки. И потом, шутя за чаем, папа мне показывал перевязанную руку, а я в ужасе прятался. Я вообще боялся отца, не понимал его и, очевидно, поэтому слушался беспрекословно, хотя в этот период жизни не могу припомнить отчаянных вспышек его гнева, столь страшных для меня впоследствии. Не помню его игры на скрипке, хотя отлично помню черный деревянный футляр, который я открывал потихоньку в отсутствие отца, смычок на внутренней стороне крышки и самую скрипку, струны которой я трогал тихонько и с восторгом. Помню и запах канифоли, казавшийся мне приятным. Почему уехали мы из большой квартиры? Поссорились с хозяином. Однажды мы были в гостях у вышеупомянутого Ромащука. И вдруг с плачем прибежали туда две наших прислуги — няня и кухарка. В наше отсутствие они веселились: бегали по коридору, смеялись, пели, и вдруг в квартиру нашу ворвался домовладелец. Его разбудил шум, который подняли девушки (он спал после обеда). Старик не только накричал на несчастных, он их побил по губам, побил не шутя: помню распухшие губы и заплаканные глаза няни. Ромащук, топорща длинные усы, закричал, что надо составить протокол. Мы стали искать новую квартиру. Узнав об этом, домовладелец явился к отцу и потребовал деньги за тот месяц, который давно уже был оплачен. В зале, где я играл в углу в кубики, разразилась страшная буря. Отец схватил стул, хотел ударить старика. Потом крикнул: "Только ваши седины спасают вас!" Зная отца, не сомневаюсь, что так оно и было. В дальнейшем, где бы мы ни жили, внося плату за квартиру, отец требовал расписки и вспоминал вышеописанный случай. И вот мы переехали на третью квартиру, и тут впервые в моих воспо-

минаниях появляется море. Странно, что, живя в приморском городе, я до сих пор не видел его. Помню улицы, магазины, помню даже, как два мальчика на сложенных штабелем дровах играли в море и пароход. Мать сказала: "Смотри, как хорошо они играют, пойди к ним". Мальчики стали звать меня, но я не пошел в припадке упрямства. Их пароход из дров (а может быть, это были сложенные в правильный куб серые камни?) я помню, а настоящие пароходы в начале нашего пребывания в Ахтырях — нет.

9 августа 1950 г.

И вот мы переехали на третью в Ахтырях квартиру. Стояла она на высоком обрывистом берегу. Две большие лодки лежали против наших ворот, и мы с мамой, выйдя гулять, часто сидели возле них на камнях. Когда вспоминаю, то чувствую, что вблизи, внизу, лежало море, но каким оно казалось мне — неясно. Хозяин новой квартиры умер недавно от сибирской язвы, я помню ужас, который вызывала у меня бывшая его комната. Масляная краска на полу пожелтела местами, мне чудилось, что длинные эти желтые полосы таинственно связаны со смертью хозяина и сибирской язвой. Однажды поднялся очень сильный ветер, он дергал ставни, громыхал крышей, и старшие говорили, что на море страшная буря. Вскоре после этого, гуляя с няней, я увидел, что на дрогах везут человека. Он был с головой укрыт брезентом, а ноги его в больших сапогах безжизненно тряслись и подпрыгивали на ухабах. Няня сказала мне, что это мертвый рыбак. Он продал на базаре рыбу, купил гусей и уток и вез их на лодке к себе в рыбацкий поселок. Но буря унесла лодку в море, отняла весла, бросила рыбака на корму, разбила ему насмерть голову. Когда его нашли, лодка была полна водой, хозяин лежал на дне мертвый, а птица, хоть и со связанными ногами, плавала тут же живая. Историю эту я выслушал, как сказку, и, помнится, не испугался и не поверил, что рыбак мертв. Как-то в ясный, теплый день мы поехали на рыбные промыслы. Ехали в большой удобной коляске, на хороших лошадях — владелец позвал нас в гости. У самых промыслов лошади пошли по воде. Мы увидели сети, из которых рыбаки бросали куда-то крупную красноватую рыбу, похожую на большую тарань. Когда я много позже заговорил со старшими об этой поездке, они спросили: а ты помнишь, как нас угощали свежей икрой? Но это я как раз и забыл.

10 августа 1950 г.

На камнях, что против ворот, возле больших лодок, впервые я обидел маму, довел ее до слез. Вышло это нечаянно, чему мама не хотела верить тогда, да так и не поверила за всю свою

жизнь. Дело было так: я о чем-то просил маму, кажется, спуститься вниз, к морю, но она отказала. Я держал в правой руке длинный колос, не то ржи, не то ячменя, не помню. Поняв, что мама не послушается меня, я с досадой махнул рукой, и колос больно ударил маму по щеке. Под самым глазом вспыхнуло красное пятно. Мама ахнула и заплакала. Я немедленно тоже. Я начинал плакать сразу вслед за мамой, даже когда не понимал причину ее слез, а теперь повод для плача был настоящий. Я изо всех сил уверял маму, что ударил ее нечаянно, но она ни за что не хотела верить этой несомненной правде. Ее поразило, что я, которому она отдала всю свою жизнь, вдруг так ужасно обидел ее. Она рассказала няне, как я со злобой ударил ее, и колос "охлестнул" ее по щеке. Это слово я отлично запомнил. Повторяя жалобы свои, мама каждый раз повторяла —"охлестнул". Такая печальная история. Тут я в первый раз в жизни был несправедливо обвинен и кем?— лучшим другом моим и защитником. Уже пожилым человеком я пробовал доказать маме, что "охлестнул" ее нечаянно, но она недоверчиво улыбалась.

13 августа 1950 г.

Чтобы закончить с воспоминаниями об Ахтырях, расскажу то, что я забыл написать. Как я уже говорил, при второй нашей квартире был квадратный двор с дворником у ворот. Дворник этот был молодой, необыкновенно добродушный парень. Со мной он был всегда ласков, клеил мне бумажных змеев. Он их запускал на улице, а потом давал мне конец дрожащего шпагата, на котором змей плыл над крышами домов. Если змей начинал "козырять", то есть делать круги и снижаться, мы быстро накручивали шпагат на палочку — дворник делал это ловко, так что шпагат ложился ровно, как на шпульке, — и увеличивали змею хвост, добавляя тряпочек и мочалы. Дворник умел посылать змею телеграммы: нанизывал на туго натянутый шпагат бумажки, которые чудесным образом ползли вверх к змею. Из дерева и картона дворник вырезал мне лодочки и целые корабли. Словом, это был не дворник, не взрослый, а близкий друг. Как я его любил! На руке у основания большого пальца у него был шрам. Однажды дворник рассказал мне, что шрам этот образовался оттого, что он порезался, строгая палку для метлы. Я взял руку дворника, и вдруг нежность и жалость пронзили мое сердце, и я, поцеловав дворников шрам, убежал домой. Вечером я сообщил маме, что женюсь на дворнике. Еще забыл я рассказать, как из-за меня не состоялась наша поездка на пикник на

пароходике. Я ехал на пристань веселый, мечтая о поездке, но увидев пароходик, на который надо было идти с высокой пристани вниз по лестнице, я почувствовал знакомый припадок ужаса и упрямства и поднял такой плач, что старшие не поехали. А когда пароходик стал разворачиваться, отходя, я захотел поехать, но было уже поздно. Папа сердился. Но вот пошел дождь. Мы отправились домой на извозчике с поднятым верхом и застегнутым фартуком. Папа успокоился. И когда очутившиеся вдруг на мокрой дороге возле самого фонтана гуси дружно зашипели на нас, мы все весело засмеялись, забыв о том, как ссорились на пристани.

14 августа 1950 г.

Чтобы совсем и окончательно расстаться с Ахтырями, расскажу последние обрывки воспоминаний. Я на улице читаю вывески, и все удивляются. Нянька и кухарка, сидя в папином кабинете, разглядывают медицинский журнал, где на обложке, очевидно, в объявлениях, изображен голый мужчина в протезе, укрепленном высоко на бедре, у самого паха. Я не понимаю, о чем говорят они, но чувствую, что это непристойно и завлекательно. Говорю что-то сам, тыча пальцем в голого мужчину, и женщины, к моему удовольствию, хохочут. Мы играем в саду с девочками ветеринара, а он стоит с грудным ребенком на руках. Этот мальчик вдруг начинает вести себя неприлично, что ужасает меня и смешит взрослых. Мама рассказывала при мне не раз в более поздние времена, что ее стала пугать жизнь в этом городишке, а главное — то, что папа стал к этой жизни привыкать, примиряться с ней. Он бывал в клубе, поигрывал в карты, выпивал с местными обывателями. И мама решительно заявила, что в Ахтырях она жить не останется. Мы с мамой уехали в Белев, где служил акцизным чиновником дядя Коля. Из Ахтырей я уезжал без сожаления. Во всяком случае, я помню очень хорошо, как весело было ехать на пароходе в Мариуполь. Ехали мы с женой ветеринара. И она, и мама сразу свалились, едва пароход успел отойти. Их укачало. А мы с девочками ветеринара стояли в дверях каюты на скамеечке и кричали, когда пароход вздымался и опускался: "Коч! Коч! Коч!" Мне все равно было, куда ехать. Друзей не было, к месту я не привязывался. Мой дом был там, где была мать.

16 августа 1950 г.

Пятьдесят с лишним лет назад, приехав из Ахтырей в Мариуполь, мы отправились по железной дороге в Белев. Отчетливо встают передо мною ощущения, вызванные

летним днем на улицах Белева, но зрительных представлений в этом полном ощущении мало. Окно магазина. Извозчик в низенькой твердой шляпе с полями. Или этого извозчика я видел в Рязани? Тем не менее уже много-много лет спустя, читая, что в Белеве бывал Жуковский, я считал, что Жуковский бывал в том самом городе. "Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал, таким образом, 200 верст лишних, зато увидел Ермолова", пишет Пушкин в "Путешествии в Эрзерум". Со свойствами своей капризной памяти я очень долго считал, что Ермолов жил в знакомом моем Белеве и там именно посетил его Пушкин. И я несколько огорчился, прочтя, что произошло это в Орле. И до сих пор Белев, где я прожил вряд ли больше двух месяцев, кажется мне городом родственным, вроде Казани или Екатеринодара. Мамин любимый брат, а мой любимый дядя Коля, как я узнал много позже, был человек своеобразный. Он, увлеченный толстовским учением, бросил университет. Кажется, уходил в деревню, потом вернулся к городской жизни, но университета так и не кончил. Он женился на Анюте. Со свойственным мне религиозным уважением ко всему, что говорят старшие, я причислял ее к нехорошим людям. Она была не то дочь владельца того дома, где жили Шелковы, не то дочь булочника, живущего с ними рядом. Мама знала ее отлично и все горевала, как мог Коля, такой умный, такой способный, такой хороший, в нее влюбиться. Мама вспоминала, как ужаснулась вся семья, когда Коля сообщил о предстоящем браке. Впоследствии, очевидно, с этим браком Шелковы примирились. Во всяком случае, мы в Белеве были приняты по-родственному и Анютой.

17 августа 1950 г. Женившись на Анюте, дядя Коля стал служить в акцизе. Чувствую, что, когда я записал о нем то, что слышал и что помню, он как бы затуманился и стал менее живым в моей памяти. А что я могу добавить? Это был наш, наш дядя Коля, мамин брат, очень худой и болезненный на вид блондин, но такой веселый и легкий для меня человек! Не то что старший мамин брат Гаврюша. Тот был суров. Я его боялся. Анюта бледная, в веснушках, с черными, узкими, как бы прищуренными глазами. Квартира у дяди Коли была в монополии. Во всех городах, где пришлось жить, помню эти высокие кирпичные здания водочных заводов, окруженные высоким кирпичным забором. В Белеве к этому зданию шла еще ветка железной дороги. Вероятно, ездили по этой дороге не часто.

Мы гуляли возле заросших высокой травой рельсов у товарного вагона, который так и простоял, не двигаясь, все время, пока мы жили у дяди Коли. Тут впервые услышал я слова: “Сорок человек, восемь лошадей”. Они были написаны на стенке вагона, и мама прочла их вслух. Гуляли мы еще на какой-то поляне, заросшей одуванчиками. Потом мы все время гуляли в городском саду — начались репетиции. Местные любители ставили спектакль, в котором и мама, и, кажется, Анюта принимали участие. Коля, вероятно, не играл. Помнится, мама удивлялась, что такой талантливый человек (он был еще и хороший скульптор) вдруг совсем не может играть на сцене! Не в семью пошел. При моем тогдашнем знании языка женскую грудь я называл “сердце”. Однажды я поссорился с мамой, закапризничал и ушел в темную проходную комнату, и лег на пол. Анюта пришла меня уговаривать. Когда она, став на колени, наклонилась надо мной, я ударил ее кулаком в грудь. Вышла целая история. Анюта сделала вид, что упала, мне сильно влетело, а вечером мама спросила меня, зачем я это сделал. И я ответил, что, когда Анюта наклонилась надо мной и я увидел ее распущенное сердце, мне захотелось ударить ее кулаком в сердце. После этого “распущенным сердцем” у взрослых некоторое время называлась пышная грудь.



Из Белева поехали мы в Екатеринодар, и это посещение слилось у меня с предыдущим. Где мы жили на этот раз? Может быть, у бабушки и дедушки? Помню молоденькую, еще гимназистку, тетю Феню. У нее в гостях сидит юноша с длинными волосами. “Ты видел когда-нибудь Степку-растрепку?” — спрашивает Феня и ерошит волосы своему гостю. Но вот, наконец, совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть. Все, что было потом, развивало или приглушало то, что родилось в эти майкопские годы. Как бы в ознаменование столь важного для всей семьи события мы поехали в Майкоп не обычным путем. В дальнейшем мы ездили туда так: до Армавира или Усть-Лабы поездом, а оттуда на лошадях в так называемом фургоне — до места. На этот раз мы поехали в карете! Прямо до самого Майкопа. Когда-то я помнил и название самой большой станции на нашем пути. Кажется, Царский Дар. Была ранняя весна. Но стадо уже, очевидно, выгоняли на пастбище. Окно в карете открывалось, как вагонное: опускалось. Опустив окно, мы глядели на какую-то станицу, в которой нам предстояло

ночевать. Стадо тянется вдоль дороги к станице. Отец, передразнивая коров, мычит. Делает он это хорошо. Коровы поворачиваются к нему. Отвечают. И мама, к нашей радости, перестает понимать, кто мычит. Только что папа протянул: "М-м-у", как мама сказала: "Слышите, как ясно корова произнесла букву "м"? Помню и ночлег, вероятно, не на постоялом дворе. Стол, покрытый вязаной скатертью. Диваны в чехлах. Альбом с фотографиями. А главное, первый в моей жизни переплетенный за год журнал, который привел меня в восторг, — "Родина", издание Каспари. На последней странице каждого из пятидесяти двух номеров журнала — смешные картинки. Я с трудом отрываюсь от толстой книги, чтобы поужинать, и долго отказываюсь идти спать. И вот, проехав в карете около ста верст, мы попали наконец в мой родной, счастливый и несчастный, город. Остановились в гостинице Завершинского против базарной площади.



Из гостиницы Завершинского мы вышли погулять и пошли по улице, столь знакомой мне потом и столь часто появляющейся во снах. В конце улицы, как бы замыкая ее, далеко-далеко стояли синие незнакомые неровные стены. "Что это?"— "Горы",— ответил мне папа. Так впервые увидел я невысокие холмы, отроги Уруштенского хребта Черных гор. Мы шли по улице; невысокие выбеленные дома, как в Екатеринодаре, но поменьше. Панели вымощены плоскими широкими камнями. Все знакомо, кроме гор и мальчишек, продающих цветы. "Что это за цветы?" Мама купила мне букетик. "Это подснежники. Они не пахнут". Я не поверил и впервые услышал особый, сыроватый, земляной запах, который впоследствии так ясно говорил, что пришла весна. Так, не спеша, добрели мы до городского сада. Мама похвалила сад, и я с почтением оглядел высокие акации, широкие аллеи, усыпанные желтым песком, парапет, замыкающий песчаную площадку. И крутой обрыв за парапетом. Весь сад ограничен был обрывом, который упирался в лесок — узкий, но густой. За этим леском блестела река Белая. За Белой — еще лесок, горы. Скоро в мою жизнь прочно вошло выражение: идти за Белую. Это уже считалось настоящей прогулкой. Далекой. Хотя от центра города не спеша можно было попасть за Белую в двадцать минут. В эту первую прогулку мы дошли только до парапета вокруг песчаной площадки. Влево от площадки, боком к ней, а раструбом к главной аллее, стояла белая музыкальная раковина. Посреди же

площадки белел четырехугольный пьедестал. Здесь должны были поставить солнечные часы, да так и не поставили.



21 августа 1950 г.

Не помню, долго ли мы прожили в гостинице. Я любил гулять по длинному, устланному половиками коридору. Появились у нас знакомые: узколицый пожилой человек с бородкой, в чиновничьей фуражке, и жена его, в темном платье, добродушная, не в пример мужу. Она со мной часто разговаривала, а он и не глядел на меня. Здесь впервые я услышал, что очень похож на отца, — это говорила новая знакомая, когда шли мы длинным коридором гостиницы. Помню, что мама сомневалась — так ли уж я похож, а новая знакомая настаивала: фигура, манеры! Оба эти слова мне очень понравились. (Когда писал я это, вдруг, как из тьмы на свет, выплыла фамилия нашей екатеринодарской знакомой Клары Марковны — Шимкина. Я и не думал о ней сейчас.) Любопытно, что в семье так и считалось очень долго, что я похож на отца, пока не определилось очень отчетливо, что я похож на мать, чему все вдруг очень удивились. Итак, мы жили в гостинице Завершинского. Очевидно, старшие искали квартиру и ждали, пока придет мебель. Не знаю, как доставлялась она при отсутствии железной дороги. В гостинице со мною случилось происшествие, о котором мама рассказывала всем знакомым, а они этому ужасались. Как я уже говорил, против гостиницы лежала базарная площадь, на которую было интересно смотреть. Возы с сеном, возы с серыми мешками: что в них — зерно, мука, подсолнухи? Волы, кони и даже верблюды, которых я увидел впервые. Как боялись их лошади! По этому поводу мама рассказала легенду об арабском коне, который был недоволен тем, как его сотворил Аллах: требовал лебединой шеи, длинных ног, седла. И Аллах создал верблюда, с длинной шеей и горбами. Лошади с тех пор дрожат, встречая верблюда. Понятно, что после этого я с еще большей жадностью глядел на верблюдов и коней, дрожащих перед ними. Гостиница была во втором этаже. Мы собирались идти гулять. Я в курточке и матросской бескозырке с лентами лежал на подоконнике, разглядывал базар. Вдруг порыв ветра сорвал с меня бескозырку. Я, перегнувшись, поймал ее на лету и тут же почувствовал, что мама крепко схватила меня за ногу. Я сам не успел этого ощутить, но мама увидела, что я уже летел в окно, вслед за своей шапкой с лентами. Наши новые знакомые успели переехать из гостиницы, и, отправляясь гулять, мы с мамой

заходили за ними, точнее, за нею. Они поселились позади колбасной Карловича. Идти к ним надо было через садик, сажени в четыре глубиной, по дорожке, обсаженной цветами. Весна шла вперед, садовые цветы распустились. "Как они называются?"—"Петушки", — ответили мне. Гулять мы ходили в городской сад, который с каждым разом становился все более и более знакомым. Мы входили в белые кирпичные ворота. Прямо от ворот шла широкая аллея, упиравшаяся в вышеописанную площадку с парапетом. Не доходя до этой площадки, влево начиналась главная аллея, которую отделяла от обрыва аллея поуже. Посреди сада стояло большое круглое деревянное здание, которое называлось ротонда. Перед ротондой бил фонтан. Сразу же за воротами сада по правую руку сиял белый магазинчик. Верхняя половина стен магазинчика была отстегнута и лежала позади него на траве. На вертикальной стойке блистали серебром конфеты. В магазинчик не заходили — все покупали снаружи. В другой стене магазинчика было прорезано окошечко, через которое продавались напитки: лимонад и содовая. Пройдя через сад, обогнув ротонду, мы попадали в оранжерею, отделенную от остального сада забором. Кроме собственно оранжереи, в этой части сада помещались бассейн, где плавала живая рыба, высокая беседка, в которую надо было подниматься по лестнице, и большие клумбы с цветами. Здесь же, кажется, жил и садовник, молоденький румяный немец по имени Карл Иванович (а может быть, и Федорович?). Вскоре после нашего приезда он исчез. Уехал жениться в Ригу. И появился с миловидной женой, впрочем, возможно, это произошло позже. Во время одной из прогулок с нашей новой знакомой произошел разговор, который произвел на маму сильное впечатление. Знакомая сказала: "Тридцать лет прожили мы с мужем — и ни разу, ни в чем, ни в одном пустяке не ссорились!" А у мамы как раз начинали портиться отношения с папой.

2 августа 1950 г.

После гостиницы Завершинского мы переехали в дом Родичева. Старшие говорили, что квартира велика. Мне она тоже казалась огромной. Зал. Спальня. Папин кабинет. Столовая. Еще две-три комнаты без определенного назначения. Я узнал впервые, что папа находится под негласным надзором полиции. Это не произвело на меня никакого впечатления. Узнал я еще, что папа занимает должность городского врача. Посылая прислугу в колбасную Карловича, мама наказывала:

"Скажите, чтобы дал самую свежую, что это для городского врача". В обязанности отца входило и наблюдение за доброкачественностью продуктов. Однажды мы услышали гневные вопли из кабинета. Выбежав, мы увидели, что по четырем-пяти ступенькам, ведущим из передней к выходной двери, спотыкаясь и бормоча что-то, спешит большой плотный человек с бородой, а отец, потрясая кулаками, стоит в дверях своего кабинета. Отвращение и ужас, с которыми обсуждали потом старшие наглый поступок мясника, посмевшего предложить отцу взятку, заразили и меня. Кроме осмотра лавок и базарных ларьков, папа обязан был давать свидетельства лицам, пострадавшим в драке. Таких было много. Я, крайне чувствительный мальчик, холодно смотрел на вопящих и причитающих мужчин с окровавленными лицами, которые стучали и звонили в парадную дверь, требовали скорее, скорее свидетельства, необходимые в те годы для составления полицейского протокола. Вообще Майкоп был несмирный город. Край ходил на край "на голыши", то есть дрались камнями. Вечно рассказывали о том, что кого-то зарезали, кого-то убили из-за угла. Толпой бродили уличные мальчишки, свистели, били окна, звонили у чужих дверей. На заборах, на верхних досках торчали острые гвозди. Помню, вокруг сада какого-то грека шел кирпичный забор, сверху усыпанный вделанным в цемент битым бутылочным стеклом. Но Майкоп был вместе с тем и веселый город. Никогда не забуду свадьбы, идущие по улице пешком, с музыкой.

23 августа 1950 г.

О Майкопе и хочется писать, и страшно. До сих пор я не прибавил ни слова, пишу только то, что помню о себе и о тех временах. Страшно затуманить свои воспоминания. Но пока что не затуманивается моя память, а проясняется. Вспомнил фамилию Клары Марковны, вспомнил, как разглядывали мы с мамой улитку, и я впервые увидел, как улитка убирает рожки. Вспомнил и записал названия цветов, которые впервые появились в моей жизни: подснежники, петушки, а немного погодя на углах стали продавать фиалки по копейке пучок. Нет, буду писать о Майкопе. Если не ставить себе задачи потруднее, то получается то самое полусонное бормотание, которое ужаснуло меня вчера. Итак, Майкоп был не только несмирный, но и веселый город. Свадьбы ходили по улицам пешком, провожали невесту в дом жениха. Впереди плясали пожилые женщины с такими красными щеками, каких в других городах я и не видывал. Это

были свахи. За ними и рядом с ними плясали и шагали, пошатываясь, мужчины с белыми повязками на рукавах. Это дружки жениха. Дальше плясали и шли в беспорядке гости и подружки невесты. За ними следовали не слишком твердой походкой новобрачные — они были выпивши, сильно выпивши, как все участники шествия. За ними шагали музыканты. Инструментов их не помню. Кажется, были скрипки. Наверняка был бубен. Его слышно было издали, и мальчишки с криками: "Свадьба, свадьба" — бежали на его бой. От мамы я узнал, что краснолицые свахи были накрашены. Накрашены были и так называемые плантаторские девки, ходившие, взявшись за руки, по улицам и по городскому саду. Эти, работавшие на табачных плантациях вокруг Майкопа, пришлые и приезжие молодые женщины пользовались весьма дурной репутацией. И я хоть и не понимал тогда, в чем грешны эти разбитные, крикливые, намазанные создания, глядел на них со страхом и отвращением. Майкоп, хотя нефть еще и не была обнаружена в его окрестностях, был город не только несмирный и веселый, а еще и довольно богатый.

24 августа 1950 г.

Майкоп был основан лет за сорок до нашего приезда. Майкоп на одном из горских наречий значит: много масла, на другом — голова барыни, а кроме того, согласно преданиям, был окопан в мае — откуда будто бы и пошло имя Майокоп. Несмотря на свою молодость, город был больше, скажем, Тулы. В нем было пятьдесят тысяч населения. Городской сад я уже описал. С левой стороны примыкал к нему Пушкинский дом, большое, как мне казалось тогда, красивое кирпичное здание. В одном крыле его помещалась городская библиотека, окна которой выходили в городской сад, а все остальное помещение было занято театром. Занавес театра представлял собою копию картины Айвазовского— Пушкин стоит на скале низко, над самым Черным морем. Помню брызги прибоя — крупные, как виноград. Автором этой копии был архитектор, строивший Пушкинский дом. Старшие, к моему огорчению, не одобряли его работу. Это мешало мне восхищаться занавесом так, как того желала моя душа. Я вынужден был скрывать свои чувства. Вокруг Майкопа лежали с одной стороны великолепные черноземные степи, засеянные пшеницей и подсолнухом, а за Белой начинались леса, идущие до моря, до главного хребта, до Закавказья. Майкопский отдел богат, Майкопский отдел — житница Кубанской области; если бы городское хозяйство велось как следует, то город

давно был бы вымощен, освещен, украшен и так далее и так далее. Все это я привык слышать чуть ли не с первых дней нашего пребывания в Майкопе. А пока что город летом стоял в зелени, казался чистым из-за выбеленных стен, но ранней весной, осенью да и теплой зимой тонул в черноземной грязи. На тротуарах росла трава.

2 августа 1950 г.

На тротуарах майкопских, между каменными плитами, между булыжниками, пробивалась трава, а дорога была либо покрыта пылью, которая тучами носилась над улицами, либо грязью. Пока грязь была жидкой, ее называли сметаной. Когда она, высыхая, густела, то теряла свое прозвище. Грязь, просто грязь разделяла улицу, хватала за ноги. Перейти с одной стороны на другую удавалось только там, где были уже протоптаны дорожки. Но возвращаюсь к нашей квартире в доме Родичева. Жили мы в ней недолго, но для меня это — целая жизнь. Большая наша квартира глядела на заросшую травой, бесконечную, на мой взгляд, площадь, на пустырь, в конце которого краснели невысокие больничные здания. Через пустыри по низенькой насыпи шла к больнице пешеходная дорожка. Не знаю, всегда или только весной стояла среди травы глубокая и просторная лужа, подходя к самой насыпи. Лужа эта мне памятна потому, что я уговорил мою няню, девочку лет пятнадцати, в этой луже искупаться. Недавно приехавшая из станицы няня, введенная в заблуждение насыпью, приняла лужу за пруд, разделась и бросилась в мутные желтые воды. Посреди лужи она даже поплыла, по-бабьи колотя руками и ногами. Я же, сидя на берегу, караулил ее одежу. Отец, возвращаясь из больницы домой, вместе с доктором Островским, увидел няню в луже и меня на берегу и долго потом, смеясь, рассказывал об этом событии. В доме Родичева я впервые заболел малярией, которая так долго не покидала меня. Первый припадок был очень сильный, с высокой температурой, бредом. Помню плачущую маму, которой я сказал: “У-у, плакса”. Помню и бред. В ручном фонарике, ставшем большим, как карета, на подсвечнике сидела сухонькая старушка, седые волосы которой были заплетены в косу, словно у девочки. Таких фонарей было несколько, и все они были населены одинаковыми сухонькими старушками. Назывались они касатки или статистики.



В доме Родичева появились первые книги, которые помню до сих пор, и первые друзья, с которыми или рядом с которыми я прожил до наших дней. Книги эти были сказки, в издании Ступина. Сильное впечатление произвели обручи, которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе его сердце разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в моей жизни. Первое — слово “приплынь” в сказке об Ивасеньке. И надо сказать, что оба эти впечатления оказались стойкими. Сказку об Ивасеньке я заставлял рассказывать всех нянек, которые, как было уже сказано, менялись у нас еще чаще, чем квартиры. В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели, становились матовыми. Я скоро нашел способ с этим бороться. Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки. И она решительно запретила мне продолжать это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать. В это же время обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Помню, как я решительно отказался дослушать сказку о Дюймовочке. Печальный тон, с которого начинается сказка, внушил мне непобедимую уверенность, что Дюймовочка обречена на гибель. Я заткнул уши и принудил маму замолчать, не желая верить, что все кончится хорошо. Пользуясь этой слабостью моей, мама стала из меня, мальчика и без того послушного ей, совсем уж веревки вить. Она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. “Доедай, а то все утонут”. И я доедал.

28 августа 1950 г.

В Майкопе появились у нас следующие знакомые: доктор Штейнберг, доктор Островский Григорий Яковлевич, доктор Соловьев Алексей Федорович, доктор Соловьев Василий Федорович и их семьи. Кроме того, бывал у нас архитектор, построивший Пушкинский дом и написавший занавес с брызгами воды, напоминавшими мне виноград. Фамилию его забыл. Смутно слышится мне, что Домашов или что-то вроде. Он ходил в сапогах и блузе, носил бороду и длинные волосы, был добр ко мне, за что я очень его любил. Но к любви этой примешивалось и чувство неловкости: он был не совсем полноценный человек. Ведь взрос-

лые говорили, что он плохой художник. Скоро бедный архитектор перестал бывать у нас, и я узнал, что он сошел с ума.



Доктор Штейнберг был человек суровый, со мной не разговаривал и памятен мне только тем, что поймал во дворе петуха, положил его на стол, провел у клюва меловую черту — и петух остался лежать, как привязанный. Однажды я проснулся ночью от звона разбитых стекол, ветер выломал раму, и мы отправились ночевать к доктору Штейнбергу. У него были белые мыши в клетке, которые мне очень понравились. Доктор Островский — пишу, как бормочу — доктор Островский был высок, черен, лысоват, в гимназии, как он рассказывал, его дразнили верблюдом, но я скоро привык к нему и зачислил, как всех, с кем дружил тогда, — в красавцы. Нравилась мне и жена его, Татьяна Яковлевна, добродушная, полная, черноглазая. А с сыном его, Борей, у меня установились полудружеские отношения. Это был кудрявый, нежный, хорошенький, беленький мальчик моих лет, волочивший одну ногу. Он перенес детский паралич. Как все тяжело болевшие и не вполне поправившиеся дети, он был капризен, и мы ссорились. Сестра Островского, Беатриса Яковлевна, жила с ними.

30 августа
1950 г.

Боюсь, не порчу ли я свои записи о Майкопе тем, что записываю все, что помню, и только то, что помню, не выделяя главного и ничего не сочиняя там, где факты тускловаты? Впрочем, что будет, то будет. Беатриса Яковлевна вошла в нашу семью еще ближе, чем остальные Островские, одно время даже жила у нас (что случилось значительно позже). В те времена я помню о ней вот что. Она открыла нам дверь, когда мы пришли в гости. И вечером я признался маме: Беатриса Яковлевна была в такой же кофточке, как Анюта, и сердце у нее тоже было распущенное, и мне захотелось ее ударить. Соловьев Алексей Федорович жил с Анной Александровной в старинном доме, похожем на особнячки в московских приарбатских переулках. Одноэтажный просторный этот дом стоял на углу. В одной его половине, выходящей окнами на широкую улицу, жила владелица дома, которую взрослые называли “Пиковая дама”: седая и очень, очень старая и бледная.

27 августа 1950 г. Когда я вспоминал самые ранние годы своей жизни, мне было легче писать. Там отбор уже был сделан временем и памятью. О майкопских же днях я помню так много, что теряюсь. Буду продолжать по порядку. Сегодня мне кажется, что дом, где жил Алексей Федорович Соловьев, не так уж был похож на московские особняки. Но у него были высокие сводчатые окна, высокие потолки, и, несмотря на молодость города, дом считался и казался старинным. Рассказывали, что был он выстроен вскоре после основания Майкопа для важного офицера, командовавшего частью, стоявшей здесь. Пиковая дама появилась в Майкопе в стародавние времена. Помню, как мы, сидя у Соловьевых в гостях, пили чай под деревьями, а Пиковая дама, поддерживаемая горничными, спустилась в свой сад и уселась в креслах. И взрослые тихо говорили о том, что старуха была когда-то красавицей, женой офицера, жившего здесь. Из-за нее дрались на дуэли. Из ее туфельки пили вино. Что такое дуэли, мама объяснила мне, и я понял. Но вино из туфельки я не понял, да мне и не объясняли. Мама ответила на мой вопрос: “Ну пили и пили”. Помню, здесь же, за чайным столом, мама сказала, проглядывая газету: “Женя! Дрейфус опять осужден!” У меня сжалось сердце, и я воскликнул: “Да что ты говоришь?” И тотчас же отец сделал выговор нам обоим: маме за то, что она говорит со мною о вещах, которых я не понимаю, а мне за притворство. А между тем я не притворялся. Я жил одной жизнью с мамой, и раз она сказала о Дрейфусе с горечью, значит, и у меня сжалось сердце, которое, как я полагал, помещается на месте солнечного сплетения. Во всяком случае, все горести и радости я ощущал именно этим местом. Не случайно вспоминаю я чайный стол у Алексея Федоровича. Говорили, что самовар у них не сходит со стола и всегда кто-нибудь в гостях. Сам Алексей Федорович — невысокий, бородатый, плотный — все помалкивал строго. Как явление природы, не подлежащее обсуждению, принял я от старших сведение о том, что у Алексея Федоровича тяжелый характер. Папа жаловался, что он хоть и привык к Алексею Федоровичу, но и его угнетает мрачное молчание, в которое тот погружался на недели.

1 сентября 1950 г. Но тем не менее дом его всегда был полон друзьями. Вероятно, Анна Александровна была этому причиной. Худенькая, легенькая, спокойная, на носу пенсне, неизменно привет-

лива. Как мне кажется, она была учительницей. Она вела дом так, что он привлекал людей. И я там любил бывать, хоть и боялся хозяина. Побаивался я и пойнтера их, по имени Лорд. Пожилой этот и толстый пес любил класть башку на колени гостям. Но стоило гостю пошевелиться, как Лорд рычал угрожающе. Но зато мне нравилось, как он таскал в зубах из комнаты в комнату свою подстилку. Устраивался поближе к хозяину. Перехожу теперь к дому, который стал для меня впоследствии не менее близким, чем родной, и в котором гостил я месяцами. До наших дней сохранилась близкая связь с этим домом. Это дом старшего брата Алексея Федоровича — доктора Василия Федоровича Соловьева. Этот дом стоял на углу, недалеко от армянской церкви, которая еще только строилась в те дни. Был он кирпичный, нештукатуренный. К нему примыкал большой сад, двор со службами. Направо от кирпичного дома стоял белый флигель. Здесь Василий Федорович принимал больных. На площади вечно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями. На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел. Практика у него была огромная. Отлично помню первое мое знакомство с Соловьевыми. Мы пришли туда с мамой. Сначала познакомились с Верой Константиновной, неспокойное строгое лицо которой смутило меня. Я почувствовал человека нервного и вспыльчивого по неуловимому сходству с моим отцом. Сходство было не в чертах лица, а в его выражении. Познакомили меня с девочками. Наташа — годом старше меня, Леля — моя ровесница, и Варя — двумя годами моложе. Девочки мне понравились. Мы побежали по саду, поглядели конюшню, запах которой мне показался отличным, и нас позвали в дом. Мама собиралась уходить, а Вера Константиновна с девочками — провожать нас. Когда Наташа стала надевать свою шляпку, выяснилось, что резинка на ней оборвана. Вера Константиновна стала чернее тучи: “Почему ты не сказала мне, что оборвала резинку?” — “Я не обрывала”. — “Не лги!” Разговор стал приобретать грозный характер. Я отлично понимал, по себе понимал, куда он ведет. И страстно желая во что бы то ни стало отвести неизбежную грозу, я сказал неожиданно для себя: “Это я оборвал резинку”. Тотчас же темные глаза Веры Константиновны уставились на меня, но уже не гневно, а удивленно и мягко. Меня подвергли допросу, но я стоял на своем. Вскоре мы шли по улице — дети впереди, а старшие позади. Я слышал, как старшие обсуждали вполголоса мой поступок, но и малейшей гордости не

испытывал. Почему? Не знаю. Мы зашли в пекарню Окумышева, турка с огромной семьей, члены которой жили по очереди то в Майкопе, то в Константинополе. Там угостили нас пирожными, и мы простились с новыми знакомыми. Засыпая, я слышал, как мама с грустью сообщила отцу, что, очевидно, резинку и на самом деле оборвал я. Но и тут я ни в чем не признался. Теперь несколько слов о моем отце. Он был человек сильный и простой. В то время ему было примерно двадцать семь лет. Он скоро оставил должность городского врача и стал работать хирургом в городской больнице, как Алексей Федорович. Продолжал он и свою политическую работу, о которой узнал я много позже. У них была заведена даже подпольная типография, которую потом искал старательно майкопский истпарт, да так и не нашел. Было предположение, что мать некоего Травинского (кажется), в сарае которых зарыли типографию, вырыла ее да и выбросила по частям в Белую. Участвовал отец и в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложная и замкнутая. Мы раза два были в больнице — во флигеле, в комнатах фельдшериц и дежурного врача. Фельдшерицы — Фелицата Михайловна и Антонина Григорьевна. Фелицата Михайловна — постарше и потише, желтолицая, темноглазая. Антонина Григорьевна — разбитная, лихая казачка. Она любила петь и плясать, и, помнится, мы с мамой разговаривали с ней суховато. Боюсь, что для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невеселый, был тесен и тяжел. Думаю, что он любил нас, но и раздражали мы его ужасно.

2 сентября 1950 г. Отец спит после обеда. Мы с мамой рассматриваем книжку, присланную в подарок бабушкой Бальбиной Григорьевной, екатеринодарской бабушкой. Это большого формата книжка, с цветными картинками, в картонном переплете. Принес ее, кажется, студент Володя Альтшуллер, о котором я слышал, что он влюблен в мою молоденькую тетю Феню. Или услышал об этом я позже? Во всяком случае, вспомнив эту книжку, я всегда вспоминаю вежливого студента в мундире и то печальное событие, о котором я сейчас и расскажу. Итак, мы с мамой мирно рассматривали, сидя у лампы, картинки в новой книжке. Текста в книжке не было. Были изображения зверей с подписями. “А вот зебра, — говорит мама. — Или нет, это ослик”. — “А какая бывает зебра?” — спраши-

ваю я. — “Полосатая”. — “А что значит полосатая?” — “Помнишь кофточку, что была на Беатрисе Яковлевне, когда у нее было распущенное сердце? Вот она и была полосатая. А вот лев, царь зверей”. Пока мы беседовали, стол накрыли к вечернему чаю, подали самовар, и отец вышел из своего кабинета. Он был мрачен. Я сказал: “Вышел Лев, царь зверей”. Отца звали Лев Борисович, что и было причиной злосчастного моего замечания. Я не успел после этих слов и глазом моргнуть, как взлетел на воздух. Отец схватил меня и отшлепал. С тех пор прошло примерно сорок девять лет, но я помню ужас от несоответствия мирных, даже ласковых, даже почтительных моих слов с последующим наказанием. Прощай, мирный вечер! Я рыдал, родители ссорились, самовар остывал. Неуютно, неблагополучно! У отца был особый прием наказывать меня. Он брал меня к себе под левую руку, а правой шлепал по заду. Это было не очень больно, но страшно и оскорбительно. Называлось это — взять под мышку. Мама так и говорила: “Смотри, попадешь к папе под мышку!” Однажды, проснувшись ночью, я услышал, что мама плачет, а папа кричит, сердится. Я заплакал. Мама сказала отцу: “Перестань, ты напугаешь ребенка”. На что отец безжалостно ударил кулаком по голове самого себя и еще раз, и еще раз и сказал что-то вроде того, что, мол, гляди, до чего довели твоего отца. Коли он бил самого себя, значит, доходил до последнего градуса ярости. И это случалось много чаще, чем он шлепал меня.

3 сентября 1950 г.

Я могу припомнить только два-три случая за все мое детство взлета высоко в воздух, отцу под мышку. Вероятно, самая редкость наказания сделала его столь памятным во всех подробностях. В те времена отец страдал сильнейшими приступами мигрени. Вот он идет в кабинет, зажмурившись, побелев, говорит нам: “Опять флажки, флажки!” Так называл он мелькания в левом глазу. Он, как вся их семья, был очень нервен, но вместе с тем, как я уже сказал, прост, прост по-мужски, как сильный человек. Так же сильно и просто он сердился, а мы обижались, надолго запоминали его проступки перед семьей. Его любили больные, товарищи по работе, о вспыльчивости его рассказывали в городе целые легенды, рассказывали добродушно, смеясь. Любила его, конечно, в те времена и мама, но неуступчивая, самолюбивая, замкнутая — тем сильнее обижалась и не шла на размены и упрощения. А я испытывал в присутствии отца, которого понял и оценил через десятки лет, — только ужас и расте-

рянность, особенно когда он был хоть сколько-нибудь раздражен. А в те времена, повторяю, это случалось слишком часто. К сожалению, у нас начинала образовываться семья, которая не помогала, а мешала жить. И теперь, когда я вспоминаю первые месяцы майкопской нашей жизни, то жалею и отца, и мать. Вот он ходит взад и вперед по большой зале родичевского дома, играет на скрипке. Бородатая его голова упрямо упирается в инструмент, рука с искалеченным пальцем легко держит смычок. Я слушаю, слушаю, и мне не нравится его музыка. Я не хочу, чтобы он перестал, мне не скучно слушать скрипку, но это его, папина, музыка, и она враждебна мне, как все, что исходит от него. А отец все бродит и бродит по залу, как по клетке, и играет. Чаще всего играл он Presto Крейцеровой сонаты. Вот, укладывая меня, мама плачет. Отец где-то в гостях. Мы одни во всем доме, и я начинаю плакать вслед за мамой. Я заметил, что мама теперь уже не та, что была в Ахтырях. Она не смеется, не шалит с подругами, строго отзывается о людях. Причем она, сказав худо о человеке, добавляет часто: "Я все это ему выскажу". Этого я не любил. Мама и в самом деле высказывала человеку все, что о нем думает… [...] Итак, я боялся, когда мама говорила: "Я все ему (или ей) выскажу". Помню, как высказала она все бедной Беатрисе Яковлевне. Высокая стройная девушка лет тридцати, с огромными, часто полузакрытыми еврейскими трагическими черными глазами, с вьющимися жесткими волосами, крупным ртом — вот такой была в те дни Беатриса Яковлевна. Старшие считали ее интересной и удивлялись, что она не вышла замуж. И вот мама высказала ей, что она эгоистка и не помню что еще. Я изнемогал от чувства неловкости, а Беатриса грустно глядела в окно и говорила: "Может быть, вы и правы. Возможно, что это так". А потом исчезла месяца на два. Упала икона, сорвалась с гвоздя, на котором повесили ее в углу, та самая икона, перед которой мама молилась в Ахтырях. Это сильно испугало маму. Она стала ждать беды — дурная примета! И вот вскоре принесли письмо из Рязани, мама распечатала его, ахнула и расплакалась. Дедушка умер! Я уткнулся ей в колени и тоже заплакал. "Ты разве помнишь дедушку?" — спросила мама сквозь слезы. Я, конечно, помнил дедушку, но плакал, как всегда, потому что плакала мать. Поплакав, мы пошли в городской сад. Встретили Анну Александровну и ей рассказали о своем горе. Она покачала головой. Икону больше не вешали. Она снова заняла свое место в книжном шкафу. С домом Родичева у меня связаны еще два воспоминания. Ливень и царский день.

4 сентября 1950 г. Однажды я спал днем и, проснувшись, вышел и сел на крылечке, выходившем во двор. Я был не в духе, хмурился и ни на кого не смотрел. Мама стала ласково подшучивать надо мной: "Поглядите, поглядите, какой сердитый". Заходило солнце. Я старался не улыбнуться и был необыкновенно счастлив. От дурного настроения и следа не осталось, но я помалкивал об этом, чтобы мама еще пошутила ласково. Мама на застекленной террасе (впрочем, называлась она у нас коридором) кипятит на примусе молоко. Я, как всегда, верчусь около. Мама делает неосторожное движение, кастрюлька опрокидывается — о ужас — мне на руку! Няня и мама хлопочут вокруг меня, на локте появляются пузыри, ожог присыпают содой. Я плачу не столько от боли, сколько от сладкого чувства незаслуженной обиды и от созерцания глубоко раскаивающегося обидчика. Мы с няней сидим на лавочке у нашего дома и видим: проходят два солдата с шашками наголо, проводят арестанта. На спине у арестанта нашит бубновый туз. Нянька объясняет мне, что это убийца, каторжник. Я замечаю возле нашего крыльца между булыжниками норку. Закладываю ее большим камнем. Через несколько дней, приподняв камень, вижу, что из норки выглядывает чья-то острая мордочка — не то крысы, не то ящерицы, не успеваю разглядеть от страха и снова закладываю нору. Вспоминаю об этом, когда мы уже на другой квартире. Этот случай до сих пор мучает меня. Я любил людей, которые говорили со мною ласково. Мальчик лет пятнадцати, ученик технического училища, идя мимо нас, всегда разговаривал со мной, и вот я помню его и как я бросался к нему навстречу, как мы сидели на лавочке, а он рассказывал, чему их учат.

5 сентября 1950 г. Я думал, что помню из жизни в доме Родичева только наводнение и царский день, но вчера, собираясь записать два этих случая, вспомнил еще множество. Во дворе дома Родичева, в глубине, направо, стоял флигель, где жил молодой чиновник с женой, которую мы не любили за то, что она ломается. Однажды чиновник пришел к обеду и привел товарища, тоже в чиновничьей фуражке. Мы с мамой сидели на крылечке и наблюдали, как ломалась чиновница. Муж ее заслонил гостя и сказал жене, что забыл позвать того к обеду. Не увидеть гостя из окна не было возможности, хоть тот и съежился весь, стараясь спрятаться за спиной хозяина. Но чиновница стала притворно ругать мужа за его забывчивость. Она

ругалась, ломаясь, стоя в окне, гость хихикал застенчиво, видимо, тоже чувствуя, что хозяйка притворяется; глупо ухмылялся хозяин. Все это полвека сидело в моей голове. Почему? Архитектор Домашов, когда он был еще здоров, принес мне рисунки для раскрашивания. Он растушевал простым карандашом помпон на шляпе мальчика и велел раскрашивать второй помпон на мальчике рядом. "Только не нажимай!" — сказал он. Я любил яркие краски, не поверил архитектору и нажал на карандаш изо всех сил. Ничего не получилось. Помню глубокие вмятины на картинке, удивленного моим непониманием архитектора и полную уважения мысль — значит, он и вправду знал, как надо рисовать! Среди наших знакомых появилась Юлия, сестра агронома, темнолицего и лохматого. У Юлии была светлая коса чуть не до земли. И однажды из разговора взрослых я узнал, что она лунатик!

6 сентября 1950 г.

Перехожу к наводнению, о котором рассказывать как будто и нечего. Да это было вовсе не настоящее наводнение, а ливень, летний ливень с грозой. Налетел он сразу, мы едва успели закрыть окна. Стало темно так, что я попросил зажечь лампу. Загремел гром, заблестели молнии. По стеклам побежали не капли, как во время обычных дождей, а сплошные водяные потоки. Задыхаясь, примчалась кухарка — ей страшно показалось оставаться в кухне одной. Было жутко, но и так радостно, что я даже удивился этому. Все и вздрагивают, и ахают, когда гром ударяет под самой крышей, — и улыбаются. Праздник не праздник, но будни ушли бесследно, и обед не готовится, и мама перестала шить себе кофточку, и нянька ничего не делает, только крестится, когда ослепительно вспыхивает синим светом окно. Но вот стало понемножку светлеть, гром сделался глуше, кухарка убежала к себе в кухню, которая помещалась во дворе, и вдруг мы услышали радостный ее голос: "Идите, поглядите, что делается!" Мы побежали в застекленный коридор, открыли дверь и ахнули. Между террасой и кухней двор превратился в озеро. Старая кастрюля, покачиваясь, плыла по волнам. Вода стояла вровень с высоким порогом кухни. "Еще малюсенький кусочек — и залило бы меня!" — радовалась кухарка. Когда дождь перестал, я пошел по озеру босиком — высокое счастье! Мама сказала: "Завтра царский день, в саду будет гулянье, и мы с тобой пойдем туда". Впервые в жизни я, к маминому огорчению, не мог уснуть до глубокой ночи. Все боялся проспать царский день. Но утром выяснилось, что праздноваться по-насто-

ящему он будет только вечером. И вот, наконец, когда стемнело уже, мы дожили до праздника, отправились в городской сад. Его нельзя было узнать. Слева от входа, за воротами, стоял столик, на котором продавались входные билеты. Над аллеями на веревочках висели флажки.

7 сентября 1950 г.

Флажки чередовались с бумажными фонариками. В глубине аллеи, заслоняя площадку с парапетом, стояло нечто узорное, голубоватое, сияющее в темноте. Это, как объяснила мне мама, называлось так: транспарант. Когда мы подошли ближе, я разглядел две огромные узорные переплетающиеся буквы на прозрачной бумаге, а за бумагой — плошки (тоже новое слово), стеклянные синие стаканчики в проволочных кольцах. В этих стаканчиках плавали на пробковых кружках и горели фитили. В музыкальной раковине оркестр собирался играть. На деревянных пюпитрах раскладывались листки нот, а за дирижерский пульт встал маленький черный человечек с черной деревянной трубой в руках. Он поднес трубу к губам, не отнимая от губ, взмахнул ею, и вот заиграл оркестр под управлением Рабиновича, с которым я встречался во все праздничные дни, пока жил в Майкопе. Надо признаться, что для меня было трудно не вздрогнуть, когда начиналась музыка. Удар барабана я отчетливо ощущал животом. Мама посмеивалась надо мной, уверяя, что я боюсь музыки, я старался не вздрагивать и все же вздрагивал каждый раз. К скрипке я оставался равнодушен, но духовой оркестр обожал. Я дирижировал вслед за Рабиновичем и наслаждался. Больше я ничего не помню о царском дне. Знаю только, что я не был разочарован, хотя старшие утверждали, что гулянье по случаю праздника было неинтересное.

8 сентября 1950 г.

Правдивость моих записей, возможно, делает их неверными поневоле. Я, перечитывая, перестаю чувствовать, что мир, окружавший меня в те годы, был волшебен. Не холодно ли описал я белый, блестящий серебром конфет магазинчик справа от входа в городской сад? Ведь я его вижу во сне, чувствую его особенную прелесть до сих пор. В те дни у меня не хватало слов, чтобы уяснить самому себе, чем он меня прельщал, а сейчас я говорю другим языком. Как передать очарование шоколадной бомбы с подарком внутри, который стучал о стенки, если ее потрясти? Обычно это было жестяное колечко, оловянная лошадка или

солдатик. Бомбу разламывали. Кусочки шоколада не плоские, — как в шоколадной плитке, — имели благодаря гнутой форме своей особый вкус. Все квартиры обладали своим запахом — не худым и не хорошим, но присущим данной семье. У Островских, едва войдешь, пахло так, а у Соловьевых иначе. Темнота была страшна. Пройти через темный зал в доме Родичева можно было только бегом, зажмурившись изо всех сил. Чего я боялся? Отчетливо помню, что только темноты, именно темноты, и больше ничего. Населилась она значительно позже. Не верил в смерть близких или свою. Но именно тогда запали мне в душу мамины слова о том, что у нее порок сердца. От площадки с парапетом вела вниз деревянная лестница с некрашеными перилами, со скамейками на повороте. Мы с мамой побывали на реке и поднимались по этой лестнице обратно в сад. Кто-то из знакомых спросил маму, почему она отдыхает на каждой скамейке. Мама объяснила. Когда я спросил, что это за болезнь, порок сердца, мама ответила: "Это значит, что я могу сразу умереть". Я заткнул уши, но боль от этих слов затаилась в душе и разрослась года через два в непрерывное и мучительное беспокойство за маму. Впрочем, если хватит терпения, то я расскажу об этом в свое время. Кстати, разговор об улитке и ее рожках состоялся именно на этой лестнице. Улитка ползла по некрашеным перилам, и я удивлялся. Лето пришло на смену весне, и мы с папой однажды отправились на Белую купаться. Пройдя через городской сад, мы спустились вниз по реке и свернули налево, пошли вверх по течению. Скоро меня поразил своеобразный запах, незнакомый, не неприятный, но сильный. Я увидел дымящийся темно-желтый мутный поток, бегущий из широкой трубы. Он заполнял выемку в земле и камнях, и в этой выемке, как в ванне, теснясь, сидели люди: мужчины в подштанниках, женщины в рубашках, дети. Хмурясь, миновал отец эту вифлеемскую купель. Впоследствии я узнал, что этот поток бежал с пивоваренного завода Товара или Чибичева, не помню. Горячие отходы пивоварения спускали в Белую, а майкопские обыватели объявили их целебными. Они вырыли выемку в земле перед местом впадения пивного источника и сидели, парились. Врачи считали эту купель распространительницей заразы, но сколько я жил в Майкопе, столько и помню ее. Миновав пивной источник, мы подошли к крутому обрывистому склону и попали в купальню, которая тоже оставалась неизменной с моего раннего детства до юношества. Даже дед, продающий при входе билеты, мочалки, кусочки мыла, дающий напрокат

простыни, опускающий в реку градусник на длинной веревке, оставался бессменным в течение двенадцати-тринадцати лет, которые я прожил в Майкопе. Его даже душили однажды лихие парни, пытаясь ограбить, но он уцелел со своей жесткой бородой и солдатской выправкой. Только хрипел дня три. Купальня состояла из ряда кабин, вдоль дощатого пола, под дощатым навесом. Две лестницы справа и слева вели к реке и в саму реку. От лестницы к лестнице тянулась доска, которая в зависимости от дождей в верховьях Белой то погружалась в воду, то возвышалась над ней на целый аршин. На эту упругую доску и посадил меня папа, не раздевши. Вода в тот день была чиста, стояла низко, и я, качаясь на доске, болтал ногами в воде.

9 сентября 1950 г. Я сидел на доске, болтал ногами и глядел на реку. На той стороне вода, шумя, бежала через греблю. Правее гребли лежал усыпанный серыми голышами островок. За деревьями белели домики, желтел невысокий обрыв того берега. Вдруг что-то пронеслось сверху, мимо меня, рухнуло в реку, вода взвилась на сажень. “Молодец!” — сказал папа. Отчаянный пловец прыгнул вниз головой с дощатой крыши купальни и, вынырнув, поплыл саженками на ту сторону. Папа сошел по ступенькам в воду, окунулся, поплавал, как научился в Керчи, — не вынимая рук из воды, и подошел ко мне. Несмотря на мой визг, он взял меня на руки, заткнул мне уши и окунул с головой несколько раз. Я цеплялся за него, как утопленник. Искупав меня, отец посадил меня снова на доску и поплыл к гребле. Судя по всему, этот день был воскресный. Купальня была полна. И вокруг купальни бегали, кричали и плавали мальчишки с крестами на шее, синие от холода. Вода в Белой всегда была свежа, недаром она бежала с гор. В июле в самую жару градусник деда, опущенный в Белую, показывал 17—18 градусов по Реомюру. А чаще 13—15, особенно после дождей в горах, когда вода принимала вдруг цвет кофе с молоком. Опять я начинаю от излишней правдивости говорить неправду. После купания я с торжеством шел домой, мирно — вот редкость-то — беседуя с отцом. Какие еще волшебные вещи открылись мне, пока мы жили в доме Родичева? Колбасная Карловича. Колбаса считалась вредной. Мне давали всего один кусок, но зато я и ел этот кусок, наверное, не менее часа. Я любил соленое. Высокий тощий Карлович с седой бородкой снимал с крючка колбасу и резал длинным ножом. Если колбаса была тонкая, я — ликовал. Мне казалось, что фунт тонкой гораздо

больше, чем фунт толстой. А запах колбасы! Я недавно отлично понял одну девочку, которая сказала: “Люблю чеснок, он колбасой пахнет”.

10 сентября 1950 г. В доме Родичева, собственно говоря, мы прожили, как я теперь понимаю, с февраля-марта по май-июнь. Я вынужден признать это. Я установил следующее: в карете из Екатеринодара мы выехали потому, что мама была беременна. Я вспомнил, как папа рассказывал, что бабушка настояла на этом и наняла на свои деньги чуть ли не единственную карету в городе, которая обычно новобрачных в церковь возила. Итак, в Майкоп мы приехали весной 1902 года, когда мне было пять лет и четыре-пять месяцев. Мне казалось, когда я вспоминал детство и прикладывал к нему нынешнее свое ощущение времени, что прожил в доме Родичева года два, полтора, во всяком случае — не менее года. Рассказ отца решает вопрос. Мы жили у Родичева два-три месяца и переехали оттуда в квартиру поменьше, к баронессе. Произошло это событие в разгаре лета. Приехали дрогами, нагрузили дроги нашими вещами и двинулись в путь, а мы с мамой пошли следом. Мама несла в руках большую лампу, при свете которой сидели мы у стола вечером, — боялась, что разобьется она на дрогах. Мы прошли мимо городского сада (по левую руку), мимо пивной при заводе Чибичева с зелено-желтой вывеской: “Продажа пива и меда распивочно и на вынос” (по правую руку), мимо бесконечного кирпичного забора самого завода, мимо пустыря, от которого шла лестница к Белой (по левой руке), мимо аптеки Горста (по левую руку), мимо дома Авшаровых (по правую руку), мимо табачной фабрики Табаковых (по правую руку) — и, наконец, пришли к беленькому домику.

11 сентября 1950 г. Против этого домика тоже был пустырь, обрывающийся круто, с тропинкой, ведущей в лесок перед Белой. Домик был угловой. На другом углу жили девочки Табаковы, дочки владельца табачной фабрики. Они часто появлялись за кирпичным забором, и я разговаривал с ними. При домике были дворик и сад с беседкой, в которой мы и завтракали и обедали. Вкус теплой брынзы, только что обданной кипятком, сразу переносит меня в этот садик, в круглую беседку, к столу с кипящим самоваром. В окнах, выходящих во двор, иногда показывалась баронесса, надменная, накрашенная, красноволосая, толстая, низенькая ста-

рушка, похожая на жабу. Рассказывали, что она бывшая кухарка. И в этом домике мы жили долго-долго, месяца два. Все чаще и чаще слышал я, что стал уже большим мальчиком. Одеваться сам я научился уже довольно давно.Теперь меня упрекали за то, что я не умею застегивать пуговочки на ботинках. А это и вправду удавалось мне худо. Крючок больно давил подъем, пуговицы срывались, отрывались, но не застегивались. А, бывало, застегнешь все пуговицы — и криво. Растегивай и начинай все сначала. Но дружба с мамой оставалась неизменной. По-прежнему, если я не слушался, ее похищал ангел. Однажды, разыскивая похищенную маму, я нашел ее в передней на табуретке, с поднятой рукой. Ангел только что отпустил ее руку. В другой раз ангел уронил маму, и я обнаружил ее в той же самой передней лежащей на циновке. Под эту циновку я однажды спрятал свои старые штанишки. Как-то мама, разглядывая их после стирки, сказала: "Никуда они не годятся, придется разорвать их на тряпки". Я испытал острое чувство жалости. Сознание несправедливости вспыхнуло во мне. Штанишки работали, старались, пообтрепались, полиняли, вместо синих стали серыми — и за это их собираются умертвить! Я заплакал, выхватил приговоренные штаны из маминых рук и бежал в сад. Там я не нашел места для несчастных и спрятал их под циновку. Дальнейшей судьбы их не помню. Однажды к нам в гости приехал из Ахтырей Гурий Федорович. Он разговаривал с мамой весело и шутливо, как в Ахтырях. Мне страстно хотелось объяснить ему, что мама теперь не та, но я не знал, как это сделать.

12 сентября 1950 г.

С Гурием Федоровичем я пошел гулять. Мы прошли пустырь. Спустились к Белой. Как сейчас вижу: вот сидит мой старый друг на свалившемся дереве, положив ногу на ногу, удивляя меня величиной своего желтого ботинка, который приходится как раз на уровне моего лица — я сижу на пеньке. Не могу вспомнить, о чем мы говорили, но помню легкое чувство неловкости, обычное при возобновлении знакомства. Я помню и люблю Гурия Федоровича, но ведь я уже другой человек, не только мама изменилась, пока мы не виделись. Я сижу на скамеечке. Над кирпичным забором — головы табаковских девочек. И, сам недоумевая, почему, я начинаю врать. Я рассказываю девочкам, что у меня бывают обмороки. Вот так сижу, разговариваю, вдруг голова кружится, кружится, и я падаю. Девочки удивляются, я собираюсь пуститься в

подробности — и вдруг строгий мамин голос потрясает меня: "Женя, зачем ты врешь!" Теряются на миг и табаковские девочки, но тут же приходят в себя. Вопят насмешливо: "Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!" Мы идем откуда-то вечером, и я первый раз в жизни замечаю лунный свет, его особенную прелесть и длинные, необыкновенно длинные тени перед нами. Пыль. Новое сильное поэтическое впечатление, навеки вошедшее в мою жизнь.

13 сентября 1950 г.

Мы сидим с мамой на крылечке нашего белого домика. Я полон восторга: мимо городского сада, мимо пивного завода, мимо аптеки Горста двигается удивительное шествие. Мальчишки бегут за ним, свистя, взрослые останавливаются в угрюмом недоумении — цирк, приехавший в город, показывает себя майкопцам. Вот шествие проходит мимо нас — кони, ослы, верблюды, клоуны. Во главе шествия две амазонки под вуалями, в низеньких цилиндрах. Помню полукруг черного шлейфа. Взглядываю на маму и вижу, что она глядит на них невесело, осуждая. И сразу праздничное зрелище тускнеет для меня, будто солнце скрылось за облаком. Слышу, как мама рассказывает кому-то: "Наездницы накрашенные, намалеванные", — и потом повторяю это знакомым целый день. У баронессы мы, очевидно, прожили совсем недолго. Больше я ничего не могу припомнить о жизни там. И вот мы переезжаем в дом фотографа Амбражиевича. Сам он, его ателье и его семейство помещаются в доме, выходящем на площадь против дома Чибичева. На другом углу, глядя тоже на площадь и на Армянскую улицу, стоит просторный кирпичный дом Соловьевых. Мы помещаемся во флигеле позади фотографии, наши окна глядят на ту улицу, что ведет к женской гимназии. Одну комнату мы сдаем бухгалтеру Владимиру Алексеевичу Дóбрякову. Двери его комнаты выходят в прихожую. Мы с ним в большой дружбе. Он из гильзовых коробок делает мне домики, мельницу с окнами. Опять появляется у нас Беатриса Яковлевна. Делается маминой подругой. Бывают у нас и сестры Хаджибековы, Эмилия и Надежда. Отец их, страшный своей худобой и мертвым взглядом старик в светлой черкеске, все бродит возле своего дома недалеко от Соловьевых.

14 сентября 1950 г.

Как много я помню об этой третьей квартире, где кончился самый счастливый период моего детства и совершилось изгнание из рая. Чтобы не сбиваться, начну рассказывать по

разделам. Книги. В это время я читал уже хорошо. Как и когда научился я читать, вспомнить не могу. Еще в Ахтырях я знал буквы. Кое-какие сказки ступинских изданий я не то знал наизусть, не то умел читать. Толстые книги мама читала мне вслух, и вот в жизнь мою вошла на долгое время, месяца на три-четыре, как я теперь соображаю, книга "Принц и нищий". Сначала она была прочитана мне, а потом и прочтена мною. Сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа мною не была понята. Дворцовый этикет очаровал меня. Одно кресло наше, обитое красным бархатом, казалось мне похожим на трон. Я сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард IV на картинке, и заставлял Владимира Алексеевича становиться передо мною на одно колено. Он, обходя мой приказ, садился перед троном на корточки и утверждал, что это все равно. Среди интересов, которыми я жил, чтение заняло уже некоторое место. Знакомые дети. До этого времени у меня не было товарищей, которых я запомнил бы. Все и всех заменяла мать. Она по-прежнему была всегда со мною, но рядом, за забором, жили Редины, с которыми мне разрешали играть. Рединых было четверо: два мальчика, Борис и Жоля, или Жора. Борис — старше меня. Жора — моих лет. Борис белоглазый, рослый. Любил рассказывать потрясающие истории. Он рассказывал, между прочим, что земля находится в зубе чудовища, дракона, что это ему точно известно. Я этому немедленно поверил. Жора был необыкновенно румян — это свойство он сохранил на всю свою жизнь, прост и весел. Девочка Ирина, худенькая, бледная, рассудительная, ходила в очках и была старше всех нас, а Маня — ее помню совсем смутно — моложе всех. Иногда появлялась их мама (Александра Васильевна?), добродушная, внимательная, тоже в очках. Отца у Рединых не было. Я проводил у них много времени. Мы играли в саду.

15 сентября 1950 г.

У Рединых в саду мы играли "в беседки". Мы тщательно подметали под кустами, не могу вспомнить — какими. Вспомнил, кажется, барбариса. Получалось и в самом деле похоже на беседку, и когда Ирина и Маня сажали туда своих кукол, то казалось, что им там очень уютно. До сих пор кусты, под которыми чисто подметено, вызывают у меня особое чувство. Впрочем, подметали мы уж очень тщательно, подобные кусты попадаются мне теперь нечасто. Мы мели, пока мелось, сметали и сор, и листья, и верхний слой земли, пока исца-

рапанный метлой чистый твердый пол не образовывался под ветками. А тут еще я прочел в ступинской тоненькой книжке донельзя сокращенное “Путешествие Гулливера к лилипутам”. И мне так захотелось быть маленьким, с ладонь, и ходить в траве по горло, и сидеть в нашей беседке.

16 сентября 1950 г. Я заметил, что, закрывая глаза и глядя на солнце, я вижу красный свет. Я открыл, что если нажмешь пальцем на глазное яблоко, то изображение раздваивается. Я открыл, что если глядишь на свечу прищурясь, — к глазам протягиваются отливающие радугой лучи. Затем я открыл в себе способность, закрыв глаза, из мерцающих неровных пятен составлять картины — лес, человеческие профили, мячики. Отец сидит во дворе на сложенных у сарая дровах. Я — возле. Я пытаюсь объяснить ему это последнее открытие. Он, посмеиваясь, спрашивает: “Ну а меня можешь увидеть, закрыв глаза?” Я закрываю глаза и из мерцающих, двигающихся красных пятен получаю на миг сваленные дрова и отца на них. Выслушав мое сообщение, отец недоверчиво качает головой. Я открываю, что если тереть изо всей силы глаза, то увидишь ослепительный свет. Мама, узнав об этом, решительно запрещает мне производить какие бы то ни было опыты над глазами. Часто бываем мы и у Соловьевых. Узнаю, что у них, кроме девочек, есть еще и сын Костя. Это не слишком общительный невысокого роста длиннолицый мальчик. Он старше Наташи года на два. У Соловьевых своя лошадь, на которой ездит по больным Василий Федорович. Этот маленький, легенький, молчаливый человек с небольшой бородкой окружен всеобщей любовью. Но так как со мной он не заговаривает, то я его побаиваюсь. Появляются у нас еще знакомые — Андрей Андреевич Жулковский и его жена Елена Андреевна. Он человек ласковый, но страшен мне тем, что говорит в нос, гундосит, как объясняет мне няня. О жене его все говорят, что она человек плохой, злой, лукавый. Но мама вдруг берет ее под защиту, дружит с ней, несмотря на свою необщительность. И однажды, когда папа спрашивает ее о причинах этого, мама говорит нечто не вполне понятное мне тогда: “Бывает, что лежит израненный человек. Никто и не глядит на него, а подойдет собака да полижет. Он и собаке рад”. Отец делает такое лицо, как будто услышал невыносимую глупость.

17 сентября 1950 г.

Дружба с мамой, несмотря на появление новых знакомых, продолжалась. Я рассказывал ей обо всех своих мыслях и чувствах и судил и рядил обо всем так же, как она. Если я спорил или не соглашался, то это ничего не стоило — я в конце концов сдавался. Если она осуждала кого-нибудь, тень падала на этого человека, если хвалила, то его будто солнцем освещало. Первое, что я видел, просыпаясь, было мамино лицо, и не было большего счастья, если она соглашалась посидеть, пока я не усну. Я верил ей во всем. Однажды мама стала уверять меня, что вовсе она не моя мама и даже не знает, как я попал сюда, к ней в дом. "Мальчик, вы чей?" — упорно спрашивала она меня. Я знал, что мама шутит, играет, но вместе с тем страх все больше и больше охватывал меня. И наконец поверив, что я чужой мальчик, я завопил страшным голосом и бросился бежать, сам не зная куда. Мама тоже испугалась, стала меня успокаивать, и скоро мы стали смеяться вместе с ней над моим испугом. Одного меня в те времена не пускали никуда, кроме Рединых, живших за забором, но зато и я не отпускал мать. Днем мы ходили вместе по магазинам, иногда, очень редко, правда, на базар, иногда в гости к Соловьевым, к Островским, к Анне Александровне или Елене Андреевне. Магазины были вот какие: Чумалова, Просянкиных — галантерейные, Богарсукова — мануфактурный, Мареева — книжный, Кешелова — большой бакалейный магазин, вытянувшийся вдоль базарной площади, а рядом с ним столь же длинный посудный магазин Тимонина. Кроме того, был шляпный магазин, точнее, шляпная мастерская модистки Табаковой, однофамилицы фабриканта. У нее тоже были девочки— Надя, Мирра и Роза. Во все магазины и особенно на базар я ходил довольно охотно, ненавидел я только большой и просторный магазин Богарсукова. Туда мама одна не ходила, а со знакомыми — с Беатрисой Яковлевной, с Татьяной Яковлевной. Материи горой вырастали на прилавке. Приказчик влезал по лестнице под самый потолок, выбирал и доставал штуки сарпинки, сатина, ситца — от одних названий нападала тоска. Запах материй погружал меня в уныние. Но тоскливее всего, конечно, было то, что если уж мама шла к Богарсуковым, то это было надолго.

18 сентября 1950 г.

Кроме больших магазинов, которые я назвал выше, и сияющего белого киоска направо от ворот городского сада, кроме колбасной Карловича и булочной Окумышева, су-

ществовали еще маленькие бакалейные лавочки. Самая знаменитая из них помещалась в квартале от городского сада. Это было бойкое место. На одном углу (по левую руку, если идти от сада) помещалась колбасная Карловича, на другом — шляпная мастерская Табаковой, на третьем (по правую от сада руку) зубоврачебный кабинет Очаковского, а против него, на четвертом углу — Мюр и Мерилиз — так называлась знаменитая лавочка. И в самом деле, там было все. И бакалейные товары, и огромные апельсины из Яффы, и шишечки, или мушмула, и китайские орешки, которые в Майкопе почему-то носили имя фисташек, и виноград, и яблоки, и каштаны, и керченские сельди в больших овальных запаянных коробках, и лимонад, и папиросы. Помню рекламный плакат какой-то табачной фабрики на стене: мужчина в цилиндре и женщина, кокетливо подобравшая юбку так, что видны кружева, прикрывшись от ветра розовым зонтиком, через который просвечивают их профили, прикуривают друг у друга. Торговал в лавке какой-то армянин, полный и флегматичный. О нем рассказывали, что на вопрос: "У вас лимонад из кипяченой воды?", он ответил: "А вам из какой надо?" Кроме Мюр и Мерилиза помню две лавочки, где мы брали на заборную книжку. То есть лавочник записывал взятый товар в книжечку, а деньги получал раз в месяц. Двадцатого. Кроме лавочек и магазинов, существовали шашлычные, куда старшие ходили иногда ужинать. Больше всего я запомнил шашлычную "Самсон", на вывеске которой он и был изображен раздирающим львиную пасть. Эта шашлычная помещалась в полуподвале, как и все остальные, впрочем. В шашлычную я попал много позже, но в клубе мне приходилось обедать. Больше всего меня пленяли там тяжелые судки с горчицей, уксусом и подсолнечным маслом, которое никогда не употреблялось за обедом.

19 сентября 1950 г.

Часто ходили мы за Белую. Туда было две дороги. Одна через кручу. Для этого надо было пройти через весь городской сад по главной аллее, перейти по деревянному мосту через небольшой овраг, свернуть направо по дорожке над обрывами, заросшими кустарником и травой, откуда видна была долина Белой, лесистая, с островками и перекатами, дойти до забора вокруг казенного дома начальника шоссейной дистанции и по узкой дорожке пройти над кручей под забором. Обогнув забор, мы видели внизу шоссе и железный, окрашенный в красный цвет мост через Белую. Мы спускались к этому мосту, переходили на другую

сторону — вот мы и за Белой. Другой путь был проще. Мы не сворачивали за оврагом направо, а шли прямо к забору, огораживающему эту невозделанную часть городского сада. Здесь была калитка со ступеньками, защищавшими сад от свиней и коров. Поднявшись и спустившись, мы шли через поле к больнице и оттуда уже поворачивали вправо по дорожке в лес. С одной полянки на горе был виден Майкоп: весь в зелени, с желтыми хлебами за городом до самого горизонта. Однажды, когда мы шли по лесу, я спросил у отца: "Кто это кричит?" — "Дикая цесарка!" — ответил отец. Он иногда ходил на охоту. Помню шкуру зайца, которая долго валялась на кухне и хрустела, когда ее тронешь. Говорили, что она неправильно снята. Помню перепелок и рассказ, ужаснувший меня, о том, что охотники разбивают голову раненой птицы о приклад ружья. Кто-то из охотников убил медведя, и отцу подарили медвежий окорок. Он тоже оказался неправильно приготовленным и невкусным. До сих пор я вижу во сне, что, перейдя Белую, я беру влево и сворачиваю лесом на дорогу, приводящую меня далеко в горы. Дорога эта существует и в самом деле, но приводит только к табачным плантациям.

20 сентября 1950 г.

Если мы собирались на Белую не шутя, на целый день, то ехали на извозчике или вместе с Соловьевыми на их поместительной линейке на третью версту. Здесь, у самого шоссе, на большой поляне в лесу стоял домик лесника. Лесник ставил самовар, выносил маленький стол и стулья, которых обычно не хватало на всех, так что часто стелили еще ковер на траве. Кстати, о линейках. В те дни, когда отец дежурил в больнице, за ним приезжал на больничной линейке Тимофей, рыжебородый кучер, служивший в своей должности, пока мы жили в Майкопе, да и потом, помнится, чуть ли не до самой своей смерти. Узнаю об этом, когда увижу Наташу Соловьеву. Заезжал он вместе с фельдшером Алимовым (с моей точки зрения, прекрасным человеком, так как он был со мною ласков) за папой и по утрам. Очевидно, и в те времена была какая-то домашняя помощь больным. Или папа еще оставался какое-то время городским врачом, совмещая это с работой в больнице? Тем более я стал сомневаться вдруг, Тимофей ли заезжал за папой по утрам или другой кучер, на другой линейке? Но дело не в этой никому не нужной точности, а в том, что в хорошую погоду папа брал меня с собою. И кучер, пока фельдшер и папа были у больных, давал мне подержать вожжи. Чудный запах кожи и лошадей. Сытые лошади

нетерпеливо рыли копытами землю, а кучер, к моему величайшему удивлению, кричал им: "Балуй!" По-моему, следовало кричать: "Не балуй!"

22 сентября 1950 г. Владимир Алексеевич Добряков, которого я так любил, который становился на корточки перед моим троном, который делал для меня из картонных табачных коробок домики, мельницу с окнами из красной цветной бумаги, светящимися, когда внутри зажигали свечу, мой лучший друг, — поссорился с мамой. И что всего печальней, поссорился из-за меня. После обеда я играл в передней, куда выходила дверь Владимира Алексеевича. Играл и пел, и разговаривал с игрушками. Вдруг дверь комнаты моего друга распахнулась, и он вышел оттуда сердитым. К несчастью, в тот же самый миг в переднюю вышла мама. Увидев злое лицо бухгалтера, она пожелала узнать, что случилось. И Владимир Алексеевич, сделав жест в мою сторону, сказал: "Этот не дал уснуть ни на минутку". Мама оскорбилась глубочайшим образом, и через несколько дней мой бывший друг переехал от нас. Припоминаю теперь, что бухгалтер ухаживал за Беатрисой Яковлевной и одновременно за маленькой, похожей на японку, Эмилией Хаджибековой, очевидно, колеблясь и не зная, в кого влюбиться. Переехав от нас, он вскоре сделал выбор и женился на Эмилии. Брак, очевидно, не был удачным. Помню, как Беатриса Яковлевна говорила маме полушутя, полупечально: "Вот женился бы на мне, ничего подобного бы не было". Вскоре Добряковы уехали из Майкопа, и я никогда их больше не видел. Однажды у нас были гости, очевидно, не хватило чего-то, возможно, вина. И папа поехал со мною и с Надеждой Хаджибековой в магазин. По дороге они весело болтали и даже один раз поцеловались, о чем я немедленно рассказал маме. Папа объяснил это тем, что сегодня [был] день рождения Надежды. Она мне очень нравилась — высокая, стройная, с ласковыми и живыми черными глазами. Вскоре и она уехала из Майкопа, и мы узнали, что она вышла замуж за сына Жоржа Бормана. И ее я не видел больше никогда в жизни. И старик Хаджибеков остался один.

23 сентября 1950 г. Он все не менялся, пока мы жили в Майкопе, все так и ходил, бродил возле своего дома, страшный, белый, седой, с пронзительным взглядом. Когда много позже я прочел "Портрет" Гоголя, то вылезающий из картины старик представлялся мне

Хаджибековым. Появились у нас еще знакомые. Долго собирались мы пойти к Христофору Георгиевичу Шапошникову. О нем говорили, что принадлежащая ему коллекция бабочек известна чуть ли не во всем мире. И мы отправились наконец в большой одноэтажный белый дом Шапошниковых за соборной площадью. Бабочки в стеклянных ящиках, ящерицы в спирту, чучела зверей и птиц — теперь мне трудно вспомнить, где я их видел, у Христофора или в музее, в Пушкинском доме, позади библиотеки, основанном им же, но значительно позже. Выше я назвал Шапошникова несколько фамильярно, просто Христофором, по привычке. Так называли его взрослые в отличие от его брата Никиты — глазного врача и Минаса, тогда еще студента-юриста. Но именно тогда я запомнил его, Христофора, маленького, черного и устрашающе живого. Он показывал нам бабочек, рассказывал о том, где их собирал. Не уверен, что понял его правильно, но с этой встречи на всю жизнь я сохранил уверенность, что Христофор объехал весь мир. Показав чудеса, хранившиеся в комнате, хозяин повел нас во двор, где я увидел сидящего на цепи живого взрослого медведя, очень добродушного на вид. Христофор поборолся с медведем, но немного. Зверь стал рычать, и Христофор, показав нам забинтованный палец, который он порезал утром, сообщил, что медведь почуял кровь. Я был поражен и потрясен. Потом мы увидели редкой красоты пойнтеров. И, кажется, оленя. Не помню точно. Знаю только, что шел я домой словно околдованный, но разговор взрослых несколько отрезвил меня. Старшие признавали, что Христофор молодец, страстный, знающий свое дело натуралист, что его именем назван новый вид зверька, найденный им в горах недалеко от Майкопа, что горцы, адыгейцы, необыкновенно уважают его. И тут же беспощадные старшие находили, что он странный, что в живости его чувствуется что-то болезненное, что сестры его совсем ненормальны, живут затворницами. И я огорчился.

24 сентября 1950 г.

Я очень любил хвалиться, но не было, кажется, ни одного среди наших знакомых, кого не осудили, хоть однажды, старшие. И маленьких осуждали: Наташа Соловьева держится неестественно, Леля так упряма, что даже отец как-то вышел из себя, Костя — мало способен к наукам. Сердились и на взрослых — исключение составляли Анна Александровна и Василий Федорович Соловьевы. Это меня огорчало. Человек, осуждаемый взрослыми, точнее, мамой, делался бракованным. Из

этого не следует, что родители были особенно строги к людям — нет. Они были скорее благожелательны. Но слово, сказанное случайно, в минуту раздражения, для меня звучало приговором. Я верил всему, не споря и не думая, только огорчаясь. Зато как я восхищался теми, кого мама хвалила. И вот однажды — (было это летом 1902 года? Вероятно, так. Возможно, что годом позже, но вряд ли) — я увидел семью Крачковских. Это событие произошло в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, мы прошли чуть вправо и уселись в траве, на лужайке. Недалеко от нас возле детской колясочки увидели мы худенькую даму в черном с исплаканным лицом. В детской коляске сидела большая девочка, лет двух. А недалеко собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что я заметил это еще до того, как мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: "Подумать только, что за красавица". Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза большие, серо-голубые, глядели строго — вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую, сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни. Мама познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, я узнал, что девочку в коляске зовут Гоня, что у нее детский паралич, как у Бори Островского, что у Варвары Михайловны — так звали печальную даму — есть еще два мальчика, Вася и Туся, а муж был учителем в реальном училище и недавно умер. Послушав старших, я пошел с Милочкой, молчаливой, но добродушной, собирать цветы. Я тогда еще не умел влюбляться, но Милочка мне понравилась и запомнилась, тем более что даже мама похвалила ее. Хватит ли у меня храбрости рассказать, как сильно я любил эту девочку, когда пришло время?

25 сентября 1950 г.

У баронессы мама рассказала, что Земля — шар, который вертится. Сначала я надеялся, что она шутит, но потом понял, что дело тут нешуточное. Долго спорили. В споре выяснилось, что Солнце во много раз больше Земли, только издали кажется маленьким и так далее. Я, наконец, сдался и принял все новые истины безоговорочно. Даже сказал, что, повертевшись волчком на месте и потом сразу остановившись, видишь, как земля кружится. Но мама засмеялась и сказала, что это совсем не то. Все эти новые истины помогли мне поверить, что мы — часть зуба какого-то чудовища.Там же. Мне меняют рубашку. Новый материал отвратительно топорщится. Пахнет унылым мануфактурным

запахом. А самое главное — я не могу дышать, когда на мне приглаживают рубашку, закалывают булавками. Я начинаю задыхаться. Мама не хочет понять это, не верит мне. Она сердится, я плачу. И когда наконец булавки выдергивают и рубашку разбирают по частям, снимают, у меня чувство освобождения из унылой мануфактурной неволи. Так же задыхаюсь я на примерках и теперь. В Майкопе играют не только любители. Приезжает труппа на лето. Среди актеров знаменитый Уралов. На Троицу он приходит к нам. Крыльцо в зелени. А я в зале укрепил несколько веточек прямо на выбеленной стене, поплевал и наклеил. Уралов задумчиво глядит на веточки, видимо не понимая, как это они держатся?

26 сентября 1950 г.

Из актеров моих детских лет, того раннего времени, помню еще Адашева. Вероятно, тогда я услышал впервые имя: Художественный театр. Удивлялись, что такой неважный актер, как Адашев, мог служить в этом театре. Никто, как я теперь соображаю, ни один из наших знакомых ни разу тогда не видел Художественного театра, но слава его была такова, что о нем все говорили с благоговением. Вообще уважение к славе, разговоры о том, что из кого выйдет, а из кого не выйдет, разговоры о писателях, актерах, музыкантах велись у нас часто. Я помню, как по-особенному оживлен был папа, когда к нам зашел Уралов. Славу уважали религиозно. Помню, как мама не раз рассказывала о том, что дедушка однажды сидел и грустно смотрел на своих детей. И маме показалось, что он думает: “Вот сколько сил потрачено на то, чтобы вырастить детей, дать им высшее образование, а из них ничего не вышло”. Это следовало понимать так: никто из них не прославился. И я стал, не помню с каких пор, считать славу высшим, недосягаемым счастьем человеческим. Лет с пяти.

27 сентября 1950 г.

С тем же глубоким, искренним убеждением говорилось о столицах, причем о Москве ласковее. И я не помню, с каких лет проникся уважением к славе, к Москве, к Художественному театру. Сейчас мне придется говорить о резком переломе в моей жизни. Чтобы он стал ясен, поговорим еше обо мне и маме. Я был вторым сыном. Первый умер шести месяцев, от детской холеры. Мать впервые поддалась на уговоры отца и вышла пройтись, подышать свежим воздухом, оставив Борю (так звали моего старшего брата) на руках у няньки. Дело было летом. Нянька

напоила мальчика квасом, и все было кончено. Мать всю жизнь не могла этого забыть. Меня она не оставляла ни на минуту. Вероятно, поэтому я не помню своих нянек. Вся моя жизнь была полна ею, и Редины были первые знакомые, к которым я ходил один. Да и потому, что они жили возле, за забором. Помню, с какой страстной заботливостью относилась она ко всему, что касалось меня, как чувствовала, думала вместе со мною, завоевав мое доверие полностью. Я знал, что мама всегда поймет меня, что я у нее на первом месте. Заботливость обо мне доходила у мамы до болезненности. Она сама рассказывала мне, когда я был уже взрослым человеком, что когда в те давние времена я съедал меньше, чем положено, то она мучилась, не могла уснуть. "Довольно тебе его пичкать!" — кричал отец, когда я, плача, отказывался от яиц всмятку, ненависть к которым, приобретенную в те ранние дни, я сохранил на всю жизнь. Угадывала мама мои мысли удивительно. Я ничего не скрывал от нее, но далеко не все умел высказать. И тут она приходила ко мне на помощь. И вот однажды я проснулся не у мамы в спальне, а в папином кабинете. И услышал крик, который показался мне знакомым. "Мама, мама! — позвал я. — У нас кричит дикая цесарка". На мой зов появился папа. Он был бледен, но добр и весел. Посмеивался. Он сказал: "Одевайся скорей и идем. У тебя родился маленький брат". Так кончилось первое, самое раннее мое детство. Так началась новая, очень сложная жизнь.

28 сентября 1950 г.

"Одевайся скорее и идем", — сказал отец, и я, как часто случалось это со мною и в дальнейшем, не понимая, что с этого мгновения моя жизнь переломилась, весело побежал навстречу неведомому будущему. Мама лежала на кровати. Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массировала ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях я встретил на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать. Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала

кому-то: "Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: "Кто там?" А он закричал: "Открывайте поскорее, новый Шварц народился". Однако этот новый Шварц заполонил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело-то получается неладное. Мама со всей шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она все надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валей на руках и спрашивала: "Правда, он хорошенький?" Каждая болезнь брата приводила ее в отчаяние. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я все приглядывался, все удивлялся и наконец вознегодовал.

29 сентября 1950 г.

И, вознегодовавши, я воскликнул: "Жили, жили, вдруг — хлоп! Явился этот...". Эти слова со смехом повторяли и отец и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье. Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже. Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: "Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала". Я было обрадовался — и тотчас же вспомнил, что девушка говорит так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью бессмысленной и удивлявшей меня самого, но все чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: "Дуры!" По старой привычке я побежал и рассказал все маме, и она побранила меня. Но я не мог объяснить ей, почему я выругал бедных гимназисток. Я, до сих пор окру-

женный, как футляром, маминой любовью и заботой, стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод. В те дни стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор. Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился "этот". Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удается, бессмысленно грубил, бунтовал и суетился.

30 сентября 1950 г.

Конечно, все это развивалось постепенно, ото дня ко дню, но неуклонно, как менялась в те дни и погода. Первая майкопская весна сменилась летом, а вот пришла и осень. Пришел и день моего рождения, по старому стилю 8 октября 1902 года. Мне исполнилось шесть лет. Это первый день рождения, который я запомнил. Он праздновался особенно торжественно, и я получил много подарков. Думаю, что мама, чувствуя мою обиду и желая утешить и напомнить, что я по-прежнему ее сын, позаботилась об этом. Наступил этот торжественный день совершенно неожиданно. Я ждал, что он придет только послезавтра, но, вдруг проснувшись, увидел большого коня ростом с крупную собаку. Он был обтянут настоящей шкурой, белой, с желтыми пятнами. Он стоял возле стула, на котором возвышалась коробка многообещающего вида и размера. Я получил кроме коня волшебный фонарь, прибор для рисования с картинками и матовым стеклом, кубики, лото. Оказывается, помня царский день, в ожидании которого я не мог уснуть, старшие решили скрыть от меня, что день моего рождения вовсе не послезавтра, а завтра. Я был рад, но впервые в жизни испытал удивившее меня чувство разочарования. Мне как будто грустно стало, что больше ждать нечего. Праздник прошел слишком скоро, достался мне легче, чем я думал, и это его как бы обесценило. Впрочем, прошел он весело, было много гостей: Соловьевы, Островские. На дверь повесили простыню, натянули ее, погасили в комнате свет и зажгли лампочку в фонаре. Запахло разогретой жестью, керосином и краской, а на простыне появился круг, сначала рябой и тусклый, а потом ясный и светлый, когда взрослые, с увлечением орудовавшие фонарем, нашли фокус. Вскоре в светлом круге появились большие цветные картинки, видимо, не слишком интересные, потому что я не запомнил ни одной из них. Отчетливо помню

особенный, праздничный запах нагретого фонаря, а картинки забыл. До дня моего рождения или после него, вернее, что после, состоялся еще один праздник: крестины.

1 октября 1950 г.

Да, именно с тех давних пор я приобрел привычку, с которой безуспешно борюсь до сих пор: сказав что-нибудь, заглядывать в глаза собеседнику, чтобы увидеть, какое впечатление произвели мои слова, или, что еще хуже, с улыбкой оглядывать всех, даже посторонних, сидящих за соседними столиками в ресторане или на скамейках трамвая: похвалите, мол, меня, бедного. Эта пагубная привычка привела к тому, что иной раз меня считают слабее, чем я есть. Это мешает во многих случаях моей жизни. Впрочем, если у меня хватит смелости довести мои записи до сегодняшнего дня, то об этом еще будет место поговорить. А сейчас я вернусь к Валиным крестинам. Совершал их батюшка, молодой, необыкновенно красивый и пышноволосый. (Еще недавно он был жив и ссорился с прихожанами за то, что они приходили в церковь с самодельными свечками.) Привезли купель, поставили в зале, и я наслаждался зрелищем незнакомого матово-серебряного чана, сразу изменившего весь облик зала. Пришли девочки Соловьевы. Пришел крестный отец Константин Карпович Шапошников, большой, бородатый, в серой черкеске, постукивая деревянной ногой. Крестной матерью была Анна Александровна. Купель наполнили водой под маминым наблюдением: она измерила ее температуру градусником. Батюшка надел ризу, и в зале стало так необыкновенно, что я стал искать глазами маму. Но ее в комнате не оказалось. Я помчался искать ее. Она накрывала на стол в столовой и была встревожена и печальна. В зал идти она отказалась. Она, оказывается, боялась, как бы Валя не захлебнулся в купели. Я сказал, что этого не может быть, и вернулся в зал. Крестины прошли благополучно, только когда батюшка дал нам, детям, приложиться к кресту, четырехлетняя Вера Соловьева в неопытности своей крест не поцеловала, а лизнула.

2 октября 1950 г.

Новый Шварц, его плач, кормление, кроватка, на спинке которой мама повесила золотой его крестильный крест, вскоре украденный одной из нянь, его ежевечерние ванны— все это вошло в быт, и скоро трудно было представить, что мы когда-то

жили без него. Был наш Валентин мальчик нервный, пугливый. Взмахнешь рукой, крикнешь, двинешь стулом — и он сейчас вздрогнет и закатится. Но и смеялся он охотно. Был какой-то недолгий период, когда я стал относиться к нему терпимо. Некоторое время мне даже стало казаться, что он похож на ангела. Но вскоре ощущение это исчезло. Уж слишком явно занял он место, которое я считал навеки своим. Как это ни странно, мне трудно припомнить первую майкопскую зиму. Появились в продаже каштаны, и мы жарили их в печке. Это было очень уютно, и каштаны, лопаясь, громко стреляли и прыгали иной раз из печки сами собой. Помню, что печи у нас были герметические — мне очень это слово нравилось. Появились в продаже шишечки, или мушмула, серо-желтые, некрупные, с большой грецкий орех плоды, с одной стороны слегка заостренные, с другой — имеющие углубление наподобие кратера. Плоды эти были привозные, откуда — не знаю. Кроме Майкопа, где они появлялись осенью, нигде их не ел. Я стал много читать. Пустота, образовавшаяся вокруг меня, требовала заполнения. Я не мог научиться жить один и, если не было книжек, очень скучал. Очевидно, в течение всей зимы шел во мне какой-то процесс, требовавший много сил и не осознанный мною. Поэтому я не помню ни внешних событий, ни внутренних. В тот период моей жизни боязнь темноты усилилась. Темнота населилась живыми существами, крайне странными.

1 октября 1950 г. Переходный возраст переживаешь не только в тринадцать-четырнадцать лет, но и раньше и позже. Несомненно, что возраст между шестью и семью годами критический, причем у меня этот кризис совпал с рождением брата и отдалением мамы. Сильно развились чувства страха, одиночества, мистического страха, ревности, любви, вспыхнуло воображение, а разум отстал, несмотря на чтение запойное и беспорядочное. Вероятно, потому, что сознание было ослаблено, я так мало помню зиму 1902/03 года. Зима в Майкопе обычно бывает мягкой, с частыми оттепелями, но Белая замерзает, и санный путь устанавливается. Тишина первого зимнего дня, первого майкопского зимнего дня, вероятно, запала мне в душу позже. Стараясь припомнить зиму, я вижу площадь перед домом Санделя, медленно падающий крупный снег и переживаю чувство вины от каких-то невыполненных обязанностей, мешающее мне наслаждаться приходом зимы. Следовательно, я уже учусь. Чувство вины связано у меня

с учением, уроками, запущенными школьными делами. Впрочем, мне кажется теперь, что с Надеждой Хаджибековой мы ехали за вином на санях широких, покрытых коврами. В таком случае это было 10 декабря, в день рождения отца. Извозчики в Майкопе были хороши. Пароконные фаэтоны или одноконные линейки, стоившие дешевле, всегда стояли на углу против дома Зиньковецкого, который в то время только достраивался. Зимой фаэтоны и линейки сменялись санями — красивыми, разрисованными, ковровыми, а на лошадей надевали уздечки с бубенчиками, особенно звучными в зимней тишине. На 1903 год мне выписали журнал “Светлячок”, издаваемый Федоровым-Давыдовым. Он меня не слишком обрадовал. Был он тоненький. От номера до номера проходило невыносимо много времени, неделя в те времена казалась бесконечной. А кроме всего я жил сложно, а журнал был прост.

4 октября 1950 г. Вероятно, в это же время я бывал часто у Соловьевых. У девочек в комнате стояла этажерка, каждый этаж которой был превращен в комнату — там жили куклы. Я обожал играть в куклы, но всячески скрывал эту постыдную для мальчика страсть. И вот я вертелся вокруг этажерки и ждал нетерпеливо, когда девочек позовут завтракать или обедать. И когда желанный миг наступал, то бросался к этажерке и принимался играть наскоро, вздрагивая и оглядываясь при каждом шорохе. Мама знала об этой моей страсти, посмеивалась надо мной, но не выдавала меня. Когда мы были с нею в цирке? Вероятно, вскоре после того, как видели его торжественный въезд в город. Во всяком случае, это было летом, поскольку зимнего цирка в городе не было. Мы смотрели представление в шапито, и я впервые погрузился в обстановку особенную, цирковую, которая очень понравилась бы мне, если бы мама не смотрела на арену так сурово и печально. Из-за этого я запомнил только китайских фокусников, которых мама похвалила. Тем не менее я был счастлив, и весь мир у меня в этот день вращался вокруг цирка. Я не преувеличиваю. Когда мы шли домой, то встретили на улице даму с двумя мальчиками. “Опоздали! — закричал им я. — Уже кончилось представление!” Зимой 1902 года появился у нас знакомый, фамилию которого я забыл. Кажется, Сушков? Он побывал на Крайнем Севере. Впервые я услышал, что люди ездят на собаках, на оленях, увидел фотографии, привезенные оттуда, и года два ужасно любил Север и

мечтал туда поехать. Особое, ни на что не похожее чувство вызывали у меня слова “ездовые собаки”, “северный олень”, “тундра”. Я мечтал о Севере, пока не прочел “Образовательное путешествие” Верисгофер, после чего так же страстно влюбился в тропические страны, уже на более долгий срок. Кто-то из гостей отца курил сигары, и надолго этот запах оживлял в моем воображении наш зал, отца на диване и человека в черном костюме возле него. Итак, зима 1902 года запомнилась мне туманно. Будто ее и не было.

5 октября 1950 г.

Простота, с которой я собираюсь писать майкопские записки, сводится к тому, что они получаются не простые, а серые. Я не умею описать ни цирка шапито, ни моей любви к этажерке, превращенной в кукольный дом. Я отлично помню ряд вещей, но, боясь, что не найду слов, обхожу, откладываю. Овладевший мною год назад страх, что я глухонемой, не напрасен. Очевидно, так, как я пишу сейчас, ничему научиться нельзя. Попробую рассказать, как я играю в столовой вечером, один. Нянька с Валей, мама ушла куда-то в гости. Я надеюсь, что она вернется, пока я еще не лег спать. Керосиновая лампа освещает только стол. По углам полумрак. В зале — полная тьма. В спальне горит ночничок. Очень тихо, но для меня полной тишины не существует. Оттого что я болею малярией и принимаю дважды в день пилюли с хиной, у меня звенит в ушах, и в этом звоне я могу, если захочу (это похоже на те зрительные представления, которые я вызываю, закрыв глаза), услышать голоса. Вот кто-то зовет беззвучно, не громче, чем звенит в ушах, растягивая: “Же-е-е-е-е-ня!” Темнота, как я открыл недавно, не менее сложна, чем тишина. Она состоит из мурашек, которые мерцают, мерцают, движутся. Если в темноте быстро поведешь глазами, то иногда видишь красную искру. Все эти свойства темноты и тишины я ощущаю непрерывно вокруг себя. Тревожит меня дверь в зал. Сядешь к ней лицом — видишь мрак, сядешь спиной — чувствуешь его за плечами. Но освещенный стол отвлекает и утешает меня. Сейчас стол похож на площадь. Дома вокруг площади сделаны из табачных коробок и коробок из-под гильз. Добряков уже не живет у нас, но я прорезаю окна в домах по его способу. По его же — вырезаю я из бумаги сани с полозьями и лошадь к ним, похожую на собаку. Коробки стоят на боку. Крышки подняты и поддерживаются кеглями, как навесы. В домах живут. Пастух из игры “Скотный двор” стоит под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками,

как бы на траве, что не совсем идет к данному случаю. В другом живет заводной мороженщик, с лопнувшей пружиной. Сундук его давно отломился. В третьем живет деревянный дровосек.

6 октября 1950 г. Деревянный дровосек — тоже часть известной кустарной игрушки; дровосек и медведь бьют деревянными молотами по деревянной наковальне. Игрушка давно распалась на части, и дровосек живет, как я сказал уже, в третьем коробочном, пахнущем табаком доме. Медведь живет возле. Я играю, вожу жителей города на санях, но эта ровная площадь между картонными домами, освещенная лампой, навесы, поддерживаемые кеглями, вызывают у меня мечты сильные, но трудно определимые. Не то мне хочется стать маленьким, как заводной мороженщик, и ходить тут по площади, покрытой скатертью, не то, чтобы этот игрушечный город стал настояшим и я жил бы в нем. Знаю только, что играть, как я играю, мне мало. А между тем вокруг становится все тише, и звон в ушах все отчетливее, нянька не возвращается, очевидно, задремав возле Валиной кроватки. Из столовой стеклянные двери ведут в коридор. И мне кажется, что вот-вот кто-то заглянет в стекло. Я воображаю ясно, как кто-то рассказывает страшный рассказ: " Старшие ушли, а дома остались нянька и дети..." От всех этих мыслей страх и тревога все больше овладевают мной. И темное пространство под столом кажется мне теперь угрожающим. Я подбираю ноги. Мне давно уже пора спать, но я не смею позвать няньку. И вдруг — все успокаивающий, все разрешающий шум отпираемой двери, голоса родителей. Я пробегаю, зажмурившись, наполненный мерцающей тьмой зал и бросаюсь на шею маме. Это было в 1902 году.

7 октября 1950 г. В эту зиму, а может быть, и весной 1903 года, я заболел ложным крупом. Я был простужен, закашлялся ночью и вдруг почувствовал, что дело очень плохо. Это не привычный домашний кашель, а новый, неведомый враг предательски схватил меня за горло. Я вскочил, хрипя и задыхаясь, как в страшном сне, даже крикнуть не мог. Но меня услышали. Отец подбежал ко мне. Мать вскочила с кровати. Не помню, что делали со мною, но вскоре мне стало легче дышать. Из разговора старших я узнал, что припадок ложного крупа у меня на этот раз был легкий, что в раннем детстве я болел куда тяжелее, что болезнь эта давно у ме-

ня не повторялась и, вероятно, посетила меня в последний раз. Так оно и было. На другой день я совсем поправился, мне делали ингаляцию прибором, который папа принес из больницы. Под медным сосудом горела спиртовка, пар пресный, содовый бил из широкой стеклянной трубки, и я дышал этим паром, широко открыв рот. Страшные припадки не повторялись больше, но здоровье мое, как я теперь припоминаю, с переездом в Майкоп ослабело. В Ахтырях я одолел диатез, вырос не по возрасту и считался красивым и здоровым ребенком. В Майкопе малярия и хина превратили меня в ребенка слабого. Кроме того, что-то, очевидно, случилось и с нервами моими. Я вдруг при малейшем волнении стал покрываться потом. Потело лицо: лоб, верхняя губа. Да как! С меня просто лило. Помню, как смущала и удивляла меня эта особенность. Страшные сны мучили меня так, что я боялся идти спать. Раздражительность стала очень остро проявляться у меня. Любя старших и боясь их, я всю беспричинную злобу срывал на няньках. Я ссорился с ними, грубил им, пытался щипать их, за что влетало мне беспощадно. Я делался трудноватым ребенком и сам понимал это, обвиняя только себя в своих преступлениях.

8 октября 1950 г. Приходится с зимой, первой майкопской зимой расстаться. Больше ничего я не могу вспомнить о ней. Разве только романс, который пел отец. Начинался он словами: “Я ласточку видел с разбитым крылом”. Продолжения я не слышал ни разу. Музыка и слова так потрясали меня, что я, заткнув уши, бросался бежать куда глаза глядят. Однажды я услышал, как духовой оркестр под управлением Рабиновича сыграл этот самый романс, который был кроме того еще и вальсом, — действие было то же самое. Вообще в это время музыка стала действовать на меня. Главным образом все тот же духовой оркестр Рабиновича, особенно когда я слушал его вечером, издали. Что еще? Мне предстоит рассказывать о лете 1903 года, о последней поездке к маминым родным. Это сложно, трудно. Очень важное место в моей жизни занимает лето в Жиздре. На этот раз, по желанию бабушки, все ее дети съехались у старшего ее сына, Гавриила Федоровича, который служил в этом городе. Было ему, вероятно, в то время лет под сорок. Он был холост, но дом занимал просторный, жил, как помещик, своим хозяйством. Не знаю, кем он был по службе, кажется, тоже акцизным чиновником, как дядя Коля. Но жизнь, видимо, удалась ему

лучше. Вероятно, как университетский человек, и место он занимал более важное, чем младший брат.В Рязани мы не были по крайней мере с девятисотого года. Три года — огромный срок в тогдашнем моем возрасте. Я помнил и деда, и всех моих дядей и теток, но время, когда я гостил у них, казалось мне таким давним прошлым, чем-то столь же мало связанным с действительностью, как прочитанная книга. И вот мы едем в это прошлое, которое мы так часто вспоминали с мамой. Оно, оказывается, существует на самом деле! И вот я простился с Соловьевыми, Редиными, Майкопом.

14 октября 1950 г.

Итак, летом 1903 года мы поехали в Жиздру через Москву и Рязань. Путешествие началось рано утром. Кажется, до Армавира провожал нас отец. Вале еще не было и года. Ехала ли с нами нянька? Не помню. Итак, рано утром к дому подъехал фургон, глубоко ненавистное мне четырехрессорное и потому непрерывно качающееся сооружение. Впряжена в него была тройка коней. Этот высоко поднятый деревянный ящик с дверцами устлан был сеном, чтобы ногам было мягче. Багаж помещался внутри. Самую громоздкую часть его, корзины, привязывали на запятках, между задними колесами. Как меня укачивало в этих фургонах! До сих пор запах сена меня тревожит, предчувствую, что мне будет дурно. Обычно я и мама два дня, которые мы тратили, чтобы добраться до Армавира, лежали и мучились. Ночевали мы в пути. Где? Не могу вспомнить. Помню только маленький армавирский вокзал. Сон на вещах. Пробуждение. Шатаясь, плетусь я до влажной скамейки и тотчас засыпаю. На рассвете я сижу на столике у вагонного окна и смотрю, смотрю. Я радуюсь всему, что бежит мимо поезда, и все забываю ради нового.

15 октября 1950 г.

Вот мы и в Рязани. Иван Иванович Проходцов на этот раз не кажется мне сердитым. И я замечаю, что вновь прибывших не обижают. Не обижает меня и Зина, младшая мамина сестра, которая еще учится в гимназии. У нее шелковская страсть дразнить особенно сильна, очевидно, по молодости лет. Как мне кажется, бабушку и Зину мы застаем на даче. Я впервые в жизни замечаю, что знакомые места после разлуки кажутся меньше. Уменьшилась Рюмина роща, сама дача с узорчатым крыльцом, черемуха возле нее. (А может быть, бабушка уже в Жиздре, а на даче живут Проходцовы и Зина, которая задержалась до конца

занятий в школе? Проверить теперь невозможно. Вспомнил — бабушка встретила нас в Жиздре.)Мы идем с мамой и Зиной гулять, переходим через какую-то канавку, неглубокую, заросшую травой. Зина со мной ласкова, мама тоже, Валя спит дома, и я счастлив. Но вот возле одной из дач мы видим прислоненную у двери крышку гроба. Кто-то у соседей умер. Сестры делаются печальными, грустно и мне. Кажется, в этот же день вечером я слышу разговор мамы и тети Сани о том, что Зина так любит бабушку, что невозможно представить себе, как перенесет она ее смерть. А бабушка уже стара, прихварывает. Сестры говорят так грустно, что мне хочется сбежать, но уже стемнело. Поздно. Я затыкаю уши. Вспомнил вдруг, как я не любил, когда мама хмурилась. Я бросался к ней и старался пальцами стереть морщину между ее бровями. На другой день все забылось. И Зина, очевидно, привыкла к тому, что мы приехали, и стала дразнить меня. Она спрашивала, как мы живем в таком диком месте, как Майкоп. Не верила, что там есть дома, и утверждала, что мы ютимся в палатках. Это привело меня в отчаяние, и я воскликнул: "Вот как приедешь — все добрые, а на следующий день дразнят!" Все засмеялись, а я запомнил это обстоятельство на всю жизнь. Я считал себя бракованным и радовался и наслаждался всеми видами одобрения. Слава нужна была мне не для власти, а чтобы чувствовать себя равным с другими. Так это и осталось доныне.

16 октября 1950 г.

Путь в Жиздру лежал через Москву. И я наконец увидел город, о котором столько слышал чуть ли не с первых дней своей сознательной жизни. Должен признать, что воспринимал в те годы все новое с одинаковой жадностью, как и подобает щенку. Частности заслоняли главное, смотреть я не научился. Через Москву мы поехали на извозчике, переполненном до крайности. Во всяком случае, я сидел у мамы в ногах, поперек пролетки, расположив свои ноги на приступочке. Извозчик крестился у церквей, и, едва он снимал свою твердую плоскую шляпу с загнутыми полями, я тоже снимал картуз и с наслаждением крестился вслед за ним. В Майкопе мои отношения с небом несколько запутались и затуманились. Это меня мучило, особенно вечерами, когда мамы не было дома. Здесь дело обстояло проще, как и всегда, когда мы попадали к маминым родным. И я крестил себя вслед за извозчиком и с наслаждением чувствовал, что я такой же, как все. Пролетка тряслась и

тряслась по булыжной мостовой, но вот мама оживилась: "Гляди, гляди — Кремль!" И мы поехали по такой же булыжной мостовой через Кремль. "Вон дворец!" Я поглядел на дворец, и он поразил меня количеством печных труб на крыше. Почему я заметил и запомнил только трубы? Не понимаю. Студентом уже я старался найти то место, откуда увидел крышу дворца, — и не мог. Потом мама показала мне царь-пушку, царь-колокол, окружной суд. Проезжая через Спасские ворота, мы с извозчиком сняли шляпы и перекрестились. И вот и все. Одинаково отчетливо запомнились мне трубы, церкви, булыжная мостовая, мое место поперек пролетки, перегруженный извозчик, окружной суд. А то, что я впервые ехал через большой город с высокими домами, я проглядел. И вот мы приехали в Жиздру. Бабушка радостно приветствовала нас. Мне она показалась маленькой. Одета она была в черное и все спрашивала: "А ты помнишь дедушку крапивного?"

18 октября 1950 г.

И вот мы приехали в Жиздру. И я с наслаждением погрузился в знакомый и вместе с тем начисто забытый быт. Как я уже говорил, дядя жил широко своим хозяйством. Его просторный дом легко вместил всю шелковскую семью. Выйдя в одну дверь, мы попадали во двор, где стояли службы: кухня, сарай дровяной, сарай экипажный, с линейкой, коляской и беговыми дрожками, и конюшня, с вечным полумраком и привлекательным запахом кожи и лошадей, со смутно видимыми в стойлах тремя конями. Два вороных звались Васька и Фока. А кобыла рыжей масти носила имя Зорька. Через другую дверь попадали мы в сад с яблоневыми деревьями, беседкой, заросшими травой аллеями. Все это мы быстро осмотрели с Ваней и Лидой. И началась жизнь, полная новых чувств. Самое главное — была вспышка, пожар чувства религиозного. Бабушка, узнав, что я, несмотря на свои неполные семь лет, еще ни разу не был у причастия, разгневалась. И вот я, одетый в самый лучший свой выходной костюм, кажется, матросский, отправился с бабушкой в церковь. Служба, пение хора, звяканье кадила, строгие лица святых, свечи, которые передавали друг другу, постукивая по плечу и сообщая шепотом, какому ее святому поставить, староста с блюдом, обходящий молящихся, запах ладана, всеобщие коленопреклонения — все это перенесло меня в новый мир, который казался мне прекрасным и священным во всех своих проявлениях. А когда мы пошли к священнику и я принял причастие, то совершилось уже настоящее чудо. Я

почувствовал, как причастие прошло по всем моим жилам, — так именно описал я это чувство маме и бабушке. Трезво настроенная мама объяснила это тем, что я не ел с утра, волновался и впервые в жизни проглотил ложку вина. Но бабушка приняла это иначе. Как я узнал позже, она плакала и говорила, что на меня снизошел святой дух. Она сама видела, как я дрожал. Наверное, утверждала она, я буду святым.

14 октября 1950 г.

Все, все в Жиздре шло не по-майкопски. Даже хлеб был не такой, как в Майкопе. В Майкопе хлеб был белый, пшеничный, ржаного не продавали ни в булочной Окумышева, ни на базаре. Маме, скучавшей по своему рязанскому, северному хлебу, покупали его, при случае, в казарме у солдат. Им полагался по их солдатскому рациону непременно хлеб черный. А в Жиздре белый хлеб носил незнакомое мне имя ситного, а черный звался просто хлеб. Пекли его дома. Яблоки в саду рвать не разрешалось, хотя многие сорта поспели. Ждали Спаса. Можно было собирать только яблоки упавшие. Это привело к игре — кто первый найдет яблоко в траве. Вот сидим мы, обедаем. Вдруг — казавшийся мне значительным, ясно слышимый в тихий летний день звук яблока, стукнувшегося о землю. Несмотря на протесты и окрики старших, я, Ваня, Лида вскакиваем из-за стола и мчимся на поиски. Вид яблока, лежащего в траве под деревом, до сих пор особым образом радует меня. Вскоре в этой игре приняли участие и старшие. Помню, как мама, с их шелковской настойчивостью, изводила полдня Зину, показывая в лицах, как та стоит над самым яблоком и не видит его, а яблоко мигает маме: “Вот, мол, я, хватай, бери!” Помню счастливый день. Я, встав из-за стола после утреннего чая, задержался под яблоней, разговаривая с мамой. Вдруг порыв ветра — и три яблока упали разом: одно прямо мне в руки, а два — под ноги. Купальня на реке была тоже совсем не такая, как в Майкопе. Прежде всего она была только наша. Мы шли по мостику к домику на сваях, сами отпирали замок на двери и входили внутрь. В домике вместо пола были неширокие мостки вдоль четырех его стен. А между мостками, пониже их, блестела вода. Река, не в пример Белой, текла не спеша. Всегда она была одного, чуть коричневатого цвета. Пахла тиной, пресной водой. Песчаное дно всегда было видно, река не меняла прозрачности своей от дождей в верховье.

14 октября 1950 г. Да, в те времена я был переменчив. Утром — один, днем — другой, вечером — третий. В Майкопе я был майкопским мальчиком, старался букву "г" произносить как немецкое "h" и стеснялся, что у меня светлые глаза, тогда как у всех вокруг — карие. В Жиздре же я был рязанским, как все Шелковы, и обижался, когда Зина дразнила меня черкесом. Я не приспособлялся к новой обстановке, не подражал, не поддавался влияниям, а просто менялся весь, как меняется речка утром, днем, вечером. Я, как, вероятно, и все дети, жадно впитывал новые впечатления, которые вызывали новые сильные чувства, иногда по глубине своей несоразмерные вызвавшему их явлению. Большой праздник. В Жиздру приносят на руках чудотворную икону, кажется, из близлежащего монастыря. С утра мы готовимся к торжеству. Бабушка в новом черном платье, мы причесанные и обутые (дома разрешалось бегать босиком), мама, тетя Саня, Зина — все праздничны. Мы с Ваней ходим за кучером и любуемся — он запрягает вороных в коляску. И вот мы едем. Черные лаковые крылья блестят на солнце. Стоя в коляске, глядим мы на крестный ход с хоругвями, золотыми ризами и тяжелой чудотворной иконой, которую несут, как мне кажется, на полотенцах. Потом мы входим в знакомый уже собор с торжественным сиянием свечей и божественным, но пугающим теперь запахом ладана. (Мама рассказала о ком-то, кому все чудилось, что ладаном пахнет, после чего он умер.) Я прикладываюсь к прохладной ровной руке богородицы, и мы пробиваемся к выходу. Это поездка праздничная, торжественная. А вот поездка будничная. Из сарая выкатывают не коляску, а линейку, в которую запрягают рыжую Зорьку. Бабушка выходит с корзинкой. С ней Марьюшка, бессменная шелковская прислуга. (Кстати, сын ее, нехороший мальчик, тоже гостит у дяди Гаврюши.) Если мама разрешает, то бабушка берет меня с собой. Следует признаться, что отношения у нас несколько осложнились. Бабушка, разглядев, как испортился мой характер после рождения брата, перестала, видимо, надеяться, что я буду святым. Тем не менее мы дружно беседуем, пока Зорька не спеша везет нас в торговую часть города. И здесь мне многое ново. Вот мы заходим в лавку, где сильно пахнет мукой. Весы здесь стоят на полу. Товар набирают из каких-то разделенных деревянными перегородками вместилищ и насыпают широкими совками в мешок. Тут я с удивлением узнаю, что мука, из которой пекут черный хлеб, тоже довольно белая. Так ездим мы из лавки в лавку. Я доволен тем, что бабушку уважают

приказчики, приносят ей стул, называют по имени-отчеству. Покупки все будничные: бруски стирального мыла, гречневая крупа, сахарный песок для варенья, которое варится в медных тазах на тагане, под яблонями. Иной раз на пути домой происходит событие, которым я потом хвастаю перед всеми, даже перед суровым и несообщительным дядей Гаврюшей, который в ответ только говорит неопределенно: "Хм!" Событие таково: кучер дает мне вожжи, и я правлю смирной рыжей Зорькой. Я, сидя на козлах возле кучера, везу домой по тихим и сонным улицам Жиздры бабушку и Марьюшку с покупками. И Зорька слушается меня, поворачивает куда следует, бежит рысцой. Одно только огорчает меня. Зорька не желает слушаться, когда я говорю ей "тпру!", как я ни стараюсь говорить басом.

26 октября 1950 г. Памятны мне и поездки в бор. Вероятно, это тоже станция на пути к нынешним дням, станции, на которых я успевал оглянуться, и подивиться, и запастись чем-то для дальнейшего пути. Конечно, бор был прекраснее и сада, и дома, и торгóвых рядов, и речки. Для поездки в бор закладывали и линейку, и коляску, лаковые крылья которой так легко нагревались и так празднично пахли. Бор — сосны невиданной высоты, грибы, которые я только тут и собирал в своем детстве (мне кажется, что в майкопских местах их маловато), крики — а-у-у! Рассказы о заблудившихся. Вот передо мною пригорок. Сероватый от мха. "Лисички!" — торжествующе провозглашает бабушка и я собираю в корзинку по ее указанию, целое семейство лисичек. Весь дом выехал в бор, и корзины наполняются грибами. Здесь же, на поляне, мы и обедаем без супа, к моей величайшей радости. Самовар, приехавший на линейке, разводят шишками. Валя спит под деревом, а мы все бродим да ищем, да кричим без особой надобности "а-у-у!" — просто уж очень по-новому гулко звучит голос между высокими стволами. Возвращаемся, когда уже темнеет. Светлячок? Нет, гнилушка. Я рассказываю, что в Майкопе светлячки летают, и никто из детей не хочет мне верить, пока мама не подтверждает мои слова. В Жиздре у меня начали шататься и падать молочные зубы. Здесь же впервые мне сшили штаны, которые держались не на лифчике, а на подтяжках. Я рос и был, помнится, очень доволен этим обстоятельством.

27 октября 1950 г.

С Ваней отношения у меня были странные. Мы все время спорили, как бы соперничали. Споры были странные. Однажды, бродя за кучером, мы спорили так: “Я офицер!”— сказал Ваня. “А я полковник!”— ответил я, подумавши. “Да!— сказал кучер.— Выходит, ты старше. Полковник старше офицера”. Ваня смутился, я торжествующе закричал: “Ага! Ага!” И тут же был сражен и посрамлен. “А я генерал!”— воскликнул Ваня. “Ну, значит, ты и старше! —заключил кучер.—Нет уж, брат! Не спорь! Старше генерала нет чина!” И кличка “полковник” утвердилась за мною. Не помню, называли или нет Ваню генералом, но отлично помню разговоры такого рода: “Что-то наш полковник опять ревет!”, “Полковник, иди, мать кличет молоко пить”. Уже вернувшись в Майкоп, я придумал ответ Ване. “А я адмирал!” — следовало бы ответить мне. Но, увы, было слишком поздно. Помню, как Ваня, сидя в беседке, заливается слезами, глядя в книжку: мать велела ему читать полчаса. Это меня удивило. У меня приходилось отнимать книжку, а его заставляли читать силой. Однажды тетя Саня играла с нами в путешествие. Ваня, Лида и я шли за нею по аллеям сада. “Вот здесь Чертов мост, — сказала тетя Саня, — шаг в сторону, и вы летите в страшную пропасть”. Я пошел через мост, сделал нечаянно, от волнения, маленький шаг в сторону и прыгнул во всю мочь к тете Сане. “Что ты? — удивилась она. — Почему ты так покраснел?” Я был сильнее Вани в чтении, воображение мое за последний год тоже несоразмерно выросло, но Ваня был мужественнее, выносливее, не боялся боли. Помню, как смеялся весь дом, когда Зина привязала ниточку к моему переднему шатающемуся зубу, чтобы выдернуть его, а я, струсив, позорно бежал. Долго ходил я с ниткой, пока хитрая Зина не заговорила со мною о чем-то постороннем и интересном, а когда я увлекся разговором, — она раз! — дернула, и зуб вылетел и повис на нитке.

28 октября 1950 г.

Приехал в Жиздру дядя Федя, которого я помню смутно, да и прожил он у нас недолго. Приехал, тоже ненадолго, дядя Коля. Это сразу отразилось на нашей жизни. Он был весел, смешил всех, построил великолепный замок из песка для нас и украсил его стеклами. Однажды (кажется, это было в тот день, когда мы встречали чудотворную икону), вернувшись домой, мы застали дверь в нашу комнату закрытой. Что за чудеса! Мы уже хотели бежать узнавать, в чем дело, но дверь раскрылась сама собой. Над крошечным круглым озером, сделанным, как

я потом убедился, из эмалированного таза, обложенного дерном, стоял дядя Коля. А по озеру плавали лебеди. И что было удивительнее всего, — птицы слушались каждого движения Колиной руки. Дав нам полюбоваться этим чудом, дядя Коля подарил мне лебедей и красненькую палочку, которая оказалась магнитом, после чего лебеди стали слушаться и меня тоже. А тетя Саня ушла в свою комнату и до обеда ни с кем не разговаривала. Она огорчилась, что Коля так явно показал, что любит больше меня, чем Ваню. Приехала та моя тетя, имя которой я забыл (Катя, вернее всего). Она не училась в гимназии, не ладилось у нее учение. Вышла она замуж, кажется, за управляющего какими-то имениями. Она приехала с мужем — невиданный мною вид людей. Он был высок, черен, шумен. Много пил. Запряг вороных в коляску, сам сел на козлы и так гнал коней, что кучер потом ворчал два дня. Нашумев, провинившись, — каялся. Кричал: "Теща! Пожалуйте ручку!" — и все смеялись, когда он, низко склонившись, целовал бабушке руку. Дядя Гаврюша был холост. Сестры, полушутя, уговаривали его жениться. Писали на бумажках фамилии невест, и клали за икону в бабушкиной комнате. Потом посылали кого-нибудь из нас доставать. Все смеялись, спорили, обсуждая невесту, имя которой стояло на вынутой бумажке, а бабушка плакала. Ее огорчало, что старший ее сын живет бобылем.

31 октября 1950 г.

Среди новых обычаев, незнакомых в Майкопе, помню печальные еловые веточки, разбросанные на пути следования похорон. Открытый гроб, крышку которого несут впереди шествия. Белый профиль покойника. Страх и любопытство. Среди нас царила уверенность, что наступивший на одну из еловых похоронных веточек скоро умрет. Поэтому долгое время после похорон шагали мы через дорогу осторожно, внимательно глядя под ноги. Как я уже рассказывал, с Ваней мы жили не слишком дружно. Но вот пришло время Проходцовым уезжать. Мы проводили их. Долго сидели на вокзале, и я все умолял маму купить в буфете раков. В Майкопе я их не ел, а в Жиздре полюбил страстно, на всю жизнь. Самым вкусным я считал клешни, а у раков, горой лежащих под большим стеклянным колпаком, клешни были великолепны. Но вот поезд пришел, Проходцовы уселись в вагоне. Ваня из вагонного окна стал мигать мне и строить гримасы, смысл которых был ясен: "Я еду! Ага! А ты не едешь! Ага!" Но мне совсем не хотелось вступать с ним в спор, мне вдруг стало

ужасно жалко, что он уезжает! Колокол ударил трижды, засвистел паровоз, улыбающийся, веснушчатый Ваня 1903 года исчез из моей жизни и появился через двадцать пять лет солидным псковским врачом, отцом двух мальчиков, старший из которых напоминал мне, как это ни странно, не Ваню, а меня самого жиздринской поры. Во всяком случае, ему все делали замечания: "Не качайся на стуле! О чем ты думаешь, слушая, что тебе говорят? Не верти стакан, разобьешь!" - и так далее и тому подобное. Итак, Ваня и Лида уехали, и я остался один среди взрослых. Как я скучал по уехавшим. Как я уже тогда боялся одиночества.

1 ноября 1950 г.

Итак, Ваня уехал, и жизнь стала тихой, дни огромными. Мама лечила зубы, испортившиеся после родов. Я провожал ее к зубному врачу и ждал на заросшей зеленой травкой улице. Один раз я услышал, как мама вскрикнула. Она вышла от зубного врача, прикрывая рот платком, и я заметил, что она говорит как-то по-новому, чуть шепелявит. Ей выдернули один из передних зубов и заменили его вставным через положенное время. И мама попросила меня не говорить об этом папе. В переулке за церковью встретили мы продавца грешников. Грешники, похожие на маленькие куличи, выглядели очень заманчиво. Мама не выдержала, купила один и дала мне маленький кусочек попробовать. И сколько я ни просил, так и не позволила мне съесть больше ни крошки, и продавец удалился со своим лотком, крича: "Грешники, грешники!" Я узнал, что эти куличики сделаны из гречневой муки, поэтому и носят столь непонятное для меня имя. Но, увы, они тяжелы для меня. Тяжелы для меня оказались и ржаные лепешки со сметаной, испеченные Марьюшкой. Вредна для меня была и селедка. Вообще все, что я любил, к моему величайшему огорчению, считалось опасным для моего здоровья. Но я отвлекаюсь в сторону. Итак, мы с мамой ходили к зубному врачу, ездили иной раз с бабушкой в торговые ряды, однажды меня взяли вечером в городской сад на музыку — и все-таки я скучал. Книг, подходящих моему возрасту, в доме не было, и я бродил по дому как неприкаянный и мечтал. Ваня стал грустным, поэтическим воспоминанием, а дни, проведенные с ним вместе, представлялись счастливыми. Я забыл все ссоры и споры, и меня не радовало, что кучер одному мне, за неимением соперников, давал проваживать Фоку или Ваську, когда дядя возвращался после прогулки на беговых дрожках.

3 ноября 1950 г.

Чем богаче и сложнее становилась жизнь моя в 1903 году, тем труднее мне сегодня рассказывать о ней. Вот мы пошли смотреть квартиру — старая почему-то казалась неудобной дяде Гаврюше. И перед этим простым воспоминанием у меня руки опускаются. Все откладываю рассказ об этом путешествии. Я знаю, что вряд ли мне удастся передать чувство, вызванное этим большим старым домом, который нам показывал старый лакей, седой, в черном пиджаке, печальный. Я не удивился бы, если бы мне сказали, что это владелец дома. Не хочется отделываться словами "особое чувство", которыми я уже пользовался несколько раз, вспоминая детство. Попробую понять, что поразило меня тут? Не обилие комнат. Их было достаточно много и в старой квартире. А их названия. "Вот буфетная", — говорит старик. И я вижу просторную комнату с деревянным низким шкафом во всю стену. "Вот гардеробная". По этим названиям, по печальному голосу старика, по деревьям сада за широкими окнами я вдруг угадываю, что жизнь здесь шла не так, как у нас. И, очевидно, кончилась. Когда мы осматривали густой, как лес, сад, аллеи которого превратились в неширокие дорожки, то мне ужасно захотелось, чтобы дом этот сняли теперь же, и мы пожили в нем хоть недолго. Но старшие решили, что он слишком стар. "При первом хорошем ветре с него крышу снесет", — сказала бабушка. И я узнал, что дом совсем такой, как помещичья усадьба, что владелец его и в самом деле был богатым помещиком, да теперь разорился. И я с тех пор, когда я читаю о помещичьих усадьбах, то сразу представляю себе этот жиздринский дом.

4 ноября 1950 г.

Закончу жиздринские воспоминания попытками передать отдельные картинки — не знаю, как назвать их иначе, — которые стоят передо мною так, как будто видел я их, пережил только что. Мы пьем чай. Бабушка рассказывает и дважды употребляет слово "намедни". Я спрашиваю, что это значит. "Черкес! — кричит Зина. — Забыл русский язык, черкес". Я стою за воротами и жду своей очереди. Ваня уже покатался на Зорьке вдоль квартала. Теперь катается Лида. Вдруг Зорька встает на дыбы. Лида в своем беленьком платье плавно съезжает по спине Зорьки и легко и нестрашно падает в пыль. Зорька мчится в конюшню, а Лида растерянно идет к нам. Мы с Зиной пришли в гости к соседям, где есть девочка моих лет, очень веселая. Как мы встретимся, так

и хохочем. Вот мы поговорили, посмеялись и успокоились. Я сижу, задумавшись, на перилах крыльца, подруга моя убежала, старшие негромко разговаривают друг с другом, летняя жиздринская тишина. Я слышу привычный звон в ушах, который легко превращаю в слова. Кто-то слегка растягивает слова: "Э-э-эй, вы, ма-а-альчики! Же-е-е-ня! Же-е-е-ня!" Я спрашиваю со свойственной мне в те годы сообщительностью: "Зина, ты слышишь что-нибудь, когда тихо?" Зина не понимает меня. "А я слышу! — сообщаю я. — Кто-то зовет: " Же-е-е-ня!" Зина вдруг так резко обрывает меня, что я прихожу в смущение. И только недавно я понял, что строгость Зины была вызвана тем, что я напугал ее. Ведь это плохая примета, когда человек слышит, как неведомо кто окликает его. А все Шелковы были суеверны. Мы едем по реке в плоскодонной лодочке. Дядя Гаврюша вышел из купальни, разговаривает с нами, стоя по горло в воде. И я вижу сквозь коричневатую, но прозрачную воду песок на дне, плотную белокожую дядину фигуру, мелких рыбешек.

6 ноября 1950 г.

И вот уехали мы из Жиздры в Майкоп. Не удалось мне передать ощущение новой жизни, очень русской рядом с майкопской, окраинной, украинской, казачьей. Мы в последний раз в жизни повидали бабушку, в последний раз в жизни погрузился я в особую атмосферу шелковской семьи — и веселую, и насмешливую, и печальную, с предчувствиями, приметами, недоверием к счастью, и беспечную, и дружную, и обидчивую. Во всяком случае, мама уехала из своей семьи обиженной. Только в тридцатых годах съездила она повидаться со своей старшей сестрой Саней в Рязань. Не знаю точно, как, но маму в Жиздре обидели. Ссоры не было, я бы почувствовал ее, но у мамы было свойство, которое я, к сожалению, унаследовал от нее: умение обижаться по воспоминаниям. В общем, кажется, дело было в том, что мама хотела, чтобы ей дали деньги взаймы. Зная мамину щепетильность в этих делах, я не сомневаюсь, что денег этих она не просила, а ждала, чтобы ей предложили помощь. Но ей, очевидно, не догадались помочь. Ее поддразнивали тем, что мужу скоро уже тридцать лет, что он врач, а все не устроился. Вот она, политика! Поддразнивали маму и тем, что он еврей. Полагаю, что делалось это из неудержимой шелковской потребности дразнить. Вероятно, и мама понимала это, пока мы были в Жиздре, а в Майкопе обиделась. Словом, так или иначе, она и писать домой почти перестала. Майкопские мальчишки быстро

переучили меня говорить букву "г" на великорусский манер, я снова стал стыдиться своих зеленых глаз. Рязанская семья уже навсегда стала воспоминанием.

16 ноября 1950 г. Жиздру, в моем представлении полную колокольного звона, соснового бора, яблочного сада, стука копыт, я неверно рассказал и отбил охоту рассказывать дальше. Пишу это — и вдруг увидел, как, войдя в стойло, кучер отодвигает Ваську плечом и тот, осев на все четыре ноги и стукнув в перебор всеми четырьмя копытами, сторонится, пропускает кучера к яслям. Вижу, как после Спаса обирают яблоки, укладывают их в ящики. И вижу, как, привязав веревки к сучьям обобранной яблони, я играю в звонаря, звоню во все церковные колокола. Сначала — медленно — в большой, а потом в малые, стараясь голосом изобразить трезвон, что удается мне худо. Уже несколько раз слышал я от отца, что слуха у меня нет, и я с горечью замечаю, что это верно. Не могу я спеть перезвона колоколов так, как спел однажды кучер. И песни, которые он поет, выходят у меня бедными и непохожими. От этого моя любовь к музыке принимает оттенок горестный и безнадежный, что в те времена не отталкивает меня. Мы вернулись в Майкоп, все в тот же дом Амбражиевичей, и началась новая зима, 903/904 годов. Осенью исполнилось мне семь лет. Я пережил новое увлечение — мама рассказала мне, как была она в Третьяковской галерее. И это почему-то поразило меня. "Картинная галерея"— эти слова повергали меня в такой же священный трепет, как недавно "нарты", "ездовые собаки", "северные олени". Я оклеил все стены детской приложениями к "Светлячку". А Валя тем временем рос. Он пошел рано, рано начал говорить, так же, как и я, по маминым рассказам. Он был большеголовый, светлоглазый, волосы крупно вились. Вместо "паук" он говорил "пуак". Услышав удары бубна, восклицал: "Свабдя!" — и бежал к воротам смотреть. Когда посторонние хвалили его, мне было приятно, однако из глубины души иногда поднималось у меня такое раздражение против него, таким отталкивающим казалось мне все его существо, что я сам считал себя плохим мальчиком.

17 ноября 1950 г. Я стал гораздо самостоятельнее. Я один ходил в библиотеку — вот тут и началась моя долгая, до сих пор не умершая любовь к правому крылу Пушкинского дома. До сих пор я

вижу во сне, что меняю книжку, стоя у перил перед столом библиотекарши, за которым высятся ряды книжных полок. Помню и первые две фамилии каталога: Абу Эдмонд."Нос некоего нотариуса". Амичис Эдмонд. "Экипаж для всех". Меня удивляло, что в каталоге знакомые фамилии писателей переиначивались. Например, Жюль Верн назывался Верн Жюль. Левее стола библиотекарши, у прохода в читальню, стоял другой стол с журналами. Но в те годы читальный зал я не посещал. Я передавал библиотекарше прочитанную книгу и красную абонементную книжку, она отмечала день, в который я книгу возвращаю, и часто выговаривала мне за то, что читаю слишком быстро. Затем я сообщал ей, какую книжку хочу взять, или она сама уходила в глубь библиотеки, начинала искать подходящую для меня книгу. Это был захватывающий миг. Какую книгу вынесет и даст мне Маргарита Ефимовна? Я ненавидел тоненькие книги и обожал толстые. Но спорить с библиотекаршей не приходилось. Суровая, решительная Маргарита Ефимовна Грум-Гржимайло, сестра известного путешественника, внушала мне уважение и страх. Ее побаивались, но и подсмеивались над ней. Ее знал весь город и как библиотекаршу, но еще более как "тую дамочку, чи барышню, что купается зимой". Одна из Валиных нянек рассказывала, что видела, как библиотекарша "сиганула в прорубь и выставила оттуда голову, как та гадюка". Как я теперь понимаю, у Маргариты Ефимовны был выработан строгий порядок жизни, из которого обыватели только и знали, что неприветливость да зимние купанья. Она была одинока. Вся ее радость заключалась в племяннице. Мне нравилась эта молоденькая девушка по имени Параня, высокая, с большой косой. Не могу точно вспомнить, но, кажется, этой же зимою переехали мы в дом Санделя, не то поляка, не то литовца. Внизу помещалась механическая мастерская хозяина, а второй этаж он сдавал. Эта квартира оказалась тоже просторной — как и Рафичева.

18 ноября 1950 г.

В этой квартире мы прожили, как мне кажется теперь, огромный срок. Переехали мы туда в 1903 году, а оставили ее не раньше 1906-го. Впрочем, об этом я, если хватит терпения, расскажу в свое время.[...] Дом Санделя стоял на углу. Одни окна глазели на площадь, не имеющую имени, другие — на неширокую безымянную улицу, третьи — во двор. Стоя у окон, выходящих на площадь, я видел против нас налево маленький дом, где жило огромное бедное еврейское семейство.

Потом —забор, а за забором — сад. Потом, это уже прямо против нас — дом в полтора этажа. Наверху жил отставной генерал Добротин с женой, а в полуподвале Ларичевы, или Ларчевы, не знаю, как правильно писать их фамилию. Отец их был столяр. От Ларчевых тянулся забор до дома, где жил портной Андропов. За Андроповыми тянулся забор до углового кирпичного дома, который глядел прямо на армянскую церковь. А мимо этих домов шли так называемые тротуары, худо вымощенные, где кирпичом, где булыжником, где каменными плитами. Между ними рос бурьян. Пирамидальные тополя возвышались местами над тротуаром. А площадь не была вымощена ничем. И на ней тоже кое-где рос бурьян. Редкий.

19 ноября 1950 г. Когда я глядел в окна, выходящие на неширокую безымянную улицу, то видел большой сад, который тянулся на целый квартал и кончался против Соловьевых. В саду виднелся кирпичный фундамент недостроенного дома, заросший кустами и травой. Далеко за ним белел домик, в котором жил учитель реального училища Вячеслав Александрович Водарский. Если я глядел в те окна, что выходили в наш двор, то видел у самого дома грушу, а поодаль, у стены дома Лянгертов, — две вишни, под которыми мы обедали, когда становилось тепло. Наша прежняя квартира была близко, за углом. Редины и Соловьевы жили тоже совсем близко, но я бывал у них реже. У меня появились новые друзья, с которыми я целыми днями играл на площади или у нас во дворе. Это были дети Ларчевых— Коля (впрочем, он был старше нас и держался несколько в стороне), Петька, Яшка и еще младшие, имена которых я забыл, затем дети Андроповых—Маня, Варя, Жора, мальчики из еврейской семьи и девочка Санделя—Дина. Я пользовался все большей и большей свободой, и только одно оставалось незыблемым: ел я столько, сколько мама считала нужным. Сколько раз среди интересной игры я вдруг слышал сильный, низкий мамин голос, явственно слышный за целый квартал: "Женя—завтракать!"или "Женя—молоко пить!" Однажды Костя Соловьев проворчал по этому поводу мрачно: "Я такой матери... не знаю, что бы сделал!" Но я слушался. Хотя ворчал и дерзил все больше и больше.

20 ноября 1950 г. Если продолжать рассказывать дальше о Майкопе, то не обойти первого пробуждения самых тайных человеческих чувств. А это мне мучительно трудно. Среди могучих

чувств, отразившихся на всей моей жизни, стыд играет едва ли не первую роль. Нет, не первую, конечно, но огромную. Стыд парализующий, стыд охлаждающий, стыд устрашающий, уж я-то знаю довольно его разновидностей. И вкус мой — от стыда, и любовь к сказкам — от стыда, чтобы не говорить о себе, — явный знак, что решиться рассказывать то, о чем ни разу не рассказывал, — трудно. Тем не менее попробую. До семи лет я, как это ни странно, просто не задумывался о различии между женщинами и мужчинами. Исключением являются рассказанные выше два случая с "распущенным сердцем". Иногда вдруг я замечал, что та или другая девочка красива. Это вызывало у меня радость. Я оживлялся.

21 ноября 1950 г.

Помню соседскую девочку в Жиздре, при встрече с которой я всегда начинал хохотать, шалить, шуметь. Как теперь понимаю, мне нравилось ее чистенькое веселое лицо. (Хотел написать "личико", но стыд схватил за руку.) В дни своего увлечения картинными галереями я узнал, что в них помещаются еще и скульптуры — это слово меня тоже стало в один миг переносить из мира будничного в поэтический. Я стал искать "скульптуры" всюду, где мог. И вот где-то, чуть ли не в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (очевидно, это было у Соловьевых, у нас в те годы не было энциклопедии), среди других скульптур я увидел такую: горилла уносит голую женщину. Женщина беспомощно висела спиною к зрителю. Именно то, что она висела спиной, вдруг неожиданно поразило меня новым чувством: жалости, томления и печали. Но печали приятной. Самая беспомощность похищаемой женщины, невольное, нечаянное бесстыдство позы — все это поражало меня, я помню, как шептал: "Это она нечаянно. Это она нечаянно!" И это усиливало томление, жалость, печаль. Любопытно, что я не искал этой картинки умышленно, но, найдя, каждый раз переживал то, что описано выше. Я тогда еше ничего не знал. Но помню, как у Соловьевых или на площади возле Ларчевых или Андроповых мы вели разговоры, которые мне казались ужасными, преступными, непристойными. Как я помню, они касались больше желудка и его функций, чем других органов человека, но вместе с тем я помню и раскаяние, наступавшее вскоре после этих преступных бесед. Мама со свойственной ей почти таинственной чуткостью часто угадывала причину моего угнетенного состояния, настигавшего меня обычно перед сном. "Опять глупости говорили?" — спра-

шивала она меня грозно, а я это решительно отрицал.

25 ноября 1950 г.

Итак, в то лето и зиму 903/904 года я начал смотреть на девочек с интересом, временами совсем исчезавшим. Припоминаю теперь, что младшие девочки из семейства Ларчевых и Санделей, которым еще и двух лет не исполнилось, бегали по улицам в платьицах, плохо скрывавших их пол. Отчетливо помню, что чуть ли не ежедневно наблюдаемые особенности их сложения вызвали во мне самое глубокое и искреннее отвращение. Припоминаю теперь, что непристойные разговоры касались и этого, в тогдашних условиях воистину бросающегося в глаза различия между мальчиками и девочками. Но, повторяю, я ничего не знал тогда. Оживление, в которое приводили меня красивые девочки, было никак не связано с тем, что я наблюдал с омерзением у их младших подруг. В начале июня 1904 года, когда мне было семь с половиной лет, я влюбился. Причем никто не объяснял мне, что со мной произошло. Я влюбился и сразу понял, что это именно так и называется. Влюблен я был целый год и не разлюбил, а полюбил другую. Попробую в дальнейшем понять и объяснить то раздвоение, которое наметилось очень рано: влюбиться — это одно, а непристойные разговоры, глупости — совсем другое.

26 ноября 1950 г.

Я не представлял себе, как я мучительно не умею писать о том, что в детстве переживалось в самой глубине. Но мечта поймать правду, заставляющая меня быть столь многоречивым, желание добраться до самой сердцевины, нежелание быть милым и литературным толкает в шею. Впрочем, не буду больше возвращаться к низменной части моих новых познаний. Тем более что в те времена я их начисто забывал временами. Отчетливо помню, как я иду зимой через площадь от аптеки Горста к дому Соловьевых. Папа посылал меня за сельтерской водой. Я несу в руках тяжелый стеклянный сифон, гляжу на улицу, отраженную на его круглой зеркальной поверхности, и думаю обо всем и ни о чем. Вспоминаю вдруг о странностях сложения девочек, и сейчас же без всякого участия с моей стороны мысль об этом попросту выбрасывается прочь из головы. Я думаю: “Ну их! Противно! И без того скучно — тает, грязно, начинает темнеть”. И в это же время я вспоминаю жадно лицо той девочки, в которую влюблен, ее черные вьющиеся волосы, бант на затылке. Влюбился я так. Весной

904 года мы поехали в Одессу. Поездка эта сыграла в моей жизни не меньшую роль, чем поездка в Жиздру. С Жиздрой связана любовь к церкви, колокольному звону, садам, сосновому бору. А в Одессе я полюбил корабли, лодки, порт, запах смолы и научился читать.

27 ноября 1950 г.

Итак, мы поехали в Одессу. Отношения между отцом и матерью все усложнялись, майкопская жизнь не удавалась. Мать решила, что зависеть от отца материально унизительно. Работать по специальности — акушеркой — она не могла. Это отнимало бы у нее слишком много времени. И вот, прочтя объявление о краткосрочных курсах массажа, которые были основаны (сегодня еле рука ворочается, трудно два слова связать) каким-то доктором в Одессе, мама решила ехать туда учиться. Делать массаж она могла и дома, не оставляя нас, не поступая на службу. И вот мы поехали в Одессу. Папа провожал нас. Ехали мы с няней, молодой девушкой. Звали няню Оля. Она долго не решалась ехать так далеко. Приходила ее мать. Помню, как папа, уговаривая Олю, несколько раз повторил: “Увидишь море, большой город — когда еще тебе придется съездить так интересно!” И Оля согласилась наконец, и мы отправились в путь. Снова фургон, и отвратительный запах сена, и припадки морской болезни на суше, на страшных черноземных кубанских дорогах. Затем — праздник и счастье — железная дорога. Сначала мы заехали в Екатеринодар — и тут я ничего не узнал, ничего не вспомнил. Ведь я не был там с весны 902 года. Целый век! Приехали мы утром, вошли в просторную столовую дедушкиного дома и увидели бабушку, которая, приветливо улыбаясь, живо и быстро двигалась к нам навстречу из-за большого овального стола. И столовая, и стол, и стулья со спинками, и самовар на столе — все было большое, гораздо крупнее, чем у нас дома, а бабушка Бальбина показалась мне маленькой, как и русская моя бабушка на вокзале в Жиздре. Гораздо меньше, чем она вспоминалась. Увидел я скоро Исаака, старшего моего дядю, перед которым испытывал непобедимую робость. Ни деда, ни бабки я не боялся, а он ужасно смущал меня. Увидел худого и мрачного дядю Самсона, актера. Увидел Тоню, но все это наскоро, впопыхах, как в тумане. Исаак заметил, с какой жадностью я читаю “Рейнеке Лиса” в издании “Золотой бибилиотеки”, и сказал: “Возьми эту книжку себе”. Я ответил растерянно: “Если бы она была моя, то я ее взял бы, а она Тонина”. “Ну вот, теперь она и будет твоя! — сказал Исаак мрачно. — Бери!”

28 ноября 1950 г.

Первое посещение Екатеринодара по дороге в Одессу запомнилось мне как сквозь туман, зато Ростов, куда заехали мы на три дня к папиной сестре, Розалии, памятен до мелочей, стоит особняком, словно освещенный или светящийся изнутри. Именно тут я влюбился в двоюродную свою сестру, которой в то время было, вероятно, лет семь. Она была очень хорошенькая, с полными губками и пышными черными вьющимися волосами. Как я установил скоро, похожа она была на Топси из картинок к "Хижине дяди Тома". Старший ее брат Витя, тетя, ее муж, ласковый, но холодный, единственный лысый в этой пышноволосой семье, — всех осветила Лида. Она так поразила меня, что я и не думал выставляться перед нею, как перед другими красивыми девочками. Я только бродил за нею из комнаты в комнату да восхищался. Как я был умилен и растроган, когда она, укладываясь спать, почему-то заплакала в своей постельке! Чай мы утром пили вдвоем, только ее няня сидела с нами за столом. Эта высокая унылая женщина, к моему удивлению и даже негодованию, называла хлеб "папка". Она [нам] сказала, что просыпать хлебные крошки на пол — великий грех, за который Бог непременно накажет. Вот этому я поверил. Это я запомнил навеки. Мне до сих пор тревожно, когда я вижу брошенную на землю корку или вижу, как сметают со стола прямо на пол и потом выметают хлебные крошки, перемешанные с мусором. Влюбившись, я немедленно понял и назвал то, что со мною произошло.

29 ноября 1950 г.

Что еще я помню о Ростове летом, нет, весной 1904 года? Я, впервые пораженный любовью, несмотря на свою откровенность и прямоту, тут затаил и запрятал свое чувство так глубоко, что даже мамина сверхъестественная чуткость ничего ей не подсказала. Итак, мы прожили в Ростове два-три дня. У Браиловских я впервые в жизни увидел телефон и с глубоким интересом наблюдал за разговаривающими, но сам ни разу не поговорил. Телефон висел на стене. Слуховая трубка помещалась на крючке, а рупор был вделан в аппарат. Чтобы позвонить, надо было вертеть ручку. Я видел, как папа пытался соединиться с кем-то. Не снимая трубки, он называл номер в рупор, а потом прикладывал к нему же ухо. Когда я попытался указать отцу на его ошибку, он резко оборвал меня. Мы ходили гулять с Лидой. Однажды я гулял с Витей, и на обратном пути он стал уверять меня, что идти нам до дому чуть не целый час. И вдруг подвел меня

к знакомой двери. Вот и все, что я помню. Мы поехали дальше к Одессе, а папа вернулся обратно в Майкоп.

5 декабря 1950 г.

Я забыл рассказать в свое время, что, когда мы подъезжали к Ростову, матросская шапочка слетела у меня с головы. Я закричал: "Стойте, стойте!", но поезд не остановился. Из Ростова я ехал в Витиной старой шапке, котиковой, — зачем она мне понадобилась летом? Неужели я ходил в ней по одесской жаре? Но я отлично помню и самую шапку, и разговоры о том, что она настоящая котиковая, и о том, что такое морской котик. Если я не узнал Москву моих детских лет, когда увидел ее студентом, то Одессу 904 года я сразу узнал в 36 году. Через тридцать два года, идя от Приморского бульвара налево, я легко нашел улицу, где мы жили, и даже как будто и дом, в котором снимали мы комнату. Правда, Москву я в детстве проехал только с вокзала на вокзал, а в Одессе мы жили месяца три. Впрочем, начну по порядку, как ни трудно мне это сейчас: до четырех ночи я переписывал либретто сценария. Итак, мы приехали в Одессу. Мне запали в душу слова отца, сказанные Ольге: "Ты увидишь большой город". И в самом деле, уже от вокзала начались дома, правда, закопченные и безрадостные, но высокие, так что я мог сказать Оле: "Видишь?" Дня два прожили мы в гостинице, которую помню смутно, но зато очень отчетливо вижу во сне. Тут я сразу ее узнаю и безошибочно понимаю, что я в гостинице с балконом, выходящим на площадь где-то возле Пале-Рояля, может быть, и в самом Пале-Рояле. Затем сняли мы просторную комнату в тихой немецкой семье, состоящей из матери и дочери-гимназистки. Квартира была в первом этаже, окна ее выходили во двор с круглым сквериком посередине. И вот началась длинная, летняя, приморская, одесская жизнь, тоже совсем отличная от майкопской. Засыпая и просыпаясь, я слышал стук подкованных копыт по мостовой. Этот ушедший в прошлое веселый шум сразу напоминал мне, что я в большом городе.

6 декабря 1950 г.

Улицы в Одессе были такие оживленные, что мне все чудилась впереди толпа, которая смотрит на "происшествие". Этот отдел я читал в газете и мечтал своими глазами увидеть пожар, столкновение конки с извозчиком, поимку неизвестного вора или нечто подобное. Но, увы, толпа впереди вечно оказывалась, когда мы к ней

приближались, кажущейся, просто те же прохожие сливались вдали в одно целое. Вот так мне трудно выразить самые простые вещи. В фургонах развозили искусственный лед — таскали его куда-то белыми длинными брусками. Лошади в Одессе носили шляпы с прорезями для ушей. Для собак были устроены под деревьями железные корытца с водой. (Впрочем, может быть, я увидел их впервые в 36-м году.) Веселые, оживленные одесские улицы, деревья, коричневая мостовая на Дерибасовской, которую я, с маминых слов, считал шоколадной и все боялся спросить, не пошутила ли она, и свет, свет, солнце, жара, которая только веселила меня. И фруктовые лавочки, то в подвалах, то в ларьках, сначала с черешнями, которые мама, к моему удивлению, считала безвкусными, а потом с вишнями, которые я, к маминому удивлению, считал кислыми, и, наконец, с яблоками, грушами, дынями, арбузами. Обожал я киоски с газированной водой, но, увы, она оказалась подозрительной, и я любовался издали струей, бьющей в высокий стакан. Мама подозревала, что газированная вода приготовляется из сырой. Иногда над толпой показывались синие и красные воздушные шары, двигалась, покачиваясь и сияя на солнце, их великолепная, огромная, но легкая гроздь. С ними я просто не знал, что делать. Мне мало было держать шарики в руках, мало было глядеть на них, они вызывали жажду — чего? Я не знаю до сих пор. И эта жажда радовала меня. Шары, плывущие над толпой, вызывают до сих пор ясное, всегда одинаковое, сильное душевное движение, имени которому я не в силах найти.

7 декабря 1950 г. Перечел вчерашние записи об Одессе. И то, и не то. Легкое, радующее воспоминание: синяя фура с наискось идущей фамилией владельца, бруски белого льда, рассказ мамы о том, что его приготовляют на фабрике, ощущение чуда, напряженное внимание, мгновенность, подвижность тени листьев на лошадиных спинах — ну как я это расскажу, не отяжеляя? Не назову чего-нибудь — совестно, а назову все — длинно. Впрочем, открывая сегодня тетрадь, вдруг почувствовал радость от того, что буду писать об Одессе. И сам себе не поверил. Уже мне осенью 904-го исполнится восемь лет, а я все не сдаюсь, рассказываю. Мы ходили гулять либо в Пале-Рояль, возле которого помещались мамины курсы, либо на Приморский бульвар, либо шли прямо по той улице, на которой жили, до парапета, под которым внизу зеленел садик для детей — с

гимнастическими лестницами, стенкой для лазания, гигантскими шагами. Влево от парапета возвышался серый особняк, построенный в виде замка, с зубчатыми башенками, сводчатыми воротами, через которые однажды проехала карета с кучером в высоком цилиндре. И за садом в конце нашей улицы, и за Приморским бульваром внизу кипела морская, портовая, пароходная, канатная, лодочная, пахнущая смолой, бесконечно для меня привлекательная жизнь. Любовь, но не к морю, а к приморской жизни — вот сильное и новое чувство, вспыхнувшее в Одессе и отодвинувшее мою страсть к картинным галереям далеко назад. Это чувство не проходило много лет, усилилось, когда мы уехали из Одессы, и в сущности не умерло и до сих пор.

8 декабря 1950 г.

Вправо от памятника Ришелье, вдоль великолепной лестницы ползали вверх и вниз вагончики фуникулера. И в этих вагончиках покататься не пришлось — у мамы кружилась голова, когда она глядела, как они ползли круто вниз. Но по лестнице мы, бывало, спускались и часто забредали в самый порт. Помню накрытую белым пикейным одеялом верхнюю койку в каюте большого парохода, которую я разглядел в круглый иллюминатор. Над койкой в сетке лежало полотенце, мыльница. Здесь кто-то жил, скоро должен был уйти на огромном корабле путешествовать — как завидно, как привлекательно и прекрасно. У борта этого парохода стояли двое мужчин в белых костюмах. Один из них, седоусый, рассеянно глядел на нас. Они разговаривали на чужом языке, и мама сказала, что это французы. Вдруг вспомнил сейчас, как любил я маяк. Самая форма высокой белой башни со стеклянной вершиной казалась мне по-морски, по-одесски прекрасной. Однажды я увидел открытку, которая заставила меня задрожать от счастья: ничем не заслоненный маяк от подножья до самой вершины возвышался в конце мола, красовался во весь рост. Мама купила мне эту открытку, и я носил ее с собою, пока не потерял. Форма лодки, на которую смотришь сверху, с мола, так же по-морски, по-одесски очаровывала меня. Однажды, придя с курсов, мама с грустным оживлением рассказала, что в окне на Дерибасовской выставлена прекрасная картина. Всадник мчится за счастьем, которое мчится по разрушенному мосту. А всадника догоняет смерть с косой. На следующий день мы пошли смотреть эту картину, оказавшуюся большой гравюрой в рамке. Счастье — нагая женщина с завязанными глазами — и в самом деле катилось на маленьком колесе

к пропасти, а всадник и смерть мчались следом, все было, как рассказывала мама, но я представлял себе картину иначе, и она мне не понравилась. А мама все смотрела и грустно покачивала головой. Очевидно, она все это лето думала, как построить свою жизнь, и казалось ей, что она поздно взялась за ум, что она уж не молода. В феврале 904 года ей исполнилось двадцать девять лет.

9 декабря 1950 г. На Приморском бульваре, левее лестницы, в кафе, играл румынский оркестр. Сейчас мне кажется, что оркестранты были одеты в полосатые костюмы. Визг румынских скрипок вызывал у меня чувство неловкости. Оркестр под управлением Рабиновича нравился мне гораздо больше. Вспомнил вдруг, как однажды в Майкопе я пробрался в музыкантскую раковину, когда там играл вышеупомянутый оркестр. Я стоял сначала у двери, в которую входят музыканты, и дирижировал воздушным шариком. Но звуки музыки опьянили меня, я перешагнул через порог, все дирижируя и наслаждаясь. И вдруг старик с седой бородой и в серебряных очках, не отрывая губ от трубы, сделал страшные глаза и топнул на меня ногой. Я вылетел из раковины пулей. Это было года за два до поездки в Одессу. Итак, румын я не любил. Но вечером в нашем дворе с круглым сквериком слышался рояль.

10 декабря 1950 г. Вечер начинался у нас очень рано, часов в шесть. Мы возвращались домой, закончив на сегодня все прогулки. Мама сидела над своими записями, училась, Валя играл с нянькой, а я скучал, мечтал, томился. Играть мне было не с кем. “Рейнеке Лис” в издании “Золотой библиотеки” был зачитан и перечитан чуть не наизусть. Мама просила у хозяек книжек для меня, но у них нашлись только немецкие. Я бесконечно ссорился с Ольгой, безобразно грубил ей, дразнил брата, но и это не занимало меня полностью. Тогда, взяв круглую слоеную булку, я выходил во двор, садился на ступеньках высокого крыльца, глядел и слушал. Уже начинало темнеть. И непременно за открытыми окнами кто-нибудь играл на рояле. Иногда просто гаммы. Но музыка вместе с затихающим шумом улицы и стуком копыт по мостовой неизменно погружала меня в мечты. Часто мне представлялось следующее: вдруг всем на свете делалось по семь лет. Мое одесское вечернее одиночество тем самым обрывалось счастливейшим образом. То из одной, то из другой квартиры выбегали ее хозяева и предлагали,

как это было принято на бульваре или в садике под парапетом: “Мальчик, хотите играть в “золотые ворота?”, “Мальчик, пойдемте играть в разбойники”. В одной из квартир виднелись против окна большие шкафы с книжками, которые в мечтах моих все сплошь оказывались детскими. Иногда стук копыт затихал у наших ворот. И я тотчас начинал мечтать, что это Браиловские неожиданно приехали в Одессу. Вот я вижу Лидочкино лицо, черты которого я узнаю то у одной, то у другой одесской девочки. И Браиловские останавливаются у нас, живут с нами в одной комнате, и мы вместе возвращаемся в Ростов... Никто не входит в ворота, и я начинаю мечтать о том, что во многих квартирах заметили, наверное, что сидит мальчик каждый вечер на крыльце, не шалит, не шумит, а все думает. “Хороший это, наверное, мальчик”, — решают невидимые зрители. И они дарят мне трехколесный велосипед на резиновых шинах, такой, какой видел я раз в жизни на Ришельевской. Так, в мечтах, в мучениях, в ссорах и преступлениях, проходили одесские вечера. Я все рос, но чувства и силы, пробуждавшиеся во мне, применения себе не находили, а бродили да перепутывались. Я видел страшные сны, легко плакал и сердился.

11 декабря 1950 г.

Однажды мы сидели на Приморском бульваре. Мама просматривала газету. И вдруг она воскликнула: “Женя! Какое несчастье — Чехов умер”. У меня сжалось сердце, и я, как было принято у нас в семье, когда сообщались неприятные новости, ответил: “Да что ты говоришь!” Для меня уже и в те годы имя Чехова было столь же знакомо, как имя Художественного театра, связывалось с Москвой, с чем-то совершенно прекрасным и всеми людьми признанным. Это была та самая слава, о которой думал с грустью дедушка крапивный, глядя на своих детей, не добившихся ничего. Великолепная, таинственная слава! Мама, со своей строгостью и нелюдимостью, друзей и знакомых в Одессе не завела. Поэтому она стала опять делиться со мною своими горестями, правда, не всеми, как в те дни, когда я был совсем маленьким. Но вот она сообщила мне о смерти Чехова. И через некоторое время пожаловалась мне на Валину няньку. Ольга ходила на рынок, и мама заметила, что у нее завелся мешочек с медными деньгами. Ольга объяснила это тем, что помогала некой хромой женщине носить до дома корзинку с базара. “Ох, это неправда, — жаловалась мама.— Она обсчитывает меня. Совсем девочка, а обманывает нас. Знает, как

нам трудно, и не считается с этим". Эти мамины подозрения пугали меня до того, что пот лился у меня по лицу. Я клялся маме, что это не так, но мама вспоминала все обиды, нанесенные ей в разные времена моими и Валиными няньками. Нянька украла мой крестильный крест и мамино обручальное кольцо. Это было очень плохой приметой, мама со слезами умоляла няньку кольцо вернуть — и напрасно. Так же украден был и золотой Валин крестильный крест. Как сговорились! Если не сказать Ольге вовремя, какой грех даже такое мелкое воровство, она совсем испортится. "Нет, я ей все выскажу". Услышав это страшное знакомое слово, я поднял рев, но мама была непреклонна. И через два-три дня она высказала все Ольге, та, черноглазая и смуглая, побледнев так, что веснушки выступили по всему лицу, тихо плакала, а я до того обливался потом, что щипало глаза, и безобразно орал на мать — словом, ненависть к прямым объяснениям и обвинениям зародилась у меня, несомненно, в очень давние времена.

12 декабря 1950 г. После этой ссоры вечера наши стали еще более унылыми. Ольга все молчала да вздыхала, и я больше не ссорился с ней, что тоже было не слишком-то весело. Я становился все более одесситом, как недавно майкопцем — в Майкопе и рязанским мальчиком — в Рязани. Убедился я в этом однажды в Пале-Рояле. Ко мне подбежал добродушный бледный мальчик в синем костюмчике и позвал играть в разбойники. Обсуждая с ним условия игры, я сказал вместо "мне" — "мине", что после двух месяцев проживания в Одессе казалось более правильным. Но мой новый знакомый вдруг взглянул на меня со страхом и заявил: "Мама не позволяет нам играть с детьми, которые говорят "мине". И он убежал. Я бросился к маме за разъяснениями и узнал, что она сама давно хотела побеседовать со мною, что я совсем разучился говорить по-русски, что я не обезьяна, а большой мальчик и не должен подражать уличным мальчишкам. Надо сознаться, что неведомо откуда, но во мне прочно сидело в те времена начисто исчезнувшее, когда я стал старше, ощущение того, что мы благородные. Если мама пробовала выйти со мно́ю на улицу в платке, я отказывался, плакал и кричал: "Ты как простая". И в страхе, с каким на меня взглянул добрый бледный мальчик в синем костюмчике, я угадал то же чувство. Я говорил, как "простой"! Ай-ай-ай! Я стал следить за своим языком, щедро уснащать его словами, доказывающими мое благородство. Особенно полю-

бил я слово "очевидно". Однажды я увидел следующее: два мальчика в садике под парапетом поймали ласточку. Как это произошло, не знаю. Я вмешался в эту историю, когда один из них шагал, держа птицу обеими руками, другой суетился возле, а девочка, похожая на Лиду, уговаривала: "Мальчики, отпустите птичку!" Я немедленно присоединился к ее мольбам. Девочке охотники не отвечали. Но мне один из них, тот, что суетился вокруг добычи, прошипел яростно: "Отстань, а то я тебе морду разобью". Я испугался, отстал, пожал плечами и сказал девочке: "Очевидно, это уличный, жестокий мальчик". Две дамы засмеялись, переглянувшись. "Очевидно", — сказала одна из них весело.

13 декабря 1950 г.

И стыд обжег меня. Я понял, что говорил смешно, да еще при ком! При девочке, похожей на Лиду! Это был второй в моей жизни случай жгучего стыда, вызванного моими собственными словами. Впервые я испытал это чувство в Майкопе. Мы с Верой Константиновной и девочками Соловьевыми поехали кататься на линейке не за Белую, а мимо курганов, в степь, в направлении станицы Тульской. Когда мы возвращались, то в длинных одноэтажных кирпичных корпусах больницы уже зажегся свет. И я сказал задумчиво: "Стемнело. Больница загорелась тысячью огней". "Слышите, слышите, что он говорит?"— воскликнула Вера Константиновна и засмеялась. И стыд обжег меня так сильно, что, вспоминая что-нибудь в те дни, я думал: "Ах да, это было еще до стыда на линейке". Когда мама была свободна от курсов, совершали мы более дальние прогулки. Чаще всего ездили мы в Городской (или Приморский) парк — забыл, как он называется. У ворот этого парка сидела сторожиха с вязанием в руках. А на спинке стула, стоящего возле нее, сидел попугай, которым я не уставал любоваться. Он умел разговаривать, кричал "Дурак!", причем хохолок его вставал дыбом. В парке мы или располагались на траве под деревьями, или сидели в крытой галерее над обрывистым берегом. Отсюда можно было любоваться свободным от портовой суеты морем. Оно расстилалось от обрыва до самого горизонта, отвечая основному, как я считал тогда, признаку моря: другого берега видно не было. Мама любовалась морем и призывала меня к тому же, но я, повторяю, любил больше приморскую жизнь, чем море. Как я любил выставленную в одном из магазинных окон модель корабля, как мечтал, что каким-нибудь чудом мне купят ее. Как любовался идущими на горизонте

пароходами. Как завидовал рыбакам на шаландах. По дороге в парк мы проходили мимо мореходного училища с флагштоком или мачтой на башне. Я заявил маме, что хочу поступить в это училище. Но она ответила серьезным и строгим отказом.

14 декабря 1950 г.

Мама не могла себе представить никакого другого образования, кроме университетского: “Сюда идут только недоучки”, — сказала она, но страсть к морю была у меня настолько сильна, что на этот раз мамины слова не произвели на меня ни малейшего действия. Я по-прежнему смотрел на моряков как на людей особенной, избранной породы, причем в данном случае не делил их на благородных и простых. И офицеры, и матросы, и рыбаки, и грузчики в порту были мною любимы благоговейно, как кучер дяди Гаврюши. Вот офицер в черной морской форме, с кортиком на боку, прощается с дамами и одну из них целует в ладонь. И мне кажется это прекрасным, приморским. Вот матрос подмигивает Ольге, покашливает многозначительно и спрашивает: “Это ваши детишки, барышня?” И это восхищает меня, и я не могу надивиться на Ольгу, которая матросу — подумать только, матросу! — отвечает со злобой: “Проходи, не задерживайся”. Однажды в одно из воскресений, вероятно, отправились мы в далекое путешествие. Забыл точно, куда — с ним связаны слова: Ланжерон, Фонтаны. Словом, на этот раз мы целый день провели на море, купались, было очень весело, но вызвало у меня на другой день припадок малярии. Домой оттуда мы шли, перед тем как сесть на конку, по какому-то мосту, с которого видна была внизу не река, а улица. Высокие грязноватые дома. Разноцветное белье сушилось на балконах. И мне вдруг почудилось, что здесь живут люди, о которых и пишут в отделе происшествий. Тут и должны случаться пожары, ограбления, убийства. Впрочем, на эти мысли, кажется, навела меня мама, разговаривая с Ольгой. Бородатый старик сидел внизу у ворот и играл в странную игру с девочкой лет семи. Она подбегала, говорила ему что-то, а он поднимал ей рубашонку и шлепал по голому заду. Сердитая старуха прекратила — к моему облегчению и вместе с тем сожалению — это безобразие.

15 декабря 1950 г.

Сердитая старуха выбежала из дому, накричала на старика, прогнала девочку, кудрявую и, как мне казалось с моста, хорошенькую, и все стало на свои места. И разом исчезло

чувство, похожее на то, которое испытывал я, глядя на гориллу, похищавшую женщину. Но там была "скульптура", а здесь живой старик, улица, по которой шагали люди. Это было страшно, завлекательно, вместе с тем ближе к влюбленности, чем к глупостям, и слишком сложно для меня. Когда я заболел на другой день малярией, эта улица из отдела происшествий, с непристойным стариком и девочкой в голубой рубашке, с балконами с разноцветным бельем, мучила меня, беспрестанно повторяясь. То все они были связаны с ночником, то со стаканом воды с лимоном, до которого я все никак не мог дотянуться, то со стуком копыт по мостовой. И ничего в этих навязчивых представлениях не было завлекательного. Впечатление это потом исчезло, но вполне забыться не могло. И сейчас, через сорок семь лет, я вижу эту улицу под мостом отчетливо, во всех подробностях. Так же отчетливо вспомнил сейчас ночник в виде крошечной лампадки с белым колпаком. Он освещал комнату как раз настолько, чтобы она казалась страшной. Вспомнил спиртовку, на которой кипятилось молоко для Вали. Вспомнил плоские резиновые пробки, величиной и формой похожие на копейку, только втрое толще. Этой пробкой не затыкали бутылку, а прижимали ее пальцем, и она прочно присасывалась к горлышку. Я приближаюсь к концу нашей одесской жизни и чувствую, что мне жалко с ней расставаться. Жалко магазина со счастьем, которое догонял бородатый всадник, жалко магазина с моделью корабля и удивительного зоологического магазина с аквариумом, клетками, рыбами, попугаями-неразлучниками.

16 декабря 1950 г.

Перед самым нашим отъездом из Одессы произошло следующее событие. Доктор, владелец курсов, вызвал маму, одну из всех учащихся, и сказал, что считает ее достаточно подготовленной массажисткой, и выдал ей свидетельство об окончании курсов. И на другой день умер! Мы с мамой долго обсуждали это удивительное совпадение. Мама думала, что доктор, зная, как ей трудно с двумя детьми, видя, как серьезно она работает, и предчувствуя, что умрет, решил поторопиться со свидетельством. Мне это казалось таким интересным, и страшным, и таинственным, что я всячески поддерживал эти мамины предположения. И вот мы стали собираться в дорогу. Как все дети, я радовался перемене и не жалел, что мы уезжаем. Но стоило нам приехать в Майкоп, как тоска по приморской жизни овладела мною. Впрочем, об этом я расскажу

в свое время. Мы по дороге в Майкоп не заехали в Ростов, к моему величайшему огорчению. Но в Екатеринодаре мы прожили около месяца; вот это посещение Екатеринодара стоит передо мной, как освещенное солнцем. Бабушки уже не было — она поехала с Феней за границу. Но зато приехал младший папин брат, студент-юрист, Саша. Его невеста Анжелика Максимовна, которую все считали красавицей, тоже гостила у дедушки. Жил здесь же и Самсон. Большой овальный стол в дедушкиной столовой едва умещал все приборы, когда накрывали к обеду.

18 декабря 1950 г.

Это второе в 1904 году пребывание в Екатеринодаре мне памятно не менее, чем Одесса. Желтые листья тополей, желтые кусты барбариса в садике, ясная, солнечная погода. Кусты напомнили мне игру "в беседки", которую я полюбил у Рединых, и я подметал землю под кустами со всей полагающейся добросовестностью. Я все испортил словами: "желтые листья". Неверно. В ту осень я ощутил впервые прелесть этого времени года. Чисто выметенные "беседки" под кустами, усыпанный листьями сквер возле суда, где гуляли мы с Ольгой и Валей, солнце—и никакого воспоминания о желтом цвете. Огромное ореховое дерево за кухней, в саду соседа, отставного генерала. Колокольный звон в кирке [**так у Е.Ш.—Ред.**] и мое удивление, что веревка привязана не к языку колокола, а к подвижной балке. Я мало сказал об ореховом дереве. Здесь я впервые в жизни увидел, как растут грецкие орехи. Я не знал, что их покрывает зеленая кожура, терпкая и горькая, в чем я убедился, скусывая, сдирая ее зубами. Не знаю, вызревают ли грецкие орехи в Екатеринодаре. Во всяком случае, те, что я пробовал, были еще совсем неспелые, с тонкой скорлупой и несъедобным ядром. Вкус наружной зеленой оболочки ореха, слова "барбарисовый куст", запах упавших листьев и пыли до сих пор вызывают у меня сильное движение, переносят меня в екатеринодарскую осень девятьсот четвертого года. Вот теперь мне чуть-чуть удалось восстановить ощущение того времени, испорченное словом "желтый". Если я получу отвращение от этих робких попыток вспоминать и рассказывать, то мне будет совсем грустно. В это посещение Екатеринодара я впервые поехал с мамой на трамвае. Вагон был открытый, со сквозными диванчиками. Кондуктор обходил пассажиров и получал плату, двигаясь по ступеньке, которая тянулась вдоль всего вагона. Трамвайный пол, не гладкий, как в вагоне поезда, а в рейках, тоже вызвал у

меня неожиданно сильное душевное движение, словно, увидев его под диванчиками, я познал нечто свойственное только трамваю, почувствовал его душу. Это ощущение сохранилось у меня до сих пор. Давно хотел передать его, но боялся, что навру. Но удалось записать все точно, хотя и понятно, видимо, только мне.

19 декабря 1950 г. Бабушку свою я видел тем летом последний раз в жизни, по дороге в Одессу, а с дедушкой подружился и простился на обратном пути. Дед, по воспоминаниям сыновей, молчаливый, сдержанный и суровый, мне, внуку, представлялся мягким и ласковым. Всю жизнь он сам ходил на рынок, вставая чуть ли не на рассвете. Мы с Валей ждали его возвращения, сидя на лавочке у ворот. Издали мы узнавали его статную фигуру, длинное, важное лицо с эспаньолкой и бежали ему навстречу. Он улыбался нам приветливо и доставал из большой корзины две сдобные булочки, еще теплые, купленные для нас, внуков. И мы шли домой, весело болтая, к величайшему умилению всех чад и домочадцев, как я узнал много лет спустя. А в те дни я считал доброту и ласковость дедушки явлением обычным и естественным. Боялся я Исаака, с его выпуклыми сердитыми глазами, и Самсона, с его бешеными, всегда внезапными вспышками гнева, с которыми, как я узнал впоследствии, считался даже дедушка. Он не боялся их, нет, но и не пытался их остановить. Он уклонялся от прямых столкновений с сыном. Все четыре сына съехались в Екатеринодаре (как все Шелковы в прошлом году в Жиздре) — бабушка хотела проститься с детьми перед отъездом за границу. Приезжала и Маня Мелиор из Баку, и Розалия Браиловская из Ростова, но к нашему возвращению из Одессы дочери уже вернулись к своим семьям. Дед снялся с четырьмя сыновьями, и большая эта карточка уцелела у меня до сих пор — дедушка, Исаак, Самсон, папа, Саша. Старики Шварцы много испытали горя от своих детей — папин арест, тяжелая болезнь, а после нее бешеная вспыльчивость Самсона, бесконечные путешествия Саши из университета в университет, влюбленность Фени — в болезненного гимназиста (в того самого Степку-растрепку, которого я смутно запомнил), и так далее и так далее. Но они всех семерых детей вырастили, не потеряли ни одного. Все дети надолго пережили их — завидное счастье. У стариков Шелковых, кажется, кто-то из детей умер в младенчестве. Но и они вырастили семерых и умерли много раньше своих детей. Зато у второго по-

коления больше трех детей как будто не было, и у них, случалось, умирали дети.

20 декабря 1950 г. Сашу я не боялся, хотя он, единственный из трех моих дядей, делал мне замечания. В дедушкиной библиотеке нашел я иллюстрированные журналы, переплетенные за год, и читал их, не отрываясь, таская толстый томище за собою даже в сад, в свои барбарисовые беседки. И вот однажды утром Саша обнаружил в кустах том "Нивы", засыпанный листьями, сухими веточками и окропленный росой. Он строго поговорил со мною по этому поводу. Но зато он же взял меня с собою в картинную галерею, которой владел тогда какой-то богатый екатеринодарец (надо узнать его фамилию у Тони). Картинная галерея, музеи и библиотеки были тогда уже открыты для всех посетителей. Потом владелец завещал ее городу. Страсть моя к картинным галереям ожила. Папа, уже побывавший там, очень хвалил картину "Белая ночь", рассказывая, что там у сов горят глаза, просто удивительно настоящим огнем. Долго продолжалось мое ожидание, но вот Саша сжалился надо мною, и мы отправились в путь. Мы вышли на Красную улицу, повернули направо мимо магазинов, белого здания казачьей гимназии, соборной площади и пришли к двухэтажному дому, снаружи такому же, как и другие дома. Внизу была библиотека, в которую мы только заглянули и поднялись по лестнице наверх. Я несколько удивился. Я представлял себе длинные, светлые коридоры, увешанные картинами, перед которыми стоят скульптуры. Нет, галерея Коваленко (так, кажется) была совсем другой. Она состояла из нескольких комнат. Картина "Белая ночь" изображала девушку, которая, закрыв глаза и протянув вперед руки, шла по лесу за двумя совами. Глаза у сов действительно горели, но я ждал большего. И все же галерея понравилась мне. Особенно картина, кажется, Пимоненко, где мальчику обмывают пораненную ногу, а девочка, полная ужаса и сочувствия, смотрит через его плечо на эту операцию. В музее меня заинтересовала старинная копия с письма запорожцев к султану.

21 декабря 1950 г. Копия была напечатана шрифтом, легко доступным мне, на серой старинной бумаге с черными точками и желтыми пятнами. Увидев, что я читаю знаменитое послание, Саша приказал мне немедленно это прекратить, объяснив, что оно не для детей. Я

отвернулся, смутившись, и стал рассматривать глиняные фигурки, добытые из курганов. Увы, они оказались еще неприличнее, что меня окончательно напугало, и я бежал из музея в картинную галерею. Музей, кстати, был крошечный, весь он помещался в одной маленькой комнатке и состоял из двух-трех витрин и шкафов. Во всяком случае, таким он представляется мне сейчас. Вскоре я забыл и о музее и о библиотеке. Новое увлечение, сильное, но короткое, овладело мною. Тоня, спокойный, тощенький, светлоглазый, со шварцевскими густыми, шапкой стоящими волосами, значительно более похожий на моего отца, чем я, стал моим лучшим другом на эти недели. В те годы Тоня твердо решил, что он будет купцом. На маленькие дощечки, обычно это были донышки спичечных коробок, мы навивали цветную бумагу. Это были штуки материи. Мы не торговали ими. Мы, вооружившись крошечными, в масштабе наших мануфактурных товаров, ружьями из серебряной бумаги, вели караваны по жарким странам, везли наши богатства каким-то племенам. Вот эта игра и увлекла меня. Вообще в это время Тоня главенствовал. Он спокойно пользовался языком взрослых, которого после конфуза со словом "очевидно" я боялся. Вот мы идем по улице. Тоня указывает на даму впереди и говорит: "Какая красивая у нее талия!" Я подтверждаю, хотя понятия не имею об этом слове. До самого вечера я считаю, что талия — это такая шляпа с цветами, именно этим и отличалась, на мой взгляд, идущая впереди дама от остальных. Но в одной области я был для Тони непререкаемым авторитетом, а именно — в религии. Это время для меня было временем полной, лишенной всяких сомнений веры. Я прочел взятый у Дины Сандель учебник закона Божьего, все жиздринские влияния были еще свежи. Я помнил все.

22 декабря 1950 г.

Я помнил все: и библейские и евангельские истории из учебников, и бабушкины рассказы, и рассуждения о грехах, о церкви, о рае и аде. Я знал, что грешен, но вместе с тем и надеялся избавиться от всей скверны, как только мне удастся уговорить маму свести меня на исповедь. Я считал, что после семи лет не причастят без исповеди, да так оно, кажется, и было. Так относился к небу я. А мама, напротив, к этому времени так ожесточилась, забыла, как молилась в Ахтырях, стоя на коленях перед иконой, и стала неверующей. Но в этом вопросе я не подчинился ей. И чуть не каждый день к вечеру под грецким орехом за кухней

вспыхивали ожесточенные споры. С одной стороны мама, а с другой я и дедушкина кухарка спорили о религии. Я был начитаннее кухарки в этом вопросе, ссылался на учебники, обливался потом, кричал, как настоящий изувер, так что моя сторонница успокаивала меня и сменяла на моем посту. Ее сила была в непоколебимом спокойствии и уверенности. На все мамины антирелигиозные речи она отвечала: "Так-то оно так, а все-таки Бог есть". Тоня, кажется, присутствовал на одном из этих диспутов, а может быть, я раньше доказал ему свою осведомленность в этих вопросах. Во всяком случае, однажды в сумерках, в дедушкином саду он стал расспрашивать меня о Боге, рае и аде. Я отвечал ему на эти вопросы весьма подробно. Воображение, подогретое вниманием, с которым слушал Тоня, и сумерками, разыгралось. В заключение, устрашенный картинами ада, который был особенно хорошо знаком мне по рассказам бабушки и нянек, Тоня спросил робко: "А если еврей хороший человек, то он может попасть в рай?" Я твердо ответил: "Конечно, может!" Я не мог допустить, что хорошего человека за что бы то ни было можно наказывать вечными муками. И тут нас позвали чай пить. Тоня, после моего ответа сосредоточенно молчавший, сказал, когда мы перелезали через забор: "Этим ты меня значительно успокоил".

26 декабря 1950 г.

В Екатеринодаре я услышал разговор, который нанес рану моей душе. Однажды я сидел в нашей комнате, смотрел "Ниву" и вслушивался в разговор, который вели в столовой мама и Анжелика Максимовна. Вначале журнал интересовал меня больше. Но вдруг мама сказала, что теперь она совсем не любит отца. Анжелика Максимовна ахнула, а меня словно ударило. "Да, да, — повторила мама решительно, — я его теперь совсем не люблю". Я ушел в сад полный жалости к отцу и негодования против матери. Отца я теперь понимал еше меньше, чем прежде, а он ко мне часто был несправедлив. И нетерпелив. Я его раздражал, как часто раздражает восьмилетний мальчик рядом с маленьким двухлетним братом. Я никаких талантов не проявлял, пел фальшиво, декламировать, чем тогда уже отличался Тоня, не умел, рассказывать, да и просто разговаривать — не смел. Он и не догадывался о том, что я живу жизнью сложной, так как сам был, повторяю, человек простой и мужественный. Словом, с отцом у нас отношения были враждебные, разговоры приводили к тому, что я начинал плакать. И все же, услышав мамины слова, я ужаснулся и

всей душой стал на сторону отца. Увы, наша первая майкопская знакомая, ни разу в жизни ни в чем не ссорившаяся с мужем, недаром так огорчила маму, поведав ей об этом. Маме ее слова показались дурным предзнаменованием, и вот оно начинало сбываться. Уже много-много лет спустя я узнал, что те ссоры, которые будили меня по ночам в доме Родичева, были ужасны. Однажды мама сказала: "Если бы я тебя не любила, то не беспокоилась бы так о тебе". А папа ответил ей на это: "Пожалуйста, люби меня поменьше".

27 декабря 1950 г. Я не сомневаюсь, что отец скоро забыл свои жестокие слова, но маму они жгли и мучали много месяцев, а то и лет. То, что она заявила столь решительно Анжелике Максимовне, было плодом сложнейших отношений и вряд ли верно передавало ее настоящие чувства, но где мне это был понять. Жалость к отцу очень скоро исчезла. Его жалеть было невозможно. Но сознание того, что семья у нас неблагополучна, осталось навсегда. И тем не менее я был счастлив. У нас часто бывали гости, что я всю жизнь любил. Уже здесь, в Ленинграде, лет пятнадцать назад, вспоминая те дни, Саша рассказывал, смеясь: "Бледный, потный, прыгает с кресла на кресло перед гостями". Сашина жена засмеялась и сказала: "Бедный Евгений Львович". И услышав это, я смутился и огорчился. Я выставлялся перед гостями, желал им понравиться, умилить, вызвать похвалы. Ведь еще недавно мне это удавалось необыкновенно просто. Скажешь слово — и все смеются. Да, я выставлялся перед гостями, и когда Саша обличил меня в этом через тридцать с лишним лет, — я смутился. Но я был счастлив и без гостей. В просторном зале, когда там никого не было, я садился за рояль, откинув его крышку, как на концерте, брал ноту за нотой и глядел, как поднимаются молоточки. Однажды стал я бить по басам спичечной коробкой, отчего звук стал похож на колокольный. Это дало повод Самсону рассказать мрачно за обедом, что я нашел новый способ играть на рояле. Запах пыли и листьев, которых все больше и больше скапливались на дорожках палисадника, — вот что увез я из Екатеринодара 1904 года и сохранил в памяти на всю жизнь.

1951

2 января 1951 г. Вернусь к Екатеринодару. Столько мути поднято у меня в душе за эти дни, что мне кажется, будто я отдалился от него с тех пор, как не писал о лете девятьсот четвертого года, не

несколько дней, а на следующий день. Итак, мы прожили в Екатеринодаре с месяц. Рассказано об этом времени как будто все. Осталось две-три мелочи. Вот, поиграв на рояле, пахнущем нафталином, я стою у окна, гляжу на улицу. И вдруг вижу, что на той стороне, у ворот, лежит кошелек. Я поражен этим открытием, не верю себе, не бегу за находкой, чувствую тут нечто подозрительное. И в самом деле, один из прохожих наклоняется к кошельку, а тот убегает, как живой, в подворотню. И тотчас же над забором появляются хохочущие люди: не дети, не подростки, а взрослые, что меня удивляет. Саша говорит Анжелике Максимовне: “Какой чудный вечер! Пойдем посидим в садике”. “И я с вами!” — кричу я. Саша делает грустное лицо, а мама отзывает меня и запрещает идти в садик с женихом и невестой. И стыд пронзает меня. Все готово к отъезду. Мы прощаемся с Тоней. Я холоден, полон мыслями о предстоящей дороге. Но как я тоскую о Тоне, когда мы приезжаем в Майкоп.

3 января 1951 г. Когда мы уже сидели в поезде, я, глядя в окно, вдруг увидел знакомую, полную достоинства фигуру деда, его длинное лицо, белую эспаньолку. Он был несколько смущен вокзальной суетой. Поезд наш стоял на третьем пути, и дедушка оглядывался, чуть-чуть изменив неторопливой своей важности. И, увидев меня у окна, он улыбнулся доброй и как будто смущенной улыбкой, шагая с платформы на рельсы, пробираясь к нам. Он держал в руках коробку конфет. Много лет вспоминалось старшими это необыкновенное событие — дедушка до сих пор никогда и никого не провожал! Он, несмотря на то, что мама была русской, относился к ней хорошо, уважительно, а нас баловал, как никого из своих детей. И вот он приехал проводить нас, и больше никогда я его не видел. В прошлом году [1903] я простился с маминой мамой, а в этом — с папиными родителями. Мы приехали в Майкоп. Я начал учиться у Константина Карповича Шапошникова, готовиться к экзаменам в приготовительный класс. Каждый день я теперь отправлялся из дома Санделя к Шапошниковым. Это было не далеко и не близко, минут десять ходьбы. У меня была своя любимая дорога. Я старался пройти по улочке возле церкви, где стояли белые домики—особнячки евреев, николаевских солдат. Перед особнячками стояли старые деревья, кажется, липы, посаженные в год основания Майкопа. Действительно ли там жили евреи-солдаты, я был не слишком уверен. Но мне нравилось верить в это, и весь тихий квартал за церковью казался мне старинным, связанным с Николаем Первым. Уже недалеко от Шапошниковых

возвышалось дерево, которое я считал своим другом. Я не могу объяснить теперь, чем оно так нравилось мне и каким образом я с ним подружился. Знаю только, что каждый раз я с ним здоровался и ласково гладил по коре, украдкой, чтобы никто не заметил.

4 января 1951 г.

Итак, мы приехали в Майкоп, и начался последний период моего детства. Я уже учился, но еще не попал в мощные лапы школы, еще не вступил в темное средневековье моей жизни, продолжавшееся с приготовительного до четвертого класса. Потом медленно-медленно вступало в свои права возрождение. Хватит ли у меня дыхания рассказать об этом? А пока что мы приехали в Майкоп, и я стал учиться у Валиного крестного — огромного, бородатого Константина Карповича Шапошникова. Он всегда носил черкеску. Постукивая деревянной своей ногой, входил он в комнату с окнами в сад, и урок начинался. Занятия эти давались мне, очевидно, легко. Во всяком случае, ничего нового они в мою жизнь не внесли, и запомнил я дорогу к Шапошниковым, о которой писал вчера. Учились вместе со мною Санька Сурин и Шура Кешелова. Оба они были старше меня, и никаких отношений не установилось с ними. Дружил я с Соловьевыми, но самым лучшим моим другом был мой ровесник, черный, широколицый, светлоглазый Илюша Шиман. Так много вспоминается сразу, что нужно будет внести некоторый порядок. Сначала договорю о Шапошниковых. Это была очень большая семья. К натуралисту Христофору отношения не имела. Они были русские, а Христофор — армянин. Я помню четырех их детей. Женю — рослую, румяную, уже невесту, Паню — тоже значительно более старшего, чем я, Дину и Котю. Котя в те дни, когда я учился, был безнадежно болен. Ему только что ампутировали ногу после саркомы. Болезнь дала рецидив, и мальчик лет двенадцати медленно умирал. Все в доме понимали это, мать постоянно плакала, сестры тоже. Я жалел больного Котю, вернее, испытывал ужас, проходя мимо его комнаты или слыша его голос,но матери его и сестрам сочувствовал мало. Они со мной были неласковы, а кроме того, мама говорила часто, что сам Константин Карпович хороший человек, а жена и дочки — люди неприятные, тяжелые. Вследствие этого я относился к ним подозрительно. Однажды я даже нажаловался маме на них. Без всякого основания. До сих пор не понимаю, что меня дернуло за язык.

5 января 1951 г.

Женская половина семьи моего учителя была со мною неласкова, верно, но и только. Никогда и ничем не обижали они меня, и жаловаться было совершенно не на что. Помню, что я и сам понимал это, наговаривая на них маме. Мне в те дни все труднее и труднее становилось рассказать толком, что именно меня мучает, происходит со мною. Моя жалоба вызвала расследование. Женщины допрашивали меня, требовали, чтобы я объяснил, чем они меня обидели, когда и как, а я отбрыкивался довольно бестолково, пока на меня не махнули рукой. Рассказав это, я припомнил, что Константин Карпович, которому прислала мама записку о моих жалобах, сообщил о них своим серьезно и печально, опустив глаза. Нет, со мною что-то делалось неладное. Зачем я жаловался? Кто меня тянул за язык? Я чувствовал, повторяю, что делаю не то. Что я странный. Да и вся наша семья казалась мне часто странной, не такой, как другие. Вот мама купила швейную машинку. У всех машины были "Зингер", а у нас "Веттина" — больше ни разу в жизни не встречал я таких. Ни у кого в семьях мать не высказывала знакомым правды в глаза, как это случалось у нас. И в последнее время мама особенно часто спорила со всеми по любому поводу. Ни с кем и ни с чем не соглашалась. Перед Рождеством у Шапошниковых клеили картонажи из приложений к "Светлячку". Такие же были склеены у нас. Я указал на какую-то деталь домика-фонарика, которую, по-моему, приклеили Шапошниковы неверно, не так, как мы. "Да ну, у вас все не по-людски!" — сердито ответила одна из сестер. И я внутренне с ней согласился. Что еще помню я о Шапошниковых? Умер Котя. Меня не пустили на его похороны. Я стоял на углу, слушал погребальный перезвон, видел издали темно-зеленые шинели реалистов, белую крышку гроба. Вечером рассказывали у нас, как плакала мать, как, увидев Вячеслава Александровича Водарского, кричала: "Почему не навещали вы мальчика? Он так любил вас". Недели две не ходил я учиться, но потом мама получила записку, что занятия возобновляются. Робко вошел я в комнату с окнами, обращенными в сад, увидел похудевшего, поседевшего, очень тихого первого своего учителя, и занятия возобновились.

6 января 1951 г.

О Шапошниковых я рассказал все, что помню. Остались две мелочи, которые записываю из добросовестности. Первая. Мы сидим на крыльце шапошниковского дома с двумя ска-

мейками вдоль перил с навесом, на просторном крыльце, рассчитанном на большое семейство. Разговор идет о каких-то грамматических правилах, ведут его старшие. Как пример приводится слово "подушка" в разных падежах. И от частого повторения это слово вдруг теряет для меня обычные свои свойства, теряет смысл, сохраняя только звуковую свою оболочку. Оно начинает казаться мне странным, чудным. Я пробую проделать это с другими словами — и с ними получается то же самое. Второе воспоминание. Шура Кешелова, когда учитель выходит из комнаты, говорит мне: "Смотри, что Санька Сурин мне написал". Санька с любопытством глядит на меня, пока я читаю страшное, в те дни неизвестное мне ругательство. "А что значит ..."— спрашиваю я и произношу во весь голос то, что написано в записке. Санька и Шура машут на меня руками: "Тсс! Молчи!" К счастью, меня никто не услышал. Я учился с осени 904 до весны 905 года легко, без напряжения. Уроки за это время я не выучил всего дважды. Первый раз Константин Карпович засмеялся, а второй раз нахмурился и велел выучить их при себе. А я надеялся, что и второй раз он только посмеется. Оба раза я провинился по забывчивости, нечаянно. Ну вот и все, что я могу рассказать о Шапошниковых в те годы. В октябре 1904 года исполнилось мне восемь лет. Доктор Островский подарил мне книгу Свирского "Рыжик", а папа — "Капитана Гаттераса" Жюля Верна. Обе эти книги надолго стали моими любимыми. Еще подарили мне пистолет, стреляющий палочками с резиновым присосом, который, щелкнув, прилипал к мишени. Этот день памятен мне острым чувством жалости, о котором расскажу завтра.

7 января 1951 г.

Итак, в день моего рождения испытал я острое чувство жалости, запомнившееся мне на всю жизнь. Я играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства, о котором я упоминал; дом их стоял на площади, наискосок от санделевского. Со старшим братом я был в дружеских отношениях, а младшего — семилетнего заморыша — ненавидел. Меня раздражало его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Казалось, он долго купался и замерз навсегда. Итак, мы играли на улице, а потом мама позвала нас пить чай. Я старшего еврейского мальчика пригласил с собою, а младшему сказал брезгливо: "А ты ступай, не лезь к старшим". Когда мы поднялись наверх, я выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном

одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. Тут-то и пронзила меня с неведомой до сих пор силой жалость. Я бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что он поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло меня: вот как, значит, хотелось бедняге пойти к нам в гости. И я за чаем кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из пистолета чаще, чем другим гостям. И он принимал все это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя. В то время я часто бывал у Соловьевых. С Наташей я вечно ссорился, с Лелей отношения былы ровные, Варя дружила со мной, но я с ней держался несколько строго, ведь она была на два года моложе меня. Она все просилась к нам в гости, но я отклонял ее просьбы. Но вот однажды я раздобрился и повел ее к нам. Мама приняла гостью ласково и выдала нам гривенник на пирожные. Мы пошли в булочную Окумышева и по дороге встретили Веру Константиновну. Узнав, куда мы идем, она прибавила нам еще гривенник. Купив четыре пирожных, мы вернулись домой и провели время отлично. Выпили чаю, потом играли в лото с мамой. После этого Варя стала проситься к нам в гости еще чаще: "Помнишь, как тогда было хорошо?" — говорила она.

8 января 1951 г.

Помнится, я так и не взял Варю в гости к нам, несмотря на ее просьбы. Один раз нам повезло, нам дали денег на пирожные, мама была свободна, настроение у нее было хорошее, она играла с нами в лото, которое мне подарили в день рождения, но я чувствовал, что больше это не повторится. Костя тоже играл с нами, но у меня с ним дружбы не завязывалось, как и с Наташей: я все ссорился с ним. К девочкам Соловьевым Вера Константиновна выписала откуда-то учительницу, которая старшим не понравилась. Они ее нашли глуповатой. Я помню смутно молодую, незначительную лицом девицу, которая к тому же чуть шепелявила. Тогда это мне казалось несомненным доказательством глуповатости, о которой говорили старшие. Но с ней, с этой учительницей, у меня связано сильное поэтическое переживание — она прочла нам вслух "Бежин луг". Впервые я был покорен не занимательностью рассказа, а его красотой. Как, влюбившись, я сразу понял, что со мною происходит, так и тут я сразу как бы угадал поэтичность рассказа и отдался ей с восторгом. Я не выслушал, а пережил "Бежин луг". Я ждал того же и на другой день, когда

чтения продолжались. Читали какой-то другой рассказ Тургенева, его я и не запомнил. Я слушал чтение с тоской, ненавидел Наташу, восхищавшуюся, как мне казалось, притворно. Она все шептала: “Ах, как красиво!” Я ненавидел Костю, который строил сестрам гримасы, чтобы рассмешить их во время чтения. Я ушел, не дослушав, мама взглянула на меня и все поняла. У меня начался очередной припадок малярии с высокой температурой, угнетенным состоянием духа, с дурнотой. Я пролежал в постели несколько дней. Итак, я учился, бывал у Соловьевых, дружил с Илюшей Шиманом, был влюблен, мечтал и тосковал по приморской, корабельной, одесской жизни, как в свое время по Жиздре. Нет, сильней, потому что умнее я не делался, а чувствительнее становился с каждым днем. Я по дороге в библиотеку или на прогулках старался ступать только на то, что могло бы находиться на корабле: на камни (балласт), на ветки (деревянные палубы) и так далее. Это очень затрудняло иногда мои прогулки и дало маме повод назвать меня раза два ненормальным. Но я не объяснил ей странности моего поведения.

9 января 1951 г.

К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только сейчас учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле — я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступать я не умел. Я успел отдалиться от мамы, которой недавно еще рассказывал все, но никто не занял ее места. Причем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам. То, что ни один человек не знал о моей первой любви, понятно. Но почему я так старательно скрывал мою тоску по приморской жизни? Чтобы странные мои прыжки с камня на веточку, с ветки на ржавый гвоздь, валяющийся в пыли (железо есть на корабле), с гвоздика на щепочку и так далее не выдали меня, я придумал новый способ передвижения. Я решил тень считать кораблем, а освещенную солнцем часть улицы — сушей. На тротуарах и площадях Майкопа всегда было так много теневых пятнышек от камней, песчаных холмиков и тому подобных неровностей почвы, что ходить я теперь мог без затруднений, даже по тем местам, где не было стен, заборов и деревьев, дающих настоящую, добротную тень. Скрывал я и коня, и маленьких

человечков, о которых не рассказывал никому и не написал ни строчки до настоящей минуты. Конь жил в песчаной котловине, в обрывистой части городского сада. Я звал его особым свистом сквозь зубы и отпускал девятикратным свистом обыкновенным, губным. В свободное от службы время конь мог превращаться в человека, путешествовать, где ему захочется, больше по Африке и Индии, есть колбасу, каштаны, конфеты, вообще наслаждаться жизнью. Но по условному свистку он мгновенно переносился в песчаную котловину, а оттуда летел ко мне. И я садился на него верхом и ехал в библиотеку, в лавочку, в булочную, к Горсту за сельтерской, словом, всюду, куда меня посылали, соблюдая осторожность, чтобы встречные не угадали по походке, что я еду верхом. Любовь к верховой езде и лошадям я вывез из Жиздры. Часто, когда меня бранили, я думал: "Ох, сесть бы верхом да ускакать". Эта мысль в трудные минуты мелькает у меня и теперь. Конь из песчаной котловины олицетворял эту мечту.

10 января 1951 г.

В этот год я стал еще больше бояться темноты и при этом по-новому. Темнота теперь населялась существами враждебными и таинственными. Здоровый страх перед разбойниками, ворами, словом, врагами-людьми, заменился мистическим. Кроме коня-друга, верхового моего коня, существовала лошадь-привидение. Она появлялась в дверях спальни, ведущих в столовую. Она шла на задних ногах. На спине ее болтался мешок, который она придерживала копытами. Я ее ни разу не видел, разумеется, но представлял ее ясно, во всех подробностях. Что это было за существо, откуда, чего хотело от меня, что лежало в ее мешке, я не выяснял. Все представления мои об этом призраке были тоже призрачны, но я ужасно боялся лошади с мешком. У Андрея Андреевича Жулковского был племянник, художник, юноша лет двадцати. Однажды он ушел в горы, на эскизы, и не вернулся. Его искали, искали, да так и не нашли. И мама сказала однажды: "Нет, уж он не вернется. Лежит где-нибудь в пропасти его скелет". Эти слова меня ушибли надолго. Я все думал и думал об этом, и вот в темноте появился еще один призрак — скелет бедного художника. Его постоянное местопребывание было под моей кроватью. Поэтому я на ночь ничего не оставлял на полу — ни одной игрушки, ни одной части моей одежды, даже башмаки ставил на подоконник или на стул, из-за чего у меня шли постоянные войны с мамой. Были и другие злые духи, менее определившиеся, но не менее

страшные. И вот в противовес им я создал армию маленьких человечков. Они жили у меня под одеялом, я нарочно оставлял им место, закутываясь на ночь. Жили они так же счастливо, как мой друг-конь, — ели колбасу, пирожные, шоколад, апельсины, читая за едой, сколько им вздумается, имели двухколесные велосипеды. Путешествовали. Но при малейшей опасности они выстраивались на одеяле и на постели и отражали врага.

11 января 1951 г.

Весь ночной, призрачный мир начисто исчезал днем, кроме доброго коня, вызываемого свистом. Никто не знал о существовании этого мира, ни один человек, я впервые рассказываю о нем. Любовь, тоска о приморской жизни, ночные ужасы, злые и добрые существа, выдуманные мною, но пугающие или радующие меня, словно повели они самостоятельную жизнь, родившись, — все я тщательно прятал, не выдавал ни одним намеком. А жизнь дневная и невыдуманная шла своим чередом. На Рождество, когда клеили картонажи, я убедился еще в одном своем недостатке. Я знал и уже примирился с тем, что лишен музыкального слуха. А попытка вырезать и клеить картонажи доказала с несомненностью, что я неловкий мальчик. У меня ничего не клеилось в буквальном смысле этого слова. Я обижался неведомо на кого, сердился, плакал — но, увы, это не помогло мне. Я очень любил рисовать — но все утверждали, что я плохо рисую. Почерк у меня, несмотря на старания мои и Константина Карповича, был из рук вон плох. Задачи решал я средне. Скорее плоховато. Когда писал диктовку, то делал одни и те же ошибки: вечно пропускал буквы. Я был неловок, рассеян, но должен признаться, вспоминая пристально и тщательно то время, в течение дня весел. Дневные обиды я легко забывал, а в сумерках начинал тревожиться. Приближался главный ужас моего детства, вытеснивший на долгое время все остальные страхи: боязнь за жизнь матери. Я писал уже, что в то время предполагалось, будто у мамы порок сердца. Об этом я расскажу потом. Это требует внимания и ясной головы, а я сегодня плоховат.

12 января 1951 г.

Страх за маму, тоже глубочайшим образом скрываемый в моем одиночестве, в глубине, был самым сильным чувством того времени. Он никогда не умирал. Бывало, что он засыпал, потому что я жил весело, как положено жить в восемь лет, но вы-

ступал, едва я оставался наедине с собой. К этому времени моей жизни отношения с мамой усложнились и испортились до того, что она не приходила прощаться со мною на ночь, кроме тех случаев, когда я был болен. Ссоры наши иногда доходили до полного разрыва. Помню день, приведший к тому, что по маминой жалобе я в последний раз в жизни попал отцу под мышку, то есть взлетел высоко вверх и был отшлепан. Это меня до того оскорбило, что я, зная свою отходчивость и умение забывать обиды, сделал из бумаги книжечку и покрыл ее условными знаками, нарисованными красным карандашом. Эти знаки должны были напоминать мне вечно о нанесенном оскорблении. Но они не помогли. Я дня через два перестал сердиться на отца. Как я теперь понимаю, у мамы было редкое умение угадывать мою точку зрения при наших несогласиях. И она принималась спорить со мною как равная, вместо того чтобы приказывать, как это делал отец. Угадывая мою точку зрения и весь ход моих мыслей, мама чувствовала, что логикой меня не убедить, и раздражалась от этого и все-таки пробовала спорить там, где надо было холодно запрещать или наказывать. Эту несчастную жажду переубеждать дураков и злиться от сознания, что это воистину немыслимо, я, к сожалению, унаследовал от нее. Словом, по тем или иным причинам мы все ссорились и удалялись друг от друга, но как я ее любил! Я не мог уснуть, если ее не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты мною во всем их ужасном значении. Я твердо решил, что немедленно покончу с собой, если мама умрет. Это меня утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, я прислушивался, дышит она или нет, старался разглядеть в полумраке, шевелится ли ее одеяло у нее на груди.

13 января 1951 г.

Я ничем не отличался от своих сверстников, не выделялся никакими талантами, но эта скрытая, тайная жизнь, для выражения которой у меня и сил не было, иногда приводила меня к мыслям не по возрасту. Помню, как терзало меня открытие, что если мама умрет, то я никогда не увижу ее. Никогда! Ни завтра, ни послезавтра — никогда. Вот я жду ее, все жду, а если она умерла в гостях, то я никогда не дождусь ее. И мысли эти часто, особенно ночами, приводили к тому, что я уже начинал одеваться, чтобы среди ночи бежать на поиски. Останавливали ме-

ня страх наказания, темноты, и того, что мама вдруг узнает, как я боюсь за ее жизнь. Однажды мама с Валей и Беатрисой Яковлевной ушла погулять. Уже смеркалось. Самовар вскипел. “Куда это они пропали? — удивлялась няня.— Хотели скоро вернуться, а вот не идут”. Я терпел, ходил, стоял на одном углу, на другом, возвращался домой — нет мамы. И я побежал ее искать. Был теплый летний вечер, громко кричали сверчки в траве. Я побежал в городской сад, мамы там не нашел, примчался домой — пусто. Весь в поту я снова бросился на поиски. Я бежал и глядел, не собиралась ли толпа вокруг умершей внезапно на улице моей мамы. Толпился народ у пивной Чибичева, толпился у Пушкинского дома, толпился возле оркестра под управлением Рабиновича. Когда я наконец, потеряв уже всякую надежду, приплелся домой, мама, Валя и Беатриса Яковлевна мирно сидели за столом и пили чай. И я сел за стол, спрятался за самовар и стал плакать. “Чего ты?” — спросила меня Беатриса Яковлевна. Я не ответил. “Он боялся, что я умерла”, — ответила мама, угадав со своей сверхъестественной чуткостью, что творится у меня в душе. Но сказала она это сурово, даже осуждающе, никак не поощряя меня к открытому признанию. Всю жизнь после этого до сих пор крик сверчка вызывает у меня печаль и тревогу.

14 января 1951 г.

Вот такие были у меня горести. Я много думал о смерти, кладбищах, крестах, боялся их не ради себя, я не понимал, что могу умереть, а из-за мамы. Примерно в это время заболел бухгалтер какого-то из майкопских банков, кажется, Азовско-Донского, по фамилии Тренториус. Я не знал его, но взрослые горевали и жалели беднягу, рассказывали о том, какой он был удивительно милый человек. Врачи считали, что ему не перенести воспаление легких. Вдруг он стал поправляться. Беатриса Яковлевна с умилением сообщила, как после кризиса, придя в себя, Тренториус сказал, смеясь, врачам: “Здорово я вас напугал?” Но улучшение оказалось непрочным, и Тренториус умер. Все горевали, а я нет. Это было естественно — ведь я ни разу не видел покойного. Тем не менее бесчувственность моя устыдила меня. И напугала. Смутно осознанная мысль — как бы судьба не покарала за равнодушие к такому страшному событию — не давала покоя. Я сказал Варе и Илюше Шиману: “Уйдите, не мешайте, я хочу подумать о Тренториусе”. И я отправился в сарай и уселся на какой-то из соловьевских экипажей. За мною приползли Варя и Илюша. Я слышал, как

хихикали они под линейкой, подглядывали: как это я думаю о Тренториусе. Желая произвести на них и на судьбу впечатление, я сказал фальшивым голосом: “Жил, жил человек, хлоп — и умер!” “У-у!” — заорал Илюша и выскочил из своей засады. И я сделал вид, что удивлен его появлением. Вообще, как это ни грустно, при всей неподдельности моих мучений я стал довольно часто ломаться. Я слишком много читал. Я любил “отбросить непокорные локоны со лба”, “сверкнуть глазами”, научился перед зеркалом раздувать ноздри. Отец, которого я раздражал все больше и больше, обвинял меня в том, что я неестественно смеюсь. Боюсь, что так оно и было. Я в те времена старался смеяться звонко, что ни к чему хорошему не привело.

20 января 1951 г. Что я читал в то время? Свирского “Рыжик”, Верисгофер “Образовательное путешествие”. Ее же “В стране чудес”. Этот роман я любил особенно. Там действие происходило в Индии. Злодействовали туги. Предавал доброго Гассана карлик Типо. Спасал героев слон Джумбо. Прочел я к этому времени и Майн Рида.

22 января 1951 г. Кроме книг, перечисленных выше, я читал и перечитывал хрестоматию, взятую у Дины Сандель, и учебник закона божьего. В хрестоматиях я прочел отрывки из “Детства и отрочества”, где удивило меня и обрадовало описание утра Николеньки Иртеньева. Значит, не один я просыпался иной раз с ощущением обиды, которая так легко переходила в слезы. Там же прочел я “Сон Обломова”. С того далекого времени до нынешнего дня всегда одинаково поражает меня стихотворение Некрасова “Несжатая полоса”. Самый размер наводит тоску, а в те дни иногда и доводил до слез. Бесконечно перечитывал я и “Кавказского пленника” Толстого. Жилин и Костылин, яма, в которой они сидели, черкесская девочка, куколки из глины — все это меня трогало, сейчас не пойму уже чем. В это же время, к моему удивлению, я выяснил, что “Робинзонов Крузо” было несколько. От коротенького, страниц в полтораста, которого я прочел первым, до длинного, в двух толстых книжках, который принадлежал Илюше Шиману. Этот “Робинзон” мне не нравился — в нем убивали Пятницу. Я не признавал Илюшиного “Робинзона” настоящим, несмотря на мою любовь к толстым книгам. Неожиданно разросся, к моему восторгу, и “Гулливер”, знакомый мне по коротенькой ступинской книжке с цветными

картинками. Там рассказывалось только о его путешествии к лилипутам, а в издании "Золотой библиотеки" — и обо всех других приключениях Гулливера. Однажды у папы на столе я нашел книгу, на корешке которой стояла надпись: "Том второй". Я обрадовался, думая, что, как "Робинзон" и "Гулливер", так и "Принц и нищий" имеет продолжение. Надпись на корешке я отнес к Тому Кенти. Но, увы, раскрыв книжку, я увидел, что она медицинская. Однажды я сидел в зале, углубившись в чтение, забыв обо всем, и вдруг услышал мамин голос: "Женя!" Я оглянулся и увидел красное, старческое лицо с белой бородой. Я взвизгнул и оказался на другом конце комнаты. Мама надела маску, купленную для какого-то маскарада. А я читал об Индии — стране чудес, и мне почудилось невесть что, и я сам испугался и напугал маму.

24 января 1951 г.

Рядом с нами был дом Лянгертов, где я пил кефир. Когда я входил к ним во двор, прибранный, подметенный, с белым столиком под тенистым дерёвом, меня встречала приветливая бабушка Лянгерт. Она кричала по-еврейски: "Феня! Гиб Жене кефиру". Молчаливая полная Феня приносила из погреба бутылку, и бабушка учила меня пить целебный напиток по правилам: маленькими глотками и заедать булочкой. Мы с ней беседовали по душам подолгу. Часто я рассказывал ей о книгах, которые прочел. После одного из таких разговоров бабушка задумалась и, улыбнувшись доброй улыбкой, призналась, что у нее есть целый шкафчик очень интересных книг, которые читал ее сын, когда был мальчиком. Если я обещаю обращаться с ними со всей осторожностью, она даст мне их почитать. И вот мы вошли в прохладный дом Лянгертов, пахнущий не плохо и не хорошо — своим, лянгертовским, духом. В комнатах стоял полумрак от закрытых ставень. На мебели белели чехлы, на картинах кисея, пол блестел, мебель блестела, Лянгерты жили очень чисто. Возле пышной бабушкиной кровати желтела тумбочка, и в самом деле наполненная книгами. Бабушка дала мне одну из них. Боже мой, как я обрадовался. Книга оказалась толстой, с картинками, какие бывают именно в интересных книгах. Она заключала в себе два романа Майн Рида — "Охотники за черепами" и "Квартеронка". Когда уже учеником третьего класса я взял в библиотеке реального училища те же самые романы, они показались мне сокращенными по сравнению с лянгертовскими. Так я прочел все, что хранилось в тум-

бочке, все те книги, которые читал мальчиком Лянгерт — лысый озабоченный человек. Я видел его изредка, по воскресеньям.

26 января 1951 г. Итак, читал я много, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в моей жизни после рождения брата. На вопрос: "Кем ты будешь?" — мама обычно отвечала за меня : "Инженером, инженером! Самое лучшее дело". Не знаю, что именно привлекало маму к этой профессии, но я выбрал себе другую. Однажды мы ходили взад и вперед по большому залу санделевского дома, мама с Валей на руках и я. Очевидно, мы разговаривали менее отчужденно, чем обычно, потому что я вдруг признался, что не хочу идти в инженеры. "А кем же ты будешь?" Я от застенчивости лег на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: "Романистом". В смятении своем я забыл, что существует более простое слово: "писатель". Услышав мой ответ, мама нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант. Строгий тон мамы меня огорчил, но не отразился никак на моем решении. Почему я пришел к мысли стать писателем, не сочинив еще ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Правда, чистые листы нелинованной писчей бумаги меня привлекали и радовали, как привлекают и теперь. Но в те дни я брал лист бумаги и проводил по нему волнистые линии. И все тут. Но решение мое было непоколебимо. Однажды меня послали на почту. На обратном пути, думая о своей будущей профессии, встретил я ничем не примечательного парня в картузе. "Захочу и его опишу", — подумал я, и чувство восторга перед собственным могуществом вспыхнуло в моей душе. Об этом решении своем я проговорился только раз маме, после чего оно было спрятано на дне души рядом с влюбленностью, тоской по приморской жизни, верным конем и маленькими человечками. Но я просто и не сомневался, что буду писателем.

27 января 1951 г. Валю принимала, когда он появился на свет, Мария Гавриловна Петрожицкая. Муж ее, толстовец, жил верстах в четырех от Майкопа на реке Курджипсе. У него там был участок с домиком и виноградником. Дочка их, Маруся, училась в Консерватории в Москве, сын Петя, кажется, в университете, а Ваня — в реальном училище. Ване в то время, вероятно, исполнилось лет четырнадцать. Он был черный, кудрявый, рослый мальчик. Однажды я шел с моим другом Илюшей Ши-

маном мимо аптеки Горста к городскому саду. И вдруг Илюша сообщил мне, что Ваня Петрожицкий нехороший мальчик. "Почему?" — "Он на участке с плантаторскими девками..." — и Илюша, понизив голос, произнес глагол, мне в то время непонятный, но широко распространенный среди майкопских мальчишек, как я скоро в этом убедился. Я спросил, что это значит, и получил объяснение, которое меня потрясло в полном смысле слова. Илюша иной раз привирал, но опрошенные мною уличные мои друзья подтвердили сведения, которые сообщил мне он. Они знали, что это такое, давно. Они видели в щель забора, как молодой косой армянин, живущий рядом с бедным еврейским семейством, делал это в саду со своей женой. Они сообщили мне, что это называется еще и другим словом, которое оказалось мне более знакомым, до сих пор я считал его бессмысленным ругательством. Вот теперь я уже знал. Эти важные сведения ничего, в общем, не изменили ни в моей влюбленности, ни в моем отношении к девочкам. Я был уверен, что то самое, чем меня осведомили, позволяют себе только нехорошие, бесстыдные люди. Косого армянина и я прежде хорошо знал. Его изводили реалисты цитатой, кажется, из "Детства и отрочества", памятной им по диктантам: "Косой дождь, гонимый сильным ветром...". Армянин злился, а мы смеялись. Отныне я смотрел на него с жадным любопытством, но в глубине души не верил, что человек мог дойти до такого падения. Я стал чаще думать и разговаривать с мальчишками на известную тему. Знания мои пополнялись. Некоторые из них, кстати, впоследствии не подтвердились. Я был поражен и заинтересован, но все же, бывало, неделями не думал о том, что узнал.

28 января 1951 г.

Итак, бывало, что я неделями не разговаривал и не вспоминал об удивительных и захватывающих новостях, которые сообщил мне Илюша. Несмотря на мою нервность, загадочное и мучительное свойство покрываться потом при волнении, запойное чтение, переразвитое воображение, я сохранял и какие-то здоровые душевные черты. Однажды я шел по узкому проходу под лестницей, между кухней и парадным ходом. Налево была дверь в комнату, где жила старшая дочь Санделя с мужем по фамилии Яснопольский. Дверь эта была заколочена, но замочная скважина светилась — дело было днем. За дверью я услышал шум, возню. Мгновенная мысль осенила меня — да ведь там происходит то самое,

что наблюдали мальчишки в саду косого армянина. Я наклонился к замочной скважине, и вдруг ужас охватил меня прежде, чем я увидел хоть что-нибудь. И я убежал. Этот спасительный ужас не оставлял меня довольно долгое время, вспыхивая то по одному, то по другому поводу. Я познакомился с Вячеславом Александровичем Водарским. Этот молодой еще человек, не лишенный польского изящества, веселый, добродушный, был любим своими учениками, которые бывали у него в гостях, бродили с ним по саду против нашего дома. И я как-то разговорился с ним и стал тоже бывать у него в гостях в отсутствие реалистов. Они меня дразнили. Там же я познакомился с его лакеем Яковом, которого скоро невзлюбил за безнравственность, мальчишки-соседи сообщили мне, что он водит к себе в сад девок. Якова Водарский скоро рассчитал, что я нашел понятным. На его место поступил Захар — коротконогий, большелицый, вечно небритый. Это был умственный молодой человек. Он любил поговорить о попах, о баптистах, к вере которых склонялся. Говорил он не слишком понятно, но торжественно. Изрекал. Читал по каждому поводу нравоучения. С ним я подружился. Однажды он лежал на кровати в своей комнатушке, а я сидел возле и внимал ему. Умиленный нравоучительными его речами, я похвалил его. "А Яков был плохой человек", — добавил я. Захар заинтересовался — почему. Я объяснил. К моему удивлению, Захар стал хохотать, говорить непристойности.

29 января 1951 г.

Итак, Захар стал хохотать, говорить непристойности, задавать мне вопросы — сам ли я видел Якова с девками, и тому подобное. Лицо его показалось мне идиотским, грубым. Знакомый ужас охватил меня, и, послав Захара к черту, выбежал я из его грязной комнатушки. Весь день меня мутило от этого происшествия, так что мама, заметив мое состояние, подвергла меня строгому допросу на тот предмет, что, наверное, я опять слушал и говорил глупости. Это я отверг угрюмо, но решительно. Я после в высшей степени комнатной и тепличной обстановки был предоставлен, в сущности, улице и себе самому. На какое чудо рассчитывали старшие? Откуда взяли они, что я каким-то образом закрою глаза и заткну уши и ничто меня не коснется? Винить их невозможно. Так бывает всегда. Каждый из детей выплывает по-своему более или менее благополучно. А у моих родителей к тому же личная их жизнь все усложнялась, все старались они повернуть свою судьбу по-новому. В Екатерино-

даре папа взял у своего отца деньги и отправился в Берлин специализироваться по уху, горлу, носу. К маме ходили пациенты — рабочий, сломанная рука которого отказывалась служить, толстая женщина, которой мама массировала живот. Ездила она и к больным на дом. И все задумывалась и говорила людям резкости, и, кроме Беатрисы Яковлевны, никто не бывал у нас в гостях. Все свободное от работ, забот и тревог время отдавалось младшему, Вале. А я воспитывался как мог, и спасительный ужас держал меня в руках. Словом, повторяю — то, что я узнал, еще не выбросило меня из рая.

30 января 1951 г.

Я воспитывался, повторяю, сам собой, и случайные причины имели огромные следствия. Скажи Илюша, что Ваня Петрожицкий хороший мальчик и поступал молодцом, и я совсем иначе отнесся бы к тому явлению, о котором узнал, и многое в моей жизни, возможно, сложилось бы иначе. К худшему или к лучшему — кто знает. Итак, я жил себе да поживал по-своему. А вокруг разворачивались события первостепенной важности. Началась русско-японская война. Точнее, она к этому времени вошла и в нашу жизнь — жизнь детей. Мы стали следить за газетами. Собирали картинки с броненосцами. Искали книжки про Японию, к этой стране появился страстный интерес. Что это за люди, японцы? Где они живут? Как осмелились они напасть на нас? Естественно, что я не сомневался в нашей победе и удивлялся японскому безрассудству. Спрашивать открыто у взрослых я к этому времени уже перестал. Ответы на вопросы, волнующие меня, получал я таким образом: навострял уши, когда речь заходила о вещах, мне интересных. К этому времени взрослые часто говорили о войне. Особенно о флоте. У них даже завелась игра. Моего учителя Шапошникова Константина Карповича они прозвали за его рост и могучие плечи Броненосец “Ретвизан”. Городского архитектора Смирнова Леонида Ивановича прозвали Миноносцем. И в разговорах старших о военных действиях стал я вдруг замечать оттенок непонятной мне насмешки. Над чем? Я еще не успел схватить. И вдруг однажды я услышал разговор, который задел меня слабее, чем тот, который вела мама с Анжеликой в Екатеринодаре, но вызвавший подобное чувство. Беатриса Яковлевна призналась маме, что ей все все же приятно читать редкие сообщения о наших удачах. Мама резко возразила ей. И я вдруг понял, что мама радуется нашим поражениям. Я ужаснулся. Как могла мама быть против наших? Я стал прислушиваться еще усер-

днее и понял, наконец, что мама да и все взрослые были против царя и генералов, а солдат всячески жалели и сочувствовали им. Это уже легче было понять. Вернулся из Берлина папа. Он привез мне скрипку, игрушки, книгу "Том Сойер", которую, как я полагал, он купил там же. У нас стало бывать много народа. В кабинете происходили какие-то собрания, о которых мне строго-настрого приказано было молчать.

31 января 1951 г. Людей, приходящих к отцу, называли кратко, только по имени: Данило, например. Остальных не могу припомнить сейчас. Иногда у нас ночевали проезжающие куда-то незнакомцы. Против нашего дома, над живущими в полуподвале Ларчевыми снимал квартиру отставной генерал Добротин. Жена его, сильная брюнетка, едва тронутая сединой, но со слишком румяными щеками, казалась еще нестарой женщиной. А сам генерал мог ходить, только опираясь на две палки, резиновые наконечники которых в свою очередь мягко упирались в тротуар. Седобородый, добродушный, он не спеша шествовал по городскому саду, заходил в магазины. Руки его были заняты палками, и покупки он прицеплял веревочными петельками к пуговицам пальто. Вечерами генерал сидел на крыльце в кресле и заговаривал иной раз с нами. Однажды мы, дети, показывали друг другу картинки, потом открытки. Генерал скуки ради рассматривал их с нами вместе. Довольный тем, что моя коллекция богаче всех, я, чтобы поразить друзей еще больше, сбегал домой и притащил наш альбом с открытками. Среди них были и привезенные отцом из Берлина. Был там Карл Маркс, изображенный в ореоле из выходящих в Германии социал-демократических газет, были Бебель и Каутский. Наружность Маркса поразила меня, и я спросил у Валиной няньки: кто это? "Еврейский святой!" — ответила нянька уверенно. И я удовлетворился этим объяснением. Повторил я его и показывая открытку детям и генералу. Но генерал поморщился и ответил: "Ничего подобного. Это портрет одного политического деятеля". И тут меня позвали домой. Как я удивился, когда мама с лицом огорченным и строгим напала вдруг на меня за то, что я показывал альбом генералу Добротину. Я ничего не мог понять. "Сколько раз я говорила тебе: ничего не выноси из дому!" — повторяла мама, видимо, не желая вступать в более вразумительные объяснения. Влетело мне и от папы, когда он пришел домой. Он тоже ничего не объяснил толком, не желая даже приблизительно посвящать меня

в свои дела. И он упирал на то, чтобы я никому, никогда не смел рассказывать, кто у нас бывает, о чем говорят и так далее. Мирная обстановка, в которой жили мы, скажем, в Ахтырях, умерла навеки. Там мы бывали у полицеймейстера, а тут отставной генерал стал врагом.

1 февраля 1951 г.

Я стал осторожно расспрашивать своих друзей и выяснил, что большинство из них давно были против царя. Они тоже солдат жалели и ругали Куропаткина и генералов. Худенький мальчик по фамилии Кульбановский, ругая генералов, ссылался все время на отца: "Мой папа говорит..." — и так далее. Я в то время часто дрался. Кроме друзей моих, соседских мальчишек, по городу бродили настоящие уличные мальчишки — босые, с выгоревшими волосами, всегда целой шайкой в восемь-десять человек. Встречая их далеко от дома, по пути в библиотеку или в лавочку, я старался незаметно проскользнуть мимо. Зато на своей территории мы затевали с ними перебранку и, бывало изредка, что переходили "на голыши", то есть дрались камнями. Однажды у нашей калитки противник угодил мне камнем в самый висок, так что у меня зазвенело в голове. Зная из книг с приключениями, что такое удар в висок, я бросился к маме, выяснить, не умру ли я, но вместо сочувствия получил взбучку за то, что связываюсь с уличными мальчишками. Помню, как поссорился я со своим другом Петькой Ларчевым, вот из-за чего — забыл. Мы сначала ругались, потом дрались, потом, стоя у лужи, стали из ненависти мазать друг друга грязью. Петька сказал, что я пострадал больше, потому что он в пальто, которое очистится и все тут, а я в одной рубашке, которую придется стирать. Я пробовал спорить, но Петька с насмешливым хохотом стоял на своем. Тогда я просто взбесился. Слезы брызнули у меня из глаз. Я стал таким страшным голосом орать: "Петька дурак", что мама выскочила из дому, бросилась на Петьку, который едва от нее увернулся, потом на других ребят. Потом, увидев, что ничего со мной не случилось, мама потащила меня домой, покрытого грязью и растерянного, — я сам не ждал таких последствий от своих безумных воплей. Дрался я и с Наташей Соловьевой.

2 февраля 1951 г.

Дело было на Пасху. Мама одела меня в новый, модный тогда кучерский костюм: красная шелковая рубашка, синие шаровары, заправленные в лакированные сапоги, и шапка

с павлиньим пером, и я, причесанный и благостный, отправился в гости к Соловьевым. Там девочки и Костя затеяли игру — ходили по карнизу от окна к окну. Мои новые сапоги мешали мне играть — подошва скользила, и я срывался вниз с карниза. Наташа стала издеваться надо мною, утверждая, что я трус, поэтому и падаю. Я стал отругиваться. Тогда Наташа обозвала меня бабой. Такое оскорбление показалось мне невыносимым, и я ринулся в бой. Бой шел так: обменявшись шлепками и ударами, мы вцепились друг другу в волосы и замерли неподвижно, молча. Терпели. Я попробовал потянуть сильней и — о страх — ощутил со всей ясностью, что Наташин скальп отделяется от черепа. Это ощущение было вызвано, вероятно, прочитанной недавно книгой "Охотники за черепами". Я немедленно разжал пальцы, и Наташа отпустила меня. Подравшись еще немного, но не проронив ни слезинки, мы разошлись, ругаясь. Еще в сороковом году мама вспоминала: "Сижу у окна и вижу: идет — ворот разорван, кушак потерян, волосы взъерошены... Здравствуйте, вернулся сын с пасхального визита!" Дня три я не ходил к Соловьевым, но потом нас собрали всех прививать оспу. Мы с Наташей встретились холодно. Мы стояли, засучив рукава, и я изо всех сил пытался скрыть свой ужас. Я знал, что скальпель едва только поцарапает кожу, и все же дрожал: запах эфира, разложенные на столе у Василия Федоровича инструменты, предназначенные совсем для других целей, его белый халат — все, все ужасало меня. И когда дело кончилось благополучно и мы сидели и ждали, пока просохнет вакцина, нам стало так весело, что ссора забылась, будто ее и не было. Между аптекой Горста и летним помещением клуба зеленел пустырь, заросший бурьяном. Вниз шла лестница. Кирпичный домик краснел среди деревьев внизу. В домике этом вечерами начинала постукивать какая-то машина, выбрасывая из узенькой железной трубы клубы дыма, а иной раз колечки, как это делают курильщики. Мальчишки мне объяснили, что в домике работает водокачка, но куда она качала воду и кому принадлежала, я не знаю до сих пор. Это место мне памятно и потому, что на пустыре выросло однажды полотняное строение, не такое высокое, как цирк шапито, но зато более длинное, занявшее почти весь небольшой, впрочем, пустырь. Приехал зверинец со львом, медведями, дикобразом, пумой, шестиногим теленком! И вот после долгих просьб, откладываний, слез и отказов мама выбрала время, и мы отправились на представление, так как в зверинце еще и представляли, о чем сообщали развешанные по городу афиши.

Майкопские афиши в те времена, кстати, начинались одинаково: полукругом шли слова: "С разрешения", потом ровно стояло слово, набранное черным шрифтом, — "гор. Майкоп" и снова мелко, полукругом, — "начальства". Едва мы вошли в полотняные сени, как охватил нас острый, незнакомый запах. Кассирша продавала за столом билеты. Мы вошли в зверинец. Звери или метались по клеткам,или дремали. Грустно глядел теленок с двумя лишними ногами, которые торчали где-то сзади, я не всматривался. Самая просторная клетка была у львицы. Ее и называли в афишах львом. Левее этой клетки помещалась арена. Над ареной покачивалась трапеция. Тяжелый запах, клетки, звери, спящая львица и теленок-урод ошеломили меня. Зазвонил звонок, и зрители уселись на вделанных в землю скамейках против арены. Под скамейками зеленела трава. Вышел силач с гирями. Повертелся на трапеции гимнаст, и вдруг — сердце у меня сжалось. Я вздрогнул, мама, взглянув на меня, сказала: "Опять у тебя начинается малярия". Но я был здоров. Просто я влюбился опять и, как мне тогда показалось, гораздо сильнее, чем в первый раз. На арену выбежала девочка моих лет с темными распущенными волосами. Глаза у нее были синие. Она танцевала и улыбалась.



Девочка была в белом платье. Мама все время смотрела на арену так, будто собиралась высказать зверинцу и актерам всю правду. Но при виде девочки лицо мамы смягчилось. Она похлопала и похвалила ее. В заключение рослый и стройный человек с белокурой бородкой вошел в клетку львицы. Он заставил ее прыгать в обруч, балансировать на доске, а в заключение взвалил львицу к себе на плечи и обошел всю клетку. Любовь заставила меня всеми правдами и неправдами искать случая еще раз проникнуть в зверинец. Но удалось мне это всего один раз. Я попал туда вместе с Соловьевыми. К удивлению моему, девочка показалась мне совсем не такой, как первый раз. Точнее, в моих мечтах она была другой. Но и та, которую я увидел на арене, была прекрасна. Вскоре после этого, идя по площади против Соловьевых, я увидел девочку в окне маленького дома, где она квартировала. Очень славная, очень домашняя, смеясь куда веселее, чем в цирке, она кричала что-то по-немецки белокурому укротителю, который спешил по площади к зверинцу. И он отвечал ей, так же весело смеясь. И вот опять свойственная возрасту вообще, а в частности мне, особенность. Да, я старался попасть на представление в зверинец, но мне и в

голову не приходило пытаться заговорить с девочкой, попробовать познакомиться с ней, пройти лишний раз мимо ее дома. Встречая ее, я замирал от счастья, но не искал с ней встреч. Сейчас, углубившись в те дни, я не уверен, что "правдами и неправдами" искал случая проникнуть в цирк. Это догадка, а не воспоминание. Мне кажется, что я действительно попал еще раз в зверинец с Соловьевыми, не приложив для этого ни малейшего усилия, даже скрывая, как мне этого хотелось. Но зато, когда зверинец уехал, я каждый день ходил на пустырь, где остались столь явственные следы парусинового здания. Вот здесь были скамейки. Вот круг арены. Вот четырехугольник львиной клетки. Уехала маленькая немочка в белом платье с распущенными темными волосами, и я даже имени ее не узнал. Ее я любил долго. Два года.

5 февраля 1951 г.

Вероятно, приезд синематографа относится к тому же времени. Я не вполне уверен в этом, потому что мне представляется, что шел я в Пушкинский дом из квартиры нашей в доме Капустина. Нет. Сейчас понял, что этого не может быть. Словом, я узнал от мамы, что приехал синематограф, будут показывать картины, на которых все движется, как живое. Мне дали двадцать копеек и разрешили идти в Пушкинский дом, где должны были показывать эти чудеса, с Илюшей Шиманом и его мамой. И вот я побежал за ними. Во дворе их дома набросилась на меня неведомо откуда взявшаяся чужая собака. Я швырнул в нее двугривенным, который держал, зажав в кулаке, и стал звонить к Шиманам. Оказалось, что они уже ушли. Обойдя страшную собаку, не смея искать двугривенный, помчался я домой, чтобы выпросить новый. Но дома никого не оказалось, все ушли гулять. Куда? Неизвестно. Кухарка отказалась дать мне деньги. Я кинулся искать наших — в саду оркестр играл вальс "Пой, ласточка, пой, сердце успокой", а мое сердце разрывалось от горя. Я прибежал домой и плакал, пока не вернулись наши. От них я узнал, что синематограф будут показывать и завтра и мама пойдет туда со мною. И вот это свершилось. Занавес с Пушкиным и каплями, крупными, как виноград, был поднят. Вместо него висело туго натянутое белое полотно, политое водой. Вот на нем появился светящийся прямоугольник, неведомо откуда взявшийся. В те дни проекционная камера помещалась по ту сторону экрана. Затем он сменился названием картины, написанным не по-русски. Заиграл оркестр, и начались чудеса. Сначала мы увидели приключения неудачника, который сшибал лест-

ницы маляров и падал в ямы с известью. Потом драму — игрок ограбил кого-то, и его гильотинировали на наших глазах. И в заключение нам показали индейцев в диких прериях. Они похитили дочку фермера, но погоня их настигла, и девочка была спасена. Кони скакали по прериям, и высокая трава качалась долго после того, как всадники уже скрылись, — это поразило меня. Правда, чистая правда, картины были живые. Так я полюбил кино и долго считал, что настоящее его имя — синематограф.

6 февраля 1951 г.

Вот так и шли дни за днями, полные горестей и радостей, и приблизилась весна 1905 года. Я пошел держать экзамен в реальное училище. Оно, училище, готовилось уже к переезду в новое красивое двухэтажное здание, которое в последний раз видел я три дня назад во сне. Сколько моих снов внезапно из разных времен и стран приводили меня в знакомые длинные коридоры с кафельными полами, или в классы, или в зал с портретами писателей. Очевидно, те восемь лет, что проучился я в реальном училище, оставили вечный отпечаток на моей душе, если я через сорок с лишним лет чувствую себя, как дома, очутившись во сне на уроке или на скамейке в зале. Перед экзаменом я волновался. Однажды у нас была Анна Александровна. Она стала спрашивать у меня в разбивку таблицу умножения. “Семью восемь?” — спросила она, и я не смог ей ответить. Чуть не плача, мгновенно растерявшись, стоял я и шевелил бессмысленно губами. А Анна Александровна как ни в чем не бывало разговаривала с мамой. Потом она взглянула на меня ласково и сказала: “Что ты то краснеешь, то бледнеешь? Ведь ты ответил мне уже давно — пятьдесят шесть”. За эту доброту и деликатность, вероятно, и полюбили Анну Александровну знакомые. И вот пришел роковой день. Старое реальное училище помещалось в белом просторном одноэтажном доме во дворе. Деревья уже зеленели. Реалисты разных классов толкались во дворе, но не бегали и не играли, и не приставали к нам, не попрекали, что мы в штанах до колен и в длинных чулках, у старших в этот день тоже были экзамены. На мой взгляд, они были почти взрослыми людьми. Я сказал одному из друзей, когда мы были уже в третьем классе: “Помнишь, когда мы учились в приготовительном, какие большие были третьеклассники? Не то что мы сейчас”. И он признался, что и сам думал об этом. Нас посадили за парты и дали задачи: сидящим направо—одни, сидящим налево—другие. При этом мы их решали не в тетрадках, а на листках с печатью.

7 февраля 1951 г.

Повторяю еще раз — если воображение у меня развилось не по возрасту, если я склонен был к мистическим переживаниям, если я страдал больше своих ровесников, то и был глупее их, не умел сосредоточиться и подумать над самой ничтожной задачкой. И поэтому на экзамене задачу я не доделал. То есть не стал решать последний вопрос. Не отнял прибыль от общей выручки купца и не узнал, сколько было заплачено за сукно. Поэтому ответ у всех был девяносто, а у меня сто. Листы нам раздавал и вел экзамен красивый мрачный грузин Чкония. Узнав, что ответ у меня неверный, я мгновенно упал духом до слабости и замирания внизу живота. До сих пор я не сомневался, что выдержу экзамен. Почему? Да потому что провалиться было бы уж слишком страшно. И вот этот ужас вдруг встал передо мной. Мама ушла домой. Я оставался один, без поддержки и помощи. И я решился, несмотря на свой страх перед Чконией, подойти к нему, когда он в учительской фуражке с кокардой и белым полотняным верхом шел домой. Я спросил у него, сколько мне поставили. Он буркнул неразборчиво что-то вроде: “Четыре”. И я разом утешился. Я готов был поверить во что угодно, только бы не стоять лицом к лицу со страшной действительностью. Я и до сих пор не знаю, правильно ли я расслышал Чконию. Все остальные экзамены прошли очень хорошо. Испугался я только, когда после экзаменов мне сказали, что я “зачислен кандидатом”. Но меня утешили тем, что и всех остальных только зачислили в кандидаты, потому что будут еще осенние испытания. После них состоится заседание педагогического совета и всех нас примут в приготовительный класс. Вот я и дошел до школы. Прежде чем решить, идти мне дальше или нет, расскажу то, что не успел или не хотел рассказать о времени, предшествующем новому периоду моей жизни. Мне предстояло пережить ломку не менее тяжелую, чем после рождения брата. Жалко расставаться с более свободным и более поэтическим временем. Нет, поговорю еще о 1904 и 1905 годах до училища.

8 февраля 1951 г.

Расскажу о своих играх. После Одессы я очень полюбил террасы с перилами — на них так удобно было играть в пароход. У нас не было такой террасы. Я видел ее в доме Капустина, когда бывал в саду у Водарского, и очень завидовал живущим там. Еще я обожал деревья. Влезть на дерево и сидеть в ветвях, как в засаде, — это было настоящее счастье. Я влезал на грушу, растущую прямо против окон

нашей спальни, и выл диким голосом, изображая сам не знаю что. Бабушка Лянгерт спросила у меня однажды: “Кто это воет у вас по утрам?” — и, узнав, что я, укоризненно покачала головой, не смея делать открыто замечания чужому ребенку. Игру эту прекратил наш домовладелец. Увидев, что я сижу на груше, он так накричал на меня, что мама обиделась. В это примерно время прочел я книгу под названием “Руламан”. Несмотря на малый ее размер, любил я эту книгу необыкновенно. Было такое издание “Всходы” — не то журнал, не то альманах для детей, выпускавший законченные повести и романы. “Руламан” рассказывал о жизни мальчика каменного века. Мальчик жил в пещере с одной только бабушкой. Остальная семья погибла. В конце книги бабушка погибала, героически бросившись из пещеры прямо на плечи злейшего врага их племени, проходившего внизу по тропинке над пропастью. Руламан же встречался с людьми бронзового века. Сюжет книги я помню смутно, но чувство, вызываемое ею, представляю себе ясно. Оно было сильным. Все, что попадалось мне о каменном веке, об ископаемых животных, картинки, изображающие леса каменноугольного периода, вызывало это чувство. Книжка была в кирпично-красном переплете, и даже цвет этот особым образом действовал на меня. Это отношение к переплетам описанного цвета сохранилось у меня и сейчас.

9 февраля 1951 г. Я проверил себя и еще отчетливее вспомнил особое очарование первобытных лесов. Я испытывал всегда одинаковое беспокойство, видя картинки или читая рассказы о тех временах. И беспокойство это было близко к восторгу. Мне казалось, что я как-то родственно связан с тем временем. Поэтому я и полюбил “Руламана”, который первый познакомил меня с каменным веком, и впоследствии так обожал “Путешествие к центру Земли” Жюля Верна. Такое же чувство вызывал у меня рыцарский замок. В приложении к “Светлячку” или “Путеводному огоньку” был такой лист для вырезывания и склеивания — рыцарский замок с зубчатыми башнями и подъемным мостом. И когда Шапошниковы его склеили, душа моя затрепетала от чувства, которое я тогда и не пытался передать, да и теперь не берусь выразить с достаточной ясностью. Нет, это не было ощущение того, что я когда-то бывал тут. Это было и сложнее и проще. Я сейчас был связан с замком, как и с первобытным лесом, и с пещерными жителями. А как именно? Вот этого-то я и не могу объяснить. Но когда

я забирался на дерево и прятался в листья или вытаптывал в густой траве логово (я так его и называл тогда) и скрывался в нем, то испытывал подобие этого же самого чувства. Вишни, под которыми обедали мы летом, разрослись в высокие и развесистые деревья. Ветви одной из вишен тянулись над крышей сарая. Пробраться по крыше и залечь под этими ветками тоже было счастьем. Но это удавалось редко. Железная крыша громыхала под ногами, и мама приказывала мне сию же минуту сойти вниз. В плохую погоду я играл с деревянными кирпичиками. Я нарисовал им лица. Одно из них получилось веселым, и этот кирпичик назывался “дядя Яша”. Я строил под столиком большого зеркала, стоящего в зале, сады и леса. Наломав веток с кустов, я втыкал их в комки глины, отчего ветки стояли и не падали под черным столиком.

10 февраля 1951 г.

Люди, сделанные из деревянных кирпичиков, гуляли в этом лесу, и мне хотелось быть на их месте. Играл я, конечно, и со своими сверстниками, но только в те игры, которые не требовали ловкости. У меня не было музыкального слуха, что окончательно установил отец, заставив петь под скрипку. У меня был ужасный почерк. Я худо рисовал. Я не мог играть в лапту, ударить по мячу палкой мне никогда не удавалось. Я не мог играть в чижика. Зато в игры без правил, которые выдумывались тут же, — в разбойников, в японскую войну, в моряков играл я наравне со всеми. Помню какую-то очень интересную игру, придуманную Костей, — в стогу сена прорыли мы туннель и проползали через него. А зачем делали мы это, забыл. В этом туннеле содрала себе Леля только что привившуюся оспу. Она сидела у выхода из туннеля в своем белом платьице с короткими рукавами, угрюмо глядела на пострадавшую оспину, и слезы катились у нее по щекам. Все перечисленные мои недостатки меня не огорчали, а злили. Я считал игры, требующие ловкости, дурацкими. Мой почерк не смущал меня. Да, я рисовал плохо, но с наслаждением, иногда целый вечер рисовал я корабли, морские сражения, купающихся людей, солдат, сражающихся с японцами, и это было часто не менее интересно, чем читать. Только отсутствие музыкального слуха все больше и больше огорчало меня. Я любил музыку все безнадежнее и сильнее и глядел на людей, поющих правильно, как на волшебников. Теперь пришло время рассказать о Шаповаловых. Почему-то об этом периоде жизни я вспоминаю неохотно. А поче-

му, сам не знаю. Итак, я часто встречал на улице брюнета лет тридцати пяти, плотного, небольшого, с бодро откинутой назад головой, с широким лицом, таким же ртом, густыми волосами, зачесанными назад. Я знал, что это инженер-химик Яков Власьевич Шаповалов, у которого вместе с братом Арамом собственный поташный завод. Они были армяне, но Яков Власьевич женился на немке.

11 февраля 1951 г. У него были дети, которых я встречал иногда на улице. Одевали Шаповаловы своих детей чистенько, даже нарядно, на мой взгляд. Их дети никогда не бегали по улице одни, а гуляли с мамой. Говорили они по-немецки. Имена они носили странные. Мальчика моих лет звали Путя. Девочку помоложе — Бабуая. А младшую, лет четырех,— Пупутя. Их настоящих имен я не запомнил. Жили Шаповаловы в большом доме, недалеко от нас. В доме Бударного. И Путя казался мне мальчиком необыкновенно богатым и счастливым: у него был собственный ослик, которому Яков Власьевич дал имя Чемберлен. При встрече Яков Власьевич часто звал меня в гости. И вот я в один прекрасный день отправился к Шаповаловым. Подойдя к их дому, я попытался заглянуть через забор. Наконец, после многих прыжков, мне удалось увидеть двор с гигантскими шагами, с беседкой, с бурьяном и зелеными кустами — совсем безлюдный. За оконными занавесками я тоже никого не увидел. Позвонить я не решился и сел на ступеньках крыльца, ожидая, не появится ли живая душа. И вот через некоторое время к дому подъехал на извозчике сам Яков Власьевич. "Что же ты сидишь тут — пойдем!" — сказал он мне. И я вошел с ним в чистый-чистый, чинный и зажиточный шаповаловский и немецкий мир. Мы поиграли немного с Путей. Из его сокровищ потрясла меня больше всего железная дорога. Паровоз с настоящей топкой, темно-зеленый, с красными колесами, стройный и легкий на вид и тяжелый, как утюг, был не в порядке. Что-то случилось с котлом, и его нельзя было затопить и пустить по рельсам. Но он и без того казался прекрасным. А еще чудеснее были рельсы. В разобранном виде они наполняли большой картонный ящик. Их можно было прокладывать через весь огромный шаповаловский двор, а закругления позволяли их поворачивать в требуемом направлении. Затем Путя взнуздал и вывел из конюшни смирного Чемберлена и ушел на застекленную террасу заниматься, а я поехал по двору верхом. Я все ездил и ездил до одурения, все не мог расстаться

с добрым ослом. Но вот у него лопнуло терпение. Он наклонил шею и лягнул обеими ногами. Я мягко съехал на траву, а ослик бежал в конюшню.

12 февраля 1951 г.

У нас никогда не было налаженного удобного быта, мама не умела, да, вероятно, и не хотела его наладить. Мебель у нас стояла дешевая. На стенах висели открытки (помню Руфь с колосьями). Стол в столовой был накрыт клеенкой. Библиотеки не накопилось, в кабинете стоял книжный шкаф с папиными медицинскими книжками. Туда прибавился со временем энциклопедический словарь издательства “Просвещение” и Гельмольт, “История человечества”, в том же издании, приобретенные, кажется, по подписке. У старших, которые попали в Майкоп поневоле, не было, видимо, ощущения, что жизнь уже определилась окончательно. Им все казалось, что живут они тут пока. Отчасти этим объясняется неустроенность нашего дома. Но кроме того слой интеллигенции, к которому принадлежали мы, считал как бы зазорным жить удобно. У Соловьевых жизнь шла налаженнее, хозяйственнее, уютнее, но и у них она была подчеркнуто проста и непарадна. Перелистывая недавно “Ниву” за тринадцатый год, увидел я фотографии, помещенные к юбилею Короленко. И сразу почувствовал, узнал знакомую обстановку. Клеенка на обеденном столе, простые тарелки, графин с водой, с общим для всех стаканом, гнутые венские стулья. А ведь Короленко был к этому времени зажиточным человеком. Но таков уж закон неписаный, почти что монашеский устав. Жить удобно, с комфортом позволяли себе почему-то одни адвокаты. И папа однажды сказал: “Раздражает меня Шаповалов. Везде он умеет устроиться уж слишком удобно. В поезде я с ним ехал: у него и ночные туфли, и халат — черт знает, что такое!” Да, шаповаловский дом был совсем не похож на наш. Помню, что я с завистью смотрел на Путину библиотеку. У него был целый шкафчик книг, но, увы, — все почти немецких. Комнаты у Шаповаловых выглядели нарядно: ковры, картины, мягкая мебель. Помню, как удивил меня стол, накрытый в беседке к завтраку: рюмки для яиц, салфетки в серебряных кольцах, кофейник со спиртовкой, молоко в молочнике, а не в глиняных кувшинах и не в кастрюльках, белоснежная скатерть.

13 февраля 1951 г.

У Шаповаловых я научился кататься на гигантских шагах, забыв решительное запрещение мамы. Она при виде столба, веревок и бегающих вокруг и взлетающих высоко детей от-

ворачивалась и рассказывала с ужасом о девушке, которая некогда разбила голову о столб. Но Путя доказал мне, что это возможно только при укороченной веревке, чего у них не было. Особенно охотно играли мы в высокой траве за беседкой в углу огромного двора. Здесь мы вытаптывали логово, в котором прятали оружие и скрывались сами. С Шаповаловыми связано одно драгоценное воспоминание — поездка на восемнадцатую версту. Эту поездку предприняли по поводу дня рождения кого-то из детей. Когда Путя по моей просьбе спросил родителей, нельзя ли и мне поехать, они несколько смутились. Поездка должна была состояться на почтовых, а повозка едва могла вместить большую шаповаловскую семью. Тем не менее вечером к нам явился Путя, сопровождаемый горничной, и сказал, чтобы завтра я пришел к ним в пять часов. Шаповаловы решили взять меня с собою. В пять часов утра я стоял уже у знакомой калитки. “А все уже уехали!” — сказала кухарка, отодвигая щеколду, но не пуская меня во двор. У меня упало сердце. “Чего врешь! — остановил ее дворник. — Иди, мальчик, иди, они только что встали”. “Где же он уместится на тачанке?” — спросила кухарка с сердцем. “А это не твоя забота! — ответил дворник. — Иди мальчик, иди”. Я вошел нерешительно во двор, который выглядел необычно, по-утреннему, у террасы встретил меня Путя. С Путей мы побрели по траве, и башмаки наши сразу стали влажными от росы. Я спросил, почему не пускала меня во двор кухарка. “А потому что она дура!” — ответил Путя спокойно.


14 февраля 1951 г.

И вот мы разместились на тачанке. Как нам удалось это, не могу понять. Знаю только, что я, к величайшей радости моей, оказался на козлах. Вот мы проехали мимо городского сада (направо), дома Чибичевых (налево), Пушкинского дома (направо), свернули у нового реального училища, с которого леса уже были сняты, и поехали через огромный пустырь, ограниченный впереди домами Управления шоссейной дистанцией. Миновав эти дома, мы у красных больничных зданий выехали на шоссе. Оно тотчас же устремилось круто вниз и вывело нас к знакомому красному мосту через Белую. И улицы, и городской сад, и пустырь — все выглядело по-новому, по-утреннему, а Белая вся дымилась, и треугольный волнорез, стоящий у среднего быка посреди реки, почти скрывался в тумане. У моста кучер сдержал коней — на столбе была прибита доска с надписью “Езда шагом”. Уличные мальчишки тщательно переделали

букву "г" в "р", чтобы получилось "Езда шаром". Проехав мост шагом и поднявшись из промытой речкой лощины, мы весело понеслись по ровному шоссе. Холмы, покрытые лесом, тянулись слева совсем близко от шоссе, а Белая скоро догнала нас и побежала глубоко под кручей внизу справа. Направо же промелькнуло невысокое кирпичное здание с вывеской над воротами: "Фабрика венской мебели". Вот внизу у воды с высоких своих козел разглядел я мельницу Завершинского, и река ушла, потянулись луга. Вот и третья верста, куда так часто ездили мы. Лесник, недавно, очевидно, проснувшийся, открывает ставни. Вот мост через желтый, мутный Курджипс. Налево виднеется за деревьями крыша дома Петрожицких. За Курджипсом шоссе пошло то подолгу вверх, то подолгу вниз, и густой высокий лес обступил его со всех сторон. Дыхание леса, грибное, а иногда медовое, пробивалось через столь обожаемый мной запах кожи и лошадей. Папа с нами всегда был мрачен, даже в дни рождений, а Яков Власьевич ужасно смешил своих, и я хохотал; даже кучер смеялся.

15 февраля 1951 г. Часов около восьми последний долгий подъем закончился у почтовой станции на восемнадцатой версте. Лес возвышался над крышей почтовой станции, над телеграфными столбами, идущими вдоль шоссе. Из тачанки выгрузили корзину, большой ковер. Расположились мы на полянке в лесу. Путя, бледный, изящный, черноглазый пошел со мною по лесу. В ушах звенело от тишины. Высокие стволы вздымались из травы прямо, прямо вверх, без сучьев, без наростов, ровно-ровно до самых крон. И сколько их было! Стволы, стволы, стволы. Я узнал имя этих деревьев: чинары. Мы не видели еще такого леса. И мы вполголоса похвалили его, сказали, что тут очень красиво. Говорили мы тихо, потому что того требовала тишина вокруг и из почтения к лесу. Пока на поляне расстилали ковер, ставили самовар, мы вышли на шоссе, поднялись к роднику, к каменной колоде, поросшей внутри зеленым мхом, где поили лошадей. И тут я, чувствуя, что совершаю преступление, напился сырой воды. На поляну мы вернулись, когда завтрак был уже готов. Это был веселый завтрак — Яков Власьевич всех смешил, да мы и рады были смеяться. Из лесу вышла огромная свинья и подошла смело к самому ковру. Мы засмеялись. Яков Власьевич дал ей корочку, и свинья полезла на самый ковер. Путя ударил свинью по заду своей соломенной шляпой, держа ее за резинку, и еще, и еще

раз, пока свинья не отступила в лес. Мы падали от смеха. Особенно когда Яков Власьевич сказал на что-то намекающим голосом: "Погнали свинью шляпой по шляпе". Домой мы отправились, когда уже начинало темнеть. Лицо горело. Голова чуть кружилась, свежий воздух опьянил нас.

16 февраля 1951 г.

Мы снова уместились каким-то чудом вшестером на почтовой тачанке, взглянули на домик шоссейного сторожа и на почтовую станцию под деревьями, и сытые кони помчали нас в Майкоп. И когда совсем стемнело, в лесу и над дорогой заплясали белые огоньки. В Майкопе светлячки летали, а не ползали по кустам и траве, как те, с которыми я встречался в других краях. И вот кончился этот день, но и не кончился, пока я жив. А вот связанное с Шаповаловыми воспоминание — позорное: в конце длинных одноэтажных служб, вдоль которых тянулся навес на столбиках с низенькими перилами внизу, помещалась конура, где обитал страшный, кудлатый пес по имени Разбой. Когда мы слишком шумели во дворе, Разбой подымал у своей конуры рев, гремел цепью, вставал на дыбы. Однажды нянька наша с Валей на руках пришла меня звать домой. Мы шли не спеша вдоль служб, а Разбой, почуяв чужого, бесновался у своей конуры. И вдруг шаповаловская кухарка закричала: "Бегите, бегите, Разбой сорвался!" И в самом деле, гремя обрывками цепи, страшный пес скакал галопом прямо на нас. И я, обезумев от страха, бросив няньку и младшего брата, ринулся в дом. Разбой вцепился в нянькино платье. Она вырвалась и влетела с плачущим Валей следом за мной на террасу. В растерянности своей я повел няньку через весь дом в прихожую, чтобы вывести на улицу. Но вдруг, представив себе, как пес прыгает через забор и настигает нас и там, я потащил их обратно. Тут подоспела Путина мама. Она успокоила плачущего Валю, поругала нас за то, что бежали мы от собаки — никогда нельзя бежать от собаки,— и велела нам идти домой. Значит, нас просто выгнали? Недели две я не ходил к Шаповаловым. Но вот произошло примирение. У Водарского жил в это время Борис Иглевский, реалист, кажется, пятого класса. Он давал уроки, сам содержал себя, за что старшие уважали его. Со мною Борис Иглевский был терпелив и ласков.

17 февраля 1951 г.

Людей, которые терпеливо разговаривали со мной, я скоро начинал любить до того, что все в них мне казалось прекрасным. И я до сих пор вспоминаю с нежностью короткого,

большеголового, спокойного реалиста, которому я говорил "ты" и "Боря", но вместе с тем уважал, как взрослого. Был ясный, солнечный день. Мы с Борей стояли на крыльце дома, где жил Водарский, и вдруг из-за угла вышел Путя с мамой и сестрами. Мама его, худенькая и стройная, как всегда, выглядела нарядной. В руках у нее был легкий зонтик от солнца. И она добродушно и разумно побранила меня за мою глупость. Ведь я до происшествия с Разбоем все равно спешил домой. Валя плакал. И вот она сказала, чтобы мы шли себе, наконец, что тут обидного? И она, улыбаясь, что-то сказала детям на своем языке, по-немецки. Улыбнулся и Боря Иглевский. И я подумал с уважением: "Вот что значит пятиклассник. Знает немецкий!" И я спрыгнул с крыльца и присоединился к гуляющим Шаповаловым. Сколько времени продолжалась эта дружба? Не могу вспомнить. И не могу припомнить поэтому, когда устраивали мы кукольный театр, в котором ставили пьесу "Приключения Шерлока Холмса". По целому ряду признаков мне кажется, что произошло это в 1906 году. Поэтому я и расскажу об этом позже. Во всяком случае одно время Путя был мой лучший друг. Родители Илюши Шимана уехали в Америку и его, конечно, взяли с собой. Отношения наши испортились несколько, мы реже встречались, но его отъезд ужасно огорчил меня, и некоторое время я просто тосковал без него. А потом дружба с Путей заставила меня забыть Илюшу. Не хочется мне переходить к реальному училищу. Буду еще вспоминать и рассказывать о лете 1905 года. Однажды я сидел и читал в комнате. Ребята, как всегда в хорошую погоду, кричали на улице. И вдруг мне показалось, что они слишком уж визжат. И я выглянул в окно, и сам заорал от ужаса и от тайного восторга. За домом, где жило бедное еврейское семейство, снопом взвивалось пламя до самого неба, народ с криком бегал по площади, визжали женщины. Из-за угла с грохотом вылетела первая бочка пожарной части. Вот и мама закричала: "Пожар!"

18 февраля 1951 г.

Не помню, как я очутился на улице. Плача, шли вдоль забора мальчики — это их сарай пылал до самого неба. "Подожгли нас евреи!" — вопил горестно самый младший из них, но Беатриса Яковлевна налетела на него, словно коршун, и заставила замолчать. Пожарный насос уже работал вовсю. Качали пожарные и добровольцы из толпы. Примчался пристав на беговых дрожках. Старик Сандель грохотал по крыше над нашей квартирой — давил головешки, которые ветер швы-

рял через площадь прямо на нас. Сытые пожарные кони мчали бочки на пожар и обратно к Белой, до того лихо заворачивая на скаку, что поднимались над землей колеса. Трещал огонь, визжали женщины, стучал насос, а мы метались по всей площади в ужасе и восторге, слушая и повторяя, что при таком ветре весь город может сгореть. Но вот пламя стало ниже, а дым гуще. Сильнее запахло гарью. Головешки перестали летать над площадью. Франц Иванович (вот как звали Санделя! Вдруг вспомнил) спустился с крыши, — маленький, решительный, в белом картузе, топорща сурово свои белые усы. А пожар затихал, затихал и затихал. Сгорела летняя кухня бедного еврейского семейства и сарай их соседей, в котором было сложено сено. Пожар начался в кухне, поэтому и кричал плачущий мальчик, что их подожгли евреи. Разговоры о пожаре не затихали несколько дней, и мы на площади, забыв японцев, играли в пожар. Особенно долго вспоминал пожар я. Наконец-то происшествие, настоящее происшествие, о котором, конечно, уж напечатали бы в газете, издавайся она в Майкопе. Вероятно, к этому времени относится и странный сон. Огромный человек, полунагой, в тоге сидит в небе. Голова его скрыта в облаках, а ноги, вот они, на площади против наших окон. На коленях его стоят скрижали, такие, как Моисей принес с Синая. А народ в страхе мечется по площади. У некоторых ноги не идут, они кричат, падают, закрывают голову руками.

21 февраля 1951 г. Он [Майкоп] мне представляется столь же отдаленным и привлекательным, как первобытные леса, о которых я читал в “Руламане”. Припоминаю теперь, что ко времени дружбы с Шаповаловыми я поссорился окончательно с Соловьевыми. Дело было так: они куда-то уезжали на лето, к каким-то родственникам, и, вернувшись, привезли незнакомую девочку. Уезжая, они простились со мною дружески — был мирный период наших отношений. Поэтому, узнав об их возвращении, я побежал к ним, ожидая столь же дружеской встречи. Но я увидел выросших, надменных, неузнаваемых девочек. Касалось это, конечно, главным образом, Наташи. Леля всегда держалась угрюмо, а с Варей я тогда не слишком считался. Наташа едва со мной поздоровалась. Она все шепталась с приезжей девочкой, и я, обидевшись, ушел домомй. На другой день, проходя по улице, я увидел в окне всех сестер Соловьевых и их гостью, которая была почему-то в платке. Вероятно, после ванны. Все девочки показались мне отвра-

тительными, а приезжая хуже всех. Платок, затянутый узлом у подбородка, создавал такое впечатление, будто у нее болит горло. Это мне почему-то ужасно не понравилось. Тем не менее я попробовал заговорить с девочками. Но приезжая повернула ко мне свое круглое лицо, глянула на меня из-под платка черными глазами и сказала: "Чего ты пристаешь к девочкам? Иди играть с мальчишками". Обозвав девочек дурами, я удалился и, вероятно, с год не бывал у них. Еще до отъезда девочек мы прочли вместе рассказ Мамина-Сибиряка "Ак-Базат" — так звали коня с белой отметиной на лбу. Взрослые, зная, как тронул детей этот печальный рассказ, подарили Косте и девочкам жеребенка с такой же белой отметиной. Жеребенку дано было имя Ак-Базат. Мы его очень любили и кормили, но кататься на нем решительно запрещалось. Катали на жеребенке Валю и его ровесника Васю, младшего брата девочек Соловьевых, который не принимал почти никакого участия в нашей жизни по возрасту.

22 февраля 1951 г.

В Майкоп я приехал несколько изнеженным, но здоровым мальчиком. И тут ко мне привязалась малярия, последний припадок которой я пережил в 1929 году, то есть через двадцать семь лет после первого. Во время войны, когда мы уже уехали из Майкопа, там появился странный человек — новый ветеринарный врач. Я видел его в один из своих приездов в город. Это был тяжелый, большой мужчина с узким, высоким лбом, большими щеками, губастый и суровый. Ходил он в военной форме. Я ни разу не разговаривал с ним. Как-то не пришлось. Но он привился у Соловьевых, которых поразил несвойственными нашему кругу разговорами.

23 февраля 1951 г.

Он поразил их умением гадать по руке. Верой в дьявола. Он утверждал, что Майкоп — несчастный город, в нем водятся "лярвы", которые "выедают душу человека, взамен наполняя ее тоской". Его считали занятным чудаком, но слушать его любили, как любят слушать сказки. Он же сам, как представляется мне теперь, когда вспоминаю его суровое лицо, верил в то, что говорил. Вспомнил я о нем, упомянув о малярии. Действительно, как лярва, вцепилась в меня эта болезнь и, боюсь, отняла много сил. Сама ли малярия виновна в этом или пуды хины, которые я принял за эти двадцать семь лет, трудно сказать. Но припадки вя-

лости, безразличия ко всему, такой лени, когда трудно пуговицу застегнуть или причесаться, стали нападать на меня очень рано. В детстве. Борис Житков, тоже много лет болевший малярией, сказал однажды: “Если я просыпаюсь и думаю, какое вчера совершил преступление, то это значит, что к вечеру у меня будет припадок малярии”. Эта тревога, угнетающая, принижающая, мне хорошо знакома. Болели в Майкопе малярией все или почти все. Я помню, как жаловались мои сверстники на боль под ребрами с левой стороны, как только побегаешь. Болела увеличенная селезенка. Но, видимо, родившиеся в Майкопе успешно справлялись с лихорадкой. Я стал слабеть. Однажды, еще до нашей ссоры, Соловьевы пошли на третью версту пешком, и мама отпустила меня с ними. Едва успели мы перейти Белую, как я почувствовал, что не могу шагать так быстро, как остальные. Ноги подгибались. Я взмолился, и Наташа подняла меня на смех. Я сам презирал свою слабость и удивлялся ей, но поделать ничего не мог. Меня поджидали сначала, а потом махнули рукой и пошли вперед, а я, видя далеко-далеко впереди белые платья девочек и синий костюм их шепелявой учительницы, предавался отчаянию. Но вот наконец и я одолел две с половиной версты и приплелся к домику лесничего. Мама и Валя уже были здесь — приехали на линейке. Сырой воды мне поэтому выпить не удалось, и я, лежа под деревом, мучался.

24 февраля 1951 г.

Мучался и представлял себе чайник с холодной кипяченой водой, стоящий в коридоре на подоконнике у нас дома. Когда Соловьевы через некоторое время собрались опять на третью версту, я было отказался, но Василий Федорович мягко и решительно заявил, что сам пойдет со мною и я дойду легко. К моей радости, так оно и вышло. Отправились в путь мы вдвоем, когда Василий Федорович освободился от утреннего приема больных. Серьезный, но никак не строгий, он спокойно и внимательно смотрел вперед через пенсне, откинув голову назад, и все помалкивал, но мне с ним было не скучно. На вопросы мои он отвечал подробно и добросовестно, отчего я проникался самоуважением. Как я говорил уже, слова “за Белую” имели такой же точный смысл, как, скажем, “за границу”. Но Василий Федорович почему-то никогда не говорил “идем за Белую”, а всегда “идем в лес”. И в самом деле, перейдя реку, пошли мы на третью версту не по шоссе, а поднялись на холмы (никогда мы их так не называли!) — поднялись на горы и по дубовому лесу, по ореховым зарослям

пошли в тени и в прохладе по незнакомой мне дорожке. Когда мы спускались в неглубокую лощину, я сказал Василию Федоровичу, что было бы хорошо, если бы дорога всегда шла под гору. Но Василий Федорович спокойно и добросовестно объяснил, что долгий спуск так же утомил бы в конце концов, как и подъем, напрягались бы излишне не те мускулы, которые к этому привычны. Меньше всего утомляет ходока ровная дорога. И я согласился с ним. Так, беседуя, мы вышли совершенно для меня неожиданно к домику лесника со стороны новой — с горы, а не с шоссе, отчего и весь дом, и поляна у дома показались мне новыми. Я всем рассказал, как мы хорошо шли и как я не устал, но тем не менее я очень, очень долго считался плохим ходоком. Только в 1913 году, когда мы отправились с Соловьевыми и Соколовыми в горы, все, и я в том числе, с крайним удивлением увидели, что хожу я не хуже других и здоров и силен, как все.

25 февраля 1951 г.

Дрался я в то время довольно часто, не уклоняясь, и отступал вовремя, когда замечал, что и противник жаждет прекращения боя. Царапин не боялся, но скрывал их, чтобы мама не мазала меня йодом. Зато во многих других случаях жизни обнаруживал я позорный и непростительный страх боли. Сколько слез было пролито, когда мне делали уколы мышьяка. До сих пор стыдно вспомнить, как впрыскивали мне хину, когда очередной припадок малярии слишком уж затянулся. Это и в самом деле было болезненно, но я уж слишком трусил. Папа чуть не разбил шприц от ярости, пока я наконец не согласился на укол при условии, что мама будет держать меня в объятиях и я спрячу голову у нее на груди. Итак, к поступлению в школу, то есть к девяти годам, я был слаб, неловок, часто хворал, но при этом весел,общителен, ненавидел одиночество, искал друзей. Но ни одному другу не выдавал я свои тайные мечты, не жаловался на тайные мучения. Так я и бегал, и дрался, и мирился, и играл, и читал с невидимым грузом за плечами. И никто не подозревал об этом. И мама все чаще и чаще говорила в моем присутствии, что все матери, пока их дети малы, считают их какими-то особенными, когда дети вырастают, то матери разочаровываются. И я беспрекословно соглашался с ней, считал себя ничем, сохраняя идиотскую, несокрушимую уверенность, что из меня непременно выйдет толк, что я буду писателем. Как я соединял и примирял два этих противоположных убеждения? А никак. Я говорил уже где-то, что если я научился

чувствовать и воображать, то думать и рассуждать совсем не научился. Было ли что-нибудь отличное от других в том, что я носил за плечами этот невидимый груз? Не знаю. Возможно, что все переживают в детстве то же самое, но забывают это впоследствии, после окончательного изгнания из рая. Во всяком случае, повторяю, ни признака таланта литературного я не проявлял. Двух нот не мог спеть правильно. Был ничуть не умнее своих сверстников. Безобразно рисовал. Все болел. Было отчего маме огорчаться.

26 февраля 1951 г.

Таким я был, к великому огорчению своих родителей. Отец, происходивший из семьи, несомненно, даровитой, со здравой, лишенной всяких усложнений и мучений склонностью к блеску и успеху, огорчался особенно. Он, как я уже говорил, пел приятным и сильным баритоном, играл на скрипке, декламировал и участвовал в любительских спектаклях. Исаак с огромным успехом исполнял даже такие роли, как Уриэль Акоста, удивляя профессионалов, Самсон уже имел имя на провинциальной сцене, Маня и Розалия с блеском окончили консерваторию, Феня была блистательной студенткой-юристкой в Париже, и Саша подавал надежды. И Тоня уже шел по пути старших чуть ли не с трех лет. Его ставили на стол, и он читал стихи спокойно и храбро, здраво наслаждаясь успехом и блеском. Мама же обладала воистину удивительным актерским талантом, похвалы принимала угрюмо и недоверчиво, и после спектаклей ходила сердитая, как бы не веря ни себе, ни зрителям, которые ее вчера вызывали. Но и ей, так же как папе, хотелось, чтобы я был талантлив. А я был только трудным мальчиком. Опишу одну только ссору с мамой, которая произошла в то время. Я совершил ряд преступлений, не помню точно, каких, но по всем признакам ужасных. В заключение, помнится, я назвал идиоткой нашу темнолицую, сухонькую, суровую кухарку Домну. Это привело маму в ужас. Она погналась за мной с таким беспощадным лицом, что я струсил не на шутку и бросился наверх в спальню. Там я придумал недопустимо глупую для моего возраста уловку — повалился на кровать, укрылся и притворился спящим. Это, понятно, ничему не помогло. Мама сорвала с меня одеяло и отшлепала гораздо сильнее, чем это было у нас принято. Мгновенно все изменилось. Я сразу почувствовал себя обиженным. Наказание показалось мне даже при всей вероятности моей вины слишком суровым.

27 февраля 1951 г.

Оскорбленный, я вскочил с кровати, выбежал во двор и, подумав немножко, решил бежать из дому раз и навсегда. Я отправился по улице прямо к Белой. Я заметил, что в прибрежном леске стоит за плетнем хатка не то рыбака, не то лесника, с огородом и садиком. К леснику я и решил наняться в работники. Благодаря легкому характеру моему, чувство обиды сменилось скоро блаженным ощущением безграничной свободы. Я шел и напевал вполголоса самые непристойные, самые запрещенные слова, известные мне. У обрыва над рекой я остановился. Хатка лесника оказалась вовсе не такой приветливой, как в моем представлении. Это прежде всего был чужой дом. Незнакомый человек в черном картузе стоял у калитки. Мне предстояло с ним заговорить, что само по себе уже было страшно, да еще проситься к нему на работу. Все, что было так просто в мечтах, выглядело ужасно сложным и враждебным наяву. И вот я, побыв бунтарем, беглецом, беспризорником всего минут двадцать, поплелся уныло обратно. На полпути я встретил маму, которая, заметив, что я пошел к реке, встревожилась и отправилась на поиски. Она спросила, куда я ходил. Вместо ответа я расплакался. Мама больше ни о чем не спрашивала, так, молча, мы и вернулись домой. На другой день за столом под вишнями произошло объяснение. Мама сказала, что я, может быть, думаю, что родители меня не любят. Это напрасно. Они потому и кричат, и сердятся, что болеют душою за детей и огорчаются, когда они плохо ведут себя. Затем мама прибавила, что выиграла рубль, когда они играли у Алексея Федоровича в карты, и хотела еще вчера подарить его мне на игрушки. Но я так ужасно вел себя, что она раздумала. Однако я, видимо, исправился. И тут мама достала из сумочки желтую бумажку, протянула ее мне и сказала, чтобы я пошел в игрушечный магазин Калмыкова и купил бы там, что захочу. Я обрадовался ужасно. Никогда мне не давали столько денег!

28 февраля 1951 г.

Я любил читать, к игрушкам относился скорее равнодушно, и все же игрушечный магазин Калмыкова был для меня куда привлекательнее, чем книжный Мареева. Я как-то не понимал, что книжку можно купить, вероятно, потому, что наш единственный книжный шкаф не наводил меня на эти мысли. Две книги — “Капитан Гаттерас” и “Рыжик” — мне подарили. Подарили мне и тоненькую книжку “Давид Копперфильд”. Это было сокращенное издание, в книжечке история

мальчика заканчивалась его появлением у бабушки и изгнанием Мердстонов. Только через много лет я был приятно поражен, узнав, что прочел только начало романа. Итак, за этими тремя исключениями, собственных книжек у меня не было, а покупать их я не догадывался. Но игрушки покупал с наслаждением. Чаще всего это были мячи — твердые черные или белые, помягче; стоили они десять-пятнадцать копеек. Еще дешевле были набитые опилками бумажные шарики на резинке, впоследствии, в Ленинграде уже, встреченные мною под именем "московский расстегай, подкидывай, кидай". Но впервые в жизни шел я в магазин Калмыкова, имея целый рубль. За прилавком обычно стояли хозяин, высокий, невеселый, и хозяйка, полная, курносая и надменная. Впрочем, с покупателями она была снисходительно вежлива. Я посоветовался с хозяином и выбрал великолепную игрушку: большой белый лук с тетивой, похожей на скрипичную басовую струну, и с деревянным колчаном, в котором, как в футляре, покоились оперенные стрелы. Нет, мама, конечно, и в самом деле меня любила. Возвращаясь с подарком домой, я вспомнил, как недавно болел ангиной. Уходя в магазин, мама обещала купить мне какую-нибудь игрушку. И забыла. Я расплакался. "Я сейчас схожу, схожу куплю!" — сказала мама. Я заплакал еще сильнее, тронутый ее добротой, но не нашел в себе силы сказать ей: "Не ходи!" И мама ушла, хотя лил дождик, и купила мне заводную мышку. И все мы дружно смеялись, глядя, как наша кошка гоняется за ней, как за живой. Нет, конечно, мама любила меня, заботилась обо мне, жалела.


1 марта 1951 г.

В том, что родители меня любят, я вскоре убедился еще раз, но очень болезненным способом. К нам приехал Гурий Федорович, которого я помнил и любил, как всех, кто был когда-либо внимателен и ласков со мною. В день его отъезда мне сильно нездоровилось, болел живот, что я скрывал от мамы, боясь, что мама посадит на диету. Когда Гурий Федорович усаживался в фургон, меня сильно затошнило. Причиной этому был, как мне показалось, запах сена. С дороги Гурий Федорович прислал мне открытку, на которой изображены были вишни. Но пришла эта открытка, когда я был болен дизентерией в очень тяжелой форме. Василий Федорович и папа были почти уверены, что я не выживу. Уже много лет спустя вспоминали, как, придя в больницу, папа садился у окна, подперев голову руками, и молчал. И с ним никто не заговаривал — все

понимали, как ему тяжело. Мама не отходила от меня. А я и не знал, что могу умереть. У меня почти изгладились из памяти далеко не поэтические подробности этой болезни. Но помню хорошо, как я бредил. Поднималась волна, огромная, выше нашего дома, и разбивалась тихо-тихо, неестественно тихо шурша. Или мне чудилось, что вместо того, чтобы сказать кому-нибудь: "Здравствуйте", я кричал это слово изо всех сил. Так же кричали и папа, и Василий Федорович, кричали самые обыкновенные слова вроде "Что новенького слышно?" или: "А который теперь час?" Я приходил в себя, открывал глаза, видел маму, сидящую возле, черную ночь за окнами и снова поднималась огромная волна и разбивалась едва шурша, орали во весь голос самые обыкновенные слова папа, Василий Федорович, я сам, появлялся в дверях тяжелый, лысый и бородатый немец-аптекарь Горст и размахивал руками, чего не позволял себе наяву, и опять, и опять повторялось все это до самого утра. Пальцы мои казались мне пудовыми.

2 марта 1951 г.

Но вот я стал поправляться. Мама, кажется не без оснований, считала, что она меня спасла — вычитала в какой-то медицинской книжке, что иногда при болезни моей чудеса совершает лед. Папа, правда, не верил, что именно лед помог мне, но перелом к лучшему начался во всяком случае после применения этого метода лечения. На диете держали меня долго, а я плакал, до того мне хотелось есть. В это время, лежа, читал я книжку интересную и вместе с тем мучительную: выпущенный для педагогов и родителей справочник по детской литературе с краткими аннотациями всех книг. Было очень интересно читать, скажем, следующее: Гранстрем (кажется) "Елена Робинзон". И далее содержание книги, изложенное в трех строчках, после которых я мучительно жаждал прочесть эту книжку. И таких желанных книг в справочнике нашлись десятки. Особенно страстно мечтал я достать те книжки, в которых указывалось, скажем, четыреста страниц или около этого. Толстые книжки! Кроме этого справочника, просматривал я бесконечно каталог сарпинок с наклеенными образцами этой материи. На обложке каталога изображена была огромная фабрика с дымящимися трубами. Как попал к нам этот каталог? Почти с каждой почтой приходили к нам проспекты и письма, рекомендующие различные патентованные медицинские средства. Присылались образцы лекарств. Помню зубную пасту розового цвета, которой я с наслаждением чис-

тил зубы. Но кроме медицинских проспектов, мы получали каталоги садоводства, магазина готового платья Манделя, Мюра и Мерилиза и многих других. Адреса врачей всей России печатались во врачебном календаре, чем и пользовались рекламные отделы самых разнообразных фирм. Вот поэтому я и рассматривал спокойно, ни о чем не думая, выздоравливая потихоньку, образцы сарпинок, которые очаровывали меня тем, что они не нарисованные, а настоящие. Старшие были ласковы, разговаривали со мной, читали вслух. Если бы еще при этом меня и кормили досыта, то я был бы совершенно счастлив. Но вот наконец я встал и с удивлением увидел в зеркало, какой я худой.

3 марта 1951 г.

Вскоре после этого надел я впервые в жизни длинные темно-серые брюки и того же цвета форменную рубашку, и мне купили фуражку с гербом и сшили форменное пальто. Мне все казалось, что я ношу эту одежду, столь желанную, без всяких на то прав. Ведь я был только кандидатом в ученики приготовительного класса. Но вот список принятых повесили возле канцелярии училища, и мы с мамой отправились в магазин Мареева покупать учебники. В магазине было полно. Каждый приказчик знал, какие учебники нужны данному классу. Мне купили и учебники, и тетради, и деревянный пенал, верхняя крышка которого отодвигалась с писком, и, чтобы носить все это в училище, — ранец. Серая телячья шерсть серебрилась на ранце, он похрустывал и поскрипывал, как и подобает кожаной вещи, и я был счастлив, когда надел его впервые на спину. И вот я пошел в реальное училище, не понимая и не предчувствуя, что начал новую жизнь, окончательно прощаясь с детством. Встретил нас хмурый и недружелюбный Чкония. В первый день не произошло ничего памятного. Только один случай я и запомнил: в класс вошел наш директор Василий Соломонович Истаманов, которого мы все боялись и уважали. Случилось это на перемене. Мы шумели, но едва директор, крупный, спокойный, серьезный, появился в дверях, как в классе воцарилась тишина. Левка Сыпченко, стоявший у самой двери и оказавшийся внезапно в неожиданной близости к Василию Соломоновичу, растерянно улыбнулся и протянул директору руку. И Василий Соломонович усмехнулся. Он пожал протянутую руку и объяснил ласково, но внушительно, так, чтобы слышал весь класс, что младшим не положено протягивать руку первыми.

4 марта 1951 г.

Думаю, что отец смотрел на удачи свои, принимал счастье, если оно ему доставалось, встречал успех, как охотник добычу. А мама — как дар некоей непостижимой силы, которая сегодня дарит, а завтра может и отнять. Она ужасно молилась, стоя перед иконою на коленях, но верила в предчувствия, в приметы, в сны. Если мама видела во сне, что рвет яблоки в саду, рядом с которым жила в детстве, а хозяйка качает головой, укоризненно глядя на нее, то сон этот значил, что маме сегодня плакать по какому-нибудь поводу. Вообще приметы ее и сны большей частью предвещали горе. Не к добру было слишком много смеяться, не к добру было петь по утрам. Помню, как прибежала маленькая, сухенькая, темнолицая Домна и сообщила таинственным шепотом, что одна из наших кур кричала петухом. И мама, которая в Екатеринодаре так страстно спорила с кухаркой и со мною, доказывая, что нет Бога, тут потемнела, опустила голову перед страшным предзнаменованием. Верил в те дни и я в приметы, которые выискивал сам. А школьная жизнь уже тянулась, тянулась. За Пушкинским домом помещалось техническое училище. Без четверти восемь гудок, длинный-длинный, раздавался над его мастерскими, будил техников. Обычно к этому времени я уже не спал, но еще не вставал. Этот гудок давал знать и мне, что до начала занятий у нас в реальном осталось сорок пять минут. И вот с криком и спорами, ссорясь с мамой, трехлетним Валей, нянькой, я поднимался. Завтрак был чистым мучением. Мама в стакан с какао выпускала мне сырой желток, растерев его старательно с сахаром. Непременно туда же попадали частицы белка, плавали сверху, стекловидные, отвратительные. Запах сырого яйца угадывался от одного взгляда на это пойло. Потом я съедал котлету, булку с маслом. Сверх всего этого мама клала в ранец бутылку молока, несмотря на все мои протесты и даже слезы, требуя, чтобы я выпил его на большой перемене. Тем временем раздавался второй гудок технического училища, гораздо более короткий. Пятнадцать минут до начала. Надо спешить. Я надевал на спину ранец и выходил. Деревья уже облетели. Бурьян уже пожелтел. Улицы превратились в грязевые реки. В лужах плавали гуси. Я шел через площадь, что против Соловьевых, мимо дома Авшаровых, мимо городского сада.

5 марта 1951 г.

Появление на общей молитве в зале было не обязательно, точнее, никем не контролировалось. Скоро общая молитва и вовсе отменилась. Читал дежурный “молитву перед

учением", которую я запомнил на всю жизнь, а в конце занятий "молитву после учения", столь же памятную. Чкония, красивый, но хмурый, никогда не улыбавшийся, вел класс строго и недружелюбно. Сидели мы у него тихо, но замечания так и сыпались на наши головы. Не жалел он и двоек. Это было нечто вроде обряда — получивший двойку падал головой на парту, на согнутую руку и плакал горько, на что Чкония не обращал ни малейшего внимания. Вечно у него кто-нибудь стоял в углу. Лучшим учеником в классе был Ваня Морозов из станицы Даховской, большеголовый, нескладный, коренастый, очень сильный. Во время молитвы он широко крестился и кланялся поясным поклоном. Соседи его скоро заметили, что крестится он двуперстным знамением, и мы поняли, что он старовер. Он и сам этого не скрывал. Впрочем, никакого значения этому обстоятельству мы не придавали. В классе Морозова уважали и любили за ум, честность и силу. Столь же уважаем был Волобуев — некрасивый, сутулый, с неровным цветом лица и все о чем-то думающий. У отца его была недалеко за городом арендована земля, кажется, огороды и сад? Забыл. Он учился тоже на всех пятерках. Из первых был и Мендель Грузд из огромной еврейской семьи. Бабушка Грузд кормила, примерно в это время, и сына и внука, так как у невестки не хватало молока. Там дяди были моложе на несколько лет, чем племянники, что нам очень нравилось. Рядом со мной сидел бледный блондин по фамилии Поляков, который скоро не то отстал от класса, не то уехал, я его вспомнил только сейчас. На первой парте помещался маленький Мирон Камрас, с которым я скоро подружился. Так и вижу то его стриженый затылок, то курносый профиль, когда он поглядывал на учителя, стол которого стоял вправо от него. Там же сидел Левка Сыпченко — казак, не помню, какой станицы. И Курдюмов.

6 марта 1951 г.

Курдюмов был сыном священника. На первой парте сидел и хрупкий Костюковский, похожий на младенца, большелобый, с легким тельцем, с кожей тонкой и белой. Когда он смеялся, на лбу проступала синяя жилка. Летом 1906 года отец его, торговец, купил сыну велосипед. Костюковский, покатавшись и разгорячившись, лег под прилавок в тень отдохнуть, уснул и простыл, и заболел воспалением легкого, и умер. Это был первый сверстник, о смерти которого я услышал с ужасом и жадным вниманием. Помню еще Сербина — черного, конопатого. Кроме Камраса, ни одного приятеля не дала мне школа. Но ужаснула и оше-

ломила непристойностью разговоров и грубостью обращения. У нас был на редкость хороший директор и очень сильный педагогический состав. Но масса школьников, в основном приезжих из станиц, была трудноукротима и малоподатлива. Здесь драки не кончались вничью, как на площади у нас. Здесь дерущихся немедленно окружала толпа. По незыблемой традиции зрители начинали петь, отбивая такт ладонями, цирковой галоп, мотив которого звучит сейчас в моей памяти, и смешит, и наводит тоску. И под этот мотив бойцы сражались беспощадно, без всяких правил, иногда и царапаясь и кусаясь, пока Петр Матвеевич Миргородский или Михаил Осипович Чехочидзе, помощники классного наставника, или попросту — надзиратели, не появлялись, привлеченные звуками знакомого галопа. Несколько сражений убедили меня, что я чуть ли не самый слабый в классе. Мой легкий и веселый нрав спас меня от того, чтобы стать забитым и озлобленным мальчиком. Зато другое свойство школьной толпы действовало неотразимо. Помню, как маленький первоклассник, десятилетний армянин Берберов, подробно рассказывал нам, как он жил со своей двоюродной сестрой. Этот рассказ был полон немыслимыми подробностями, но по неопытности нашей принимался за чистую правду. Помню, как шагает Яшка Кургузов, второклассник, показывая свой рисунок: казак в расстегнутых шароварах.

7 марта 1951 г.

К этому рисунку приспособил он спичку, что сделало его еще более непристойным. И вот Яшка шагает как победитель, показывая свое изобретение, а гогочущая толпа девяти-двенадцатилетних детей следует в восторге за ним. Чуть ли не все второклассники и третьеклассники, по их словам, уже познали женщин. Воображение мое подвергалось столь мощным и завлекательным влияниям, что спасительный страх все реже и реже охватывал меня. Но я продолжал твердо верить, что лишь отбросы человечества позволяют себе предаваться подобным занятиям. И все же домашние влияния были сильней. Я оставался правдивым и послушным. Молоко, которое посылала со мною мать, создавало мне целую массу затруднений. Пить его на большой перемене, при всех, значило бы подвергнуться всеобщему осмеянию. Поэтому я тайно до начала уроков забегал в подвал и прятал бутылку в груде строительного мусора. На большой перемене я каждый раз о нем забывал. Только после уроков мчался я в подвал. К этому времени молоко пропитывалось всеми подвальными

запахами, главным образом, сыростью. Я мог бы его вылить. Кто бы узнал об этом, но я выполнял мамин приказ добросовестно, проглатывая отвратительный напиток до последнего глоточка, хоть меня и мутило. Придя домой, я не мог обедать, а мама сердилась, беспокоилась и говорила отцу, что мне опять надо впрыскивать мышьяк. Сразу после еды садиться за уроки считалось вредным. И вот я играл во дворе, пока не начинал звонить унылый колокол армянской церкви. Она еще не была достроена. Колокола ее, временные, помещались под навесом маленькой, невысокой деревянной часовни во дворе. Колокол звонил заунывно, тревожил мою совесть, напоминая о неотвратимых обязанностях ученика реального училища. Но я все откладывал да откладывал свое возвращение домой, пока мощный, низкий мамин голос не раздавался над моей головой: "Женя! Уроки учить!"

8 марта 1951 г.

И я усаживался чаще всего в зале и принимался за уроки. Русский язык давался мне сравнительно легко, хотя первое же задание — выучить наизусть алфавит — я не в состоянии был выполнить. Капризная моя память схватывала то, что производило на меня впечатление. Алфавит же никакого впечатления не прозвел на меня, и я его не знаю до сих пор. И грамматические правила заучивал я механически и не верил в них в глубине души. Не верил я ни в падежи, ни в приставки, ни в какие части речи. Я не мог признать, что полные ловушек и трудностей сведения, преподносимые недружелюбным Чкония, могут иметь какое бы то ни было отношение к языку, которым я говорю и которым написаны мои любимые книги. Язык сам по себе, а грамматика сама по себе. Да и все школьные сведения, связанные с враждебным школьным миром, со звонком, классом, уроками, толпой учеников, словом, никакого отношения не имеют к настоящей жизни. Само собой, что это я теперь облекаю в слова, довольно, впрочем, ясное чувство тех дней. Но так или иначе, русский язык я заканчивал самостоятельно. Но вот наступала очередь арифметики. Я открывал задачник, читал задачу раз, другой, третий — и принимался ее решать наугад. И начинались беды. Ох! Рубли и копейки не делятся на число аршин проданного сукна, хотя я даже помолился, прежде чем приступить к этому последнему действию. Значит, решал я задачу неправильно. Но в чем ошибка? И я вновь принимался думать, и думал о чем угодно, только не о задаче. Я думать не умел. Не умел сосредоточиться и направить внимание.

Темнело. Передо мной на столе появлялась свеча, которая еще дальше уводила меня от арифметики. Я раскалял перо и вонзал в белый стеариновый столбик, и он шипел и трещал. Я проделывал каналы для стока стеарина от фитиля до низа подсвечника. Словом, в столовой уже звенели посудой, накрывали к ужину, а задача еще не была решена. А мне предстояло еще учить закон божий! “Женя, ужинать!” — звала мама.

9 марта 1951 г. И я появлялся за столом до того мрачный и виноватый, что мама сразу догадывалась, в чем дело. Хорошо, если она могла решить задачу самостоятельно, но, увы, это случалось не так часто. К математике она была так же мало склонна, как я. Обычно дело кончалось тем, что за помощью мы обращались к отцу. Не проходило и пяти минут, как я переставал понимать и то немногое, что понимал до сих пор. Моя тупость приводила вспыльчивого моего папу в состояние полного бешенства. Он исступленно выкрикивал несложные истины, с помощью которых решалась моя задача. И я бы понял их, вероятно, говори он тихо и спокойно. После долгих мучений и слез мой ответ сходился, наконец, с ответом учебника, и я отдыхал душою, принимаясь за закон божий. Батюшка, отец Александр, с небольшой рыжеватой бородкой и редеющими волосами, высокий, светлоглазый, худощавый человек лет тридцати, был очень любим учениками и на хорошем счету у взрослых. Мы знали, что, кончив семинарию, он пошел на юридический факультет. Ранняя женитьба заставила его университет бросить и постричься **[так у Е. Ш.—Ред]** в священники. Большая его семья все росла и росла с каждым годом. Жилось батюшке, вероятно, нелегко, но он был всегда ровен, часто шутил с нами, любил ходить на охоту, путешествовать по горам и, главное, как я теперь понимаю, был умен, думал ясно, самостоятельно. Один разговор с ним относительно книги Джека Лондона “Белый клык”, произошедший году в одиннадцатом, сильно повлиял на меня. Батюшка утверждал, что если мысли человека трудно иной раз понять, то сознание собаки — непостижимо. А если и постигается приблизительно, то не теми приемами, как это делает Джек Лондон. Для меня это было целое откровение, осознанное, правда, не сразу. Но это, повторяю, случилось позже, а тогда, в приготовительном классе, я любил батюшку потому, что любил закон божий и получал по этому предмету одни пятерки. Звал меня батюшка “Женечка” или “Шкварцев господин”, и дружба наша

сохранялась до конца учения, хотя с пятого класса я стал получать по закону двойки.

10 марта 1951 г.

Итак, училище, в которое я так стремился, скоро совсем перестало меня радовать и манить. Русский, арифметика, арифметика, русский — только и отдыхаешь душой на законе божьем. В расписании, правда, стояло еще и рисование, но ни разу Чкония не учил нас этому предмету, хотя тетрадки для рисования имелись у всех. Но вот однажды Чкония сказал нам, что завтра урок рисования состоится. "Принесите тетрадку, карандаши, резинку". Это обрадовало меня. Я утром вскочил еще до длинного гудка и приготовил все, что требовал учитель. Веселый выбежал я в столовую. Все были в сборе. Папа не ушел в больницу. Увидев меня, он сказал: "Можешь не спешить — занятий сегодня не будет". В любой другой день я обрадовался бы такому сообщению, а сегодня чуть не заплакал. Мне трудно теперь понять, чего я ждал от урока рисования, но я так радовался, так мечтал о нем! Я вступил в спор, доказывая, что если бы сегодня был праздник, то в училище нам сообщили бы об этом. Папа, необычно веселый, только посмеивался. Наконец он сказал мне: "Царь дал новые законы, поэтому занятия и отменяются". Будучи уже более грамотным политически, я закричал, плача: "Дал какие-то там законы себе на пользу, а у нас сегодня рисование!" Все засмеялись так необычно для нашего дома весело и дружно, что я вдруг понял: сегодня и в самом деле необыкновенный день. Наскоро позавтракав, мы вышли из дому и вдруг услышали крики "ура", музыку. На пустыре против дома Бударного, где обычно бывала ярмарка и кружились карусели, колыхалась огромная толпа. Над толпой развевались флаги, не трехцветные, а невиданные — красные. Кто-то говорил речь.

11 марта 1951 г.

Оратор стоял на каком-то возвышении, далеко в середине толпы, поэтому голос его доносился к нам едва-едва слышно. Но прерывающие его через каждые два слова крики "Правильно!", "Ура!", "Да здравствует свобода!", "Долой самодержавие" — объяснили мне все разом лучше любых речей. Едва я увидел и услышал, что творится на площади, как перенесся в новый мир — тревожный, великолепный, праздничный. Я достаточно подслушал, выспросил, угадал за этот год, чтобы верно почувствовать самую суть и весь размах нахлынувших

событий. Папа скоро исчез — увел его бледный, вдохновенный старшеклассник Клименко и кто-то из тех наших гостей, которых звали по именам, без отчеств. В толпе я испытал все неудобства маленького роста. Как я ни подпрыгивал, как ни старался, кроме чужих спин ничего я не видел. В остальном же я с глубокой радостью слился с толпой. Я кричал, когда все кричали, хлопал, когда все хлопали. Каким-то чудом я раздобыл тонкий сучковатый обломок доски аршина в полтора длиной и приспособил к нему лоскуток красной материи. В ней недостатка не было — ее отрывали от трехцветных флагов, выставленных у ворот. Скоро толпа с пением "Марсельезы", которую тут я и услышал в первый раз в жизни, двинулась с пустыря, мимо армянской церкви к аптеке Горста и оттуда налево, мимо городского сада. У Пушкинского дома снова говорились речи. Трехлетний Валя сидел у мамы на руках, глядел на толпу с флагами и, как я узнал недавно, это стало самым ранним воспоминанием его жизни. И было что запомнить: солнце, красные флаги, пение, крики, музыка. Возле нашего училища толпа задержалась. На крыше, над самой вывеской "Майкопское Алексеевское реальное училище" развевался трехцветный флаг.

12 марта 1951 г.

Реалист-старшеклассник, кажется, по фамилии Ковалев, появился возле флага, оторвал от него синие и белые полотнища, и узенький красный флаг забился на ветру. Толпа закричала "Ура". Нечаянно или нарочно, возясь с флагом, Ковалев опрокинул вывеску. Толпа закричала еще громче, еще восторженнее. Реальное училище было названо Алексеевским в честь наследника, и в падении вывески с этим именем все заподозрили нечто многозначительное, намекающее. Когда толпа уже миновала пустырь против больницы, снова заговорили ораторы. На этот раз мне удалось пробраться ближе к трибуне. Маленькая, черненькая, молоденькая, миловидная фельдшерица Анна Ильинична Вейсман, прибежавшая прямо из больницы в белом халате, просто и спокойно, как будто ей часто приходилось говорить с толпой, стоя на ящиках, попросила народ, когда он будет решать свою судьбу в Государственной думе, подумать и о правах женщин. Мы пообещали, крича и аплодируя. Выступил тут и папа. И он говорил спокойно, вносил ясность во что-то, предлагал поправку к чему-то. И он понравился нам, и мы ему хлопали и кричали: "Правильно!" Как сейчас вижу белую фигурку Анны Ильиничны и высокого

моего папу в черном плаще. Правая его рука была на перевязи. Он поранил палец в больнице, ранка не заживала и беспокоила отца. Веселым я его увидел в первый раз после большого промежутка времени в этот необыкновенный день. Назавтра занятия в реальном училище возобновились, но в воздухе, как перед грозой, носилось беспокойство, для нас веселое, для учителей тяжелое. Старшеклассники то и дело устраивали сходки в зале. Отменяли занятия. Чкония пожелтел и еще недружелюбнее и подозрительнее поглядывал на нас, хотя приготовительный класс не бунтовал ни разу. Восстал однажды только я, чему не устаю удивляться до сих пор. Я страшно боялся Чконию, и мой бунт дался мне непросто.

13 марта 1951 г.

Однажды с кем-то из наших знакомых гуляли мы в городском саду. Зашел разговор о неком мальчике, которого вечно ставили в угол. Мама находилась в своем обычном за последнее время упрямом, бунтовщическом духе. Она с жаром, несколько даже не соответствующем случаю, обрушилась на этот вид наказания. На месте учеников, сказала мама, она никогда не согласилась бы стоять в углу всем на посмеяние. Я выслушал мамины слова спокойно и не сделав как будто из них никакого вывода. Но вот в один несчастный день Чкония, забыл за что, приказал мне идти в угол. Помню отчетливо, что я не был виноват в том проступке, который он мне приписал. Кажется, он утверждал, что я послал кому-то записку. Чкония никаких возражений не принимал. Виноват или нет— ступай в угол, если учитель приказал. И все со слезами или со смущенной улыбкой повиновались ему. А я вдруг, удивляясь впервые в жизни сам себе до той крайней степени, когда собственные слова слышишь как бы со стороны, заявил, что не пойду в угол и все тут. Чкония грозил, требовал, наконец, попробовал затащить меня в угол насильно, но ничто не помогло. Я уперся как бык: “Лучше выгоните меня из класса, а в угол я не пойду!”, — закричал я после упорной борьбы с рассвирепевшим, но и несколько растерянным учителем. Не мог же он в самом деле до конца урока стоять возле и держать меня за плечи, затиснувши в угол. Мое предложение давало возможность как-то закончить нелепую борьбу. “Ну и пошел вон!” — приказал Чкония. И я выбежал из класса. Я не плакал. Я был ошеломлен. Я чувствовал, что мне необходимо немедленное сочувствие и помощь. И, оставив в классе ранец и книжки, я отправился прямо домой. Свернув по площади против

Горста, я пошел вдоль канавы у забора чибичевского завода. Я все не приходил в себя. Нелепая, как сон, борьба, рукопашная борьба с учителем никак не усваивалась, не постигалась моей душой. Я снова и снова вспоминал, как пытался доказать свою невиновность и как Чкония, не слушая, повторял: "В угол!" "Подумаешь, король!" — сказал я, глядя в канаву, и почему-то эти слова вдруг развязали мою скованную душу, и я с удовольствием заплакал. Мама выслушала меня и, не упрекнув ни словом, отправилась в училище.

14 марта 1951 г.

Я до ее прихода не читал, не играл. Я лег в кровать и все старался переварить сегодняшние события, причем слова: "Подумаешь, король!" помогали каждый раз, как по волшебству, вызывая слезы. Мама вернулась, принесла ранец и сообщила, что Чкония на редкость несимпатичный человек, но, в общем, больше не имеет ко мне претензий. За мой поступок я был наказан удалением из класса, что является наказанием более строгим,чем стояние в углу. Разговаривала она с моими одноклассниками, которые подтвердили, что я и в самом деле никому записок не писал и пострадал ни за что. Я не почувствовал себя лучше от маминого сообщения. Обедать я отказался. У меня сильно повысилась температура, начался припадок малярии. Когда я через несколько дней явился в класс, меня встретили криком, стуком откидных досок парт, топаньем ног, словом, школьной овацией по всем правилам. Я сначала замер от удивления, потом испытал восторг и улыбнулся столь глупо самодовольной улыбкой и поклонился так по-дурацки, что овация прекратилась и жизнь пошла своим чередом. И Чкония встретил меня, как всегда. Впрочем, смотрел он на каждого из нас до такой степени недружелюбно, что усилить это выражение он при всем желании не мог бы. Приближался конец первой четверти. Не могу объяснить почему, но Чкония не раздал нам табели с отметками, а мы должны были зайти в воскресенье в училище, получить их в канцелярии. Я пошел вместе с мамой. Получив отметки, я несколько огорчился. Пятерка была одна — по закону божьему. Четверка по русскому устному. Остальные — тройки. Но тем не менее, весело размахивая табелем, я побежал через дорогу к маме, ожидающей меня на той стороне, сидя на лавочке. При этом я еще вопил весело: "Хорошие, хорошие отметки!" Но, увы, показное мое ликование никак не заразило маму. Она сразу нахмурилась, почувствовала

фальшь в моих радостных воплях. Прочла она табель серьезно и печально и сказала: “Нет, Женя, это плохие отметки”. Напрасно я спорил, крича и обливаясь потом, что коли двоек нет, значит, все отлично. Мама не согласилась со мною. И в заключение спора сказала печально: “ Самая большая радость для матери — это когда дети хорошо учатся”

17 марта 1951 г.

А жизнь становилась все тревожней. В Майкопе газеты не издавались, но кто-то, кажется, типограф Чернов, стал выпускать бюллетени — небольшие, узкие полоски бумаги с телеграммами о последних новостях. Эти бюллетени расхватывались и жадно перечитывались. Впервые я заметил в скобках после названия города, откуда передавалась телеграмма, три прописные буквы ПТА —Петербургское телеграфное агентство. Опытных наборщиков и корректоров в городе не существовало, поэтому в бюллетенях попадалось много ошибок. Телеграмма о беспорядках в Феодосии заканчивалась дословно так: “Сгорел подарок городу художника Айвазовского — пожар. По городу картина”. Это мне показалось сногсшибательно смешным, и всем гостям я показывал бюллетень с этой опечаткой. Однажды, идя из булочной, услышал я церковное пение. От собора по главной нашей улице, не имеющей, впрочем, названия в те времена, двигалась демонстрация чинная и суровая, совсем не похожая на те, к которым я успел привыкнуть за эти дни. Над толпой развевались трехцветные флаги. В первом ряду две девушки с грустными лицами несли, словно иконы, портреты царя и царицы в золотых рамах. Рядом с ними шагали немолодые, тяжелые люди без шапок. Один из них грозно жестами приказал мне снять фуражку, что я и сделал, ничего не понимая. Дома я узнал, что это демонстрировали черносотенцы, которые были за царя и против свободы. Бюллетени стали рассказывать о еврейских погромах. Пришло страшное известие со станицы Кавказской. Параня, молоденькая девушка, племянница библиотекарши Маргариты Ефимовны Грум-Гржимайло, умерла страшной смертью. Ее разорвала толпа черносотенцев, к которым она обратилась с речью. Меня потрясло это известие и слова, что толпа “разорвала”. Живого человека! Маргарита Ефимовна вскоре после этого исчезла из Майкопа. Домна приносила с базара слухи один другого страшней. Ввиду малого количества евреев, собирались в нашем городе бить еще и докторов, независимо от национальности. Интеллигенцию вообще.

18 марта 1951 г.

Однажды ночью мама разбудила меня и приказала одеваться как можно скорее. Сама она с печальным и озабоченным лицом одевала Валю, который все не мог проснуться и валился на бок. Внизу у дома собрались Данило, Клименко, Федор Николаевич — бородатый человек, недавно появившийся среди таинственных папиных гостей, и еще человек десять, которых я не узнал в темноте. Тут же стоял и Франц Иванович. Он выглядел столь же решительным, как в день пожара. Так же мужественно топорщились его усы. За пояс он заткнул, словно пистолеты, два молотка. Мы поспешно отправились по улице, мимо Соловьевых, у дома которых тоже стояли, разговаривая тихонько, люди, видимо, тоже знакомые, потому что они поздоровались с папой. Пройдя еще квартал, мы вошли в угловой дом, где жили греки, владельцы табачной плантации, фамилию которых я забыл. Тут нас ждали уже. В зале, на покрытых чехлами креслах, устроили спать меня и Валю. Я понимал, что черносотенцы готовятся этой ночью устроить погром. Сердце мое сжималось, но опять, опять в самой глубине наслаждалось тем необычным, небудничным, что творилось этой ночью. Несмотря на это, я уснул мгновенно и крепко. Утром выяснилось, что черносотенцы не вышли этой ночью разбойничать. Возможно, что их известили об охране из рабочих, которая собралась около угрожаемых домов. Некоторое время мы жили спокойно. Но вот еврейский погром разразился в Армавире. Скоро стало известно, что главные погромщики, мастера своего дела, прибыли на лошадях в Майкоп и уже пробовали мутить народ на базаре. Точно указывали день предстоящего погрома — ближайшее воскресенье. В субботу вечером мы и Татьяна Яковлевна Островская с детьми — у нее родилась одновременно с Валей девочка Верочка— поехали за Белую, куда-то в лес, но не к леснику, а к самому лесничему по фамилии Потаюк. Он жил в большом доме, ходил в тужурке со светлыми пуговицами и оказался интеллигентным человеком. Погода стояла хмурая, но теплая. Чай мы пили на террасе и все поглядывали, нет ли пожаров в городе.

19 марта 1951 г.

Однако и это воскресенье прошло благополучно, а тем временем в городе организовались отряды самообороны. Входили в них рабочие, старшеклассники-реалисты, ученики технического училища. Когда темнело, собирались они у нас, веселые,

возбужденные. Все, бывало, хохотали, все искали случая для этого. Я не отходил от них. В такие вечера наш стол переносили в зал и раздвигали во всю длину. Самовар доливали всю ночь. Домна уже спала, занимались этим гости, бегали вниз и вверх по лестнице. Реалист Калмыков, не родственник, а только однофамилец владельца игрушечного магазина, и в самом деле похожий на калмыка, был ко мне так милостив, что показал свой револьвер, чистил его при мне. На это мама поглядывала с ужасом, не позволяла мне прикоснуться ни к одному винтику, ни к одной пружинке. Гости яростно сражались в дурака. После одной такой игры спавший на полу Калмыков вдруг сел, и не открывая глаз, закричал, делая энергичные движения руками: “А я тебя козырем, козырем, козырем!” Его долго дразнили после этого происшествия. Думаю, что отряды эти собирались не только у нас, а у всех по очереди, но мне теперь представляется, что каждый вечер проходил так весело, молодо и вместе с тем тревожно. Откуда-то вдруг стали приходить к нам журналы — цветные, веселые, отчаянные. Отряд самообороны хохотал и ахал. Помню сильное впечатление от известного рисунка, кажется, Добужинского — кукла, кровавое пятно на стене, лужа крови на панели. Папа удивлялся: откуда вдруг появились такие художники? Кто пишет в этих журналах? Где скрывались эти таланты? Они появились и у нас в Майкопе. Клименко прославился исполнением церковной службы, кажется, его собственного сочинения. Из всей этой службы запомнил я, к сожалению, всего только одну строку: “Старшие едят котлетки, а детки одни объедки”. Служил он вдохновенно. Мама восхищалась им, говорила, что он настоящий артист. Отчаянные, и тревожные, и веселые дни!

20 марта 1951 г.

Но вот будни стали вкрадываться в праздники. Невеселые будни. Однажды, когда уже темнело, увидел я Федора Николаевича у нас на лестнице. Он шел с перевязанной щекой, закутанный в плед, и я сразу с восторгом понял, что он переодет, скрывается. Отец, заметив меня, изменился в лице и сделал рукою знак, который мог означать только одно: пошел вон отсюда! За ужином он имел жестокость сказать маме: “Плохо, что э т о т видел Федора Николаевича” — и указал на меня пренебрежительно кистью руки. Я был так оскорблен, что даже не заплакал. Я, душою угадавший самую суть великих событий, развернувшихся вокруг, в глазах отца оставался тем же глупым мальчишкой, что показывал альбом

генералу Добротину! Я молча встал из-за стола и ушел рисовать. Уроков рисования у нас так и не было ни разу в приготовительном классе, но тетрадь для рисования уже приходила к концу, и я собирался купить новую. Рисовал я одно — толпы с красными флагами. Люди — восьмерки на тоненьких ножках — окружали трибуну сажени в две высотой. С такой трибуны оратор был виден всем, что у меня в последнее время стало навязчивой мечтой. Замечу выступ на стене реального училища или высокий балкон и думаю, что оратора, говорящего с такой высоты, и я увидел бы. Вероятно, в это же время я прочел в газете, что где-то, кажется, в Польше, в стене колодца обнаружили дверь, ведущую в склад оружия. Такие тайные склады, в которые можно попасть только через стенку колодца, я и рисовал в огромном количестве. В моих складах скрыто было оружие всех видов: винтовки, револьверы, пушки. И в каждом углу лежали горой красные флаги, необходимые, как я полагал, для каждого вооруженного восстания. Федор Николаевич исчез, и больше никогда в жизни я не видел его. А через несколько дней я понял из осторожного разговора старших, что у Клименко был обыск в его отсутствие и что он тоже скрывается. Вскоре я увидел Клименко на улице. Он расстался с формой реалиста. Он одет был фатовски, галстук бабочкой, на носу пенсне, в руках тросточка. Артистичность его натуры сказалась в том, что вместе с одеждой изменилась и его походка, и вся манера держаться. Он забежал к нам попрощаться, и больше я никогда в жизни не видел его. Ходили слухи, что его казнили в 1907 году.

21 марта 1951 г. Иногда мне кажется, что я ускоряю ход событий. Возможно, что Клименко пропал в 1906 году. Митинг, где выступала Анна Ильинична Вейсман, был, может быть, не 17 октября, а позже, перед выборами в первую Государственную думу. Но это я понимаю, так сказать, рассудком. А писать я решил твердо только то, что осталось у меня в памяти. А в памяти моей все уложилось именно так, как было рассказано. Итак, события бушевали вокруг, но школьная размеренная жизнь упорно шла своей колеей, особенно в младших классах. Закончилась вторая четверть перед самыми рождественскими каникулами. По традиции, последний день занятий был уже, собственно говоря, праздничным. Учителя, вместо того чтобы проводить урок, читали вслух что-нибудь подходящее к случаю. Так, батюшка прочел нам рассказ Леонида Андреева о мальчике, кото-

рый просил ангела с елки, и этот ангел ночью растаял над печкой. Трудно сказать, услышал я этот рассказ в приготовительном классе или годом позже, но, во всяком случае, он связан у меня навеки и прочно с последним днем перед рождественскими каникулами. Батюшка читал просто, чуть певуче и чуть печально. Он и служил, когда приходилось, так же сдержанно, чуть печально и певуче, на свой лад. И рассказ Андреева, прочитанный батюшкой в день, когда душа была открыта всем влияниям, глубоко меня тронул. Начало рассказа, где говорится, как мальчику надоело каждое утро собираться в школу, умываться ледяной водой, сразу покорило своей правдивостью. А поверив началу, мы поверили и всему в целом. Засыпая, я думал о том, как жалко, что ангела повесили над печкой. Повесили бы его на спинку стула, и все кончилось бы хорошо. События бушевали вокруг, но жизнь шла своей колеей. Несмотря на все тревоги, мама перед Рождеством отправилась с Домной в магазины и на базар. Обратно они приехали на извозчике, привезли окорок, поросенка, закуски, упакованные в рогожных кульках. В кульках были и вина, и водка, и коньяк. Окорок запекали в тесте из ржаной муки, все пробовали вилкой, достаточно ли он пропекся.

22 марта 1951 г.

Как всегда, уже в сочельник вечером был накрыт праздничный стол с окороком, закусками, поросенком, который на этот раз совсем не казался мне страшным. Коньяк был греческий. На бутылке красовалась треугольная этикетка с надписью: “Он есть лучший греческий когнак братьев Барбаресу”. На Рождество обеда не готовили, к моей величайшей радости. Никто не приказывал доедать борща. Поросенок, ветчина, сардинки — такой обед я доедал без всяких приказаний. Расскажу теперь о семье Камрасов. Я, кажется, писал уже о полутораэтажном домике против армянской бакалейной лавочки “Мюр и Мерилиз”. Там была шляпная мастерская Табаковой, которая умерла от воспаления мозга, оставив трех девочек: Надю, Розу и Мирру. Две последние учились в гимназии, а Надя уехала за границу в какой-то из швейцарских университетов. Помнится, девочки остались без всяких средств. Следовательно, им помогали. Или говорилось, что они остались в полном одиночестве? Без старших? Не знаю. В опустевшем их домике поселилась многочисленная семья Камрасов. Мать тоже держала шляпную мастерскую, а отец служил приказчиком в магазине братьев Просянкиных. Помню разговоры о том, что мадам Камрас

вернулась из Варшавы с новыми фасонами шляп. В самой большой комнате их квартиры стояли зеркала. На подоконниках, на шкафу, на полках розовели, желтели, чернели, краснели на деревянных подставках шляпы с птицами, птичьими крыльями, страусовыми перьями, цветами и даже плодами. Сначала я бывал у Камрасов только с мамой. Кроме большой комнаты, запомнилась мне и маленькая — с комодом, мягкой мебелью. Там на полу сидел глиняный мопс в натуральную величину. Я его принял за живого, и неподвижность пса ужаснула меня. Узнав, что он глиняный, я испытал смутное возмущение. Словами передать его я могу теперь приблизительно так: "Как можно держать в доме столь безобразные вещи". Дружба с Путей, очевидно, приближалась к концу. Я учился, а его не хотели отдавать в реальное училище, и я подружился с Камрасом, которого дома звали Майор, а в классе — Мирон. Он был старше меня, а брат его, Лева, — чуть моложе. Он только готовился в училище. Как я вспоминаю теперь, дружась, я не звал друзей к себе, а пропадал целыми днями у них. Почему? Не помню.

23 марта 1951 г.

Скорее всего потому, что у нас все меньше и меньше ощущалась семья. Даже в огромной, шумной еврейской камрасовской семье чувствовалось больше покоя и порядка. В те времена я был очень обидчив. Я сразу почувствовал бы, что мешаю или не ко двору. Но, очевидно, я не мешал... Как мне кажется, я бывал у Камрасов чуть ли не каждый день. Бывали случаи, что на еврейские праздники я ходил с ними вместе в гости к каким-то старым евреям, их родственникам. Здесь впервые, как в Рязани русскую, я ощутил еврейскую национальную стихию. Кроме Майора и Левы, в семье было еще великое множество детей. Сколько — не представляю себе. Очевидно, в росте семьи был какой-то промежуток — за Левой шли уже такие маленькие дети, что мы с ними не играли. Припоминаю, что одну из девочек звали Роня. Мадам Камрас — забыл ее имя — металась по сложному своему хозяйству, маленькая, полная, курносая, конопатая. Она успевала всюду — и в мастерскую к мастерицам, и в салон к заказчицам, и смотрела за детьми, и однажды даже побила по щекам одну из девушек-мастериц за безнравственность, о чем сообщили мне Майор и Лева, когда мы сидели в нашем любимом убежище за сиренью. На детей она часто кричала, но не потому, что была в дурном настроении, а с толком, когда дети были и в самом деле виноваты. Самое сильное ругательст-

во у нее было: "А, чтоб тебя черт не побрал". Частица "не" вставлялась на всякий случай. Отец Камрас, худенький, тихий, — приходил из магазина поздно. С мужем мадам Камрас была внимательна и ласкова, что мне было несколько даже удивительно. Когда они бывали в гостях или гости бывали у них, то иногда они пели хором еврейские песни. Почему какая-то песня о картошке (бульбе) связана у меня с посещением их старого бородатого родственника? Песни эти меня трогали.

24 марта 1951 г.

Однажды к Камрасам приехал сытый, коротенький еврей с подстриженной седеющей бородкой. И тут я впервые увидел открытое, благоговейное уважение к удачливому человеку, состоятельному дельцу. Это был представитель каких-то варшавских фирм, объезжающий заказчиков, известный среди купцов специалист своего дела. И муж и жена сообщили мне об этом, улыбаясь почтительно, как улыбались бы мы, остановись у нас артист Художественного театра или знаменитый скрипач. Камрасы повезли гостя кататься за Белую. Опьяненный свежим воздухом, стоя под деревьями в своем светлом пиджаке, приезжий запел, а Камрасы принялись искренне и почтительно хвалить тихонько, обращаясь к нам, детям, его голос. Когда мы возвращались, я, не помню уже по какому поводу, рассказал приезжему чеховский рассказ о человеке, который после спиритического сеанса обнаружил у себя в комнате гроб, присланный, как выяснилось утром, знакомым гробовщиком, боявшимся, что его опишут. Гость оценил рассказ очень высоко. Он хохотал от души, а Камрасы радостно поглядывали то на гостя, то на меня, гордились нами обоими. Пришло время, когда я должен рассказывать о страшном несчастье, обрушившемся на нашу семью. Папа — сильный, цельный человек, так до самой смерти и не оправился внутренне от этой беды.Я ничего не знал сначала. Я видел только, что темная какая-то туча опустилась на наш дом, что все мрачны, но это случалось и раньше.

25 марта 1951 г.

Мама вздыхала, глядя на картину в окне одесского магазина: смерть настигает всадника, когда он уже близок к счастью. И недаром. Смерть не смерть, но болезнь исковеркала жизнь отца и, следовательно, всей нашей семьи. Как рассказывал мне папа уже много лет спустя, перед этой бедой жизнь его начинала налажи-

ваться. Его считали многообещающим хирургом. Океншевич, отличный врач, получивший перевод из Майкопа, кажется, в Баку, звал отца к себе ординатором. А папа колебался. Он мечтал вернуться на службу в Московское земство. И вдруг — болезнь. Началась она тяжело. Сопровождалась отчаянными головными болями. Пришлось взять длительный отпуск, уехать в новую санаторию Гордона в Таганроге. Больше года ушло на лечение. А когда отец вернулся, то ему показалось, что время ушло, все товарищи перегнали его и большим хирургом ему уже не стать. Не думаю, что это соответствовало действительности. Вернее всего, папа утратил уверенность, то самое мужество, потеряв которое, по словам Гете, человек теряет все.

27 марта 1951 г.

И вот пришла весна 1906 года. В последний день перед летними каникулами настоящих занятий не было. Снова батюшка на уроке прочел печальным голосом какой-то рассказ, после чего весело попрощался с нами до нового учебного года. Папа был мрачен.[...] А я на каникулах повеселел, особенно после того, как отец уехал в санаторию Гордона. С Чкония мы распрощались навсегда — перешли в первый класс. Оттого ли, что я целый учебный год ходил самостоятельно в училище или потому, что несчастье с папой все заслонило, но в это лето я пользовался большой свободой. Даже купаться на Белую отпускали меня одного. У нас в квартире появился новый жилец — шестиклассник Санечка Смирнов, брат того самого архитектора Леонида Ивановича Смирнова, которого, играя в эскадру, взрослые называли Миноносцем. И в самом деле, Леонид Иванович был изящен, элегантен, легок. Его считали талантливым — это он строил наше реальное училище. Видя портрет Чайковского, я часто вспоминаю Леонида Ивановича — то же выражение, тот же рисунок губ. Только Леонид Иванович казался более хрупким — он болел туберкулезом. Беатриса Яковлевна влюбилась в него, а он как будто в Беатрису Яковлевну, что тревожило жену Леонида Ивановича, некрасивую и неприятную женщину, мать двух некрасивых и болезненных детей. Кто-то из детей умер от менингита. Тогда я впервые услышал имя этой болезни и навсегда проникся ужасом, с которым говорила о ней мама. Леонид Иванович стал частым гостем нашим и устроил младшего, но рослого брата своего к нам в жильцы. Комната его выходила в коридор, была отдельной. Санечка был молчалив и застенчив.

28 марта 1951 г.

С ним я не подружился. Но он скоро переехал от нас. А в Майкопе появились два студента, высланных из Москвы, Адриан Польский и Александр Дудин, или Дудников, — забыл. Санечкина комната, навсегда сохранившая имя своего первого жильца, была занята Польским. Утром я спускался во двор: там, в укромном местечке за сараем, было спрятано мое копье, сделанное из длинной жерди, с широким бутылочным горлышком вместо рукоятки. С этим копьем я делал каждое утро обход всех наших владений, прислушиваясь и приглядываясь. Меня сопровождала собака Розка, маленькая дворняга каштанового цвета, неведомо откуда взявшаяся и считавшая своими хозяевами нас. Однажды она исчезла на несколько дней, а потом появилась в кухне, взъерошенная, похудевшая. Она подбежала к маме и стала тащить ее за подол с такой силой, что оборвала оборку. Мама сначала испугалась, решив, что Розка сбесилась. Но собачонка приветливо махала хвостом и выразительно глядела на маму. И мама догадалась наконец, что Розка зовет ее куда-то.Мама послушалась, и собака привела ее в погреб, где за бочонком с капустой мама обнаружила трех щенят. Беременности Розки мы не заметили. Ощенившись, собака несколько дней не решалась оставить свое потомство, но не выдержав, наконец, она потащила маму любоваться щенятами. Скоро Розкины щенята открыли глаза, подросли и стали бегать по всему дому. Однажду мы услышали вой, лай и визг Розки. Щенок ее упал в бочку с водой, которая стояла у черной лестницы, ведущей от кухни во второй этаж. Щенка спасли. Вечером Валя, рассказывая кому-то из соседей об этом происшествии, заявил, что, увидев, как ее щенок упал в воду, Розка побледнела. Итак, с копьем в руках я делал обход наших владений, а Розка шла за мной по пятам, поднимая уши, когда я прислушивался, и рыча, когда я кричал: “Кто идет?”

29 марта 1951 г.

У Санделей во дворе был флигель, который они сдали писарю какой-то казачьей части или канцелярии атамана отдела, не помню. Когда новые жильцы переезжали к нам, мы с мамой стояли у окна. Дети писаря, два мальчика и девочка, въехали во двор, сидя на возу с вещами. И при этом старший мальчик, чувствуя, очевидно, что на него с любопытством глядят коренные обитатели двора и дома, высунул язык самым вызывающим образом. Маму напугал этот вызов, но дети оказались самыми обыкновенными детьми, и я жил с ними мирно.

Обычно, сделав обход, я присоединялся к играющим на куче песка соседям. Зачем привезли к нам во двор этот песок, не знаю. Но вижу всех — Валю, двух писарских сыновей, имена которых забыл, и сестренку их по имени Лидка-калитка. Мы строили то общими силами, то соревнуясь, крепости и замки. В песке этом мы находили иной раз мягкие, как тесто, белые комочки какого-то вещества. Мы называли его белой глиной и очень ценили. Так мы играли, а летний будничный день все шел и шел. Приехал водовоз. Выбив сильным ударом руки втулку, он наполнил свое особое ведро, длинное, с козырьком, словно у совка. Ручка деревянная, похожая на скалку, укреплена была на стороне ведра, обратной козырьку. Водовоз тащил свое богатырское ведро (его никто из мальчиков не в силах был и поднять), держа за ручку несколько наискось. Разлиться воде не давал козырек. Четыре-пять таких ведер опрокидывал он в наши бочки, и они наполнялись доверху водой, в ясные дни прозрачной, а в дождливые мутной. Поставив на стене отметку углем, водовоз уезжал. Я отправлялся на реку. Иногда со мною шел Адриан Польский, ладный, смуглый, с большими карими глазами. Шли мы чаще всего через городской сад, потом вниз между зелеными кустами, под густыми деревьями, еще не видя, но уже слыша речку. В купальне было свободно.

30 марта 1951 г.

Градусник после дождей показывал в воде 13—14. Чистая вода бывала теплей — 18—19. Я раздевался, читая надписи на скамейке, сообщавшие, что некто сделал здесь с имярек девицей то-то и то-то. Столь же вольные рисунки карандашом чернели на стенах. Дед старательно счищал их или забеливал, но они появлялись снова и снова. Несомненно, рисунки эти и надписи красовались на стенах купальни и прежде, когда мне было и пять, и семь лет, но я не замечал их — и все. А сейчас они являлись подтверждением того, что мир бесстыдных, упавших на дно людей существует на самом деле. Сидя на ступеньках нагретой солнцем лестницы и поглядывая на голых людей, я и сам в помыслах своих погружался в этот бесстыдный мир. Несколько дней переживал я рассказ Камраса о том, что он будто бы выследил недавно ту самую девушку, которую мама его наказывала за безнравственность. Она не исправилась. Камрас видел своими глазами, что делала эта девушка со своим возлюбленным в кустах между городским садом и Белой. Он мне даже показал это место. Теперь я сомневаюсь, что он видел то, что описывал. Целый ряд подробностей жизнь не

подтвердила. Но тогда я всему поверил и переживал каждое слово его рассказа, сидя на разогретых майкопским солнцем деревянных ступеньках. Закоулок между купальней и горой купальщики давно превратили в уборную. Доносившийся иногда запах мочи и высохших нечистот поощрял греховные мысли. Но в те годы мысли эти были неглубоки. Приход товарищей, чей-нибудь ловкий прыжок в воду — и я все забывал, отвлекался без малейшего напряжения от моих непристойных представлений. Плавать в то лето я еще не умел, но старательно учился сам, не даваясь Польскому или Дудину. После школы я стал совсем трусом. Все, умевшие плавать, переплывали на тот берег, а я смотрел на них с завистью. Однажды мои приятели-студенты, взяв меня за руки, переправили на ту сторону. И купальня, и зеленый обрыв с песчаными желтыми пятнами так и живут передо мной.

1 апреля 1951 г. Итак, я с той стороны Белой глядел на зеленеющие склоны обрывистого берега, на песчаные пятна в зелени, и мне казалось, что все это, включая такую знакомую купальню, я вижу в первый раз. Около половины двенадцатого я отправлялся домой. Опаздывать к завтраку строго воспрещалось. (То, что ели мы утром, завтраком не считалось.) Я проходил через сад, шагал вдоль его забора к аптеке Горста, точнее, ехал верхом на своем коне, стараясь скрыть это от немногих прохожих. Вся страна, как я понимаю теперь, летом 1906 года еще кипела, но в Майкопе летним полднем было непоколебимо тихо. Все говорило о буднях и наводило на меня тоску. Тоскливее всего казались мне два обычных, привычных, подчеркивающих тишину звука: стук кухонных ножей, рубящих мясо на котлеты, и настойчивые, бесконечные вопли курицы, снесшей яйцо. Будни, будни. На улице — ни души. Только из дома Арама Власьевича Шаповалова выглядывают многочисленные Путины кузины: Лиза, Маруся, Сатя, крошечная Айгуня. Я в те дни с ними не играл. Изредка прогрохочет водовозка или проедет извозчик — просторный фаэтон, сытые кони. Извозчики в Майкопе, как и везде на юге, были хороши. Вот по самой середине дороги, поднимая пыль босыми ногами, идут уличные мальчишки, едят зеленые яблоки. Я стараюсь не прибавлять шага, не гляжу на них, но они меня не замечают. Ссорятся и ругаются залихватски страшными словами. Едва я вхожу домой, как совершается некое чудо. В пути я был спокоен, но, очевидно, в самом воздухе нашей квартиры носятся злые духи. Тоном, который про-

тивен мне самому, я завожу ссору с мамой.

2 апреля 1951 г.

Почему? Не знаю, меня злит в доме все: запах борща из кухни, кучерявая белая голова брата, мамин голос. Точно помню, что я сам этому удивлялся, но особая, домашняя раздражительность охватывала меня, как страсть, я не в силах был этому противиться, едва выходил из комнаты. Чаще всего ссоры начинались из-за котлет и молока. В котлетах попадались жилки, а в молоке — пенки. И то, и другое вызывало у меня судорогу, отвращение, чуть ли не рвоту. Очень часто, обозвав, не без основания, распущенным мальчишкой, мама выгоняла меня из-за стола. Вообще в нашей семье встречи за столом в те годы редко проходили благополучно. Недаром Валя, когда ему еще и трех лет не было, умел показывать папу за столом. Делал он это следующим образом: ударял кулаком по столу и восклицал: "Молчать, гаять!" После завтрака, если у меня находилась книга, то все было хорошо. Если же нет, то я томился, бродил по всему дому, заводил ссоры и, наконец, шел к Камрасам, где в это время дня тоже [было] не слишком весело. Как огромен был летний день в Майкопе. Иной раз у Мирона оказывалась интересная книжка, и тогда мы читали ее вместе, одновременно, что было скучно. Я читал вдвое быстрее Мирона, и мне приходилось долго ждать, пока он перевернет страницу. У Камрасов я был ровен, уживчив, разговорчив и послушен. Меня вечно ставили в пример Мирону и Левке. Почему? К четырем часам я шел домой обедать, после чего с гривенником и чайным стаканом в руках ждал мороженщика. Крики: "Са-а-харно морожено!"— раздавались в это время дня довольно часто. Трудность была в том, что мама доверяла только одному мороженщику — рыжему, и только у него разрешалось брать мороженое. Зато я испытывал настоящее счастье, услышав его знакомый тенор. И вот он честно накладывал полный стакан, уминая его ложкой. Весь стакан — сливочным, а самый верх— фруктовым.

3 апреля 1951 г.

Стоя на углу возле нашего дома, рыжебородый мороженщик накладывал мороженое в большой граненый чайный стакан, а я наслаждался мгновением. Синий сундук открыт. Банки пружинят на льду, скрытом в глубине сундука. Лед не виден, зато слышен, когда мороженщик зачерпывает мороженое и банки слегка оседают

в глубину. Расплатившись и вихрем взлетев наверх, я получал свою часть мороженого и усаживался читать и есть. Без книжки мороженое потеряло бы для меня половину своего очарования. Читал я, если у меня не было новой книги, "Капитана Гаттераса". То место, где перечисляются запасы провианта, найденные экспедицией уже на краю гибели. Все эти страницы были в жирных пятнах. Избрал я их не только потому, что там перечислялась провизия, а еще и потому, что, начиная с этого происшествия в делах экспедиции происходил поворот к лучшему. Вообще в это время намечалось уже некоторое замедление в моем развитии. Я стал слишком уж охотно перечитывать знакомые книги, а к новым иной раз испытывал необъяснимую, ничем не вызванную антипатию. Так, я почему-то вдруг не стал читать "Дети капитана Гранта". Книга толстая, рисунки завлекательные, а я не пошел дальше первых страниц. Очевидно, я был перегружен бедами, беспорядочным чтением и всеми грузами, которыми обременяет первый год школы, бессознательно боролся с этим. Страх боли, к сожалению, стал сопровождаться и страхом усилия вообще. Я стал нетерпелив и неусидчив.

6 апреля 1951 г.

Иногда я отправлялся во флигель к писарю, о котором старшие говорили с брезгливостью и даже некоторым ужасом — он был взяточник. Это было нечто, в нашем кругу невозможное, подобное черносотенцу. Со мной писарь был приветлив. Голова у него была круглая, стриженая; смуглое, добродушное лицо. Он мне нравился, но в присутствии взяточника я испытывал связанность и неловкость. Да, да, его преступность была несомненна. Получая грошовое жалованье, он с большой семьей жил хорошо, лучше нас. Однако любовь к чтению влекла меня даже к такому сомнительному человеку. У писаря в гостиной со столами в плюшевых скатертях, с трюмо, с фикусом стоял и большой книжный шкаф, откуда мне разрешалось брать книги для чтения. Взяточник выписывал много журналов, и среди них "Ниву" со всеми приложениями. Для "Нивы" и приложений он выписывал из издательства переплеты, которые до сих пор я видел только в объявлениях о подписке на этот журнал. Я брал серовато-голубоватый первый том полного собрания сочинений Чехова. Дальше первого тома не шел. Весь наш класс, и я тоже, обожали смешные рассказы, карикатуры, юмористические журналы. Поэтому я читал и перечитывал только юмористические рассказы Чехова. Брал и

самый журнал. Каждый раз писарь делал из газеты обложку, предохраняющую переплет от порчи. Однажды у каких-то камрасовских знакомых увидел я в зеленом переплете с золотым тиснением сказки Гауфа. Вероятно, это было какое-то старое издание — на шмуцтитуле выступили желтоватые пятнышки. Большой формат, картинки во всю страницу, особый запах редко открываемой книги очаровали меня. С массой предупреждений дали мне эту книжку почитать и, несмотря на то, что она была незнакома мне, прочел я ее с наслаждением. И ее владельцы, прежде чем дать мне, завернули в газетную обложку. Иной раз, когда совсем нечего было читать, я шел к Иваненко. Это была большая семья, казачья, вероятно, потому что отец припоминается мне в сером бешмете. Там я просил у моей сверстницы Наташи сказки [братьев] Гримм — растрепанные, без переплета и без первых страниц. Так, добыв где-нибудь книжку, я проводил время до вечера, точнее, до сумерек, когда мы шли гулять с мамой и Валей в городской сад. И непременно где-нибудь — или у Пушкинского дома, или в раковине в саду — играла музыка, тревожившая мою душу. Так и шли дни за днями — тихо-тихо, почти без происшествий. Если Майкоп в полдень с криком кур и стуком ножей внушал мне уныние, то особенная, воскресная тоска просто оглушала меня. Почему? Теперь мне трудно понять. Конфетти, затоптанные в песок городского сада. Пыль. Майкопское мещанство — мужья в картузах, жены в шляпах, детишки в штанах с разрезом сзади. Важные, осуждающие мещане. Пьяные. Драки у пивной. Не могу поймать, что именно мучило меня.

10 апреля 1951 г. Что мы летом любили, кроме мороженого? За конюшней Соловьевых, перед забором, отделяющим соловьевские владения от сада Маневских (или Маневичей?), рос тутовник. Против окон маленького домика, где помещалась приемная Василия Федоровича, красовалась любимица моя великолепная черешня. Одна яблоня росла в конце аллеи, главной и единственной в саду. (Остальные, помнится, представляли скорее дорожки, чем аллеи.) Другая яблоня низко раскинула свои ветви, укрепленные подпорками, где-то в глубине сада, правее аллеи. Третья жила возле черешни. Были и другие яблони, но их я забыл. Вишни и одна-две сливы, невысокие, но густые, — вот что выступает из тумана, когда мне удается сосредоточиться. Райские яблочки желтели налево от входа в сад. Когда наступало лето, точнее, на исходе весны, зеленые

и безвкусные черешни превращались в сладкие, полные и желто-розовые. Это была первая радость, сообщавшая нам, что лето пришло. Великолепное дерево вмещало всю соловьевскую семью и меня заодно. Всем нам разрешалось сколько угодно забираться на дерево и рвать и есть плоды, вкус которых я так ясно чувствую сейчас. Только однажды стукнуло окно в приемной Василия Федоровича, и он серьезно и спокойно попросил меня слезть с дерева и вернуться попозже, когда он кончит прием. Как я понимаю теперь, какая-нибудь застенчивая больная, заметив меня на дереве, побоялась раздеваться. А я и не думал в те годы о голых женщинах. Во всяком случае, не думал среди дня, сидя на суку и обрывая любимые мои черешни. Примерно в это же время, а может быть, и позже начинал чернеть похожий на ежевику, приторно сладкий тутовник. Созрев, он пачкал руки, как чернила, губил белые наши рубахи, чернил губы. На яблонях появлялись яблоки, еще зеленые и крайне вредные, по мнению мамы.

20 апреля 1951 г.

Итак, мы любили опасные зеленые яблоки и еще больше грозные зеленые сливы. Но вот они созревали наконец. Краснели и вишни. Иные, называемые шпанскими, даже чернели. Яблоки в конце аллеи считались слишком сладкими. Яблоки у черешни годились только на варенье. Только на варенье годились и райские яблочки, росшие у входа в сад. Но я был равнодушен и к самым лучшим яблокам, и к вишням. Черешни я любил больше всего, конечно, и потому, что они первые созревали и говорили о том, что лето пришло. В конце августа 1906 года отправился я в первый класс. Шел я в училище охотно. Я забыл все неприятности. Я знал, что больше не встречусь с Чконией. Я знал, что теперь у нас будет несколько учителей. Удивило меня то, что в классе оказалось вдвое больше учеников, чем в прошлом году. Это все были мальчики, поступившие прямо в первый класс. Появился Баромыкин, Федоров, Серба, Киртоки, Токарев, Ходаковский. В первый же день в дверях нашего класса появился живой полный человек, чем-то похожий на Наполеона. Одет он был в учительский вицмундир, но казался одетым лучше остальных. Манжеты его были белоснежны. От него чуть-чуть пахло духами. Впрочем, все это мы заметили позже. При первой же встрече мы несколько растерялись. Новый учитель вошел быстро. За ним длинный гардеробщик Иван тащил стойку с делениями и с подвижной дощечкой, назначения которой мы не поняли. “Das ist das

Fenster!"[1] — крикнул учитель металлическим тенором еще в дверях. "Das ist die Wand!"[2] — и не успели мы опомниться, как урок уже шел полным ходом. Новый учитель не стоял на месте и не умолкал ни на одну минуту. Тон, взятый им, — повелительный, а вместе с тем и веселый, покорил нас. Мы и смеялись, и выполняли все приказания учителя, и к концу урока знали несколько слов по-немецки. А после урока учитель подвел нас к непонятной стойке и измерил рост каждого из нас.

21 апреля 1951 г.

Измерив рост, учитель рассадил нас по-новому и, попрощавшись весело, ушел. Так мы познакомились с новым учителем немецкого языка и нашим классным наставником. Звали его Бернгард Иванович Клемпнер. Он вел нас от первого класса до окончания училища. Это был блестяще остроумный, глубоко образованный, необыкновенный, своеобразный человек. Мало кто влиял на меня так сильно, как Бернгард Иванович. Мало кого я так искренне любил. На это он отвечал мне самой искренней неприязнью. Он, человек справедливый и никак не придирчивый, со мною бывал, правда, очень редко, и несправедливым и придирчивым. И до сих пор, когда я вижу его во сне, со мною он разговаривает подчеркнуто холодно и неохотно. Впрочем, началось это все позже, а пока мы всем классом влюбились в нового учителя, и он был ровен со всеми нами. Мы узнали вскоре, что Бернгард Иванович состоятельный человек, московский адвокат, бросивший по каким-то загадочным причинам Москву и приехавший учителем немецкого языка в глухой северо-кавказский городишко. Только недавно Наташа Соловьева рассказывала, что, по словам его брата, он резко перевернул свою жизнь, когда невеста вдруг ушла от него к его другу. Так ли это? Не знаю. Во всяком случае, таинственность появления только увеличивала нашу склонность к нему. Поселившись у некоей Медведевой, сдающей комнаты с пансионом, он перевез к себе пианино и играл не по-майкопски долго и звучно. Как мы узнали вскоре, он кончил Московскую консерваторию. В этот первый год своего пребывания у нас он сильно пил и вел в клубе большую карточную игру. Однако не было случая, чтобы он пропустил у нас урок. Всегда в форме, чуть пахнущей духами, он весело и повелительно входил в класс и ухитрялся вести уроки так, что

[1] Это окно (нем.)
[2] Это стена (нем.)

казалось, будто ты читаешь интереснейшую книжку. У него была та редкая, заражающая, почти безумная веселость, которая помогла мне впоследствии понять иронические, алогические прыжки фантазии лучших из романтиков. Нас он чаще всего называл "капустики" или "петухи". "Путч-перепутч!" — кричал он, получая неправильный ответ. Он рассказывал нам сказки о слабых и сильных глаголах.

22 апреля 1951 г.

Помню длинную историю о склонениях, где разные гласные сражались за то, чтобы именно на них кончались существительные в дательном падеже. Эта история иллюстрировалась рисунками на доске. Все это рассказывалось так горячо и громко, что весной и осенью, когда окна были открыты, металлический тенор Бернгарда Ивановича был явственно слышен на другой стороне широкой улицы, где стояло наше реальное. Да, он был весел, старался то рассмешить, то заинтересовать нас, хватался за сердце и делал вид, что падает в обморок при грубых ошибках, торжественно пожимал руки за удачный ответ, все время играл с нами — но никому, даже самому отчаянному казачонку (а их в классе было большинство), и в голову не приходило ослушаться, сказать дерзость, перейти границы, установленные учителем. Бернгард Иванович при всей своей веселости не терял той властности, о которой я уже дважды говорил. Она была не менее заметна во всем его существе, чем его веселость. Он всем своим существом показывал, что настолько силен, что может позволить себе в классе любую вольность, ничего не теряя в нашем уважении. Говоря о нем, нельзя не подчеркивать этой второй его сущности и вместе с тем он был совершенно противоположен властному Чконии, а мы слушались его не меньше. Однажды заболел Фарфоровский, учитель истории в старших классах. У нас был свободный урок. Проходя по коридору, я услышал знакомый тенор за дверью в седьмом классе. Бернгард Иванович давал урок истории. Я встал у двери и слушал. Он говорил, как всегда, горячо, весело и понятно. В седьмом классе притихли. Заслушались. Он рассказывал о Смутном времени. Кончив урок, он заметил меня в коридоре и спросил: "Какие новости?" Я признался, что слушал его и понял, что Смутное время — та же революция. Бернгард Иванович расхохотался и погладил меня по голове. С этого началась наша столь непродолжительная дружба. Следующий учитель, которого мы любили, но только чуть меньше Бернгарда Ивановича, был Панов. Он

преподавал у нас географию и арифметику.

24 апреля 1951 г.

Панова мы тоже любили. Он отлично преподавал. Я до сих пор, то есть сорок пять лет, помню, как определил он ширину Суэцкого канала: “Как отсюда до технического училища”. Высоту Хеопсовой пирамиды он заставил нас почувствовать, сказав, сколько реальных училищ надо поставить друг на друга, чтобы с нею сравняться. Чудесно описывал он тропический лес. И он вел свой урок весело. Вскоре он и арифметику стал преподавать у нас, сменив мрачного, длинного, черного субъекта, оказавшегося самозванцем, явившимся в Майкоп с поддельным дипломом. Куда самозванец девался, не знаю, но помню, что это происшествие нам очень понравилось. Панов и арифметику ухитрялся преподавать столь же просто и отчетливо, как и географию. Он очень смешно отчитывал лентяев. Однажды он так похоже изобразил, почему Токарев не выучил за воскресенье уроков: сначала потому, что ждал гостей к обеду, а потом потому, что к уходу гостей у него уже слипались глаза. Смеялись все и сам Токарев тоже. Панов был высок, строен, чем-то напоминал мне мужа моей тетки Веры (или Кати), той маминой сестры, которую я знал так мало, видел недолго в Жиздре. От этого я смотрел на Панова как на живое напоминание о сказочной стране, в которую успела превратиться Жиздра в моих воспоминаниях. С удивлением убеждаюсь, что не могу вспомнить, кто преподавал русский язык? Михаил Александрович Харламов, инспектор, которого я отлично помню учителем нашим в третьем классе, как будто не был у нас в первом? А кто же тогда? Батюшка преподавал, кроме закона божьего, еще и чистописание. Рисованию нас учил глубоко мною не любимый Юлиан Казимирович Вышемирский. Я скоро возненавидел предмет, о котором так мечтал год назад. Надо сказать, что на мою нелюбовь Вышемирский отвечал мне совершенной взаимностью.

25 апреля 1951 г.

Итак, в первом классе появилось множество новых учителей и множество новых учеников. На первой парте справа появился мальчик по имени Матвей Поспеев, бледный, миловидный, с большими черными глазами и правильными, словно нарисованными, бровями. Я за это время успел поссориться с Камрасом и возненавидел его профиль, затылок, голос. А на Поспеева поглядывал я с

большой симпатией и подружился с ним. Подружился я и с Павликом Горстом — сыном того самого аптекаря-немца, который представлялся мне в бреду во время дизентерии. Теперь я бывал у них гостем. Миновав доступную всем часть, видимо, очень старой аптеки (на стене тут висел портрет еще Александра II с бритым подбородком и бакенбардами), мы проходили внутрь, минуя комнаты, где изготавливались лекарства. Тут же (или в комнате рядом?) стояла машина с колесами, изготовлявшая зельтерскую воду. Колеса эти, помню, вертели вручную. Дальше начиналась просторная квартира Горстов, уклад жизни которых напоминал шаповаловский. Даже осел был у Павлика, как у Пути. Этого осла часто запрягали мы в двухколесную таратайку и катались по улицам. Отравлял мне эти поездки способ, которым Павлик заставлял несчастное животное бежать быстрее. Кто-то объяснил ему, что осел — животное толстокожее, следовательно, кнутом его не пробрать. Погонять его надо шпыняя кнутовищем под хвост, что Павлик и делал. Отчаянно виляя серым своим хвостиком, ослик и в самом деле прибавлял ходу, а я мучился. Но увы — не из сострадания, а от стыда. Мама, проведав об этом способе понукания, сделала мне выговор, как будто я отвечал за поведение товарища. Да я и в самом деле чувствовал себя виноватым. Подружился я еще со странным, замкнутым мальчиком по фамилии Руднев. Он страстно мечтал о военных подвигах и обожал Наполеона, на ранние, консульские портреты которого и походил. Из ненависти к немцам (о войне с которыми тогда и речи не было) он упорно отказывался учить немецкий язык. Один из всех нас не покорился он Бернгарду Ивановичу и, не жалуясь, получал двойки, по другим предметам учась прилично.

26 апреля 1951 г.

У Руднева не было ни отца, ни матери. Его воспитывал дед— отставной генерал Потапов, такой же молчаливый и своеобычный, как внук. Он арифметическим способом вычислял вес Земли, а на меня и внука не обращал внимания, когда я бывал у них в пустоватой, мужской их квартире без всяких признаков уюта. Только на стене почему-то висели павлиньи перья. Сблизился я и с Волобуевым. С ним мы договорились внести изменения в молитвы до и после учения. Придумал это Волобуев, а я с восторгом поддержал. Изменения были, как я теперь понимаю, скромные. Молитва перед учением кончалась так: "...дабы внимая преподаваемому нам учению, возросли мы тебе, нашему создателю, во

славу, родителям же нашим во утешение, церкви и отечеству - на пользу". Отсюда мы выбросили слово: "церкви". Молитва после учения просила: "Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага...". Тут мы сократили слово: "начальников". Раза три мы благополучно прочли молитвы с нашими сокращениями, а на четвертый раз попались. Грустно, однако, вместе с тем решительно, батюшка приказал Волобуеву прочесть молитву сначала, без всяких глупостей, что Волобуев, горбясь и смущенно улыбаясь, и выполнил. Я постепенно стал не то чтобы любить, а переносить без мучений свою школьную жизнь. И вот пришел конец первой четверти. Бернгард Иванович на последнем уроке появился с нашими табелями. Весело и наставительно подвел он итоги нашим успехам и неудачам, а затем стал раздавать четвертные отметки, пожимая руки лучшим ученикам. Каково же было мое удивление, когда я оказался чуть ли не вторым учеником в классе! У меня оказалась одна тройка, по рисованию, двойка по чистописанию, о которой вообще и говорить-то не стоило. Удивление мамы, недоверчивая усмешка папы— вот чудеса-то!

27 апреля 1951 г.

Свое возвышение из средних учеников в первые я принял не без удовольствия, но не придал ему особенного значения. Это был недолгий промежуток моего детства, когда я продолжал развиваться не только душевно, но я словно предчувствовал, что мое возвышение не слишком прочно. Тем не менее в класс я стал ходить еще спокойнее. Если бы не драки, в которых мне все же попадало, несмотря на то что еще в приготовительном классе я научился осторожности, то я совсем полюбил бы школу. Был у меня мучитель, Ленька Жураковский, сын полковника, привезшего с войны множество китайского фарфора, шелка и прочих трофеев. Большие китайские вазы виднелись за кружевными занавесками их просторной квартиры. Старшие говорили об этой военной добыче с таким осуждением, что и до сих пор в больших китайских вазах чудится мне нечто предосудительное. У полковника было два сына — сырой, обрюзгший не по летам, с желтым лицом Борис, ученик, кажется, пятого класса, и тощий светлоглазый второклассник Ленька.

28 апреля 1951 г.

Ленька Жураковский ловил меня на перемене и, несмотря на крики и вопли, пытал: выворачивал руки, драл за уши. Я отбивался, но Жураковский был старше и сильнее. Как я

ненавидел его слишком серые глаза! До сих пор подобные глаза кажутся мне признаком жестокости, пожалуй что, и болезненной. Я ненавидел Леньку, его дом, подметенный двор, денщика, лысеющего отца. Однажды я видел в нижнем коридоре, как пятиклассник Ржаксинский бил Бориса Жураковского, брата моего мучителя. Бил не шутя. Взяв толстого Бориса за горло, он бил его затылком об стену так, что желтое лицо толстяка стало белым, и я смотрел на эту расправу с наслаждением и жалел, когда дерущихся разняли. Странно представить себе, что года через три Ленька оказался в моем классе. Был он нервен, очень испорчен, но вовсе не страшен, и мы с ним стали приятелями.

29 апреля 1951 г.

Когда раздавался звонок, коридор верхнего этажа нашего училища превращался мгновенно, без всякого почти перехода в сумасшедший дом. Из класса мы не выходили, а валили, умышленно создавая в дверях давку. То здесь, то там мальчики начинали бороться или толкаться, или драться не по-настоящему, а дурачась, расходясь и снова заводясь. Рев стоял над нашей толпой. Длинный Петр Матвеевич Миргородский двигался над нами, покрикивая: “Эй, вы там! Ни мур-мур. Тихо. Во двор, все во двор. Ни чик-чик”. В этой давке, тесноте, шуме и загонял меня в угол Жураковский, и вопли мои терялись в общем безумии. Человек после семи-восьми лет растет, как болеет, особенно это заметно на мальчиках. Только в пятом-шестом классах начинали мы приходить в себя, принимали облик человеческий. А тогда я, хоть и поумневший чуть-чуть, но освободившись от мучителя своего, вопил, как осел, присоединялся к не слишком веселому веселью своих сверстников, ломаясь и дурачась, бежал во двор, где дрался на горке, стараясь стащить вниз отряд, занявший на ней площадку, ссорясь и мирясь, ругаясь с одними и делясь завтраками с другими, сам не знаю почему. А жизнь все не входила в берега. Однажды мальчики закричали: “Серба, погляди, Серба! Твоего брата ведут!” Мы подбежали к окну и увидели: среди полицейских с обнаженными шашками на плечах спокойно шагал человек в картузе. Это был учитель городского училища Серба, о котором с большим уважением говорили старшие. О его аресте я знал. Сейчас я смотрел и на арестованного, и на его брата, моего одноклассника. Наш Серба, свободный Серба, смотрел на полицейскую процессию внизу, склонив лоб, молчал угрюмо. В том году наши семиклассники издавали свой журнал, печатали его на гектографе. Редактировал журнал Слюсарев, под-

писывавший свои статьи Вера Сюлье. Семиклассники однажды забастовали, не помню уж, по какому поводу, и к этой забастовке присоединились мы: стучали крышками парт, швыряли чернильницы, пока не пришел инспектор и не приказал нам идти домой.

30 апреля 1951 г.

Захар, лакей Водарского, с которым я за это время успел помириться, из маленькой комнатки переехал во флигелек возле кухни. Здесь он стал подрабатывать сапожной работой. Революционные события захватили его. С обычной туповатой важностью беседовал он со мною на темы дня, поучая меня темно и непонятно. Он любил, работая, петь революционные песни, которые принимали у него тоже несколько загадочный оттенок. Например, в похоронном марше вместо: "А деспот пирует в роскошном дворце", Захар пел: "Отец мой пирует..." и не соглашался, когда я поправлял его. "Царь, — объяснял он, — наш отец". Он же научил меня песне, в которой говорилось: "Час эскулапов пробил". Услышав ее, папа очень смеялся и утверждал, что это направлено против него. Однажды в соборе ударили в набат, народ толпою повалил на площадь, казалось, что вот-вот в городе вспыхнет восстание. В это же время, кажется, восстала станица Урюпинская. Много разговоров шло о Государственной думе. Папу выбрали выборщиком. Но слухи об арестах и погромах все росли. Скоро я услышал слово "экспроприация".

1 мая 1951 г.

События, происходящие в стране, перекрещивались с безумием в душах маленьких чудовищ, с нашим безумием, достаточно нелепо иной раз. Однажды Филимонов призвал нас к бойкоту, мера воздействия, хорошо знакомая нам по газетам. Бойкотировать он предложил Мирона Камраса за то, что он подлиза. Это было совершенно несправедливо: Мирон вел себя с учителями, как все. Но Филимонов — суровый и влиятельный второгодник — так решительно настаивал на необходимости бойкота, что все мы согласились не без удовольствия. Правда, мне лично жаль было Камраса, хотя я и был с ним в ссоре. С другой стороны, мною овладело достаточно подлое чувство облегчения: если Камраса ни за что ни про что объявили подлизой, то и со мной могли поступить так же, но, слава богу, не поступили. Бойкот был делом небывалым, и я с нетерпением ждал прихода Камраса, чтобы посмотреть, чем все это кончится.

Конечно, бойкот был несправедлив, несправедлив, несправедлив. Я это непрерывно понимал. Но я и не помышлял пойти против класса. И вот мы, маленькие, жестокие обезьяны, встретили весело вбежавшего в класс курносого Мирона полным молчанием, сторонились от него, как от зачумленного, не отвечали, когда он заговаривал с нами. Я уже через год вспоминал эту историю с отвращением, вероятно, поэтому подробности этого события изгладились из моей памяти начисто. Помню только, что Бернгард Иванович разбирал нашу тяжбу с бедным Мироном, говорили об этом и у нас дома, осуждая класс, за который я заступался бешено, отлично понимая правоту взрослых. На третий день бойкота, прибежав в училище, я увидел знакомое лицо — отец Мирона, субтильный, деликатный и печальный, стоял у директорского кабинета, ждал приема, я пробежал мимо, делая вид, что не заметил его. Бойкот кончился ничем, но, как это бывало со мной и впоследствии, я почему-то целый год не мог помириться с Камрасом, когда все уже были с ним в мире. Я как бы отвечал за чужие обиды.

3 мая 1951 г.

Теперь, подумавши, я начинаю сомневаться — бойкотировали Камраса мы в первом или во втором классе? Впрочем, это не важно. В первом классе я еще дважды отказался идти в угол. Первый раз я не выполнил приказ Бернгарда Ивановича, самого Бернгарда Ивановича! Это прошло легко. Он догадался выгнать меня из класса, подсказывать ему не пришлось. И дружба наша не на этом кончилась. Гораздо более серьезный бой выдержал я с Михаилом Александровичем Харламовым. Это был человек строгий, которого мы боялись. Нервный тик все время заставлял его вытягивать шею из воротника, причем левой рукой он придерживал манишку у самого горла. Это движение, впрочем, довольно часто встречающееся, было до того характерно, что стало символом, выражающим инспектора. Довольно было приложить руку к горлу и подергать шеей, будто желая освободиться от узкого воротника, и все понимали, о ком идет речь. Он имел еще одну особенность, сердясь, постукивал носком башмака. Делал он это стоя, откинув согнутую ногу назад, в позе, которую просто показать, но трудно описать. При его худощавой, но коренастой, нескладной фигуре поза эта была естественна, носком ему было стучать легко. Стук этот стал символом Харламова сердитого. Его маленькие черные глаза глядели из-под очков внимательно и скорбно. Негустая, черная,

очень русская бородка росла у него только на подбородке, оставляя худые щеки свободными. И вот он захотел поставить меня в угол, и не в классе, а в коридоре. Меня кто-то толкнул, когда я бежал с лестницы, и я налетел на Харламова. Получив приказ стать в угол, я, полный ужаса, словно подчиняясь воле, более сильной, чем моя и инспектора, выполнить это отказался. Харламов потащил меня в угол насильно. Я уперся. Он тоже. Кругом собралась толпа. Кто-то в задних рядах запел галоп, которым сопровождались у нас драки. Что делать? Чем кончить эту похожую на сон борьбу? Наконец, я выскользнул из рук инспектора и скрылся. На большой перемене инспектор вызвал меня в канцелярию.

4 мая 1951 г.

Со мною вместе был вызван в канцелярию еще кто-то из провинившихся учеников. Мне инспектор сказал: "Стань здесь" — и поставил у притолоки, а второго преступника установил по другую сторону двери. Глядя из-под очков своим скорбным взглядом, худощавый и коренастый, нескладный, но внушающий уважение, он долго отчитывал нас за несоблюдение школьных правил, а мы глядели на его такое учительское, такое русское лицо и томились без мыслей и без раскаяния. Отпустив моего товарища по несчастью, Харламов сказал мне: "Запомни, что взрослые так или иначе всегда добьются своего — вот ты и постоял в углу", — и он показал на маленький угол, образуемый дверью и стеной, в котором я действительно помещался в это время. Мгновенно, как ветром сдуло вялое томление, возникавшее при выговорах. Снова охваченный как бы чужой волей, я пробормотал, что в углу я никогда не стоял и стоять не буду, и выбежал из канцелярии. Тут я почувствовал, что мне одному не сладить со всей сложностью обрушившихся на меня событий. Собрав книжки и не отвечая на вопросы товарищей, пошел я домой, рассказал все маме и заболел, примерно через час, малярией с бредом и жаром, как это случалось со мною всегда после школьных несчастий. Мама отправилась в училище. Вернулась она оттуда гораздо более спокойной и довольной, чем после объяснения с Чконией. Харламов принял маму суховато и прежде всего потребовал, чтобы она сообщила, как я изобразил сегодняшние события. Выслушав маму, Михаил Александрович вдруг смягчился и похвалил меня за правдивость. Он высказал свои взгляды на дисциплину и воспитание, и мама кое в чем с ним согласилась, а кое о чем поспорила. Расстались

они, в общем, друзьями. Улыбаясь задумчиво, мама высказала свой приговор Михаилу Александровичу. Он — человек хороший, но со странностями. Придя через несколько дней в училище, я увидел Михаила Александровича на посту — стоя на средней площадке широкой лестницы, ведущей на второй этаж, он скорбно и внимательно глядел на бегущих мимо детей. Я поклонился, и он суховато кивнул в ответ.

5 мая 1951 г.

По субботам полагалось сдавать дневники Бернгарду Ивановичу, а в понедельник он возвращал их нам с отметками за неделю. В одну из суббот я забыл дневник. Забыл его и Камрас (я все более убеждаюсь, что бойкот мы ему устраивали во втором классе). Бернгард Иванович приказал нам принести дневники ему домой в воскресенье утром. Чтобы удивить его, я и Камрас решили, придя, сказать по-немецки: “Здравствуйте. Я забыл дневник”. Продолжить эту фразу у нас не хватило смелости. И без того глагол fergessen мы нашли в учебнике с помощью мамы. Очевидно, дело происходило еще в первой четверти — спрягать глаголы мы не умели. Придя под окна выбеленного, чистенького дома, где в то время жил Бернгард Иванович, мы закричали разом: “Бернгард Иванович! Guten Morgen! Ich fergessen das Geft!” Учитель засмеялся и пригласил нас войти. Он объяснил нам, что надо говорить fergesse, но похвалил нас за то, что самостоятельно построили фразу. И завязался интереснейший разговор обо всем: о Москве, о книжках и даже об эсерах и эсдеках. Бернгард Иванович спросил у меня, какая между ними разница, и остался доволен, когда я в общем верно определил ее. И в заключение произошло чудо. Бернгард Иванович сыграл и спел нам целую оперу “Фра Диаволо”. У него был клавир. Мы, замерев, стояли один по правую, другой по левую сторону пианиста. Играл, пел и рассказывал содержание оперы Бернгард Иванович так же горячо, как вел уроки в классе. Один раз он даже больно ударил меня кулаком по руке, которую я нечаянно держал на самых басах, думая, вероятно, что они пианисту не понадобятся. Но в это время Бернгард Иванович добивался фортиссимо всего оркестра, и мне попало, на что увлекшийся музыкант не обратил никакого внимания. Капельки пота выступали на лбу его, высоком и белом.

6 мая 1951 г.

Очарованные вернулись мы домой. Увидев, с какой жадностью слушаю я музыку, Бернгард Иванович предложил мне учиться у него играть на рояле. Для начала он показал, как расположены ноты в басовом и скрипичном ключе, и объяснил то, чего я не заметил, глядя на его маленькие энергичные руки, бегающие по клавишам. Я был уверен, что правая и левая играют одно и то же, и очень удивился, узнав, что каждая рука играет свое. Когда я прибежал домой и рассказал за обедом, что буду учиться у Бернгарда Ивановича музыке, папа пренебрежительно усмехнулся. Ведь у меня не было музыкального слуха. Наши восторженные рассказы привели к тому, что в следующее воскресенье к Бернгарду Ивановичу пришло в гости уже человек шесть первоклассников. И снова, как это случалось потом много-много раз, стоял я возле рояля, а Бернгард Иванович пел, играл и рассказывал одну из классических опер. Вскоре после моего столкновения с Харламовым Сенечка Смирнов, близко стоящий к журналу, издаваемому семиклассниками, сказал, что в следующем номере будет помещена карикатура на меня и инспектора. Я с нетерпением ждал этого события. И увидел наконец слепой гектографический рисунок, изображающий очень непохоже Харламова и уж совсем не меня, а реалиста курносого и взъерошенного. Под рисунком стояла надпись: “Учитель: “Стань в угол, под часы!” Ученик: “Не стану, теперь свобода”. Мама нашла и рисунок и подпись неостроумными, я тоже. Особенно возмущало меня вот что. Часы в нижнем коридоре висели над входом в директорскую. И на рисунке они были изображены именно в этом месте. Почему же инспектор посылал ученика в угол под часы — там нет никаких часов! Но тем не менее я чувствовал, что рисунок вызван моим поступком, что не в портретном сходстве дело, и возгордился.

7 мая 1951 г.

В это время любители ставили пьесу, которая называлась “Благо народа”. Папа играл в ней главную роль. Пьеса эта, кажется, переведенная с немецкого, была, если я не ошибаюсь, издана в тоненьких желтеньких книжечках “Универсальной библиотеки”. Следовательно, она славилась в те времена. А может быть, это была классическая пьеса? Не могу вспомнить, что о ней говорили взрослые и фамилию автора. Действие разыгрывалось в Лидии, у царя Креза, в то время, когда гостил у него Солон. Какой-то юноша изобретал хлеб, но не мог

(кажется, так) дать его голодной толпе в нужном количестве, за что народ едва не убивал его. Крез и Солон, по соображениям, видимо, очень высоким, но в те времена недоступным мне, отравляли изобретателя. Чашу с ядом подносила юноше его невеста, дочь Креза, не зная, что отравляет жениха. Ставили пьесу долго, добросовестно, как в Художественном театре. Папа, придя домой из больницы, пообедав и поспав, надевал тунику, тогу красного цвета, сандалии, чтобы привыкнуть носить античную одежду естественно. Он репетировал свою роль перед зеркалом, стараясь двигаться пластически. И тут я впервые окунулся в неведомый нам, реалистам, классический мир. На некоторое время моя любовь к доисторическим временам и рыцарским замкам была отодвинута. Как мечтал я о спектакле, на который меня обещали взять. И вот, когда уже афиши были расклеены по городу, я заболел ангиной. Спектакль имел огромный успех. Весь город был в театре. И к величайшему счастью моему, "Благо народа" решили сыграть еще раз. Не в пример афишам большим на тумбах и заборах появились афиши-крошки в тетрадный лист. Они сообщали, что спектакль будет повторен, так незаметно и скромно, что я стал беспокоиться, прочтут ли их. Поэтому — или по случаю плохой погоды — народу и в самом деле собралось очень, очень немного.

9 мая 1951 г.

Итак, в дождь и грязь, перебравшись через площадь против дома Соловьевых, мимо городского сада, полный праздничных предчувствий пришел я с мамой в Пушкинский дом. Сердце мое дрогнуло, когда я увидел освещенный, но угрожающе пустой зал. Однако со свойственным мне оптимизмом, которым сменяются дурные предчувствия, когда беда и в самом деле начинает грозить, я объяснил пустоту зала тем, что еще рано. Пройдя через белую дверцу из единственной (кажется) ложи над оркестром, мы вошли в узкий проход между стеной и уходящей высоко вверх декорацией. Я взглянул на колосники, и у меня закружилась голова. В квадратном актерском фойе, влево от сцены, куда мы спустились по деревянным ступенькам, собрались люди в тогах и латах. Яков Власьевич Шаповалов разгуливал в вышитой тунике и поблескивал очками. Осмотревшись и прислушавшись, я испытал такой ужас, такое отчаянье до слез, до замирания внизу живота. Выяснилось, что сбор так мал, что не оправдывает вечерового дохода. Спектакль надо отменять. Папа стоял, улыбаясь, как будто не понимая, в каком я отчаянье, и поддерживал предложение отменить спек-

такль. Но вдруг на верхних ступеньках лестницы, ведущей на сцену, появился рослый Селивановский в шлеме и латах. Он обратился к собравшимся с краткой речью. Селивановский сказал, что он уполномочен группой участников спектакля предложить следующее: сложиться и внести те тридцать рублей, которых не хватает на оправдание расходов. Хочется поиграть! “Я лично, — сказал Селивановский, положив руки на сияющую золотом грудь, — вношу пять рублей. Надеюсь, что вы со мной согласитесь”. К моей величайшей радости, предложение Селивановского было охотно принято. Всем, видимо, хотелось поиграть. Деньги были собраны, зазвонил звонок, мы с мамой заняли места в полупустом зале.

10 мая 1951 г.

В оркестровой яме у ног Пушкина, осыпаемого морскими брызгами, крупными, как виноград, заиграл оркестр под управлением Рабиновича. Как теперь я понимаю, главная доля вечерового расхода падала на музыкантов. Оркестр гремел, пока по занавесу кто-то не постучал кулаком изнутри, отчего он весь заколебался снизу доверху. Это служило оркестру знаком, что пора кончать. Закончив музыкальную фразу, Рабинович опустил черную деревянную трубу, на которой играл, и повелительным жестом оборвал музыку. Стало тихо. Кто-то поглядел со сцены в дырочку, проделанную среди волн, изображенных на занавесе. Это я заметил потому, что дырочка, до сих пор светившаяся, потемнела, и за ней блеснул раз-другой чей-то глаз. Публика покашливала, и я сам удивился, как отчетливо я отличил мамин кашель. Она села далеко позади — вероятно, для того, чтобы не смущать знакомых актеров. В те времена в Пушкинском доме освещение было керосиновое и поэтому свет в зрительном зале не гасили, актеры видели ясно знакомых. И вот, наконец, занавес дрогнул и взвился под потолок. Новая моя любовь — Древняя Греция— поглотила меня с головой. И не только меня. Отчаянные майкопские парни, наполнявшие галерку, и случайно забредшие обыватели, разбросанные по партеру, смотрели на Креза, Солона, бедного изобретателя и прочих эллинов с величайшим внимание и волнением. Так же, как и я, не разбирали они, кто как играет. Но зато, когда жена зубного врача Круликовского, исполнявшая роль дочери Креза, протянула кубок с ядом моему папе, с галерки крикнул кто-то сдавленным, неуверенным голосом, словно во сне: “Не пей!” “Не пей!” — поддержали его в партере. После окончания спектакля

актеров долго вызывали, и я хлопал, стучал ногами и кричал чуть ли не громче всех. Бернгард Иванович был на первом спектакле "Блага народа". И я подслушал, как мама с печальной улыбкой рассказала Беатрисе о знаменательном разговоре, который произошел в клубе между папой и моим любимым учителем. Он удивлялся, как мог папа после такой роли и такого спектакля играть в клубе в преферанс, ужинать с обывателями.

11 мая 1951 г.

Все эти как бы не связанные между собою события: рисунок в журнале семиклассников, спектакль "Благо народа", знакомство Бернгарда Ивановича с папой положили начало той холодности, которая росла из года в год в душе Бернгарда Ивановича по отношению ко мне. Учителем естественной истории у нас был Драстомат Яковлевич Тер-Мкртчян. Сын священника из деревушки Парби, близ Эчмиадзина, из семьи бедной и многочисленной, он выбился в люди, учился одно время за границей, потом кончил, кажется, Московский университет. Стройный тридцатилетний человек с острой бородкой, черными армянскими глазами, веселый и живой, он скоро подружился с Бернгардом Ивановичем. Они и жили рядом, сначала у Медведевой, а потом переехали вместе к каким-то армянам, сдававшим комнаты недалеко от нас. Теперь из училища мы часто возвращались домой вместе: Бернгард Иванович, Драстомат Яковлевич и мы — толпой вокруг. Бернгард Иванович иной раз разговаривал с нами, но чаще, весело смеясь, болтали учителя друг с другом по-немецки. И в разговоре этом часто мелькало имя — Беатриче. Дело в том, что между Беатрисой и Драстоматом Яковлевичем намечался роман, обсуждаемый, и поддерживаемый, и раздуваемый всеми знакомыми. Леонид Иванович Смирнов с женой и детьми к этому времени уехал из города. Любовь его и Беатрисы, как мне кажется, кончилась ничем. Теперь ее тоскующая одинокая душа стремилась к Драстомату, о чем я из обрывков разговоров старших знал отлично. С мамой она говорила только о нем. И однажды я услышал, что Бернгард Иванович говорил Драстомату обо мне. Он жаловался, что я часто хохочу за спиною учителей. Это их раздражает. Учителя мнительны поневоле. Им кажется, что я смеюсь над ними. Это поразило меня. Однажды батюшка, тоже подружившийся с Бернгардом Ивановичем, сказал мне, когда я шел с ним домой (он тоже был моим попутчиком): "Ты до шести лет рос один, потом родился брат. Вот откуда твой характер". Я спро-

сил у батюшки — а какой?

12 мая 1951 г.

Точного ответа я не получил, но понял достаточно ясно, что батюшка, которого я любил не меньше, чем Бернгада Ивановича, осуждает меня за что-то. Я огорчился. Вскоре Бернгард Иванович, которого я спросил: "Когда же мы начнем учиться музыке?"— ответил, что я не музыкален, как он узнал. Через несколько дней мы выходили из училища, окружая Бернгарда Ивановича. Кто-то из мальчиков рассказывал, что его поставили в угол. После рисунка в журнале я, как уже писал, зазнался. Надменно и громко заявил я, что никогда не стал бы в угол. И тотчас же Бернгард Иванович с таким гневным лицом, какого я еще не видел у него, повернулся ко мне. Я испугался. А Бернгард Иванович с обычной точностью в выражениях и властностью сказал, что есть единственный верный способ никогда не стоять в углу — хорошо вести себя. Я что-то растерянно пробормотал в ответ. Так в первый раз испытал я на себе неприязнь любимого своего учителя. Началась неприязнь эта, видимо, давно, как я теперь понимаю, а почувствовал я ее только в конце учебного года. Уже шла ранняя майкопская весна. Вот мы шагаем домой, окружая Бернгарда Ивановича толпой, и он весело болтает со всеми, обходя меня взглядом. Огромные акации городского сада покрыты маленькими листьями и шелестят. Грязь уже высохла, но еще не превратилась в пыль. Солнце греет, а не жжет. Босяк с папиросой в зубах просит у Бернгарда Ивановича закурить. Тот отшатывается с такой неприкрытой брезгливостью, что мне делается жаль босяка. Но при этом я не осуждаю учителя, а только удивляюсь. И мы шагаем дальше. Толпа провожающих редеет постепенно. Вот и мой поворот. Я робко киваю учителю, прощаясь, и получаю в ответ суховатый поклон. Рисунок в журнале сделал меня самоуверенным. Спектакль "Благо народа" познакомил учителя с отцом. Разговор, конечно, зашел обо мне, и папа с обычной прямотой высказал свой взгляд на мою особу. Все это сказалось постепенно на моих отношениях с немцем. (Вспомнил, что в классе мы его называли и так.)

13 мая 1951 г.

А в городе и в стране тем временем спокойная жизнь не хотела налаживаться, да и все тут. Помню отчетливо разговоры о роспуске Первой Государственной думы, о Выборгском воззвании, над которым папа посмеивался. Убийство Герцен-

штейна, доктор Дубровин, Союз русского народа, погромы — вот обычные темы разговоров. Однажды я встретил Захара. Он был одет в черную пару, которая сидела на его коротконогой фигуре так, что за квартал можно было угадать простого. Большое лицо Захара было мрачно. Он шел с собрания СРН, которых решительно осудил. В это время я пытался вести дневник. Каждый день занимал в клеенчатой тетради строчки две-три. Об этой встрече я написал, что Захар был на собрании СРН и ругал их, а я сказал, что им надо называться не Союз русского народа, а Союз русских негодяев. Но я не записал в дневник, что, осудив СРН, Захар долго, темно, многозначительно хвалил баптистов, на собрании которых недавно был. Дневник этот являлся первой в моей жизни попыткой написать нечто по собственной воле. Писал я его, вероятно, с неделю. Потом я увидел, что мама его читает с неопределенным, скорее осуждающим выражением лица, и перестал его писать. Мне и до этого случая писать его было стыдно, а тут я и вовсе застыдился. И вот пришло лето. На последнем уроке Бернгард Иванович раздал нам табели, пожал руки лучшим ученикам и мне в том числе, поздравил с переходом во второй класс и простился с нами до осени. К этому времени отношения наши стали чуть лучше. Однажды он спросил даже, когда мы возвращались домой и переходили площадь наискось от завода Чибичева к фотографии Амбражиевича, почему я загрустил в последнее время. Я стал отрицать, что загрустил. Это было равносильно примирению, которое, однако, оказалось непрочным, прежняя дружба исчезла навеки. В это лето папа стал сотрудничать в газете “Кубанский край”, подписываясь псевдонимом “Не тот”. Коротенькие заметки его мама читала с неопределенным, скорее осуждающим выражением, и мне они тоже поэтому казались какими-то не такими.

14 мая 1951 г.

Как я писал уже, кухаркой у нас в те времена была Домна— маленькая, сухонькая, иконописная, живая, мастерица рассказывать страшные истории о ведьмах, колдовстве, об аде и чертях. Черта она видела однажды своими глазами, когда бежала топиться, он явился ей с копытами, серыми крыльями, рогами, огненными глазами. Я совершенно явственно представил его себе, когда с особым многозначительным выражением, особенным таинственным голосом, подобающим случаю, рассказала нам Домна об этой страшной встрече. Мама объяснила, впрочем, что у Домны была галлюцинация. Муж Домны

казался моложе ее. Высокий, спокойный человек с рыжей бородой лопатой, он вечно сидел на кухне и ничего не делал. От старших я узнал, что это его измена довела Домну до того, что она бегала топиться. Звали его Яков. Папа вскоре взял на себя представительство по распространению "Кубанского края" в Майкопе. Для продажи газеты подрядили Якова. Ему дали кожаную сумку, пятьдесят номеров газеты и отправили торговать. Он должен был получать копейку с каждого проданного номера. Ушел Яков утром, а вернулся к вечеру, растерянный и даже похудевший. За весь день он продал всего девять экземпляров "Кубанского края". Старшие огорчились. Материально папа не был заинтересован в этом деле, но ему было неловко перед редактором, его знакомым. Взялся по его просьбе за распространение газеты, и вот что вышло. Но дня через два все наладилось. Не знаю, кто надоумил старших поручить продажу газет уличным мальчишкам. Одному из них дали на пробу десять экземпляров. Через полчаса он примчался весь в поту и завопил: "Давайте еще! Все продал!" С помощью этих газетчиков дело пошло. Они за день обегали весь город, и майкопцы узнавали о событиях, потрясавших страну. Появилось новое слово: экспроприация. На шоссе Майкоп — Туапсе, недалеко от станицы Апшеронской экспроприаторы напали на почту. По подозрению в участии в экспроприации был арестован реалист Тер-Егиазаров.

16 мая 1951 г.

В 1906 году или годом позже мы переехали из дома Санделя в дом Капустина, против Соловьевых. Отношения с Францем Ивановичем были у нас очень дружескими сначала. Папе нравилась его литовская храбрость, которую проявил он в день предполагаемого погрома, свежая не по возрасту голова, энергия. Мы все жалели его туберкулезную жену, которая от слабости уже и ходить не могла. В хорошую погоду ее выводили во двор, усаживали в кресло. Высокая, худая-худая, она куталась в шаль и сурово поглядывала на играющих детей. Как я был удивлен, когда она однажды приветливо улыбнулась и, достав откуда-то из складок своей серой шали крупное яблоко, протянула его мне. Невнятно поблагодарив больную, я побежал домой и рассказал всем об этом событии. Мама немёдленно отобрала у меня яблоко, чтобы я не заразился туберкулезом. Вскоре жена Франца Ивановича заболела так тяжело, что и в кресле сидеть уже была не в силах. И зимою умерла. В этот день я не мог обедать.

Гроб в нижнем этаже погружал в мрак и траур весь просторный санделевский дом. Через несколько месяцев после смерти жены Франц Иванович сделался странным, беспричинно раздражительным. Энергия заменилась суетливостью. Старшие поссорились с ним раз и другой. Поведение его часто обсуждалось у нас за столом. Как видно, смерть жены вывела старика из равновесия. Однажды, было это примерно в июне, я проснулся от того, что отец вскрикнул испуганно, как ребенок: "Ой, мама". Это было у него выражением крайней растерянности и ужаса. В одном белье выскочил он в коридор. Выбежав за ним, я увидел: угол коридора у Санечкиной комнаты горел, пылал, стрелял искрами. Мама и папа бегали вверх и вниз по лестнице с ведрами, выплескивали их прямо в пламя. Но пожар и не думал утихать.

17 мая 1951 г.

Увидев меня, мама бросила ведро и потащила меня за руку в спальню. Там, разбудив Валю, она приказала мне взять его за руку и бежать с ним к Соловьевым. Одеться мама не разрешила. Завернувшись в одеяла, мы с Валей выбрались из квартиры парадным ходом и, бросив двери открытыми, побежали к Соловьевым мимо сада Водарского. Было странно, как во сне, и весело бежать босиком по прохладному кирпичному тротуару, кутаясь в одеяла, которые сваливались с плеч. Мы еще и до угла не добрались, как услышали знакомый грохот — пожарная команда мчалась к нашему дому. Оглянувшись, увидели мы, что над нашей крышей прыгало пламя, клубился дым. Мне страшно захотелось вернуться, но, вспомнив мамин приказ, я не решился на это. Площадь, до сих пор по-утреннему пустынная, наполнилась народом, и все бежали в одном направлении — на пожар. Мы разбудили Соловьевых. Меня усадили на Костину постель. Он, одевшись наскоро, умчался глядеть, как мы горим. Валю девочки взяли в свою комнату. Растроганный общим сочувствием, он стал плакать и приговаривать: "Мы теперь будем нищие, будем слепые". Я жадно смотрел в окно, но деревья на той стороне не давали разглядеть, что делается на пожаре. Через полчасика прибежал Костя и сообщил, что все кончилось. Сгорел только угол коридора. Пожарные погасили пожар. Потом пришла мама с нашей одежей, и мы вернулись в наш дом, полный ужасным, наводящим тоску запахом пожарища, залитого водой. Это происшествие и послужило поводом окончательного разрыва с Санделем. По мнению пожарных, в катастрофе был виноват домовладелец, который ставил внизу в

сенцах самовар. Но Сандель не согласился с этим и потребовал с папы пятьдесят рублей в возмещение убытков. Папа платить отказался. Дело дошло до суда, который постановил, помнится, разделить убытки пополам между нами и Санделем. И мы переехали, обидевшись, к Капустиным.

18 мая 1951 г.

Дом Капустина помещался прямо против дома Соловьевых. Как решились наши переехать туда — не знаю. Степан Иванович Капустин славился своим дурным, можно сказать, безумным нравом на весь город. Еще до Валиного рождения у Рединых в саду я услышал однажды свирепый рев, и кто-то швырнул полено через забор — одно, потом другое, явно стараясь попасть в нас, играющих детей. Что такое? Редины объяснили мне, что это Капустин, сосед, который думает, что это они обтрясли ему яблоню. Он был маляром и брал подряды по малярным работам. Часто я видел его, гуляя по городу с мамой, то на одной, то на другой крыше. Босой, голенастый, тощий с копной черных цыганских волос на маленькой голове, он красил крышу длинной щеткой и не бранился во весь голос только в том случае, если пребывал на своей высоте в полном одиночестве. Впрочем, припоминаю, что бранился он, бывало, и с невидимым противником. Он владел двумя домами. Один, большой, в шесть комнат, сдавал, другой, в три окошечка, мещански чистенький, с занавесками, цветами на окнах, занимал с женой Олимпиадой Васильевной. Рослая, полная, спокойная до величественности, она всегда поддерживала мужа и в гневе и в милости. Ходила и приговаривала : “Ой, господи, ну можно ли так поступать, совести нет у людей”, либо: “Ну, вот и хорошо, и славно”. Любопытно, что безумный этот Капустин был, кажется, единственный домовладелец с которым мы расстались мирно.

19 мая 1951 г.

Капустин был, кажется, единственный домовладелец, с которым мы расстались мирно, не ссорясь. Не могу вспомнить, как и почему переехали мы в дом Бударного, когда я уже был в четвертом классе, то есть в девятьсот девятом-десятом году. Но через год-полтора мы снова вернулись к Степану Ивановичу. Со мною и братом он был всегда ласков. В первые дни я ждал от него всяческих обид, но как бы он ни бушевал у себя за решетчатым забором, при виде нас его черные пронзительные глазки теряли свое свирепое выражение. Ох, этот забор!

Сколько раз по беспокойству своего нрава перестраивал его Капустин. За годы, что мы там прожили, забор то вырастал в вышину человеческого роста, то становился низеньким, как в палисаднике, то он был решетчатый, то сплошной. Я в те годы очень любил смотреть, как строят, завидовал моему однокласснику Романенко, против которых на углу вырастал новый кирпичный дом, чем легко было любоваться, не выходя из комнаты, удобно устроившись на подоконнике. Эта любовь часто заставляла меня любоваться тем, как ловко действует Степан Иванович, обтачивая столбы для очередного забора или приколачивая штакетник. На второй или третий день нашего переезда я стоял возле нового нашего хозяина, который, сидя по-турецки на земле у столба, работал долотом и молотком. И смотрел я с любопытством, и разговор у нас шел увлекательный — о плотничном мастерстве. И вдруг Степан Иванович взревел страшным, зверским ревом: “Пошел вон отсюда!” Я почувствовал слабость в ногах, понял, что сейчас заплачу, но сдержался и сказал хозяину сухо: “Не понимаю, чем я вам мог помешать”. А Капустин вдруг весь просветлел и сказал мягко и торопливо: “Что ты, что ты, я не тебе, я цыпленку. Он все вертится тут, молоток положить некуда”. И после паузы, постучав молотком, добавил: “Нет, что ты, я не тебе”.

21 мая 1951 г.

Капустин с женой говорил всегда ласково, ни разу на нее не прикрикнул, но больше ни одному живому существу в своем доме он воли не давал. Собака, черненькая, с белыми подпалинами, маленькая, зябкая, нервная, вечно поджимавшая лапки, по прозвищу Кукла, ощенилась под домом и выбрала для этого святой угол. Капустин избил ее страшным боем. Думая, что вся ее вина в щенятах, несчастная Кукла скулила, тосковала, но не смела подойти к ним, извлеченным из-под святого угла. Так они и околели с голода. Корову он тоже избил за какую-то провинность, отчего она болела и ее водили к ветеринару. Вот Капустин приходит с базара мрачный, взлохмаченный, бродит по двору, ищет дела. Курица кричит возле сарая. “А, проклятая, у меня и так голова болит, а ты еще орешь под ухом”. Капустин хватает топор — прыжок, куриный вопль, и вот обезглавленная курица бьется в траве. А через полчаса Степан Иванович томится, тоскует: “Бедная курочка, она снеслась и кричала, а я ее убил за это, дурак”. В праздник у Капустиных собирались гости. Граммофон с трубой, похожей на какой-то голубой металлический огромный цветок,

ставился у открытого окна. Он пел и играл на всю улицу, прибавляя еще свой гнусавый голос ко всей ненавистной мне тогда майкопской праздничной многоголосице. Итак, мы переехали к Капустину. К этому времени стала замирать моя любовь к девочке из цирка, и я почти влюбился в Милочку Крачковскую. Надо сказать, что я с первой встречи на лугу за городским садом относился к этой девочке особенно. Я тогда еще не умел влюбляться, но отличал ее от всех. Таким образом, я не то что влюбился, а старое чувство стало ясней. Я любовался на нее с глубоким благоговением.

28 мая 1951 г.

При каждой встрече с Милочкой я любовался ею с таким благоговением и робостью, что и подумать не смел заговорить с нею или хотя бы поздороваться. У Варвары Михайловны (так звали мать Милочки) с моей мамой не завязалось знакомства. Однажды мы, гуляя, встретили все семейство Крачковских. Старшие разговорились, а я не мог сказать ни слова Милочке. А она и не думала обо мне, она сидела, строгая, размышляла о чем-то своем, глядела прямо перед собою своими огромными серо-голубыми глазами. Ее каштановые волосы сияли, словно ореол над прямым лбом, две косы лежали на спине. Сколько раз, сколько лет все это меня восхищало и мучило, и до сих пор снится во сне. Итак, старшие разговорились, уселись против большой лавки Кешелова на скамеечке, и тут разыгралось некоторое событие. Приказчики Кешелова забастовали. Как мы узнали впоследствии, они потребовали прибавки жалованья. Хозяин отказал. Тогда они прекратили работу и ушли, заперев в лавке хозяина. Это последнее событие мы увидели своими глазами. Оживленные своей храбростью приказчики высыпали из трех магазинных дверей, заперли их тщательно и одну из них заложили метлой. Хозяин кричал, ругался, стучал в дверь так отчаянно, что метла прыгала, как живая, но освободиться не мог. И тут у матерей завязался спор, который и привел к вечной холодности между ними. Варвара Михайловна забастовщиков осуждала, а мама восхваляла. Обе они сердились, но улыбались принужденно, желая показать, что спорят на принципиальные темы и сохраняют спокойствие. Мама повторяла упорно: “А мне это нравится. Люди смело борются за свои права. Действуют. Мне это нравится”. В булочной Окумышева был пекарь-турок, блондин и толстяк. Я в раннем детстве считал его богатырем, полагая, что чем человек толще, тем сильнее. И вот бедняга

утонул. Было это примерно летом девятьсот седьмого года. Тело его вытащили из реки далеко, за женской купальней. Мы побежали смотреть. И когда мы возвращались, я увидел Милочку. И сразу рассеялся мрак, упавший на меня, ощутившего, что смерть и в самом деле есть на земле. Милочка стояла по колени в воде в голубой длинной рубашке и глядела прямо перед собой.

29 мая 1951 г.

Этот ее взгляд был веселее, чем обычно. Она улыбалась чуть-чуть и разговаривала со своей подругой, которая казалась такой обыкновенной рядом с таинственной и строгой, несмотря на улыбку, Милочкой. Нет, вспомнил. И подруга ее уже освящена была тем, что Милочка разговаривала с ней, включена в тот мир, на который я глядел снизу вверх. Теперь я должен рассказать нечто, до сих пор таинственное для меня. Никогда в жизни я больше не переживал ничего подобного. Было это зимой, когда я учился во втором классе. Я шел из училища и встретил Милочку. Обычно я поглядывал на нее украдкой, а она и вовсе не смотрела на меня. Но тут я нечаянно взглянул прямо в ее прекрасные, серо-голубые глаза. Мы встретились взглядами. И что-то мягко, но сильно ударило меня, потрясло с ног до головы. И мне почудилось, что и она остановилась на миг, точно в испуге. И глаза Милочки, точно я поглядел на солнце, остались в моих глазах. Я видел ее глаза, глядя на снег, на белые стены домов. Несколько лет спустя я спросил Милочку, помнит ли она эту встречу и пережила ли она что-нибудь подобное тому потрясению, которое я испытал. Она сказала, что не помнит ничего похожего. Причастие, разлившееся теплом по всем жилочкам, и этот мягкий, но сильный удар, глаза, отпечатавшиеся в моих, вот чего я не переживал больше никогда в жизни. Крачковские в это время жили против реального училища, а женская гимназия помещалась кварталах в трех за нашим домом. Поэтому я часто по дороге в училище встречал Милочку. Иной раз, сидя на последнем уроке, видел я, как возвращается она домой. Варвара Михайловна сильно нуждалась. Нелегко ей было растить четырех детей. Она держала жильцов из приезжих реалистов. И даже на них (было их, кажется, двое) поглядывал я не без уважения. Мне грустно расставаться со вторым классом. Кончается время чудес. С третьего класса я уже почти взрослый. Многое я растерял и ничего не приобрел. И я не знаю, хватит ли у меня храбрости рассказывать, ничего не пропуская, не

смягчая и не прибавляя, как я писал до сих пор.

30 мая 1951 г. Вскоре после нашего переезда к Капустиным всех нас разбудили свистки и крики. Старшие, впрочем, еще не спали, они только что вернулись из гостей. Они выбежали на улицу и увидели полицейских, толпу народа и фабриканта Табакóва, девочкам которого я некогда так позорно врал о том, что часто падаю в обморок. Оказывается, Табаков получил письмо с требованием положить в указанное место пакет с деньгами. Авторы письма угрожали ему смертью в случае отказа. Табаков сообщил о письме в полицию, и человека, пришедшего за деньгами, схватили. Табаков спросил папу, с которым был знаком по клубу: "А вы что тут делаете?" Папа, шутя, ответил, что был вместе с экспроприаторами. Табаков шутку понял, но тем не менее мама была расстроена и говорила за чаем, что в такое тревожное время нужно следить за каждым своим словом. А время и в самом деле стало тревожным. Слово "экспроприация", а вскоре для краткости просто "экс", слышалось у нас чуть ли не ежедневно. На туапсинском шоссе ограбили почту. Ограбили где-то банк. А вскоре мы услышали потрясающее известие — у самого своего дома был убит фабрикант Табаков. Значит, недаром в письме ему угрожали смертью. Начались аресты. Однажды ночью кто-то позвонил к нам, на вопрос "кто там?" попросил не открывать и предупредил через закрытую дверь, что у нас будет обыск. Обыск не состоялся, но через несколько дней папа, Василий Федорович Соловьев и доктор Киселев были высланы из Кубанской области, объявленной в то время на военном положении. Папе приказано было ехать в Самару, но он поехал в Баку, о чем нам велено было молчать. Как я узнал впоследствии, городская дума постановила сохранить место за папой, взяв в больницу врача на время. И в Майкопе появился молодой доктор Варшавский, безропотно уступивший папе место, когда он вернулся из высылки. Все эти события не огорчали и не беспокоили меня, а, стыдно признаться, не то что радовали, а как-то тайно веселили, как пожар или наводнение. Не могу вспомнить, как уезжал отец, провожали его или нет.

1 июня 1951 г. Мне жалко и страшно отрываться от последних дней моего детства. Я не решался долго писать о первом и втором классах, мне казалось, что едва я пошел в училище, так

детство и кончилось. Подойдя ближе, вспомнив отчетливее, я вижу, что детство мое продолжалось до лета 1908 года. Если хватит храбрости, умения и спокойствия, то я перешагну через этот рубеж. А пока расскажу о том, что не уложилось по тем или иным причинам в последовательный рассказ. Когда мы жили у Санделя, я болел корью. Мама сидела возле меня, читала мне вслух, и я был счастлив. Свет раздражал меня, и мне купили черные очки. Я был этим очень доволен и, выходя во двор, уже после болезни, когда светобоязнь исчезла без следа, все-таки надевал очки, чтобы поразить товарищей. Когда я поправился, заболел Валя, лежал в комнате с занавешанными окнами с красными щеками, и мама сидела возле и рассказывала ему сказки. Однажды зимой я пошел в библиотеку, и мне библиотекарша предложила книжку Жюля Верна "Матиас Сандарф [Шандор]". Я не видел за шкафами, какая это книжка — тонкая или толстая, а просить "покажите" — не хватало смелости. Я согласился взять книжку, не глядя. И вдруг у меня даже сердце запрыгало от радости — мне вручили толстую книжку в синем переплете. Это произошло тоже в санделевский период. Что-то случилось с печами — они дымили. Старшие сердились, беспокоились, жаловались, а я лежал на кушетке и читал с наслаждением о великом гипнотизере и великолепных приключениях. Генерал Добротин с женой переехали, а в их квартире поселился военный доктор с женой и дочкой. Звали его странно — Леонид Ричардович Ризен. Он был тяжеловат, несмотря на свои тридцать-тридцать пять лет, лысоват, носил, помнится, небольшие рыжеватые усики. По утрам к дому подъезжал казак верхом и приводил вторую лошадь для доктора, и доктор на работу скакал верхом, что восхищало меня. Жену его звали Марья Степановна. Худенькая брюнетка среднего роста с небольшими близкостоящими черными глазами, она была с детьми ласкова, чем сразу привлекла меня к себе. Понравилась мне и дочка их Таня — полная, миловидная, годами двумя моложе меня. Все эти люди — взрослые, а не Таня — впоследствии вплелись в нашу жизнь.

2 июня 1951 г.

Прежде чем двигаться дальше, расскажу о странной истории, похожей на бойкот Камраса, но случившейся раньше. Как я уже писал, Ризены очень мне нравились. Однажды, выглянувши в окно, я увидел, что Марья Степановна с Таней вышла на улицу и посреди площади затеяла с детьми какую-то игру. Так как я перед этим читал, то моя радость при виде этого выразилась в следующих словах: "Для

его глаз не могло быть зрелища приятнее". Словом, я, несколько утомленный сложным своим семейством, бросился к этому чужому с окрытой душой, как всегда бывало в те времена, при первом же признаке доброжелательства. Так шло довольно долго. Но вот однажды, спустившись на площадь, я застал своих друзей в состоянии возмущения, близком к бунту. Еще вчера дружно игравшие с Таней и Марьей Степановной, они обиделись на какой-то пустяк, точнее, придрались к каким-то совсем не обидным словам доброй женщины. И вот, подогревая и подзадоривая друг друга, дети, главным образом, девочки решили с Таней не играть, а с Марьей Степановной не разговаривать. И я, сам понимая, что тут дело неладно, что это просто глупость, что несправедливо обижать маленькую девочку и женщину, от которой я ничего, кроме хорошего не видел, присоединился все-таки к бунтовщикам. Почему? Не могу объяснить себе до сих пор! Я даже предлагал поставить часовых, чтобы они предупреждали о появлении членов враждебной семьи. Предложил придумать для них прозвища. В частности, самого доктора я прозвал "лысый поросенок" — вот как должны кричать часовые при его приближении. Словом, я тоже преисполнился возмущением и обидой против всех Ризенов. Бедная Таня, кругленькая, миловидная, приветливая, вышла на крыльцо с обручем и палочкой в руках. Мы, визжа, бросились бежать от нее, как от привидения. Марья Степановна дрожала над дочкой. У той уже трижды было воспаление легкого, и врачи говорили, что четвертого девочка не переживет. Ее берегли, как принцессу. Таня, поняв, что с ней никто не хочет водиться, подняла отчаянный плач. Прибежала Марья Степановна. Позвали детей, началось целое расследование — кто что сказал, где и как. Мои сверстники растерялись. Сразу сдались.

3 июня 1951 г.

Сразу стало ясно, что без всяких причин, глупо и несправедливо, обидели мы добрых людей. Девочки валили вину друг на друга, мы молчали, а Марья Степановна слушала девочек печально. Так Константин Карпович читал письмо мамы с моими жалобами. Кончилось дело тем, что все помирились с Ризенами, кроме меня. Я чувствовал себя виноватым — один из всех. К тому времени, когда мы переехали к Капустиным, Водарский из своего домика в конце большого сада, что начинался под санделевскими окнами, перебрался в более просторный кирпичный дом против Армянской церкви. А Ризены заняли его

домик. А он стоял как раз возле капустинского. Таким образом, Ризены стали нашими соседями, и мама, обычно туго сходившаяся с людьми, подружилась с Марией Степановной. К этому времени Таня подросла и стала манерной и очень литературно говорящей девочкой. У нее появился непростительный, с точки зрения моей мамы, недостаток — она держалась “неестественно”. Марья Степановна была из тех первых знакомых, с помощью которых и в дальнейшем я угадывал знакомых последующих. Сегодня не пишется, и поэтому я выражаюсь нескладно. Я хочу сказать, что в дальнейшем женщины ее типа — брюнетки с близко поставленными маленькими черными глазами— казались мне похожими на Марью Степановну не только внешностью, но и нравом, что очень часто и подтверждалось. По Самуилу Краморову я угадывал в дальнейшем людей его типа — очень худеньких, очень честных, молчаливых, безгранично работящих евреев. Не помню, когда появился он у нас в доме, в последний раз увиделся я с ним году в 38—39-м. Это был тогда уже последний знакомый, который говорил мне “ты”, а я ему — “вы”. В майкопские времена Самуил служил в Азовско-Донском банке. Все хвалили его— он растил сестер и братьев, из кожи лез вон, чтобы дать им образование. Недоверчивая моя мама, покачивая головой, говорила: “Самуил им все отдает, отказался ради них от учения и личной жизни, а они вырастут и махнут на него рукой”. Самуил тоже был признан мамой за своего, в числе очень немногих людей.

4 июня 1951 г.

Продолжаю рассказ о старых знакомых. Худенький и слабенький, на первый взгляд, Самуил Крамаров в холерную эпидемию 1910 года заболел холерой, но она не справилась с ним. Самуил поправился и даже не слишком похудел — худеть-то ему было некуда. Муж той самой Анны Ильиничны Вейсман, которая говорила речь на митинге в 1905 году, высокий красивый человек с черными усами и эспаньолкой, небольшими, не то чуть хитрыми, не то чуть пьяными глазами (он не был пьяницей) — служил тоже в Азовско-Донском банке. В 1905-906 году, а может быть, и позже, Борис Григорьевич, так его звали, за какую-то имевшую политический характер историю был из банка удален. Это вызвало всеобщее возмущение в городе. Многие служащие в знак протеста заявили, что они тоже уходят из банка. Борис Григорьевич уговорил их остаться. И все послушались его, кроме Самуила. Он, нуждающийся, обре-

мененный, несмотря на молодость, большой семьей, счел для себя невозможным оставаться на работе в учреждении, правление которого поступило несправедливо. И мама, говоря о Самуиле, стала прибавлять каждый раз: “Протестовали-то все, а ушел один Самуил!” Вскоре Самуил нашел другую работу. Его уже тогда уважали и ценили за удивительную, свирепую трудоспособность.

5 июня 1951 г.

Когда я встретился с ним в последний раз, был он такой же худенький, такой же глубоко серьезный, как в детские мои годы, только голова его стала серебряной. Он занимал важное место по финансовой части в каком-то наркомате. Личная жизнь наладилась у него в конце концов. Он был женат. На ком и как — расскажу, если хватит смелости рассказывать о событиях, столь близко переплетающихся с жизнью моих стариков, когда они были молоды и безумны. Жена Самуила, русская, к этому времени была уже бабушкой и растила внука — дочка умерла родами. И Самуил, столь молчаливый обычно, рассказывал о мальчике так словоохотливо и с такой любовью! Больше мы с ним не виделись. Умер он, кажется, уже после войны. Примерно в девятьсот седьмом году появились у нас однажды вечером молодые супруги. Мне почему-то вспоминается, что и мальчика своего, еще грудного, принесли они с собою. Муж был светлоглазый блондин с уже редеющими волосами, очень русским лицом с полными губами. Жена — миловидная, чуть шепелявая, что я не прощал тогда, светловолосая, как муж, быстрая, говорливая. Это был недавно кончивший юридический факультет Лев Александрович Коробьин с женой Софьей Сергеевной и сынишкой Глебом. Впрочем, это был, кажется, уже второй их ребенок — девочка Галя. Так выходит по годам. Словом, они трое побывали у нас и очень понравились нашим. Мама все говорила, покачивая головой печально: “Какие молодые, какие жизнерадостные. У него и лицо-то еще совсем студенческое”. И никто из нас и представить не мог, какую огромную роль в нашей жизни сыграет Лев Александрович. Еще труднее было вообразить, что Самуил женится на Софье Сергеевне и я услышу, как он умиленно и словоохотливо рассказывает о ее внуке. Коробьины стали бывать у нас, а мы у них. Я услышал вскоре, что он прямой потомок того Коробьина, что при обсуждении Екатерининского наказа требовал освобождения крестьян. Это был первый наш знакомый, о котором я узнал, что он дворянин,

да еще записанный в "Бархатную книгу". Это не мешало отцу его быть народовольцем (кажется). И вообще первый мой знакомый дворянин решительно ничем не отличался от разночинцев и занимался адвокатской практикой, зарабатывая себе на жизнь.

6 июня 1951 г.

Бывали они у нас все чаще, и я хорошо запомнил их квартиру в старом просторном доме против городского сада. При доме был сад с беседкой. К чаю выходили старики Коробьины — он, грузный и важный, и она, худая и задумчивая. Причем казалось, что думает она о вещах очень печальных. Однажды Софья Сергеевна рассказала, что венчались они родительскими кольцами, несмотря на протесты матери Льва Александровича. По примете выходило, что дети повторят родительскую семейную жизнь. А родители жили худо. Ныне грузный и важный старик в свое время был влюбчив и легкомыслен. Много раз семейная жизнь Коробьиных-старших готова была рухнуть. Только недавно он остепенился, но зато стал мрачен и молчалив — так и не видела жена с ним радости. Выслушав это, мама огорчилась и побранила Софью Сергеевну за то, что та приняла роковые обручальные кольца. Однажды, кажется, на мамины именины собрались у нас гости. Именины эти праздновались 1 апреля по старому стилю, в день Марии Египетской. У нас был маленький образок этой святой, написанный на дощечке. Длинные волнистые волосы покрывали святую, как плащ. Этот день с самых малых лет был для меня хлопотливым и радостным. К этому времени все расцветало в Майкопе. Гости дарили цветы, все больше сирень, и конфеты, к моему удовольствию, и я выпрашивал у мамы денег ей на подарок и тоже покупал ей или вазочку, или плитку шоколада. А вечером садились за стол. Все были веселы и добры. Я ел, смеялся и глазел во все глаза на обожаемое мною зрелище — гости за столом. В тот вечер я особенно любовался Коробьиным. Он пил водку очень красиво из стаканчика — одним огромным глотком. Вдруг отец встал из-за стола, подошел к маме и прошептал ей что-то на ухо. И мама, в нарушение всех обычаев, повела меня спать. За что? "Папа говорит, что ты очень смотришь на Льва Александровича, и он стесняется пить". Напрасно я старался доказать маме, что тот вовсе не стеснялся, обещал не смотреть на него — все было напрасно. Мама уложила меня спать, чего я долго не мог простить старшим.

7 июня 1951 г. И по Льву Александровичу стал я угадывать людей с блестящими светлыми глазами. Ресницы вокруг подобных глаз не слишком светлы и недостаточно темны — их не видишь. Глаза глядят открыто и, не найду лучшего выражения, — просто. Это очень русские глаза, и они дают характер всему лицу. Зная такие глаза, я сразу понял, например, Толубеева, ныне народного артиста. У забулдыг такие глаза бывают, а у негодяев нет. Впрочем, дело не только в глазах. Людей этой, коробьинской, породы узнаешь по ряду трудно уловимых и еще более трудно определяемых признаков. Этим видом знаний, приобретенного в детстве, не поделишься. Можно сказать одно, что есть точные приметы, с помощью которых приучаешься угадывать разряды или породы, или виды людей. Не помню, когда появился у нас Алеша Луцук, высокий, широкоплечий, но со впалой грудью молодой парень, тоже служащий в банке. Разговор о том, что грудь у него впалая, завел с ним в купальне папа. Велел ему показаться Василию Федоровичу. Самуил приходил к нам вечерком, а Луцук бывал иногда и к обеду. Папа приносил в таких случаях полбутылки водки, керченских селедок, что само по себе было приятно, а кроме того, обед из будничного, с брюзжанием, выговорами, вспышками — превращался в праздничный, веселый. Папа смеялся своим очаровательным, искренним смехом, откидывая назад красивую черноволосую свою голову. Как я это любил! И как редко это бывало. Примерно в это же время стала у нас появляться Нюся Румянцева, стриженая, мужеподобная, хохочущая баском девица. Несмотря на свой решительный вид, она была уступчива, покладиста, прирожденная поклонница. Когда в городе играла труппа, она вечно состояла при ком-нибудь из актрис — и роли ей переписывала, и шила, и помогала по хозяйству, и распространяла билеты, и суфлировала — и все это совершенно бескорыстно.

9 июня 1951 г. Прежде чем перейти к третьему классу, к событиям печальным, даже страшным, поговорю еще о последних дня моего детства. Первостепенных действующих лиц предстоящих событий я назвал. Даже вспомнил и кое-кого из второстепенных — Нюсю Румянцеву. Вспомню и девочек Табаковых, бедных Табаковых, дочек шляпницы, круглых сирот. Тогда старшая из них, Надя, училась за границей, кажется, в Женеве. Она бывала у нас, когда мы жили у Санделей. Она была

красивая, полная, томная, светлая шатенка. Улыбалась она застенчиво. Помню, как однажды она принесла показать нам свой альбом открыток. Там глубоко меня поразила открытка с надписью "Нега". Полунагая женщина сидела у открытого окна, выходящего на море. Она бессильно откинулась на спинку кресла и улыбалась застенчиво и мечтательно, как сама владелица альбома. Рассматривая эту "Негу", мама покачала головой и сказала, что молодой девушке не следует держать в своем альбоме такие открытки. Надя смутилась и стала настойчиво спрашивать: "Но почему, почему?" Ответа она не получила. Очевидно, молодым девушкам трудно было объяснить причину маминого утверждения. Вторая сестра — Мирра и третья, Роза, еще учились в гимназии. Мирру я видел редко, а Розу довольно часто. Мирра, пухлая и вялая, была наименее хорошенькой из всех трех. А Роза в те годы была стройной, маленькой, большеглазой, черненькой, худенькой и улыбалась, как ее старшая сестра и женщина с открытки. Влюбчива она была необыкновенно. В то время предметом ее страсти был Лев Александрович. Она почему-то часто бывала у Коробьиных. С умилением рассказывала она, забегая к нам, как забавен Коробьин, какой у него здоровый аппетит. Вчера, например, несмотря на то, что дома были и котлеты, и вареное мясо, он все равно побежал в "колбасню" к Карловичу.

10 июня 1951 г.

Когда Роза сказала "колбасня", я вспомнил еще более раннее детство. Кто-то и где-то колбасную называл именно таким образом. Где? Когда? В Рязани? Слово показалось мне очень подходящим к лавкам этого рода, больше напоминающим, что в них продается. Лев Александрович хмурился под сияющими, мерцающими взглядами Розы. Не могу сказать, что эта маленькая четырнадцатилетняя евреечка нравилась мне, но, слыша или читая в арабских сказках о красавицах с глазами газели, я представлял себе именно глаза Розы. Лев Александрович стоит у дверей. Роза, делая вид, что ее тянет какая-то неведомая сила, улыбаясь застенчиво и странно, двигается мелкими шажками, спиной, к нему. Нахмурясь сурово, Лев Александрович отходит в сторону. Необходимо рассказать еще о Саше и Нерсике. Драстомат Яковлевич привез из Паречи брата и племянника. Оба они ни слова не говорили по-русски. Брат, Нерсик (сокращенное от Нерсесс), был добродушен, низколоб и глуп, как бык. На голове его белела лысинка после какой-то накожной болезни, обычной в

Армении. Саша слегка прихрамывал, все поглядывая искоса и был далеко не глуп, но хитер, темен душою. Русским языком овладели они очень легко. Они были, по-моему, двумя классами моложе меня. Жили с Драстоматом Яковлевичем. Он вскоре переехал к Соловьевым, и мальчики с ним. Это уже совсем незначительные участники моей жизни тех лет. Но не назовешь их — и словно что-то отнимешь у тогдашней моей жизни. Вот мы купаемся, плаваем в одном из протоков Белой, и кто-то замечает, что все кажутся замерзшими, а Нерсик нет. И в самом деле, почему-то смуглые его плечи выглядывают из воды как-то независимо и вместе с тем очень подходят к ней, словно он водяной житель. Все мы понимаем это так, но не можем объяснить, почему. А Нерсик, улыбаясь добродушно и туповато, глядит на нас, стоя посреди протока.

11 июня 1951 г.

Когда я учился во втором классе, дружба моя с Матвеем Поспеевым стала тесной. Он понравился и нашим. Он был сын лавочника из станицы Кубанской, но не той, что стоит на железной дороге недалеко от Армавира, а какой-то другой, в глубине отдела, ехать к нему надо было на лошадях. Никто Поспеева не звал Матвеем, а все Матюшей. И это имя почему-то шло к бледному его лицу, ласковым черным глазам, словно нарисованным бровям, большому детскому рту. Учился он отлично, был не по-станичному нежен: легко плакал, в драки не ввязывался, не ругался и не курил. Читал он так же много и жадно, как я. И не помню, каким образом решилось, чтобы Матюшка переехал к нам. И я ужасно этому радовался. Я тогда очень любил его. И все в классе любили его и не обижали. Несмотря на нежность, он был понятен, весь как на ладони. Лето 1908 года, между вторым и третьим классом, прошло у меня в ожидании Матюшкиного приезда. Все не могу я через это лето перешагнуть. Вернусь еще назад. Пройдя мимо Армянской церкви и свернув направо, мы попадали на большую улицу, ведущую к собору, к большому дому Зиньковецкого, который только что был построен и стал настоящим центром города. Вокруг него и дальше до конца квартала тротуар асфальтировали, что случилось в Майкопе впервые. Здесь, в доме Зиньковецкого, во втором этаже поместился клуб с большим залом для концертов и танцевальных вечеров, а в первом открылись магазины. Среди них самый памятный — гастрономический, бакалейный и колониальный магазин братьев Хыдышьян. Магазин и в самом

деле был колониальным. Входя туда, ты слышал устойчивый, не меняющийся запах пряностей. На полках ты видел финики в овальных длинных коробочках с верблюдом на крышке, апельсины из Яффы, маслины. На полу горкой возвышались кокосовые орехи, настоящие кокосовые орехи, косматые, величиной с детскую голову, такие, о которых читали мы в книгах с приключениями. А кроме того там продавалось все — и икра, и семга, и ветчина, и конфеты, и швейцарский шоколад, и крупа, и мука.

12 июня 1951 г.

И не в пример, скажем, магазину Кешелова, магазин бр. Хыдышьян отличался нарядностью. Кешеловский магазин походил на лабаз, а у бр. Хыдышьян все так и сияло стеклом и никелем. Асфальтированный тротуар у дома Зиньковецкого скоро стал излюбленным местом прогулок городских барышень и молодых людей. Называлось это место — Брехаловка. Майкопские улицы в те дни еще не имели названия, и слово Брехаловка часто помогало искать и находить: "Пройдете от Брехаловки квартал, свернете налево..." Реалистов попрекали: "Вместо того, чтобы уроки учить, по Брехаловке гуляете?" Слово это происходило от украинского — брехать, то есть врать. В данном случае слову придавался оттенок не то что лжи, а пустой болтовни, трепотни. Но надо признаться, что многие богатейшие майкопские сплетни, чистейшие вымыслы, настоящая ложь началом своим имели Брехаловку. "На Брехаловке говорят..." Примерно в середине пути между нами и Брехаловкой, на большой улице, куда ты попадал, пройдя Армянскую церковь и свернув направо, открылся постоянный синематограф, или кинематограф, братьев Берберовых. Только назывался он "электробиограф". Об этом сообщали две длинные, окаймленные электрическими лампочками вывески, буквы на которых шли сверху вниз. Висели эти вывески вдоль дверей обычных, какие ведут в самые простые обывательские квартиры. Но, войдя в эти двери и поднявшись во второй этаж, ты оказывался у кассы. К моему удивлению, в электробиографе первые ряды стоили дешевле дальних, и назывались третьи места. Они отделены были от вторых и первых барьером. Реалисты платили за билет на третьи места двадцать копеек. Получив в кассе билет и программу, ты проходил в узкое фойе, где и ждал начала сеанса. В те годы на вторых сеансах я не бывал. Добыв заранее деньги на билет, я долго ждал, когда же наконец застучит мотор, приводящий в действие динамо-машину электробиографа. Электри-

чества городского тогда не существовало, и бр.Берберовым приходилось добывать его своими силами. Услышав шум мотора, я шел мимо Армянской церкви и, остановившись на углу, ждал, когда нальются светом лампочки, окаймляющие вывески.

13 июня 1951 г. Душевное движение, вызываемое видом электрических лампочек, горящих на улице при дневном свете, оказалось очень долговечным. На этих днях я шел по Комарово. Чинилась линия. И вот, было это примерно часа в три, и солнце сияло вовсю, вспыхнули на высоких столбах уличные фонари. И разом, не успев понять почему, ощутил я радость, точнее, предчувствие радости. И только через несколько мгновений понял я, что предчувствую начало сеанса в электробиографе братьев Берберовых. Обычно сеанс этот состоял из трех частей. В коротеньких антрактах между ними открывались двери, и в зал впускали непонятных мне людей, позволивших себе опоздать к началу. Пропущенную часть программы опоздавшие имели право досматривать во втором сеансе. Три части заключали в себе видовую или научную картины, драму или комическую. Иной раз добавлялась и феерия, действие которой разыгрывалось чаще всего или на Луне, или в подводном царстве. Феерии были почти всегда цветными. Когда я смотрю теперь цветные кинофильмы, то вспоминаю феерии, которые не очень любил в свое время, как теперь недолюбливаю их сине-голубых и малиново-сизых внучатых племянников. Книги, прочитанные в те годы, я могу рассказать и сейчас, даже те, которые впоследствии не перечитывал. (Например, “Руламан”.) Разумеется, я говорю о любимых книгах. Могу рассказать я и пьесы, которые видел тогда. Например, “Благо народа” или “Суету”, которую смотрел в Малороссийской труппе Гайдамака и Колесниченко. В подробностях могу припомнить и “Сорочинскую ярмарку”, исполненную там же. А кино, столь обожаемое мною кино, какими картинами покорило оно меня? Не могу припомнить ни одной. Объясняется это, вероятно, тем, что я слишком уж много перевидал их тогда. Программы менялись каждую неделю, а я не пропускал ни одной. Если уж очень постараться, то я вижу пальмы и белые домики Ниццы из видовой картины, железную дорогу где-то в горах, снятую с паровоза, барку, плывущую по узенькой реке во Франции. Это уж из какой-то драмы. Вижу пожилую француженку с энергичным лицом — злодейку множества драм.

В драмах часто стреляли, и выстрелы замечательно изображал ударом по басовой ноте хромой пианист Попов.

14 июня 1951 г.

Сидел Попов в маленькой комнатке справа от экрана и в приоткрытую дверь видел, что на нем происходит. Бернгард Иванович похвалил Попова, и я, и без того преисполненный любви ко всему, что связано с электробиографом, стал слушать его игру с особенным восхищением. На рояле у Соловьевых мы без всякого успеха перепробовали все басовые ноты, пытаясь повторить звук, с помощью которого Попов изображал выстрел. Скоро Попов приобрел в городе большую известность. Все знали этого маленького армянина, хромающего на обе ноги. Знали и почему он хромает — после костного туберкулеза. Знали, что он очень хороший пианист, кончивший консерваторию. Почему он попал в Майкоп и служил аккомпаниатором в кино? Вот этого никто не мог объяснить, а я и не задавался таким вопросом. Мне казалось, что занимает Попов должность в высокой степени славную и завидную. В это же примерно время Бернгард Иванович стал преподавать у нас пение. У меня оказался альт, и мне вечно влетало от него за то, что я пою фальшиво. Вспомнил, что в те годы я мог петь при желании низким голосом, как взрослый, чем поражал и смешил сверстников. Однажды у Шаповаловых я запел вот так, по-взрослому, и Арменок, двоюродный Путин брат, сын Арама Власьевича, тогда ученик, вероятно, третьего класса, удивился и сказал, что такой голос называется “кази-баритон”. Во всяком случае мне так послышалось. Несмотря на то, что слово “кази” показалось мне подозрительным, я все же почувствовал себя польщенным. Все вожусь и вожусь с мелочами, не решаюсь говорить о роковом лете 1908 года. Жили мы без отца, но у нас было веселее, чем при нем. Часто бывали у нас Ризены. Вернее, одна Марья Степановна, бывала Нюся Румянцева каждый день, как на службе. Сидя за столом и покуривая, она хохотала баском на каждую мамину шутку и работала — кроила вместе с нею какие-то кофточки или шили на нашей “Веттине”. Появилась у нас маленькая Надежда Васильевна, которая, кажется, служила в управе вместе с Беатрисой. Это была шутница. Невинно поглядывая в сторону, с серьезным лицом она умела говорить очень смешные вещи. Скромная, тихая, она умела и дразнить, но меня не обижала.

15 июня 1951 г.

Это было время, когда дьявол поднял голову, и майкопским лярвам было где разгуляться. Страна начинала успокаиваться — так можно было подумать. На самом же деле она только притихла и лихорадила. Примерно в эти дни в газетах стали появляться краткие сообщения: "В Севастополе — 8. В Киеве — 6. В Ставрополе — 2". Цифры обозначали число повешенных людей. И в эти же примерно дни от высланных студентов Польского и Дудкина услышал я о декадентах. По их словам, это были негодяи, которые для рекламы старались писать непонятно. Услышал я впервые имя Блока, сопровождаемое ругательствами. Соловьевы выписывали "Русское богатство", а "Образование", "Русская мысль" и другие толстые журналы из библиотеки или от знакомых попадали к нам. Заговорили о писателях порнографических — так я впервые услышал это слово. Фамилии их упоминались с отвращением и презрением. Мне казалось тогда, что в самом слове "Арцыбашев" чувствуется нечто непристойное. Появилось новое понятие — "половой вопрос". Польский, Дудкин, Алеша Луцук вели у нас разговоры на эту тему, а Самуил помалкивал. Но по тому, как он то покачивал головой отрицательно, то возмущенно пожимал плечами, я догадывался, что он волнуем этим вопросом не менее остальных. Авторов статей на эту тему цитировали то с возмущением, то сочувственно. Кажется, в это время Валя сказал о Марье Гавриловне Петрожицкой, седой и пожилой женщине, которую очень любил, что у нее улыбка сладострастная. Мягкая и добрая улыбка старухи напомнила мальчику слово из новых разговоров старших. Велись разговоры на эти темы гораздо более открыто, чем на политические. Мама, по решительности своего характера, стала безоговорочно настаивать на том, что человек имеет право на счастье. Как я понимаю теперь, она была кругом права, решая этот вопрос для себя.

16 июня 1951 г.

Опять в страхе отступаю перед описанием рокового лета 1908 года. Расскажу лучше, как я поссорился с Вячеславом Александровичем Водарским. [...]Водарский стал сторониться меня, поглядывать в мою сторону как бы со страхом, стал реже звать к себе в гости, в новую квартиру, убранную не без кокетства, свойственного всей его легкой и вместе с тем как бы чуть увядающей фигуре. На новой квартире посреди стола в гостиной на фарфоровой тарелке с цветочками лежали открытки и среди них объясняющая, что значит наклеенная тем или

другим способом марка. Марка, наклеенная наискось, обозначала, помнится: "Вы меня забыли", марка в нижнем углу конверта говорила: "Вам нравится теперь другой" и так далее, все в этом роде. К наиболее меланхолическим надписям рукою Водарского было приписано женское имя, кажется, Лина. Так что получилось, например: "Вы смеетесь над моими слезами... Лина". Была ли эта открытка еще не отправлена или возвращена адресатом, не знаю, только приписки эти казались мне остроумными и очень грустными. Все мы знали, что учитель уже два года влюблен в какую-то красивую девушку из другого города и ездит каждые каникулы делать ей предложение. И в новый дом он переехал, когда у него появились надежды, что девушка наконец согласится. И в самом деле, она в конце концов вышла за Водарского. Учитель стал появляться всюду с высокой, черноглазой, молодой и надменной женой. Мама осуждала этот брак, считала, что он не приведет к добру. Все знали, что жена в свое время предупредила Вячеслава Александровича, что идет за него не по любви. "Как мог он решиться", — говорила мама, осуждающе качая головой. Это событие произошло, когда мы с учителями были уже в холодных отношениях. А скоро мы и совсем поссорились, причем в этом я был кругом виноват. Училищной библиотекой по традиции ведал учитель русского языка, в те годы — Водарский. Книги меняли по субботам, после уроков.

17 июня 1951 г.

Итак, книги в училищной библиотеке выдавались по субботам. В те времена помещалась библиотека в зале за деревянной, высокой, но не доходящей до потолка перегородкой. Впоследствии сюда переехала фундаментальная библиотека, которой ведал Бернгард Иванович, а для обычной отделили часть коридора верхнего этажа. Самый вид книжных полок и запах книг, в те времена ясно различаемый мною, как бы опьянял меня. И вообще-то по субботам бывало весело, а в библиотеке особенно. В ту несчастную субботу я был счастлив, одурманен счастьем, а Вячеслав Александрович в состоянии раздражительном. Я хохотал, задевал и дразнил ребят, подставлял им ножку, когда они шли к столу записать выбранную книгу, громко острил, словом, вел себя так, что и ангела мог бы привести в ярость. Вячеслав Александрович сделал мне замечание раз и другой, но я все не трезвел. И вот, когда произошло нечто, уж совсем непозволительное — кто-то грохнулся на пол по моей

вине и полез со мной драться, не шутя, Вячеслав Александрович вспылил. Бородка его, такая знакомая, франтоватая, тут вдруг затряслась по-новому, по-незнакомому перекосилась, и он сказал, что в наказание за безобразное поведение книг он мне сегодня не даст. "Как?" — "А так. Книжек я тебе сегодня не дам". От счастья — к полному крушению всех надежд! Я заплакал, но Водарский не сдался, ни слезами, ни мольбами не смягчил я учителя. "Книжек я тебе сегодня не дам," — повторял он упорно и сдержанно. Я не хотел верить, что несчастье непоправимо. Я просил и просил. Отказ. И, наконец, ожесточившись, я крикнул: "Ведь вы обязаны выдавать нам книги!" Блеснуло пенсне, бледное, оскорбленное лицо учителя несколько мгновений глядело на меня неподвижно. Но вот он грозно приказал мне убираться вон из библиотеки. И я пошел домой, рыдая. Узнав, что случилось, мама полностью поддержала Водарского. Влетело мне и в училище — в понедельник Бернгард Иванович заставил меня извиниться перед Водарским, что я и сделал. Но хорошие мои отношения с ним кончились навеки.

18 июня 1951 г.

Припоминаю еще один случай, относящийся, вероятно, к этому же времени. В городском саду устроено было гулянье с благотворительной целью. На площадке у парапета врыли отполированную мачту. На верхушке ее в день гулянья повесили часы. Они должны были достаться тому, кто до них доберется. Среди реалистов ходили слухи, что часы золотые. Кроме того, устраивался бег в мешках и другие веселые состязания, не помню какие. Я не увидел ничего. Я впервые понял в тот день, что такое азарт. Я играл и проигрался. Меня сгубила беспроигрышная лотерея. В огромных бочках, оклеенных цветной бумагой, лежали коробки, коробочки, свертки большие и маленькие. За двадцать копеек получал ты право вытянуть из бочки любой предмет. Развернув сверток или открыв коробочку, ты получал грошовый свой выигрыш: карандашик, перо, листик почтовой бумаги, резинку. Но иногда в коробочке или свертке ничего не оказывалось, кроме бумажки с номером. Вот это и был настоящий выигрыш. Оркестр под управлением Рабиновича играл на лужайке, среди деревьев, а раковина, где они обычно выступали, сияла и сверкала. В центре высился большой серебряный самовар — главная приманка лотереи, вокруг пестрели фарфоровые лампы, вазы, мельхиоровые кофейники, подставки для цветочных горшков, подстаканники, зонтики, трости, графины. Счаст-

ливцы, которые вытаскивали из бочки коробку с номерком, выигрывали одну из этих вещей. У меня было сорок копеек. Я подошел к той бочке, что стояла у главной аллеи, вытащил коробку побольше, обувную, и обнаружил в ней карандаш Фабера N2, точно такой, какими рисовали мы в классе. Тогда я выбрал коробочку поменьше и выиграл резинку. В это время кто-то из ребят в своем свертке нашел номерок и получил тросточку с ременной петлей на конце. Он обрадовался необыкновенно не столько тросточке, сколько своей удаче. И мне страстно захотелось тоже выиграть что-нибудь. Я побежал к маме и вымолил у нее еще сорок копеек.

19 июня 1951 г.

Нащупав в бочке сверток среднего размера, я выиграл ручку без пера, а в следующий раз, словно в насмешку, выиграл перо. И обезумел. Впервые в жизни я испытал знакомое каждому игроку, проигрывающему ставку за ставкой, острое чувство обиды. Против кого? Кто обидчик? Бог? Судьба? Я не отличался терпением, выдержкой, а в особенности умением скрывать свои чувства. Я убегал в боковую аллею поплакать, потом к маме или к Беатрисе, или еще к кому-нибудь из близких знакомых выпросить двугривенный. И все упрекали меня за то, что я придаю значение таким глупостям, плачу из-за пустяков. Хороши пустяки! Кто-то ни за что ни про что отказывал мне в счастье! Плохие мальчики, несомненно, еще более плохие, чем я, выигрывали, а я ни за что, ни разу. И я испытывал по отношению к ним не то что зависть, а скорее ревность. Бог или судьба любили их больше. Пот лился по моему лицу. Вот я увидел отца, идущего к главной аллее. Я бросился к нему с просьбой дать мне денег. Он засмеялся, сразу поняв, как и все другие, впрочем, что происходит в моей душе, и дал мне деньги. И я снова проигрался и швырнул коробки с карандашом, открыткой, шпилькой через парапет в кусты. Я ничего так и не выиграл, пока меня, упирающегося, плачущего, оскорбленного, не повели домой. Не помню, через сколько времени состоялась лотерея аллегри. Тут надо было тащить свернутый в трубочку билетик из вращающегося стеклянного пятигранного ящичка. И тут мне доставались только пустые билеты. И я опять обижался. А на садовом диванчике на главной аллее, недалеко от сияющей и мерцающей раковины с фарфоровыми и мельхиоровыми выигрышами, сидел Бернгард Иванович с Водарским и его тоненькой, надменной, черноглазой супругой. Бернгард

Иванович вел большую игру. Как всегда, вокруг него толпились реалисты. И он посылал то одного, то другого из нас вытащить для него билетов на огромные суммы: на рубль, на три, на пять. Посланец возвращался с целой горстью беленьких трубочек. Учитель, не спеша, продолжая холодновато и сдержанно разговаривать с Водарским, разворачивал их. Иные бросал на песок. Иные — таких было за все время пять-шесть — откладывал в сторону.

20 июня 1951 г.

По этим отложенным билетикам выигрыши получали тоже мы. В сияющей и мерцающей раковине нам дали большую лампу с фарфоровым резервуаром и круглым, матовым, шарообразным колпаком, высокую подставку для цветочных горшков на трех перекрещивающихся ножках, обвитых плетеными соломенными узорами, подстаканник, чашку. Все это Бернгард Иванович подарил супруге Водарского. Она улыбалась неприветливо. А я любовался Бернгардом Ивановичем. Вот как надо играть! Я знал его тогда, понимал, угадывал, как всех тех, очень немногих людей, которых любил в своей жизни всей душой. Я угадывал, что игра его волнует не меньше, чем меня. Но как он был спокоен и холоден, разворачивая билетики или взглядывая на выигрыш. Запишу все. Вскоре жена от Вячеслава Александровича уехала. Уехал из Майкопа и он сам. Позже, когда я уже бывал часто в гостях в семье нашего директора Истаманова, я услышал два разговора о Водарском. Василий Соломонович рассказывал, что Водарский пытался устроиться на службу в Москве, но ничего из этого не вышло. “Я его предупреждал, что это безнадежно!” — добавил Василий Соломонович. “Легко сказать — устроиться в Москве”. И я еще раз проникся уважением к прекрасному, но недоступному городу. Во второй раз я услышал, как директор, понизив голос (что и заставило меня навострить уши), рассказывал кому-то, что бывшая теща Водарского, очевидно, не зная, что он в Майкопе уже не служит, прислала ему, директору, письмо, полное жалоб. Она обвиняла Вячеслава Александровича в том, что он не посылает денег жене, которая от него ушла. “Нехорошее письмо”,— сказал директор хмуро, покачивая головой. Пишу сегодня с трудом. Плохо. Я перечитывал все, что написано, и несколько огорчился. Вяло. Иначе и не могло быть — я пишу тут, уставши, непременно каждый день, выполняя заданный урок. А это не может не сказываться.

21 июня 1951 г.

Водарский, Водарский, что-то он вспоминается мне эти дни. Его любили за легкость, веселость, доброжелательность. У него были и светские таланты, и даже актерские. После какого-то благотворительного концерта мама рассказывала, что Вячеслав Александрович принимал в нем участие, читал "О вреде табака". "И ничего! — сказала мама в заключение, добродушно улыбаясь.— Все как следует. И фрак снимал и топтал его ногами. Все как полагается". Так вот и жил в Майкопе Вячеслав Александрович и женился, и, как мама предсказала, женитьба не привела его к добру. Он исчез из Майкопа и не устроился в Москве, и мы больше ничего о нем не слышали. Только встречая в дальнейшей своей жизни легких, чуть кокетливых и вместе с тем увядающих людей, обычно в пенсне и с бородкой, я угадывал многие их свойства по сходству с Водарским. С годами они стали попадаться все реже и реже — вымирали, видимо, по субтильности и легкости своей. Иной раз мелькнут — то в самодеятельной труппе Дома учителя, то среди музейных работников на периферии или на профсоюзных собраниях, мелькнут и исчезнут. Приходится идти дальше и рассказывать о лете 1908 года. В лесу за Белой, верстах в трех от города, стоял дом, нежилой и неогороженный, прямо среди высоких деревьев. Назывался он — санатория. Кто-то когда-то собирался устроить под Майкопом это учреждение, но дело ограничилось только постройкой деревянного дома с большими окнами и высокими потолками. Мы часто ездили туда, не менее часто, чем на третью версту к леснику Светличному (фамилию лесника напомнила мне недавно в Москве Наташа Соловьева). А летом 1908 года отправились мы в санаторию на несколько дней. С нами поехала Марья Степановна Ризен с Таней, Беатриса (кажется), Алеша Луцук, Самуил, еще кто-то. Впрочем мужчины и Беатриса приходили в санаторию, помнится, во вторую половину дня — ведь они служили. Несколько дней, прожитых в этом пустом, окруженном лесом доме, были настоящим счастьем. Спали мы на полу.

22 июня 1951 г.

В этой заброшенной санатории спали мы на полу, на сене, и тут, в огромной комнате, среди лесных, тогда особенно ясно различаемых мною запахов, запах сена не вызывал у меня обычной фургонной дурноты. Тут впервые в жизни я испытал счастье проснуться в лесу на рассвете, оттого что птицы громко свистят и поют.

Майкопская летняя тоска с курами, стуком кухонных ножей, пылью, криком угольщиков ушла от нас за тридевять земель. Утро начинало собою необыкновенно длинный, полный событий день. Завтракали мы на длинной деревянной террасе, за столом без скатерти, потом собирали землянику, потом шли купаться. В первый день произошло некоторое событие, удивившее меня самого. Мы пошли к Белой глубокой балочкой, поросшей папоротником. Когда среди деревьев показалась река, восьмилетняя толстушка Таня завопила от восторга, скинула сарафан, и я увидел ее голой. Полные ее бедра, устрашающе не мальчишеские, все ее белое тело вдруг устыдило, испугало, поразило меня. Чуткая Марья Степановна мгновенно заметила это и строго приказала Тане одеться. Сила стыда, страха и вместе с тем острого интереса, вспыхнувшего, впрочем, когда Таня уже оделась и страх прошел, удивила меня самого. Но я не влюбился в Таню. Ни на один миг. Меня потрясло то, как девочки вообще отличаются от нас, мальчиков. Голых женщин я, случалось, видел на лечебных купаниях в теплом пивном источнике и на речке. Кроме отвращения при виде них, я не испытывал ничего. А голая Таня вызвала чувство, похожее на то, которое я испытал, увидя скульптуру с гориллой и женщиной. Не грубая, непристойная, давно известная мне разница между полами поразила меня, а новая, таинственная и чем-то даже печальная. Поэтическая.

23 июня 1951 г.

Однажды вечером, кажется, вместе с Польским и Дудкиным к нам в санаторию пришел важный гость — рослый, полный старик с седою гривой и такой же бородой. На нем была белая косоворотка, весь он был белый. Лицо его, сияющее, здоровое, загорелое, казалось еще более красным от всей этой белизны, со всеми нами он был ласков, разговаривал живо, много смеялся. Это был известный довольно народоволец, фамилию которого я забыл. Он много рассказывал, все больше о себе. Прочел стихи, посвященные русским женщинам, и картинно описал, с каким успехом исполнял их где-то на вечере. Жил старик в ссылке где-то на Волге, если я не ошибаюсь. Он процитировал из какой-то брошюры или журнала слова, посвященные ему: “Старая курица, высиживающая боевых петухов”. Эта фраза, видимо, очень нравилась ему, огласив ее, старик разразился богатырским хохотом. После его ухода мама слегка побранила старика за самовлюбленность, но тут же и оправдала. Жизнь его

на исходе. Ему хочется, чтобы все понимали, что она прожита недаром. Однажды ночью я проснулся и увидел, что Марья Степановна стоит, обнявшись с Алешей Луцуком. Потом они вышли. Я почувствовал, что это нехорошо, но постарался поскорее выбросить из головы свое открытие, тем более что на другой день Марья Степановна и Алеша разговаривали друг с другом как ни в чем не бывало, без всякой неловкости, а это, по тогдашним моим представлениям, доказывало, что ничего греховного между ними не произошло.

24 июня 1951 г.

Летом 1908 года мы переехали на месяц к Соловьевым, у Капустиных шел ремонт. Переехали мы все, включая нашу кошку, о которой необходимо сказать несколько слов. Звали ее Ластания, а проще — Ластонка. Эти странные имена дала ей мама. Была наша Ластонка своенравна, независима и необыкновенно красива, несмотря на свою беспородность. Я любил запах кошачьей шерсти, любил засыпать, уложив кошку под одеялом у подбородка и окружив ее стражей из маленьких человечков. Но с Ластонкой это редко удавалось. Если ее удерживали насильно, то она так рычала, что мама говорила, смеясь: “Ой-ой-ой, гром и молния”. Прижилась она к нам, когда жила еще у Санделей. Была она черная с белым.

25 июня 1951 г.

Припоминаю теперь, что у нас всегда, пока мы жили в Майкопе, были кошки и собаки, но никто не дарил нам котят и щенков (кроме Пьерки, о котором расскажу после. Он относится к 1910 году). Кошки и собаки поселялись у нас по своей воле. Из приблудных, ничьих, они делались очень скоро нашими, домашними. Кошка у нас была одна-единственная, Ластонка не потерпела бы соперницы и тем более соперника. Но зато собаки уживались друг с другом отлично. Число их иногда делалось непозволительным. Однажды (правда, это относится уже ко второму нашему пребыванию в доме Капустина, то есть к 1911 году) папа, вернувшись из больницы, вместо того, чтобы войти в дом парадным ходом, как обычно, пошел через двор. И собаки наши, числом, помнится, четыре (Гектор, Дон, Пират, Волчок), по вине Волчка, недавно только приблудившегося, бросились на папу. Первые три, узнав своего, опомнились, отчего Волчок еще более рассвирепел. Папа заставил пса отступить, но

потребовал решительно, чтобы штаты наших дворняг были сокращены. Однако это ни к чему не привело. Раз приблудившись, собака решительно отказывалась покинуть наш дом. Дело кончилось тем, что Волчка посадили на цепь, что с его стороны не вызвало никаких возражений. Возвращаюсь к Ластонке. Она поселилась у нас подростком, когда мы жили еще у Санделей. Придя в возраст, кошка забеременела. К этому времени она царила в нашем доме полновластно, заняв место первой маминой любимицы. Помню, в тот день, когда я читал телеграммы, выпущенные типографией Чернова (“по городу картина” и т.д.), у нас был незнакомый гость, застенчивый человек. Он ждал папу, сидя в столовой. Мама тут же помешивала кочергой уголья в печке, собираясь ее закрыть, а Ластонка играла с клочком бумажки. Гость сказал застенчиво, когда мама стала восхищаться изяществом своей любимицы: “Арабы считают, что на свете есть три грациозных создания — арабская лошадь, женщины и кошка”. Сказав это, он до того смутился, что мама пришла к нему на помощь, подтвердив, что арабы, несомненно, правы.

26 июня 1951 г.

Все мы ждали с нетерпением, когда же у Ластонки появятся котята. И вот однажды утром, проснувшись, я увидел нашу кошку перед собой. С жалобным мяуканьем бродила она по кровати, чего-то искала встревоженно. Я хотел взять ее на руки, но она вырвалась и принялась звать кого-то из-под шкафа нежным голосом. И тут мама сообщила, что бедняга окотилась ночью одним котенком, да и тот сразу околел. Огромный запас материнской нежности искал и не находил выхода. Ластонка привела от соседей котенка, но тот был отбит законной родительницей. Незадолго до этого ощенился в сарае наш Пират, которого до этого считали кобелем, а после этого стали называть Пираткой. Рослая, но добродушная собака всегда побаивалась Ластонки. И она не смела возражать, а только скулила, когда кошка ложилась возле ее щенят и пыталась кормить их, тоже достаточно рослых, своими крошечными сосцами. Ластонка вылизывала щенят, фыркая от ненавистного ей запаха псины, а когда они подросли, то перенесла всю свою любовь на брата моего Валю. Ему в то время было, вероятно, года два, и кошка понимала, что он детеныш. Возвращаясь ночью, родители вечно заставали ее на подушке Валиной кроватки. Волосы моего братишки были мокры — так старательно вылизывала его кошка. А у самого лица Вали лежал обычно либо кусочек сырого мяса, либо ломтик сыра, а

иногда и целая мышь. Отучить Ластонку от этих приношений не удалось. Итак, летом 1908 года по случаю ремонта в доме Капустина мы переехали к Соловьевым всем семейством, захватив с собой и кошку. У нее в это время было уже три котенка собственных, которых она и выкармливала благополучно. Соловьевы уехали куда-то на все лето. Наше вселение к ним ознаменовалось изгнанием старого, серого, сонного соловьевского кота. Ластонка выставила его из комнат, и до самого нашего отъезда он жил где-то в конюшне, тайно пробираясь в обеденные часы в кухню.

27 июня 1951 г.

Я забыл написать вчера, чем кончился разговор об арабском афоризме: "На свете есть три грациозных создания — лошадь, кошка и женщина". Как я уже сказал, гость так смутился, произнеся эти слова, что мама его поддержала из жалости, подтвердив, что арабы правы. Но, подумавши, по честности и суровости своей, она прибавила: "Арабских коней, правда, я никогда не видела. Но кошка — вот вам. А женщины — взгляните хотя бы на жену Чкония". Итак, мы жили у Соловьевых. В просторном их доме свободно размещались мы и Беатриса. Их собаки — Баян, пожилой уже сеттер-гордон, и Топ, песочного цвета маленький пес со сломанной и согнутой задней ногой, жили с нами, сохраняя вооруженный нейтралитет по отношению к Ластонке. Теперь мне кажется, что Костя не уезжал и продолжал жить где-то в недрах соловьевских владений. И прислуга их была на месте — молодой кучер по имени Павло, Феня — горничная, кухарка Фекла. Маленький флигель, где Василий Федорович принимал больных, пустовал. Там поселился высокий, молчаливый, седоватый, сосредоточенный Василий Алексеевич Соколов, учитель математики в реальном училище, с женой Надеждой Александровной и с детьми. Из них Сергей был старше меня на два класса, Юрий — на один, а Алеша как будто еще не учился или только поступал в этом году в училище. Была у них еще дочь Надя, ближе по возрасту к Сергею. Я знал, что есть у них еще и старший сын, исключенный из университета и высланный в Туруханский край. С Сергеем я часто болтал в это лето, а на Юрия только поглядывал. В этом семействе, сдержанном и не очень общительном, Юрий держался особенно строго. Это был рослый, очень бледный подросток (он хворал в то лето, как я узнал впоследствии). Молча, ни с кем не разговаривая, проходил он двором или подходил к турнику и так же молча, спокойно, ни на кого не глядя,

проделывал два-три упражнения. Тогда было трудно предсказать, что через несколько лет он станет лучшим моим другом. Такого у меня с тех пор так и не было.

29 июня 1951 г.

С Сергеем Соколовым я скоро познакомился близко. Хороший, даже отличный ученик, он получил переэкзаменовку по закону божьему, не мог выучить катехизис, душа не принимала. Откуда-то у Соколовых была берданка с примкнутым к ней солдатским штыком. Поучивши, Сергей швырял учебник на землю и с яростью протыкал его штыком. Я считал Сергея взрослым и взирал на него с благоговением. Почему-то я был уверен, что он состоит в подпольных революционных организациях. Однажды он пришел с рукою на перевязи — у него было поранено плечо. Где и как он был ранен, Сергей скрыл. Из-за этого он не мог ходить на Белую и тосковал. "Когда умывался, — говорил он, — рука так и тянется, хочется поплыть". То, что Сергей не открыл, как и кем он был ранен, окончательно убедило меня в том, что он революционер. Я сижу на лавочке. Вечер. Я вижу, Сергей в своей черной рубашке проходит мимо ворот соловьевского дома, сворачивает за угол и через некоторое время появляется снова у ворот, и снова исчезает за углом. Увидев его в третий раз, я догадываюсь, что он ходит вокруг квартала. Зачем? Он отказывается отвечать. Присоединиться к себе не разрешает. "Ты собираешься убить полицеймейстера?" — спрашиваю я. Он только смеется в ответ. Ромащука в это время сменил Левитес, по слухам, грек, человек жестокий, карьерист. По его словам, он давно получал письма с черепом и костями, полные угроз. Когда он шел по городскому саду, по-своему, по-полицейски, красивый, с закрученными черными усами, с сияющими серебряными погонами, я смотрел на него с ужасом и отвращением. Но надо признаться, что мы втроем — я, Костя и Сергей — вели часто разговоры совсем не о политике.

30 июня 1951 г.

Решив рассказывать о себе все, ничего не утаивая, я взялся поднимать и ворочать тяжести, мне совсем непосильные. Я писал сказки, стихи, пьесы. А как люди растут — этого я описать не умею. Пропускать то, что посложнее, — неинтересно. Рассказывать то, что здоровыми людьми обычно не рассказывается, — нет опыта.

Перехожу к делу. К этому времени спасительный страх еще жил в моей душе, но страстное внимание ко всему, что касается отношений между мужчинами и женщинами, возросло. Без папы разговоры в нашем доме стали оживленнее, люди засиживались дольше. Папа либо был мрачен и заражал гостей своим настроением, а если бывал в духе, то ему не сиделось дома. Гости, как я уже говорил, были неосторожны в своих беседах. Особенно женщины. Так, я услышал с ужасом и глубочайшим интересом, что тишайшая, вполголоса подшучивающая над всеми Надежда Максимовна сошлась с человеком, в которого влюбилась. И произошло это неожиданно для обоих, ночью, в саду. "Сумасшедшая! — стонала Беатриса, смеясь, как будто ее щекочут.— Ведь вас могли увидеть". А тишайшая Надежда Максимовна ходила несколько дней, опустив глаза, и щеки у нее были красные, что соответствовало моим представлениям о человеке, совершившем тайный грех. Он оказывается всеобщим достоянием. Не только косые армяне и прочие далекие от нас люди предавались ему. Сергей и Костя разъяснили мне многое. Когда к сараю прибегала по своим хозяйственным делам Феня, Костя козлом прыгал ей навстречу, пытался ее облапить, а она, багровая, с неподвижным лицом, отбивалась молча. Косте в то время было уже, вероятно, лет пятнадцать, Сереже столько же но они разговаривали со мною, как с равным. Относились они тогда к этому самому тайному греху просто и охотно отвечали на все мои вопросы.

1 июля 1951 г.

Сергей тогда еще не вырос, характер его еще не оформился, он далек был от того студента, которого я так любил впоследствии. Но в нем уже и в те времена ясно проступали, прорезывались соколовские черты, узнав которые, я потом стал многое любить и понимать в лучших русских людях, главным образом в ученых, иногда — в писателях. В жизни моей встреча и дружба с Соколовыми сыграла огромную роль. Юрий, замечательный художник, был талантливее всех, и удивительные соколовские свойства у него выступали особенно отчетливо. Я любил его, как потом не любил ни разу в жизни, а заодно и всю семью. Впрочем, чтобы рассказывать о Соколовых, надо мне еще подучиться. О Соколовых вообще. Расскажу еще о Сереже того времени. Он уже тогда — хотел написать "страстно увлекался", но скажу — любил, изучал астрономию. В словах "страстное увлечение" что-то намекает на непрочность

чувства, а Сергей занимался астрономией не шутя. У него был самодельный телескоп, в который увидел я лунный пейзаж, очень меня поразивший. Я вот действительно увлекся астрономией — и только. Я не запомнил ни звездную карту, которую он мне по-соколовски терпеливо, не сердясь на мою туповатость в этой области, разъяснял и растолковывал. Он дал мне прочесть Фламмариона "Астрономию для дам" — непереплетенную, рассыпающуюся книгу в желтой обложке. И даже эту легкую и занимательную книгу я не одолел. Но с того лета остались у меня астрономические, космические ощущения. Я запомнил, что мы входим пылинкой в гигантскую спираль Млечного Пути. Что кроме нашего Солнца есть множество других. Что расстояния между солнцами огромны. И, как ни странно, знания эти сделали меня как бы неответственным за свои поступки. Меня бранят, а я думаю: "Ах, какие это все пустяки. Мы пылинки во Млечном Пути, чего же беспокоиться из-за пустяков?"

3 июля 1951 г.

В то майкопское лето я прочел впервые в жизни "Отверженных" Гюго. Книга сразу взяла меня за сердце. Читал я ее в соловьевском саду, влево от главной аллеи, расстелив плед под вишнями, читал, не отрываясь, до одури, до тумана в голове. Больше всех восхищали меня Жан Вальжан и Гаврош. Когда я перелистывал последний том книги, мне показалось почему-то, что Гаврош действует и в самом конце романа. Поэтому я спокойно читал, как он под выстрелами снимал патронташи с убитых солдат, распевая песенку с рефреном: "...по милости Вольтера" и "...по милости Руссо". К этому времени я знал эти имена. Откуда? Не помню, как не помню, откуда узнал некогда названия букв. Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и весело, и вдруг Гаврош упал мертвым. Я пережил это, как настоящее несчастье. "Дурак, дурак", — ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне, за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживет до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропускал сцену убийства Гавроша. Однажды у нас появился Борис Григорьевич Вейсман. Уход из Азовско-Донского банка ему не повредил. Он переехал в чудесную, недоступную Москву, получил там хорошее место. С милой своей женой Анной Ильиничной он, помнится, в это время уже

разошелся. Он был отлично, не по-майкопски одет, его черные, как бы полупьяные, глаза глядели еще веселей, чем обычно. Однажды он приехал в соловьевский дом, когда мы уже собирались ложиться спать. Он был оживлен, очевидно, надеялся, что у нас гости, и полутемные, полусонные комнаты неприятно поразили его. Он стал уговаривать маму и Беатрису поехать куда-нибудь в шашлычную. Они отказались. Тогда он крикнул мне: "Одевайся, едем к девочкам!" — "Едем", — ответил я восторженно, полагая, что он говорит не шутя и что "ехать к девочкам" значит ехать в какой-то особый ресторан, где кушанья подают молодые девушки. Он уехал из нашего полусонного дома на извозчике, веселый, отчаянный удачник!

4 июля 1951 г.

И вот наконец (надо перепрыгнуть через это!) со мною произошло нечто, потрясшее меня уже до самых основ всего существа. Дело произошло на турнике в присутствии многих свидетелей, не заметивших ничего. Турник был высок, рассчитан на взрослых, и, чтобы добраться до металлической штанги, уцепиться за нее и подтянуться на мускулах, мне надо было взобраться по одному из двух деревянных столбов турника. В этот ранний вечер на скамеечке возле сидел Драстомат Яковлевич, болтал с Беатрисой. Возле вертелись Саша и Нерсик. Костя разговаривал в стороне с Сережей. Рассеянно, ни о чем не думая, подошел я к турнику и, обхватив коленями столб, полез на него, как на дерево, добираясь до штанги. Я был уже у цели, сделал последнее усилие, весь вытянулся, и тут произошло это. Я вдруг пережил внезапно, без малейшей подготовки, остро, до страдания всем телом, то, что переживается при любовных встречах. Точнее, в конце подобных встреч. Я, мальчишка, со всей бешеной силой и, может быть, еще острее пережил то, что потрясает и взрослых. Это произошло от некоего механического движения, от усилия чисто физического. Спасительный страх не успел отрезвить меня. Не появился он и потом, когда я соскользнул с турника и пошел под деревьями в сторону. Все было по-прежнему. Драстомат болтал с Беатрисой, Костя с Сергеем, Нерсик и Саша мастерили что-то из щепочек, и никто ничего не заметил. Помню, как обострились все мои чувства в тот роковой миг. Я услышал запах металла, идущий от штанги. И едва все прошло, как я подумал отчетливо, внезапно и без малейшей предварительной умственной работы: "Надо написать стихотворение". Эта мысль пришла так же вдруг, как и

чувство, пережитое на турнике. Раскаивался я? Нет! Я был в восторге. К счастью, на другой день попытка вызвать еще раз пережитое не удалась.

5 июля 1951 г.

Перебрав добросовестно все, о чем рассказал я вчера, вижу, что, ни в чем не соврав, я вместе с тем не вполне точен. Говорить о себе "я был в восторге" и так далее значит выражаться неточно. Я был в то время задерган, непрерывно поучаем всеми кому не лень и в глубине души подозревал, что все поучающие и обличающие меня правы. Поэтому даже в самой скрытой и самой тайной глубине души я не осмелился "быть в восторге". Я с оглядкой, с удивлением радовался тому, что пережил. Угрызений совести я и в самом деле не испытывал, но чувствовал, точнее, почувствовал через некоторое время, что они где-то возле. Но мысль: "Хорошо бы написать стихи" была именно такой, как я написал вчера, — ясной, внезапной, как бы вырвавшейся откуда-то извне. Жизнь моя стала еще более сложной. Вызвать умышленно то, что произошло нечаянно, повторяю, мне не удалось. Всякий другой, более прямой способ действия вызывал у меня спасительный ужас. Но мысль о пережитом, обо всем, что с этим связано, стала теперь все усиливаться. Впрочем, иной раз я словно вырывался на свободу и отдыхал. Так, я прочел впервые в жизни томик рассказов о Шерлоке Холмсе и вдруг полюбил его отчаянно, больше "Отверженных". С месяц я думал только о нем. У Соловьевых в саду стоял тополь, на котором, усевшись между тремя ветвями, идущими круто вверх, скрывшись в листьях, я читал и перечитывал Холмса и послал даже о нем длиннейшее письмо Матюшке Поспееву, спеша и волнуясь, таким почерком, что он половину не разобрал.

6 июля 1951 г.

Вообще трудно, пользуясь словами сегодняшними, передать ощущения тогдашние. Они другого качества. Не то что сильнее, чем у взрослого человека, не то что туманнее, — другие. Того человека, меня, одиннадцатилетнего, на свете нет. Многие мои свойства не просто изменились, а переродились, другие исчезли, умерли, и я теряюсь, пробуя передать точно, что было пережито тем, другим, которым я был в 1908 году. Я помню, как Лебедев как-то ругал некоторых иллюстраторов детских книг за то, что они придавали щенку человеческое выражение. Не изображаю ли я себя понятнее, постижимее?

Прежде всего, повторяю еще раз, я был неприятным, неряшливым, переразвитым в одном и отсталым в другом направлении мальчиком. Я легко плакал, легко обижался и вечно был готов огрызнуться, отругаться, причем делал это не страшно — всякий угадывал, что я не силен. Я был неумен, наивен не по возрасту, и вместе с тем сильные поэтические ощущения иногда овладевали мною, и я из дурачка становился человеком. Любовь к матери и страх за нее не слабели. Но внезапно ударившее меня новое чувство, появившееся летом 1908 года, стало расти, питаясь за счет всего, что было сильного и человеческого в моей душе. Бросить, не писать обо всем этом? Не могу. Вот так в соловьевском саду кончилось мое детство, произошло изгнание из рая, прошло время чудес. Мысль "хорошо бы написать стихи" была последним чудом. Но роковым лето 1908 года оказалось не только потому, что я уже рассказал. С этим я справился бы. События в жизни взрослых — вот что мне невесело вспоминать и сейчас. И вряд ли у меня хватит смелости рассказывать все так, как оно было. Но обойти это — значит ничего не объяснить. Удивительное свойство было у взрослых — предполагать, что мы слепы и глухи как раз в тех случаях, когда внимание наше напрягалось до предела. Начну рассказывать понемножку. Что осилю, то осилю, а что не осилю, попробую обойти, полурассказать.

7 июля 1951 г.

Итак, я читал Гюго и Конан-Дойла с одинаковым восторгом, смотрел на взрослых и слушал, что они говорят, с ужасом и жадным вниманием, был переброшен из детства в переходный возраст одним ошеломляющим ударом, испытывая желание писать стихи, смотрел в телескоп на небо и делал из своих астрономических сведений выводы, видел то страшные, то непристойные сны, даже ночью не имея покоя. И я слышал, как жаловалась мама, что я ничем не интересуюсь и равнодушен ко всему. А мне она говорила, что я рохля, росомаха, что из таких детей ничего не выходит. И в самом деле, я, вечно нестриженый, рассеянный, грубоватый и неловкий, мог бы привести в ужас кого угодно. Со своей сверхъестественной чуткостью мама могла бы добраться, добиться от меня если не всей правды, то хоть намека на нее. Но, во-первых, мама все ссорилась со мной, как с равным, обижалась на меня, как на взрослого, а во-вторых, жила своей жизнью. Она чувствовала, что молодость скоро уйдет, что счастья она не видела, что она имеет право жить для себя. Во всяком

случае, я слышал не раз, как утверждала она это громко, сердито, словно споря с невидимым противником, ведь Беатриса, которой она чаще всего это говорила, не спорила, а поддерживала маму всячески. Собственно говоря, я только тут начинаю приближаться к роковым событиям того лета. Подожду еще чуть-чуть. Я часто бывал у Ризенов. Несколько раз Леонид Ричардович разрешил мне покататься на своей лошади. Высокое казацкое седло, послушный и вместе с тем внушающий некоторый почтительный страх казацкий конь, улыбающийся вестовой, едущий рядом. К Ризенам провели телефон, первый, который увидел я. Я подолгу стоял у аппарата и, взяв трубку, слушал таинственный гул. Обрывки разговоров. Леонид Ричардович делался все мрачнее. У нас он не бывал. И вот однажды утром мама сказала, что видела очень мрачный сон. Леонид Ричардович гнался за Марьей Степановной с шашкой, а она страшно кричала.

8 июля 1951 г.

И вот, когда мы уже переехали от Соловьевых обратно к Капустиным, мамин сон сбылся. Среди ночи меня разбудили вопли, отчаянные, ни на что не похожие. Проснулся и заплакал от ужаса Валя. Все произошло, как во сне, — Леонид Ричардович погнался за женой с шашкой. Он почти настиг ее у нас во дворе — вот почему так страшно закричала Марья Степановна. Мама долго с ним разговаривала, а Марья Степановна всхлипывала, и я уснул со знакомым уже ощущением: у взрослых что-то неладно, но лучше в это не вникать. Утром я узнал из обрывков разговоров старших, что Алеша Луцук прятался у нас в шкафу, ибо, оставив в покое жену, доктор грозился найти и зарубить Алешу. Вскоре Ризен уехал из Майкопа, я встретился с ним раза два до этого. Доктор осунулся, глядел сурово и поздоровался со мной так, будто и я в чем-то виноват перед ним. После отъезда доктора жизнь в квартире Ризенов текла так же, как при нем. Марья Степановна была такой же, как всегда, веселой, спокойной и доброжелательной. Я часто бывал у них, читал "Задушевное слово" и "Путеводный огонек", переплетенные за год. В первом я очень любил стихи, которые начинались так: "Милый по, милый по, милый повар!"—"Что, дружок?" — "Вот песо, вот песо, вот песочный пирожок". А кончалось словами повара: "Я и те, я и те, я и теста не месил, я и пе, я и пе, я и печку не топил". А в "Путеводном огоньке" я бесконечно перечитывал повесть — дневник девочки-гимназистки. У Ризенов я чув-

ствовал себя спокойно. Черный шпиц Мурзик встречал меня приветливо, кошка с черными полосками по темно-серой шерсти дремала на диване, Таня своим неестественным, принужденным голосом, как бы из книжки взятым языком разговаривала с подругами в саду, а я читал. Как я отнесся к событиям в жизни соседей? А никак. Я им не поверил. Я их выбросил вон из души. Ну да, Алеша прятался у нас в шкафу, Ризен хотел зарубить шашкой Марью Степановну — ну и что? Верить, что взрослые, внушающие мне искреннее уважение, могли быть участниками греха, о котором кричали надписи на стенах купальни и на заборах, это было невозможно, тут была какая-то ошибка. Я допускал теперь, что так могли поступать не только косой армянин и ему подобные, а все, но только незнакомые люди.

9 июля 1951 г.

Эти лишенные всякого подобия разума рассуждения были обычными у меня в те годы. Я легко верил в то, что успокаивало меня, хотя бы это и было явной нелепостью. Но, веря, я смутно понимал, что дела-то обстоят вовсе не так просто, как мне кажется. А начало занятий приближалось. Вернулись девочки Соловьевы, и мы вдруг сделались друзьями. С ними приехала какая-то их родственница, очень полная, преждевременно развившаяся девица по имени, кажется, Лида. Я ждал приезда Матюшки Поспеева, ждал страстно, ужасно боясь, что он не найдет нашей новой квартиры. Был я несчастен в то роковое лето? Нет! Именно в это лето стало появляться у меня смутное предчувствие счастья — вечный спутник моей жизни. Вспыхнув, это предчувствие озарило все, как солнце, выглянувшее из-за туч. Я в то лето полюбил, встав рано, едва взойдет солнце, идти купаться на Белую. В этот час предчувствие счастья всегда сопровождало меня. Вызвав свистом своего невидимого коня, я ехал, не спеша, к деревянной лестнице над водокачкой и спускался в лесок внизу. На улицах было еще пусто, а в леске и вовсе безлюдно. Я раздевался под кустами у речного рукава, который любил и тогда. В то лето я научился плавать. Белую переплывать я еще не решался, но рукав одолевал свободно и, лежа на каменистом островке и слушая шум реки, был очень счастлив. Однажды я увидел, как саженях в десяти от меня, за поворотом, купался с женой молодой Травинский. Я с возмущением рассказал об этом Камрасу, а он объяснил мне, что по еврейскому закону муж и жена не имеют права стыдиться друг друга, и я тотчас же поверил этому и успокоился.

10 июля 1951 г.

Расскажу [...], как приехал в Майкоп Матюшка Поспеев. Дня за два до начала занятий, к величайшей моей радости, увидел я моего черноглазого друга. Он пришел с отцом, высоким и плечистым человеком. Отец держал в станице Кубанской бакалейную лавочку, дела которой шли плоховато: семья была очень уж велика. Поспеевы едва сводили концы с концами. У Матюшки оказалось множество братьев и сестер. До сих пор мы с Матюшкой говорили только о школьных делах. И теперь, увидев его отца, услышав, как рассказывает он маме о своих делах, я удивился. Удивился всему: что у Матюшки имеется отец, что он такой вот — рослый, станичный, чужой, с веками, нависшими мешочками над углами глаз. Это придавало ему вид хитроватый, он будто все время щурился. Удивился я и тому, что в докторов Матюшкин отец не очень верил, а лечился патентованным бальзамом, помогавшим от всех болезней. Фигурную бутылку этого средства с этикеткой во все ее брюшко он оставил сыну. Бальзам этот сильно пахнул нашатырным спиртом. Удивил меня и деревянный сундучок с Матюшкиными вещами. И белье его — кальсоны со штрипками из какой-то розоватой, негородской материи. Отец ушел, а Матюшка остался у нас и, приблизившись, неожиданно отдалился. Это был как будто совсем не тот мальчик, которого я так ждал, с которым я играл на переменах или болтал, когда он приходил к нам в гости. И сам Матюшка как-то загрустил, оставшись жить в нашем доме, и первый вечер был невесел. Но я сам не верил своему огорчению. В то время все мы увлекались бенгальскими огнями, покупали их в аптеке Горста. И в честь Матюшкиного приезда Соловьевы, высунувшись из окон, зажгли фиолетовые, синие, красные огни. Огни горели на сковородках. Улица осветилась дрожащим светом, а я говорил Матюшке: “Видишь — это в твою честь”.

11 июля 1951 г.

И вот начались занятия. В училище мы теперь ходили вместе и вместе готовили уроки. Когда мне давали конфеты, мы делили их пополам. Был Матюшка очень смешлив, смеялся заразительно, открыто, “естественно”, как говорила мама — высшая наша похвала. Он много читал, и вкусы наши совпадали. Он интересно рассказывал о станичной школе, о ребятах-казачатах. И все же едва заметная трещинка, образовавшаяся сразу в нашей дружбе, становилась явственнее с каждым днем. Все-таки это был чужой мальчик, который подошел слишком уж близко,

так близко, что мешал мне. А я тогда, в трудное для меня время, был не слишком уживчив. И я чувствовал, что ссоры мои с мамой, вообще мое поведение дома не могли нравиться постороннему зрителю. Матюшка явно терял ко мне уважение. Был он значительно самостоятельнее меня. До его приезда меня мыла мама в ванне, так же, как Валю, а теперь мы по субботам отправлялись с Матюшкой в баню. И он подсмеивался над тем, как я неловко моюсь. Я собрался даже помыть голову мочалкой, вместо того, чтобы скрести ее ногтями. Нет, друг, приходящий в гости, был явлением праздничным, а погрузившийся в наш путаный домашний быт, становился тусклым, будничным. Зато в третьем классе появился у меня новый друг. По дороге к электробиографу братьев Берберовых стоял на углу высокий полутораэтажный дом поляка Мужицкого. Здесь жил наш директор Василий Соломонович Истаманов. За домом их тянулся большой сад. И в саду этом через щели забора я видал, и на улице встречал жену директора Марью Александровну и сыновей Жоржика — моих лет, и Павлика — года на два помоложе. Высоколобый толстогубый Жоржик глядел на меня при встречах, как мне казалось, осуждающе, за что я тоже в мыслях моих осуждал его. Так как придраться мне было не к чему, то я осуждал мальчика за то, что он такой рослый, а его водят в коротких штанишках и длинных чулках. Но вот мы перешли в третий класс, и на задней парте появился у нас новый ученик — рослый Жоржик Истаманов. Впрочем, припоминаю, несмотря на рост, сидел он не на задней, а на второй парте в среднем ряду. Он был близорук и все щурился, глядя на доску. Принял его класс недоверчиво, но не прошло и недели, как все мы очень полюбили нового товарища.

12 июля 1951 г.

Он был прост, внимателен, держался без всяких признаков смущения или желания чем-то выделиться, произвести на класс впечатление. И вместе с тем он произвел на наш грубый и недоверчивый класс, на класс, еще так недавно объявивший Камрасу беспощадный бойкот, впечатление сильное и благоприятное. Его полюбили все, даже самые неприручаемые казачата. А когда еще выяснилось, что он человек веселый и ведет себя на уроках плоховато, то мы окончательно ввели его в правящую верхушку класса. Как я теперь понимаю, в классе существовала такая верхушка, выделившаяся органически и пополняемая или перевыбираемая всем коллективом бессознательно. Вчера все

слушались таких-то и таких-то, а сегодня — либо они ослабели, либо мы изменились, и общественное мнение класса создают и высказывают уже другие люди. И пока эта неназываемая верхушка держалась, мы слушались ее больше учителей и родителей. Филонов, объявивший Камрасу бойкот, был тогда очень влиятелен, сильнее Морозова и Волобуева, которые тоже были уважаемы, но не в такой степени. Словом, Истаманов, глубо́ко серьезный, даже застенчивый на вид, быстро, к началу второй четверти, стал не только полноправным членом нашего коллектива, но и во многих делах — главным заводилой. И я всецело подпал под его влияние. Русский язык в третьем классе преподавал Михаил Александрович Харламов. И сколько раз я слышал, как, стуча носком ботинка и поправляя воротник, повторял он: "Шварц и Истаманов, Истаманов и Шварц! ..." и так далее. А Харламов был строг, и на уроках его сидели тихо. Однажды в субботу Жоржик Истаманов сказал мне: "Приходи к нам в гости". Был приглашен и Матюшка. Кто еще? Не помню. К этому времени Истамановы переехали от Мужицкого к Чибичевым, прямо против Пушкинского дома. И вот я пришел в дом, который люблю до сих пор и вижу, как будто был там только вчера.

13 июля 1951 г.

Чибичевские владения помещались против Пушкинского дома. Фамилию владельца я услышал чуть ли не с первых дней приезда в Майкоп. Старшие по какому-то поводу говорили, что самые богатые люди в городе — это Хасанов и Чибичев. К 1906 году положение успело измениться. Хасанов разорился. Магазин Тюрина стал магазином братьев Просянкиных, каким образом, не помню. То ли Просянкины были племянниками Тюрина, отчего магазин перешел к ним по наследству, то ли один из братьев служил у Тюрина управляющим, и хозяин после каких-то махинаций вынужден был уступить ему свой магазин. На Брехаловке говорили, что дело тут нечисто. Это я помню. И в число первых богачей теперь вышли Просянкины. Богатейшим человеком считался городской голова — Зинковецкий. И Завершинские. И Карп Александрович Вакулин, о котором на Брехаловке говорили, что он был пожарным, ограбил со своей женой, горничной, хозяина, что и положило основание его капиталу. Но и среди этих богачей Чибичев считался равным. Два его дома разделял тенистый, заросший деревьями двор. В левом доме жил он сам с женой и дочерьми Беллой и Сусанной, а правый, с примыкающим к нему садом,

снимали Истамановы. В передней, опрятной и чистой, пахло истамановской квартирой. Приняли нас ласково. Марья Александровна была глуховатая, говорила негромко, как бы приглушенно, что свойственно умным глухим. Волосы у нее были жесткие и вьющиеся, как и у Жоржика, лицо некрасивое, но привлекательное, и разговаривала она с нами так, что привлекла к себе наши души окончательно. Всю жизнь я побаивался ее, и уважал, и чувствовал, что вот хороший человек, отличный человек, без всяких оговорок. Так же любил я, побаивался и уважал Василия Соломоновича, и ни разу не усомнился в том, что он отличный человек.

14 июля 1951 г. Подойдя к лету и осени 1908 года, я заметил вдруг, что мне это время трудно описывать не потому или не только потому, что я приблизился к роковым дням моей жизни, но и потому, что эти дни еще очень близки ко мне. Это все равно, что вчерашний день, только что прожитый. От семьи Истамановых я, оказывается, отошел всего на шаг, мне трудно их разглядеть так, чтобы описать их похоже. Бернгарда Ивановича я любил, конечно, сильнее и больнее, чем Истамановых, но он оттолкнул меня, вот расстояние и образовалось. А Истамановы были всегда ровны со мной, кроме Жоржика, о чем я расскажу, если доживу до тех дней. Начал писать — и ощущение вполне отчетливое, что 1908 год для меня еще сегодня начинает гаснуть от моей неумелой попытки описать его. Дома в Майкопе, как я вижу теперь, строились на довольно высоком фундаменте. К нам в прихожую мы попадали, поднявшись по трем-четырем ступенькам, к Соловьевым — ступенькам по восьми и к Истамановым тоже. Из передней мы попадали в зал, который тянулся во всю длину квартиры. Здесь стояла мягкая мебель, пианино. Перечел и вижу, что каждая моя попытка описать подробно убивает. Возьму-ка я себя в руки да начну писать медленнее, разборчивее и спокойнее. Войдя в зал к Истамановым, я видел у противоположной стены пианино, вправо от него овальный стол, покрытый плюшевой скатертью, мягкие кресла и диванчик, стулья у стен, качалку, шкафчик. Просторный зал был пустоват и параден, как ему и подобало. У Жоржика была отдельная комната — вход сразу из зала направо. А вторая дверь в глубине вела в столовую. Все пять окон зала глядели на широкую улицу, на Пушкинский дом, на городской сад. В остальные комнаты я не был вхож и не помню их. Из передней и из комнаты Жоржика были еще двери, ведущие в сад

на террасу. Все это я вижу перед собой.

15 июля 1951 г.

Все это я вижу перед собой, как будто я был у Истамановых вчера. Вероятно, какие-нибудь подробности я забыл, как не помню во всех мелочах и комнату № 8 в Доме творчества, где сидел вчера вечером, забредя к Слонимским. Вчерашний день — не дальше, вот что такое для меня 1908 год, соловьевская семья, Истамановы, семья Соколовых. То, что выросло, выстроилось или разрушилось в моей душе в те дни, не умерло и не восстановилось и по настоящий день. В те дни кончалось мое детство, происходило изгнание из рая. Субботы у Истамановых продолжались года два — они теперь слились у меня в одну цепь. Сначала мы, пока было светло, играли во дворе или в саду. Помню игру в мяч, о которой я долго думал, что вот это и есть футбол. Мы делили двор на два поля, и сами делились на две команды. Каждая команда не имела права переходить границы своего поля. Проигрывал тот, на чьей территории мяч останавливался неподвижно. Бить по мячу разрешалось только ногами. Помню, как я был спасен от поражения тем, что мяч попал в лужицу и вертелся в воде, не останавливаясь, пока я не подбежал к нему и не перебросил на поле противника. Помню и поражение — мяч, пролетев над моей головой, врезался в тополь и замер неподвижно в развилке ветвей. Помню игрушку, подаренную Павлику: колесико с лопастями внутри. Оно приводилось в движение палочкой с бесконечным винтом. Уткнешь палочку в центр колесика, опустишь по винту сверху вниз черную муфточку, и колесо, вращаясь, взлетает в воздух. Тогда началось уже всеобщее увлечение авиацией, и эта летающая игрушка имела для нас особое очарование. Взлетало колесико не всегда и не слишком высоко. Василий Соломонович решил перечесть инструкцию, приложенную к игрушке. Написана она была по-французски — колесико было заграничное. “Рапидеман фортеман” — “быстро и сильно”. Директор так и сделал и, о чудо, колесо, жужжа, взлетело выше дома! Помню ощущение счастья, когда я увидел колесо, идущее столбиком, свечой, круто ввысь.

16 июля 1951 г.

Потом мы шли в комнаты, в столовую. Иногда Мария Александровна читала нам вслух. Тут я услышал чеховскую “Новую дачу” и был потрясен сильнее, чем некогда после

"Бежина луга". За столом, случалось, после чая мы играли в разные игры. Нам раздавали буквы, по счету каждому, и мы должны были наперегонки складывать из них слова. Иногда Василий Соломонович задавал нам загадки, что я не любил — думать ведь я все еще не научился. Помню одну из таких загадок, очень трудную: "Кого пастух видит часто, царь — редко, а Бог — никогда?" Ее решали все, общими силами. Не помню, кто нашел разгадку, знаю только твердо, что это был не я! Отгадавший воскликнул: "Пастух видит часто пастуха!" Второй добавил: "А царь царя редко". И только тут я вставил: "А Бог Бога никогда". "Верно, — сказал Василий Соломонович, —ответ таков: себе подобных. Молодец, задача трудная". Мне стало горько, что хвалят не меня, а отгадавшего, и я закричал: "Один сказал: пастух — пастуха. Другой сказал: царь — царя. А я сказал, что Бог Бога не видит никогда". И Василий Соломонович подтвердил добродушно, что задача решена была совместными усилиями. Но горькое чувство не оставило меня. После того как отгадавший нашел ключ к загадке, ничего не стоило сообразить, что Бог никогда не видит себе подобного. Любимой писательницей Марии Александровны была Элиза Оржешко (или Ожешко). И вот Василий Соломонович подарил жене в день рождения полное собрание сочинений этой писательницы. И через некоторое время Мария Александровна сказала грустно: "Вот перечитала Ожешко и огорчилась.Она мне нравилась, когда я была еще девочкой, а теперь я вижу, что это не то". И она грустно взглянула на темные (а не желтые, как обычно) томики издательства "Просвещение" с золотым тиснением. Но тем не менее один рассказ Ожешко она дала мне прочесть: юноша там пострадал на пожаре, и девушка призналась ему, пока он был без сознания, что любит его. Рассказ этот глубоко меня тронул. Читали мы вслух еще и воспоминания Панаева, и они нравились мне необыкновенно.

17 июля 1951 г.

Итак, субботы у Истамановых, и все, связанное с ними, вся истамановская семья с ее порядочностью, с внушительным и разумным Василием Соломоновичем, с Марьей Александровной, и Жоржиком, и Павликом — вошли в мою жизнь. А я тогда уже не мог жить один. Если я был силен в одном, то в другом чувствовал себя не то глухим, не то слепым, а хромым во всяком случае. Вечное чувство одиночества, пустоты и неуверенности, возникшее, когда мама отошла от

меня столь внезапно, — все требовало дружбы, и после событий последнего времени меня тянуло к людям цельным, возле которых и я чувствовал себя увереннее. А Жоржик, умный, ясный и цельный, да к тому же еще и особенно в те дни дружелюбный по отношению ко мне, стал моим лучшим другом. Дружба с Матюшкой все слабела, а с Жоржиком крепла. Подружился я, и на этот раз окончательно, и с сестрами Соловьевыми. Их дом, еще более, чем истамановский, вошел в мою жизнь. Связь с ним не порывается и до сих пор. Большой соловьевский дом в те дни тоже остался без хозяина. Две комнаты сдали Драстомату — налево от парадного входа. Флигель, где принимал больных Василий Федорович, сдали Соколовым. Впрочем, об этом я уже рассказывал. Но жизнь их шла так же налаженно, как при Василии Федоровиче. Да оно и понятно: дом вела Вера Константиновна, а она осталась на месте. Войдя в парадную дверь и поднявшись ступенек на восемь, я попадал в прихожую. Направо — вешалка. Налево вход к Драстомату Яковлевичу. Идя прямо, попадал я во вторую прихожую. Из нее выходили три двери. Прямо — в комнату, не имеющую названия. Направо — в столовую. Налево — в коридорчик, ведущий на террасу. Здесь, в коридорчике же, находился огороженный перилами люк. Когда его поднимали, обнаружилась лестница в полуподвал, в кухню. В этот же коридорчик выходила дверь из ванны. Идя дальше по коридорчику, я попадал на застекленную просторную террасу.

18 июля 1951 г.

Здесь стоял длинный стол, за которым в летние месяцы, то есть с начала мая до середины сентября старого стиля пили чай, завтракали, обедали. В особенно жаркие дни обедали в саду, сразу у террасы, под огромным деревом. Каким? Кажется, под ивой. Буду в Москве, спрошу у Наташи. Дерево было такое развесистое, что вся соловьевская семья и с гостями размещалась в тени его ветвей. Особенно одна ветка была могучей — она тянулась над всем столом высоко и широко. Вот я сижу за соловьевским столом под деревом и гляжу на забор, за которым виднеется основной, главный сад. Это забор прозрачный, из высокого штакетника, и весь основной сад ясно виден мне. Стол ставится от террасы в направлении флигеля, где живут Соколовы, вдоль дорожки, ведущей туда. Позади меня четырехугольник, образуемый флигелем, забором сплошным, дощатым, выходящим на улицу, и соловьевским домом. Вдоль забора растут

тополя. Здесь устроены клумбы с цветами. Насажены розовые кусты, кусты сирени. Из зимней соловьевской столовой выходят три двери. Одна — в ту самую переднюю, через которую попадаешь в коридорчик, ведущий на террасу. Вторая — направо, в две комнаты старших. Впрочем, в первой из них, в прохладной, спит Вася, а в угловой живут старшие. Третья дверь из столовой ведет в комнату девочек. Здесь живут Варя, Леля, Наташа. Здесь стоят их столики, у каждой отдельный, и три кровати. Налево у окна, выходящего в вышеописанный усаженный цветами четырехугольник, стоит рояль. Направо у противоположной стены стоит широкая оттоманка, покрытая ковром, поднимающимся по казачьей манере над оттоманкой высоко вверх по стене, почти до потолка, но оружие на ковре не висит. Три окна глядят на площадь, ограниченную аптекой Горста (прямо), стеной завода Чибичева (налево) и одноэтажным домиком (направо), в одном из которых когда-то помещалось столь памятное мне цирковое семейство.

19 июля 1951 г.

В этом доме, в соловьевском доме, я жил и рос, вероятно, столько же, сколько в своем. Припоминаю теперь, что дружба с Жоржиком была для меня и радостью, и мучением. Самая цельность Жоржика вызывала у меня и уважение, и горесть. Мне хотелось бы обладать такими же ясными и сильными душевными движениями. Цельные люди — правдивы. А я так запутался в своих ощущения, мечтах, желаниях, от столь много вынужден был отворачиваться, чтобы не прийти в отчаяние, что сам не знал иной раз, как я смотрю на те или другие явления нашей жизни. Я был бессознательно не то что лжив, а уклончив и неясен. Впрочем, довольно о себе. Дважды за это время мы принимали у себя начальство. Приехал попечитель Кавказского учебного округа Рудольф, длинноногий человек с бородкой, не лишенный особой чиновничьей элегантности. Он был сед, носил подстриженную бородку, отчего лицо его казалось еще длиннее. Начальство становилось тем более строгим, чем тише становилось в стране. Рудольф держался очень сурово. Он сделал резкое замечание Морозову, тишайшему, честнейшему и умнейшемй мальчику за то, что тот чего-то там рассеянно царапал на крышке парты. Мы же, ученики поведения сомнительного, оказались нетронутыми. Мы и до этого относились к Рудольфу хоть и со страхом, но без уважения. Будто к скарлатине. А после того, как попечитель, со свойственной

начальству роковой ненаблюдательностью, выбрал для своих нападок невиннейшего из нас, мы потеряли и остатки уважения к нему. Но мы еще больше зато прониклись уважением к Бернгарду Ивановичу, который при попечителе вел свой урок так же шумно, весело и смело, как и всегда. Приезд Рудольфа никаких последствий не имел. Зато приезд начальника Кубанской области казачьего генерала Бабича грянул над училищем настоящей грозой. Он тоже, как и Рудольф, отправился в поездку по области наводить порядок.

20 июля 1951 г.

Я ходил с каким-то маминым поручением, кажется, к Хыдышьян, когда увидел налево сотню казаков, которая скакала в направлении от гостиницы Заверщинского к Брехаловке. Люди останавливались на тротуарах, глядели на дорогу. Бабича ждали, и все догадались, что это он и едет. Я стоял на углу, у мостика через канаву, и близко от меня промчалась коляска, в которой сидел сердитый седобородый маленький генерал. Несмотря на то что коляска мчалась во весь опор и казаки стояли вокруг, генерал успел бросить на меня очень строгий взгляд. В тот же день начальник области прискакал со своими казаками в реальное училище. Собрав педагогов, он стал кричать на них, ругать за то, что они распустили учеников. Реалисты не кланялись ему на улицах, не сняли шапки, когда он шел по двору училища. И тут взгляд его упал на Драстомата Яковлевича. И генерал совсем рассвирепел. Учитель слушал Бабича спокойно, заложив руки в карманы. Это показалось начальнику демонстрацией. Он приказал Драстомату вынуть руки из карманов.Тот не спеша, улыбаясь, выполнил приказ. Эта улыбка окончательно взбесила генерала. Заявив, что с этой минуты Драстомат больше не учитель, генерал выскочил вон и ускакал на своей коляске, сопровождаемый казаками, на что изо всех окон глядели с восторгом распущенные ученики. У нас, к моему величайшему огорчению, в тот день было три урока, так что обо всех происшествиях я узнал со слов товарищей. Хотя никто из реалистов и не был очевидцем происшедших в учительской событий, но утверждали твердо, что Василий Соломонович держался с достоинством, а инспектор нервничал. Драстомата и в самом деле на другой же день уволили. Теперь мне кажется, что все это произошло в 1909 году. Драстомат поехал учиться за границу. Кажется, в Лейпциг. Братьев его Соловьевы оставили у себя. Деньги на учение посылали ему вскладчину Со-

ловьевы, Истамановы и не помню кто еще.

27 июля 1951 г.

После события на турнике мысли мои не отрывались от непристойных представлений. Я стал видеть голых девочек во сне. Обычно я гнался за ними и не мог догнать. А бывало и так: я догонял девочку, которая сзади казалась такой хорошенькой, а она обернется ко мне лицом столь безобразным, что я отскакиваю как ужаленный. Никогда и ничем эти встречи не кончались, как это случалось иногда в более поздние времена. Раньше я любил находить профили, морды, фигуры людей и животных в пятнах сырости на стенах, в кляксах, в таблицах, висящих в классе. Теперь я стал находить в этих же таблицах, пятнах и кляксах непристойные изображения. Причем эти изображения я схватывал чисто внешне. Никаких ощущений они у меня не вызывали. Я стал рыться в медицинских книгах отца, к которым до сих пор относился равнодушно. Вот здесь я уже нашел настоящее горючее для моего воображения. В книге Жука “Мать и дитя”, например, оказались подробные рисунки с разъяснениями и названиями. Тут уж я читал и глядел с замиранием сердца. К концу первой четверти выяснилось, что я учусь средне. Это было так же неожиданно для меня, как и мое возвышение в первом классе. Опять мой бедный разум утонул в обилии чувств.

28 июля 1951 г.

Вероятно, в те времена я научился высокому искусству отбрасывать, вышвыривать прочь из души (а может быть, загонять на самое дно) то, что невыносимо, слишком тяжело. При слабости, непоследовательности моей мыслительной системы это было просто. Я был в ужасе, считал себя опозоренным и при этом никого не винил. Какими-то необъяснимыми путями я приходил к тому, что я в чем-то виноват. В чем? Неизвестно. Но, помучившись, я забывал о своих мучениях и становился обыкновенным мальчиком. И самое любопытное, что в какой-то степени я таковым и являлся. Заболел скарлатиной Павлик Истаманов, и Василий Соломонович с Жоржиком переехали к директору технического училища. Жена этого директора была начальницей гимназии. Когда прошел карантин, я стал бывать в гостях в этой новой для меня чинной семье. Самого директора я смутно помню, если постараться, то мелькнет или покажется, что мелькнет, розовое, моложавое лицо, каштановая борода.

Отлично вижу его жену, начальницу гимназии: бледная, с тем цветом кожи лица, что бывает у рыжих, фигура стройная и достойная. И волосы не рыжие, а очень светлые, с чуть рыжеватым отливом. Помню обед у них, такой строгий и чинный, что на нас с Жоржиком напал смех. Рассмешила нас мать хозяйки, белоснежная важная старушка. Она рассказывала, как ездила куда-то и кто-то спросил с нее "пляскарту". "Что за пляскарта? Какая пляскарта?"— спрашивала старушка строго. И вот тут-то мы и начали хохотать. Мне очень нравилась и квартира директора, и просторная комната, где жили Жоржик с отцом, и огромный двор училища, который тянулся вдоль городского сада. Тут стояли приготовленные к ремонту локомобили и еще какие-то неизвестные мне машины. Жоржик, конечно, жил не менее сложной жизнью, чем я. Во всяком случае он много думал, он был умнее меня и считал себя взрослым человеком.

30 июля 1951 г.

И вот пришел день рождения Жоржика. И ему, человеку взрослому, если рассматривать его так, и мальчику, если посмотреть на него этак, отец подарил игрушку, о которой я мечтал некогда в детстве. Нам, по возрасту нашему, уже не полагалось играть в кораблики, даже такие большие, как тот, который подарил Василий Соломонович. Жоржику ведь исполнялось тринадцать (кажется) лет. Василий Соломонович был много внимательнее к Жоржику, чем мои старшие ко мне. Этим подарком он сказал все: "Я знаю, что у тебя жизнь не проста, но не бойся, не огорчайся, играй — ты еще мальчик". Во всяком случае, это мы прочли в его улыбке (подарок делался при мне) и сами засмеялись так, что Василий Соломонович понял, что мы его поняли. И мы долго играли с этим кораблем. Играли мы и во дворе в любимую книжку Жоржика: "Пятьсот миллионов бегумы" (я у Жюля Верна любил больше всего "Матиас Шандор"). Локомобили помогали нам в этой игре. Этот короткий, но ясно окрашенный период жизни — тянулся он недели две — запомнился навсегда. Это были, вероятно, самые счастливые дни того года. Совсем нехорошо стало с занятиями в классе. Двоек не было чудом. Задачи на проценты я так и не понял. Да еще в первой четверти я, к удивлению моему, получил четверку за поведение. Оказывается, я совсем испортился! А когда меня ругали, я утешался тем, что на свете есть Млечный путь. В это же время я влюбился в Лелю Соловьеву (нет — позже. На следующее лето). Марья Степановна, разъехав-

шись с мужем, перебралась в маленький домик, в который идти надо было мимо нашего реального училища. Дом этот был низенький, а ставни в нем — вечно закрыты. Вероятно, от этого слава о домике и жильцах его шла дурная. Здесь у Марьи Степановны начался роман с офицером той казачьей артиллерийской бригады, где служил Ризен, — с Сашей Родионовым. И роман этот привел к фактическому браку, который оказался очень счастливым.

31 июля 1951 г.

Вероятно, в те дни я стал настоящим неряхой. Это особая разновидность неясности в мыслях и в поступках. Вечная надежда, что обойдется, не заметят. Однажды, сидя в гостях у Марьи Степановны, я увидел на столе груду журналов. Кто принес их, не знаю. Мне подобные с тех пор не попадались ни разу. Я начал читать, и непристойность рассказов, как всегда теперь, не испугала, а восхитила меня. И я почувствовал столь знакомую в те дни тоску: как завлекательно и вместе с тем как еще недоступно, как безнадежно далеко мне еще до этого. Марья Степановна, заметив, как притих я у стола, подошла ко мне и, отобрав журнал, сказала, что он не для детей. А дружба с Матюшкой тем временем совсем уже догорела. Мама заметила как-то, что он расчетлив. А у нас это считалось грехом, хотя старшим приходилось учитывать каждую копейку. Затем мама узнала, что он жаловался молоденькой горничной нашей Федорке на то, как ему неуютно и скучно живется у нас. И он учился одним из первых. Я был равнодушен, как и все мы, к успехам в этой области, но все же обижался. Нежное лицо и черные глаза Матюшки, которые так недавно восхищали меня, теперь вызывали раздражение, почти ненависть. И он, видимо, чувствовал это. Самый пустой спор переходил у нас в ссору. Нет, неспокойно мне было дома.

1 августа 1951 г.

Задачи на проценты я так и не мог понять. Едва я принимался за них, как впадал в состояние, похожее на паралич сознания. Я ухитрился так и не понять их до самого конца учебного года, несмотря на то, что Василий Соломонович был прекрасный педагог, а в задачах этого рода не было ничего сложного. На экзамене я получил двойку. Так как я считался все еще, по старой памяти, приличным учеником, то мне не дали переэкзаменовку, а устроили проверочно устное испытание, которое я выдержал с грехом пополам, волнуясь и чуть не крича

на педагогов. Жоржик сообщил мне, что папа сказал: “Шварц был очень смешной на экзамене”. В третьем же, кажется, классе я писал пересказ поэмы Майкова “Емшан”. И в середине этой работы меня вдруг осенила мысль, что я могу писать и не обычным школьным языком. И я написал картинно (“… но что это? Гордый князь бледнеет” и так далее). Харламов предложил мне прочесть пересказ вслух и похвалил меня. Он сказал: “Лучшие пересказы у Шварца и Истаманова. У Шварца поэтический, а у Истаманова — деловой”. После этого Харламов занялся синтаксическим разбором одного из предложений моего пересказа, и я был поражен и польщен, когда вызванный мой одноклассник обнаружил в предложении этом “обстоятельство образа действия” и еще неведомо сколько вещей. А я писал и не думал об этом. Весть об успехе пересказа разнеслась по училищу. Меня с неделю дразнили “красноносый поэт”, а потом забыли об этом.

2 августа 1951 г.

К этому времени Бернгард Иванович меня совсем уже не выносил, обходил взглядом, рассказывая что-нибудь классу, одергивал нетерпеливо, когда я отвечал урок. После успеха моего пересказа он подошел ко мне в коридоре, обнял ласково и спросил: “Ты, говорят, написал хорошее сочинение. О чем?” После такого вопроса я не в силах был ответить, что написал всего лишь пересказ. И я пробормотал, что сочинение было на тему о любви к отечеству. Не успел я договорить: “и народной гордости”, как Бернгард Иванович с недовольным лицом отошел от меня. Он ведь знал, что в третьем классе не пишут сочинений. “Емшан” действительно рассказывал о любви хана к родным степям, но это не давало мне права говорить, что я написал сочинение, пересказывая поэму. Сам же учитель сказал “сочинение” в смысле условном. Таким образом, отношения мои с Бернгардом Ивановичем еще ухудшились. Он все жил в армянском семействе недалеко от нас. Он познакомился со всей интеллигенцией города, но ни с кем не сошелся близко, ни у кого не бывал. И у него никто не бывал, кроме скромного, маленького, лысеющего и потому коротко, под машинку остриженного грузина Михаила Осиповича Чхеидзе. Он был надзирателем или, по-новому, помощником классного наставника в старших классах. Бернгард Иванович называл его Михайка и всюду водил с собою. Когда на пасхальные каникулы поехал он по Черному морю, то взял с собою Михаила Осиповича. Он держал в отношениях с майкопцами строгую дистанцию. На

лето Бернгард Иванович уезжал за границу. Он кончил Московскую консерваторию у Гольденвейзера. Он знал наизусть множество стихов Гете и Гейне и читал их нам, когда был доволен классом. Он кончил юридический факультет. Он был первым европейски образованным человеком, которого я увидел в своей жизни, и знания его не были грузом или придатком, он владел своими знаниями. Естественно, что он держался чуть-чуть в стороне от остальных, и все признавали за ним это право.

4 августа 1951 г.

Вот и пришли экзамены, и прошли, и я перешел в четвертый класс, — растерянный, издерганный, ничего не понимая и все чувствуя. Мой враг, надменный Юлиан Казимирович, добился того, что на лето мне дали так называемую работу по рисованию. Это значило, что я должен был все лето заниматься с кем-нибудь рисованием и сдать свои рисунки Юлиану Казимировичу осенью. Вернулся папа. Они подолгу разговаривали теперь — он и мама. И не ссорились, что у нас было непривычно. Разговоры были грустные, я чувствовал, о чем они. Потом папа уехал в Туапсе, чтобы снять нам комнату. А через несколько дней отправились к морю и мы. Ехали мы на почтовых. Еще и солнце не всходило, когда мы уселись на высокий возок. Корзину привязали сзади, чемоданы поставили в ноги кучеру. Было еще полутемно, я взглянул на белый домик, как раз напротив реального училища, домик, освященный именем Милочки. Взглянул на реальное — широкие окна его в пятнах известки были открыты — шел летний ремонт. Вот и “езда по мосту шагом”, длинные подъемы, когда лошади еле плетутся и все стараются согнать слепней, хлещут хвостами нетерпеливо, и длинные спуски, когда мы мчимся рысью, и на душе становится веселее. На восемнадцатой версте в белом домике под огромными деревьями меняли мы лошадей. И я увидел комнату для проезжающих с гравюрами на стене. Мы сдаем свою подорожную.

5 августа 1951 г.

Пока мама поила молоком Валю, я убежал во двор смотреть конюшни. Раздался столь радующий мое сердце стук копыт по доскам настила, ведущего из конюшни во двор. По маминой просьбе нам оставили прежнюю бричку, только перепрягли коней. Валю свели в уборную, над которой стояла надпись “Ретирад”. И мы снова уселись на свои места. Новый ямщик взмахнул кнутом, и кончилась жизнь

станционная, началась жизнь дорожная. Дорога от восемнадцатой версты до станции Апшеронской стала более плавной. Попадались поля подсолнуха и кукурузы. Мосты, окрашенные в мутно-красный цвет, вели через узенькие мутные реки. Кажется, в этом месте увидали мы на табличке у моста название реки: "Маленький Тук". И Валя, к маминому удовольствию, сказал двустишие из сказки Гауфа, которую ему недавно прочли. Только слово "Мук" он заменил словом "Тук". Он сказал: "Маленький Тук, маленький Тук ходит по улице, туфлями стук". Возле одного поворота, у моста через зеленую балку, ямщик указал кнутом куда-то вправо, в густую заросль кустарника и сообщил, что тут разбойники ограбили почту. Вышли из чащи с браунингами (любимые револьверы того времени): "Стой, руки вверх!" Далее он показал место, где ограбили купца. "Пошаливают", — сказал ямщик, и ехать стало еще интересней. Станционный смотритель в Апшеронской оказался несимпатичным. Он дорого взял за самовар, не хотел пускать нашу бричку дальше, настаивал, чтобы мы заложили новую. Это был сухой человек с небольшой седой бородкой и недовольным выражением лица. Но и он дал нам лошадей, не задерживая. Мы долго-долго ехали бесконечной станичной улицей. Возле станичного управления на завалинке сидели старики и беседовали важно, и ямщик, здороваясь с ними, снял шапку. Миновали церковь, базарную площадь.

6 августа 1951 г.

Страшные станичные овчарки с ревом вылетали из ворот, провожали нас до границы своих владений. И вот кончилась станичная жизнь и начиналась лесная, шоссейная, с балочками, речками, ездой шагом, ездой рысью. Самым большим подъемом был перевал Гойтх, там, где теперь железнодорожная станция того же имени. С вершины перевала я увидел горы и горы, покрытые лесом, и новое душевное движение, ясное, родилось во мне. Оно со мной, когда я это пишу. Вспыхнуло, когда я прочел где-то, кажется, у Купера об "океане лесов, покрывавших волнистую местность". В станице Хаджинской мы обедали. Последнюю, сто сороковую, версту мы проехали глубокой ночью. Папа встретил нас у этого верстового столба уже в самом Туапсе. "Вон море!" — указал он. Я увидел нечто серое, туманное и глубоко огорчился. Но сказал: "Как красиво". Чтобы не показаться ничего не понимающим дураком. Почтовые кони подвезли нас к белому домику. Он стоял в палисаднике на горе. На другой стороне улицы

росли кусты ежевики. Мы вошли в домик, и я уснул сразу, как утонул. Мы выехали на рассвете, а приехали в Туапсе около трех часов ночи. Утром я вышел во двор. Черная собака с толстой шеей завиляла хвостом, когда я позвал ее, два мальчика Валиного возраста, черные и кучерявые, уставились на меня с удивлением. Вышла из низенькой кухни хозяйка черноволосая, худая, истомленная. Мы познакомились с ней, и я узнал, что мальчиков зовут Тигран и Андроник. Оба имени показались мне очень красивыми. Потом я стал гладить собаку, и она не то застонала, не то заворчала, что испугало меня. Впоследствии я узнал, что такова ее привычка выражать удовольствие. Против нашего дома росли кусты ежевики, или, по-здешнему, ажины, как я заметил еще ночью. За кустами шел невысокий спуск, поросший бурьяном, а за спуском школа, забыл какая. Помнится — для взрослых.

7 августа 1951 г.

Разговаривая с хозяйкой, я выяснил, что за крыша видна у спуска внизу. Против самого нашего дома за пыльной дорогой стояла какая-то школа, может быть, учительская семинария, а в ней была библиотека, из которой можно брать книги. Это меня обрадовало. Я хотел сразу пробраться через кусты ажины, сбежать вниз со спуска и записаться в библиотеку, но мама позвала меня чай пить. Разговаривая с хозяйкой, знакомясь с детьми, я все время чувствовал одно: "Я не в Майкопе". Особая этим ранним утром, прохладная влажность чувствовалась в воздухе. Гора с лысой верхушкой глядела на меня. Она была много выше тех холмов, что начинались за Белой. Скоро я разглядел, что верхушка ее вовсе и не лысая, а покрыта травой. Стадо, медленно-медленно перемещаясь, двигалось по горе. Все было по-новому и нравилось мне. После чая мы отправились к морю. И едва мы вышли на дорогу, как я увидел стоящую высоко за белыми городскими стенами, синюю пелену моря. Это был тот самый синий, морской свет, который вошел в мою душу и укрепился там еще прочнее, чем "океан лесов, покрывающий волнистую местность". Папа шагал весело, постукивал тросточкой по твердым каменным плитам, которыми были вымощены туапсинские улицы, и я радостно бежал с ним рядом. Вот мы прошли через рыночную площадь, миновали гостиницу (справа), над которой висела вывеска: "Меб лированные комнаты Россия Кешабян". Пропуск был вызван тем, что было зачернено лишнее "л" в слове "меблированные". Вот мы миновали низенький и маленький Народный дом

(слева). Весь он был не больше, чем дом Капустина. На крыше его стояли странные украшения, похожие на перечницы или шахматные туры. Вот мы прошли еще две-три улицы и увидели море.

8 августа 1951 г. Теперь оно развернулось так, что заняло половину горизонта. То, что позади, — суша с городом, горами, деревьями, а то, что впереди — море. Мы шли к нему каменистым берегом, и тут моя душа была поражена новым чудом. "Это буря?" — спросил я. "Нет, это прибой!" — ответил отец. Прибой был не высок, не выше моих колен. Шум, белизна пены и ровные волны, мерно идущие к берегу и рассыпающиеся прибоем, каждая в свой черед, — как все это было ново и вместе с тем дружественно и славно обнимало меня. И я искупался в море. Едва я миновал линию прибоя, как вода была мне уже по горло. И я поплавал немного и вылез. Папа сказал, что в первый раз больше купаться нельзя. И мы оделись и пошли к городу. Лягавый пес, сидящий возле хозяина, натягивающего башмак, внимательно взглянул на нас. Папа прицелился из тросточки, и пес вскочил и сделал несколько коротких прыжков, глядя то на палку, то вперед в направлении прицела. Хозяин засмеялся. И на всю жизнь в душе моей осталось это: высокий, стройный мой папа целится из тросточки, прыгает пес, смеется его хозяин, уже одевшийся, весь в белом, загорелый. А вокруг плоский берег, белый город на склоне горы, шумит прибой. Мы пошли вдоль берега. Перед нами вдалеке белела стенка мола, за которым подымались мачты двух-трех фелюг, пришедших из Греции или Турции, как я узнал от папы. И вот новое чудо. Сильный запах кофе. Площадь, или площадка, у моря. Здесь низенькое здание морских ванн, садовые скамейки перед ним, для ожидающих скверик. Ресторан с двухэтажным балконом. И греческая кофейня, в которую мы вошли вместе с папой. И нам подали по крошечной чашечке кофе и по высокому стакану прозрачной холодной воды.

9 августа 1951 г. Итак, в Туапсе в этот счастливый день я встретил одно чудо — турецкий кофе. А потом началось нечто, куда менее приятное: мы пошли домой обедать. Было жарко, ох, как жарко! Горячий воздух дрожал над дорогой. И мы прошли мимо народного дома с шахматными турами, и мимо базарной площади, и мимо "Меблированных комнат Россия Кешабян", а до дому все было далеко. Налево я

увидел домик, весь увитый диким виноградом. Отец указал мне на него и сообщил, что там живет англичанин, начальник участка Англо-индусского телеграфа, столбы, выкрашенные в черный цвет, тянулись наискось через пустырь к горам. И на меня повеяло "Миром приключений". Но это облегчение было мгновенным. Скоро жара убила всякий интерес к чему бы то ни было. Ставни в доме были закрыты. Колодезную воду пить запрещали. Мне дали теплой кипяченой воды и накормили обедом, как всегда обильным, несмотря на зной. И вот началась самая унылая часть дня. Я спустился к школьному зданию и прочел, что библиотека открывается в четыре, а сейчас было всего лишь три. Идти гулять? Жарко. Спать днем я не умел. Гора, деревья в палисаднике, заросли ажины на дороге как бы побелели от жары и пыли, подвешенной в неподвижном воздухе. И только море было неприкосновенно, победоносно, прохладно синим, сверкающим. Но вот библиотека открылась наконец.

11 августа 1951 г. Итак, после купания мы зашли в кофейню, греческую или турецкую. Сильный запах кофе. Столики. Стук шашек. (Играли здесь не в шашки, а в какую-то особую игру греческую или турецкую — двигали шашки внутри открытого шашечного ящика по каким-то остриям, нарисованным на ее дне. Мне сегодня не пишется). Впрочем, обо всем этом я уже писал. Я ведь остановился на том, что открылась библиотека. Молодая, но выцветшая, чем-то недовольная библиотекарша записала меня, взяла один рубль залога и предложила выбирать книгу. Я выбрал из любви к смешному юмористические рассказы Шмелева. Так как наши еще спали после обеда, я уселся тут же, под кустами ажины, и стал читать. Первый же рассказ не рассмешил, а огорчил меня. Начинающий писатель счастлив. Его рассказ приняли в журнал. Он ждет славы. Заказал визитные карточки, на которых значилось, что он сотрудник этого журнала. И вдруг утром прочел в газете, что журнал закрылся. Писатель в отчаянии восклицает примерно следующее: "О, моя слава, о, мой гонорар, о, мои визитные карточки". Горе писателя так тронуло меня, что я погрозил бедному отсутствующему Шмелеву кулаком. Что тут смешного? Остальные рассказы я забыл. Помню только, что когда меня позвали чай пить, я убедился с ужасом, что книжка почти прочитана. Что же я буду читать завтра? Поверит ли мне библиотекарша, что я в самом деле прочел книжку за один день? И я бросил

читать. После чая я отпросился в порт. С наслаждением шагал я по белой стенке мола, глядел вниз на ходящие взад-вперед за волнами водоросли. Рыболовы моих лет удили тут. Я узнал от них, что рыбу зеленушку есть нельзя, потому что она ядовита. Так же несъедобна рыба по имени собака. А бычок, морской окунь, морской петух, горбули, камбала — очень хорошая рыба, но худо ловится.

12 августа 1951 г.

Очень плохо написал вчера, как пришел в порт. Порт был последним чудом этого богатого событиями дня. Я спустился к морю у скверика и повернул направо. Миновал домики с палисадниками, бараки, где жили турки-рабочие, миновал огромные камни, с которых местные ребятишки черные, как мулаты, ловили бычков. И вот уже передо мною высокая стена мола, на которой темнеют фигурки мальчишек-рыболовов. Вода тяжело ходит у стенки над плоскими камнями, поросшими водорослями. Когда я подхожу ближе, меня охватывает запах смолы, веревок, рогожи. Ворота пакгаузов открыты. Грузчики волокут с грузовых платформ, стоящих на рельсах узкоколейки, какие-то тюки, пятипудовые мешки, ящики. Я иду дальше вдоль рельсов. Слева возвышается стена мола, передо мною широкая пристань, справа море спокойное, спокойное здесь в порту. Направо же белеет стена волнореза, не доходящая до скалистого, морщинистого берега. В самом конце пристани лестница, ведущая на площадку с невысоким маяком. Точнее, с широкими, вращающимися фонарями. С этой площадки легко было взобраться на стенку мола. По этой стенке я и отправился обратно. В порту было пустынно. Далеко-далеко, сливаясь с туманом, уходил пароход, оставляя за собой полосу дыма. Это он доставил груз, который таскали с платформ в пакгауз. Две фелюги стояли у пристани. Одна из Трапезунда, другая из Константинополя. Это я помню, а имена их забыл. В открытый люк виднелся темный трап. Отсюда, со стенки мола, увидал я город таким, как выглядит он с моря. Заметнее всего была мавританская дача Перцова. Белая-белая в темной зелени.

13 августа 1951 г.

На другой день с утра меня послали в булочную. Я принес к чаю десяток горячих бубликов, нанизанных на веревочку. После чая меня послали в парикмахерскую с приказанием постричься наголо, под третий номер. Сидя в очереди, я услышал разговор

двух местных обывателей в сапогах, вышитых косоворотках, черных пиджаках. Они рассказывали о продаже какого-то участка с виноградниками. Сделка расстроилась. Не сошлись в двухстах рублях. По моей непоследовательной, странной впечатлительности я очень огорчился этой неудаче. По словам рассказчика, "те хотели продать, тот хотел купить, и вот что вышло из-за пустых денег!" Всю дорогу я думал об этих неудачниках и не могу забыть их вот уже сорок два года. После того как я пришел домой стриженым, мы отправились купаться. И туапсинская жизнь вошла в колею, как майкопская. Самым для меня мучительным часом было возвращение домой к обеду. В самое жаркое время дня тащились мы в гору под пепельным от жары небом мимо матовой зелени кустарников, через пыль, подвешенную в неподвижном воздухе. Валя сложил песенку. Когда, миновав базарную площадь, мы шли мимо "Меблированных комнат", Валя начал петь: "Лированные комнаты "Россия" Кешабян! Лированные комнаты "Россия" Кешабян!" Раз или два пообедали мы в двухэтажном ресторане на площади у моря. На балконе второго этажа. Здесь все было тихо и чинно. Сияющие судки стояли на столах. Море расстилалось перед нами. Но обедать тут было дорого. Не желая готовить дома, мама нашла где-то домашние обеды. Увы! И сюда надо было идти в гору. Правда, обедали мы на прохладном балконе. Египетские голуби стонали тут в просторных клетках. Вторым мучительным временем был послеобеденный час, до второго купания. Я скучал неистово. Скоро я нашел друзей. Четыре брата, кадеты Омского или Томского кадетского корпуса, приехали с отцом-полковником, не то преподавателем, не то экономом этого учебного заведения, отдыхать в Туапсе.

14 августа 1951 г.

Я очень подружился с мальчиками. Первой моей заботой, когда мы спускались на берег, было отыскать четырех братьев. Я узнавал их издали, по парусиновой, летней форме. Недавно, кажется, в Сочи я удивился — чем радуют меня далеко, далеко шагающие по берегу люди в белом. И понял — это вспыхнула вдруг старая радость, та самая, которую испытывал я, встретив друзей в Туапсе девятьсот девятого года. Однажды я встретил их на заросшей ажиной, бурьяном, репейником площади возле Народного дома. С кадетами шагал незнакомый мне мальчик. Я по свойственному мне в те времена ходу полумыслей, полумечтаний, называя фамилию незнакомцу, подумал: "А вдруг фамилия

моя покажется ему особенной, знаменитой, значительной". Мальчик же назвал свою фамилию, как мне показалось, тоже не просто. Сергей Шмелев. Когда мы вместе пошли купаться, я отстал с младшим из братьев, чтобы узнать, кто этот незнакомый мальчик. И тот с охотой и гордостью рассказал, что у них во дворе поселился писатель Иван Шмелев, а это его сын Сережа. И кадетик напомнил мне напечатанную в "Детском чтении" (тогда, кажется, уже переименованном в "Юную Россию") повесть Ивана Шмелева о мальчике, ставшем знаменитым художником. В повести описывался еврейский погром, старый еврей, хотя мальчик-художник был русский. Теперь эту повесть я забыл, но тогда она произвела на меня сильнейшее впечатление. И на берегу я встретил и самого писателя — высокого, худого, бледного до синевы, с седеющей бородкой и очень, очень серьезного. С ним была жена, темная шатенка, румяная и застенчивая. Сережа походил на нее. Это был первый писатель, которого я увидел в своей жизни. Я немедленно потерял и ту небольшую долю рассудка, которой обладал в те времена. Я не спускал с него глаз. И все лето выставлялся перед ним самым отвратительным образом. То я читал наизусть пародии Измайлова, которые тогда были очень в ходу. То острил. То кувыркался. То орал. И сейчас стыдно вспомнить.

15 августа 1951 г.

Иногда я вел себя, желая выставиться, совсем уж непонятно. В то время было много разговоров о знаменитом гипнотизере Фельдмане. И вот, купаясь и дурачась, и выставляясь, я крикнул одному из кадетиков: "Я тебя загипнотизировал! Недаром моя фамилия — Фельдман!" Шмелев усмехнулся, и я был этим совершенно осчастливен. Потом мне стало несколько стыдно. Особенно когда приятели мои спросили по пути домой: "Значит, ты — Фельдман?" И я никак не мог объяснить им, что заставило меня так глупо соврать. Каждый вечер, сидя на пристани, в самом конце, недалеко от маяка, Шмелев ловил рыбу принятым на Черном море способом — на веревочной леске с грузилом. В конце лески наживлялось креветками пять-шесть крючков. Размахивая грузилом над головой, снасть эту забрасывали, насколько хватало лески, в море. Конец ее держали на пальце, чтобы почувствовать, когда рыба клюнет, и подсечь ее. Шмелева сопровождал постоянно молодой грек, нечто вроде его комиссионера. Одет он был, как все греки — чуть-чуть слишком изящно, но был тих и столь же молчалив, как его хозяин. Мы обычно сидели возле,

наблюдали за рыболовом. Однажды Шмелев подсек невидимую добычу сильным движением, вскочил и, напряженно перебирая руками, потянул туго натянутую леску из воды. И мы увидели в зеленовато-голубой воде очень крупную рыбу, фунтов на восемь. Дрожащими руками Шмелев схватил сачок и с помощью своего грека вытянул рыбу на мол. Называлась эта рыба горбыль или горбуль. Грек сказал, что первый раз в жизни видит, чтобы такую рыбу поймали на крючок. И я подумал: “Это счастье далось Шмелеву, потому что он писатель”. В судьбе Шмелева в эти годы назревал поворот к счастью. Он вдруг нашел свою дорогу. Через два-три года повесть его “Человек из ресторана” имела настоящий успех. И рассказы Шмелева стали очень хороши. Помню напечатанный во время войны пророческий рассказ о спекулянте, который из-за аварии машины попал со своей дамой в крестьянскую избу. Страшное напряжение приводило к взрыву, он угадал и показал это.

16 августа 1951 г.

Друзья мои кадеты рассказали один раз с восторгом, что молчаливый Шмелев вчера вечером разговорился, и это было необыкновенно интересно. Они услышали историю с привидениями. Однажды Шмелев шел домой и увидел на дороге, освещенной луной, огромное черное четырехугольное существо, которое двигалось прямо на него. Шмелев закричал, бросил в него — не могу вспомнить что — и это существо рассыпалось и исчезло. И я, выслушав, подумал, что с таким необыкновенным человеком и должно происходить нечто подобное— удивительное, не похожее ни на что. Вся моя туапсинская жизнь была полна ощущением, что тут же, недалеко живет настоящий писатель. Вторым знаменитым человеком в Туапсе был пианист Игумнов, тогда еще молодой человек. Он жил еще выше нас, на горе, и я часто видел его длинную фигуру и длинное задумчивое лицо, когда он с длинной тростью, скорее, с посохом, раздвоенным на конце, словно жало, спускался к морю. О нем рассказывали, что студенты попросили его участвовать в их благотворительном вечере, а он отказал, сказав, что если он согласится играть у одних, то его сразу начнут просить все, а ему необходимо отдохнуть. Это я понял так: игра Игумнова столь волшебно прекрасна, что, услышав ее однажды, все захотят, чтобы он играл еще и еще. В Туапсе я впервые в жизни занялся рыбной ловлей. И с кем—с моим врагом Вышемирским, учителем рисования. Этот заносчивый

и злой поляк издевался надо мной. Я и в самом деле рисовал плохо, но он вышиб у меня последнюю охоту научиться чему-нибудь. Он издевался над всем: над моим рисунком, над моими руками, над моей несчастной способностью потеть от волнения. В реальном училище рисование было предметом более важным, чем в гимназии, и самолюбивый Вышемирский всячески подчеркивал эту особенность. Он добился того, что мне дана была на лето работа по рисованию. Это значило, что я должен был привезти в училище сколько-то, не помню, рисунков в доказательство того, что я летом занимался. И вот я с ним встретился в Туапсе, и он позвал меня ловить с ним рыбу.

17 августа 1951 г.

Он, Вышемирский, не был летом заносчив. Точнее, он был заносчив добродушнее, чем зимой. Не помню, как взял он меня на ловлю. Он дал мне сачок, и мы пошли сначала ловить креветок, или рачков, как их звали в Туапсе. Водились они в порту у морщинистых серых скал, в водорослях. Коричневатые водоросли, похожие на бурьян, щекотали колени. Ступать по ним было жутковато — ходили слухи, что именно в таких зарослях любят скрываться на дне морские коты. Жесткими, узкими, твердыми, как напильники, хвостами своими морские коты, по слухам, наносили долго незаживающие раны. Но все обошлось благополучно. Мы наловили прозрачных, стрекочущих, прыгающих рачков и поехали на лодке на волнорез. И началась рыбная ловля. И тут мне посчастливилось поймать скумбрию, морского петуха, не помню, что еще. Но зато помню Вышемирского, то сосредоточенного, но не злого, то веселого. Папа должен был ехать с нами, но у него случился припадок мигрени. Выразив удивление, что мигрень у папы, а не у мамы, Вышемирский спросил меня: "Как же это, доктор — и вдруг заболел?" "Бывает и сапожник без сапог!" — ответил я, что повергло учителя в хорошее настроение надолго. Несколько раз, наживляя крючки или снимая с крючка добычу, повторял он с хохотом: "Сапожник без сапог". Гребец-лодочник, мальчишка грек, удил вместе с нами и определял в сомнительных случаях породу пойманной рыбы. И эта рыбная ловля на каменной стенке, отрезанной от берега, вызывает у меня особое душевное движение всегда одинаковое, когда бы я ни вспоминал этот день — в 15-м, или 30-м, или 50-м году, или сегодня. Это радость и предчувствие еще большей радости. Так я начал радоваться в те годы. Пробыв с нами около месяца, папа вернулся на службу в Майкоп. Через некоторое время к нам приехали

гости — Лев Александрович, Алеша Луцук и красавец реалист, старшеклассник Вася Авшаров. Они приехали в Туапсе на велосипедах, похудевшие, почерневшие, но крайне довольные своим подвигом. Они рассказывали, как мучительно было взбираться на перевал.

18 августа 1951 г.

Но зато спускаться с перевала было одно удовольствие — так рассказывали наши гости. В это время появилась в продаже книжка — Миллер "Моя система". На желтой обложке красовался античный юноша-атлет, а на первой странице — портрет самого автора, легконогого, широкоплечего шведа. Как знакома была мне эта книжка! Много раз в своей грешной юности я начинал новую, чистую и непорочную жизнь. И всегда начиналась она с того, что я делал гимнастику по Миллеру каждое утро. Успех этой книги был необыкновенно, неожиданно и знаменательно велик, как вскоре докатившееся до Майкопа увлечение чемпионатами французской борьбы, как внезапно, через два-три года, вспыхнувшая слава Джека Лондона. Миллер настаивал на необходимости гармонично развивать все мышцы человеческого тела и поэтому сдержанно отзывался о велосипедном спорте. И Коробьин сказал насмешливо: "Посмотрел бы Миллер, как мы тянем велосипеды на перевале, так не писал бы, что эти машины развивают только мышцы ног. Тут и руки, и шея, и спина — все работает". Проснувшись ночью, я увидел Коробьина, угрюмо стоящего возле комода. Тускло горела свечка. Он говорил сердито: "Ничего вы ему не скажете!", а мама отвечала: "Нет, скажу". Я уснул поскорее, убегая от страшных сложностей жизни старших. С тех пор Лев Александрович у нас почти не бывал. После отъезда велосипедистов жизнь вошла в свою колею. Но в моей жизни произошло событие необыкновенной важности. За этот год чувство, пережитое мной на турнике, возвращалось трижды, каждый раз — непроизвольно: в купальне, когда я коснулся в воде всем телом столба, когда я валялся на животе на траве, когда я скакал на спине кого-то из товарищей. И каждый раз я испытывал отчетливое желание писать стихи. В Туапсе это случилось со мною в море, когда я плыл, лежа на бревне. И желание писать стихи здесь проявилось особенно остро.

19 августа 1951 г.

И это желание не исчезло, пока я шел домой. Небо хмурилось. Стал накрапывать дождь. И дома это желание возросло до такой силы, что я взял карандаш и предался наконец

этой новой страсти. На желтой оберточной бумаге, в которой я принес из булочной хлеб, сочинил я следующие стихи:

Сижу я у моря. Волна за волной,
Со стоном ударив о берег крутой,
Назад отступает и снова спешит
И будто какую-то сказку твердит.
И чудится мне, говорит не волна —
Морская царица поднялась со дна.
Зовет меня, манит, так чудно поет,
С собой увлекает на зеркало вод.

Дальше забыл. Почему я стал писать именно эти стихи? Почему забрела мне в голову морская царица? Откуда я взял этот размер, эти слова? Не знаю теперь, как не знал и не понимал тогда. Я чувствовал страстное желание писать стихи, а какие и о чем — все равно. И я писал, сам удивляясь тому, как легко у меня они выливаются и складываются, да еще при этом образуется какой-то смысл. Любопытно, что в те годы к стихам я был равнодушен. Не помню ни одного, которое нравилось бы мне, в которое я влюбился бы или хотя бы просто запомнил его. Но, так или иначе, решив стать писателем в семилетнем, примерно, возрасте, я через пять лет написал стихи, движимый неудержимым желанием писать. Все равно о чем и все равно как. Я стал писать не потому, что меня поразила форма какого-то произведения, а из неудержимой, загадочной, связанной с физиологическими явлениями жажды писать. И это определило очень многое в дальнейшей моей судьбе. Хотя бы то, что я очень долго глубоко стыдился того, что пишу стихи. И что еще более важно — литературную работу я до сих пор, при всем моем уважении к профессиональности, считаю еще и делом глубоко, необыкновенно глубоко личным. Итак, летом 1909 года, в мраке и хаосе, в котором я суетился, как дурак, я темно и хаотично, но вдруг почувствовал путь. Началось медленное, медленное движение к жизни. В августе 1928 года, проезжая через Туапсе, я пошел знакомой дорогой на гору и прошел почтительно мимо домика, где я наткнулся на выход из тьмы.

20 августа 1951 г.

Несмотря на рыбную ловлю, море, порт, купанье, встречу со Шмелевым, стихи, я в последние дни стал скучать по Майкопу и стремиться вон из Туапсе. Помню, как я поднял

коробочку, валявшуюся в палисаднике нашего домика. Мне стало жалко эту коробочку — мы уедем, а она останется, бедняга, в этом чужом городе. Незадолго до отъезда я бродил с одним из кадетиков на реке Туапсинке. С наслаждением шагали мы по зарослям густым, как в тропиках, потом выбрались на шоссе, ведущее к Сочи. Прошли с версту. И тут кадетик рассеянно, по общемальчишеской привычке швырнул камнем в ласточку. И попал! Птичка упала на шоссе и забилась. Мы бросились к ней. Взяли ее на руки. Обрызгали водой из родника. Подули ей в клюв. Ласточке как будто полегчало. Во всяком случае, когда мы посадили ее на ветку дерева, так высоко, как только могли,— птичка не упала. Она сидела неподвижно, не улетая, не двигая головой, но клюв ее был закрыт, и она не похожа была на умирающую. И всю дорогу допрашивал меня кадетик: как я думаю — поправится ласточка или нет. А я утешал его, а сам придумывал рассказ о мальчике, который, пока был кадетом, пожалел ласточку, а выросши расстрелял рабочую демонстрацию. Но написать его не мог. Почему-то было стыдно. И вот наконец пришел день отъезда. Выехали мы не так рано, как из Майкопа. Во всяком случае, когда мы ехали через город, я увидел возле фруктового магазина моих друзей кадетиков и Сережу Шмелева. Я сидел на козлах почтовой тачанки, рядом с кучером. Я крикнул мальчикам: “Прощайте, я уезжаю!” — и помахал им своей летней шляпой, похожей на английский колониальный шлем, известной у нас под именем “здравствуй-прощай”. Мальчики, занятые какими-то своими заботами, ответили мне холодновато, что мучило меня первые версты пути. Но вот началась новая жизнь — шоссейная, дорожная, и Туапсе исчезло в дымке. И вместе с тем исчезло и раздражение последних дней против этого милого моему сердцу города. И мне стало жалко, что мы уезжаем.

21 августа 1951 г.

Я забыл рассказать, что последний месяц моего пребывания в Туапсе был омрачен уроками рисования. Необходимо было выполнить “работу”, данную мне на лето педагогическим советом, по представлению Вышемирского. Мне нашли учителя — сына фельдшера, угрюмого студента. Я раздражал его отсутствием глазомера. В первый же день я не смог разделить на три части прямую, чтобы потом изобразить на листе рисовальной бумаги какой-то орнамент. Как презрительно обругал меня учитель! Лист такой белый, многообещающий с непонятной быстротой покрывался пятнами от моих вымазанных

графитом пальцев. Я пятна стирал, но они возникали снова. Лист, укрепленный кнопками на чертежной доске, через десять минут уже вызывал во мне безнадежную тоску, а я в учителе холодную ненависть. Домик фельдшера стоял на шоссе, за поворотом, после второй версты. Я тяжело огорчался, когда меня не любили, и шел к учителю полный глубокой печали. Только мысль, что мы скоро поедем по этому самому шоссе в Майкоп, утешала меня. И учитель был строг, и отец его, сухой старик с седой бородкой поглядывал на меня холодно, и я был уверен, что сын жаловался на меня отцу, едва я уходил домой. На стене в рамке висела грамота, в которой говорилось, что старый фельдшер по какому-то поводу жалуется званием потомственного дворянина. Скромный мещанский домик, плюшевая мебель, зеркало в ореховой раме на стене, и мальвы, и подсолнухи в палисаднике гораздо убедительнее, чем грамота, говорили о том, к какому сословию принадлежит старый фельдшер на самом деле. И вот все кончилось — и уроки, и прогулки, — мы едем по шоссе. Вот поворот к долменам. Сюда мы ходили с папой — эти прогулки рекомендовались путеводителем по курортам Черного моря. Мы послушались, увидели в чаще не то маленький дом с плоской крышей и круглым входом, сложенный из цельных каменных плит, не то огромный каменный жертвенник. Папа разделся, лег на плоскую крышу и принял солнечную ванну. Вот знакомая Индюк-гора.

22 августа 1951 г.

Знакомая Индюк-гора все шла и шла, не отставая от нас, поворачиваясь к шоссе то одним, то другим своим склоном. Но вот сменили мы лошадей на одной, потом на другой станции, и Индюк-гора скрылась за лесистыми холмами. Вот и перевал, и “океан лесов, покрывающий волнистую местность”. Вот еду я домой, недавно еще все потерявший, разучившийся, растерявшийся, но уже начинающий крепнуть. Пока что весь мой душевный опыт, все поэтические ощущения, все, что я мог бы сказать, как бы отделены стеной от того, что я говорю в стихах или в задушевных разговорах. Я еще ничего не выразил, но мне уже легче от того, что я пробую голос, бормочу. Уже стемнело, когда мы подъезжали к Апшеронской. Взошла луна. И все мне чудилось, что казак стоит, не двигаясь, на повороте у мостика, поджидает нас, а вон три человека с винтовками наперевес, а вон спешившийся всадник замер, опершись на седло. Но все эти неподвижные, загадочно молчащие люди, когда мы подъезжали, превраща-

лись в кусты и деревья, освещенные луной. Вот и ночной, станичный, протяжный не то лай, не то вой — собаки встревожены лунной ночью. Огоньки в оконцах — мы приехали в Апшеронскую. Тут мы остались ночевать. Среди ночи захворала мама. У нее повысилась температура. Началась кровавая рвота. Невесело поднялись мы утром. Маму в Майкопе сразу отвезли в больницу. У нее установили тропическую малярию. Я поселился у Соловьевых дня на два, на три, пока мама была в больнице. Спал я почему-то в комнате у девочек, что нисколько не смущало ни меня, ни их. Все сведения, имеющиеся у меня, и все мои переживания последнего года к этим девочкам, пока что имели столь же мало отношения, как если бы они были моими родными сестрами. Когда мама поправилась, мы переехали в гостиницу Завершинского. Капустинскую квартиру почему-то старшие решили оставить. Дом Бударного ремонтировали, и, таким образом, я оказался снова там, где жил в 1902 году.

23 августа 1951 г.

Вернулись мы в Майкоп рано. До начала занятий оставалось еще недели две. Листья на тополях пожелтели, но не потому, что осень была близка, а просто они сгорели в июльскую жару. Лето стояло знойное и не собиралось уходить. Гостиничная, неподвижная, по сравнению с туапсинской, жизнь разлагала. Откуда-то попал ко мне полный перевод “Тысячи и одной ночи”. Впервые ощутил я чувственную сторону этой книги, да и на рисунках изображены были все какие-то широкобедрые красавицы в фесках. Я все валялся на кровати и думал, как сумасшедший, об одном. Написал еще какое-то стихотворение о замке и злодеях— забыл какое. Стал невыносимо груб с похудевшей и побледневшей до синевы мамой. Я по-прежнему боялся, что она умрет внезапно, ужасно ее любил, но, увы, чувства мои были запутаны в непоправимый клубок. Настоящая, а не воображаемая болезнь ее меня совсем не тронула. Равнодушно посетил я маму в больнице и даже там, помнится, ухитрился чем-то ее рассердить и нагрубил ей в ответ. Но вот унылая и гибельная жизнь в гостинице прервалась самым счастливым образом. Истамановы вместе с Лобановскими решили поехать в горы на несколько дней — очень уж мучительное лето стояло на дворе. И меня отпустили вместе с ними. (Сейчас мне вдруг показалось, что Варя Соловьева ездила вместе с нами.) И вот мы уселись в телегу, по-майкопски можару, на мягкое сено, и отправились в путь

вдоль Белой к станице Тульской. Дорога шла степью мимо курганов с каменными бабами. А прямо перед нами далеко-далеко впереди белели, словно облака, горы Урупггенского хребта, или Черные горы. До Тульской было верст десять. Отдохнув немного, мы поехали по такой же ровной степи к станице Абадзеховской. И словно их и не было, исчезли гостиничные туманные отравляющие чувства. Сытые кони легко везли можару, и на душе становилось все светлее. И горы все приближались.

24 августа 1951 г.

Горы приблизились, но станица Абадзехская оказалась такой же степной и ровной, как и Тульская. Здесь мы остановились. Белая была тоже еще совсем такой же, как под Майкопом. Под дубом, таким огромным, что в тени его поместился весь наш поезд с конями, можарой и людьми, мы и обедали. На костре сварили кондер — пшенную кашу с салом. Ели, сидя на земле у ковра, и лицо горело от солнца и ветра. От избытка чувств я влюбился в Валю Лобановскую, очень хорошенькую, смуглую, черноглазую девочку лет тринадцати, и глаз не спускал с нее, и выставлялся изо всех сил в ее честь. Искупавшись под мостом через Белую, где было удобно по сваям влезать в воду, мы двинулись дальше, к станице Каменномостской. По дороге Жоржик уговорил меня намазаться черными ягодами какого-то степного растения, чтобы поразить наших спутников. Тут дорога уже шла в гору, и мы с ним далеко обогнали нашу можару. После того как мы намазались, Жоржик стал серьезно уверять меня, что сок этих ягод с солями человеческого пота образует взрывчатые вещества, которые сами собой взрываются, когда подсохнут. И мы бегом побежали к роднику и умылись. Белая к этому времени ушла далеко вниз , мы с обрывистого берега не видели ее за кустами и деревьями, а слышали, как она шумит. Где-то, кажется, в этих кустах, спустились мы в глубокое-глубокое ущелье к реке. На задние колеса надели тормоз. Мы все сошли. Хозяин повел своих коней под уздцы. Белая здесь мчалась уже быстрее, чем в Абадзеховской, но ее еще легко было узнать. Мы поднялись из ущелья наверх. Скоро я заметил, что снеговые горы теперь видны отчетливее, но не кажутся ближе. Между нами и ими поднялись горные массивы, иные в “океане лесов”, иные в зеленой травяной одежде. Степная равнина, околомайкопская часть пути кончилась. Начиналась новая, окологорная, жизнь. Мы вошли в станицу Каменномостскую. И скоро увидели чудо.

25 августа 1951 г.

Как в Туапсе я впервые я понял и навеки запомнил море, так здесь я встретился, как с чудом, с горами. Я понял и навеки запомнил горную реку в глубоком ущелье. Вот здесь Белая превратилась в новое явление. Вода тут казалась плотной. Она холмом все вздымалась над гладким камнем, острый [...] все разрывал ее, и пена все белела полосой позади него, все в одном и том же выеме у скалы она вертелась воронкой. Все было на месте, и все же река со страшной силой и быстротой рвалась и летела вперед. И цвет, цвет речной, приглушенно-синий, горный, так же выпрямляющий душу, как морской. Года два назад, в тоске, зайдя в комиссионный магазин, рядом с огромной декадентской, лесбиянской картиной я увидел небольшое полотно — старательно выписанный кавказский пейзаж с узеньким мостиком и рекой того самого, горного, приглушенно-синего, прозрачного цвета. И всю мою тоску словно ветром смело. Каменномостская была похожа на все другие станицы — правильно, по-военному спланированная, со станичным управлением в центре, с выбеленными хатами, с палисадниками, с плетнями, с кувшинами на жердях. Но за станицей, внизу в скалах мчалась новая, невиданная Белая. А возле молчало старое русло, ущелье, как представляешь его себе, прочтя это слово. Здесь показывали узенькую ровную площадку, с которой, по преданьям, черкесы сбрасывали пленников в реку. За Каменномостской вскоре начиналось Даховское ущелье. Белая с ревом несла свои приглушенно-синие воды глубоко внизу, сверкала под кустарником. А над дорогой подымался горный склон, то отходя, то приближаясь, весь покрытый густым лесом — ни лысинки, ни полянки. Однажды кучер указал: далеко, далеко вверху у самой вершины горы чернел вход в пещеру, никем еще не исследованную. В училище рассказывали, что кто-то нашел в ней римских орлов на изъеденных древках. Так ли это было?

27 августа 1951 г.

Начиная с Каменномостской нас преследовал слух о том, что в лесу появился бешеный волк. Он будто бы пробежал по станице, кусая всех встречных, и скрылся в горах. Поездка наша стала еще интереснее. Не помню точно, где мы ночевали — в Даховской ли первый раз или за Каменномостской? Кажется, за Каменномостской. Мы порешили, что необходимо установить дежурство и поддерживать костер всю ночь. Ведь даже бешеный волк должен бояться пламени. Так мы

и сделали. Я не спал глубокой ночью, ощущая всем существом лес вокруг, тот самый лес, в котором Христофор Шапошников обнаружил следы тигра, забредшего из Персии. От Каменномостской уже совсем близко до заповедника, где живут зубры, медведи, олени, дикие козы, дикие кошки, волки бродят сейчас за деревьями, пробираются к водопою или охотятся и, наверное, чуют нас. Что это? Пробежала, бесшумно промчалась чья-то тень. Чья? Собачонка? Лиса? Во всяком случае, не волк. А если волк? А если мне показалось, что тень была маленькой? А если волк вернется? И наслаждение, с которым я прислушивался к ночному лесу, сменилось самой мучительной тревогой — тревогой неуверенности, полной угрызений совести. Будить всех? Меня могут поднять на смех. Не будить? Волк по моей вине перекусает спящих. Но тут меня сменил Лобановский. Тень снова промчалась мимо нас, и он установил, что это голодная собачонка. В станице Даховской у моста на пригорке мы увидели бакалейную лавку Морозова, Ваниного отца. Морозов-старший вышел к нам строгий, угрюмый, и я подумал, что вот такими и должны быть староверы. Мы спросили у одной казачки, не слышно ли в Даховской о бешеном волке. Она подтвердила, что слышно, и стала рассказывать какие-то о нем подробности. Но тут вмешалась вторая казачка. Обозвала первую вруньей: "У тебя на вербе груши растут". И они завели очень громкую ссору, а мы поехали дальше.

28 августа 1951 г.

Здесь, в Даховской, мы ночевали уже не в лесу, а в школьном дворе. Ночью мне сильно захотелось пить. На крыльце у сторожа я увидел ведро с водой и напился прямо из ведра, как лошадь. Вода сильно пахла арбузом. Сначала я радовался свободе, с которой живу. Пью некипяченую воду! Прямо из ведра! Но воспоминание об арбузном запахе смутило меня. А вдруг я напился помоев? И я встал и пошел на проверку. Ведро оказалось чистым, и вода чистой. Стоя с вечера в ведре, она и приняла тот металлический привкус, который казался мне арбузным. Я улегся на войлочной подстилке, укрылся незнакомым солдатским одеялом, которое взяли в дорогу Истамановы, и всем существом переживая, что лежу я во дворе, что уже светает, что амбар с навесом у соседей уже явственно выступил из тьмы, я уснул. Возвращение домой тоже было прекрасно. Путь в Даховскую был полон ожидания чудес. Зато на обратном пути я знал уже, чем наслаждаться. Мы двигались не спеша, большую часть

дороги шли пешком. Там, где это было возможно, мы спускались вниз, к Белой, к новой, горной, Белой, приглушенно-синей, прозрачной, бешено летящей вниз. Местами река образовывала глубокие, узкие заливы, которые мы называли ванны. В одной из таких ванн мы с Жоржиком искупались, точнее, окунулись с головой и выпрыгнули на берег, как обожженные. Вода казалась ледяной. В Майкоп мы вернулись через четыре-пять дней, а город показался мне изменившимся, как будто я не был в нем целый год. В гостинице мы уже не жили. Мы поселились в доме Бударного, столь памятном мне — ведь это в нем жили Шаповаловы. Приехал Матюшка. Он долго расспрашивал меня, как я провел лето. Увы! Все пережитое я, к своему удивлению, рассказал в одну минуту. Несколько дольше я остановился на встрече со Шмелевым, на описании индийского телеграфа и на несостоявшейся встрече с бешеным волком.

29 августа 1951 г.

Начались занятия. Движение в сторону некоторого просветления продолжалось. Я стал учиться несколько лучше, но высоты, которую занимал в первом-втором классе, так и не достиг. Товарищи относились теперь ко мне, как к равному. Я тщательно скрывал, что пишу стихи, но меня упорно считали поэтом и будущим писателем, неизвестно почему. Четвертый класс считался уже, в сущности, старшим. Во всяком случае, в первый раз четвероклассники давали вечер, на который приглашали гимназисток. И сами были приглашаемы на вечера в женскую гимназию. Лето 1909 года стоит передо мною во всех подробностях, будто освещенное солнцем, а зима 1909/10 в полутьме. Выступает только наш вечер. Делался он так. В классе собирали деньги на угощение и на оркестр Рабиновича. Выбирались распорядители. Назначали день (как правило— суббота). В женскую гимназию посылалось приглашение. И в назначенный час начинался концерт, после которого открывались танцы. Мы собрали на вечер свой что-то около сорока рублей. Наш распорядитель Яшка Кургузов отправился к классному наставнику доложить ему об этом. Яшка был парень рослый, по-своему красивый, с маленькой головой и широкий в плечах. У него все время были романы с гимназистками, все с приезжими, то есть живущими без строгого родительского присмотра, и романы далеко не такие невинные, как у нас. Он бегал на галерку смотреть гастроли оперетты, на которую реалистов не пускали, и рассказывал о своих романах и об оперетте

наивно и вместе с тем восторженно. Он был, вероятно, старше всех нас, так как сидел в каждом классе по два года. Так и вижу его на перемене, когда он, усевшись на бревнах, куря, учил нас: "Ты до груди, до груди добирайся! Как девчонка ни бьется, как ни вырывается, тут сразу замолчит". И мы внимали, пораженные, особенно потому, что свои положения он подтверждал живым примером, называя знакомых гимназисток. Он же рассказывал, как в ответ на бешеные вызовы галерки опереточный премьер сделал наверх приветственный жест шляпой с пером. И повторял этот жест. Яшка Кургузов стонал от восторга и хватался за голову. Итак, он отправился к Бернгарду Ивановичу доложить ему о том, сколько денег мы собрали на наш вечер. Рассказывал об этом посещении Яшка так: "Бернгард Иванович лежит на диване и спрашивает: "Ну, сколько вы собрали денег?" Я отвечаю. Он тут ка-а-ак прыгнет с дивана: "Что? Мой класс? Так мало? Позор! Покажи, какое угощение собирались купить?" Я показываю бумажку. А он: "Что? Мой класс так меня будет позорить?" Разорвал бумажку, дал мне новую: "Пиши! Апельсины, шоколад, лимонад". И дал сто рублей. Ох! Вот человек! Ох!" — и Яшка застонал от восторга и схватился за голову. Программой вечера Бернгард Иванович тоже занялся, и тут начались мои мучения. Он решил, что я буду мелодекламировать. Давалось мне это с трудом. Сначала мы попробовали с ним стихи Алексея Толстого из стихотворения "Князь Мещерский" ("... пирует с дружиной удалой Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой"). Но тут у меня совсем ничего не вышло. И мы принялись за стихи Вас. Немировича-Данченко: "Трубадур идет веселый", музыка Вильбушевича. Тут мы с грехом пополам добрались до конца. На бис мы приготовили какие-то стихи, которые начинались так: "Нет, я не верю в смерть идеала! Пусть ночь настала. В сердцах у нас он не угас!" А кончалось оно так: "Мир дряхл и сед, но я не верю, что люди звери! Нет! Пройдут века, забрезжит свет! Да!" Концерт состоял из хорового пения (дирижировал учитель музыки Терсек), Женька Гурский читал "Лошадиную фамилию". Играл ученический оркестр, состоящий из балалаек и мандолин. Кто-то играл на скрипке, и, наконец, читал я.

31 августа 1951 г.

Я читал на этом вечере, но успеха особенного не имел. Мне хлопали, все было как следует, но успеха, я чувствовал, не было. Гурский имел успех настоящий, особенно когда

прочел на бис "Перепутанные басни", составленные из отдельных строчек крыловских басен. Ах, как все мы любили смеяться. Я просто умирал со смеху, скорее, впрочем, шипел, кашляя, чем смеялся — в свое время папа утверждал, что я смеюсь неестественно, что навеки отучило меня "звонко смеяться". После концерта загремел оркестр Рабиновича и начались танцы. Яшка Кургузов и еще кто, не помню, носились с распорядительскими бантами на груди. Я почти не умел танцевать. В эти дни я, подумав, решил влюбиться в Лелю Соловьеву. Почему? Кто знает. Вероятно, потому, что с Наташей и Варей у меня установились товарищеские отношения, а Леля была замкнута и молчалива. Увлечение Валей Лобановской оказалось кратковременным, влюбиться в Милочку я не смел, а с сестрами Соловьевыми встречался ежедневно. Ссоры наши закончились раз и навсегда. Девочки были ласковы со мною, и я с ними. Леля сначала была как будто благосклонна ко мне, но потом вдруг совсем перестала разговаривать со мною, а если раскрывала рот, то для того, чтобы поиздеваться. На этом вечере она была еще менее добра, чем обычно. Уставившись своим крутым лбом в темное окно, за которым ничего не было видно, она просто не ответила, когда я предложил ей пройтись по коридорам, взглянуть на класс, где мы учимся. Я побрел один. Оркестр играл "На сопках Манчжурии" так грустно, что я вспомнил все обиды, которые перенес за свою жизнь. В одном из классов распорядители и жены учителей раскладывали угощения и в самом деле богатые — шоколадные конфеты, огромные яффские апельсины в папиросных бумажках, пирожные.

2 сентября 1951 г.

Итак, на первом нашем вечере я грустил. И угощение не утешало меня. Когда ешь такие вкусные конфеты, надо бы читать интересную книжку, а без этого половина удовольствия пропадает. Около двенадцати часов оркестр заиграл марш. Самые страстные танцоры потанцевали и под эту музыку. И вечеру пришел конец. Я шел домой с Соловьевыми — с Наташей и Лелей. Варю еще не приглашали на вечера, как ученицу второго класса. И Матюшка Поспеев шел с нами. Всем взгрустнулось, как всегда, после того как долгоожидаемая радость возьмет да и обманет. Мы обсуждали прошедший вечер. Леля разговаривала с Наташей и Матюшкой, а меня обходила взглядом, как будто меня и не было. В четвертом классе я познакомился, возвращаясь домой, с нескладным, квад-

ратным, большелобым, большеголовым пятиклассником. Он выкрикивал что-то очень литературное, не по-майкопски шутил, а по-книжному. Но делал он это так открыто и весело, что на него не сердились. Он носил большие очки. За голову его, очки, начитанность и способность к математике прозвали его профессором. Самые склонные к юмору звали его "профессор кислых щей и составитель ваксы".Увидев его, я сразу подумал, что имя "профессор" необыкновенно идет ему. Настоящее имя его было Володя Тутурин. Отец Володи и в самом деле был профессором политехнического института в Новочеркасске, где он и жил. Мать его была начальница гимназии. Вскоре я познакомился и с братом Володи — Севой. Младшая сестра Володи лежала в кровати, у нее был порок сердца, и она скоро умерла. Старшая сестра, черненькая, худенькая Тоня родилась от первого брака профессора. Она уже училась на курсах и приезжала в Майкоп только на каникулы. Ох! Скажешь: Володя Тутурин — и сейчас же приходится воскрешать и всех его близких, как это ни длинно. А иначе он как бы в пустоте. Так вот, этот Володя был давно и безнадежно влюблен в Наташу Соловьеву. И он тоже шагал с нами после вечера. И Наташа разговаривала со всеми, а Володю обходила взглядом.

3 сентября 1951 г.

Не помню, в этом году или годом позже, я шел от Марьи Степановны, выполнив какое-то поручение. В том самом доме, где мы жили когда-то, у Родичева, снимал теперь квартиру наш учитель французского языка, швейцарец Яков Яковлевич Фрей.У него было множество детей. Старший уже сильно облысел, а младший еще и не учился. Как видно, Якову Яковлевичу жилось нелегко со всем его огромным семейством. Учительского жалованья не хватало. Учитель сдавал комнаты приезжим реалистам. И вот, когда я шел мимо дома Родичева, меня остановил кто-то из живущих там реалистов и сообщил, что умер Владимир Александрович. Сначала я не понял, кто это. "Шарутин. Историк", — пояснил мой собеседник. И вот несколько дней прошло под знаком этой вести. Шарутин, высокий, широкоплечий, с крупным, правильной формы носом, вел свой предмет так, что мы его любили. Держался он спокойно и холодновато, и только после его смерти узнали мы, что нервы мучили учителя, что бессонница не давала ему жить. Он и умер от слишком большой дозы хлоралгидрата. Помню теплый, пыльный, светлый день, когда мы несли учителя на кладбище. Я глядел на его профиль, такой незнакомый

и знакомый, на холодноватую, чуть заметную улыбку, и все старался понять— что же это. Нет, не старался понять, а не мог оторваться от полных почти болезненного любопытства мыслей о мертвецах и смерти. И это продолжалось долго. При теперешней нелюбви моей к рисованию, я все пробовал нарисовать профиль мертвого Шарутина, то в черновых тетрадях, то на полях учебника. Мы узнали, что Шарутин по национальности татарин, что жил он одиноко, без друзей, узнали все подробности его смерти. Вскоре приехал его заместитель — только что закончивший университет Валериан Васильевич Поков. Это был горбун с откинутой назад головой, с выпуклыми черными глазами и кудрявыми волосами до плеч. Его пробовали прозвать "валет" за длинные волосы, но кличка не привилась.

5 сентября 1951 г.

Несмотря на ранний мой возраст, мама не одобряла моего увлечения Лелей, боялась, что та будет мне плохой женой. Она прямо высказала мне это, когда Матюшка однажды выдал маме нечаянно тайну моего сердца. Мама нахмурилась, стала говорить, что у Лели плохой характер, напомнила всем известный случай, когда даже Василий Федорович, выйдя из себя, дернул Лелю за руку. На это я возразил, что, во-первых, я вовсе не влюблен в Лелю, а во-вто́рых, она хорошая девочка. На это мама повторила, что у Лели плохой характер. Так мы и спорили, и ссорились совершенно серьезно. Как всегда в спорах со мной, мама встала на мою точку зрения, и мы ссорились, как равные, и никто не напомнил маме, что мне всего только двенадцать с половиной и о браке думать как будто не приходится. После вечера нашего мы, четвертоклассники [так у Е.Ш.—Ред.], получили приглашение к гимназисткам. Потом на вечер к пятиклассникам. И на этом последнем вечере произошло событие, отразившееся на всей последующей моей жизни. До сих пор я только любовался на Милочку Крачковскую издали, а тут мы заговорили с ней. И Милочка обратилась ко мне на "ты", ласково и просто. И я, до сих пор не смевший влюбиться в нее, тут дал себе волю. Изящество и едва-едва заметное кокетство, с которым говорила мне "ты" она, столь замкнутая и недоступная,— опьянили меня. И я влюбился навсегда.

7 сентября 1951 г.

Влюбившись в Милочку, я счел нужным рассказать об этом безжалостной Леле. Счел это своим долгом. Мне казалось, что нечестно скрывать от нее, что влюблен теперь

в другую. К моему удивлению, Леля приняла это не насмешливо, не безразлично, а как будто с грустью. Если бы я посмел верить себе, то взгляд, который она бросила на меня, я счел бы укоризненным. После этого объяснения я пришел домой. Вскоре вернулся от Соловьевых и папа. И за ужином сказал: "Вот говорили, что Леля играет хуже сестер. А она сыграла сейчас похоронный марш Шопена [так], что я просто удивился". И я опять подумал: "Уж не мое ли объяснение тому виною?" Любопытно, что в любви я ей не объяснялся. Это было ясно само собой. Но о конце любви сообщил. И вот Леля сыграла похоронный марш. Как я теперь припоминаю, Леля играла не хуже сестер, а застенчивее. К музыке девочки относились непросто, она их трогала глубоко. Играть на рояле — это было не то, что готовить другие уроки. Они договорились с Марьей Гавриловной Петрожицкой, что они будут проходить с ней разные вещи, и это свято соблюдалось, сколько я помню, до самого конца, с детства до юности. Варю нельзя было попросить сыграть Четырнадцатую сонату Бетховена, а Наташу — Седьмую. "Триллен" Шумана играла Леля. Так же делились и шопеновские вальсы. Впервые я полюбил "Жаворонка" Глинки в Лелином исполнении. Потом шопеновский вальс (как будто "ор.59"). Потом "Венецианского гондольера" Мендельсона. Потом "Времена года" Чайковского. "Патетическую сонату", кажется, тоже играла Варя, и я вдруг понял ее. От детства до юности почти каждый вечер слушал я Бетховена, Шумана, Шопена, реже — Моцарта. Глинку и Чайковского больше пели, чем играли. Потом равное с ними место занял Бах. И есть некоторые пьесы этих композиторов, которые разом переносят меня в Майкоп, особенно когда играют их дети.

8 сентября 1951 г.

Строгая, неразговорчивая, загадочная Милочка держалась просто и дружелюбно со мной, и тем не менее я боялся ее, точнее, благоговел перед ней. Я долго не осмеливался называть ее Милочкой, так устрашающе ласково звучало это имя. На вечерах я подходил к ней не сразу, но, правда, потом уж не отходил, пока не раздавались звуки последнего марша. Я научился так рассчитывать свое время, чтобы встречать Милочку, когда она шла в гимназию. Была она хорошей ученицей, первой в классе, никогда не опаздывала, перестал опаздывать и я. Иногда Милочка здоровалась со мной приветливо, иной раз невнимательно, как бы думая о другом, то дружески, а вдруг — как с малознакомым. Может быть,

мне чудились все эти особенности выражений, но от них зависел иной раз весь мой день. В те годы я был склонен к печали. Радость от Милочкиной приветливости легко омрачалась: то мне казалось, что мне только почудилась в ее взгляде ласка, то в улыбке ее чудилась насмешка. Положение усложнялось еще и тем, что в училище я обычно шел теперь вместе с Матюшкой. Часто, хотя он с Милочкой был знаком мало, я относил ее приветливость тому, что со мной Матюшка. Любопытно, что Милочка как-то сказала мне уже значительно позже: "Ты так сердито со мной здоровался, что я огорчалась". И я ужасно этому удивился. Что-то новое вошло в мою жизнь. Вошло властно. Все мои прежние влюбленности рядом с этой казались ничтожными. Я догадался, что, в сущности, любил Милочку всегда, начиная с нашей первой встречи, когда мы собирали цветы за городским садом, — вот почему и произошло чудо, когда я встретился с ней глазами. Пришла моя первая любовь.С четвертого класса я стал больше походить на человека. В толстой клеенчатой тетради я пробовал писать стихи уже без предварительного удара по всему телу. Хотя и пережил его раза два — борясь с товарищем и съезжая по перилам. Но в стихах моих не было ни слова о Милочке. Никому не говорил я о ней.

9 сентября 1951 г.

Любовь делала меня еще более мечтательным, чем в раннем детстве, и еще более скрытным. Я прятал от всех мои стихи, но и в стихах ни в чем не признавался. Начиная их, я не знал, чем кончу, о чем буду писать, и теперь не могу припомнить ни одной строчки. И вот однажды я увидел письмо Сергея Дудкина, студента, который некогда был выслан из Петербурга и уж давно восстановленный во всех правах вернулся в университет. Он писал маме. Я рассеянно взглянул на письмо, и вся душа моя дрогнула. "Пришлите Женину поэзию, — писал он, — знакомый редактор обещает устроить в свой журнал одно-два стихотворения". Тут же лежал мамин ответ: "Подумавши, я решила не посылать Женины стихи. Я боюсь, что ему может повредить..." — забыл, что именно. То ли что мама тайно узнала о моих стихах, то ли слишком раннее появление в печати. Я стоял как громом пораженный. Мне было все равно, напечатают меня или нет. В тот момент было все равно. Да, я унаследовал недоверчивое и мрачное мамино честолюбие, и я не верил, что мама, Сергей Дудкин и еще, вероятно, многие другие знают о том, что я пишу стихи. Я чувствовал себя

опозоренным, оскорбленным. Навеки запомнил я тоненькие, длинные буквы дудкинского письма, его “з” и “т”, похожие друг на друга, так что слово “поэзия” я прочел сначала как “поэтия”. Ужасное, унылое ощущение преследовало меня довольно долго, а стихи я не мог писать с полгода.

10 сентября 1951 г. Расскажу о том, как в четвертом классе обстояло дело с дружбой. К моему величайшему удивлению, в первой четверти я получил четверку за поведение. Я думал, что веду себя, как другие, но Бернгард Иванович сообщил мне, делая выговор за такую отметку, что на меня жалуются все учителя. А я не шалил, а просто веселился. Сочиняя печальные стихи и часто предаваясь печали, я тем не менее стал веселее, чем был. И в классе меня стали любить. Прежде ко мне были скорее безразличны, а теперь прислушивались, смеялись моим шуткам и, случалось, что своим безумным весельем я заражал весь класс. Вот за это я и получил четверку по поведению. С Матюшкой дружба моя окончательно прервалась. А вскоре он и переехал от нас, оставшись на второй год в четвертом классе. Случилось это так. На пасхальных каникулах Матюшка заболел скарлатиной. И скрыл это. И приехал к нам, но мама по “мраморной коже” догадалась, что у него было шелушение. Мальчика отправили в больницу. У него началось осложнение на почки, и учебный год его пропал. Мама не могла простить, что он скрыл свою болезнь от нас.

11 сентября

Мама горько жаловалась — Матюшка, зная, как заразна скарлатина, зная, что ни я, ни Валя этой болезнью не болели, приехал к нам в дом, не пожалел нас. И, слушая ее упреки, бледный после перенесенной болезни Матюшка рыдал так, что черные его глаза совсем распухли. В больнице он утешился. В маленьком заразном отделении, окнами на городской сад, он совсем один не скучал — ему носили книги, навещали его, несмотря на строгое запрещение, и на большой перемене, и после уроков. Я был обижен на Матюшку так же, как и мама, но, выдержав несколько дней, пошел навестить его вместе со всеми. В заразное отделение мы, конечно, не ходили. Мы стояли у решетчатого, невысокого забора, а Матюшка, бледный, с отекшим лицом, отчего глаза его стали монгольскими, улыбался нам, стоя у окна в синем больничном халате. И болезнь его затянулась, и он уехал в свою станицу Кубанскую. После болезни он сильно изменился. Он вырос, почти как Жоржик Иста-

манов, и походка у него сделалась какая-то заплетающаяся. Как видно, он все никак не мог приспособиться к своим новым длинным ногам. И дружба наша, давно уже захиревшая, тут совсем умерла. Жили мы в разных домах теперь, но и это не помогло делу. Накопившееся раздражение засело в душу прочно. У Якова Яковлевича среди многочисленных его сыновей был и мой ровесник. Или годом-двумя старше. Звали его тоже Евгений. Он долго болел костным туберкулезом. В больнице делали ему операцию. Даже, кажется, несколько. Папа очень хвалил мальчика за терпение и выдержку и ум. И вот он оказался в нашем классе. Смуглый, с шишковатым лбом, с темными волосами, зачесанными назад, с очень серьезным выражением лица, с негромким голосом, сильно хромой — вошел он, не спеша, и занял место на средней парте.

12 сентября 1951 г.

Спокойствием своим, умом, развитием занял он в классе одно из первых мест. Он, пока лежал в больнице, видимо, передумал много. Я скоро очень подружился с ним. И это был единственный человек, которому я показал свои стихи. Он подумал, покрутил головой и сказал, что в этих стихах нет ничего моего. Стихи должны быть своеобразны, а я, мол, повторяю то, что давно уже сказано. Услышав это, я ничего не понял и не попробовал даже понять, отскочив в ужасе, по тогдашней моей привычке, от всего, что кажется трудным. Я обиделся, как дурак, затеял с Фреем спор, а потом еще больше стал прятать свои стихи. Вскоре Фрей попросил, чтобы его перевели в пятый класс, сдал перед рождественскими каникулами экзамены и расстался с нами. Уехал в Бразилию Волобуев. Он был все такой же сильный, сутуловатый, один из первых в учении. Он ни с кем не дружил, все помалкивал и думал. И высказывался всегда неожиданно, редко при всем классе, а чаще встретившись на лестнице, неожиданно. Помню, как в класс притащил кто-то непристойную открытку с голой девушкой и усатым человеком восточного типа с заметной лысиной и толстой шеей. Мы с жадностью рассматривали эту обнявшуюся пару. А Волобуев сказал вдруг с жалостью и отвращением: “Бедная девушка! Тьфу! Он бык, просто бык”. И сила убеждения, с которой это было сказано, поразила меня. Однажды, когда я бежал на перемене во двор, Волобуев вдруг остановил меня на площадке и сказал: “Вот ты чего-то ждешь, все ждешь, а ведь лучшего времени, чем сейчас, пока мы учимся в реальном училище, у

тебя не будет". И сила убеждения, с которой это было сказано, опять показалась мне удивительной. Примерно на том же месте он спросил — почему я так много читаю беллетристики? Ведь она ничего нам не дает? Со свойственной мне тогда литературностью в оборотах и сам стесняясь своей высокопарности, я ответил: "Она учит глубже понимать жизнь".

13 сентября 1951 г.

Я сказал Волобуеву, как вспоминаю сейчас, тихо и глядя вниз: "Она учит нас глубже понимать людей и жизнь". То есть на одно слово длинней, чем я записал вчера. Я смутился, сказав эти неучилищные, несвойственные мне слова. А Волобуев вдруг внимательно взглянул на меня и задумался. Я чувствовал по этим коротким разговорам, что Волобуев относится ко мне лучше, чем к другим, точнее, как-то выделяет меня из общей массы. Отъезд волобуевской семьи в Бразилию обсуждался и в училище, и в городе. Семья была работящая, их участок под городом был хорош, их уважали, как мы уважали нашего одноклассника. И на отъезд их смотрели, помнится, так: им виднее. Раз они так решили, значит, им будет там лучше. На небе появилась комета Галлея. Она туманно светилась на небе, на черном, южном майкопском небе, словно Млечный Путь сошел со своего места. И все росла. Шлиссельбуржец Морозов (о котором майкопские старики народовольцы говорили с осуждением, что он женился на молодой) написал в "Русском слове" статью о том, что Земля на этот раз пройдет через хвост кометы и чтобы мы, читатели, следили, как будут выглядеть закаты в этот день. Не будет ли ветра. (Примерно так. Может быть, я и путаю что-нибудь через сорок один год). В эти дни Волобуев и уезжал. На закате я был зачем-то в реальном училище. Небо на западе горело, как будто бы и необычным зеленоватым с золотыми полосами светом. А может быть, нам это казалось? Закаты у нас были почему-то часто прекрасны и горели странным, как будто невиданным светом. (Именно глядя на закат, на майкопский закат, я ощутил, что он как бы требует, чтобы я как-то ответил на его красоту, немедленно ответил.) И поэтому никто из нас не мог сказать, что сегодняшний закат вызван кометой Галлея. Когда было уже совсем темно, зашел ко мне Волобуев. Зашел прощаться. Мы отправились гулять, и мама отправила с нами Валю с его нянькой.

14 сентября 1951 г.

Мы пошли не спеша по темным уже майкопским улицам под черным безоблачным небом, на котором сияла яснее, чем все последние ночи, меняя знакомое небо, огромная комета. Волобуев был необычайно беспокоен, встревожен и все, как я смутно понимал тогда и ясно понимаю теперь, хотел что-то сказать мне, попрощаться; пересадка на новую, совсем новую почву, конец всего, что было жизнью до сих пор, томили его. Но, как это бывает в возрасте двенадцати-тринадцати лет, развивались мы неровно. Волобуев был куда умнее и старше меня. Если какие-то душевные стороны и развились у меня сильнее, чем обычно в этом возрасте, то это лишь мешало мне и уж во всяком случае не высказывалось. Так наш разговор и не состоялся, не состоялось и прощанье навеки. Волобуев сказал угрюмо и полусердито: “Ну, до свидания” — и больше мы не виделись. Сейчас, когда, рассказывая, я вспомнил все, что происходило в тот вечер, яснее, мне показалось, что когда мы шли вчетвером —я, Волобуев, Валя и его няня, — кометы еще не было на небе. Появилась она позже, и я, выйдя на улицу, стоял у нашей калитки и все смотрел, смотрел на изменившееся небо. Папа сказал сегодня за чаем, что никто из нас не увидит больше комету Галлея, когда она опять приблизится к Земле. Но я не поверил этому. Я суеверно боялся маминой смерти, особенно вечерами. Боялся и что отец умрет и еще больше, что он сойдет с ума, — я знал, что это зачастую случается с несчастными людьми, пораженными той зловещей болезнью. Боялся, что может умереть худенький, вечно прихварывающий Валя, которому я в жизни не сказал доброго слова, но которого жалел, правда, по ночам, когда не видел, а только представлял его себе. Но своей смерти я не мог себе представить, попросту не верил, что умру. И, глядя в тот вечер на сияющую туманно комету, я не сомневался, что еще увижу ее не раз. И вот теперь я дошел до истории дружбы и вражды с Жоржиком.

15 сентября 1951 г.

В третьем классе мы были дружны с Жоржиком, и дружба эта все крепла. Я с ним был откровеннее, чем с другими. И однажды, к моему величайшему удовольствию и крайнему удивлению, Жоржик сказал мне, застенчиво улыбаясь, что я похож на великих людей в детстве — именно так их описывают в книгах. Помню и другой случай: в одну из суббот прихожу я к Истамановым. Жоржик сидит в зале на

диване у овального стола, откинувшись и прикрыв глаза. Услыша мои шаги, он вскочил, пошел ко мне навстречу, ласково улыбаясь. “Я прочел, что если сосредоточиться, то увидишь, где тот человек, которого ждешь”. Он был рад, что я пришел, а я был рад, что он это высказал. Но вот дружба наша дрогнула. Почему? Кто знает. Я думаю теперь, что причина была все в том же — мы неравномерно росли. И росли толчками. Жоржик вдруг вырос, а я отстал. И это раздражало его. Вместо того чтобы отойти, обидеться, я по страшному своему неумению смотреть в глаза фактам, а точнее, по слабости душевной, от страха боли, от страха одиночества продолжал бывать у Истамановых, и старшие считали, что я с Жоржиком дружу по-прежнему. И вот Истамановы-старшие предложили нашим отпустить меня с ними на лето в Красную Поляну. Денежные дела наши были плохи. Мы не собирались уезжать из Майкопа на лето. Узнав об этом предложении, папа сказал, что если никто не едет, то незачем ехать и мне. На это я, с обычной тогдашней моей легкостью на слезы, заплакал и возразил, что если останусь дома, то никому от этого легче не станет. Кончилось дело тем, что меня отпустили на таком условии: Истамановы будут записывать все, что на меня потратят, и расходы эти осенью будут возмещены папой. Когда я прибежал к Истамановым и сообщил, что меня отпустили, все были довольны, и только Жоржик смотрел в сторону и улыбался принужденно. И вот в одно раннее-раннее утро мы на простой можаре, полной сеном, которое прикрыли ковром, с корзинами и чемоданами позади, выехали в Туапсе.

16 сентября 1951 г.

Это было в первый раз в жизни, что я уехал от своих. За год до этого уезжала в Екатеринодар мама с отцом и Валей всего на несколько дней. Умирал дедушка, и все Шварцы собрались в Екатеринодар. В те времена, покупая учебники, мы все покупали и карманный календарь “Товарищ”. На первой его страничке, кроме обычных вопросов — имя, отчество, фамилия, класс, стояли еще следующие, неказенные и поэтому очень любимые нами: “Мой любимый писатель” (я отвечал в те годы: Виктор Гюго), “Мое любимое произведение” (“Отверженные”), “Мой любимый герой” (Жан Вальжан), “Мой любимый цветок” (фиалка). Остальные вопросы забыл. Календарь этот был очень любим у нас, и весь, кажется, наш класс свято заполнял вышеуказанные графы. Вся середина календаря была разграфлена по дням. И многие из нас, во всяком

случае в первые, полные благих намерений, дни учебного года, вели в этой разграфленной части свой дневник. Делал это и я. Когда мама уехала в Екатеринодар, я сразу затосковал. Мы ссорились с ней. Я безобразно грубил маме. Не было случая, чтобы мы поговорили с ней тихо, мирно, по-дружески — разве только припадок малярии моей бывал особенно силен, и мама пугалась. Но едва она уехала, как пустота и тишина в нашем доме взяли меня за сердце. И в календаре "Товарищ" безобразным моим почерком, стараясь писать помельче, я стал жаловаться на горькую мою судьбу. Изо дня в день, пока наши были в отсутствии, там появлялись записи: "Я уже начал скучать без мамы", "Осталось еще целых четыре дня до маминого приезда" и так далее, все в этом же роде, только распространеннее, чем я записываю сейчас. При моей скрытности это было удивительно. И вот мама приехала, утомленная, бледная после фургонных мучений, и мне сразу влетело, и я ответил грубостью, и записи в дневнике исчезли. На этот раз дело шло не о днях, а о месяцах, обо всех летних каникулах, но я простился с нашими легко. Уезжать к морю, а потом в горы — эта радость заставила меня забыть все. Во всяком случае, пока не наступал вечер, о маме я и не вспоминал. Итак, рано-рано утром я с Истамановыми выехал в Туапсе.

17 сентября 1951 г.

И наступил один из тех счастливых и печальных периодов роста, когда чувствуешь, что живешь, и на всю жизнь сохраняешь в душе цвет, смысл, дух этих дней. До сих пор я вдруг ощущаю иной раз то время. Недавно почувствовал я Красную Поляну 1910 года, услышав, как шумит ручей в лесу под академическим городком. Печально, что едва я подхожу к тому, что мне особенно дорого, как лишаюсь слуха и голоса. Никак не овладею собой! Из Майкопа мы выехали впятером: Василий Соломонович, Мария Александровна, Жоржик, Павлик и я. Шестым путешественником, равноправным и любимым, был Марс, черный пойнтер из завода Христофора Шапошникова. Завод не завод, но собаки его славились, и на щенят было всегда множество охотников. Ехали мы не торопясь. На длинных подъемах по пути к восемнадцатой версте мы часто уходили пешком вперед. Мария Александровна обычно оставалась на можаре, что крайне беспокоило хозяйственного, разумного и положительного пса нашего. Он метался между идущими впереди и едущими позади и всем видом своим выражал неодобрение этому беспорядку. Вот и знакомая

почтовая станция — маленький домик под большими деревьями. И, как всегда, она вместе с тем и не вполне знакома. Забор стоит не там, где помнился. Конюшни не в глубине двора, а направо от домика. И сам домик был в памяти белее и прямее — он хоть и выбелен недавно, но чуть покосился от возраста, и окна его чуть меньше, чем я ждал. Здесь мы только поили коней. У знакомого еще по поездке с Шаповаловыми родника уже стоял чей-то фаэтон. Пожилой человек в инженерской фуражке, разминая ноги, ходил, пока кучер его поил коней. Увидев Василия Соломоновича, путеец поздоровался с ним с чувством собственного достоинства, однако и с оттенком уважения. И Василий Соломонович ответил ему точно так же. И они разговаривали все время, пока мы стояли у родника, шагая взад и вперед у шоссе.

18 сентября 1951 г.

Путеец уехал раньше нас. После беседы с ним Василий Соломонович повеселел и оживился. Правда, он не стал смеяться и болтать, об этом и думать было нечего, этого и представить себе никто и не мог бы. И не потому, что он был директором и статским советником, а потому, что так уж был создан и сложен. Будь он кучером, крестьянином, рабочим — всюду он остался бы тем же несуетливым, неторопливым, внушающим уважение. Он стал улыбаться нашим шалостям (а мы шалили, опьяненные свежим воздухом), пошутил, задал нам две-три загадки. И когда мы остановились на каком-то высоком подъеме, когда белый дом шоссейного сторожа с путейской эмблемой над дверью еще раз напомнил Василию Соломоновичу о разговоре с инженером, директор поделился с нами теми новостями, которые привели его в хорошее настроение. Путеец, оказывается, был важным работником министерства путей сообщения, крупным инженером. Он ехал на изыскания. Предполагалось строить новую железную дорогу, забыл где и какую, помню только, что она должна была пересекать Главный Кавказский хребет. И я почувствовал по сдержанному оживлению Василия Соломоновича, что это радостное событие, а из рассказа, из объяснений его понял, что это задача трудная, даже как бы уэллсовская — поэзию инженерского труда мы стали ощущать из его книг в те дни. Как я теперь понимаю, радость Василия Соломоновича была вызвана и тем, что представился редкий случай порадоваться какому-то правительственному решению. Можно было не ужасаться, не болеть душой, не изумляться чиновничьей бездарности, а с чистой совестью ощутить

удовольствие. В 1935 году во время поездки по Грузии в какой-то долине в летней раскаленной мгле я увидел далеко-далеко синеватые и белые вершины Кавказского хребта. И вдруг пережил остро, как мы стояли на шоссе, а над нами белел шоссейный домик, и Василий Соломонович рассказывал.

19 сентября 1951 г.

Он, директор училища, не мог не чувствовать, что как-то принадлежит к тому самому миру, который оплачивал его, давал чины, приказывал, направлял. И когда в этом правительственном мире происходили события страшные, бросавшие мрак на всю страну и на каждого из нас, Василий Соломонович, видимо, чувствовал себя смутно, как бы виноватым. И оживлялся. С этим же оживлением рассказывал он через несколько дней о том, как строилось шоссе от Новороссийска до Сухума, впоследствии получившее прозвище "Голодного". Этот, как рассказывал Василий Соломонович, очень разумный и широкий проект принадлежал министру со странной фамилией Абаза. Крестьяне из голодающих местностей, массами устремившиеся на юг (было это, помнится, в 1891-1903 годах). Рассказ Василия Соломоновича кончался так, как обычно кончались в те времена рассказы о талантливых русских государственных людях: Абаза вынужден был выйти в отставку из-за происков его бесчестных врагов, холодных карьеристов. Широкий проект остался незавершенным. (Сейчас заметил, что не дописал фразу: крестьяне из голодных местностей, массами устремившиеся на юг... Кончаю: ...получили работу, а государство — отличные дороги.) Абаза предполагал от Красной Поляны через Главный Кавказский хребет повести шоссе до Майкопа. Но вот он вышел в отставку, а в горах так и зарастает и осыпается дорога через перевал. Я очень удивился, прочтя в мемуарах Витте (которые попались мне в 21-м году), что Абаза вышел в отставку после какой-то темной истории и особенными дарованиями не отличался. В первую ночь пути мы ночевали за какой-то станицей, отъехав от шоссе в сторону, к ручью. Жевали лошади, звенели цикады. Казачка принесла нам кувшин молока, и Марс с ревом бросился ей прямо на грудь. Казачка вскрикнула, но кувшин не уронила. Мы выехали на рассвете и скоро увидели леса с перевала.

20 сентября 1951 г.

В Истамановской семье, в первой, которую увидел я вплотную, изнутри, пожив в ней, поражало спокойствие и ровное, скорее веселое настроение. За два с лишним месяца никто не повысил голоса (я говорю о старших), никто не ссорился, не было страха, непременного у нас за обедом, что натянутое молчание перейдет в откровенную ссору. В то лето Жоржик решил, что он будет вегетарианцем. И Мария Александровна, несмотря на то что это несколько усложняло им жизнь, особенно в дороге, посчиталась с его решением как с решением взрослого человека. И Василий Соломонович отнесся к вегетарианству Жоржика спокойно и с уважением. Это меня радовало. Зато их расчетливость, когда учитывалась каждая трата, когда расплачивалась Мария Степановна всегда печально, с выражением: “Ох, не переплачиваю ли я”, — меня огорчала. Много позже оценил я умение считать, которое так и не далось мне до сих пор. Благодаря этому двигались мы так медленно, на простой можаре, в Туапсе. Но эта медленность никак не огорчала, а радовала меня. Ночевки то в лесу, то на постоялом дворе, медленно разворачивающийся путь, знакомый и каждый раз новый, речки, мосты, и вот, наконец, Индюк-гора — значит, Туапсе уж близко. Шоссе идет то по горе, и мы, видя внизу большую долину с речкой и проселочной дорогой, осуждаем инженеров которые неведомо зачем, загнали шоссе так высоко лошадям на горе, то опускается вниз. И вот последний подъем. Вот дорожка, ведущая к долменам. Вот памятный домик моего сурового учителя рисования, потомственного дворянина. И домик оказывается и таким, и не совсем таким, каким запомнился. Забор ниже. Крыша зеленая, а не красная. Повернут к шоссе не под тем углом. Еще один поворот шоссе, и мы видим море, и я испытываю ту самую радость, которую обрел в прошлом году и испытывал потом, увидя море, всю жизнь.

21 сентября 1951 г.

Если первые школьные годы я ничего не приобретал, а только терял, то за последний 1909/10 г. я все-таки разбогател. Как появляются новые знания —знание нот, знание языка, у меня появились новые чувства — чувство моря, чувство гор, чувство лесных пространств, чувство длинной дороги. И чувства эти, овладевая мной, переделывали на время своего владычества и меня целиком. Я у моря был не тот, что в Майкопе, а в горах — не тот, что у моря. Я

горестно удивился, приехав в Сочи в 1946 году и заметив, что я тот же, каким был в Ленинграде. Правда, через несколько дней чувство приморской жизни охватило меня, и я утешился. Я писал немного и плохо, но умение меняться, входить полностью в новые впечатления или положения было началом настоящей работы. Чувство материала у меня определилось раньше чувства формы, раньше, чем я догадался, что это материал. Но я понимал смутно и туманно, что какое-то отношение к литературным моим не то что занятиям, а мечтаниям — имеет это недомашнее, небудничное состояние. В Туапсе на этот раз мы остановились, как я мечтал прошлым летом, у самого моря, в недорогих меблированных комнатах. Мы заняли большой номер с двумя кроватями. Взрослые спали на кроватях, а нам постелили на полу. В первую же ночь я, к удивлению и даже некоторому испугу старших, встал и, волоча за собой одеяло, пошел к двери. “Куда ты?” — спросил Василий Соломонович. “Спать”, — ответил я. Утром Василий Соломонович, рассказав мне это, спросил, улыбаясь: “Значит, бывает, что так хочется спать, что это даже снится?” Прожили мы тут на этот раз неделю или полторы. Мне-то кажется, что больше, я делаю поправку на тогдашнее ощущение времени. Мы купались и катались на лодке и все это с участием Марса, который, как выяснилось на лодке, не переносил морской качки. Однажды мы с Жоржиком ловили бычков с камней по дороге в порт.

22 сентября 1951 г.

Примерно возле этого же места однажды днем мы увидели что-то черное, бьющееся в волнах, саженях в пятидесяти от берега. На мгновенье всем нам, и Василию Соломоновичу тоже, показалось, что это чьи-то ноги в черных сапогах. Человек тонет! А вокруг было пустынно, как всегда среди жаркого летнего дня в маленьком приморском городе. Мы стали стучать в двери барака, гда жили рабочие-турки. Вышел старый-старый седобородый турок. Он с трудом понял нас и спросил, в штанах ли человек, который тонет? Растерявшись, мы ответили, что видели только сапоги тонущего. Старик принял наш ответ за отрицательный и сказал: “Значит, это не наш человек. Наши купаются в штанах”, — и исчез в бараке. Мы снова бросились к берегу. И вдруг увидели сапоги уже правее и ближе к берегу и поняли с облегчением душевным, что это спины дельфинов. В прошлом году я их почему-то ни разу не видел и не признал. И вот пришел день нашего отъезда. Пароход РОПИТ’а, то есть

Русского общества пароходства и торговли, как было написано мелом на черной доске возле агентства, “ожидался” в час ночи. Около часу нас разбудили. Мы вышли на темную улицу. Дрожь пробирала меня, как бывает даже теплой южной ночью, когда тебя поднимут с теплой постели и заставят выйти на улицу да еще спешить куда-то. Когда мы вышли из своих меблированных комнат, пароход дал первый гудок. Это не смутило нас. До порта — рукой подать. Но не успели мы дойти до камней, с которых ловили бычков, как раздался второй гудок, а когда добрались до пакгаузов — третий. И когда мы пришли на место, пароход уже выходил из ворот, образуемых волнорезом и стеной мола, большой, весь сияющий огнями. Произошло нечто неслыханное. Пароход пришел раньше срока и вместо обычных двух-трех часов простоял всего восемь минут. Василий Соломонович сердился и хотел жаловаться, но поздно.

23 сентября 1951 г. В те времена пассажирские (они же грузовые) пароходы принадлежали двум обществам — вышеупомянутому РОПИТ’у и РО — Российскому обществу. Общественное мнение утверждало, что пароходы РОПИТ’а лучше. И мы свято верили в это. Нам казалось, когда мы бегали в порт любоваться на прибытие пароходов, что сразу можно определить, который из них чей. У РО пароходы были, как нам казалось, погрязнее, и приставали они не столь щеголевато, и пассажиры попроще. Билеты I и II классов тогда продавались с полным пансионом что ли, не знаю, как это сказать проще. Словом, заплатив за билет, ты оплачивал завтрак, обед и ужин в ресторане парохода. Так вот, в РО и кормили хуже. Оба общества имели свои агентства в пунктах, куда приставали пароходы. И вот на черной доске у агентства РОПИТ’а появилась надпись мелом: “Пароход (забыл название) ожидается во вторник около четырех часов дня”. На этот раз никаких нарушений установившихся обычаев не произошло. Около четырех мы уже были на пристани со всем багажом. О пароходе ни слуху ни духу. Целый час ходили мы по высокой стенке мола и увидели наконец далеко-далеко направо, у самого горизонта, синеватую тень, черточку. Она росла не слишком быстро, но и не слишком медленно, и скоро у агентства далеко-далеко зазвонил частыми ударами колокол. Пароход подходит. В воротах порта он показался нам огромным. Тяжело развернувшись, он приблизился к стенке мола. Это сопровождалось звонками на мостике, стуком

якорной цепи. С мола опустили канатные подушки, и пароход стал у пристани. Полетели концы, которые привязали к чугунным тумбам. Я глядел, и меня пробирала та же самая дрожь, что ночью. Пароход! Я поеду на пароходе. Мы вошли по сходням на палубу.

24сентября 1951 г. И вот я приобрел новое чувство — чувство парохода. Мы ехали с билетами второго класса, и поэтому помощник капитана указал нам ход на корму. Погода была тихая, и в порту море было совсем уж неподвижное, и все же палуба как бы дышала под ногами. В круглые иллюминаторы мы увидели неподвижную сейчас машину далеко внизу, в трюме. Нет, мы увидели ее не в иллюминаторы. Мы увидели ее в застекленные лежачие дверцы, прикрывающие ход в трюм, в машинное отделение. Нет, не было там трюма, ведущего к ней. Это, вероятно, был какой-нибудь вентиляционный колодец. Из него тянуло жаром. Виднелись какие-то поршни, какие-то перила, огромное маховое колесо. Стеклянные двери лежали на высокой лакированной раме, сияли никелированными перекладинами. И все производило такое же впечатление чистоты, блеска, нарядности. В такое же открытое четырехугольное отверстие увидели мы накрытые белоснежными скатертями круглые столы ресторана с цветами в длинных стеклянных вазах. На верхней палубе стоял киоск с книгами, журналами, открытками. На одной из открыток был изображен наш пароход. Теперь мне кажется, что выехали мы часа в два дня. Я обошел весь пароход. Палуба третьего класса была набита людьми. Иные спали на крышке трюма, иные обедали, и я позавидовал грекам, которые ели мою любимую копченую барабульку. Ах, как плохо я рассказываю сегодня! Ведь пароход еще стоит в Туапсе! Идет погрузка. Крышка над трюмом открыта. Стучит лебедка. Тюки, обшитые рогожей, поднимаются вверх, охваченные цепями, под грохот лебедки поворачиваются, повисают над трюмом и ползут вниз.

25 сентября 1951 г. На пароходе только новые пассажиры, туапсинские, еще не обосновавшиеся на палубе и в общей каюте третьего класса. Остальные же на берегу, пошли по лавочкам запастись провизией, поглазеть на город. Пароход будет стоять долго. И прежде чем раздался долгожданный третий гудок, они успели вернуться, мы —

оглядеть весь пароход и соскучиться, а нарядные дамы с кружевными зонтиками — разошлись по каютам. Довольно. Я не знаю, запомнил я все это в первый раз или рассказываю впечатления от всех пароходных поездок и впадаю в недостоверную и бесформенную болтовню. О глухота и немота! Пароход загудел оглушительно в первый раз, потом во второй. Гора грузов на пристани исчезла. Замолчала лебедка. Третий гудок. Убраны сходни. Меня пробирает дрожь — отплываем! Звонят звонки на капитанском мостике. Прежде чем я успел понять, как это случилось, — между пароходом и пристанью легла полоса воды. Под кормой закипела вода, заходила белыми и синими плоскими, твердыми, сбитыми винтом волнами. Это правда, что вода показалась мне тогда же твердой. И мы с кормы долго следили за белой, синей и белой дорогой, пенящейся посреди синего, искрящегося моря. Но дорогу эту увидели мы позже. А сначала вода заходила под кормой, палуба еще явственнее задышала. Я увидел знакомый и незнакомый мол, который разворачивался и уходил медленно в сторону. Вот волнорез, который с палубы кажется низким. А вот ворота — площадка с фонарем на конце мола и возвышение на волнорезе, и мы выходим из порта, и бело-синяя водяная полоса показывает, как мы это сделали. И мы увидели город знакомый и незнакомый с парохода, белую дачу Перцова, лысые и покрытые лесом горы, шоссе, то прорезывающееся тонкой белой лентой, то исчезающее среди деревьев. Пароход шел к Сочи.

1 октября 1951 г.

И вот тут-то мы принялись бродить по теплоходу. Нет, это был пароход, но он казался мне тогда очень большим. Когда в 36-м году я ехал на теплоходе, он мне, хоть и был раза в два больше парохода 910 года, не казался таким. Ну, ладно, довольно бормотать, попробую говорить. За книжным киоском я увидел стройного молодого человека с синими глазами. И почтительно восхитился. Это был артист по фамилии Дубенский из труппы Ростовцева, которая играла в нашем Пушкинском доме. Тут я должен сделать отступление. Приезд актерской труппы в Майкоп всегда был событием. Когда после репетиции актеры выходили в городской сад мы ими любовались. Лживоспокойные, лживодостойные лица, часто у мужчин — водянистые выпуклые глаза, бритые лица (в те времена большая редкость), модные шляпы, яркие галстуки — все выделяло, отделяло гостей от майкопских будней. Это шагали представи-

тели праздника, искусства, того мира, где люди знамениты, где из них — о, чудо, о счастье, о мечта — что-то вышло. После первых же спектаклей мы знали все: кто в труппе талантлив, кто плох, кто какой человек. Нюся Румянцева уже кому-то переписывала роли, кому-то доставала гомеопатические лекарства, суфлировала и неустанно рассказывала о театральных делах и происшествиях. И вот в то лето пронесся слух, что Пушкинский дом взял известный провинциальный антрепренер Иван Ростовцев. (Не в то лето, а в ту зиму.) Он поставил условием, чтобы город провел в театр электричество, заменил занавес, произвел еще какие-то переделки. Он сам приехал следить за всеми этими работами. Вскоре мы узнали, что у Ростовцева ужасный характер, что в каждом городе сезон у него начинается мордобоем, что прозвища его: Ванька Каин и Ванька-Мертвый глаз. Тем не менее он считался отличным режиссером и добросовестным хозяином.

2 октября 1951 г.

Еще недавно этот самый Ростовцев был худруком Ярославского театра. Он приобрел звание заслуженного деятеля искусств, но сохранил прозвища Ванька Каин и Ванька-Мертвый глаз. И по-прежнему он ссорится с актерами, но считается хорошим худруком и режиссером. Кажется, он и сейчас в Ярославле. А в 1910 году в Майкоп он привез и в самом деле хорошую труппу. Помню, как за утренним чаем взрослые оживленно и мирно рассказывали, я хотел сказать, обсуждали состоявшееся вчера открытие сезона. У нас это было событием — мирный разговор — и редкостью, что мама хвалила кого-то. Восхищалась и переменами, которые сделал в театре Ростовцев. Скоро я увидел в Пушкинском доме “Без вины виноватые”, “Плоды просвещения”. На первом же спектакле сподобился и я — Ванька Каин на меня напал. У меня была привычка снимать и надевать фуражку и вертеть ее в руках. И я в антракте, повертев фуражку в руках, надел ее на голову. Было это в проходе у задних скамеек (стулья шли примерно до десятого ряда). И вдруг на меня налетел быстрый, тощий, рыжебородый человечек с лихим и отчаянным выражением во всей фигурке. Он свирепо, шипя от возмущения, приказал мне снять фуражку. И я ужасно обиделся. И послушался. И не успел я придумать ответа обидчику, как он уже умчался, откинув назад голову, вперед по проходу. И кто-то сказал с интересом и уважением: “Ростовцев, смотрите!” В труппе были такие актеры: Ермолов-Бороздин, его жена Лядо-

ва, Пармский, Борисова. Остальных забыл. Дубенский — вот еще кто. Из-за него и начал я свой рассказ. Лядова играла в Москве у Незлобина два или три сезона. Она была маленького роста. У нее была некрасивая привычка открывать рот, когда она слушала партнера. В жизни она была бледна, задумчива и все ежилась, как будто мерзла. Я часто видел ее — она с мужем поселилась в доме возле Капустиных, где жили некогда Ризены. Это была, несмотря на некоторые недостатки, чисто внешние, очень хорошая актриса. Я запомнил ее особенно хорошо в роли Норы. Впрочем, это было годом позже.

4 октября 1951 г.

Итак, о труппе Ростовцева и Пушкинском доме. Муж Лядовой, Ермолов-Бороздин, был высок и осанист. Мои цинические соученики потешались над разницей в росте этих супругов и вечно строили предположения об интимной стороне жизни их. Он был герой и характерный. Его (как и ее, впрочем) взрослые обвиняли в однообразии. Впрочем, уже в конце сезона. Пармский, как я уже писал когда-то, поразил меня правдивостью игры своей в роли Незнамова. Он так трогательно попросил у Кручининой поцеловать руку, что я едва не заплакал. Хороша была и Борисова в роли Коринкиной. Она была изящна в этой роли, что меня удивило. Она как-то тронула меня своим изяществом в городском саду, ласково положив руку на плечо какого-то знакомого. Вру из лени. Она вела велосипед. Кто-то из ее знакомых догнал ее. И Борисова, обернувшись и просияв, положила руку на его руку, которую он положил на руль велосипеда. Всегда очень трудно описывать движение. Но это движение было так ласково и женственно, что я его запомнил на всю жизнь и боялся сейчас описывать, хотел упростить, пожалуй, не только из лени, но и от страха испортить неумелым прикосновением. И вот она была изящна в роли злодейки. Но оставалась злодейкой. Это я видел в первый раз. Дубенского хвалили безоговорочно. О Пармском говорили, что он отличный любовник-неврастеник — новое амплуа.

5 октября 1951 г.

Как Ростовцев ссорился и даже дрался с кем-нибудь из артистов в каждом сезоне, так и Пармский жил со своими женами бурно — со стрельбой, самоубийствами и покушениями на убийство, словом, желая оправдать свое звание любовника-невра-

стеника. В середине сезона очаровавшая меня Борисова покушалась на самоубийство, и ее возили в больницу. А о Дубенском Нюся рассказала вполголоса, со странной улыбкой, что хозяева собираются отказать ему в комнате. Он притащил откуда-то кошку и упражнялся в стрельбе, расстреливая несчастное животное. Мама возмутилась от всей души. А я со своим тогдашним уважением к успеху и таланту, с суеверным почтительным уважением просто не поверил в этот рассказ. И вот вдруг я увидел этого самого Дубенского на пароходе. К этому времени он поссорился с Ростовцевым и ушел из театра. (Поссорился и даже, кажется, подрался с Ростовцевым и Пармский.) Увидев Дубенского на пароходе, я подошел к нему. Как хватило у меня на это смелости, я не знаю. Вероятно, я был в опьянении от морского воздуха, от счастья и лета. Я сказал Дубенскому, что я из Майкопа, сын доктора Шварца, и что мне очень нравится, как он играет. К моему величайшему удивлению, недосягаемый артист ужасно обрадовался моей робкой похвале. Его прекрасные синие глаза благосклонно уставились на меня. Он сказал, что знает моего отца. Что Майкоп очень хороший, театральный город. Что он много играл и удовлетворен сезоном, но утомился и едет отдыхать. В своих блужданиях по пароходу я открыл еще интересных людей. Рослые, сытые, ладные немцы в отличных светлых костюмах с одинаковыми значками в петлицах, с биноклями и "кодаками" через плечо ехали на нашем пароходе. Василий Соломонович объяснил, что это члены какого-то туристского клуба.

6 октября 1951 г.

Это были настоящие, а не русские, немцы, о которых рассказывалось столько смешных анекдотов и из которых уважали мы одного Бернгарда Ивановича. Это были немцы заграничного образца, не делавшие смешных ошибок в русском языке, потому что они и вовсе не говорили по-русски. Когда мы подошли к Сочи, недалеко от нас снимался с якоря встречный пароход РОПИТ'а. Немец, один из участников путешествия, со значком в петлице, в светлом, хорошо пригнанном летнем костюме, спросил что-то у моего соседа в черкеске без погон, светловолосого, в пенсне, горбоносого. Когда господин в черкеске не понял его, он повторил свой вопрос по-французски. Очевидно, вопрос касался встречного парохода. Потому что, когда немец стал повторять свой вопрос в третий раз, господин в черкеске торопливо ответил: "Уй, уй же

компран! Аус Батум, аус Батум", — почему-то делая ударение на первом слоге. Видимо, немец спрашивал не об этом. На лице его я не заметил удовлетворения. Но вопроса своего он не повторил. Ответ человека в черкеске показался мне очень смешным. А я к этому времени приобрел несколько сатирическое направление ума. И я столько раз об этом ответе рассказывал без всякого, впрочем, успеха, что он врезался мне в память навеки. И я до сих пор, когда мне что-нибудь втолковывают, отвечаю: "Уй, уй же компран". Слова же: "Аус Батум, аус Батум" — добавляю в уме. Очевидно, помимо всего прочего, душа в ту первую поездку на пароходе была так полно открыта, что впечатления отпечатывались на всю жизнь. Ответ... Впрочем, мне надоело писать об ответе. В этот же день я впервые в жизни увидел, как немцы смеются. Они начали смеяться на палубе, с хохотом вбежали в салон и упали на диван, хохоча, изнемогая от хохота. Я смотрел на них с палубы в верхний люк, подобный тому, что стоял над машинным отделением. У нас решили бы, мама сказала бы, что такой смех не к добру. Но немцев не смущали, видимо, подобные мысли.

7 октября 1951 г.

Когда мы подходили к Сочи, уже близился вечер, солнце собиралось заходить. Я увидел знакомую по открыткам и рекламным проспектам гостиницу "Кавказская Ривьера" с длинной, но невысокой лестницей, ведущей (как казалось с парохода) в море. Лестница тянулась вдоль всего корпуса гостиницы. Мола в Сочи не было. Груз и пассажиров подвозили на.., почему-то мне кажется, что просторные лодки эти тоже называли в те дни фелюгами, как парусники, приходившие из Трапезунда и Константинополя. Погрузка затянулась. Когда мы уходили от Сочи, уже наступила черная ночь с очень видным Млечным Путем и массой звезд. И вскоре на меня напал сон, непобедимый, сладкий. Сидя на диванчике у борта, я засыпал, и просыпался, и снова погружался в дремоту, сам удивляясь силе, с которой она меня охватывала. В один из кратких промежутков бодрствования я увидел Василия Соломоновича, который стоял надо мной, улыбаясь. "О сон на море, диво-сон", — сказал он, и я подумал: "Ага, значит, это не простой сон, а морской напал на меня. Он даже имеет название". И я ничуть не удивился этому. Уж очень он был непохож на тот, которым я засыпал до сих пор. Это необыкновенное и приятное забытье продолжалось до самого Адлера. Тут я проснулся, и дрожь

опять напала на меня. Вдоль крутого и неожиданно огромного черного пароходного бока спустились мы к фелюге. (Вернее было сказать: поперек корабельного бока.) Пароход не качало, но фелюга широко раскачивалась на волнах. Два турка схватили багаж, потом нас за руки и рассадили по местам у кормы вдоль бортов. Потом гребцы навалились на весла, и пароход с освещенными иллюминаторами еще раз показался мне неожиданно высоким и большим и стал медленно, очень медленно уменьшаться. А огни берега — их было ввиду позднего времени совсем немного — стали медленно, очень медленно приближаться. Только тут я понял, почему хвалят пловцов, плавающих до парохода на рейде.

8 октября 1951 г.

Мы пошли по темным улицам Адлера. После Туапсе город показался неожиданно плоским, и возле какой-то двухэтажной, но очень скромной [гостиницы], похожей на обыкновенный сияющий дом с жильцами, мы остановились. После коротких переговоров коридорный со свечой проводил нас во второй этаж в большой номер с двумя кроватями. Старшие легли на кроватях, а мы на полу. Бедный Марс на пароходе ехал в клетке, и мы ходили навещать его на носовую часть парохода. Бедный пес жаловался и пробовал, сгибая лапку, не то затянуть нас к себе в клетку, не то удержать возле. На фелюге его укачало, и он в гостинице вел себя тихо-тихо, как больной. Я думал, на пароходе, что уж если доберусь до постели, то усну сразу, но всю пароходную сонливость как рукой сняло. Я уснул довольно скоро, но сон на море быстрее и непобедимее охватывал меня, и я еще глубже уверовал в то, что морской сон — особое явление, имеющее свое название. Проснулись мы рано, и я убедился, выйдя на балкон, что ночное ощущение не обмануло меня — Адлер лежал на плоском берегу. Горы тут отодвинулись далеко вглубь, но зато и угадывалось сразу, что это настоящие горы. Вершины их скрывались в облаках. А некоторые поднимали головы свои и над облаками. Вторая особенность Адлера заключалась в том, что море тут казалось более синим, чем в Туапсе. Вскоре пришел договариваться владелец брички, пожилой грек, с которым Василий Соломонович вскоре заговорил по-грузински. Второе “вскоре” не нужно. Выяснилось, что грек владеет четырьмя языками: грузинским, греческим, армянским и русским, то есть одним больше, чем Эразм Роттердамский, о котором мы проходили только что. Того называли

трехъязычным чудом. Договорившись, мы стали сносить свой багаж на бричку. Она была несколько просторнее почтовой, и над ней возвышался плоский навес, или тент, украшенный бахромой, укрепленный на двух штангах. И мы отправились в путь.

9 октября 1951 г.

Кони бойко побежали по широким, немощеным, заросшим ажиной у заборов улицам Адлера. Магазины здесь так же мало походили на магазины, как наша гостиница на гостиницу. Вдруг один из беленьких домиков в садике обнаруживал вывеску: “Бакалейная торговля Пирцхалава”. Или, что еще удивительнее: “Аптека”. Вскоре мы увидели церковь, во дворе которой стоял маленький, старенький домик. И Василий Соломонович рассказал нам, что в этом домике жил декабрист Бестужев-Марлинский, когда он был сослан на Кавказ. И я долго верил этой легенде, даже когда уже прочел, что Марлинский был убит при взятии мыса Адлер. Мы выехали в долину Мзымты, которая перед впадением в море разбивается на несколько рукавов. Весной и при сильных дождях в верховьях реки рукава эти разливаются в единый поток, поэтому над ними идет самый большой на шоссе [мост] в четыре, кажется, пролета. К нашему огорчению, мост этот остался вправо от нас по дороге в Гагры. А мы свернули на Краснополянское шоссе, вверх по течению Мзымты. И вот начался длинный день, дорожный день, в течение которого переживаешь несколько жизней. Плоской безлесной долиной мы ехали утром. И вот мы вступили, наконец, в высокие леса. Липы. Каштаны. Дубы, дубы. Грек остановил коней и приказал со своей суховатой и строгой повадкой, чтобы мы вылезали и шли смотреть самшитовый лес. А не хотим — как хотим. И мы захотели. И не пожалели об этом. Мы вошли в нечто серебристо-зеленое — так мне представляется это теперь. Неширокие и невысокие стволы кавказской пальмы были перевиты лианами и сухим длиннобородым мхом. Это был не лес, а морское дно. Чудо. А грек говорил нам, что это очень красиво, и суровое лицо его становилось все добрее и добрее. И он открыл нам, что это дерево тяжелое, как железо. Тонет в воде. Нож его не берет. Чудо! Потом он приказал садиться.

10 октября 1951 г.

И мы снова поехали лесом высоким, густым, южным лесом. Иногда мы проезжали селения. О приближении их говорили кукурузные поля. Перед самым селением на полосатом

столбе стояла доска с названием селения и с указанием числа жителей мужского и женского пола. И женщин в селениях, к нашему удивлению, всегда было несколько больше, чем мужчин. И Василий Соломонович объяснил нам, что женщин вообще на земле несколько больше. Вскоре грек остановил коней, уже не спрашивая нас. Вообще он становился все добродушнее, знакомился с нами. Уже не приказав, а предложив нам выйти, он отвел нас в сторону от шоссе. Черный провал зиял между поросшими мхом камнями. И грек сообщил нам, что это пещера, у которой нет дна. И он взял тяжелый камень и бросил вниз в провал. И мы не услышали удара о дно. И все мы бросили камни в провал, и ни один, казалось, не долетал до дна. В полдень мы доехали до постоялого двора, стоявшего на полпути между Адлером и Красной Поляной. Влево — кукурузное поле. Вправо — жиденькая галерея со скамейками и столами, за которыми проезжающие пили чай. Рядом с демократическими адлеровскими бричками стоял франт — сочинский фаэтон рессорный, с бархатными сидениями. У него не было откидного верха, как у майкопских фаэтонов. Над ним возвышался точно такой же плоский тент, как над нашей бричкой, но он был отделан внутри алым бархатом, как и его диванчики. Здесь мы прожили часа два — лошади ели овес в тени огромного грецкого ореха. И вот мы двинулись в путь — отдохнувшие, с освеженным вниманием, будто начинали его сначала. Дорога все заметнее шла вверх. У проселка, идущего влево от шоссе, грек остановился и посоветовал нам поехать к нарзану. Мы согласились. По сырой дороге между упавшими стволами огромных деревьев, по дикому лесу проехали мы шажком версты две.

11 октября 1951 г.

И вот мы увидели ручеек, бежавший по красноватому, рыжеватому ложу. Бричка остановилась в лесной тишине. И мы подошли к бурлящему и кипящему четырехугольному родничку, откуда и брал начало ручеек. На плоском камне возле родника кто-то написал зеленой масляной краской: “Источник Елочки”. Мы попробовали нарзан. Он был сильно газирован — впрочем, так, кажется, нельзя сказать. Это слово, кажется, обозначает искусственную газировку. Скажем так: источник был богат углекислым газом. Холоден так, что ломило зубы. Но вид воды портило входящее в нее железо. Вот чем и объяснялся цвет русла, по которому бежал ручеек. Впрочем, это объяснил нам Василий

Соломонович, и нам железистый привкус понравился. И мы вернулись на шоссе, и почти тотчас же началась новая жизнь — горная часть нашего пути. Внизу, далеко внизу, как бешеная, клубилась в узком ущелье Мзымта. Высоко-высоко над нами шла крутая, как стена, скала. Шоссе было ступенькой, единственной ступенькой, вырубленной посередине этой высокой каменной горы. По ту сторону ущелья за Мзымтой шел лес, иногда близкий и ясно видимый, а иногда затуманивающийся. Облака проходили между нами и тем недоступным лесом. Там никто не жил. Там бродили олени, медведи, дикие козы. Мы их не видели, но грек знал это. Вот он придержал коней. Высоко-высоко над нами, саженях в ста, торчал казавшийся отсюда, с шоссе, тоненьким, как спичка, вбитый в скалу лом. Кто говорил, что рабочий, вбивший его, сорвался в пропасть, кто рассказывал, что лом оставлен для того, чтоб проезжающие знали, на какой высоте приходилось тут работать туркам. Вот вдруг мы увидели черный свод — шоссе повернуло в тоннель. Грек перекрестился, и мы въехали в полумрак. Ручьи журчали в тоннеле. И вот мы снова на воле.

12 октября 1951 г.

Мне кажется теперь почему-то, что в тоннеле стоял каменный иконостас, почерневший, без иконы. Здесь, кажется, был образ богоматери, который сгорел от лампадки или от свечки, а новый поставить так и не собрались. За тоннелем потянулся вновь горный путь с Мзымтой, ревущей внизу, скалами над головой, крутыми лесистыми горами по ту сторону реки, то ясными, то подернутыми дымкой. Но вот горная, вернее, скалистая часть пути кончилась. Мзымта все еще ревела далеко внизу, но к ней шел теперь более пологий, поросший лесом и кустами склон. И мы ехали теперь в лесу среди высоких дубов. Или это были клены? Помню, что листья были резные, деревья высокие, стволы темные, чаща густая по-южному. Верстовые столбы на Краснополянском шоссе были совсем не похожи на туапсинские. Между Майкопом и Туапсе столбы стояли деревянные, действительно столбы в сажень вышиной, а тут были не столбы, а железные палки с металлическими же таблицами с цифрами. Между Адлером и Красной Поляной было, кажется, пятьдесят две или пятьдесят четыре версты. И вот табличка на железных верстах стала показывать 40, с одной, и 12, с другой, 45 — 7. Появились признаки жизни на противоположной стороне Мзымты. Мы увидели деревянный мост — не умею

описать его, — сложенный явно местными жителями с одним расширяющимся бревенчатым устоем, идущим до противоположного берега. Два всадника скакали по мосту. Версты за три до Красной Поляны горы отодвинулись от шоссе. Пошли заросшие папоротником отлогие овраги. По слухам, нет, по преданию от папоротника и получила свое название Красная Поляна. Греки, которым предложили поселиться в этих местах, пришли сюда осенью, когда папоротник красен. Мы увидели скоро знакомые нам признаки близости селения — кукурузные поля, и вот Красная Поляна открылась перед нами. Одна широкая улица, церковь в стороне, разбросанные дачи и кирпичный высокий двухэтажный “Охотничий домик”, принадлежащий царской семье.

13 октября 1951 г. На доске (у въезда в селение стоял, как всегда, столб с доской) мы прочли название селения и изумились. Оказывается, Красная Поляна носила совсем незнакомое имя: город Романовск. Но управлялся этот город как селение, адресом новым никто не пользовался, о нем и не говорили — поэтому мы прочли это имя с таким удивлением. Я вчера не совсем верно написал об “охотничьем домике”. Можно подумать, что он стоял здесь же, в селении. Нет, он стоял на горе, над Красной Поляной. Его кирпичные стены краснели в зелени. И вот мы въехали на главную и единственную улицу селения (остальные дома, повторяю, стояли вразброд). Здесь мы сразу нашли домик у высокого грека, худо говорящего по-русски. Впрочем, его тихая жена говорила по-русски еще хуже. Во дворе домика стояло несколько черешен, позади теснилась кукуруза. Хозяин жил с семьей, как и подобает дачевладельцу, в сарайчике, тут же во дворе. Когда мы выходили из дачки, то перед собою видели гору Ачишхо. Эта очень красивая гора со множеством скалистых верхушек замыкала просторную яснополянскую долину с одной стороны. Прямо против нее по ту сторону Мзымты возвышался воистину уж массив — гора Аибга, со спокойными очертаниями, но внушительная. Вот уж гора так гора. Идя на почту или в лавочку, мы видели Главный Кавказский хребет со снеговыми вершинами. Вот тут я могу напутать. Мы видели как будто гору Псеашхо, а за перевалом вершины Фишта и Аштена. До этих гор было много дальше, чем до Ачишхо или Аибги, но отроги их доходили до самой Красной Поляны. Селение было необыкновенно богато ключевой водой. Родники, свободно

бегущие или взятые в камень, попадались на каждом шагу. Утром мы бежали умываться к роднику, и я сейчас вдруг ощутил особую свежесть утра, воды и увидел мыльную пену в ручье.

14 октября 1951 г.

Летом 1910 года в Красной Поляне я стал прихварывать. Очень легко. Прежде всего еще в дороге на меня напал кашель. Я закашливался до слез, что очень огорчало и тревожило Марью Александровну. Потом на губе у меня высыпала лихорадка, да какая! Вся верхняя губа у меня была обметана. Ни разу ничего подобного со мной не случалось. Но зато дорогой со мной произошло следующее. Я успел полюбить приподнятое, поэтическое душевное состояние. Но в последнее время в городе я как бы отрезвел. А в дороге это состояние вернулось ко мне. Несколько раз, пока ехали под скалами, проверял я себя. Есть оно? Есть. Все хорошо. И утром, умываясь, я чувствовал его. И вечером, засыпая. Но не писал. Стеснялся.

15 октября 1951 г.

Я пропустил, чувствую, подойдя к рассказу о лете в Красной Поляне, весьма важные обстоятельства. Я не успел рассказать, что мы читали в то время. К четвертому классу отступило увлечение каменным веком. “Руламан” стал воспоминанием прошлого. На первое место вышел Уэллс. “Борьба миров”, “Машина для передвижения во времени” — вот два первых романа Уэллса, которые я прочел. В первом поразили космические впечатления, уже сильно подготовленные тем летом, когда впервые с помощью Сергея Соколова я увидел лунный ландшафт. И еще более — ощущение, похожее на предчувствие, которое возникало, когда в мирную и тихую жизнь вдруг врывались марсиане. Одно время мне казалось, что Уэллс, вероятно, последний пророк. Бог послал его на Землю в виде английского мещанина, сына горничной, приказчика, самоучки. Но в своего бога, в прогресс, машину, точные науки, он верил именно так, как подобает пророку. И холодноватым языком конца прошлого века он стал пророчествовать. Снобы не узнали его. Не принимали его всерьез и социологи, и ученые. Но он пророчествовал. И слушали его, как и всякого пророка, не слишком внимательно. А он предсказал нечто более трудное, чем события. Он описал быт, который воцарится, когда придут события. Он в тихие девяностые годы описал эвакуацию Лондона так, как

могли это вообразить себе очевидцы исхода из Валенсии или Парижа. Он описал мосты, забитые беженцами, задерживающими продвижение войск. Он описал бандитов, которые грабят бегущих. И, читая это, я со страхом и удовольствием (тогда) предчувствовал, что это так и будет и что я увижу это. А в “Машине для передвижения во времени” такое же слишком уж сильное впечатление произвели на меня морлоки, живущие под землей.

16 октября 1951 г.

Когда я перечитывал этот роман во время последней войны, мне казалось, что их подземелья ужасно похожи на бомбоубежища, а морлоки — на побежденные народы. Их ненависть к выродившимся победителям казалась убедительной. Но все это пришло позже, все эти рассуждения. Тогда мы восхищались Уэллсом и проникались его верой во всемогущество науки и человеческой мысли бессознательно. Сознательно же мы любили простоту и силу его выдумки. И тон — простой, убедительный, бытовой, отчего чудеса казались нам еще более поразительными, — мы оценили уже тогда. Восхищались мы и рассказами Уэллса. Примерно в это же время (а может быть, годом позже) папа выписал мне журнал “Природа и люди” с приложением — полное собрание сочинений Конан-Дойля и половина полного собрания сочинений Диккенса. Вторая половина шла приложением к журналу будущего года. Тут мы прочли впервые фантастические и исторические вещи Конан-Дойла. Оранжевая с черным, похожим на решетку узором и серая с голубоватым оттенком и портретом Диккенса в медальоне — таковы были обложки приложений. Помню радость, с которой я вынимал их из бандероли. Впоследствии журнал стал давать еще одно приложение: ежемесячный альманах “Мир приключений”. И наряду с этим я увлекался еще стихотворениями Гейне. Это было еще и под влиянием Бернгарда Ивановича. Он часто теперь читал нам в конце урока Гейне, а кто-то, кажется, еще Кропоткин, говорил об обаянии стихотворений на полузнакомом языке. И я остро почувствовал все особенности Гейне. И прочел “Флорентийские ночи”. Другая его проза тогда не задела меня. А “Флорентийские ночи” — полюбил.

17 октября 1951 г.

То, что мы проходили наших классиков в качестве обязательного предмета в школе, мешало нам понимать их. И я помню, что с наслаждением читал в хрестоматии отрывки,

которые предстояло проходить, и они же теряли всю свою прелесть, когда учитель добирался до них. Но в четвертом классе это ощущалось уже менее резко. И вот я вдруг полюбил Гоголя. Но как бы со страхом. Так любят старших. Уэллс, Конан-Дойл, были товарищи детства. А в Гоголе я уже тогда смутно чувствовал божественную силу. Пушкина — не понимал по глупости и еще потому, что прочел книжку А.Яблоновского о гимназистах. Там симпатичные мне герои хвалили Писарева и соглашались с ним. Согласился и я. Диккенса я еще не успел полюбить, кроме разве “Пиквикского клуба” в гениальном переводе Введенского. И кроме вышеперечисленного я читал все-все, что попадалось. От переплетенных комплектов старых журналов (и среди них “Ниву” за 1899 год, где было напечатано “Воскресение” Толстого с иллюстрациями Пастернака, которые восхищали меня). И вот я решил прочесть “Войну и мир”. И эта книга внесла нечто необыкновенно здоровое во всю путаницу понятий, в которой я тонул. И при этом я не боялся ее, как “Мертвых душ”. Эта глыба была насквозь ясна. И герои “Войны и мира” были близки мне без всяких опасений насчет того, что они старше. Если бы удалось мне припомнить, что я пропускал, а что поглощал с жадностью при всех бесконечных перечитываниях “Войны и мира”, то я понял бы историю своего развития. Чехова я тоже еще не научился понимать, как и Пушкина. И вот я жил со всем этим пониманием и непониманием. Терзаемый вечными сомнениями и припадками самоуверенности, жил я в то лето.

18 октября 1951 г. Как ни стараешься писать точно, непременно приврешь. Я неточно написал о моем отношении к Гоголю. Это вовсе не было, хотя бы и смутное, уважение к “божественному”. Просто я чувствовал, что надо бы подумать, что, кажется, здесь есть еще что-то, кроме того, что я понимаю, и немедленно решал: “Потом, потом!” К сожалению, эта мысль: “Потом, потом!” — была постоянной в то время. При каждом случае, требующем напряжения, я отмахивался, зажмуривался — “Потом, потом!” Но все же надо сказать, что некоторые места гоголевских ранних вещей меня поражали тогда. Например, первые же слова “Страшной мести” (“Шумит, гремит конец Киева”). Я сразу подчинялся и переносился в новый мир. Что, впрочем, было нетрудно. Удивительнее было бы, если бы я провел хоть день, никуда не переносясь. Я был, конечно, чудовищем безграмотности и безвкусицы, как и среда, в которой я жил. Но

помню, что журнал "Пробуждение" с претензией на роскошь раздражал меня. Верстка приложений к нему — в тоненькую рамочку — наводила на меня тоску. Однажды я увидел в этом самом журнале многокрасочный портрет любимого моего Виктора Гюго. Он изображен был во весь рост на каком-то камне, очевидно, на вершине скалы, плащ его развевала буря. И небо, и камень освещены были какими-то красными, синими, фиолетовыми цветами. Портрет сначала показался красивым, потом подозрительно красивым. Почему? На этот раз я не подумал каким-то чудом: "Потом, потом". И я понял, что Гюго освещен бенгальскими огнями, что недорого стоит. И это доведенное до выражения чувство было для меня такой редкостью, что запомнилось на всю жизнь. Итак, я жил сложно, куда сложнее, чем забывчивые взрослые могли представить себе. И не мог бы выразить то, чем живу, даже если бы захотел. И играл с увлечением в плотины. Богатство ручьев в высшей степени благоприятствовало этой игре. Она продолжалась и расцветала.

20 октября 1951 г.

Возвращаюсь в Красную Поляну. Чем дальше, тем больше помню, тем труднее отбирать, о чем говорить. В то лето с нами была толстая книга "История воздухоплавания". Кончалась она Лилиенталем и Сантос-Дюмоном. Мы ее читали и обсуждали бесконечно. Весь мир говорил тогда о воздухоплавании. Тогда же шло всеобщее увлечение французской борьбой. Шло множество разговоров об Айседоре Дункан, о Далькрозе, о культуре тела, о красоте и силе тела (у нас, в нашем кругу они только начинались). Появилось множество статей и книжек о здоровье, о способах питания, о жевании, о голодании. Жоржик стал вегетарианцем оттого, что прочел о том, что они сильнее, выносливее. В нашем монашеском кругу, где в жизни никогда, никто не обращал внимания на эту сторону человеческого существования, были несколько смущены "культом тела". Но гимнастику приветствовали. Кроме воздухоплавания, говорили мы и о борцах, и о джиу-джитсу, и о боксе. Я не считался сильным, но гимнастикой занимался с азартом. И с тем же азартом строил запруды. Журчит и шумит ручей, над головой свод из листьев. Камни цокают водяным стуком, когда кладешь их под водою друг на друга. И вот плотина готова.

21 октября 1951 г.

В Красной Поляне жизнь мне портило то, что Жоржик, мой первый в жизни настоящий друг, возненавидел меня. Это несчастье я уже однажды пережил, когда мама отошла от меня. Поэтому я растерялся. Это место моей души обладало повышенной чувствительностью. Я огрызался на бесчисленные придирки моего друга. Изучил его неприятную улыбку, появляющуюся каждый раз, когда он нападал на меня. Помню, как он спросил с этой же улыбкой, почему воздушные шары не могли передвигаться на веслах. И улыбка его, и выражение, с которым был задан вопрос, — все говорило: "Ты дурак, тебе не ответить, а если ответишь — лучше не будет. Я тебя ненавижу". Заикаясь и растеряв все слова, я ответил правильно, но употребил выражение: "Ни на йоту не подвинется". И с торжеством, отвращением, с той же страшной для меня улыбкой он повторил: "Ни на йоту". Я старался использовать свой врожденный дар — делать вид, что все по-прежнему, что все благополучно, не смотреть в глаза несчастью — но это не удавалось. А так как без людей я жить не мог, хромал без поддержки, то все было затуманено для меня в то лето. Со старшими отношения были много легче. Мне нравился Василий Соломонович, который здесь, на Кавказе, в горах ходил, как патриарх, с каждым разговаривая на его языке и даже с греками пробуя разговаривать по-древнегречески, что удавалось не всегда. Его осанистая городская фигура иногда смущала туземцев. Я помню, как стройный имеретин в войлочной шляпе на вопрос по-грузински ответил растерянно: "Чего-с?"

22 октября 1951 г.

Василий Соломонович был строг, но весь ясен и внимателен. Он мог взглядом указать мне мое место. В те годы во всех газетах писали о мистерии в Обераммергау. Все мы с глубочайшим интересом читали об этом представлении, о местных жителях, играющих Христа, Богоматерь, Иуду. И вот однажды Василий Соломонович читал газету, на одной полосе которой были рисунки, как мне показалось, из Обераммергау. Я спросил директора об этом. И он одним взглядом и легким пожатием плеч показал мне на неприличие моего вопроса. Нельзя перебивать, нельзя мешать старшим, когда они читают. За тем же столом читал он письмо от нашего горбатого историка. Валерьян Васильевич за эти годы уж совсем привился в Майкопе. Он женился на дальней родственнице Анны Петровны Тутуриной по имени Валя. Пока директор жил в

Красной Поляне, Валерьян Васильевич выполнял какие-то обязанности по училищу. Кажется, следил за ремонтом. Прочтя письмо учителя про себя, Василий Соломонович слегка пожал плечами и прочел: “Валя чувствует себя хорошо”. И он еще раз пожал плечами и произнес: “А мне-то какое дело?” Он был строг, но, повторяю, мне все в нем было понятно, и невозможно было ждать от него столь обычного у нас взрыва беспричинного гнева. Марья Александровна была очень внимательна к нам. И она часто разговаривала со мной. Она рассказала, как ехала однажды из Тифлиса с Василием Соломоновичем и Жоржиком. Дорогу размыло, пассажиров переправляли в особой люльке, которая ползла через Терек по натянутому проволочному тросу. Катилось колесико, и подвешенная к нему люлька плыла над Тереком по воздуху.

24 октября 1951 г.

Марья Александровна, описав, как глядела она на люльку, в которой плыли по воздуху над Тереком ее сын и муж, закончила так: “И я подумала: “Вот погибнут они, и никого у меня на свете не останется”. И я подивился тому, что и мужей тоже, значит, любят и даже говорят об этом. Однажды я услышал радостный и взволнованный голос Марьи Александровны. И я увидел, что она ведет к калитке нашей дачи седого, высокого старика с белоснежной окладистой бородой. Она встретила учителя, преподававшего в их гимназии, когда она была девочкой. И старик был тронут встречей. И когда Марья Александровна знакомила его с нами, старик сказал сурово: “Ты люби мать, она у тебя святая”. И Жоржик нахмурился, покраснев.

25 октября 1951 г.

Мы пошли всем семейством провожать старого учителя. Он жил в маленькой дачке, одиноко стоящей на склоне горы. Жил один. Возвращаясь домой, Марья Александровна рассказала нам, что учитель этот потерял своего любимого сына. Он был очень славный, простой, наивный юноша. И покончил с собой, когда учился в университете. И, взглянув на нас тревожно и покачав головой, Марья Александровна добавила: “Из-за квартирной хозяйки. Такой был славный мальчик. Медведь такой...” Учителя мы после этого видели каждый день. Он и обедать ходил с нами в маленький домик на поляне с высоким грецким орехом. Правее этого ореха шла дорога, у которой на двух столбах стояла

вывеска: "Зубной врач Муштолерова-Кудахтина". И адрес в углу доски. Подавала обеды быстрая в движениях, но с неподвижным, испуганным лицом девушка. Только при виде старого учителя она оживлялась и лицом. Она, глядя на него все с тем же испугом, но и ласково, явно ласково, — бросалась к нему со стулом: "Сидайте, дедушка, сидайте!" Мы подсмеивались над ее хохлацким говором, но вместе с тем понимали прелесть почтительной ласковости, с которой девушка служила из всех нас — ему одному. Однажды, зайдя к старику на дачу, мы беседовали с ним, и он отвечал нам со своей меланхолической, рассеянной важностью. И вдруг он просиял и бросился к калитке. Тоненькая девушка с простым лицом шла к даче. Марья Александровна, пока старик радостно приветствовал гостью, рассказала нам, что это его приемная дочь. "Решились, взяли подкидыша. На это немногие решились бы. И вот вырастили и любят, как родную. Она теперь учится на курсах". Старик с дочкой приблизились к нам. К моему огорчению, она обрадовалась встрече с отцом меньше, чем он. И когда он скорее в виде похвалы и благодарности, чем в виде вопроса [сказал]: "И как это ты надумала приехать ко мне", она ответила, что она и не хотела ехать, а подруги непременно хотели посмотреть Красную Поляну. И мы огорчились.

26 октября 1951 г.

Мы очень обиделись за старика. По дороге домой Марья Александровна все осуждала приемную дочку учителя, и мы соглашались с ней. Из отрывочных сведений, частью рассказанных мне самой Марьей Александровной, частью схваченных из разговоров старших, я узнал, что Марья Александровна рано осиротела. Кажется, у нее была строгая мачеха. Училась она в той гимназии, где преподавал и Василий Соломонович. И он женился на ней. Чтобы не забыть, расскажу вот что. Много позже Юрка Соколов за что-то нападал на женщин. Как пример безусловно хорошей женщины я привел Марью Александровну. И Юрка сказал, что она ведь и не была никогда женщиной. "Как?" — "А вот так, — повторил Юрка спокойнее. — Не была — и все тут". И тольком взрослым человеком я понял, что, несмотря на двух детей, Марья Александровна и в самом деле оставалась девушкой без признака кокетства, строгой девушкой, монашенкой на всю жизнь. Однажды мы отправились смотреть охотничий домик. Смотритель показывал нам его. Говорил, что в домике еще никто и не жил. Какой-то англичанин только несколько раз приезжал

охотиться с разрешением от министерства двора или департамента уделов— забыл. И восхищался охотой. Кирпичный дом, двухэтажный, с очень просторными, высокими, выбеленными комнатами был лишен мебели, так что я подумал, что знатный англичанин спал на полу. С верхнего балкона открывался вид на всю Красную Поляну с ее разбросанными дачами и единственной улицей. Там же, в одной из комнат лежала на столе толстая книга, в которой расписывались посетители. Смотритель попросил расписаться и нас. Мы стали смотреть ее, страницу за страницей, и я несколько огорчился. Тут было множество подписей людей знатных и важных: генералы, князья, тайные советники, профессора. И Марья Александровна сказала Василию Соломоновичу: "Ты уж распишись со всеми своими титулами". И она, видно, огорчилась тем, что мы простые.

27 октября 1951 г.

Со всех сторон окружали селение речки. В Мзымту впадала речка Бешенка. Текла она влево от селения, если стоять лицом к Ачишхо. Вправо, у лесистых холмов, на одном из которых резко выделялся охотничий домик, текла речушка, не имеющая названия. Кажется, Мельничный Ручей. Кроме того, со всех сторон пробивались роднички, о которых я рассказывал уже. И сверх всего этого почти каждое утро собирались облака, и шел недолгий, но крупный и обильный дождь. Мы долго обсуждали, куда нам идти — на Ачишхо или Аибгу. Путеводитель называл оба этих путешествия нетрудными. Наконец мы выбрали Ачишхо. Мы должны были выйти утром, к вечеру добраться до пастушеских шалашей у вершины горы, переночевать там и вернуться обратно к обеду, так как спуск с горы требовал меньше времени, естественно.

30 октября 1951 г.

Пожив некоторое время в домике на главной улице Красной Поляны, мы оттуда переехали в одну из дач, стоявших вне главной улицы, далеко за церковью в правой стороне долины. Владельцы дачи жили неизвестно где. Мы вели переговоры с бородатым греком-управляющим. Дача была двухэтажная, с большими комнатами и двумя террасами, так что чай — и утренний и вечерний — мы пили в тени. Одна терраса выходила на запад, а другая на восток. В просторной этой даче занимали мы одну большую комнату. Кроме нас, по-моему, жильцов не было. На другой стороне долины, против нас, ближе к Бешенке (а мы жили

ближе к Мельничному Ручью) возвышалась дача московского профессора-хирурга Левшина. Долина была разбита на участки, некоторые из них были огорожены, но о большинстве из них говорили столбы с номерами. Участки эти давались желающим на очень льготных условиях. В первый год владелец обязан был их огородить, на второй — начать строить дом и, кажется, на третий — достроить. Кто отдавал участки? По-моему, поселок. Истамановы, помнится, обсуждали, а не взять ли им тут участок. Наша дача выходила на участок очень обширный и прочно, не прочно, а густо засаженный кукурузой. Шелест ее я ясно слышу сейчас. Мы пробирались через кукурузу, играя в прятки, и в зарослях иной раз теряли направление. Находили дорогу по шуму Мельничного Ручья. За нашим участком расстилался луг, и он был весь в мягких стогах только скошенного сена. И каждый раз, где бы я ни читал о вечере и скошенном свежем сене, я вспоминал, представлял себе именно этот луг. Греки в Красной Поляне совсем не походили на тех, которых я встречал до сих пор, — торговцев, комиссионеров, городских жителей. Это были крестьяне. И держались они строго, без привычной у городских греков суетливости и развязности. Хозяева они были хорошие, жили чисто. Только самую трудную работу выполняли женщины.

31 октября 1951 г.

Да, самую трудную работу выполняли у них женщины, и мы огорчались, видя, как здоровенный, бородатый эллин идет с поля налегке, посасывает с мудрым и уравновешенным видом трубочку, а жена, согнувшись, несет на плечах тяжелый сноп кукурузы. Верстах в двух за Красной Поляной, вверх по течению Мзымты, расположилось селение эстонцев-колонистов. Эстонки, чистенькие, в юбках с корсажами, в соломенных шляпах, продавали дачникам молоко. Внушало нам уважение и селенье эстонцев с улицей, обсаженной черешнями, с молитвенным домом посредине. Греки с осуждением рассказывали, что в этом доме по воскресеньям вечерами устраивались танцы. В церкви? Ай! Впрочем, жили эстонцы и греки мирно. И только они как-то не сливались друг с другом. В Красной Поляне я припоминаю по крайней мере две кофейни и одну из них обширную, с бильярдом. Обе кофейни к вечеру заполнялись греками, приезжие играли на бильярде, а эстонцы сюда не показывались. Обедали мы сначала в той домашней столовой, где девушка упрашивала старика учителя: “Сидайте, дедушка, сидайте”. Потом перешли обедать к

Золотухиным (кажется). Их просторный дом стоял тоже в долине, недалеко от нас. Обедали на крытой террасе, которая тянулась вдоль дома. Несколько раз обедали мы в даче с затеями, башенками, цветными стеклами, недалеко от дачи Левшина. Здесь прославился наш Марс, повторивший штуку тургеневского охотничьего пса. Он зарыл под кустом намордник, который мы надевали на него, идя обедать. Удивительный наш пес обнаружил любопытную черту характера. Он бросался на чужих, но если человек не пугался, Марс приходил в восторг и оказывал храбрецу знаки уважения и почета.

3 ноября 1951 г.

Мы идем из эстонского поселка по проселочной дороге, которая, впрочем, содержится тут в таком же порядке, как и шоссе. Во всяком случае, мы присели отдохнуть возле груды щебня, приготовленного для ремонта дороги. Из-за поворота вышел старый эстонец, худой, с выбритой бородой и седыми усами, в серебряных очках. Он шел не спеша, задумавшись, и вдруг Марс, к нашему ужасу, с ревом выкатился из-за груды щебня и бросился лапами на грудь старику. Но старик, не замедлив шага, не дрогнув, сказал что-то Марсу по-эстонски. И Марс заплясал вокруг храбреца, виляя хвостом, стараясь лизнуть его в лицо. И мы почтительно поклонились старику, и он ответил нам, улыбаясь. Когда мы жили уже на новой даче, с двумя террасами, вдруг все газеты наполнились восторженными статьями об открытии Эрлиха. Шестьсот шесть! Помню целую полосу, посвященную этому открытию, кажется, в “Русском слове”. Писали уже и о том, что 606 излечивает проказу. Сообщали об удивительных случаях исцеления. А внизу была карикатура. Вокруг аптечного пузырька кружились, взявшись за руки, дамы, вызывающе одетые, и мужчины наглого вида в котелках. На бутылочке стояла надпись “606”. Вечером, говоря с Жоржиком, я высказал радость по поводу того, что сделано такое великое открытие. Он сразу нахмурился и возразил, что тут есть и плохая сторона. Какая? Жоржик указал на карикатуру. Я стал доказывать, как всегда, теряя нужные слова, что это нелепо, что сколько несчастных врачей заразилось нечаянно. Но Жоржик не согласился из ненависти.

4 ноября 1951 г.

А Жоржик все приглядывался к себе. Все делал опыты. Однажды он заявил, что человек получает достаточно жидкости, помимо воды, и в течение двух дней не пил воды.

Это, как теперь понимаю, не было особенно тяжелой жертвой — мы и в самом деле потребляли большое количество молока, чая, супа. Но и мы, и сам Жоржик отнеслись к этому опыту с опаской. И Жоржик к концу второго дня побежал к роднику, который, кстати, журчал у самого нашего дома, и стал пить с жадностью. Почувствовал, что без воды ему не выдержать ни минуты. Кстати, у ручья, который начинался от нашего родника, и шли наши главные игры в плотины, заливы, корабли. Здесь игры эти оформились, выработались правила. Мы поделили ручей на участки. Каждый волен был делать в своем уделе, что хочет, мне удалось сделать глубокую, удобную гавань и канал. Иногда у нас начиналась морская война: мы пускали друг на друга корабли. Опрокинувшийся считался взятым в плен. И тут мне посчастливилось — я изобрел непобедимый корабль. Он был некрасив, я был по-прежнему неуклюж и не мог вырезать кораблик получше. Это был грубо обтесанный урод с высокими бортами, неуклюжий на вид. Я объявил, что у него два двигателя, два винта с обоих концов, в какую сторону он идет, там, значит, у него и нос. И самое главное, я привязал к его килю камешек. И теперь никакая сила не могла его опрокинуть. Василий Соломонович, который знал об играх наших во всех подробностях, сказал, что корабль мой напоминает знаменитую "Поповку", монитор, стоящий в севастопольском порту. И это мне польстило. А Жоржик все приглядывался и задумывался. Однажды он заметил, что кот живет с большим наслаждением, чем человек. Он спит и, проснувшись, трется мордочкой о подстилку, валяется от удовольствия. И вечером, ложась спать, Жоржик, полушутя, полусерьезно, попробовал уснуть с таким же удовольствием, как кот. Он валялся на спине, мурлыкал и мяукал тихонько. А старшие посмеивались. И я удивлялся простоте отношений.

5 ноября 1951 г.

В любую погоду Жоржик уходил гулять один и подолгу гулял в одиночестве. И это и огорчало, и удивляло меня. Я чувствовал, что не мог бы провести так много времени в одиночестве, соскучился бы. Я завидовал и при этом с грустным уважением. Я слишком любил Жоржика, чтобы завидовать со злобой. Однажды я напросился и пошел вместе с ним в его далекую прогулку. С утра стоял туман. Моросило. Мы пошли в резиновых плащах. Скоро начался дождик. Пройдя просторную поляну с огромным грецким ореховым деревом, мы вышли

на шоссе. Жоржик, согласившийся на мое участие в прогулке, с неприятной улыбкой молчал. Молчал и я. Внизу в тумане шумела Мзымта. Вот и мост, сложенный из бревен. Дождь усилился. Резиновый плащ томил и грел, как согревающий компресс, а Жоржик все шагал вперед. Повернул он на шестой версте. Не замедляя шага, повернул к дому. Ноги скользили по размокшей дорожке у шоссе, а на самом шоссе щебень обжигал натруженную ступню. Я шел в тонких промокших чувяках. У самой Красной Поляны я отстал шагов на пятьдесят, но мой мрачный спутник и не оглянулся. Так прошли мы, проделав под дождем больше десяти верст, почти пробежав это расстояние к дому Золотухиных. Старшие уже пообедали. На опустевшей просторной террасе мы наконец уселись, но я не почувствовал от этого никакого облегчения. Меня мутило. Обед я съел только потому, что в меня вбили уважение, почти религиозное, к этому процессу. Особенно отвратительными показались мне сырники. Когда мы вышли от Золотухиных, мне стало совсем худо. Я едва успел добежать до каких-то кустов — и меня вырвало. Такие вещи у нас не полагалось скрывать, и я сокрушенно доложил об этом происшествии Марье Александровне. Она встревожилась. На другой день сообщила об этом Золотухину, и мы стали обедать в затейливой даче недалеко от Левшиных. А Жоржик дня через два нашел и показал мне в одной из своих брошюр о питании, вегетарианстве, спорте, что сильное физическое утомление вызывает рвоту.

6 ноября 1951 г.

Приходит время расстаться с Красной Поляной. Я как будто рассказал все? Забыл, что у Истамановых был “кодак” и черный металлический треножник к нему. Помню наш двор с кукурузными джунглями, горы, дачу, особенно яркие и перевернутые вверх ногами в матовом стекле аппарата. Целый альбом снимков привезли Истамановы с собою. Были они и у нас, да все потерялись, ввиду полного отсутствия альбомов. Что еще забыл? Забыл сказать, что когда Марья Александровна вела учителя, старого своего учителя к калитке нашей дачи, то она и смеялась, и плакала, и гладила нежно руки старика. Вот мы идем гулять. Веселый мальчик лет пяти, русский, судя по одежде, местный житель, сидит на заборе. Василий Соломонович заговаривает с ним, мальчуган отвечает весело и смело. Речь идет о том, сколько у человека пальцев на руке. Мальчик утверждает, что пять. Василий Соломонович заставляет его

считать и так ловко прячет один палец, что мальчик восклицает, пораженный: “Смотри-ка — четыре!” Мы гуляем по горе. Встречаем человека, который заговаривает с Василием Соломоновичем. Он немолод, одет в белый костюм, не то выбрит, не то носит подстриженную седую бородку — забыл. Улыбается он несколько актерски-благосклонно. Он оказывается профессором-юристом по фамилии Кулаковский или Куликовский из Одессы или Киева. Это первый профессор, которого я вижу в своей жизни. Он благосклонен к нам, младшим, и поэтому нравится мне. Впоследствии я с грустью узнал из газет, что он черносотенец. Однажды, когда мы обедали на затейливой даче, за одним столом с нами оказались студенты — участники какого-то пешеходного путешествия. Блондин-студент, загорелый, как загорают блондины, не коричневый, а красный, смело заговаривает и шутит с Василием Соломоновичем. Мы с ужасом ждем, что Василий Соломонович его осадит, что и происходит быстро. Но студент весело смеется, покоряет этим директора. И я любуюсь храбрецом. Фамилия его Иконников.

8 ноября 1951 г.

И вот наконец пришел конец нашей жизни в Красной Поляне. Душа моя, особенно мягкая и податливая в то лето, сохранила живые и печальные впечатления того времени до сегодняшнего дня. Шум воды в сырых ореховых зарослях. Стук камней под водой, когда мы строили плотину. Вода летит по вновь прорытому каналу, сначала мутная, но светлеющая с каждым мигом. И вот кажется, что ручей всегда так и бежал, раздваиваясь у гряды булыжников. Печальные вечера, когда кажется, что дома непременно что-нибудь случилось. Глупые письма домой, которые я писал уже непросто, после того как Михаил Александрович похвалил мое сочинение и после стихов, в которых ничего не умел сказать. А главной моей печалью была ненависть, холодная и неумолимая, с которой относился ко мне Жоржик. Я понимал это чувство — ведь сам я так же возненавидел Матюшку Поспеева, но ужасался. Если выразить эти чувства в двух-трех словах, то они сводятся вот к чему: “За что ты меня ругаешь — я хороший!” Но жил я с наслаждением, много смеялся, все острил. И не ссорился, а старался смягчить своего нового врага. И вот пришло время нам уезжать. Знакомые корзины и чемоданы уложены. Приготовлена корзинка с провизией: жареная курица, крутые яйца, сыр слоистый, столь мною любимый. (Он похож на грузинский сыр сулугуни, но крупнее, шире и не такой соле-

ный.) Знакомый грек, тот же, что вез нас из Адлера, заезжает за нами. Мы выезжаем под дождем, но вот он затихает, облака, задевавшие верхушки деревьев, тают. Вот мы едем по главной улице, вот огромное ореховое дерево и широкая дверь, и ступеньки в столовую, где мы обедали в первое время. Написав это, ощутил вдруг вкус самого частого блюда: "тефтели по-гречески", красный томатный соус.

9 ноября 1951 г.

Вот знакомый деревянный с устоем, сложенным из бревен, мост через Мзымту, далеко внизу и проселочная дорога, убегающая в лес, круто повернув за мостом влево. А вот и дощечка с надписью "7". Сейчас я вспомнил, что в тот день, когда я устал до тошноты, мы дошли именно до этого верстового столба, если железную палку, покрашенную в белую и черную краску, можно было так называть. И Красная Поляна ушла далеко-далеко. Мы ехали по шоссе и смотрели. Склон к Мзымте становился все круче, отделился от шоссе парапетом. Вот он стал крут, как стена, и скалистая стена стала над нами. Тоннель, полумрак, журчанье ручья. Лом в скале. Повороты под скалами. Скала "Пронеси, Господи", как на Военно-Грузинской дороге. И конец. Горная часть дороги кончается сразу, и мы въезжаем в лес. Поворот к нарзану. Какой-то разговор старших об имении вдруг пронзает меня особым радостным чувством — вот бы построить тут дом, в стороне, среди этих огромных деревьев, поваленных стволов. "Источник Елочки". Старшие разговаривают о том, что русские любят сокращать длинные названия. Например: "техноложка" — вместо "Технологический институт", "Столовка". Когда мы вскоре после этого встречаем двух верховых стражников, я привожу слово "стражник". "А как же иначе сказать?" — спрашивает Василий Соломонович строго, как в тех случаях, когда я путался, отвечая по математике. Я теряюсь. Забываю, что настояшее наименование стражников — "солдат пограничной стражи". Вот и середина пути. Столы под жидким навесом, кукурузные заросли. Здесь мы обедаем. И снова дорога бежит вниз. Обратно ехать легче — все под гору. И вот мы въезжаем в долину Мзымты, широкую и просторную, и острое, никогда до сих пор не переживаемое предчувствие счастья охватывает меня. И мы видим море. И дома Адлера уже белеют вдали.

10 ноября 1951 г.

Предчувствуя счастье, гляжу я на молодого грека, который скачет на взмыленном коне нам навстречу, и с удивлением слышу, как осуждает всадника наш суровый возница. "Загубит коня!" Я спрашиваю — почему, и слышу в ответ, что на коне нельзя скакать все время галопом, а надо ему дать пробежаться рысью и пройти шагом. Да, Адлер близко, но всадник должен был пожалеть коня и не гнать с места галопом. Галоп — коню погибель. Долго ворчал наш возница, но я не верил, что коню вредно скакать — у него было такое выражение, как будто он скачет с величайшим увлечением. На этот раз мы свернули к многопролетному мосту через Мзымту. Мзымта здесь была много тише, чем возле Красной Поляны, разбилась на множество рукавов, и мост тянулся над всеми ними. Стоя у его перил, мы глядели на мутную реку, на острова каменистые и плоские, и предчувствие счастья не покидало меня. Перед самым Адлером увидели мы знакомую рекламу на двух столбах. В букве "З" в сажень высотою сидела женщина в сарафане и кокошнике и шила на швейной машинке. И Василий Соломонович похвалил фирму Зингер. "Удивительная предприимчивость! Нет селения более или менее многолюдного, где не было бы их представительства". В Адлере мы остановились на этот раз в настоящей гостинице у самого моря. На большой террасе с парусиновым тентом обедали какие-то хорошо одетые люди. Большой их автомобиль, окруженный восторженными зрителями, главным образом, греками, стоял внизу. И предчувствие счастья стало еще острее. Между гостиницей и морем стояла на катках фелюга. Это почему-то напомнило мне рыбака Пиотти и маленькую Эмми из "Давида Копперфильда". Ярмут?

11 ноября 1951 г.

Темнело. К предчувствию счастья примешалось желание поесть. Очень сильное. По неодолимости похожее на "сон на море". Во всяком случае, если бы мне сказали, что это особое явление, имеющее свое название "береговой аппетит", я нисколько не удивился бы. Мы пошли по темной уже улице Адлера вдоль моря. Зашли в садик, освещенный фонарями, поднялись по лесенке в высокую беседку, на которой висела вывеска: "Горячие чебуреки". Я впервые тут, на морском берегу, попробовал эти пирожки, пупырчатые, тонкокожие, сильно пахнущие бараниной, восхитительные. Как мы уехали из Адлера, ночью или днем, каким пароходом — выпало из памяти. Почему? Не знаю. В Туапсе мы

остановились в меблированных комнатах, на этот раз дальше от моря. И задержались в городе этом дольше, чем предполагали. В Майкопе вспыхнула эпидемия холеры. Еще до нашего отъезда на улицах города появились объявления с длинной надписью: “Просят население пить только кипяченую воду”. Не знаю, почему традиционное: “Не пейте сырой воды” разрослось в Майкопе. Я забыл сказать, что к этому времени в Майкопе уже издавались две газеты: “Майкопская газета” и “Майкопская жизнь”. Обе примерно одинакового направления — умеренно либерального. Одна из них напечатала “Письмо знатного иностранца”, сообщавшего в письме свой адрес: “Улица “Просят население пить только кипяченую воду”, второй дом от угла”. И в самом деле, объявления эти висели как раз в тех местах, где висят обычно названия улиц, отсутствующие в Майкопе. Но вот эпидемия пришла, и газетам теперь было не до шуток. Не помню, сколько заболевало в день, но очень много. Сорок? Пятьдесят?

12 ноября 1951 г.

Занятия в реальном училище были отложены. Началась долгая и прекрасная жизнь в Туапсе. Прекрасная потому, вероятно, что мы жили тут осенью и жара не мучила меня. Врочем, довольно долго объяснять. Крутые Туапсинские улицы девятьсот десятого года, много деревьев, кусты ажины, терна, русло какой-то речки без воды, ручеек в папоротнике, в самом центре города, глубоко внизу. А над речкой мост. За мостом киоск, где продают газированную воду. Киоски с фруктами, которых мы не ели почти, боясь холеры. Мы узнали, что безопаснее всего арбузы, потому что вибрионы холеры не попадают через толстую арбузную корку внутрь. Опаснее всего виноград — частую виноградную кисть не промыть кипятком. Бывали мы у какого-то учителя, живущего высоко. В маленьком, узеньком, вымощенном камнями дворике стоял двухэтажный узенький домик. Когда-то учитель этот учительствовал в Майкопе. Появился возвращающийся откуда-то Харламов с женой. Он поглядел на нас своим строгим нескладным лицом, печальными глазами за серебряными очками. (Написал — и вдруг явственно почувствовал, что они не серебряные. А какие? Золотые? Нет. Знаю только, что были они не круглые.) Поразил меня рассказ Марьи Александровны о том, как делились опытом жены Харламова и туапсинского учителя о том, как кормить мужей. Жена Харламова готовила много разных закусок, чтобы страдающий отсутствием аппетита Михаил

Александрович "того попробует, другого попробует — смотришь и поел". Рассказывала Марья Александровна об этом с умилением, ласково улыбаясь. Видимо, разговор этот ее тронул. Я был поражен, что о мужьях заботятся и ласково говорят об этом. Здесь же я нашел случайно книжку какого-то толстого журнала и прочел страшный рассказ Мопассана о девочках индусских **[так у Е. Ш.—Ред.]**, отданных полковнику в жены. Марья Александровна заметила, что я его читаю, и отобрала книжку, покачав головой.

13 ноября 1951 г. Дача Вышемирского выходила в большой сад. Однажды мы были там вместе с Марсом. Соседи Вышемирских спустились в сад вместе с крошечной собачкой. Я в жизни своей не видал ничего подобного — с ладонь величиной. Она была черная, с желтыми подпалинами. Она веселилась и ласкалась к людям, как большая собака. Кажется, порода ее называлась той-терьер, а сама она была еще щенком. Радостно виляя хвостиком, доверчиво бросилась она к Марсу. Наш суровый пес сначала попятился задом, стал нос к носу обнюхивать крошку и вдруг злобно рявкнул прямо ей в мордочку и щелкнул своими зубищами. Собачка перевернулась, завизжала так отчаянно и визжала так продолжительно, что все подумали сначала, что она тяжело ранена. Но визжала она, как выяснилось после осмотра, только от страха и обиды. И сердце мое пронзило давно не испытанное чувство неистовой жалости. Душа моя так запуталась в новых бесконечных сложностях последних лет моей жизни, что ясных и сильных чувств я давно не испытывал. В этом же саду заметил я однажды, что взрослые шепчутся о чем-то. И я услышал ясно, как Марья Александровна сказала: "Не говорите Жене". Меня охватил холод. Я чуть не заплакал. Я решил, что, наверное, папа умер от холеры. Когда я подошел поближе, они замолчали и разошлись. Немного погодя я нашел номер "Майкопской газеты". Увидел некролог. Умерла на посту фельдшерица. Фамилия незнакомая. И вдруг я понял — да ведь это Фелицата Михайловна. Та самая, спокойная, черноглазая, смуглая до желтизны Фелицата Михайловна, которую знал я с детства, сколько раз видел за самоваром, с папироской в руках, в комнате дежурного врача. Как я узнал, беднягу старались отходить все врачи, но она была уже пожилой женщиной, усталой и умерла. Перенес холеру и поправился Самуил Крамаров, и, как я уже, кажется, писал — не похудел. Некуда было.

14 ноября 1951 г.

Когда, прочтя газету, я подбежал к взрослым и сообщил им печальную новость о Фелицате Михайловне, они приняли мою новость с неожиданным равнодушием, которое было притворным. Это я понял, когда Мария Александровна сказала: “Откуда ты это узнал? А мы не хотели тебе говорить, чтобы ты не беспокоился о папе”. И после этого разговора мы еще долго жили в Туапсе. Первое сентября пришло, а мы все еще у моря. А ведь это настоящая осень! В этот день, встав пораньше, мы побежали на берег. У меня было странное чувство, — дурацкое чувство, хотел я написать — что море с этого числа станет особенным, а не таким, как летом. Как нарочно, солнце тускло светило сквозь туман или редкие облака, плывшие над самым горизонтом. Море спокойное, так что прибой едва слышался, светилось беловатым светом, ходило под утренним солнцем алыми полосами. И я стал настаивать на том, что море вон как изменилось сразу — что значит сентябрь! На что Жоржик возразил с неприятной, столь знакомой мне улыбкой, что я говорю глупости. И в самом деле — через час море стало таким же синим, как вчера, берег покрылся купающимися, и взрослые объяснили мне, что многие приезжают к морю именно на сентябрь и это лучшее время. В Крыму оно называется бархатный сезон. В эти дни разыгралось в Туапсе страшное происшествие. Шофер с мальчиком пассажиром, сидевшим с ним рядом, поехал прокатиться по шоссе в направлении к Сочи. Он разогнал машину до ста верст в час. И потерял управление. На повороте машина взлетела на крутой пригорок и опрокинулась назад. Шофер погиб — ему баранка руля раздробила грудную клетку. А мальчик остался невредим. Это был гимназист наших лет, переводящийся в наш класс из Темир-Хан-Шуры. Его отец, Иосиф Эрастович Агарков, был назначен начальником шоссейной дистанции Майкоп—Туапсе. Об этом рассказал нам Василий Соломонович, познакомившийся с Агарковым на молу. И, улыбаясь, он привел слова Агаркова: “Только что сын чуть не погиб, а сегодня гулять не выпустили. Насморк. Страх”.

15 ноября 1951 г.

Так я впервые услышал о мальчике, с которым дружил довольно долго для того времени. Весь пятый класс. И впервые в жизни попал в круг людей, совсем не похожий на наш. Но об этом я, если удастся, расскажу в свое время. Пора собираться из Туапсе в Майкоп и жалко. Что еще я помню? Наша гостиница была где-то

высоко — написал я. Не очень высоко, как я теперь припоминаю. Просто не на самом берегу моря. Надо было пройти мимо навеса над летним рестораном, мимо кегельбана, и вот уже за площадкой — море. Вот мы лежим на камнях, на мелких туапсинских, отшлифованных морем камнях. Меня беспокоит по причинам сложным, что Жоржик лежит на солнце на животе. Не двигаясь. В чужой, более здоровой обстановке, не оставаясь с самим собой, я был спокойней, навязчивые представления известного характера оставили меня почти. Но сейчас мне кажется, вдруг, без всяких как будто бы оснований, что в упорном, настойчивом нежелании Жоржика переменить положение есть нечто греховное. И это почему-то ужасает меня. Но я утешаю себя тем, что мне это кажется. Василий Соломонович не с нами. Он сидит в кофейне под навесом, выходящим на берег, совсем близко от нас. Когда после купанья приходим мы в кофейню, Василий Соломонович говорит Жоржику мягко, но значительно: "Нельзя так долго лежать на солнце в одном положении. Это вредно". Жоржик краснеет неожиданно, а я догадываюсь, что и отец был недоволен, почувствовал что-то неладное в этом лежании на животе. Трудно, трудно расти. В кегельбане мы часто слышали хохот, звонкий и заразительный. Смеялся гимназист постарше нас, живущий в нашей гостинице. Мы познакомились с ним и с его братом, мальчиком лет пятнадцати. Старшим братом. Из разговоров старших я узнал, что родители не отдавали старшего брата в гимназию, чтобы он не испортился. Мальчик ходил в пиджаке и шляпе и казался простым и славным. Я проникся, в своей греховности, крайним уважением к нему.

16 ноября 1951 г.

Мы познакомились с мальчиками и поехали кататься на лодке. К моему удивлению, мальчик в штатском сделал странное движение, показавшееся мне непристойным. Он, приподнявшись над скамейкой, показал на свой зад и покрутил головой. Заметив мое недоумение, даже ужас на моем лице, он поспешил высказаться яснее. Лодку отлакировали для красоты внутри. И мальчик прилипал к скамейке. Я раскаялся, и мы стали дружески болтать. И я почувствовал удовольствие от того, что столь необычно воспитанный мальчик, да еще старший, не гордится передо мной, а болтает, как с равным. Ну вот и все. Пора выезжать. Не помню, писал ли я об очень примечательной туапсинской личности? В городе был единственный мороженщик — не то грек, не то армя-

нин, прирожденный комик. Маленький, коротконогий, он возил свою тачку по крутым туапсинским улицам почти бегом. И при этом кричал, вернее, пел блеющим голосом: "Мо-о-рожни! Ме-ериканский товар! Ме-е-ериканский товар! Апельсинное заграничное морожени". Мы, заслышав его голос, бежали бегом, слушали его с восторгом. Он кричал, не улыбаясь. С увлечением. Заслушивался сам себя. Что еще? Магазин, в котором мы покупали масло, колбасу, сыр, словом, гастрономический магазин принадлежал туапсинским кооператорам, в те дни новость и редкость. Был он просторен и чист, не в пример бакалейным лавочкам. Продавцы — в белых фартуках. Своей колбасной фабрики у города не было, не было и сыроварен. Подбор товара зависел от привоза. Если в бурные дни пароход запаздывал, то и полки в магазине пустели. Пора, пора, все-все рассказано. И вот в первых числах сентября отправились мы в обратный путь. На этот раз был нанят фаэтон с тройкой коней, и вот на рассвете выехали мы из Туапсе. Лето все не хотело уходить. Мы увидели с поворота шоссе в последний раз в этом году синее за зелеными деревьями, сверкающее под солнцем море, и началась дорога домой.

17 ноября 1951 г.

Я не помню, где мы ночевали. Помню только грустное приключение за перевалом. Одна из трех наших лошадей вдруг упала, с трудом, шатаясь, поднялась она после того, как извозчик вылил на нее несколько ведер воды. Ее привязали позади, а ночью, пока мы спали где-то на постоялом дворе, лошадь околела. Извозчик отказался везти всех нас на паре. Дальше мы поехали на почтовых. Мария Александровна загрустила, как всегда при непредвиденных расходах. И когда мы выехали с восемнадцатой версты, она не могла перебороть себя и сказала, что если бы не я, то можно было бы всей семьей разместиться на почтовой тачанке. Но, когда я стал доказывать, что все равно и вчетвером и с большим количеством багажа пришлось бы взять две тачанки, Мария Александровна спохватилась, быстро согласилась со мной и стала особенно ласковой и доброй со мною. И вот уже третья верста и мост, и больница, и реальное училище. Приехали! Дома встретили меня ласково. За это время, оказывается, Валя переболел коклюшем, переболел коклюшем и кто-то из Соловьевых. Теперь стал понятен и мой кашель. Я перенес коклюш в очень легкой форме, потому что путешествовал. Ну вот и все. Я рассказал, с огромным трудом удерживаясь от сочинительства, только то, что помню. Вероятно, при

описании парохода смешались впечатления от нескольких поездок того времени. Но только при описании самого парохода. Неверно, описывая первое впечатление от утреннего Адлера, написал я: “Бакалейная торговля Пирцхалава”. Эту фамилию увидел я много позже. В 14 году, когда мы ходили пешком с Юркой Соловьевым в Красную Поляну, такую вывеску мы увидели на базаре на маленьком колбасном ларьке: “Торговля Готошга, Цхомария и Пирцхалава”. А все остальное правда, правда до мелочей. Я писал и не верил, что все вспомню и назову.

18 ноября 1951 г.

Но когда я называл одно, освещалось и выступало другое. Все эти впечатления определяли многое в моей жизни. Всегда. Они никогда не умирали. А может быть, крепли. Многое из того, что пережито сорок один год назад, я не мог бы описать тогда. Итак, я вернулся в Майкоп, в будни, в жару, в пыль. Деревья уже начинали желтеть. Тополь во дворе у Соловьевых уже обнажился наполовину. В городском саду листья шуршали под ногами. Мама была у Истамановых, заплатила мою долю летних расходов. И сказала, вернувшись, с горечью: “Марья Александровна говорит, что у тебя замечательный характер — сдержанный, спокойный. Это, значит, ты дома только так распускаешься?” А я, как дурак, стал доказывать сбивчиво и бессмысленно, что у Истамановых я был вовсе не сдержанным. Вернувшись домой, я недели две у Истамановых не был. Я, по сохранившемуся у меня на всю жизнь свойству, обиделся с опозданием. Я как будто только теперь понял, что Жоржик меня не то что невзлюбил, а просто возненавидел. Зашел я к ним по какому-то делу. Марс встретил меня, как всегда встречал своих после разлуки — прыгал, стараясь меня лизнуть в лицо, плясал, скулил от избытка чувств. Все улыбались, глядя на Марса, и только Жоржик улыбался неприятной улыбкой. И я через некоторое время, встретив его вечером на улице, напал на него за то, что он обижал меня все лето. Я сказал, что сам понимаю, что человек может вдруг, ни с того, ни с сего, невзлюбить другого. Я сам так невзлюбил Матюшку. Но тем не менее — почему Жоржик так грубо обижал меня. Он выслушал меня хмуро, — мы сидели на лавочке возле дома Иванова, — потом сказал: “Сам же ты говоришь, что это бывает ни с того, ни с сего”. А через несколько дней Марья Александровна со слезами на глазах сообщила мне: “Марс околел”. Она думала, что бедный пес уснул под кустом, а он был мертв!

19 ноября 1951 г.

Когда мы ехали, он бежал пешком и погиб! Переутомился бедный Марс. Ведь пока мы ехали все вперед и вперед, он колесил вокруг, скрывался в лесу и догонял нас с такой быстротой, что уши хлопали. Он был все время в напряжении — то в клетке на пароходе, то охраняя нас от чужих людей в чужих краях. Итак, к началу занятий осенью 1910 года мы приступили с опозданием. В этом году у нас появился новый учитель — Иван Павлович Кавтарадзе. Это был поджарый, ладный человек, очень энергичный, крайне самолюбивый и честолюбивый. Он преподавал естественную историю. У нас, кажется, химию. Насколько каждое лето запомнилось мне твердо, настолько смутно помню я учебный год. Повторяю, умственно развивался я туговато. Все мы с каждым годом развивали и совершенствовали одно умение — выучить урок к тому дню, когда спросят, угадать, когда надо было решать, притворяться понимающим. Я теперь почти всегда был весел, и жизнь казалась мне праздником. И весь класс у нас подобрался веселый. К пятому классу от приготовительного дошло немного. Прибавились второгодники, и среди них мой мучитель Ленька Жураковский. Впрочем, к пятому классу он, кажется, отстал и от нас. И появился новый ученик Сашка Агарков. Это был маленький, худенький мальчик с большим носом и маленьким ротиком. Вид он сохранял всегда насмешливый, скептический. Но при этом резко отличался от всех нас одним свойством — воспитанностью. Несколько внешней, правда. Он был одет аккуратно. Причесан на пробор. Башмаки вычищены. По учению занял одно из первых мест. Мы оказались на парте рядом и скоро подружились. Подружился я к этому времени и с Васькой Муриновым. И он был ростом совсем мал. Меньше всех в классе. И угрюмо подшучивал над этим. Он и Жоржик все искали и носили друг другу книжки о росте. И обсуждали их.

20 ноября 1951 г.

Не помню, рассказывал ли я, что в восемнадцати верстах от Майкопа в станице Ханской жил довольно известный толстовец Скороходов. Это был красивый, стройный бородатый человек, уже начинавший седеть. Особенностью его было то, что, когда он улыбался, морщины у его глаз собирались правильными лучиками, что мне почему-то очень нравилось. То, что он был близок к самому Толстому, его суровая, несколько важная повадка возбуждала во мне, грешнике, уважение, близкое к страху. Мама осуждала его за то, что он своим взрослым детям

не дал образования. Дети, по слухам, уже роптали на это. По мнению мамы, это являлось насилием над детьми. "Кончили бы университет, тогда и выбирали себе путь". Однажды мы поехали к Скороходовым в гости. Было это летом. Ехали мы всей семьей. Увидев в поле огромную свинью, мама сказала: "Вон окорок пасется", что Валя, к общему удовольствию, принял буквально. Скороходовы жили над Ханской, на высоком месте, близко к Белой, которая блестела внизу под обрывом. Обстановка в усадьбе была подчеркнуто скромной, как бы самодельной. Старшие мальчики, собственно говоря, даже юноши, держались замкнуто, даже сердито. Это я отнес к тому, что они были недовольны отсутствием высшего образования. Одна из старших дочерей показалась мне похожей на простую казачку — широкоплечую, застенчивую и румяную. Вторая была белее, женственнее, мягче. Одна из них, кажется, была замужем за болгарином, по имени Христо Досев. Помню и его, бледного, похожего на Христа, только не православного. Впрочем, его я видел, кажется, позже. Младшая дочка носила славное и странное имя — Детика. Так назвала она себя в детстве. Она была моложе меня года на два и очень понравилась бы мне, если бы не уважение, похожее на страх, и сознание собственной греховности, скорее суетности, внушаемое всем домом.

21 ноября 1951 г.

Время там шло, как всегда, в подобных поездках. Нас напоили чаем. Потом мы отправились гулять. И спустились через лесок или через заросли орешника, или через кусты — вижу что-то зеленое, мягкое, кудрявое — к Белой. Незнакомая и вместе с тем знакомая река — дно другое, берега не майкопские, но течение, цвет воды знакомы с детства. Когда мы вернулись, я увидел на террасе Скороходова. Он сидел за книжкой, сосредоточенный и печальный, и мне опять почудилось, что мы тут мешаем. На обратном пути старшие разговаривали о толстовцах, о том, что колония Криница гибнет, что Скороходовы живут както не так. Но я-то, допуская, что Скороходовы живут как-то не так — в самодельности их усадьбы, в духе отношений друг к другу чудилось что-то неуверенное, неладившееся, невеселое — тем не менее ощущал, что мы живем уж явно не так. Кто-то рассказывал мне, не помню когда, что в Ханской в те времена было что-то, кажется, восемнадцать сект. Там уживались мирно и баптисты, и хлысты, и духоборы, и молокане — всех не припомнишь. Все чувствовали, что живут не так, и все искали спасения. Помню тощенького с

морщинистым красным лицом столяра. Он много читал, бывал и у нас, и у Соловьевых. Принимал участие в подпольной работе, помню, как сидел он в леске, указывал путь на маевку. И при всем этом о нем говорили, что он состоит в секте хлыстов. Да и сам он не скрывал этого. Захар, бывший лакей Водарского, мой бывший приятель, тот самый, что пел вместо: “А деспот пирует в роскошном дворце” — “Отец мой пирует…”, и эксплуататоров называл эскулапами, стал баптистом. Он поступил сторожем в реальное училище, и ученики вечно дразнили его, заводя с ним религиозные споры. Начинались они всегда с вопроса: “Захар, ты баптист?” И он отвечал многозначительно и торжественно: “Я повсегда бактис”. И осенью 1910 года всех поразило сообщение — Толстой ушел из Ясной Поляны. Куда?

22 ноября 1951 г.

Все говорили и писали во всех газетах только об одном — об уходе Толстого. В Майкопе пронесся слух, что он едет к Скороходовым в Ханскую. Не знаю до сих пор, имел ли основание этот слух. Где-то я читал впоследствии, что Толстой собирался ехать на Кавказ, но куда — к нам или в Криницу? Это глухое упоминание о Кавказе как будто подтверждает слухи о Ханской. Как бы то ни было, уход Толстого всколыхнул наш круг особенно. За столом непрерывно вспыхивали споры, наши тяжелые, бестолковые майкопские споры, из-за которых я возненавидел, вероятно, споры на всю жизнь. Разумеется, я был в полном смысле этого слова подросток в те времена. Это значит, что я не был умнее взрослых. Но чувствовал я, — как все подростки, остро, — тяжесть и бессмысленность, когда никто друг друга не слушает, а голоса повышаются, безысходность споров, которые вели старшие. Я это угадывал. Вспоминая студенческие годы, мама с умилением рассказывала о “спорах до рассвета”. А я ужасался. Но вот Толстой заболел. Он лежал в домике начальника станции Астапово, и врачи у нас обсуждали бюллетени о его здоровье и пожимали плечами — дело плохо. Все бранили сыновей, лысых и бородатых, которые громко разговаривали и пили водку в буфете на станции. Так рассказывали в газетах. Осуждали Софью Андреевну. Но я прочел в одной из газет, как она в шапочке, сбившейся на бок, подходит к форточке комнаты, где лежит муж (внутрь ее не пускали), и старается понять, что делается внутри. И мне стало жалко Софью Андреевну. Вести из Астапова шли все печальнее. В ясный ноябрьский день вышел я на улицу и встретил Софью Сергеевну Коробьину. Было

это возле фотографии Мухина. Софья Сергеевна остановила велосипед и сообщила: "Толстой умер". И хоть мы ждали этой вести, сердце у меня дрогнуло. Я огорчился сильнее, яснее, чем ждал.

23 ноября 1951 г.

К этому времени в Майкопе был организован народный университет. Впрочем, кажется, я ошибаюсь, и произошло это годом-двумя позже. Годом позже. А сейчас просто устроили большой вечер памяти Толстого. В Майкоп приехал младший брат Льва Александровича — Юрий. Он был и выше, и шире, и собраннее брата. И говорил лучше. Лев Александрович считался плохим оратором. К общественной деятельности Лев Александрович относился безразлично. Личная жизнь его запутывалась все больше и больше. Но Юрий шел по другой дороге. (О росте и ширине его я говорю в буквальном смысле. О наружности его.) И весь он был энглизированный. С подстриженными усиками. Ни следа безалаберности, но и широты старшего брата. Так вот, на большом толстовском вечере он говорил вступительное слово. А потом шел концерт. Репетиция шла у нас. Папа читал две сцены из "Войны и мира": охоту на волка и дуэль Пьера и Долохова. Во втором отделении — сказку об Иванушке-дурачке и черте. Не помню точное название сказки. На репетиции я попался. В "Войне и мире" в те времена я пропускал все военные рассуждения и многое из того, что относилось к Пьеру. Выслушав сцену дуэли, я спросил: поправился ли Долохов после дуэли с Пьером? Папа укоризненно покачал головой. Мама насмешливо засмеялась. Считалось, что я прочел "Войну и мир". Я тогда с удивительной легкостью не читал то, что было трудно или скучно. И вот вечер состоялся. Юрий Коробьин, стоя спокойно и уверенно за столом, начал так: "У России было четыре солнца: Петр, Ломоносов, Пушкин и Толстой". Эти четыре солнца показались мне тогда подобранными случайно. И я с насмешкой рассказывал об этом начале так часто, что запомнил его. Папа, читая сказку об Иванушке, засмеялся вместе с публикой и с трудом овладел собой. Это понравилось, и, кажется, даже в газете написали об этом.

24 ноября 1951 г.

Вчера был сорок один год с того дня, как встретил я Софью Сергеевну на велосипеде, и она сказала мне, что Толстой умер. Итак, вечер его памяти состоялся и прошел с успехом.

Или в майкопских газетах, или кто-то в публике сказал об удивительной сказке, рассмешившей самого чтеца. Мы в это же время решили вдруг выпускать журнал. Мы, пятиклассники. Я написал туда какое-то стихотворение с рыцарями и замком. Помню, что там, как в какой-то немецкой балладе, прочитанной Бернгардом Ивановичем, в четырех строках четыре раза повторялось слово “черный”. “Поднималися черные тени, вырастая из черной земли”, остальные две строчки я забыл. На обложке был портрет Толстого, нарисованный Ваней Морозовым. На второй странице напечатано было стихотворение. Впрочем, “напечатано” сказано по привычке. Весь журнал был рукописный, вышел в одном экземпляре, в формате писчей бумаги. Итак, на второй странице поместил свои стихи Васька Муринов. Посвящены они были Толстому и начинались так: “Зачем так рано, вождь свободный, Ты покидаешь бренный мир!” Помню, что старшие подсмеивались над таким началом. Когда Ваське сказали, что говорить “рано”, когда человек умирает восьмидесяти двух лет, неточно. Это грустно. Это трагично, но “рано” сюда не подходит. Помню, как Васька встревожился, когда услышал это, и настаивал на своем определении. И я был с ним согласен, хотя вообще все его стихи казались мне какими-то старомодными. Выспренними. А в разговоре Муринов был умен, рассказывал интересно, смешно. Его отец был, помнится, владелец бани где-то далеко, “на низу” — так называлась майкопская окраина на низком берегу Белой. Впрочем, последнее обстоятельство я помню очень смутно (то есть кто был Васькин отец). Перехожу к Агарковым, знакомство с которыми определило года полтора-два моей жизни. И дом их часто мне снится. Белый дом за городским садом над обрывом. Казенный дом.

25 ноября 1951 г.

Это был просторный дом с вывеской у двери справа. [...] Войдешь — и увидишь: дверь направо открыта. Там канцелярия со шкафами, простыми столами, запахом сургуча, который, кстати, я очень любил. Из этой канцелярии можно было попасть в кабинет Иосифа Эрастовича. Но мы этим ходом не пользовались. Мы входили налево, в зал. Большой, но невысокий дом шоссейного ведомства был, вероятно, выстроен в шестидесятых годах. Три (или два?) окна на площадь. Стеклянные двери широкие, а рядом с ними столь же широкие окна вели на балкон, за которым зеленел большой сад. Весь стеклянный ход с окнами

вокруг кажется мне теперь полукруглым. Иосиф Эрастович родом был из орловских дворян, но женат был на грузинке, служил всю жизнь на Кавказе, и поэтому комната носила знакомый мне характер — кавказский. Ковры на стенах, на диванах, на полу. Мутахи. Близко к балконной двери, под прямым углом к ней, стояло у стены пианино. Правая дверь вела в кабинет к Иосифу Эрастовичу. Большой письменный стол обычного в то время канцелярского типа, книжные полки. Перед столом стояло кресло незнакомого мне вида: спинка изображала дугу. Деревянные рукавицы, как бы небрежно брошенные, были вырезаны под нею. Дверь налево вела из зала в столовую. Оттуда мы попадали в коридорчик с тремя дверями. Направо ванная, налево Сашкина комната, прямо — дверь [в комнату], где спала Нина, забыл отчество. Николаевна, кажется. Сашкина мать. И Нина же — Сашкина сестра, маленькая, изящная и хорошенькая девочка лет тринадцати.

26 ноября 1951 г.

Длинно описываю дом Агарковых. И непохоже. Особенно зал. Перечитал сегодня и вижу, что мое собственное ощущение начинает распадаться — так я нелепо рассказал вчера о нем. Верно одно — ковры. Одна большая тахта, ковер на стене, над ней и на ней. Такая же тахта напротив. Маленькая тахта с узеньким ковром над ней и на ней. Ковры на полу. Маленькие столики с альбомами открыток. Альбом какого-то парижского издания с красавицами более или менее одетыми. Да и подбор открыток такой же. Широкие окна на площадь, а напротив стеклянные двери и широкие окна на балкон. Зимой и осенью за окнами почерневшие лозы дикого винограда. (За окнами на балкон.) Летом — зеленая пышная стена. Сейчас мне показалось, что с маленькими гроздьями мелких, невозможно кислых ягод. Чуть ли не с первых часов знакомства с Агарковыми почувствовал я совсем новую породу людей. Высокий, в меру полный, черноволосый и черноглазый Эраст Иосифович был, как и Сашка, подчеркнуто вежлив с женщинами. Говорил им полушутя, но и полусерьезно приятные вещи о них. Я пробовал избежать ненавистного мне слова — комплименты. "Если мужчина оскорбит, его бьют. А если женщина, ее целуют". "Виноват" — "Виноватых бьют" — "А битых целуют!" Вот афоризмы и образцы блестящих ответов, которые приводились в семействе. Альбомы, лежащие на столах, были бы совершенно невозможны у нас или у Соловьевых. У Иосифа Эрастовича это только чувствовалось, но зато Сашка

был откровенен. Все бабы лживы, глупы, развратны, любят мужчин еще больше, чем мужчины их. Иосиф Эрастович любил сказать за столом нечто в этом смысле, а потом добавить: "О присутствующих я не говорю". Афоризм, который я тоже не слыхал.

27 ноября 1951 г.

Впервые за столом у Агарковых услышал я разговоры о воспитании. Тут тоже существовали готовые семейные формулировки. "А коровы много навоза дают" — это неизменно цитировалось для определения человека простого, затесавшегося не в свое общество. Как держаться за столом, вставать, когда к тебе подходят старшие или дама,спрашивать у дам разрешения курить и так далее — все это я узнал у Агарковых. Нина Николаевна, дама за тридцать, маленькая, тщательно следящая за собой, держалась кокетливо, глядела загадочно, многозначительно — так в нашем кругу не вел себя никто. "Следили за собой" — я говорю о внешности. Иногда у меня мелькали подозрения, что она пудрится или чуть подводит губы, но я отбрасывал их прочь как недостойные. Когда я первый раз пришел к Агарковым, разговор со старшими завязался. Точнее, с Иосифом Эрастовичем. Уже стемнело. Было уютно сидеть за столом в столовой, и хозяин предложил: "Оставайтесь ночевать у нас! Мы сейчас почитаем вслух, поговорим". Мне очень хотелось остаться, но я знал, что напугаю маму, и с горечью отказался. Тогда Иосиф Эрастович, увидев, как темно на улице, предложил мне взять с собой револьвер. Я был глубоко польщен, но я отказался и от этого. На другой день я похвастался тем, что мне предложили револьвер. Папа нахмурился и ответил: "Напрасно ты бываешь у этих Агарковых. Это совсем чуждая нам среда". Валя, подхватив это, каждый раз, когда я собирался к ним, кричал: "Не ходи к Агарковым! Это чуждая среда!" Но среда эта мне нравилась. Они, правда, подозрительно безразлично относились к тому, черносотенец человек или нет. Например, их лучшие друзья были Амбражиевичи, владелец фотографии и его семья. Амбражиевич, заносчивый и грубоватый поляк, ни с кем в городе не сходился. А с Агарковым оказался близок еще со времени первого пребывания этой семьи у нас в Майкопе. Оказывается в 1910 году Агарковы приехали в Майкоп уже вторично. Амбражиевич владел двумя домами, был солиден, состоятелен и подозрителен в смысле черносотенства. Бывал у них и тот самый батюшка (а может быть, и другой?), что крестил Валю. Во всяком

случае, тоже подозрительный в смысле черносотенства. Скоро я заметил, что и сами Агарковы подозрительны в этом смысле, но не хотел этому верить. За столом у них бывало весело, хозяин шутил, острил, смеялся. У них так определенно было известно, кто молодец, а кто смешон. Молодец должен был держаться независимо, храбро разговаривать с начальством (у нас о начальстве и не вспоминалось. Для отца его не существовало), смело и решительно ухаживать за женщинами. Вопросы идейные, общественные для него просто не существовали. Для молодца, то есть. Но при всей своей бодрости, ясности и веселости, я с удивлением узнал скоро, что Иосиф Эрастович нервен, самолюбив, обидчив. Ему показалось, что в гимназии обижают Нину, и он пошел объясняться с начальницей, с Анной Петровной Тутуриной. И девочки Соловьевы со смехом рассказывали, что Агарков у начальницы так разволновался, что его отпаивали водой. И в самом нашем училище, несмотря на то что Сашка учился отлично и вел себя хорошо, у него уже произошли какие-то недоразумения. У отца его, не у Сашки. Он по какому-то поводу не поладил с Бернгардом Ивановичем и даже, кажется, с Василием Соломоновичем. Обид в этом доме не забывали. Каждый раз врагов за столом поднимали на смех или рассказывали о них что-нибудь обидное. И переубедить их ничто не могло. У нас, кроме маминых именин, 1 апреля, не бывало званых вечеров. То же и у Соловьевых. А у Агарковых гости собирались часто. Иногда мальчики и девочки. Иногда старшие, но и мы присутствовали, как равноправные, за столом.

29 ноября 1951 г.

И это всегда было весело. Сначала мы танцевали под пианино. Затем играли, Иосиф Эрастович знал множество игр. В колечко, в рубль (колечко передавали друг другу по веревочке, а рубль из рук в руки) и так далее. Иногда устраивался концерт — Нина играла на рояле, а отец и сын Агарковы на флейте. И ноздри большого Сашкиного носа раздувались, а рот становился уж совсем крошечным, когда он дул в свой инструмент. Как мне показалось вдруг, и Нина Николаевна играет на чем то тоже. Неужели на флейте? Нет, на флейте играла Нина-младшая. Во всяком случае, я отчетливо помню три пюпитра, стоящие рядом, и свечи, и керосиновые лампы, приспособленные у нот. Кажется, на пюпитрах были особые подсвечники. Вообще я совсем забыл, как освещались большие комнаты, — керосиновыми лампами? Во всяком случае, у Агар-

ковых на званых вечерах было, как мне сейчас кажется, очень светло. Иногда на вечерах декламировал родственник знакомого их священника Иван Евгеньевич. Он приехал по окончании семинарии жениться, чтобы после этого пойти в священники. И это было нечто невиданное в нашем кругу. Брак не по любви с невестой, с которой он только что познакомился. Да еще, помнится, выбирал ее. Привел он однажды к Агарковым и невесту свою: застенчивую востроносенькую поповну в пенсне. Мне казалось, что краснеет она от того, что ей предстоит столь странный брак. Иван Евгеньевич (фамилию забыл) декламировал хорошо. Читал он стихи из “Чтеца-декламатора”, сборник этот был и у нас. Он уже отпускал волосы и бороду, но ходил в пиджачной паре, отчего голова Ивана Евгеньевича казалась огромной. Шевелюру ему отпустила природа богатую, только бороду дала рыжую. Почему-то мне помнится, что читал он громящие обывательское болото стихи “Скотный двор”.

30 ноября 1951 г.

Как я теперь соображаю, не только к идеям общественным, но и к религии Агарковы относились безразлично, несмотря на знакомства среди священников. Не помню, чтобы ходили они в церковь или говорили на соответствующие темы. Нет, они были свободны и от этого. Теперь я помню, что поражало меня в этой семье. У Агарковых начисто отсутствовал тот дух, несколько монашеский, который так чувствовался у Соловьевых. Девочки любили петь: “Кто она мне, не жена, не любовница и не родная мне дочь, так отчего ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь”. На стене портреты Каляева (открытка) и Марии Спиридоновой. Народоволец или близкий к ним Андрей Андреевич Жулковский так и жил у Соловьевых. Казни и ссылки не прекращались. Это давило на совесть людей нашего круга. Мы были менее грамотны в политике (папа, например, прочел “Капитал” и всех классиков марксизма). Я считал, что просто равнодушен к общественным вопросам. Но в брезгливом отношении к черносотенцам, будто к зачумленным, в чувстве ответственности за то, что в стране творится, сказывался воздух, которым я дышал. Узнав о революции, о свержении царя, я, в то время совсем пустой и холодный, и суетный человек, заплясал от радости. Агарковы жили вне этой ответственности, веселее, легче, но в некотором одиночестве. Не отсюда ли их нервность, обидчивость и мнительность? Впрочем, все это я ощутил

потом. Из нашей нелегкой семьи я сбегал к Соловьевым, к Истамановым, а теперь прибавился еще и дом Агарковых. Вот мы с Сашкой идем через столовую к нему в комнату. Иосиф Эрастович, сидящий в столовой с кем-то из гостей, поет: “Вот мы шли величаво, шли величаво, шли величаво два А-я, А-я, Аякса вдруг”. У Агарковых я услышал об оперетках без осуждения. Напротив — они смеялись и одобряли их.

2 декабря 1951 г.

Меня и Сашку называли “два Аякса” все в доме. И в самом деле, мы как будто были дружны. Говорю “как будто”, потому что, хоть мне и нравилось многое у Агарковых, кое к чему душа не лежала. И очень не лежала. При внешней уязвимости, уклончивости и покладистости была граница, за которую я не переступал. И мы были приятелями, но не друзьями. Да и здравомыслящий, насмешливый Сашка не слишком к этому располагал. Я и не заикался ему о том, что пишу стихи. Разговор на тему, выходящую из ясных, так сказать, сегодняшних пределов, нам обоим казался невозможным. Сашка увлекался физикой и химией. На столе у него стояла самодельная электрическая машина со стеклянным колесом. Лейденская банка. Стойка с пробирками. Он сразу подружился с Кавтарадзе, стал его правой рукой в “естественном кабинете” среди коллекций минералогических, зоологических и прочих. С ним он был подчеркнуто вежлив и отчетливо исполнителен, что меня, хоть я и был в хороших отношениях с Кавтарадзе, раздражало в глубине души. В столе у Сашки лежал офицерский наган в желтой кобуре, которым шутить Сашка не разрешал. У Агарковых часто говорилось: “Достал шашку, покажи ей кровь”. Говорили, что это черкесская поговорка. Меня взрослые отводили и отталкивали от основных интересов своих. Если они и влияли на меня, то помимо своей воли и не тогда, когда бранили и наставляли меня. Меня воспитывала обстановка, в которой я жил. Иосиф Эрастович раскладывал на столах альбомы с невозможными, с нашей точки зрения, открытками, подарил сыну-пятикласснику револьвер — этим оказав ему доверие. И влияние здесь шло прямее и непосредственнее.

3 декабря 1951 г.

И вот все яснее стало выступать за ясностью и здравым смыслом Агарковых нечто, все более и более меня пугающее. Выяснилось, точнее, пронесся слух, что Агарков не то

что берет взятки, а что-то комбинирует там на своей дистанции с подрядчиками. Я не слишком верю в это. Агарковы жили скромно. Но, с другой стороны, ведь он был одним из огромной семьи путейских чиновников, среди которых это считалось нормой. Людям вроде моих старших или Соловьевых казалось, что мы и есть Россия, и против нас меньшинство — "правительство", "полицейско-бюрократический режим", "чиновники". Уже много-много позже я понял, что меньшинством были наши. Они только громче высказывались. А насмешливая, холодная, здравомыслящая, практическая масса людей была молчалива и гораздо более велика и далеко не абстрактна. И жила косно. Режим Николая I определялся не Полежаевым, не человеком, который бунтовал, а огромной массой, которая выполняла спокойно и с чистой совестью приказания. Я говорю о служилой интеллигенции. Она была страшна, но страшна уверенностью в своей правоте и полным отсутствием сходства со щедринской, гоголевской или теоретической злой силой. И вот я впервые встретился как бы с безобидной, но вместе с тем враждебной частью русского общества. Я узнал много позже черты Агарковых в уцелевших в Ленинграде нововременцах и в бывших более или менее крупных чиновниках, работавших в Госиздате в двадцатых годах. Кстати, они с удивительной легкостью приспособились тогда к новому быту. Внешне безобидные люди. Беспомощные, когда надо помочь, и находчивые, когда надо брать. А впрочем, Агарковы были талантливы (что, впрочем, не редкость среди этих людей). И ярко выраженные характеры их (особенно Иосифа Эрастовича) не давали им слиться с болотом.

4 декабря 1951 г.

В общем, говоря коротко, страна определялась не только теми, кто приказывает, но и теми, кто эти приказы выполняет. И я впервые встретился с людьми, довольными положением вещей в тогдашней России. Не помню, говорил ли я, что у нас очень долго не было знакомых офицеров. После пятого года и японской войны к ним относились в нашем кругу, как к враждебным, опасным людям. "Поединок" Куприна подтверждал наше мнение об этой среде. То в одной, то в другой газете появлялись сообщения, что офицер зарубил или застрелил штатского в ресторане или в городском саду, или поднял пальбу, обиженный каким-то замечанием прохожего. Помню разговор на железной дороге. Старый капитан произнес формулу, которую я слышал много раз от

гонимых сословий или наций. Капитан жаловался горько: “Студенты напьются и устроят дебош — это им сходит с рук. А сделают это офицеры — шум на всю Россию”. Правда, и у нас к этому времени появилось двое знакомых офицеров — Санечка Родионов и Саша — забыл фамилию. Но это были артиллеристы — офицерская интеллигенция. А у Агарковых бывали обычные, настоящие офицеры, например, казачий офицер Самохин, который в первое время вызывал у меня смутное беспокойство и недоверие, как существо с другой планеты. Но при ближайшем рассмотрении он оказался очень похожим на человека. Все это, конечно, я называю сейчас. В те дни это только чувствовалось. Да и то, через год-полтора, когда я от Агарковых уже стал отходить, я взглянул в глаза фактам. А в первое время я был у них счастлив, разговаривал безо всякого смущения с Иосифом Эрастовичем, зато был необыкновенно застенчив с Ниной Николаевной. Ее многозначительный взгляд и которого она по привычке держалась и со мной, заставлял меня цепенеть от ужаса.

5 декабря 1951 г.

Нсмотря на то, что я к этому времени уже был влюблен в Милочку, черные глаза, спокойствие и изящество маленькой Нины Агарковой производили на меня довольно сильное впечатление. Но ее подруги — Валя и Зося Амбражиевич, наши соседи по капустинской квартире, с которыми у меня с давних пор были холодные отношения, своими презрительными отзывами обо мне сильно повредили мне в глазах моей новой знакомой. В первые дни знакомства Нина встречала меня приветливо. Точнее, в первое время знакомства. Вижу, как маленькая Нина (или Боба, как звали ее дома в отличие от старшей Нины — ее мамы) идет по залу, улыбаясь, маленькая, загадочная, как все девочки, которые мне нравились. И помню, как вдруг все изменилось. Странно, мне до сих пор неприятно вспоминать все это. Нина просто перестала разговаривать со мной. А вскоре на какой-то вечеринке у Агарковых, когда я сказал что-то о ее маленьком росте, пошутил на эту тему, впрочем, вполне почтительно, она и совсем поссорилась со мною. Старшие Агарковы побранили меня за “нерыцарский поступок”. Я, хоть и не чувствовал себя виноватым, извинился. Произошло примирение, но хорошие отношения не возобновились. Вскоре настоящая моя первая любовь заслонила все, но я тяжело переносил обиды такого рода. Всю жизнь полагаю, что первый удар —

охлаждение ко мне со стороны мамы — сделали меня столь уязвимым в этом направлении.

6 декабря 1951 г.

Пришло время рассказать подробнее о реальном училище и учителях. Младшие классы занимались во втором этаже, старшие в первом. Кирпичное, неоштукатуренное просторное здание училища было одним из самых больших в городе. Перед широкой стеклянной дверью большое крыльцо на кирпичных устоях. Крыша этого крыльца являлась балконом, на который мы попадали из зала. Балкон этот памятен мне особенно по экзаменам. Тут мы толпились во время устных экзаменов, ожидая вызова. Миновав крыльцо, мы попадали в вестибюль с кафельным полом. Пять-шесть ступенек и вторые двери. Тоже стеклянные. Войдя в эти двери, мы попадали в коридор первого этажа. Направо — гардеробная младших и классы. Налево — гардеробная старших, учительская, кабинет директора, канцелярия. Направо в глубине под лестницей помещалась комнатка сторожа по имени Трофим и по прозвищу Ежик. Так звали его в отличие от Трофима-длинного, вечно пьяного, дежурящего при гардеробе. Трофим, аккуратный низенький блондин, выполнял важное дело — звонил в колокол, маленький, но звонкий, возвещая начало и конец урока. Причесан он был ежиком, откуда и произошло его прозвище. Колокол он держал в руках.

7 декабря 1951 г.

Трофим-длинный не лишен был юмора. Он славился тем, что, когда ему сказали: "А ну повтори — четыре четвертака", он ответил: "Рубль". Мы знали, что выдумка эта не его, но он смешно говорил: "Руб!" И мы часто задавали ему этот вопрос. За раздевалкой, в начале коридора помещался химический кабинет. Здесь вечерами бывали у нас занятия по химии. Потом шли классы, потом в углу, где коридор поворачивал под прямым углом, как ему и подобает, помещался физический кабинет, потом классы, потом дверь на черную лестницу. Наверху, кроме классов, помещался еще зал, над тем местом нижнего этажа, где располагались гардеробные, вестибюль, химический кабинет. Над физическим кабинетом, так же на повороте, в углу помещался кабинет рисовальный. В общем зале на большой перемене выдавались горячие завтраки. Продавались? Платили за них так дешево, что скорее выдавались. Занимался

этим делом родительский комитет, не слишком многочисленный — большинство родителей проживало в станицах Майкопского отдела Кубанской области. С первого класса мечтал я о счастливом времени, когда попаду я в физический кабинет или начну рисовать — в рисовальном. Первый прельщал меня шкафами с непонятными приборами. Оборудован он был богато. Имелся даже рентгеновский аппарат, в то время еще редкость. Городская больница, помню, вывозила аппарат к себе, чтобы определить местонахождение пули у какого-то раненного на охоте или в драке — других в те мирные времена еще не было. Рисовальный восхищал меня пюпитрами, расположенными амфитеатром. Внизу в нише на черном фоне возвышалась гипсовая статуя Аполлона в размере подлинника. Бельведерского Аполлона. Дионис с маленьким Вакхом. Торвальдсеновский Христос.

8 декабря 1951 г.

Кроме торвальдсеновского Христа, простоту которго я никак не мог понять, был еще Христос — большой горельеф в овале, с головой, склоненной к плечу, в терновом венце, с выражением муки в открытых губах и глазах, устремленных к небу. К тому времени, когда мы стали уроки рисования проводить в рисовальном кабинете, я уже прочел “Сказку моей жизни” Андерсена. Уважение его к Торвальдсену передалось и мне. И я все надеялся, что Христос в овале окажется торвальдсеновским. Он мне нравился гораздо больше. Итак, два кабинета казались мне особенно привлекательными, когда я был в младших классах, — физический и рисовальный, и оба принесли мне множество огорчений. Физику преподавал Викентий Викентиевич Яцкевич — спокойный, несколько рыхлый человек со щеками очень румяными и белыми пухлыми руками. Говорил он вяло, чуть-чуть в нос. И на уроках его мы вели себя безобразно. Он говорил нам: “Тише, тише”, но это никак не действовало на нас. Почему мы вели себя так? Не совсем понимаю. Яцкевич был достаточно строг, вызовов его мы боялись. И не слушались. За его спокойствием, кирпичным румянцем, вялым голосом чувствовалась какая-то слабость, чем и пользовались мы с наслаждением. В первый раз меня Яцкевич вызвал, когда нам задан был урок о пружинных весах. Я был уверен, что понял их устройство, но, отвечая, запутался и схватил двойку. И второгодники сказали мне: “Кончено. Теперь ты всегда будешь у него двоечником”. Я не поверил, но, отвечая в следующий раз, убедился, что физик не

верит мне. Не верит — что я знаю то, о чем говорю. А я и в самом деле никак не мог понять чертежики в учебнике Киселева с разложением сил. Слово “сила” почему-то меня сбивало и путало. И я, по своей особенности, вместо того, чтобы понять, о чем идет речь, сделав над собой некоторое усилие, попросту скрывался в тумане. На углу возле колбасной Карловича какие-то албанцы, бежавшие в Россию, открыли бузную. Этот мутный, серый, кисло-сладкий напиток сразу привился в Майкопе. Об албанцах говорили, что они на своей родине до беспорядков были важными и влиятельными людьми. Их было несколько. Они стояли по очереди за стойкой. А разносили ледяную бузу в темных бутылках два мальчика. Одного из них звали Фезулла. Он утонул, бедняга, купаясь в Белой. Случилось это году в одиннадцатом. Все это я рассказываю (кроме несчастного происшествия с Фезуллой) в связи с тем же нашим физиком. Он снимал квартиру позади колбасной Карловича и ходил к себе домой через садик позади колбасной, мимо бузной. За это его прозвали Викеша-бузовар. Узнав о прозвище своем, Яцкевич, по слухам, пожал плечами и заявил: “Черт знает, что такое. Да я и не пил ее никогда”. Таков был наш физик. И прекрасный, и таинственный физический кабинет стал мне скоро ненавистен. Так же ненавидел я и уроки рисования. И черчение (которое преподавал все тот же Яцкевич). Я рисовал еще хуже, чем мог бы, из-за насмешливой, польской, надменной повадки, с которой вел свои уроки Вышемирский. Он особенно не любил наш класс. У нас не было хороших художников, помнится. И классным наставником состоял Бернгард Иванович. А Вышемирский с ним был в ссоре. Однажды он обвинил нас в том, что кто-то написал на торнвальдовском Христе непристойность. Он обнаружил это после того, как в рисовальном кабинете был наш класс. Произошло целое следствие. Мы возмущенно отрицали это обвинение. Наконец Харламов предложил следующее: пусть каждый напишет на бумаге “да” или “нет”. Виновника искать не будут. Инспектор хочет только выяснить: наш класс виноват или другой. Так и было сделано. Сидя за столом и доставая наши записки из чьей-то фуражки с гербом, Харламов читал своим глуховатым голосом: “Нет, нет, нет” — все ответили “нет”. Наш класс признали невиновным. В естественном кабинете я чувствовал себя счастливым. Здесь преподавал сначала, как я уже рассказывал, Драстомат Яковлевич, а потом Иван Павлович Кавтарадзе. И тот, и другой относились ко мне благожелательно. По той же причине любил я и практические занятия

по химии. Происходили они в вечерние часы. А я особенно любил наше училище в это непривычное время. Тихо. В коридорах гулко, и они теряются во мраке. Только перед химическим кабинетом на стене висит маленькая керосиновая лампа с рефлектором. А в самом кабинете светло. Гудит лампа с колпачком — не помню, как она называлась. Освещал все не фитиль, а этот самый колпачок. Давала она сильный голубоватый свет, и считалась еще редкостью. На столах пробирки в зажимах. Колбы.

9 декабря 1951 г. На столах лежали индиговые призмы, две-три на всю группу. На спиртовках выжаривались в фарфоровых тиглях какие-то составы. Из-за необычности обстановки, из-за того, что к вечеру чувствовал я себя уже и в те годы живее и ловчее, работа у меня ладилась. Я бил посуду не больше, чем все остальные. А однажды заслужил всеобщую похвалу за находчивость и быстроту действия. Борис Редин, перенося со стола на стол большую бутыль с серной кислотой, сломал ее, взяв неудачно за горлышко. Кислота брызнула ему на брюки. А на пол хлынула. Я схватил со стола бутыль с какой-то щелочью и вылил на брюки Бориса и на пол. Правда, Борис успел оттянуть брюки от ноги, но кислота окончательно притихла после моей бутыли. Пострадали только брюки. Во всяком случае, я, по словам Ивана Павловича, поступил совершенно правильно. Вижу полусмеющееся, полурастерянное лицо Бориса. Большую складку на брюках, которую придерживает он обеими руками, и дыру на складке, которая шипя, растет, и чувствую острый запах, лабораторный, химический. Мне все кажется, что если я не назову всего, то упрощу то, что было. Я запретил себе зачеркивать, чтобы сохранить первое высказанное. Но иной раз мне кажется, что я страдаю как раз недостатком литературности и стараюсь избегать того, чего нет. Продолжаю об учителях. Вижу, что как будто уже все о них и рассказано. О Якове Яковлевиче я рассказывал, вспоминая Женю. О Валерьяне Васильевиче — тоже.

11 декабря 1951 г. Когда я был в пятом классе, Валериан Васильевич предложил мне прочесть реферат о Лютере, Кальвине и Цвингли. Историю я любил, прочесть реферат мне очень хотелось. Происходили подобные чтения вечерами в зале. Присутствовали все старшие классы. Мне казалось, что я непременно напишу отличный реферат и произ-

веду на всех прекрасное впечатление. Что же произошло? А то, что столь часто случалось в моей жизни и в дальнейшем. Реферат не состоялся по той простой причине, что не был написан. Он стал на целый год моей пыткой. Болея малярией, я этим самым рефератом бредил. Меня попрекали все: учитель, мама, Саша Агарков. Я изворачивался, врал, но не кончал работы. В меня тогда уже всосался этот невидимый клещ, отнимавший волю. Волю к труду. В тысячу раз легче мне было бы, напиши я хотя бы плохенький реферат. Любой неуспех был бы менее мучителен, чем непрерывные угрызения совести. И все-таки я не двигался с места. Вот моя комната, выходящая окнами на гигантские шаги и на заросли бурьяна, в которых я с таким наслаждением вытаптывал разбойничьи логова. Передо мной открыта толстая клеенчатая тетрадь. На столе около книжки о трех реформаторах, из которых у меня душа лежала к одному кроткому Цвингли. Начало реферата, первые три странички написаны давно-давно, века назад. Написаны старательно, гладко, хорошим слогом, как полагалось тогда. А дальше — ни с места. Я сижу над клеенчатой, черной, ненавистной тетрадкой пять, десять минут. Пятнадцать минут. Потом открываю постороннюю книгу и принимаюсь за чтение. Когда в комнату входит мама или Валя, я старательно пишу. Заслышав шаги, я прячу книжку. И так каждый день.

12 декабря 1951 г.

Это было особое, вероятно, болезненное состояние. Во всяком случае ощущение тоски, беспорядка, какое испытываешь во время, скажем, бессонницы, я испытывал, уклоняясь от этой несчастной работы. Мой демон уводил меня против моего желания от реферата, и я, ужасаясь собственной распущенности, шел за ним. Когда я вспомнил, что читал и не читал “Войну и мир”, передо мною ясно выступило представление о способе, которым я читал книги. При малейшем напряжении я перескакивал через трудное или скучное место. Страницы без “разговоров” были для меня невыносимы. Я уже говорил, что мне выписали “Природу и люди” с приложениями. Романы Диккенса я не начинал читать, пока они не подбирались полностью. А когда они приходили целиком, выяснялось, что потеряно начало. Я начал читать “Пиквикский клуб” сначала. Мне показалось скучно. Потом подвернулся мне томик из середины. Я заинтересовался. Принялся искать по всему дому и собрал роман целиком и перечитывал множество раз. И отдал в переплет. И возил

эту книжку за собой всюду, даже когда уже был студентом, хотя к этому времени знал роман чуть ли не наизусть. И тем не менее начало романа я перечитал уже, вероятно, в двадцатых годах. Как отпугнуло оно меня в детстве, так я его и избегал до зрелого возраста. Так же прочел я "Николая [Николаса.—Ред.] Никльби": кусок из середины, кусок из конца и, наконец, много позже, всю книгу целиком. Я сказал как-то, что обрадовался, узнав, что "Давид Копперфильд", которого мне подарили в детстве, только начало. Неверно. Новый толстый роман под тем же названием, что моя тощенькая книжка, в красивом переплете с вытесненным узором из цветов, вьющихся вдоль корешка и названия, ошеломил меня. Всё, что в жизни Копперфильда выходило за пределы моей книжки, казалось мне недостоверным.

13 декабря 1951 г.

Я вовсе не обрадовался, я долго не читал нового "Копперфильда", хотя старого моего знал чуть ли не наизусть. Чтение было для меня наркотиком, без которого я уже тогда не мог обходиться. Было наслаждением. И всякий вид принуждения убивал для меня это наслаждение. В это время началось у меня увлечение „Сатириконом" (тогда он, по-моему, еще не назывался "Новым"). Я с нетерпением ждал того дня недели, в который он обычно приходил. Газеты раскладывались тогда по столам читальни, а журналы лежали на особом столе, за барьером, возле библиотекарши. Берущий журнал докладывал ей об этом. И вот я еще издали замечал, меняя книгу, — на обложке рисунок новый! Пришел свежий номер "Сатирикона". Меняя книгу, я следил за людьми, проходящими в читальню. Все боялся, что кто-нибудь захватит книгу раньше меня. Журнал, я хотел сказать. И вот обмен книги окончен. Я поворачиваю направо, к читальне. Беру со стола "Сатирикон". Иду по проходу — слева стена, справа за барьером книжные полки, и открываю дверь в читальный зал. Довольно просторный и очень светлый (его освещают два окна и стеклянная дверь, наглухо забитая), он весь почти занят огромным овальным столом, за которым сидят за газетами читатели. В углу у окна, в самом дальнем углу, стоит большое чучело горного козла на деревянной высокой подставке, вырезанной в виде скалы. Перед чучелом (подаренным Христофором Шапошниковым) стоит круглый стол меньшего размера, чем овальный. Это мое любимое место, я сажусь у окна, спиною к деревянной скале. В окно я вижу го-родской сад с круглой площадкой под самой читальней, а за садовой оградой—улицу до самого завода.

14 декабря 1951 г.

До самого пивного завода Чибичева я вижу улицу. Впрочем, пока я в пятом классе, эта улица не играет такой роли в моей жизни, как впоследствии. Впоследствии я сторожил, глядя в окно, не идет ли в библиотеку Милочка Крачковская. А этой зимой читал я спокойно — Милочка жила еще против реального училища, в библиотеку ходила другой дорогой, да я и не посмел бы с ней заговорить, если бы встретил ее на улице. Только поздоровался бы. Встречи наши на улице, по дороге в училище, продолжались, и я все приглядывался к каждому оттенку выражения удивительного ее лица. И был то счастлив, то обескуражен. Итак, я садился у ног золотисто-коричневого тура (мне кажется сегодня, что это был тур) и начинал перелистывать журнал. Делал я это с чувством, истово, не спеша. Сначала я рассматривал только рисунки: Ре-ми, Радакова, стилизованных маркиз и маркизов под стилизованными подстриженными деревьями у беседок и павильонов, подписанные Мисс. А затем принимался за чтение. Рассказы Аверченко, Ландау, позже — Аркадия Бухова. Отдел вырезок под названием, помнится, "Перья из хвоста". Рассказы, подписанные Фома Опискин, Оль Д'Ор. И так далее, вплоть до почтового ящика. Забыл еще Тэффи, которая печаталась еще и в "Русском слове". Она и Аверченко нравились необыкновенно, и не мне одному. В особенности — Аверченко. Он в календаре „Товарищ" числился у многих в любимых писателях. Его скептический, в меру цинический, в меру сентиментальный, в меру грамотный дух легко заражал и увлекал гораздо больший слой читателей, чем это можно было предположить. Саша Черный первые и лучшие свои стихи печатал в „Сатириконе", чем тоже усиливал влияние журнала. "В меру грамотный"... "дух" нельзя сказать. Я хотел сказать, что он, Аверченко, как редактор схватил внешнее в современном искусстве.

15 декабря 1951 г.

Это был дендизм, уверенность неведомо в чем, вера в то, что никто ни во что не верит. Все это я смутно почувствовал много — много позже. А тогда меня необыкновенно прельщал общедоступный эстетизм и несомненный юмор журнала. Боже мой, с какой мешаниной в башке пришел я к четырнадцати годам жизни. У нас огромным успехом пользовалась повесть А. Яблоновского о гимназистах. Название ее забыл. Там гимназисты читали Писарева и безоговорочно принимали его статью о Пушкине. С таким же почтением говорилось о Писаре-

ве в „Гимназистах" Гарина. В подражание этим героям любимых наших книг и мы решили заняться серьезным чтением. Кто мы? Не помню. Был там Матюшка. Кажется, Жоржик. Кто-то из приезжих ребят, из казачат. Прочли мы статью о Пушкине — писаревскую статью — и признали ее. Девочки Соловьевы участвовали в этих чтениях. И, кажется, Милочка? Не помню. Начали читать Бокля и не дочитали. Все мы были при этом ярыми врагами идеализма. И при этом увлекались хиромантией. Отгадыванием характера по почерку. А я еще и молился. И был суеверен до крайности. Вечерами в темных майкопских улицах, в темных аллеях городского сада меня охватывал мистический страх. Иногда мучительный, но вместе с тем и доставлявший наслаждение. Бог, которого я познал в Жиздре, был запрятан в самую глубину души, со всеми невыдаваемыми тайнами. А по утрам мы занимались гимнастикой по Миллеру, который рядом с Боклем и Писаревым знаменовал для меня тогда начало новой жизни. Много раз начинал я новую жизнь и всегда одинаково: с Бокля и Миллера. Впрочем, однажды прочел чью-то анатомию и физиологию. Кстати, о новой жизни — у меня резко повысилось давление.

18 декабря 1951 г.

От этой путаницы понятий спасали меня ясные правила поведения, установившиеся неведомо как. Та самая загадочная сила, которая заставляла меня в приготовительном классе пить молоко, которое я мог вылить в подвале на пол, и сейчас играла достаточно сильную роль в моей жизни. Я не курил и даже не пробовал закурить. Почему? Не ругался. Даже нарушая правила поведения, оставался добродетельным. Ужас, испытываемый при этом, убивал радость. Но при этом я вечно бывал счастлив. Я уже тогда начал приобретать предчувствие удивительных, счастливых событий. (Я описал особенно острую вспышку этого чувства, которую испытал, когда мы подъезжали к Адлеру.) Поэтические мои ощущения бывали неопределенны, но так сильны и радостны, что будничный мир и обязанности, с ним связанные, отходили на задний план. "Как-нибудь обойдется". Вот второе (после чувства законности) — ясное, точнее, ощутимое душевное состояние, которое определяло мое поведение. И, наконец, третье — тот ужас, который я пережил, когда мама отошла от меня, та печаль, которую я испытал, поссорившись с Жоржиком, переросли в честолюбие. Я хотел славы, чтобы меня любили. Вот так я и жил. Надо к

этому прибавить неотвязные представления о женщинах, заставлявшие видеть непристойные картины там, где их нет. Не один я — все замечали, что грибы на ботанической таблице, висящей в классе, похожи невесть на что. Видели непристойности в новых тумбах на тротуаре возле училища. Видели их в пятнах сырости на стене. А тут еще товарищи, познавшие любовь, не жалея красок, рассказывали о своих похождениях.

21 декабря 1951 г.

Итак, жил я сложно, а говорил и писал просто, даже не просто, а простовато, несамостоятельно, глупо. Раздражал учителей. А в особенности родителей. А из родителей особенно отца. У них решено уже было твердо, что из меня “ничего не выйдет”. И мама в азарте выговоров, точнее, споров, потому что я всегда бессмысленно и безобразно огрызался на любое ее замечание, несколько раз говаривала: “Такие люди, как ты, вырастают неудачниками и кончают самоубийством”. И я, с одной стороны, не сомневаясь, что из меня выйдет знаменитый писатель, глубоко верил и маминым словам о неудачнике и самоубийстве. Как в моей путаной мыслительной системе примирялось и то и другое, сказать трудно. Забыл. Точнее, утратил эту особенность мыслительную. Вот я иду по саду. В конце аллеи, главной аллеи, правее мостика, ведущего в ту часть сада, где трек, где городской сад уже в сущности не сад, открылся новый летний электробиограф. Праздник. Весна. На главной аллее множество народа. Я иду боковой дорогой. Застенчивость моя все растет. Пройти по главной аллее для меня — пытка. Мне чудится, что все мне глядят вслед и замечают, что я неуклюжий мальчик, и говорят об этом. И тут же я думаю: “Вот если бы знали, что мимо вас идет будущий самоубийца, то небось смотрели бы не так, как сейчас. Со страхом. С уважением”. Думаю я об этом без малейшей горечи. Холодно. Новый электробиограф под названием „Иллюзион” выглядит празднично. Слышен рояль, сопровождающий картину. И рядом с мыслями о том, что я будущий самоубийца, я испытываю бессмысленную уверенность в будущем, счастье. Разговоры с мамой кончались ссорой. Разговоры с отцом — всегда почти слезами.

22 декабря 1951 г.

Думаю, что и меня такой сын привел бы в ужас и отчаянье. До здоровой моей сущности тогда я и сам не мог бы добраться. А отец был силен и прост, иногда я его приводил в

ярость. И ужасал. Иногда два-три его слова показывали мне, как взрослые далеки от меня, и тут удивлялся я. Вот пример последнего случая. После долгих разговоров, соврав, что такие-то уроки выучены, а таких-то завтра нет, а по такому задано повторить, я, выслушав упреки за реферат, за склонность к развлечениям, за отсутствие к серьезным вещам хотя бы приблизительного влечения, добился того, что меня отпустили в кино. Вместе с Валей. К этому времени против электробиографа братьев Берберовых был открыт еще чей-то. Вот мы и пошли туда. Купили билеты. Купили ириски. И вышли на улицу ждать начала сеанса. Была хорошая погода. Вскоре мы увидели папу в его темном, шерстяном плаще, привезенном из Берлина. Он шел с кем-то из знакомых и озабоченно разговаривал с ним. Поравнявшись с нами, папа засмеялся и сказал знакомому: “Счастливцы! Стоят себе, едят конфеты, и больше им ничего не надо”. И вся сложная, полная обязанностей, да еще и невыполненных, запущенных дел, нескладная, запутанная моя жизнь вдруг после папиных слов осветилась для меня. И я удивился и обиделся. После каждой поездки в Екатеринодар папа восхищался Тоней. Он рос как настоящий Шварц. В классе шел первым. Отлично декламировал. “За столом зашел разговор об элеваторе, — рассказывал папа — Тоня объяснил его устройство толково, понятно, спокойно”. С тех пор всю жизнь, взглядывая на знаменитый в те дни, второй по величине в мире элеватор в Новороссийске, я вспоминал Тоню и то, как рассказывал он об его устройстве за столом.

23 декабря 1951 г.

В пятом классе с учением у меня дело шло благополучнее, чем в третьем и четвертом. Но главной моей бедой оставались три предмета: закон божий, рисование и физика. Плохо дело обстояло и с черчением, особенно когда преподавал его Викентий Викентьевич. Когда мы перешли к геометрическому черчению, — кажется, это произошло в пятом классе, — дела мои пошли лучше. Его преподавал Василий Соломонович — спокойно, доброжелательно и строго. И рейсфедер стал держаться у меня послушнее. Тушь не выливалась из него и не приставала к линейке (сдвинешь линейку, и на бумаге вместо линии зубчатое безобразие). В четвертом классе мне был ненавистен самый запах туши. Я не мог разделить линию или окружность на равные части. Циркуль оставлял дыры в глянцевитой александрийской бумаге. Каждый чертеж являлся столь

выразительным памятником моей неловкости, что Викеша-Бузовар и не ругался даже, молча глядел на чертеж своими водянистыми глазами и молча же ставил двойку. Мне взяли репетитора, армянина Мишу Шашнова, который, как мне казалось, просто возненавидел меня за мое удивительное неумение чертить. Думаю, что за все время существования реального, я был единственным учеником, которому брали репетитора по таким предметам. Но при Василии Соломоновиче я черчением, повторяю, овладел. Но рисование не удавалось, да и только. Вышемирский держался со мною то добродушно, то издевательски. И ни то, ни другое не помогало. Если по физике мне удавалось исправить в конце [концов] двойку, если у батюшки я выплывал, то у Юлиана — никогда.

24 декабря 1951 г.

Во второй половине года вдруг захворал Валя плевропневмонией. Помню вечер этого дня, когда мама, узнав диагноз, сердитая, как всегда, когда беспокоилась о нас, нападала за что-то на отца, а он отвечал с непривычной сдержанностью. Брату в это время исполнилось восемь лет. В реальное училище принимали с девяти. Он готовился туда. Был он худенький, но крепкий, целый день гонял по двору и по улице, обладал той ловкостью в играх, которой мне так не хватало, обожал собак и лошадей, был умен и деятелен, но как при всем при этом ненавидел я его. Если мама спорила со мной, как с равным, то с братом я и дрался, как со сверстником. Валя просыпался рано и от полноты чувств, от избытка сил немедленно принимался петь во весь голос. А я слушал, и мне казалось, что более отвратительного голоса не сыскать на свете. Что бы он ни сказал, все мне хотелось оспаривать. Мы спорили и ругались непрерывно. И мама все вступалась за Валю, что никак не облегчало положения. Я понимал, что обращаюсь с братом безобразно, а справиться со своими страстями не умел. Но когда он заболел, я проникся к нему жалостью. Это было единственное за всё время нашего детства время, когда мы жили мирно. Я брал из училищной библиотеки книги для младшего возраста. Приносил ему оттуда же журнал “Родник”, переплетенный за год, причем и сам читал его с наслаждением. Скопив денег, купил я ему самолет с пропеллером. Подвешенный на шпагате, он делал круги. Вот Валя лежит на кровати, мама сидит возле. Я завожу пружину. Пропеллер жужжит, самолет кружится. А я испытываю и удовольствие, и неловкость от того, что так добродетелен.



8 декабря 1951 г.

Точнее, даже не неловкость, а уверенность, что мир да благодать, установившиеся у нас, непрочны. Примерно в этом же году поселился у нас жилец, учитель городского училища Святослав Нилович Парадиев. Он был не то серб, не то болгарин, маленький, по-турецки черный, длинноволосый. Одна из наших комнат выходила на застекленную галерею и никак не использовалась нами. Там-то Парадиев и поселился. В первый же вечер он пришел к нам пить чай. Мама приняла его сумрачно. Святослав Нилович смутился. Он взял переплетенный за год "Родник", где в то время печатались сказки какой-то скандинавской писательницы (Елены Гранстрем?), крайне любимые мною. И принялся читать их мне и Вале. Я очень любил эти сказки — там было много смешного. Святослав Нилович читал их, в смешных местах поглядывая на маму. Но она сохраняла суровость. И я, страдая за бедного, простодушного нашего гостя, хохотал изо всех сил, чтобы сгладить неловкость. Но через какое-то очень короткое время Святослав Нилович смягчил мамину душу своей простотой и доброжелательностью. Он стал у нас своим человеком. Он вечно сидел у нас вечерами, то играя в карты с нами — в короля, то в шахматы с отцом. В это время Чкония был директором городского училища, и его там так же не любили и боялись, как мы, когда были в приготовительном классе. Рассказывали, что он ударил по лицу кого-то из старшеклассников. Парадиев говорил о Чконии с отвращением и ужасом. В эти годы у нас гости бывали чаще, чем прежде. Бывали Самуил, Алеша Луцук, учительница русского языка в гимназии — Лидия Ивановна Криштоф, которая очень нравилась мне бледным своим темноглазым молодым лицом и внушающим уважение спокойствием. Офицер Сашенька Родионов поселился с Марьей Степановной.

26 декабря 1951 г.

Все в городе поглядывали на них с интересом. "Живут гражданским браком". Тогда это было еще непривычно. Сестры Сашеньки, встретив Марью Степановну, громко, чтобы она услышала, выражали свое негодование: "Поймала ворона ясного сокола", еще что-то, но менее обидное. Марья Степановна едва не потеряла сознания. Но, несмотря на это, супружество оказалось на редкость счастливым. Все на них любовались. Ходили они всегда под руку, часто смеялись, и как их ни встретишь на улице, они с увлечением разговаривают друг с другом — это

уж казалось совсем чудом, зато семейная жизнь Коробьиных совсем разладилась. Лев Александрович заводил романы направо и налево. И, между прочим, и с Лидией Ивановной Криштоф. Пил. Тосковал. Написал письмо Станиславскому о том, что гибнет в Майкопе и обожает искусство. (Я забыл написать, что он и в самом деле был страстным любителем сцены, но играл неважно.) Станиславский был тронут, видимо, письмо было написано убедительно, и вызвал Коробьина в Москву в свою студию. Софья Сергеевна, которая с мамой не здоровалась одно время, встретив ее, вдруг сказала: "Зачем нам сердиться друг на друга, что за глупости" — и стала нашей постоянной гостьей. Мама обрадовалась этому примирению. Тем не менее у взрослых жизнь, видимо, шла не менее сложно, чем у меня. Отец бывал в дурном настроении еще чаще, чем обычно, и стал играть в карты в клубе. В девятку. Тогда играли многие адвокаты, инженеры, играл Бернгард Иванович, во всех клубах шла более или менее легальная азартная игра. Но в наших кругах это было неслыханно. Ужасались Соловьевы, ужасался Андрей Андреевич: "Идейный человек, работник — и вдруг играет!"

27 декабря 1951 г.

Василий Федорович даже одно время думал, что папа сходит с ума — до такой степени в сознании его не укладывалась мысль о том, что нормальный человек нашего круга может стать игроком. Он думал, что это шутит свои шутки прогрессивный паралич. Я слышал, как он говорил, что началом данного заболевания является иной раз резкое изменение привычек, характера. Вот, например, человек вдруг начинает играть в карты. Но Василий Федорович ошибался. Страшная болезнь отняла у отца уверенность. И, сильный и простой человек, он тосковал. Места себе не находил. Они, настоящие Шварцы, пить не могли. Не тянуло их к вину. А играть — играли. И рискованно при этом. Впрочем, не все. Папа и Саша. Итак, папа становился все мрачнее и вспыльчивее. Особенно дома. Вечер. Отец собирается к Соловьевым. И мать говорит ему угрюмо: "Ты, оказывается, там детям читаешь вслух? И все восхищаются твоим чтением? А дома с детьми и не поговоришь". Отец некоторое время молча глядит в окно. Потом уходит к себе в кабинет. Сухой знакомый звук удара — это он бьет себя по голове в отчаянном гневе. Раз, два, три! И я скорее бегу к себе. Писать реферат, который не двигается с места. И слышу привычные звуки. Отец возвращается в столовую. Вспыхивает ссора. Потом

парадная дверь захлопывается с грохотом. Папа ушел. Когда поселился Святослав Нилович, жить стало несколько легче. При чужом человеке ссоры шли мягче. Не успевали разгореться. Затихали они и пока болел Валя. А когда разгорались, я сбегал. К Истамановым, к Соловьевым, к Агарковым. Особенно к Агарковым в те годы. У них было легко.

29 декабря 1951 г.

На вечера к ним стали отпускать и Милочку. Строгая, подозрительная Варвара Михайловна считала дом Агарковых достаточно почтенным. Однажды, было это, помнится, на Рождественские каникулы, Агарковы устроили костюмированный вечер. Я отправился в совсем новое для меня место, в какую-то парикмахерскую, где в первой комнате выставлены были на деревянных болванах парики с розовыми лбами, а во внутренней комнате висели и лежали грудой маскарадные костюмы.

30 декабря 1951 г.

Больше всего понравился мне костюм Мефистофеля. Но он был, во-первых, великоват мне, во-вторых, уж слишком ярко-красен, что возмущало мое чувство меры, а в-третьих, прокат его стоил дорого. Что-то, кажется, три рубля. После долгих раздумий я выбрал костюм клоуна, с колокольчиками. Дома его тщательно выгладили утюгом в целях обеззараживания, а выстирать не решились. У него был очень уж линючий цвет — блекло-фиолетовый с голубыми цветочками. Прокат его стоил рубль. Черная полумаска, обшитая черными кружевами, нашлась у нас. Дело в том, что маскарады в те времена устраивались в клубе часто. И взрослые посещали их. Во всяком случае, разговоры о том, кто получил премию за лучший костюм, велись часто. Кажется, премировали один раз Татьяну Яковлевну Островскую. Она одета была Ксантиппой. В античной одежде, но с ухватом, чтобы расправляться с Сократом. Я не помню, чтобы мама хоть раз надевала бы маскарадный костюм, но маски и шелковые полумаски с кружевами, почему-то вечно попадались под руку, когда искал что-нибудь в комоде. Из разговоров старших я знал, что на маскарадах “интригуют”. На афишах стояло всегда: “Танцы до утра, бой конфетти, серпантин, почта”. На одном из маскарадов Беатриса получила обидную записку и жаловалась маме: “Ну знаете, известные стихи”.

Дальше она их прочла тихо, и известную пушкинскую эпиграмму я расслышал так: “чернохахалка, сухахалка”. И подумал еще, что это таинственно, непонятно и, видимо, на самом деле очень обидно. Огромные еврейские глаза Беатрисы глядели скорбно. Записку, по предположению старших, написала из ревности жена Смирнова. Итак, я впервые в жизни собирался идти в маскарад.

1951

3 января 1952 г.

Мы тщательно готовились к маскараду у Агарковых. Иосиф Эрастович спросил, как я буду менять голос, чтобы меня не узнали под маской. Я показал. Он засмеялся пренебрежительно и сказал, что это не способ. Он предложил мне взять в рот лесной орешек и говорить с ним. Результаты потрясли меня — картавая, действительно неузнаваемая речь моя оказалась и в самом деле неузнаваемой. И вот пришел назначенный вечер. Удобство моего клоунского костюма заключалось еще и в том, что надевался он сверх моей школьной формы. Я натянул его и, позвякивая бубенчиками, отправился через городской сад к Агарковым. Перед тем как позвонить, я надел полумаску, и в передней — клоунский колпак. Зал был увешан китайскими фонариками. На столах лежали коробочки — длинные и круглые с конфетти, кружки серпантина. В футлярах картонных покоились карточки в формате примерно почтовой открытки. Это был “флирт цветов”. Карточки были покрыты... Нелепо начал фразу. На карточках были напечатаны названия цветов и разъяснения к ним. Примерно так: “*Резеда*. Вы сегодня не замечаете меня. *Роза*”. Я счастлив. И так далее. Вы протягивали карточку барышне и называли цветок. И она разыскивала среди других карточек подходящий ответ. Карточек таких было не менее пятидесяти, как мне кажется. На столике в углу лежали “секретки”— треугольные и четырехугольные разноцветные конвертики и карандашики к ним. Для игры в почту. А на диванах сидели и у стен жались маски. Были здесь, главным образом, цыганки в лифчиках, нет— в лифах и кофточках, с распущенными волосами, в ожерельях из монет. Была и Ночь — со звездами и месяцем, оклеенным серебряной бумагой. Домино.

4 января 1952 г. Возвращаюсь на маскарад в доме Агарковых, в 1910/1911 году. Были там и маркизы с маркизами, и Пьеро. И все они жались по углам и заражали своей застенчивостью даже несокрушимо веселых взрослых, я тоже стал у стены. Потом, приняв одну из масок за Милочку, я решил поговорить с нею, поинтриговать ее. Заложив орех себе в рот, отправился я к ней. Но застенчивость моя так обуяла меня, что я, подойдя к маске, поднял кружева своей полумаски и показал ей свое лицо. Она попятилась к девочкам, занявшим угловой диван и сообщила им шепотом, что клоун — это я. Никакого движения в оцепеневшей группе на диване это не вызвало. Кстати, вскоре я убедился, что эта маска вовсе и не Милочка. Вскоре Иосифу Эрастовичу все-таки удалось нас расшевелить. Мы стали играть и танцевать. Около одиннадцати приехали новые ряженые. И среди них Мефистофель, в самом деле уж слишком красного цвета, да еще с подтеками. Он кричит, но все мы видели: он тоже стесняется.

5 января 1952 г. Вскоре маски были сняты. Мефистофелем оказался Яшка Кургузов. Без маски он оживился и прыгал уже без всякого стеснения. Да и все мы почувствовали себя без масок веселее и смелее. Так и вижу рослого Яшку Кургузова. Он прыгает козлом. На маленькой голове его шляпа с петушиным пером. Светлые, очень русские брови и такие же глаза убивают все дьявольское, что есть в его слишком красном костюме. Вот так и кончился первый маскарад, на котором я побывал. Вот второй вечер у Агарковых. Почему-то мы зашли за Милочкой. Кажется, я и девочки Соловьевы. Я почтительно вошел в маленькие, низенькие комнатки с выбеленными стенами. В столовой за длинным столом сидели реалисты, живущие у Варвары Михайловны, кажется, их было трое, и вся ее большая семья. Хорошенький Вася, аккуратный, все чуть-чуть прищуривавший свои похожие на Милочкины глаза. По тогдашней моде он притворялся близоруким. Он был небольшого роста и круглолицый. Туся — худенький и высокий. Он был моложе Милочки и старше Гони. Она сидела в конце стола красивая, спокойная, я говорю о Гоне, и плечи держала высоко, от привычки к костылям. О Милочке я не говорю. Я знал, что она присутствует в комнате, но не смог ни глядеть в ее сторону, ни заговаривать с ней. Я знаю только, что вижу, как сейчас, перед собою весь дом, всю столовую, а Милочку не вижу, но чувствую, что все запомнилось так ярко, потому что она осветила дом

своим присутствием. И вот мы сидим и разговариваем некоторое время. Потом девочки переглядываются. Пора идти. Милочка надевает навеки мне памятный черный, бархатный капор, опушенный белым мехом. Шубку. И мы выходим. И по дороге мы начинаем разговаривать друг с другом. О безразличных вещах. О школе, о знакомых. Но Милочка, удивительная Милочка — говорит со мной!

6 января 1952 г.

В те дни у Крачковских вместо слова "вероятно" говорили—"вирьятно". У нас дома говорилось — сделать что-нибудь "на зло". Милочка говорила "на зло" с ударением на "о". Меня это очаровывало. Но сам я не мог так говорить. У меня это было бы ошибкой. Каждое слово Милочки принимал я как дар. При ее молчаливости, при ее застенчивости, которая в сиянии красоты ее представлялась мне величавостью, — это было и в самом деле чудом, чудом было и то, что мы шли и разговаривали. И так же проста и ласкова была она со мною, когда мы пришли к Агарковым. Я не отходил от нее, при всей своей бережности того времени. Даже подумать: "Я влюблен в Милочку",— казалось мне грубоватым. "В Милочку". А в тот день я не боялся никого. В тот вечер. И к концу вечера мы сидели на маленьком диване и разговаривали. И никто нам не мешал. Более того, поглядывали в нашу сторону ласково, что при моей склонности считаться со всеми ободряло меня. Заиграли "Венгерку", а мы продолжали разговаривать. И с тех пор на всю жизнь, достаточно мне было услышать этот бальный танец, как вспыхивало в моей душе чувство того вечера. Вскоре, чтобы дать отдохнуть танцующим и занять нетанцующих, Иосиф Эрастович затеял игры. В одной из них мы должны были, нарушив правило, не помню какое, встать с места, перевернуться, сказать тоненьким голосом: "Тпру!" — и снова сесть. И вот пришла очередь Милочки совершить этот обряд. Она встала, но не могла перевернуться и сказать "Тпру!" Она стояла, опустив глаза. Все кричали и торопили ее. Иосиф Эрастович даже сказал с досадой: "Неужели это так трудно?" Но Милочка так и не послушалась. И я всем существом понимал ее. Она не могла так поступить. Никак не могла. Никак!

7 января 1952 г.

Настаивать, чтобы Милочка вертелась и говорила тоненьким голосом „тпру!", было кощунством, и вот вечеру пришел конец. И мы пошли домой. Я сначала боялся подойти

к Милочке. Это было бы уж слишком хорошо, если бы и по дороге домой она продолжала бы говорить со мной так же ласково. Но и по дороге домой счастье не покинуло меня. А у ее дома мы попрощались, что тоже являлось в те времена событием. Попрощались за руку. Если учесть, что, сидя рядом с ней, я тем не менее держался по крайней мере на четверть от нее, стараясь почтительно, благоговейно не прикасаться к божеству, не смея прикасаться,— если вспомнить все это, станет понятно, что значило для меня это рукопожатие. Всегда, перебирая событие вечера, вспоминал и переживал и этот заключительный его миг. Как она ответила мне. Не слишком ли долго держал я ее руку в своей. Или — не слишком ли скоро я отпустил ее руку. И я не смеюсь над этим. Просто называю то, что было. И то, что воспитывало меня сильнее училища и дома. Если бы Милочка была другой, если бы держалась она доступнее и понятнее, если бы она не была так прекрасна — был бы и я другим. И всю жизнь влюблялся бы иначе. И не пьянел бы так от любви, и весь мир не казался бы мне бесцветным, когда я трезвел. Это не точно. Последнее — не точно. А точно вот что: я без этой любви не привык бы считать праздник обыкновенным состоянием человека.

8 января 1952 г.

Для того чтобы то время не казалось в моем рассказе уж слишком пустым. Скажу точнее — для того чтобы яснее стал мой пятый класс, я его объясню, я его подкреплю фотографией. Если меня воспитывала любовь, то и класс воспитывал тоже. И он был, конечно, не менее близок мне, чем наш дом, наша семья. Эту фотографию снял ранней весной Левка Сыпченко, тот самый, что в приготовительном классе первым подал руку директору. Он был одним из немногих, прошедших со мною весь путь от начала до конца, от приготовительного до седьмого класса. И он вел себя легкомысленно и безумно на всех уроках. Экземпляр фотографии, предназначенный для меня, потерян. Он был наклеен на картон. И позади была надпись: “Дорогому товарищу по крику и шуму в классе. Л. Сыпченко”. Фотография, приложенная тут, взята у Истамановых. Моими родителями. Надпись на обороте сделана знакомым, четким, истамановским почерком. Прочтя ее сейчас, я пережил такое чувство, будто меня окликнули из другого мира, с того света, который существует наравне с нынешним, как мне сегодня хочется верить. Снимались мы после уроков. Меня позвали, когда все уже собрались. Неверно. Я забыл, что после

уроков мы собирались сниматься. Выбежав во двор, я увидел, что класс наш собирался у бревен, обтесанных бревен, лежащих у выхода, у черного входа в училище. И я обиделся. И с криком “что же вы не напомнили мне” побежал к собравшимся. Я бросил фуражку и книги на бревна, вон они лежат налево, и хотел продолжать ругаться, но Жоржик взял меня за шиворот, Володька Ливанов подставил мне ногу, и я упал на вытоптанную, но уже начинавшую зеленеть траву перед собравшимися. Вот я лежу впереди всех и говорю нечто вроде того что: “Ладно! Вы будете моим фоном!”


9 января 1952 г.

Крайний налево, высокий, в очках, и есть Жоржик Истаманов, который только что толкнул меня. Ему-то я и говорю, что вы будете моим фоном. Рядом Володя Лаванов, сын священника, но не майкопского, а из какой-то станицы. Он и брат его жили в доме Родичева, снимали комнату у Якова Яковлевича. Был Володя Лаванов франтоват, на вечерах появлялся в воротничке, что я никогда не позволил бы себе, нравился гимназисткам. В четвертом классе он побил меня за то, что я его назвал дураком. Назвал я его дураком на уроке, посреди урока, а побил он меня на перемене. Нас быстро разняли, но он был сильнее и успел меня здорово стукнуть по голове. Сняв пояс, я долго ходил за ним, собираясь отомстить ему, ударить его пряжкой, но не успел. Не решился. Я долго ненавидел его. С неделю. А потом все забылось. К тому времени, когда снималась карточка, мы были добрыми приятелями. Драки уже в четвертом классе были редкостью, а в пятом и вовсе кончились. Итак, оказав помощь Жоржику, подставив мне ножку, Володя Лаванов просто пошутил, а я это так и понял. Рядом с Лавановым, стряхивая пепел с папиросы, стоит Васька Муринов со своим обычным вдумчивым и несколько даже строгим лицом. Это он вечно беседовал с Жоржиком о росте. Он — как бы прибавить, а Жоржик — как бы его убавить. Это он написал стихи на смерть Толстого: “Зачем так рано, вождь свободный, ты покидаешь бренный мир”. Он хорошо декламировал на наших вечерах. Не то что я. Был наблюдателен, лишен того честолюбия и желания нравиться, которое грызло меня. И, несмотря на свой маленький рост, давно познал тайны любви.

10 января 1952 г.

Мы с ним дружить не дружили, но относились друг к другу с уважением, внимательно. Даже обменялись письмами, когда я, приехав в Москву в 1913 году, жил еще с отцом на Тверской в номерах, кажется, “Мадрид”, примерно в том месте, где теперь Ермоловский театр. Напротив во дворе помещалось 9-е почтовое отделение, куда и ответил мне до востребования на мою открытку Васька. Но до этих дней от пятого класса прожиты и пережиты были целые века. Продолжаю рассказывать о фотографии. Иду по прямой. Правее Васьки Муринова, придерживая козырек фуражки и закрыв из-за этого свое лицо, стоит Анищенко, необыкновенно худой, со впалой грудью, мальчик. Мне он казался похожим на чайную ложку — до того впалой была его грудь. На чайную ложку с маленькой головкой наверху. Он (как, впрочем, и Лаванов и многие другие) попал в наш класс, оставшись на второй год в четвертом или третьем классе. Я его не любил за худобу и слабость со свойственной возрасту прямотой. От него я услышал впервые слово “сальность”. Это было еще до того, как он попал к нам в класс. Он стоял на углу, у своего дома, я проходил мимо. Завязался разговор. Я спросил: “Почему это нас не пускают в оперетту?” Он объяснил, что в оперетте много сальностей. И я невзлюбил и это слово вместе с тощим слабым Анищенко. Правее Анищенко большая голова Копанева, человека прямо ему противоположного. Он был силен и физически, и волей. Силен, пожалуй что, и слишком, как выяснилось позже. Окончив наше училище, он пошел в какое-то из известных Петербургских военных училищ. Стал портупей-юнкером, фельдфебелем. И начальник училища сказал о нем: “Хороший фельдфебель, но плохой человек”.

11 января 1952 г.

Сказал он об этом потому, что Копанев подал рапорт на двух юнкеров за дисциплинарный проступок, не слишком важный. Военная традиция не требовала в подобных случаях столь решительных действий. Но рапорт был подан, и начальник училища вынужден был дать ему ход. Юнкеров отставили от училища. Погубили им жизнь, как полагал начальник. Думаю, что из Копанева с годами выработался настоящий деспот. Офицерского типа. Но в те дни он был хороший товарищ. Рассказывал о своих похождениях любовных без хвастовства. Обсуждал их задумчиво, стараясь вникнуть в их суть. Удивлялся омерзению, которое

охватывало его, когда он... Впрочем, тут я не могу назвать все по долгой привычке обходить, когда пишу, некоторые темы. Да я и устал сегодня. На фотографии видны стены заднего фасада нашего училища. Они образовывали как бы букву "П". Внутри этого "П" была сделана проволочная загородка. Нет, загородка из проволочной сетки. Там Кавтарадзе устроил зверинец. В зверинце жил лисенок двух-трех месяцев и волк-подросток, ручной, как собака, вилявший хвостом, когда мы подходили к загородке. Я часто из коридора прыгал в зверинец через окно, играл с волком. Больше всего он любил, вцепившись зубами в мой кожаный пояс, который я, сняв и держа за пряжку, протягивал ему, тянуть к себе. Он при этом рычал, но, шутя, мотал головой по-собачьи, стараясь этот пояс вырвать у меня из рук. И вот однажды в нем проснулась волчья душа. Он вырвал у меня пояс, наступил на него лапой, опустил свою лобастую башку и зарычал на меня уж не в шутку, показывая свои волчьи зубы. Я растерялся. Прикрикнул на него. А волк зарычал еще злей.

12 января 1952 г. Не знаю, чем кончилось бы дело, но тут мои растерянные окрики и свирепое волчье рычание услышал Копанев. А может быть, я и сам, увидав его у окна нижнего коридора, позвал его на помощь. Он прыгнул вниз, в зверинец и так властно рявкнул на волка, что тот побежал в самый дальний угол зверинца с моим поясом в зубах, а потом и уронил его и забился в бочонок, который служил ему конурой. Долго мой пояс хранил следы волчьих зубов. Точнее, на поясе остались навсегда эти следы, и я запомнил, как растерялся в этом столкновении с волком — всего только подростком. Впрочем, произошло это, стыдно признаться, годом позже, когда мне было уже пятнадцать лет. Вспомнил это потому, что ясно встало передо мной внимательное лицо Юрки Соколова, которому я рассказывал эту историю и которому показалось интересным, что волк вдруг почувствовал, что человека полагается слушаться.

13 января 1952 г. Возвращаюсь к фотографии. Рядом с Копаневым, повернув фуражку козырьком назад, стоит, скорчив гримасу, или, как сказала тогда его младшая сестра Соня, "сделав мордочку", стоит Левка Оськин. Он был из многочисленной семьи Оськиных, очень разнохарактерной. По семейным преданиям, происходила эта семья от кре-

постных Осокиных, бежавших на Кубань, где пристав переделал второе "о" их фамилии на мягкий знак. (Не пристав, а писарь.) На Кубани эти Осокины-Оськины вошли в секту субботников, или иудействующих. Не знаю, так ли это было, но в наше время Оськины уже слились с евреями, ходили в синагогу, женились на еврейках и только по бумагам все числились не евреями, а субботниками. Впоследствии, студентом, я подружился с Левкой, а тогда знал его мало. Он только что остался на второй год и вскоре отстал и от нас. Тогда он считался плохим мальчиком: курил, ругался, учился плохо, мало читал. Во всяком случае, я его таким считал. Восхищал он меня тогда только одним — умением "строить мордочки". Урок французского языка, на котором мы всегда вели себя отвратительно. Левка отпросился из класса. Пока он отсутствовал, пришел директор и сел на заднюю парту. Воцарилась тишина. Ничего не подозревающий Оськин решил вернуться в класс посмешнее. Дверь приоткрылась, и примерно на аршин от пола появилась нарочито перепуганная Левкина мордочка. И скрылась. Потом она появилась выше. Еще выше. Мы сидели, замерев от ужаса. А Левка все не замечал директора. Боком проскользнул он в класс и на носках, скорее на пуантах — зашагал вдоль стены.

14 января 1952 г.

Он был так увлечен своей ролью, что не заметил необычной тишины в классе. И когда Василий Соломонович сказал коротко и строго: "Оськин!", Левка от ужаса поскользнулся и упал. О нем я еще расскажу, если хватит у меня решимости вспоминать бесплодные и бездарные студенческие мои годы. Он оказался в дальнейшем необыкновенно талантливым юношей, впрочем, довольно об этом. Рядом с ним стоит, приложив руку к козырьку, защищаясь от солнца, Колька Дмитриев. Прозвище его было "Маргаритка". Так прозвали его за большую, выпуклую, черную родинку над бровью, совсем не похожую на этот цветок. Колька этого прозвища не выносил, о чем я узнал очень болезненно. Я только что поступил в приготовительный класс, а Дмитриев был, вероятно, во втором. У него был всегда отличный розовый цвет лица. Услышав прозвище "Маргаритка", я решил, что оно вызвано этим самым цветом и в вестибюле закричал Дмитриеву весело: "Маргаритка, Маргаритка". Колька стоял на верху тех пяти-шести ступенек, что делили вестибюль пополам. Услышав ненавистное прозвище, он прыгнул со ступенек вниз и с такой силой ударил

меня по лицу, что кровь хлынула носом. Был Дмитриев зол, распущен, странен. Однажды кого-то из одноклассников вызвали в учительскую среди урока. Не помню кого. Он был второгодник, приезжий, я знал его плохо. Вернулся он в класс мрачным. Было это, кажется, на уроке истории, где все мы веселились как могли. Вернулся он мрачным и стал собирать книги. "Что случилось?" — спросил Валерьян Васильевич. "Мать умерла", — ответил тот. И ушел. В классе стало очень тихо. Все мы были еще детьми, и связь с матерью у всех была еще сильна. Не только у меня. Весь класс ужаснулся. Помалкивал и Валериан Васильевич, поглядывая на него своими выпуклыми черными глазами. И нарушил паузу Колька Дмитриев. Резко нарушил.

15 января 1952 г.

Он крикнул нечто лихое, рассчитывающее рассмешить весь класс. И в самом деле некоторые растерянно, автоматически рассмеялись. Но на перемене многие осуждали его. И весь он был такой. О женщинах говорил с презрением, с хохотом рассказывал о своих любовницах, которых имел, несмотря на возраст, достаточно. Когда один из одноклассников наших отравился и умер, Колька Дмитриев, придя в мертвецкую, дернул мертвеца за нос и крикнул: "Вставай, Макар!" И об этом говорили мы с ужасом и непониманием. Однажды, когда уже студентами в Москве собрались мы компанией, пришел и Дмитриев. И все пошло кувырком. Мы не ссорились. Не расходились. Но Жоржик сказал угрюмо, кивнув в сторону Дмитриева, что вокруг него всегда образуется атмосфера публичного дома. Он отстал от нас тоже, кажется, в пятом классе. Нашими интересами он не жил, за гимназистками не ухаживал, но был заметен именно этим своим ухарством, и в будние дни, и на вечерах школьных. Бесстыдством, ухарством, "раздребезженностью", по бунинскому выражению. Последний в этом ряду, крайний, стоит, опершись рукою на бедро, Морозов Иван Павлович, или Морозов-дыня, так назывался он в отличие от Морозова Ивана Терентьевича, первого нашего ученика. Иван Павлович носил длинные, желтые волосы, отчего голова его, если смотреть с затылка, и в самом деле напоминала дыню. Его единственного звали в классе по имени-отчеству слегка насмешливо, но еще и потому, что он так поставил себя. Ко всем он обращался несколько высокопарно и важно. Но, помнится, скоро мы заметили, что он человек с юмором, что в классе весь-

ма почиталось. Он дошел с нами от пятого класса и до конца. И в дальнейшем мы заметили, что он порядочно читает. Думает. Но свою высокопарную манеру говорить он так до конца и сохранил.

16 января 1952 г.

Перехожу к сидящим в первом ряду. Как раз над большой головой Копанева фуражка, а под ней узкое, худое, длинноносое лицо ближайшего в те дни друга моего — Сашки Агаркова. Я вдруг вспомнил, что это была, вероятно, единственная мажорная дружба в те годы. Сашка имел голову трезвую. Мы с ним никогда не говорили о прочитанном. Мне и в голову не приходило показать ему свои стихи. В комнате его на чистеньком, узком столе стояла лейденская банка, спиртовка, пробирка, он вечно занимался какими-то химическими опытами. И эта трезвость была у него органична. Однажды весной в ясный день мы шли мимо городской управы. Деревья против этого белого низкого просторного здания распустились и показались мне очень красивыми, о чем и сказал я Сашке. Он приостановился и сказал мне: “Вот никак не могу понять, ломаешься ты или деревья и в самом деле кажутся красивыми?” Я удивился, что этого можно не заметить. И подумав, даже обрадовался, что у меня есть какое-то преимущество. Впрочем, иногда он бывал и чуток. Однажды мы сидели на той стороне Белой, левее моста. Против нас за рекой стояло безоконное кирпичное здание какой-то водокачки. И я сказал, что домишко этот очень некрасив. В самой глубине души, там, где скрывались все мои тайны или игры, я все считал живым, и сейчас в сумерках мне показалось, что домик огорчился, а может быть, и рассердился, услышав мои слова. И я поспешил добавить: “А впрочем, ничего домишко”. И Сашка, к моему удивлению, вдруг засмеялся и сказал: “Ну и суеверная же ты сволочь!” Надо пояснить, что сволочь в нашем школьном обиходе ругательством не считалась. Взглянув на эту карточку, Володя Тутурин заявил, что Сашка Агарков улыбается той своей улыбкой, которую он, Володя, терпеть не может. Будто он смеется над всем светом.

17 января 1952 г.

Конечно, Сашка Агарков не смеялся над всем светом. Но улыбка у него была привычно насмешливая. Разговор о красоте деревьев возле думы впервые показал мне, что люди могут не понимать друг друга до такой степени, что лучше и не

пробовать договориться. А разговор о суеверии — что тебя понимают вдруг насквозь, как глухой иной раз слышит как раз то, что для него не предназначалось. На земле у ног Дмитриева сидит Женька Гурский. Я чуть заслоняю его лицо своей поднятой вверх рукой. Гурский был прирожденный комик. Он все смешил класс и выступал на вечерах со смешными рассказами. Помню, как читал он “Лошадиную фамилию”, а на бис “Перепутанные басни”, сделанные из разных строчек. И вот все, что я сумел о нем сказать. А знаю о нем гораздо больше, и всю жизнь с помощью этого знания узнавал похожих на него людей с большой легкостью. Но рассказать, что знаю — не могу. Близок я с ним никогда не был. Враждебен тоже не был. Но какую-то роль в жизни класса, а следовательно, и моей [он] играл. К этому времени у Соколовых появился свой участок за городом, недалеко от Курджипса. Об этом участке я еще много буду рассказывать, если удастся довести свою историю до шестого, седьмого класса. А пока расскажу вот что: однажды я, Гурский и кто еще не помню, пошли с Алешей Соколовым на участок с ночевкой. Когда мы пришли, погода испортилась. Купались мы в Курджипсе под дождем. Вечером на чердаке, точнее, на сеновале, Гурский затеял разговоры, обычные в классе — истории о бабах, солдатах, кухарках, на этот раз показавшиеся особенно непривычно унылыми и чем-то связанными с дождем, Курджипсом, серым небом. Домой я пришел в унылом настроении. (Это было, вероятно, году в [1]903.) Мама сразу напала на меня, утверждая, что, наверно, мы там болтали “глупости”, отчего я так и уныл. К утру я заболел — малярия, осложнившаяся разлитием желчи. И это связано было как-то с Гурским. Что-то унылое. Что?

18 января 1952 г.

Но, повторяю, ни друзьями, ни врагами мы не были. Но почему-то воспоминания с Женькой Гурским у меня все связаны унылые. То расскажет он следующее: сидит он у Сушковых, у знакомых гимназисток. Вдруг кошка уселась посреди комнаты и стала гадить. Или уже в студенческие годы он расскажет, как в бане ему привели проститутку и как она себя уныло, безнадежно уныло, профессионально, нет скорее — непрофессионально уныло вела. И как все юмористы его склада, он считал, что понимает жизнь лучше всех нас. Пишу так много о нем, стараясь поймать, что именно помню о нем и преувеличиваю едва заметные черты. Они ведь чем-то уравновешивались? Перехожу к нашему

первому ученику — Морозову Ивану Терентьевичу — вот он сидит на бревне. Большое и большелобое лицо его на уровне поясов Дмитриева и Морозова Ивана Павловича. Был он нескладен и мешковат, похож фигурой на плюшевого медвежонка, невысок, но силен. Он ни с кем не дрался, но в классе всегда известно, кто сильней. Он был религиозен, во всяком случае, вспоминая его, вижу, как он крестясь двуперстным знамением, кланяется низко, не по-нашему. Вел себя он на уроках с первых классов смирно, что ни в ком не вызывало раздражения. Это ему шло. Все ему давалось, несмотря на внешнюю нескладность, легко. Он хорошо рисовал. Помню, как, зайдя к нам (было это еще в младших классах), нарисовал он акварелью деревянную ложку, не с натуры, а на память. Мама громко и с горечью хвалила Морозова. Ей было обидно, что я лишен талантов. Был и я у него в гостях. Жил он с четырьмя приезжими из станиц реалистами, не помню с кем. Все они тогда увлекались спиритизмом. Блюдечко так и бегало у них по кругу с буквами. Я почему-то был уверен, что при мне блюдце не побежит.Так оно и получалось.

19 января 1952 г.

Иван Терентьевич был застенчив, но по-деревенски, по-старообрядчески. Он был начисто лишен мыслей о том, какое производит впечатление. Он был даже не застенчив, а скромен. Я дружен, точнее, близок с ним не был, но уважал его и любил, как все в классе. У ног Ивана Терентьевича сидит Мишка Сыпченко, старший брат Левки. И он скорчил рожу, не зная, что Левка уже снимает нас. Лёвка шел с нами от приготовительного класса, а Мишка остался на второй год в третьем или четвертом классе и, присоединившись к нам таким образом, кончил училище вместе с нами. Отличался он простотой и добродушием и неистребимым украинским акцентом. Помню, как батюшка остановил его, когда тот, отвечая урок, сказал: “Бог сказал: нехай Илья пророк пойдет” и так далее. Или “Бог его пофалил.” (“Хв” и “Ф” у него вечно менялись местами. Он говорил “фастать” вместо “хвастать”, и “хвонтан” вместо “фонтан”.) Младший брат был крупнее, живее и подвижнее старшего. Он был весел все время. Готов на любой вызов — смеяться так смеяться, влюбляться так влюбляться. Он все время был как бы опьянен, но не по нервности, не по излишней возбудимости, а от избытка здоровья. Это все я говорю о младшем Сыпченко, о том, которого нет на карточке. О том, который

написал мне на карточке: "Товарищу по крику и шуму в классе". О Левке Сыпченко. Жили оба брата у Медведевой. И младший от избытка здоровья вечно дразнил старшего, намекая, что он влюблен в племянницу хозяйки — хорошенькую Лелю Медведеву. Старший обычно переносил это добродушно, но однажды между ними вспыхнула драка. И какая! Мишка разорвал на Левке рубаху, а Левка облил Мишку водой из ведра. И при этом заплакал, так его удивила и огорчила ярость, с которой брат на него напал. Ну вот и все о Сыпченках.

20 января 1952 г.

Перехожу к верхнему и последнему ряду пятиклассников. Налево, в пальто, накинутом на плечи, в фуражке козырьком налево, стоит Колька Курдюмов, длинный, тощий, почти как Анищенко, с лицом, сохранившим нечто младенческое и нечто от черепа. Звали его прозвищем, произведенным из фамилии: Кудря. Был Кудря слаб, добр, смешлив. Он был одним из немногих, шедших от приготовительного класса, и поэтому близок мне по давности. Был он не приезжий, а майкопский, сын священника, чуть ли не настоятеля собора. Я бывал в их большом доме, с просторным садом, видел строгого, как мне показалось, батюшку. Как мне представляется, он сидел на застекленной веранде и строго на меня глядел. Случилось это, когда мы оба учились в младших классах. Приятельские отношения сохранились у нас до конца школы, несмотря на полное отсутствие общих интересов. В Кудре сохранилось что-то младенческое. Не детское, как в Левке Сыпченко, а именно младенческое. Вел он себя тихо. Однажды я увидел, что он глядит на тетрадочный лист и хохочет. Оказывается, он нарисовал карикатуру: земной шар, а на полюсе дерутся Кук и Пири. Эта младенческая выдумка его ужасно радовала. Но с ним у меня связано одно неопределенно радостное воспоминание. Каждый день, если позволяла погода, мы на большой перемене совершали целое путешествие. В бакалейной лавочке возле городского сада покупали мы китайских орешков, которые в Майкопе почему-то назывались фисташками. Потом шли в городской сад, спускались к Белой, поднимались песчаными оврагами (в одном из которых жил мой конь) и попадали в училище как раз к звонку. Одно время мы с Кудрей сидели на одной парте. Кажется, как раз в пятом классе.

21 января 1952 г.

Пониже Кудри, с кудрявым чубом, выбивающимся из-под фуражки, сдвинутой на затылок, стоит Женька Шалаев. Был он миловиден, особенно в младших классах, учился некогда отлично, а теперь, сдвинувшийся на середину, он и подурнел, и появилась какая-то одутловатость в его некогда по-детски мягком лице. Перекличка в классе начиналась так: “Агарков, Баромыкин, Грузд, Гурский” и кончалась: “Шалаев, Шварц”.С ним я никогда не был близок. Но во время припадков самоуничижения, когда казалось мне, что я хуже всех в классе, ему я почему-то особенно завидовал. Он казался мне очень красивым. Думая, что Милочка не может любить такого некрасивого и ничем не замечательного мальчика, я во всем классе находил только одного, достойного ее, в своей изощренной ревности. И даже сказал ей однажды, что, по-моему, Шалаев ей должен очень нравиться, чем, крайне удивил ее. Позже эта мысль удивляла и меня самого. Рядом, опираясь всей тяжестью на Шалаева, с братской простотой мальчишек, проживших вместе пять лет — огромный срок, когда растешь, глядит с хорошо знакомым мне выражением Серба. Он в фуражке, не виден его большой лоб, определяющий многое в его наружности. С таким выражением глядел он на доску, на учителя, задающего вопрос. Он был одним из лучших учеников и, несомненно, усерднейшим из всех нас. Однажды он пожаловался мне, что поздно ложится, так много времени отнимают уроки. Я удивился. Уроки у меня отнимали столько времени, сколько я хотел. И разговорившись с ним, я выяснил, что он прав. Я с удивлением убедился, что Серба лишен был начисто той техники, которой за эти годы овладело большинство из нас. Учить — только к вызову. Угадывать, что готовить к контрольной. Уметь при необходимости списать.

22 января 1952 г.

Серба добросовестно выполнял все, что положено было ученику. И это часто помогало мне — он сидел на парте передо мной, и я списывал у него решение задач по математике. У соседа обычно бывала другая задача. Во время классных работ их давали две на колонну. Больше, к моему удивлению, не могу ничего рассказать о Сербе. А ведь мы росли вместе. Помню, как обрадовался я, уже студентом встретив Сербу, тоже студента какого-то специального вуза. Было это в Армавире. Серба ехал с сестрой, а я за все время учения и не подозревал, что у него есть сестра. Мы, болтая, бродили по станции, потом, стоя на

виадуке, смотрели, как маневрирует паровоз. Чувство лета, свободы, предчувствие встречи с Соколовыми и Соловьевыми, неопределенное предчувствие счастья, скрывающегося где-то рядом. Больше мы с Сербой так и не встретились никогда. Пониже стоит некто, придерживающий фуражку. Узнать его никак не могу. Над ним возвышается Павка Фейгинов, подвижной, быстро говорящий еврейчик. Он родился в Буэнос-Айресе, и в доме его родители говорили по-испански. Это меня очень огорчало: такому прозаическому человеку — судьбу героев "Мира приключений"! Однажды в поезде, проснувшись, он сказал: "Ой, ухо отсидел!" Было в живости его, в улыбке, в скороговорке что-то автоматическое. Дразнили его: "Мишустов, Мишустов", произнося эти слова как можно быстрей. Класс заметил, что Митька Хаустов встречается с одной гимназисткой у виноторговли Мишустова. Ему говорили многозначительно: "Мишустов", намекая на эти свидания. А Фейгинов повторял некстати, со своей автоматической улыбкой, не ко времени Хаустову эти слова, пока его самого не прозвали "Мишустов, Мишустов!"

23 января 1952 г.

Рядом с Фейгиновым стоит бедняга Макар. Это самое употребительное из прозвищ его заслонило от меня его фамилию. Звали его еще Кондрат и Квадрат. Была его фамилия Кондратов? Или Макаров, или Кондратьев? Был он силен и грубоват, будто топором вытесан. Что-то в его лице было нерусское. Говорили, что предки его — персы. Простота его сказывалась во всем, даже в том, как он рисовал. Я помню, как изобразил он в рисовальном классе Афину. Голову Афины. Она получилась у него похожа на станичную девку. И вот этот добродушнейший здоровяк и простак умер первым из всех, кто тут снят. Он отравился карболовой кислотой вечером в коридоре нашего училища и тут же стал, ругаясь, кричать сторожам, чтобы они везли его в больницу. И умер там, в больнице. Это ему Колька Дмитриев кричал: "Вставай, Макар!" Хоть он и был самоубийцей, батюшка отслужил по нем панихиду и его отвезли хоронить домой, в станицу. Почему он отравился, не знаю. Рядом с ним рослый Хаустов покуривает — рослый, молчаливый. С ним не связано у меня никаких воспоминаний, кроме общеклассных, никаких чувств, кроме приятельских. Вот и весь наш класс. Точнее — все, кто были в этот день в училище. Об остальных попробую вспомнить.

24 января 1952 г. Недели две описывал я свой класс, пока он из мира воспоминаний далекого, как мир книжный и воображаемый, не приблизился ко мне до того, что перестал казаться удивительным. Снят был класс неожиданно. Все думали, что Левка еще только примеривается. И все восхищались непринужденностью группы. Отсутствовали: Баромыкин, светлый до белизны блондин с белыми бровями и беловатыми ресницами, розовый, крепкий, сбитый, несмотря на свой не слишком большой рост, сильный. Мендель Грузд — длинный, лопоухий, черноглазый. Киртоки — болгарин по происхождению, ничего болгарского в наружности не имеющий, скорее, поляк надутый. Все это (кроме Киртоки) — приятели, а не друзья. А Киртоки и приятелем не был, держался в стороне от класса. В эти дни приехал из Темир-Хан-Шуры пожилой седой военный доктор. К Агарковым. Погостить. Приехал с дочкой наших лет и, кажется, сыном. Сразу же он попросил проводить его к Алексею Федоровичу Соловьеву. Они, оказывается, учились вместе в гимназии. И вот мы подошли к полутораэтажному кирпичному домику, где жил тот. Суровый Алексей Федорович выглянул на ваш звонок в окно. Он только взглянул на седого доктора и — о,чудо — весь просиял. Он исчез и, судя по времени, бегом прибежал к парадному. В седой и мрачной физиономии он сразу узнал гимназиста. Так же просветлел и приезжий доктор. А я никак не мог себе представить, что эти старые доктора были когда-то гимназистами. И вечно хмурый и вдруг так воистину чудесно повеселевший Алексей Федорович, вот как, значит, человек любит друзей детства.

26 января 1952 г. Пятый класс приближался к концу. Рядом с Милочкой поселилась Зина Лабзина, дочь какого-то известного специалиста по городскому хозяйству, приглашенному городской управой. Проще говоря, Лобзины поселились рядом с Крачковскими, против училища.

27 января 1952 г. Это было время “расцвета” моего родного города. Нефть! Англичане! Конторы “русского подданного” по фамилии Леопольд Луич Андрейс. Городским головой избран был Козополянский и, очевидно, таким образом, правая группа гласных оказалась в меньшинстве. Вот тогда-то и были приглашены в Майкоп Лабзин и

Колычев. Этот последний, помнится, был проведен в члены управы. Помню разговоры о цензе, который надо было ему устроить, чтобы он попал в гласные. Член управы — это должность, по-моему, выборная? Гласными Думы стали и Коробьины, кажется, оба брата. Во всяком случае, я помню, что Лев Александрович был гласным наверняка. Много разговоров вызвало то, что на заседании Думы у него в кармане вдруг выстрелил браунинг. Пуля никого не задела. С браунингами вечно случались подобные происшествия — то забывали патрон в стволе, то забывали опустить предохранитель. Случай со Львом Александровичем, впрочем, приписали скорее не револьверу, а новой, бесшабашной, отчаянной натуре, которая все заметнее выступала в нем. Итак, чуть ли не все наши знакомые и, кажется, папа тоже— стали гласными Думы. Братья Просянкины заняли правое крыло. Точнее, присоединились к нему. Правым был Вакулин Карп Александрович, "Кап-Саич", как звал его насмешливый Водарский. Обе майкопские газеты давали отчеты о заседаниях. Огромным успехом пользовался фельетон в стихах, описывающий одно из заседаний, где Просянкин пел на мотив "Китаяночки": "Я и братец мой Павлуша защищали, защищаем, будем вечно защищать интересы городка!" Слова не совсем укладывались в мотив, но нам тем не менее нравились.

28 января 1952 г. Помню разговоры у нас за столом о том, что Козополянский — хороший человек, но в городском хозяйстве неграмотный. Папа все приводил какое-то место из его речи в Думе. Появился в наших кругах маленький, черненький, серьезный человечек — инженер Фрид. Поселился он в доме одного из многочисленных Эльфандов — изобретателя печки под названием "Сеновар". Объявления об этой печке были расклеены по всему городу. Когда мы пришли к Фриду в гости как-то днем, печка дымила среди двора, а изобретатель Эльфанд в толстых очках объяснял покупателю ее устройство. Фрид рассказывал о своих злоключениях. Жена Фрида, крупная еврейка с крупными зубами, угощала нас чаем. Юрка Соколов очень хорошо показывал, как Фрид рассказывает: "Я бы мог написать целую книгу "Инженег Фгид. Как я стгоил водопговод". Через год или два я узнал, что застенчивая, крупная, с крупными зубами жена Фрида находится в психиатрической лечебнице. Ее охватила навязчивая идея, что она потеряет зубы. А водопровод был выстроен и

проведен во множество квартир. Так жизнь кружилась и неслась, и мы то замечали ее, то нет. Школьные события заслоняли для нас все. Сейчас не могу вспомнить, когда была проведена железная дорога в Майкоп. Поезда ходили только по линии Армавир — Майкоп. Дорога от Белореченской до Туапсе строилась очень медленно — тоннели через Гойтхский перевал, как рассказывали, шли спиралью. А наша линия торжественно открылась, и наши фургонные муки прошли.

29 января 1952 г.

Я был очень взволнован этим событием — железная дорога в Майкопе! Я ходил на маленький майкопский вокзал и там любовался поездами. Вокзал был построен лицом к степной стороне окрестностей Майкопа. Если идти от Белой, от городского сада, то, пройдя весь город и большой пустырь за городом, ты и приходил к вокзалу. В маленьком белом домике появился, поселился столь мной обожаемый железнодорожный дух: и телеграфист за окнами, и касса, и даже буфет с длинным столом, покрытым белой скатертью, с пальмами и стойкой с особыми вокзальными закусками, с блеском никелированных крышек, с мрачным буфетчиком. И я, очарованный всем этим, ходил на вокзал каждый день. И когда составлялся пассажирский поезд, я катался на ступеньках вагона, пока однажды сцепщик не прогнал меня. И я обиделся, и вокзал вдруг потерял для меня все очарование. Проходил учебный год, приближались экзамены. Чем ближе подходила весна, тем страшнее мне становилось. У меня был страх остаться на второй год, доходящий до мании. Я загадывал: если я спрыгну с такого-то количества ступенек, то перейду в шестой класс. Или наоборот — вспрыгну на десятую ступеньку. И это прыганье тоже превратилось в некоторую манию. Мы выходили из электробиографа (уже третьего, кажется, открывшегося в городе? Нет, четвертого, если считать летний „Иллюзион"). И я спрыгнул вниз с восьми ступенек у выхода. И дама, шедшая позади меня, вскрикнула от ужаса, ей показалось, что я падаю. В кино я был с Агарковыми, и Иосиф Эрастович заметил с обычной своей насмешливой манерой, что это счастье, что женщина не была беременная.



Итак, экзамены приближались. Весна к началу экзаменов в Майкопе была уже в разгаре. Цвели яблони в нашем саду, и в цветах жужжали пчелы. Это жужжание на бело-розовых

яблоневых ветвях и теперь радует меня и тревожит. И вот вывешено расписание, и я переписываю его особым образом на лист картона. Так я делал в прошлом году, и экзамены кончились благополучно. И это стало приметой. Из всех экзаменов запомнил я только один: по алгебре. Я решил задачу, и, к ужасу моему, оказалось, что равняется странной сумме: 11 13/17 (примерно). Я проверил задачу — ошибок нет. С тяжелым сердцем вышел я из зала — и, о радость! Ответ у всех оказался таким же. И все экзамены прошли столь же удачно, и я перешел в шестой класс. Старшие решили, что мы уедем на лето сначала в Сочи, а потом в Красную Поляну, чтобы Валя поправился после своей плевропневмонии. Он уже давно бегал, и я ненавидел его, как до болезни. И ссорился вовсю.

1 февраля 1952 г.

И вот мы собрались в путь-дорогу. Завтра выезжаем. Я отправился побродить по улицам, надеясь на прощание повидать Милочку. И увидел — она шла куда-то с Зиной Лабзиной. И я поздоровался с ними. И когда уже прошел мимо, то сказал: "Мы завтра уезжаем в Сочи". Сказал я это неловко, как бы в пространство, и не остановился, и не оглянулся. И девочки не ответили мне ни слова. И, видимо, смутились. Когда я посмотрел им вслед, они шли молча, не разговаривая. И этот неудавшийся мой ход мучил меня потом все лето. На этот раз мы ехали не на почтовых, а наняли извозчика. Я стоял на крыльце. Солнце только что взошло. И я ждал, глядя вдоль улицы, когда покажется фаэтон. Вон едет! Нет, сворачивает. И наконец в облаке пыли показываются кони, извозчик — наш! Корзинки привязаны. Старшие усаживаются. Мы тоже напротив них, на передней скамеечке. Ноги извозчика принимают странное положение — одна торчит вперед, другая в сторону: на козлы, ему под ноги, поставили чемодан. По дороге — разговоры о Екатеринодаре. Предполагается, что на обратном пути мы с папой заедем к бабушке, и я выясняю: "Исааку мне говорить — ты? Саше — тоже?" Но когда дело доходит до бабушки, папа отвечает строго: "Ты сошел с ума? Я ее ни разу не назвал на ты, а он вон что вздумал!" Но едем мы, в общем, тихо и мирно, играем "в рифмы", загадываем шарады. Ночуем, кажется, в Хадыжинской. Там служит теперь учитель, знакомый нам по Майкопу, рослый, красивый с бородкой. А может быть, и не красивый? Обыкновенный. Мы пьем вечерний чай по-домашнему, что в дороге имеет свое очарование. Учитель поет любимую мою песню: "Лапти, лапти, лапотоци мои".

2 февраля 1952 г. В сумерках папа и учитель идут погулять. Возвращается папа оживленным и помолодевшим. Они разговорились с каменщиком, который разбивал щебень для шоссе. (Вероятно, не каменщик? Эта работа считалась трудной, но черною. Простой.) И этот рабочий оказался интеллигентным человеком. Он в разговоре с видимой неохотой употребил какое-то выражение, показывающее его высокие познания в какой-то специальной области политической экономии. Забыл какое. На папу, видимо, пахнуло забытым или затуманенным временем подпольной работы, настоящей жизни. Все притихло и затуманилось в 1911 году, казалось, что все отложено, отодвинулось. А тут еще болезнь, которую гордый мой отец никак не мог простить судьбе. Трудная семья. И вдруг кто-то с молотком, на груде щебня напомнил, что жизнь продолжается. И я все это понял уже тогда. Понял, почему отец повеселел. Где мы останавливались в Туапсе, не могу вспомнить. Вероятно, сразу попали на пароход. Зато поездка на пароходе оказалась памятной. С нами ехал человек с именем, человек, "из которого что-то вышло", особенно известный в Майкопе, так как он был родом из какой-то станицы Майкопского отдела. Это был певец зиминской оперы, тенор Дамаев. Мы увидели его за столом в ресторане. Папа с ним поздоровался и объяснил нам, кто это. И я с уважением, больше, чем с уважением, глядел на человека, которого коснулась слава. Таинственная, недоступная слава, о которой твердили с детства, мечтали и не добивались. Полная, красивая, стареющая Екатерина Александровна, простая учительница, а могла бы стать знаменитой певицей. Но каждый раз, когда она пробовала запеть, нервная спазма сжимала ей горло. И она отказалась от славы. Вынуждена была отказаться. Погибло контральто удивительной красоты.

3 февраля 1952 г. Голос ее слышал только Василий Федорович, которому она доверяла. А больше никто. Исаак мог бы стать знаменитым артистом — и не стал. Мамин брат Федя. Сколько их, по той или другой причине отвергнутых таинственной и неуловимой славой. А тут с нами за столом наконец сидит человек, о котором я много раз читал в "Русском слове". Иные говорили, что он неважный актер, но голос его все называли отличным, и я с ужасом даже вглядывался в его простое, станичное, красное лицо. Через некоторое время в ресторане появился совсем удиви-

тельный человек, очень маленького роста и неслыханной толщины. Голову он держал откинутой назад — мешал подбородок. В наружности его было что-то надменное и вместе с тем младенческое. Он пил кофе, в которое вместо сливок положил большой кусок сливочного масла. Папа объяснил что это один из способов лечить толщину. Это был сам Зимин, владелец оперы Зимина и мануфактурных фабрик, кажется, в Серпухове. Опера, как я услышал тут впервые, всегда являлась делом довольно убыточным: оплачивать хор, оркестр, кордебалет, балерин и певцов в состоянии было только государство. Зимин нес ежегодно 20% убытку. Оперу он мог держать только потому, что фабрики его давали огромную прибыль. Кроме Дамаева и Зимина, ехал художник — человек с седеющей бородкой, фамилию которого забыл. Он в опере заведовал декорационной частью. Здесь же ехали многочисленные его дети. Я попробовал познакомиться с мальчиками, но ничего из этого не вышло. То есть познакомиться-то я познакомился, но близость их к знаменитым людям сковывала меня. И вот мы приехали в Сочи. И турки помогли нам перебраться в фелюги. И мы высадились на берег.

4 февраля 1952 г.

И тут началось второе роковое лето моей жизни. После того как я посмел рассказать о первом, второе пугает меня меньше. Необходимость рассказывать о нем не пугает меня, хотел я сказать. Как-нибудь выплыву. Хотя это лето, встреча со странной женщиной. Не то пишу. Женщина была не странная. Впрочем, если доживу, расскажу и, как всегда, теперь пойму многое из того, что пережил, только припомнив и записав. Мы проехали на извозчике с плоской крышей, украшенной помпонами, через весь город к так называемым Ермоловским участкам. Здесь, далеко от моря, в беленьком домике жили знакомые Коробьиных. Что это со мной сегодня? Бестолково рассказываю. Здесь, в собственном домике, возделывая собственный садик, жили муж и жена, друзья Коробьиных, люди уже немолодые, занявшиеся садом по соображениям идейным. В одной комнате поселились мы, в другой Софья Сергеевна с Галькой, которой было тогда около трех лет, и Глебом — лет пяти. Хозяева, кажется, жили в другом домике. Они были задумчивы и чуть печальны, как все идейные люди, решившие так жить — в одиночку, посвоему. Они все возились на маленьком своем винограднике и держались в стороне от нас. И началась летняя жизнь. Рядом с нашим скромным участком

в большом саду белела дача Люце — певицы оперы Зимина. Ежедневно и терпеливо упражнялась она — брала во весь голос, протяжно, низкую ноту. Потом повыше. Еще выше, и так до своего предела — и обратно вниз. И эти протяжные, безразличные звуки связывались у меня с утренней тоской, жарой, однообразием — именно так началось это знаменательное лето. После чая мы всем нашим домом шли к морю. Вот дача графа Стенбок-Фермора, напоминающая мне заброшенный дом Рюминых. Двор порос травой. Теннисная площадка в бурьяне.

5 февраля 1952 г. Очевидно Стенбок-Фермор забросил свою сочинскую дачу. Белая краска на ее стенах облупилась. Зато в великолепном состоянии находилась дача доктора Якобсона — вся резная, кружевная, ухоженная. Остальные дачи — забыл. Помню только, что богатые дачи, которые попадались по дороге от нашего скромного домика к морю, не вызывали у меня ни зависти, ни мечтаний. Почему? Я ощущал в них тот опасный, враждебный, черносотенный дух, которому невозможно было завидовать. Окончательно расстроилось мое знакомство с детьми Зиминского художника по тем же, в сущности, причинам. Его девочки (или знакомые его дочек, или знакомые его сыновой) болтали по-французски в парке. Это окончательно сковало меня. Это было не по-соловьевски, не по-майкопски, не по-нашему. Мне показалось, что веснушчатые эти девочки в белых платьях ломались. И принадлежали к чужому, осужденному миру. Итак, выйдя всей семьей из нашего домика, — две матери, четверо детей, — пройдя по каменистым, в пышной зелени, с нечастыми дачами за решетчатыми заборами улицам, — мы подходили к воротам Ермоловского парка. Просторный, не роскошный, но с пышными, старыми деревьями, со скамейками и диванчиками вдоль песчаных, нет, каменистых аллей, он кончался обрывом шагах в пятидесяти от моря. Беседка с колоннами. От нее — лестницы к морю. И группы купающихся на приличном расстоянии друг от друга. Приезжих было не так много. Всем хватало места. Я купался отдельно от наших. Купальных костюмов тогда не было. И я выбирал место подальше и бежал в воду. Папа, проводив нас, вернулся в Майкоп. Он должен был приехать в отпуск к нам в Красную Поляну.

6 февраля 1952 г.

Пока он был в Сочи, мы купались с ним в купальне. Здесь мы еще раз встретили Дамаева и Зимина. Папа разговаривал с Дамаевым, и тот отвечал ему снисходительно и холодновато, как приличествовало знаменитости. Но лицо у него сохраняло станичную простоту. И он начинал заметно полнеть, что я тогда не любил. Точнее, не прощал. Но бедного Зимина я не мог презирать или не прощать. Тут уж толщина была бедой, болезнью. Его живот, как шар, плавал перед ним, и он угрюмо и брезгливо прыгал в воде, пытаясь окунуться. Ужасно составлено предложение. Зимин, прыгая, угрюмо и брезгливо глядел вперед, неведомо куда. Толстый, маленький, сердитый, чудовищный младенец. После папиного отъезда в купальню я не ходил, а выбирал, как было уже сказано, место на берегу. И купался, что занимало немного времени. Я не любил лежать на солнце. Примерно к одиннадцати часам я уже бродил по парку, не зная, что с собой делать. Читать — страшно. Что останется на послеобеда? И я бродил по парку, и одни и те же мысли томили меня. Последний раз возвращаюсь к этой сложной... Не знаю, как закончить фразу. К пятнадцати годам (мне было без четырех месяцев пятнадцать) мысли о женщинах стали неотвязными. И здесь, в Сочи, в одиночестве, безделье и жаре я думал только об одном. Я подсматривал за купающимися женщинами. Причем их несходство со статуями и картинами, с моим представлением о красоте действовало на меня особенно возбуждающе. Они годились для греха — и все тут. И я бродил и бродил по обрыву.

7 февраля 1952 г.

Однажды со мною произошло совсем позорное происшествие. Я ходил в белой войлочной имеретинской широкополой шляпе. И я придумал особый способ подглядывать за купающимися женщинами — проделал в шляпе дырочку и, сидя на скамейке над обрывом, надвинув шляпу на лицо, я наблюдал за отталкивающими и притягивающими так, что не уйти. Мне казалось, что внизу подумают, что я дремлю, закрыв лицо. (После слова "не уйти" — я пропустил слово "телами". Если бы кто знал, как трудно быть правдивым после того, как всю жизнь писал условно.) И вот однажды, когда я с ужасом и восторгом глядел на трех женщин, вышедших из моря, одна из них воскликнула: "Подглядывают!" "Какая гадость!" — ответила вторая. "Где?" Я замер как кролик. "Вон там!" Услышав эти слова и увидев, что показывают на меня, я

скрылся. Я готов был умереть от стыда. Хотел бежать домой и больше не ходить к морю. Я забился в самый глухой угол парка, стонал, мычал. Но вот мощный мамин голос раздался в полуденной тишине: "Женя". Значит, наши собрались домой, и мама ищет меня. И я вышел из своего убежища и — о ужас! — прямо наткнулся на одну из купальщиц. В белом летнем платье она была куда красивее, чем голая, как мне тогда показалось, и мой проступок от этого показался мне еще ужаснее. И вдруг, к величайшему удивлению моему, вместо обиды или негодования на лице женщины, узнавшей меня тоже (по войлочной шляпе, вероятно), мелькнула улыбка — подумать только! Весь мой стыд исчез разом. "Вот оно что!" — подумал я. И я на другой день стал искать эту женщину, но не нашел. Видимо, она уехала.

8 февраля 1952 г.

А впрочем, вернемся в Сочи. Нет, не могу. Нет, попробую. Не буду только рассказывать об основном, роковом событии того лета. Итак, мы жили примерно в двадцати минутах ходьбы от моря, когда мы шли всем семейством, разумеется. Всеобщей любимицей нашей была Галька Коробьина. Одна Софья Сергеевна любила больше своего первенца Глеба. Гальке было тогда, вероятно, около трех лет. Я уже тогда любил детей, и все время играл с Галькой. Живая и умная девочка почти не умела говорить. Собаку Пальму называла она — Пая. Птицу — пия. И нежным голосом звала её: "Пия, пия!", надеясь, что она спустится с ветки поиграть с ней. Бегала она по двору в тупоносых сандалиях или кнейпах, как их тогда называли, в платьице и в фартучке с карманчиком. Однажды в бурьяне отыскала она дохлого крота и заправила его толстый зад в карманчик фартука, так что он висел голой вниз. И разговаривала с ним нежным голосом, но без слов. Крота отобрали от нее обманом, выбросили в овраг, и вдруг через час она появилась снова с кротом в кармане. Я дружил с ней, но вдруг она бросила меня.

9 февраля 1952 г.

Да, да она вдруг резко порвала хорошие отношения со мною. Она отказалась играть со мной, идти ко мне на руки, Валя вдруг стал ее любимцем. Высказывала она это ясно и упрямо. И я ужасно огорчался, когда, увидев меня, она не высказывала ни малейшей радости. Совсем недавно она бежала ко мне, протягивая руки, чтобы я посадил ее на плечо и побегал с нею. А теперь — равнодушный

взгляд, и только. Меня это ужасно мучило, пока великие события моей жизни не смели все маленькие горести. Но я все не решаюсь начать рассказ об этих событиях. Расскажу теперь о моем учителе рисования. На заключительном заседании педагогического совета Вышемирский добился, чтобы мне дали переэкзаменовку по рисованию. И вот в Сочи старшие нашли мне учителя, единственного по этому предмету, с которым я сохранил отличные отношения. Против нашего домика поднимался зеленый холм, а на холме двухэтажная дача со множеством жильцов. Среди них я уважал одного, в белой рубахе с широким резиновым модным поясом с кожаным карманчиком для часов, в широкополой шляпе, рослого и самоуверенного. Это был артист Большого театра. Артист хора, правда, но все-таки. С плохим голосом в императорские театры не брали. И он рассказывал соседям о том, как прекрасно поставлено там оперное дело и на каких выгодных условиях работают они. Артисты хора. Главное, им после восемнадцати (кажется) лет давали пенсию, равную жалованью. Это почему-то производило особенно большое впечатление на соседей. И вот в этой же даче оказался студент не то академии, не то школы живописи и ваяния в Москве. Живой, веселый, с белобрысой бородкой, он очаровал меня сразу тем, что вместо того, чтобы бранить меня и возмущаться, он у меня нашел способность к рисованию. Очевидно, такова была его педагогическая система.

10 февраля 1952 г.

Как я ужасно пишу. Эта литературность оборотов меня приводит в отчаяние, говоря литературно. Скоро придется рассказывать о вещах очень важных, а я двух слов связать не могу. Итак, мой новый учитель скоро заставил меня рисовать, если не с увлечением, то с интересом. Особенно любил я рисовать металлические предметы, я научился находить с его помощью блики изгибающегося по форме предмета, вырисовывать их, резко оттушевывать. Затем он,— о чудо! —заставил меня рисовать акварелью. Дело дошло до того, что, усадив меня перед беседкой в парке, он заставил меня писать акварельными красками с натуры. Правда, одна девочка, которая вечно заигрывала со мной в парке, подбежала и, взглянув на мой рисунок, воскликнула: “Какая мазня!” И я сразу поверил ей больше, чем моему учителю. Чтобы не возвращаться к этому, расскажу, чем кончилось все это дело. У меня накопилась целая папке рисунков, сделанных под руководством учителя. Когда мы возвра-

щались в Майкоп с папой, мы заехали в Екатеринодар, о чем, если хватит сил, я расскажу в свое время. Однажды вечером, заскучав, я сел рисовать. Нарисовал с натуры большую кабинетную лампу, опускающуюся и подымающуюся на круглой металлической ножке. И сам удивился, как это у меня хорошо получилось. В Майкопе я пришел на переэкзаменовку к Вышемирскому в рисовальный кабинет. Он принял меня добродушно, пересмотрел мои рисунки. Увидев екатеринодарский рисунок, спросил поправлял ли его учитель. Я рассказал, как было дело. Вышемирский взял тоже такую же лампу и велел срисовать. Я стал рисовать. Вышемирский сидел возле, дружелюбно болтая со мной. Едва я успел сделать грубый набросок лампы, он сказал: "Достаточно. Вижу, что рисовал сам". Каков же был мой ужас, когда я через несколько дней узнал нечаянно, что было на совете.

11 февраля 1952 г. Вышемирский предъявил педагогическому совету два моих рисунка — екатеринодарский и майкопский. Первый он приписал моему учителю. Основываясь на грубом моем наброске, он доказывал, что я не мог бы нарисовать лампу самостоятельно. И, глядя на мой грубый, сделанный в пять-шесть минут набросок, все поверили Вышемирскому. И Вышемирский требовал, чтобы меня оставили на второй год. Я целое лето ничего не делал. Родители заказали рисунки, которые я и предъявил как свои. Подлость Вышемирского ошеломила меня. Педагогический совет, правда, не согласился с его требованием. Переэкзаменовка по рисованию считалась редкостью, а оставить на второй год по этому предмету это было уж слишком. А я весело болтал с предателем, не зная, что он замышляет! Возвращаюсь в Сочи. Скоро мы записались в городскую библиотеку. Книги ходил менять я. Брал книги для мамы и Софьи Сергеевны и для себя. И среди этих книг особенно памятен мне был Мопассан, которого читать мне запрещали. Но я успевал прочесть некоторые из его рассказов, пока шел в библиотеку. Я поднимался наверх, в город, по крутой каменной лестнице. И вот, сидя на ступеньках, глотал страницу за страницей. Это был, кажется, Мопассан в издании "Шиповника". Некоторые рассказы потрясали меня. Например, "Хорля" и "Мисс Гарриет". Некоторые обжигали. И то мучительное томление (о котором я пишу с таким трудом), которое так... не знаю, как кончить эту фразу. Словом, положение

становилось опасным и могло бы совсем изуродовать меня, если бы не событие, которое и спасло и тоже в некоторых отношениях изуродовало, вероятно, меня. Ужасно плохо стал писать. Итак, я встретился с тем, что уже пережили многие мои сверстники.

12 февраля 1952 г.

Софья Сергеевна познакомилась на берегу с какой-то дамой, которая попросила у нее до вечера книжку рассказов Аверченко. Они договорились так: когда я пойду в библиотеку, то возьму у этой дамы Аверченко. Отправился я по этому поручению часов в пять. Дама с простым именем Анна Павловна жила довольно высоко в очень густом саду на склоне горы. Занимала она отдельный двухкомнатный домик на площадке среди сирени, запущенной и разросшейся, как деревья. В глубине белели стены такого же домика, где жили хозяева-греки. Старая гречанка и показала мне, где живет Анна Павловна. Окна были прикрыты ставнями. Я робко постучал в дверь и услышал низкий и нетерпеливый голос: “Можно”. Я вошел. В комнате было полутемно. Диван, качалка, стол. На диване незнакомая дама, о которой спорили сегодня старшие. Мама находила ее грубоватой, а Софья Сергеевна — интересной. Я же увидел темную шатенку с волосами, собранными в небрежный узел на затылке. Это была дама, незнакомая и явно сердитая. Она рассматривала ногти на руке и не сразу взглянула на меня. А взглянувши, вдруг улыбнулась хмуро и сказала: “А, вот кого бог послал”. Я объяснил, что пришел за книжкой. “Успеешь!” — ответила Анна Павловна. Она полулегла на диван и, глядя на меня строго, стала расспрашивать, кто я, как меня зовут, в каком я классе. Потом велела мне запереть дверь. “Дует, сквозняк летом хуже зимнего”. Потом она показала ноготь, который сломала сегодня. “Видишь, как он царапает”. Потом сказала, что от меня пахнет кисленьким, как от маленького и вдруг стала целовать меня. Сначала я испугался. А потом все понял. А когда все было кончено, заплакал.

13 февраля 1952 г.

Заплакал я оттого, что не мог осознать того, что произошло. Женщина эта была до того взрослой, до того дамой — и вдруг. И все это было ни на что не похоже. И видя так близко от себя ее и в самом деле грубоватое лицо, я подумал, что сейчас сойду с ума, — и тут заплакал. Это очень понравилось Анне Павловне. (Фамилии

ее я так и не узнал.) Она меня успокоила, покормила конфетами и снова принялась расспрашивать бесстыдно обо мне. Обо всем. И я, ошеломленный, покорно ей отвечал. И она сначала посмеивалась, потом лицо ее стало строгим, и она стала меня ласкать так же бесстыдно, как расспрашивала. Больше я к этому возвращаться не буду. Я дал себе слово не пропускать ничего и не трусить, поэтому и рассказал то, что рассказал. Ушел я от нее, когда уже начинало темнеть. Едва успел в библиотеку. Руки у меня дрожали, в ушах звенело. Я чувствовал себя опустошенным, не душевно, а телесно. На душе был просто хаос, туман. Нет, мне казалось, что я пуст, пуст особым образом. Наши гуляли, когда я вернулся домой. Мама рассердилась, вернувшись, за то, что я сижу в темноте. Я объяснил, что не мог найти спичек. Мама зажгла лампу. Я посмотрел на себя в зеркало, и особенное чувство, которому нет названия, обожгло меня. (Я хотел сказать, которому я не сразу нашел название.) Я увидел в зеркале, что я не изменился! Да, да — не изменился. От усталости я выглядел еще моложе и невиннее, именно невиннее, вот что поразило меня, полного сознания собственной греховности. И сладострастие тайны — (вот как я храбр) потрясло меня. И я полюбил это чувство навеки. Я один знаю, что мы делали. По приказанию Анны Павловны я пришел к ней через два дня. И все повторилось.

14 февраля 1952 г. Иной раз, возвращаясь от моей безжалостной подруги, я испытывал чувство, похожее на то, которое пережил после разговора с дураком Захаром. Иной раз гордился тем, что у меня есть любовница. Но и в том и другом случае я презирал ее. Я, не признаваясь себе в этом, считал ее ужасным, осужденным, чужого мира существом. Тем самым вполне пригодным для того, что мы с ней делали. Жалко только, что я боялся ее. И не понимал. Однажды она потребовала: “Скажи мне Нюта! Строже! Как собаке!” Но, увы, мне это не удалось. И она посмеялась надо мной своим низким, почти мужским, хохотом. Так же смешил я ее в самые неожиданные минуты, в самые неподходящие, как раз в такие, когда я был уверен, что я взрослый мужчина. Она была развращена моими взрослыми предшественниками. И не верила ни во что. И как я уставал с ней, как опустошила она меня. И как тянуло меня в душные, пахнущие пудрой, знакомые комнаты, с качалкой и диваном. Однажды мама заставила меня идти с ней по магазинами, и я пропустил свидание. “Почему

не пришел?" — спросила Анна на другой день строго. "Мама не пустила",— ответил я. Боже мой, как смеялась она по этому случаю. Связь эта продолжалась недели три. И я сказал Анне Павловне, что мы завтра уезжаем. Она долго на меня глядела. Потом сказала: "Нет, не жалко мне тебя. Я к тебе не привыкла, слава богу. Поплясала, да и будет". Я тоже был слишком ошеломлен, да, пожалуй, и слишком утомлен тем, что произошло, для того чтобы горевать о разлуке. Я оглянулся, уходя. Дом стоял в зелени, ставни были прикрыты, никто не вышел на крыльцо и не поглядел мне вслед. И больше никогда в жизни не видел я ее.

15 февраля 1952 г. До сих пор не знаю, хорошо или худо, что я встретился с Анной Павловной. Если бы все ограничилось самой первой встречей, той, что кончилась слезами, было бы здоровее. Проснулась бы страсть, и все тут. Но она разбудила, умышленно разбудила во мне чувственность. И то, что я считал первую свою возлюбленную существом грязным, на всю жизнь провело резкую черту между влюбленностью и сожительством. Уж слишком она была не наша. Когда она хотела быть ласковой, то говорила в нос: "Ах ты мой Евгеша, мой паж". И немедленно слово "паж" настраивало ее игриво, и она непристойно переиначивала его. Она, взрослая дама! И каждый раз, как дура, каждую встречу. Кто она была? Мужняя жена? Откуда? Не знаю. И ни разу не испытал желания узнать. Ничего человеческого не было в наших отношениях. Когда-то я считал эту встречу ужасной и роковой, а теперь сомневаюсь в этом. Черта, которая была проведена, усилила мой дар — влюбляться. Я был не прост. Стал еще сложнее, но это не было страшно. Единственный, несомненный вред — это то, что уверенности в себе эта связь не дала мне. То, что моя грубоватая возлюбленная так часто смеялась надо мной, уверило меня в том, что я этого заслуживаю. Но, с другой стороны, я запомнил навеки, что смеялась она не всегда. Нет, далеко не всегда. Вот и это удалось рассказать мне. Ничего не пропустив, кроме самых невозможных подробностей. И я простился с моим учителем рисования (гораздо теплее, чем с Анной Павловной). И с Коробьиными. И извозчик отвез нас на станцию дилижансов — мама не хотела ехать морем. И мы уселись на длинной линейке под плоским тентом.

16 февраля 1952 г. Кроме нас, на линейке разместилось несколько абхазцев, и мы поехали в Адлер. Мимо редких белых дач, то подымаясь высоко в гору, отчего и горизонт поднимался вместе с нами, то спускаясь низко, в сырые овраги с быстрыми речками, когда море исчезало за густыми лесными зарослями, везли нас кони шагом в гору, рысью вниз. Путь был и похож и не похож на майкопско-туапсинский. Лес был пышнее, море было возле, не расставалось с нами. И чем дальше отъезжали мы от Сочи, тем больше думал я, яснее представлял то, что произошло со мною. Я не мог отдаться дороге с обычной легкостью. Напротив, привычная и любимая издавна дорожная жизнь показывала, что я-то уже не тот. В душе непривычная, небывалая ноша. И я то чувствовал себя героем, ничем не хуже других, то внезапно, когда я думал совсем о другом, позорная или непристойная подробность, вдруг ожив, обдавала меня холодом, и мне казалось, что и Соловьевы, и в особенности Милочка, узнав, что со мною произошло, — не стали бы и разговаривать с таким грязным человеком. Так ожила вдруг передо мной полутемная комната. Взрослая дама, чужая и непонятная, покачивается в качалке, поглядывая на свои стройные ноги, на кружевное белье. И мне начинает казаться, что даже она красива и что я молодец. И вдруг со знакомым и возмутительным хохотком своим, явно с одобрением повторяя когда-то кем-то сказанные слова, она произносит: “Анна Панталоновна”. И, вспомнив это, я морщусь и ежусь от стыда. И мама пробует мне лоб тыльной стороной ладони: “Что ты все жмешься? У тебя жар?” Дилижанс останавливается в Хосте. Это селение в те времена славилось как самое малярийное место на всем побережье. И пока поили коней, мама не позволила нам встать с линейки.

17 февраля 1952 г. До Адлера от Сочи тридцать верст. Вскоре за Хостой шоссе отошло от моря, побежало между садами и кукурузными полями. Вот мы спустились в плоскую долину с пирамидальными тополями. Шоссе побежало среди кустов ажины. И я обратил внимание на то, что с правой стороны, со стороны, обращенной к морю, листья все покрыты пылью, а с левой стороны чисты. Я сказал об этом маме, и спутники наши, абхазцы, объяснили, что днем ветер дует в море, а ночью с моря. Днем ездят, поднимают пыль, а ночью не ездят, отчего кусты на левой стороне дороги чисты. Снова дорога вышла к морю. Оно синело за

кустами, за тополями. Показались белые стены Адлера. Абхазцы наши по дороге все пели. Запевал один, остальные подхватывали многоголосый припев. Думаю, что многое в этой песне сочинялось на ходу — абхазцы часто разражались хохотом, услышав, что спел запевала. О пребывании нашем в Адлере помню только, что купили мы там четверть денатурата в той самой аптеке, что имела такой домашний вид, и я с удивлением узнал, что этот спирт умышленно отравляют, чтобы его не пили. Утром пришел к нам в гостиницу знакомый сумрачный грек. Так как нас было недостаточно для целой брички, то с нами поехал попутчик — фатоватый человек с пышными усами. Узнав, что папа доктор и приедет в Красную Поляну, он сообщил, что страдает хронической малярией и хочет вспрыснуть себе 606. Он собирался попросить об этом Левшина, а папа пусть ему ассистирует. Но либо он раздумал делать себе вспрыскивание, либо Левшину не понадобился ассистент, только он не приходил к нам в Красной Поляне. Грек добросовестно показал нам провал и самшитовый лес, и свозил нас к “источнику Елочки”, и показал тоненький лом, торчащий на страшной высоте.

18 февраля 1952 г.

Мы проехали знакомый самодельный мост. Не проехали, увидели его внизу над Мзымтой, и знакомое печальное и радостное краснополянское ощущение жизни охватило меня с такой силой, что я подумал: “Как я мог забыть...” Мы сняли комнату недалеко от наших прежних хозяев, во втором этаже. Длинный балкон тянулся мимо двух комнат, нашей и соседской, где жил грузин с длинной худой женой. Он ходил в черкеске и вечно заговаривал с мамой о болезнях своей жены. Один разговор он начал так: “Когда моя жена была беременна, извините за выражение”. Внизу размещалось большое семейство — наши хозяева. Там была и бабушка, и дети в возрасте моих родителей, и внуки самых разных возрастов. Я научился здороваться по-гречески: “Кали мера, калис опера”. Я считал, что это значит добрый день и добрый вечер. Какой-то парень научил меня двустишию, первая строка которого состояла из двух вышеупомянутых фраз, а вторую я забыл. Он уверял меня, что это самое вежливое греческое приветствие. Я приберег его для хозяйки бабушки. Последствие было похоже на взрыв бомбы. Внуки разбежались с хохотом, а бабушка сказала, печально качая головой: “Уже научили...” Зашел я к нашим прошлогодним хозяевам. Первый из них — тот, что казался таким здоровым,

рослый, широкоплечий — умер. И отчего? От туберкулеза. Он упал с крыши, счищая зимой снег, ударился оземь грудью, и скоротечная чахотка в несколько месяцев убила его. Второй хозяин, точнее, управляющий, с огромной бородой, был жив и здоров. Я пошел с ним в кофейню, проиграл партию в шахматы. Я чувствовал, что платить надо мне, но предоставил это хозяину. Старшие не давали мне ни копеечки.

19 февраля 1952 г. Жить мне в Красной Поляне поначалу было легко. Исчезло беспокойство и томление, которое мучило меня в первые дни в Сочи. И я отдыхал после всех потрясений последних недель. Я узнал, что учитель местной школы дает приезжим книги из своей библиотеки, и пошел к нему. И он разрешил мне пользоваться его библиотекой. Это были, главным образом, приложения к "Ниве". И я стал читать Шеллера-Михайлова, а потом Станюковича. Романы. Чтение совсем успокоило меня. Вторжение Анны Панталоновны в мою жизнь не так уж все перевернуло, как мне казалось. По страницам романов и по улицам Красной Поляны ходили дамы, лишенные непонятно-греховных свойств, с которыми я так неожиданно познакомился. Они влюблялись и даже разводились и уходили к другому мужчине, чтобы работать с ним вместе. Легкомысленно относились к любви люди осужденные, богатые, черносотенные, не нашего мира. С книгой уходил я на Мзымту, на скалу, к самодельному мостику или к "санаторному источнику". У этого, последнего, случилось со мною неприятное приключение. Думая, что я тут одни, я стал под журчание источника петь, вернее, горланить без слов, как горланят в полном одиночестве. И вдруг, оглянувшись, увидел группу дачников, направляющихся к ручью. Замерев от стыда, я уставился в книжку. Дачники попили воды, похвалили ее удивительный вкус. Самый деликатный из них, с седой бородкой, сказал мне: "Хорошо читается на лоне природы". Я старательно улыбнулся. И целый день не мог забыть всего этого. Итак, все шло тихо и мирно с неделю. А потом силы, пробужденные встречей с Анной Павловной, проснулись, и начались мои мучения.

20 февраля 1952 г. Теперь полутемная комната со столом, диваном и качалкой вспоминались, как рай. Все, что вызывало в дороге стыд и угрызения совести, теперь представлялось непреодолимо

привлекательным. Я ругал себя дураком за то, что чего-то там стыдился, пугался и не разглядел, не насладился в полной мере тем, что мне открылось. Молочница, передавая мне кувшин с молоком, коснулась моих пальцев, и у меня сразу пересохло во рту, закипела кровь. Мне было четырнадцать лет. (Только три месяца, правда, оставалось до пятнадцати.) Не оформились ни душа, ни сознание. А тут — желание вместо неопределенного томления. Сильное, новое, все время вспыхивающее. Внезапно. Без подготовки. То прикосновение к руке, которое я описал (а молочница-то была пожилая эстонка), то шелест платья, то низкий голос, напоминающий сочинскую мою искусительницу. И при этом характерная для меня бездеятельность. Я и думать не смел, несмотря на силу желания, попытаться обнять женщину. Я просто цепенел от одной мысли об этом. Скоро я стал беспокойнее. Новая сила нашла свое место в моей жизни, как-то уравновесилась. Но я стал на некоторое время еще глупее. И нервнее. Дома я теперь был просто невыносим. Особенно после того, как во сне переживал то, что так ясно представлял себе наяву. Поэтому я уходил в горы с книжкой и то читал, то орал без слов на ходу песни, неведомо что выражающие, то мечтал о славе, о писательской славе и при этом не сочинял и не придумывал ни одной строчки. И во всех мечтах моих участвовала Милочка. И в мечтах я был почтителен с нею. Она только восхищалась моими успехами.

21 февраля 1952 г.

Что за уродливое, странное существо такой вот ошеломленный бессердечно и безобразно пробужденными силами подросток. Это теперь, рассказывая, я выбираю из переплетения паутины получувств, полумыслей самые понятные, определимые, называемые. На самом же деле все было куда запутаннее. Однажды при мне академик Алиханов со страстью, с яростью доказывал, что первая женщина во многом определяет дальнейшую жизнь мужчины. И я сразу же всей душой согласился с ним. Бессердечно и безобразно! Но тем не менее повторяю, что-то начинало и расти во мне, чтобы уравновесить пережитое. Я по-новому, еще сильнее стал понимать Красную Поляну. Я писал еще автоматично, не понимая, что можно иначе, но догадывался об этом смутно. Я договорился с Сашкой Агарковым, что буду писать ему обо всех происшествиях. И мне захотелось было рассказать ему о сочинских событиях. Но едва я начал, как почувствовал, что разрушаю всю прелесть тайны. Никто

не узнает, что мы делали! И это чувство сопровождало меня всю жизнь. Только теперь, в пятьдесят пять лет, после долгих упражнений, ежедневных упражнений научился я более или менее открыто рассказывать о себе. Скоро мы получили телеграмму, что папа приезжает. В назначенный день мы вышли его встречать. Знакомый грек, наш постоянный возница, показался на дороге. Занято было всего три места, а знакомый папин портплед и кожаный саквояж были привязаны на багажнике. Увидев папины вещи, мама, к моему удивлению, обрадовалась. Я свято верил, что она не любит отца. Вскоре показался идущий от Красной Поляны и сам папа. Он пошел вперед, навстречу к нам, и мы разошлись. С папиным приездом жизнь пошла живее — появились знакомые.

22 февраля 1952 г. Прежде всего с особенным оживлением и почтением познакомил нас папа со своим попутчиком. Это был высокий, худой, седой человек со строгим, осуждающим взглядом. Это был сотрудник “Русских ведомостей” по фамилии, кажется, Белоконский. Писал он очерки и в толстых журналах, подписываясь, кажется, одной буквой — забыл, что сказал нам по этому поводу папа. Статьи его попадались мне впоследствии, но они оказались для меня слишком уж строгими. Серьезными, хотел я сказать. Белоконский скоро исчез, появились знакомые художники. Один из них носил некрасивую фамилию — Червяков и был, кажется, скульптором. Фамилии остальных забыл. Мы с ними посетили охотничий домик. Там незнакомая девушка сидела на перилах и задумчиво глядела вниз. “Позирует!” — сказал кто-то из художников. Ходили мы с ними и в эстонское селение, и там один из художников восхищался яблоневой веткой на фоне чистого неба. Причем восхищался сердито. Вон, мол, какая красота, а мы слоняемся, бездельничаем. Я был убежден, почему-то, что все эстонцы понимают по-немецки и уверил папу в этом. И он спросил какого-то старого эстонца: “Шпрехен зи дейч, я, найн?”, на что старик ответил: “Я по-русски не понимаю”. С этими же художниками отправился папа на Аибга. Пока шли альпийскими лугами, подошвы папиных сандалий отполировались о траву. И на горной дорожке, над пропастью они стали скользить. На папу напал смех, что бывало с ним в трудных случаях. Ни взад ни вперед! Но потом он догадался разуться, и все кончилось благополучно. Обедали мы у Золотухиных. Там же обедали екатеринодарцы: доктор Гамбургер и учитель математики Шебедев.

10 февраля 1952 г.

Доктор Гамбургер и был похож на доктора Гамбургера — полный, с круглым туловищем, с длинным, но сытым лицом, в золотых очках. Зато спутник его принадлежал к людям редкой, обожаемой мной породы. Несмотря на лысину во всю голову, он казался красивым — интересным, как говорила мама. Его темные живые глаза глядели умно. И он обладал завидным даром — весело, заразительно весело рассказывать и болтать. Он не был остроумен и не каламбурил — два отрицательных достоинства, которые я осознал много позже. Тогда я только удивлялся тому, что не мог рассказать, чему я так смеялся, слушая его на террасе, где все мы обедали. Он был наблюдателен и необыкновенно смел. Смело объединял, подчиняясь своей, внутренней логике, факты, о которых рассказывал. Это был русский юмор. (Образец: Чехов пишет брату: “Вам дали классическое образование, а вы ведете себя так, будто получали реальное”.) За юмором Шебедева мне чудилось и нечто даже поэтическое. Познакомился я с ним ближе уже студентом. Он был женат на сестре моего приятеля, своей бывшей ученице. При более близком знакомстве он еще выигрывал. Но как часто бывает у людей такого рода, душа у него оказалась нежной, неживучей. Летом 18 года на даче в Геленджике без всякого ощутимого повода он покончил самоубийством. Но тогда он был всегда ровен, спокоен и только чуть-чуть улыбался, когда несколько даже ошеломленный его своеобразным, всегда неожиданным юмором доктор Гамбургер мощным хохотом оглашал террасу. Появились у меня и знакомые лица — те, кого встречаешь каждый день, гуляя.

24 февраля 1952 г.

Продолжаю рассказывать о Красной Поляне 1911 года. Среди знакомых лиц самым заметным был наш сосед, живший в маленьком домике вместе с сыном гимназистом моих лет. Это был человек пожилой, но быстрый, с отчаянным и недобрым выражением, вроде Ваньки Каина, Ростовцева. Даже бороденка сидела у него как-то набекрень. Он купался каждый день в Башенке, ложился в ледяную воду на камни и держался за ветки, чтоб течение его не унесло. Он скоро познакомился с папой, то есть здоровался при встрече, обменивался двумя-тремя словами. И любил озадачивать папу. Встретившись с ним в лавке, он спросил: “Как вы делали предложение вашей жене?”

25 февраля 1952 г.

Иногда и он и его сын здоровались со мной приветливо, а иногда отворачивались, словно узнали обо мне нечто навеки уронившее меня в их глазах. Тогда я мало знал, совсем не встречал деспотов этого типа и ничего не понимал. Незадолго до нашего отъезда они оба, и отец и сын гимназист, были со мной приветливы. Уже взгромоздившись на козлы, я увидел их. Они шли, видимо, с Бешенки, с утреннего купания. Волосы отца торчали пухом, очевидно, только что вытертые досуха. Я поздоровался с соседями дружески и сообщил, что мы уезжаем, до свидания! А отец и сын взглянули на меня с недоумением, надменно, как бы пораженные моей дерзостью. Так я и уехал, недоумевая. Только вчера оба со мной болтали, а сегодня... У Золотухиных нам показали плотного, загорелого студента, которого называли “живой рекламой Красной Поляны”. Он приехал тяжело больным, чуть не на руках вынесли его из брички — и вот поправился, совсем поправился. Он прибавил пуд. Из Красной Поляны он выезжать еще не решается, но в будущем году его, по слухам, врачи отпустят. Вообще же настоящих больных я в Красной Поляне не помню, хоть курорт считался специально легочным. Не было санаторий, не было врачей. Среди знакомых лиц помню еще светлоусого, светлоглазого, тощего человека, с тощей светловолосой сестрой. Он зашел как-то к нам попросить взаймы бутылку керосину и, расшалившись, подражал Глупышкину — пятился задом, держа бутылку двумя пальцами за горлышко и тараща на неё свои белые глаза. И выглядел он не смешным, а больным, и мне казалось, что расшалился он потому, что у него температура. Я со своей хронической малярией хорошо знал это оживление перед припадком. Бедный весельчак этот, помнится, лечился парным воздухом после плеврита.

26 февраля 1952 г.

У него подобралась целая компания таких же тощих, белых дачников и они все хохотали на своем балконе. В Красной Поляне почти каждый день шли дожди. Бежишь домой, туман полосами ползет между редкими домами, гор не видно, тоскливо, а на балконе хохочут, веселятся усатый бедняга и его сестра и их знакомые. Помню еще студента, бледного, с пушком на щеках, миловидного. Он что-то убежденно доказывал на ходу сонной, недовольной, но тоже миловидной своей сверстнице. И, видимо, убедил, утешил ее. Когда я с ними поравнялся, она улыбнулась против воли и сказала: “Ну, уж это ты врешь”. “Честное

слово — правда!" — радостно воскликнул студент. Мне показалось, что это молодые супруги. Вот они помирились и идут рядом, счастливые. А вдруг и я приеду когда-нибудь сюда с Милочкой и пойду по этим улицам счастливый, как эти незнакомые люди? И предчувствие счастья охватило меня. Валя к этому времени превратился в худенького, неутомимого, живого мальчика. Рос он здоровее меня. Мама была ему так же близка, как мне в свое время. Он обожал ее. Однажды, когда ему было примерно лет пять, он прибежал к маме (перед этим она сделала ему выговор за что-то) и покаялся в том, что мысленно обругал ее. "Как?" "На букву — ду", — ответил Валя. Пока я рос, мама жила только мной, а когда рос Валя, она была уже спокойнее. Он бегал самостоятельно по двору, убегал к Соловьевым. Однажды Вася чуть не поджег сено и с помощью Вали скрылся, кажется, у нас в сарае. Вечер. В калитку к Соловьевым, улыбаясь, входит кучер, Павло, ведет за плечи Васю, который упирается, как настоящий преступник. Павло сдерживает улыбку, сдерживают улыбку и старшие при виде пятилетнего поджигателя, а Валя, красный, плачущий, мечется возле, пытается вырвать друга из рук злодеев.

27 февраля 1952 г.

Он и в Красной Поляне пользовался относительной свободой. Убегал и самостоятельно играл в пределах, на которые хватало маминого голоса. На призывы ее он появлялся то из-за кустов возле Бешенки, то из хозяйского двора, взъерошенный, худенький, независимый. Однажды на наших глазах он стал дразнить крупного и сурового козла, шагающего среди стада коз. Несмотря на мамины приказания: "Валя, домой", он схватил козла за рога. Тот взвился на дыбы и ударил бы Валю рогами, если бы он не увернулся с хохотом. К моему огорчению, ему за это не влетело. Не влетело ему и когда он пропал. Он не явился на мамины призывы. Мы вышли его искать. Дети сообщили, что Валя прицепился к проезжавшим мимо нас возам с бревнами. Мы отправились по следам этих возов. Уже за городом, по дороге к эстонским селениям нашли мы его. Мы увидели, как шагает он к нам навстречу по дороге — взъерошенный, худенький, независимый. И на этот раз ему не влетело, что я воспринял как горькую несправедливость, я ненавидел его. Между нами была пропасть — ему исполнилось уже восемь лет, а мне четырнадцать, — но ненавидел я его как сверстника. Где-то в глубине души таилась привязанность к брату. Я чувствую это сейчас. Чувствовал это и

тогда, когда брат был болен. Но я не мог в те дни выносить его. В нашей неладной семье мои отношения с Валей еще прибавляли напряженности и беспокойства. Но думаю, для Вали, может быть, небесполезна была эта моя ненависть. Его не коснулась изнеживающая, райская атмосфера, в которой я рос первые годы. Не пережил он и изгнания из рая и связанного с этим изгнанием чувства вины, которой не можешь понять.

28 февраля 1952 г. Итак, мое второе пребывание в Красной Поляне приходило и концу. Как всегда в те годы, я начинал страстно рваться прочь из того места, где мы жили больше месяца. Я уже говорил, что нервы мои пришли в напряженное состояние. Я все ссорился с мамой, а каждый более или менее серьезный разговор с отцом кончался слезами. И мне хотелось прочь, прочь от этих ежедневных ссор, от непременных утренних дождей с туманами, от Шеллера-Михайлова, от однообразных дней, от вечных мыслей о женщинах. Теперь мне все казалось, что найдется же наконец еще одна какая-нибудь женщина, столь же решительная, как сочинская. Бездеятельность моя все утверждалась! Наконец, к величайшей радости моей, день отъезда был назначен. Остановка была только за деньгами, которые должны были перевести из Майкопа. Пришли они в последний момент, уже к вечеру. Я пришел на почту, и мне дали повестку. Адресованы они были Льву Борисовичу, а по паспорту отец числился Васильевичем, по крестному отцу. (Когда он принял православие, перед женитьбой, ему не удалось найти крестного по имени Борис.) Золотухин, местный житель, подтвердил, что деньги адресованы именно папе. И деньги были получены. И знакомый суровый грек заехал за нами. Я, радостный, взобрался на козлы. Крикнул соседям, лихому старику с сыном: “До свидания, мы уезжаем” — и получил в ответ надменные, недоумевающие взгляды. И мы двинулись в путь. Мама и Валя проводили нас до шоссе. Я оглянулся. Они стояли и глядели нам вслед. Мама задумчиво, Валя внимательно — худенький, маленький и на этот раз — смирный. И что-то кольнуло меня в сердце. Но дорога скоро захватила меня. Как мы ехали — не помню.

29 февраля 1952 г. Но помню, что когда мы спустились в долину и увидели вдали море за белыми домами Адлера, предчувствие счастья снова охватило меня. Всегда на одном и том же

месте, не менее сильное, чем в первый раз, хоть я и ждал этого чувства. Серый мост через Мзымту, гостиница, фелюга на катках против гостиницы, бродячие собаки. И мы садимся с нашим багажом на баркас, и нас везут на пароход. На этот раз мне предстоит продолжительное морское путешествие, мы едем до самого Новороссийска. Папа хочет заехать в Екатеринодар по пути домой. При входе на пароход я замечаю Нину Александровну (не уверен в отчестве) Агаркову. К величайшему удивлению моему, я замечаю вдруг, что мне с ней легко разговаривать. Я не смущаюсь и не теряюсь, как было до сих пор. И я догадываюсь, что причина этому — потеря уважения к взрослым дамам. Не ко всем, а к тем, в которых я подозреваю что-то знакомое с недавних пор. А Нина Александровна, родившаяся в Тифлисе и много лет проведшая в Темир-Хан-Шуре, держится загадочно, поглядывает кокетливо, в ней угадывается дама той чужой и близкой отныне среды. У Агарковых был офицерский быт — в этой среде они жили до приезда в Майкоп. Из этого не следует, что я теперь смотрел на мать моего товарища как на женщину. Боже сохрани! Но бояться ее я перестал. Она ехала до Сочи с Ниной, которая едва со мной разговаривала. Больше ничего примечательного не случилось до самого Туапсе. Здесь папа отправился в город. А пароход вдруг дал первый гудок и через несколько минут — второй. Я заметался, не зная, что мне делать. Побежал на мол. Потом обратно. Пассажиры успокоили меня, помогли собрать вещи. Сложили у сходней, чтоб вынести их, если папа опоздает.

1 марта 1952 г.

Так как я решил, что папа, несомненно, останется в Туапсе, я до того как пассажиры успокоили меня и помогли собрать вещи, пришел в ужас, непростительный для мальчика моих лет. Испытывая замирание в низу живота, дошедшее черт знает до чего, подобное тому, которое испытываешь на американских горах, только значительно сильнее, я бегал с парохода на мол и обратно, пока пассажиры с серьезными и соболезнующими лицами не пришли мне на помощь. Вскоре я заметил вдали папу в его сером летнем пальто. Он шел, не спеша, с каким-то сверточком в руках — купил колбасы на завтрак, как выяснилось впоследствии. Я бросился к нему навстречу. Смеясь, он прибавил шагу, и едва мы успели войти на пароход, как раздался третий гудок и команда принялась убирать сходни. Сколько времени ехали мы до Новороссийска? Где мы

спали? Не помню. Если верно, что мы приехали в Новороссийск рано утром, то, значит, от Туапсе добирались туда чуть ли не сутки? Или из Туапсе мы вышли днем? Помню только, что, сидя на носу, я глядел на берег, который видел впервые в жизни. Редкие селения с белыми домиками. Изредка угадываешь за деревьями шоссе.

2 марта 1952 г.

И мне страстно хотелось узнать, каковы они, эти незнакомые берега знакомого моря. От Новороссийска до Туапсе шоссе считалось скучным. Я и до сих пор не знаю, верно ли это, что там за Геленджиком. Дальше мне ездить от Новороссийска не приходилось. А от Геленджика до Туапсе остается еще 190 верст, если память меня не обманывает. (Мне и сейчас хочется там побывать. Сейчас, когда я пишу.) Но вот стемнело, впрочем, уверенности у меня в этом нет. Я допускаю это, потому что в Новороссийск мы приехали рано утром. Так же допускаю я, что эту ночь я где-нибудь спал. Вероятно, на палубе — ехали мы третьим классом. Сейчас мне почудилось, что я устроился на высокой покрышке трюма. И тут же показалось, что это неверно. Расстегнув портплед, папа достал оттуда одеяло, подушки и устроил меня между покрышкой трюма и стенкой капитанского мостика или машинного отделения — в узеньком промежутке между ними на палубе. И потом приходил взглянуть с каким-то своим знакомым, как я устроился. Я уже засыпал непреодолимым сном, как всегда на море. И на душе было счастье и печаль. Мне хотелось плакать, как почти всегда в те дни, в дороге, когда наступала ночь. И вот утром мы увидели лысые, высокие горы над Новороссийском, долговязые краны, порт очень большой, но не такой огромный, как обещали папины рассказы. Указав на гору над самым Новороссийском, папа рассказал, как студентом, думая, что добраться до ее вершины легко, отправился туда в ожидании поезда. Но гора оказалась обманчивой. Папа шел, шел, шел — и все не мог добраться до цели. Часа три он потратил на восхождение, так что обратно ему пришлось бежать бегом, чтобы не опоздать на поезд. С тех пор всю жизнь при виде этой горы вспоминал я папу. Когда мы вышли на площадь возле порта, то увидели в толпе женщину с воспаленным багровым лицом. "У нее — рожа!" — сказал папа. И увидев, что она пьет из общей кружки — ужаснулся.

3 марта 1952 г.

Мы поехали на вокзал. Памятный двухэтажный, кирпичный новороссийский вокзал. Он был построен на крутом склоне горы, как мне представляется сейчас. Входили мы в верхний этаж, подъезжали к нему по шоссе. А к поездам спускались вниз. Мы сдали на хранение вещи и отправились смотреть элеватор, о котором так спокойно и толково рассказал за столом Тоня. Элеватор, второй в мире (как я услышал в сотый раз), второй в мире по размерам, и в самом деле, господствовал над городом своим кирпичным внушительным корпусом. От него бежали крытые галереи на столбах, бежали к морю, в порт. Мы обратились к какому-то начальнику элеватора, и он разрешил нам осмотреть его и дал нам какого-то провожатого. Помню запах зерна, запах склада, незаметное снаружи, но ощущаемое где-то непрерывное движение. Нам открыли какие-то дверцы, и мы увидели то, что смутно слышали, — зерно подавали в ковшах в верхние этажи. Затем увидели мы, как в крытых галереях мчатся полотнища, несут зерно на корабль. К вечеру выехали мы в Екатеринодар. Поезд шел все вверх, все вверх, и мы видели море, в последний раз в этом году, синее, высокое, — чем выше поднимались мы, тем выше поднимался горизонт. И вот стало темно — мы въехали в тоннель. И больше не увидели моря. Я долго ждал тоннеля и радовался этой тьме, словно подарку. Станция Тоннельная, я смотрел в открытое окно, слышал, как свистят какие-то птицы, глядел на солнечный закат и, вероятно, впервые в жизни почувствовал, что он не только радует, но и мучает меня. Требует настоятельно, чтобы я как-то ответил на него. Но много времени прошло, пока я попытался выполнить это требование сознательно.

4 марта

4 марта 1952 г.

И вот впервые после 1904 года приехали мы в Екатеринодар. То есть я приехал впервые, папа бывал там часто. Тоня отсутствовал. Кажется, он был у бабушки за границей. Не было и Беллочки, но зато впервые после большого промежутка времени все четыре брата — Исаак, Самсон, Лев и Александр — съехались вместе. Мы поселились в бабушкином доме, я совсем не узнал его, ничего общего не имел он с тем, который остался в моих воспоминаниях. Там жил Самсон с женой, Надеждой Максимовной, родной сестрой Анжелики, Сашиной жены. Здесь же жила Лидия Максимовна — младшая из сестер. Анжелики тоже не было в Екатеринодаре. Самсон очень интересовал меня. Он был

заметным провинциальным актером. На зиму у него был подписан контракт с солидным антрепренером Бородаем. Он был брит, что в те времена сразу отличало актера, невысок ростом, плотен. Глядел меланхолично и обладал удивительным даром смешить меня, что ему нравилось. Я быстро подружился с ним, точнее, стал его страстным поклонником. Ведь он приближался к славе. Папа с уважением и легкой завистью узнал, что к Бородаю Самсон подписал контракт на 500 рублей в месяц. (Ему платили полтораста, кажется. Папе. В майкопской больнице.) Дружба с Самсоном оказалась прочной. Он был так же вспыльчив, как в ранней молодости, но не было случая, чтобы он повысил на меня голос, рассердился на меня хоть раз в жизни. (Я что-то с трудом пишу. Возился с Райкинской пьесой. Он все просит доделывать то одно, то другое.) Я с наслаждением вспоминаю, как сидя в саду, в беседке, папа и Самсон рассказывают о своем детстве. Как Исаак отобрал у них пятнадцать копеек, подаренные дедом, и купил себе пшенки. “Пойду дам ему в морду”, — сказал Самсон, к величайшему моему удовольствию.

5 марта 1952 г. Я иду в картинную галерею и удивляюсь, что она такая маленькая — по воспоминаниям она казалась мне больше. Я еду с Сашей на трамвае и удивляюсь, что он так быстро идет. Но Саша отрицает это. Его я тоже уважаю. Он, считавшийся таким плохим студентом, он, о котором дедушка говорил, что его учение обошлось дороже, чем всех братьев, взятых вместе, оказался очень хорошим адвокатом. И слава его росла. Из него тоже что-то вышло. Или было близко к этому. В то время я очень уважал Шварцев, на которых был так мало похож. О них говорили — все Шварцы талантливы. У них были очень отчетливо выражены семейные черты. Это они знали и даже гордились этим. Гордились даже своей вспыльчивостью: “Я на него крикнул, по-шварцевски”. Они были определенны, и мужественны, и просты — и я любовался ими и завидовал. Нет, не завидовал — горевал, что я чужой среди них. В летнем театре в городском саду в тот сезон играла опера. И я отправился в оперу в первый раз в жизни. Надежда и Лидия Максимовна ахали и причитали со свойственной им восторженностью: “Что ты переживешь! Счастливец! В первый раз в жизни — в оперу! Я бы потеряла сознание, если бы пошла в оперу в первый раз такой большой”. Я ждал невесть каких чудес. Шел “Садко”. К моему ужасу, я очень скоро почувствовал, что мне скучно. Да как еще! Я

попросту засыпал. (Это несчастное свойство — засыпать в театре, как только пьеса мне не нравится, я сохранил на всю жизнь.) К последнему акту в театр пришел Саша и сел возле. Я покаялся ему, что обманул ожидание дам. Саша ободрил меня, сказав, что они склонны к преувеличению, а “Садко” — опера и в самом доле скучная. Впрочем, и дамы признали, что лучшая опера “Сказки Гофмана”. “На ней-то уж ты бы не уснул”. Думаю, что и труппа была слаба для “Садко”.

6 марта 1952 г.

Тони в городе не было, но я увидел его карточку: худенький, большеголовый мальчик, со шварцевскими волосами — жесткими, волной поднимавшимися над лбом, — с выражением спокойным, даже вялым. На карточке он стоял, прислонившись плечом к дереву, длинный, узкоплечий. Я представлял его иначе. Сильнее. Уж слишком много рассказывал о его достоинствах папа. Я полагал, что Тоня совершенен во всех статьях. Исаак рассказал нам (ко мне лично он никогда не обращался), как Тоня за границей, кажется, в Наугейме, потерялся. Он поехал в ближайший город, забыл какой, вместе с бабушкой. В городе они расстались — бабушка пошла к профессору, а Тоня — осматривать город, встретиться договорились на вокзале. И там каким-то образом разминулись, забыл каким. Кажется, бабушка задержалась у профессора дольше, чем предполагала, и спросила у швейцара — не видел ли он тут мальчика. Швейцар сказал, что какой-то мальчик только что сел в поезд. Бабушка побежала, села в тот же поезд, но Тоню в Наугейме не обнаружила. Поднялась паника. Приехавший к вечеру Исаак нашел бабушку в истерике. Поехал в город. “И на вокзале так и метнулся ко мне Тоня — бледный, щеки втянуты”. Во всем рассказе меня больше всего поразила эта фраза. В пренебрежительно-насмешливом рассказе Исаака впервые мелькнуло что-то человеческое. Итак, я жил в Екатеринодаре. Снова садясь в трамвай, я чувствовал как бы его душу — в диванчиках, в рейках пола, в длинной, во весь вагон, ступеньке, по которой пробирался кондуктор. Ночами, засыпая, я слышал цоканье подков по мостовой, звук, всегда вызывавший у меня предчувствия счастья. Но если Екатеринодар 904 года вспоминается светло-серым, то Екатеринодар одиннадцатого — коричневым. С желтым. Вроде цвета шкафа или буфета.

7 марта 1952 г.

Дом бабушки выглядел в ее отсутствие нежилым. В зале не отворялись ставни, люстры, картины, мебель, даже рояль— все в чехлах. Мы жили в большой комнате, где стояли беспорядочно вещи, снесенные из других комнат. Где-то шел ремонт? В одной из других комнат? Не помню. На одном из столов стоял трельяж и возле него гравюра "Леда и лебедь", — неожиданно смелая для строгого дедушкиного дома. Едва я взглянул на нее, как почувствовал знакомую сухость языка и теплую волну в голове. И дня три после этого с надеждой поглядывал на встречных женщин. Нет ли среди них соблазнительницы. Дня за три до нашего отъезда отправился в Иркутск Самсон. Бородай прислал ему аванс, хотя Самсон не просил его об этом. Получив деньги, Самсон растрогался и сказал, что все-таки антрепренер его хороший человек. Он уважает артиста. Провожать Самсона мы поехали на вокзал. Тут я впервые увидел актерские сундуки, они же шкафы. Они стояли, блестя металлом и темнея кожей, пока не приехала за ними тележка и не повезла сдавать в багаж. И вот я простился с дядей, простился с доброй, восторженной, пухлой, миловидной Надеждой Максимовной. Всю жизнь была она со всеми ласкова. Она уже овдовела, была совсем старушкой, когда немцы взяли Ростов. Когда за ней пришли, она приняла яд. И так как она еще дышала, то немцы вынесли ее, уложили в машину и увезли. Но тогда, глядя в широкое окно желтого вагона второго класса, она мирно и ласково улыбалась мне, и мы ничего-ничего не знали. После отъезда Самсона в городе стало пустовато. Я томился вечерами. Вот в один из таких вечеров и нарисовал я лампу. Забыл сказать, что братья снялись, и я с ними. Карточка потерялась. И вот пришло нам время уезжать, и мы отправились в путь.

8 марта 1952 г.

В Майкопе жить нам было негде. С Бударным папа поссорился, а у Капустина — последняя наша квартира в Майкопе — шел ремонт. Папа поселился в больнице, во флигельке, где жили фельдшерицы, в комнате, где ночевал дежурный врач, а я у Агарковых. Я хотел рассказать Сашке о событиях моей жизни — и не мог. Не мог даже начать. Нина Александровна и маленькая Нина еще не возвращались. В доме жили мы вчетвером: Сашка, Иосиф Эрастович, рыжебородый добродушный студент-практикант и я. Вспоминаю эти дни без горечи и без радости. Альбомы с полупристойными открытками и такой же

полупристойный альбом из Парижа, совершенно невозможный у нас, лежали по-прежнему в зале на столе и производили на меня впечатление еще более сильное. Привело это к тому, что я попытался ухаживать за бабой, которая мыла пол, и получил резкий отказ. Иосиф Эрастович в это время работал в кабинете, через две комнаты, Сашка лежал в саду на траве и читал. Я до смерти испугался, что баба закричит на меня и поднимется скандал на весь дом, но, к счастью, она обругала меня шепотом. Была она, с моей точки зрения, достаточно некрасива для греховных наслаждений. Получив отказ, я убежал из дому. Самоуверенности моей был нанесен страшный удар. Иосиф Эрастович к этому времени невзлюбил меня, со свойственной ему переменчивостью. Разговаривал он со мной небрежно. Прерывал меня, когда я начинал рассказывать что-нибудь. Да это и понятно. Я был, вероятно, трудным мальчиком в то время. Соединение ни на чем не основанной самоуверенности — и явная слабость и уступчивость. Чуткость и глуповатость. Нервность. Рассеянность — я все вспоминал сочинское прошлое и мечтал о будущем. Было отчего смотреть на меня с раздражением.

9 марта 1952 г.

Прощаясь с домом Бударного, постараюсь рассказать то, что забыл. Необыкновенно теплая зима. Новый год встречают в летних пальто. В январе совсем тепло, и вот за нашей беседкой расцветает яблоня. Она выглядит празднично. Стоит доверчиво на солнышке. Ложная весна! Сашка Агарков у нас в гостях. Я по какому-то поводу ссорюсь с мамой. Когда мы выходим на улицу, он говорит мне: “Каждый раз, когда ты грубишь своей матери, я даю себе слово никогда не грубить моей и вечно это слово нарушаю”. Я вставил эту фразу в пьесу “Брат и сестра” через много-много лет. Я болен малярией. Мама уезжает в гости к нашим знакомым на хутор. (Их фамилия Мищенко?) И привозит оттуда мне в подарок породистого охотничьего щенка, необыкновенно милого, длинноухого, золотистой атласной шерсти, вся морда в складках. Он получает прозвище Пьерка. Он вечно смешит нас — нескладен, весел, неуклюж. Однажды у него распухла щека, видимо, его укусила оса. Более грустной и смешной морды не придумать. К году стал злым. Я разнимал его с соседской собакой, и он в пылу боя так укусил меня, что след его зуба остался на ноге до сих пор. Сынишка фотографа Мухина принес нам в подарок привезенную из станицы какую-то птицу. Дичь. И Пьерка укусил

беднягу. И мальчик плакал больше от сознания несправедливости. Он пришел к нам с подарком — и вдруг такая обида. И вдруг Пьерка заболел чумой. Все мы жалели беднягу. И только Наташа Соловьева, ставшая в те дни задумчивой, нервной — слезы все наворачивались ей на глаза, сказала мне брезгливо, с таинственным ужасом: "Говорят, что чума у собак все равно, что сифилис у людей". Мы водили Пьерку к ветеринару. Пес на один день повеселел было, а потом погиб.

10 марта 1952 г.

В это же время прижилась у нас лохматая собака по имени Дон. Она исчезла, а в те дни появилось объявление о том, что бродячие собаки будут вылавливаться, сохраняться в течение трех дней, а затем уничтожаться. Выкуп — один рубль. Здесь же приводился адрес собачьей тюрьмы. Далеко, где-то за кладбищем, по дороге в Ханскую. Взяв у старших рубль, а у кого-то из знакомых велосипед, я отправился по указанному адресу. Неприветливый парень предложил заглянуть в оконце, проделанное в двери, и впустить... что я пишу! — и позвать свою собаку. Я увидел в полутьме встревоженные собачьи морды. В самом дальнем углу сидел, как виноватый, Дон. Я позвал его. Не теряя виноватого и приниженного выражения, Дон безрадостно, словно не веря себе, пробрался к двери. Неприветливый парень получил рубль и, осторожно приоткрыв дверь, выпустил моего пса. Стелясь над травой, Дон побежал в сторону, в степь, потом, опомнившись, ко мне. Как-то по-новому, странно скрестив передние лапы, он стал прыгать ко мне на грудь. И только у самого нашего дома стал похож на себя. Возвращаясь из школы, я читал все подписи задом наперед. „Яифарготоф Артеп Анихум", и вскоре заметил, что могу короткие слова, сам не зная как, переворачивать мгновенно задом наперед. Ужасная история разыгралась у меня с физиком. Я нарисовал на доске колбу так плохо, что Викеше почудилось невесть что. Он выгнал меня из класса и пожаловался Бернгарду Ивановичу. Я пытался объясниться. Немец мне не поверил. С нарочитой грубостью он крикнул мне: "Вы врете! Вы врун". Я ходил объясняться к нему домой, но и тут он не поверил мне. Я ушел, заплакав. "Я не могу открыть дверь!" — крикнул я ему из передней. И тут он чуть смягчился.

11 марта 1952 г.

Бернгард Иванович спустился с нескольких ступенек передней к выходной двери и сказал нечто глубоко оскорбительное, но более мягко, чем говорил до сих пор. Он советовал мне смело говорить правду, если уж провинился. А я не был виноват! Итак, мы переехали опять в дом Капустина и начался последний период нашей жизни в Майкопе... Шестой класс реального училища тоже считался выпускным. В нем уж нельзя было оставаться на второй год. И экзамены предстояло держать по всем предметам. Происходило это потому, что вначале реальные училища состояли всего из шести классов, а седьмой был добавлен впоследствии. И некоторое время так и назывался — добавочным. Первое же событие, поразившее меня в начале года, заключалось в следующем. Милочка переменила квартиру. Крачковские жили теперь за женской гимназией, в противоположной части города, которую я до сих пор часто вижу во сне. Не часть города я вижу во сне, а квартиру Крачковских и дорогу к ней. Известие об этом переезде глубоко огорчило меня. Кончились наши встречи по дороге в училище. В это же время наметилась дружба, самая сильная дружба в моей жизни. Я разговорился с Юркой Соколовым и с Фреем, стоя возле раздевалки для младших. Я был в том вдохновенно-веселом состоянии, которое нападало на меня уже тогда. Мы стояли и смеялись. Это был мой первый разговор с Юркой. Его очень уважали в училище. Жоржик Истаманов даже как-то выражал, полушутя, удовольствие, что его зовут, как и Юрку, — Георгий Васильевич. Он внушал уважение сдержанностью, соколовской серьезностью, ловкостью в гимнастических упражнениях и, главное, — талантливостью. Он был замечательный художник. Помню его рисунок к басне “Лисица и виноград”.

12 марта 1952 г.

Лисица смотрела на виноград, поднявши переднюю лапку. Я не видел этот рисунок, но мне рассказал о нем Жоржик так, что я в него уверовал и пришел от него в восторг заочно. От рисунка. И в первый раз испытал удивление от того, что кто-то назвал и подчеркнул нечто известное, но не осознанное мною. Я хорошо знал собак, и это движение — поднятая, согнутая в колене передняя лапка, — выражающее крайнее внимание, было известно мне, но не осознано, не выделено. И я проникся еще большим уважением к Юрке. К началу учебного 11/12 года, дружба с Сашкой начинала увядать. С Жоржиком отношения уста-

новились приятельские — и только. Завязывалась, точнее, усиливалась дружба с Фреем. Когда он ушел от нас в следующий класс, мы было отошли друг от друга, а теперь снова начинали сходиться. Забыл написать об очень печальной новости — приехав в Майкоп, я узнал, что Жоржик тяжело заболел. У него был плеврит, после которого начался или наметился процесс в легких. Ему пришлось оставить занятия и уехать на юг, в Батум, где жила сестра Марии Александровны. Таким образом, к началу 11/12 учебного года Жоржик от нас отстал, отчего наш класс заметно обесцветился. Приятельские отношения с ним установились в пятом классе, а в шестом прервались таким печальным образом. Дружба же с Сашкой начинала увядать потому, что все яснее и яснее начинало выступать то чужое в их доме, что для меня скрашивалось новизной в первое время знакомства. За элегантностью, лихостью и насмешливостью все чаще ощущал я столь для меня ужасное черносотенство. Однажды Вера Константиновна сказала мне с ужасом, что кто-то слышал от Агарковых просто антисемитские высказывания. “А ты бываешь у них. Всякой терпимости есть свой предел.” Итак, наступил новый год — новый учебный год.

13 марта 1952 г.

После того как внезапно, от разрыва сердца околел великолепный, черный, умнейший Марс, Истамановы взяли у Шапошниковых нового щенка, родного брата Марса, но белого, с коричневыми пятнами. Это был нервный, шалый пес. Я поглядел ему в глаза и меня как бы ударило предчувствие открытия и при этом печального для меня. И в самом деле, через мгновение я угадал, что мешает псу быть таким же великолепным и умным, как Марс. Бестолковая, шалая, нескладная его душа. Мне вдруг тогда же показалось, что я похож на него. На пса. Вот я и тянулся к устроенным семьям, вроде Соловьевых, и ясным душам, как у Юрки Соколова. Вскоре после веселого разговора возле гардероба для младших вдруг заболел Фрей. Боялись, что у него рецидив костного туберкулеза. У него повысилась температура, появились боли в его изрезанной, укороченной ноге. Я подошел к Юрке и предложил навестить Фрея. Так началась наша дружба. Сначала мы дружили втроем. Потом девочки Соловьевы втянулись в нашу компанию. Юрка играл на скрипке, Фрей на виолончели. Чаще всего им аккомпанировала Варя, которая лучше всех, смелее всех играла с листа. Есть одно гайдновское трио, которое меня

сразу переносит в комнату девочек Соловьевых, к роялю. Но я начинаю метаться от избытка воспоминаний. С чего начать?

15 марта 1952 г.

Итак, я перешел в шестой класс. Мы переехали на новую квартиру. Из Сочи я, в сущности, вернулся новым человеком. Завязалась у меня новая дружба, изменившая и определившая очень многое в моей жизни. Но привычные формы жизни были так крепки и так туго поддавались изменениям, что внешне все оставалось по-старому. Особенно заметно это было дома. Вероятно, поэтому по дороге домой я был весел и полон предчувствия счастья, а войдя, мгновенно угасал. Точнее, испытывал злобу — так далеко был этот знакомый и перезнакомый быт со стуком ножей на кухне, и Валиным криком, и маминым презрительным и вместе с тем обиженным тоном, от того, чем я жил. Это время расцвета за пределами дома и идиотской, полной сознанием собственного безобразия, домашней злобы. Тьмы. Было время, когда я считал себя выродком и свою ненависть к брату объяснял ужасом выродка перед собственной кровью. Дома я был счастлив, когда все расходились. Валя — спать. Прислуга — к себе на кухню. Старшие — в гости. Я бродил по комнатам, наслаждаясь одиночеством. Только в столовой горела висячая лампа, остальные комнаты были едва освещены. И я бродил, бродил по этим комнатам, думая — и не думая. Тут было и ощущение, выросшее к этому времени: “Мы, Млечный путь, Вселенная”. И второе, новое: “Дождь, деревья за окном, я”, — все это не менее многозначительно. И я наливал спирт в блюдечко и зажигал его, и сильное пламя вызывало особое, исчезнувшее позже чувство. Жег я и газеты на подносе. У меня была тут своя комната. И я уходил спать полный необыкновенного подъема, поэтического подъема, в котором сливалось все: восторг перед огнем, перед собственной значительностью, перед миром. И никакого желания писать. Никакого!

16 марта 1952 г.

Прежние мои стихи мне не то чтобы не нравились, а удивляли меня. Как будто их написал не я, а кто-то другой. И не слишком-то хорошо. Но дело не в качестве, а в том, как чужды они мне стали. До сих пор, когда я вспоминал мою жизнь, мне казалось, что она резко делится на периоды, с явственной границей между ними. А теперь, перебирая внимательно год за годом, месяц за месяцем, я

замечаю, что резких границ не было, перемены происходили медленно. Старые мои навыки не умирали так быстро, как мне это представлялось по воспоминаниям. А некоторые, видимо, необратимые, неизменимые душевные свойства живы и сейчас. И среди них первое — то восторженное состояние духа, когда за туманом, неясно, чувствуешь, предчувствуешь прекрасное. И чувство это настолько радостно, что и не пытаешься понять, чем оно вызвано. Нет потребности. И связанная с этим состоянием духа мечтательность, никогда в жизни не покидавшая меня, мешала действовать. Вот почему я не писал. Больше всего почему-то увлекался я в то время стихами Гейне. Слабость русских переводов я не всегда понимал. Но начинал об этом догадываться. Дело в том, что Бернгард Иванович нам иногда читал на уроках, уже перед самым звонком, стихи Гейне. Так что я схватывал смысл их не вполне, а музыкальность их Бернгард Иванович подчеркивал, они вызывали у меня ощущение, вызванное, то есть не вызванное, а подобное тому, которое я так любил: за туманом — счастье или нечто прекрасное. Я ощупью брожу в темноте, стараюсь найти определение тому, что и не пытался увидеть до сих пор. Медленно назревала и моя дружба с Юркой Соколовым. Он жил теперь во флигельке у Соловьевых. Там, где Василий Федорович прежде принимал больных. И я заходил к Соколовым, преодолевая страх перед молчаливым, высоким Василием Алексеевичем. Дружба с Алешей у меня прекратилась, да в сущности ее и не было. Я его все-таки считал младшим. Но и он был по-соловьевски внимателен и умел быть точным. Однажды он сказал, что идти на участок — не может быть скучно. "Это как интересный разговор". Но все-таки он был проще, чем Юрка или Сергей. К этому времени вернулся из Туруханского края из ссылки старший брат — Анатолий Соколов. Юрка сказал о нем с удивлением, что он приехал точно таким, как уехал. Нисколько не изменился. "Очевидно, они жизнь в ссылке считают ненастоящей и не растут". И с Анатолием дружба у нас не налаживалась. Зато я, как бы заново, совсем как с новым человеком, подружился с Сергеем Соколовым. Одно время неясно даже было, кто мне ближе Юрий или Сергей. Кончив реальное, Сергей потерял полгода. Готовил латынь, чтобы поступить в университет на математический факультет. Эти полгода он провел в Майкопе, а потом поступил в Юрьевский университет, откуда в 13-м году перевелся в Петербург. Впрочем, возможно, что я здесь что-нибудь и путаю. Сергей Соколов был пониже ростом, чем Юрка, по-

сибирски чуть-чуть скуласт — род Соколовых происходил из Сибири, по-соколовски здоров. Он рассказал мне однажды такой случай. Когда он был в пятом, кажется, классе, за ним зашел товарищ с гимназистками и повели его за Белую. Прогулка удалась. Зашли они за ним и на другой день. Он пошел. Но когда они постучали в окно третий раз, Сергей вдруг испытал ужас, который напугал его самого. Я хотел сказать — удивил его самого. Его охватило непреодолимое, физическое отвращение к безделью. Ему показалось, что его тянут на гибель. Он резко отказался идти с друзьями. Когда Сергей взглянул на себя в зеркало, то увидел, что зрачки у него стали крошечные, как острие булавки. Я позавидовал ему.

17 марта 1952 г.

Я не боялся безделья. А физический ужас, спасавший меня в самом раннем возрасте, действовал в другом направлении. В Сергее восхищала меня ладность. Он и ходил, и думал, и говорил ладно. Однажды он зашел за мной, чтобы идти на участок. Папа мало знал Соколовых, был в этот раз не в духе и решил заняться моим воспитанием. Когда я сказал, что ухожу на участок к Соколовым, он потребовал, чтобы Сергей зашел к нему. Он хотел взглянуть, с кем отпускает меня. Был теплый день, вероятно, воскресный, иначе папа был бы в больнице. Я сказал, что папа хочет видеть Сергея. Он сразу понял положение, охватил его смешную сторону. Взрослый, ладный, улыбающийся, он вошел к нам во двор, где под яблоней с книгой в руках сидел папа. И папа невольно улыбнулся ему навстречу. И отпустил меня. Он сразу понял, что ни о каком дурном влиянии тут не может быть и речи. Сергей был старше меня на два класса и, пожалуй, именно с него началось мое “воспитание”, очищение соколовской ясностью от моей вечной путаницы. Любопытно, что оба брата понимали это и, полушутя, называли себя моими воспитателями. Юрка даже в письмах иногда, расписывался: “Воспитатель Юрий”. Впрочем, все это произошло значительно позже. А пока я только вступал в важнейший период моей жизни. Я был слаб и, к счастью, встретил по-настоящему сильных людей, у которых чужая слабость не вызывает желания кусать и убивать.

18 марта 1952 г.

Вечером того дня, когда я отпросился на участок к Соколовым, папа сказал мне с горечью: “Смотри, как держится Сережа Соколов — спокойно, весело, а ты идешь рядом с

ним — горбишься, смотришь и держишься неуверенно". Фрей скоро поправился и присоединился к нам. В том флигеле, во дворе, где жили чиновник с женой в годы моего детства (с той самой женой, которая ломалась), жил Женя и его старший брат художник, который учился в Мюнхене и приезжал в Майкоп только на каникулы. Ужасно трудно писать, мне нездоровится. Я так близко вижу Сережу, Женю, Юрку. Они до того входят в мою сегодняшнюю жизнь, что я не могу описывать их, увидеть со стороны. Говоря проще, начинался последний период моей жизни, который тянется и до сих пор. Двор дома Родичевых и флигель, когда я в первый раз пришел к Фрею, поразили меня своими размерами. Они оказались гораздо меньше, чем были во времена моего детства. Итак, друзьями моими все более близкими становились Соколовы, Соловьевы и Женька Фрей. Я начинал выбираться из одиночества, которое образовалось после разрыва с Жоржиком и охлаждения к Сашке. А влюбленность в Милочку все росла. Мы встречались на вечерах в реальном училище и тогда разговаривали; на улице — и тогда только здоровались. И примерно в это время началось мое знакомство с семейством Зайченко, тоже сыгравшее роль в моей жизни. И о Тутуриных надо бы рассказать!

19 марта 1952 г.

Словом, от прежнего рассказа, когда пишешь о том, что вспоминается, придется отказаться. Слишком уж много хочется назвать. Попробую внести порядок в то, что пишу. О вере. О музыке. О книгах. О любви. О дружбе. Это выглядит как будто и литературно. Но я просто хочу понять и назвать то, что помню. О вере. Во что же я верил? Чем жил? Любимый папин разговор был о том, что я "ничем не интересуюсь". Я каждый раз испытывал бессильное возмущение. Почему он так думает? Я живу полной жизнью. Разговоры с друзьями кажутся мне глубоко содержательными. Я живу... Чем? И вот тут и начиналась ярость человека немого, или плохо говорящего на языке собеседника. "В твои годы я уже начинал интересоваться политикой. Ты бы прочел хотя бы Петра Лаврова. Его "Письма". Но тут мама вдруг вмешалась и сказала: "Подожди. Прочтешь невесте, заперев предварительно двери". И папа засмеялся добродушно, чего никогда не бывало, если мама вмешивалась в разговор. Вот почему я запомнил именно этот, один из многих разговоров. Чем я жил? Неужели восторженное состояние, которое я испытывал, гуляя, было

единственным признаком веры во что-то? В эти же дни начало на меня находить отвращение к той колее, в которой я жил. Мне хотелось убежать. Бродить по морю. Наняться грузчиком. Или в хозяйство какого-нибудь казака в станице. Зачем? Иногда желание это усиливалось до того, что я думал не без удивления: "Неужели я и в самом деле убегу?" Однажды разговор "об интересах" поднятый отцом, кончился тем, что я сказал о своем желании все бросить и бежать. Во имя чего? Куда?

20 марта 1952 г.

Отец был смущен моим заявлением. Я не стал ему понятнее, не стал понятен и себе. Только теперь я понимаю, что "интересов", или цели, или веры у меня тогда не было. Была потребность этого — и глупость. Я был глуп, как новый истамановскнй щенок. А жизнь вокруг шла сложная, необычно сложная для России. В добавление к Миллеру, к увлечению борцами, к разговорам, долетавшим и до нас через посредство "Сатирикона", издательства "Шиповник", множества переводных романов (Шницлер, Генрих Манн, Уайльд, проглатывавшихся с одинаковым уважением. Впрочем, нет. Вспоминаю, что Генриха Манна и Габриэле Д'Аннунцио и еще Пшибышевского я читать не мог), — к разговорам об "освобождении", о "красоте", о "смене вех", "здравом смысле", о "Весах", о "символизме" и к насмешкам над символизмом вдруг добавилось увлечение, всеобщее увлечение Джеком Лондоном. Попробуй что-нибудь вывести из всей этой массы самих противоположных и искаженно понятых течений. Естественно, что здоровый и простой Лондон необыкновенно захватил и нас, школьников, и взрослых. Вспыхнувшая в те годы любовь к "телу", к здоровью, к силе — вдруг получила столь необходимое социологическое, привычное обоснование. За это любили Лондона взрослые. А мы — за то же, за что любят его школьники и до сих пор. Итак, веры у меня не было, и та мешанина умственных и духовных течений, которая бушевала или, точнее, колыхалась вокруг, никак не могла мне помочь. Я не верил, но потребность в вере, в цели, в миросозерцании у меня была сильна. И это на время заменяло цель. Желание цели. Но при склонности к мечтам это желание легко удовлетворялось мечтами о том, как я вдруг... Что?

21 марта 1952 г.

Как я вдруг совершу подвиг, и все поймут, что я... Кто? Какой подвиг? Но я так ясно видел все подробности своей славы, что самый подвиг для меня терялся в тумане.

22 марта 1952 г.

Итак, перейдя в шестой класс на шестнадцатом году жизни, я не знал, зачем живу, во что верю, но испытывал страстную потребность верить и знать, куда иду. Бездеятельность моя, видимо, пугала меня уже и тогда и ужасала лень. Все мои мечты начинались с того, что я действовал — смело, разумно, и работал не разгибая спины. Так было в мечтах. А наяву, как я вижу теперь, мои мечты о бессмысленности той жизни, которую я сам веду, о побеге — были неосознанным желанием сбросить с плеч все обязанности. То есть — не работать. То есть — та же лень. Безграмотность и бездеятельность в той области, которую я считал своей, в литературе, в поэзии — вот что могло бы оправдать меня, но я и тут ограничивался мечтами и неопределенно-величественно-поэтическими представлениями. Чувствование у меня смешивалось с уверенностью в будущей славе. Недоверие к себе — с неведомо на чем основанной уверенностью в собственной гениальности. И ко всему этому — влюбленность, которая усиливалась с каждым днем. Чувство реальности заставляет меня добавить, что все это вышеописанное заключалось в неряшливом, невысоком подростке. Нос у меня имел непонятную особенность — краснел без видимых причин. Это меня мучило. Я вечно скашивал глаза на кончик носа, чтобы проверить, какого он цвета в данную минуту. Я легко ревел. Слезами кончались мои споры с отцом и Бернгардом Ивановичем. Я плакал от бессилия, оттого что не в силах был доказать, что не так ничтожен, как им кажется. Да и чем я мог это доказать? В рассказе все получается многозначительнее и логичнее, чем это было на самом деле. Но веры я жаждал и мечтал неведомо о чем так жадно, что, случалось, не узнавал на прогулке друзей.

23 марта 1952 г.

Но незначительность, немасштабность моя подчеркивалась слишком уж явной жаждой успеха. Я следил за впечатлением от каждого моего слова. Я старался не победить, но очаровать. Первая моя мысль была не о деле, а об успехе. Впрочем, довольно казнить бедного мальчика. Главный судья — наш класс— как раз в это время стал меня любить. А уж где-где, а в классе строги. И общественное мнение класса не создается случайно. Итак, о вере я рассказал. Теперь скажу о книжках, о которых сказал уже несколько слов, но путано и несвязно. Я тогда делил книжки на старые (то есть классические, или такие, как Шеллер-Ми-

хайлов и Станюкович) и современные. В последние я валил все — и Шницлера, и Уайльда, и Генриха Манна, и Октава Мирбо. Все, кто выходил в издательстве "Современные проблемы" или В.М.Саблина (в зеленых коленкоровых переплетах с золотым тиснением. В этом издании я прочел Стриндберга и, кажется, Шоу) И Метерлинка. Я считал, что все это писатели одного возраста, молодые, и был удивлен, когда узнал, что они — например, Мирбо, и Франс, и Шницлер — вовсе не молоды. Путаница от этого чтения поднималась отчаянная. А тут поверх этого лег Джек Лондон — и все заслонил. (И Миллер приобрел основу — сильный человек стал героем литературным.) Первые романы его: "Дочь снегов", "Сын Солнца", "Мартин Иден"— особенно последний — были проглочены с восторгом. Вот что я с трудом могу восстановить, вспоминая, на чем воспитывался тогда я — глупый подросток. И книги я принимал, как явление природы. Я не обсуждал их, не критиковал, а принимал такими, как они есть. Некоторых авторов я просто не мог читать, но не осуждал их за это.

24 марта 1952 г. Не знаю, как быть. Иной раз мне кажется, что писать о моем отношении к женщинам в те дни достаточно. Что это нескромно, что это за пределами даже той безыскусственности и открытости, которым я учусь последние годы. А умалчивать об этом значит ничего не рассказывать. Ну, расскажу о второй моей женщине. И на этом остановлюсь пока. Это была наша кухарка. Здоровая, русая казачка лет тридцати. Она часто сидела, болтала со мной, когда старшие уходили в гости. Говорили мы обо всем. Звали ее Даша. Она сидела под самой висячей лампой. Шила. И мы говорили обо всем: о науке, о лошадях, о быках, о рыбной ловле. Нет, не могу рассказывать об этом подробно. Скажу только одно: она была добрее ко мне, чем Анна Павловна, но и она нанесла тяжелый удар моей самоуверенности. По странной последовательности чувств "после", "после" в особом значении этого слова, мы начинали говорить о грехе, о Боге. Рай, ад, исповедь. И однажды я не без стыда спросил — неужели на исповеди она скажет, что грешит со мной. И, к моей великой обиде, Даша вдруг ответила, что отношения наши она и за грех не считает. Со странной улыбкой она сказала: "Вот когда казак бородатый тебя притиснет — вот это грех". И я долго не мог пережить эту обиду. Но все-таки она бывала и ласкова со мной. И когда ей пришлось возвращаться в станицу, она, уже уложив

свой сундучок, зазвала меня в кухню и попрощалась со мною отдельно. Зная теперь о женщинах все, я вместе с тем считал, что гимназистки, в частности, девочки Соловьевы, устроены как-то иначе. А уж о Милочке и говорить нечего. Нет, я не считал, а смутно, но твердо в это веровал. Они — не такие.

27 марта 1952 г.

В это же время я вдруг стал понимать Чехова. До сих пор, до шестого класса, я перечитывал и помнил только первые три тома. И вдруг словно туман рассеялся — я стал понимать остальные. Началось, кажется, со "Скрипки Ротшильда". Я легко плакал, разговаривая, точнее, ссорясь с отцом или Бернгардом Ивановичем, но книги читал без слез. Не то говорю. Книги не могли меня заставить плакать. Прочтя о смерти Гавроша, я рассердился, обиделся на Гюго за его жестокость. Но не заплакал. А "Скрипка Ротшильда" вдруг довела меня да слез. Еще до этого, когда у Истамановых Мария Александровна читала вслух "Новую дачу", я понял ее. Еще до этого я угадал, что Чехов необыкновенно правдив. Но по-настоящему я понял его и влюбился на всю жизнь в шестом классе. Я так часто говорил, хваля Чехова (и других, которых уважал): "Хорошо замечено", — что Фрей и Юрка смеялись надо мной и дразнили этими двумя словами. Впрочем, трудно, как я вижу сейчас, понять и поймать, какого писателя когда полюбил. А Гоголь? Его я полюбил, вероятно, первым из русских классиков. Но полюбил со страхом. Он поражал, и пугал, и заставлял ужасаться. И Чехов поражал, но не пугал. Он... Нет, о настоящей любви говорить не смею больше.

28 марта 1952 г.

Нет, с писателями и с книгами, и с их местом в моей жизни не разберешься. Поневоле начинаешь говорить неточно или глупо. Расскажу лучше, что было дальше. Поплыву без плана. В Майкопе образовался или открылся (не знаю, как сказать вернее) народный университет. Так как в эти годы разговоры старших меня перестали интересовать, я помню смутно, не представляю себе истории его возникновения. Кажется, его учредителями были все — вся майкопская интеллигенция. Володя Альтшуллер, как называли его у нас дома, читал первую лекцию по политической экономии. Кроме аптеки Горста, в Майкопе была еще и аптека Альтшуллера в самом центре города, на Брехаловке. Она

походила на столичную аптеку, как рассказывали студенты наши, побывавшие в Москве и Петербурге. У Горста висел на стене большой портрет Александра II. И вся обстановка казалась старинной, солидной. И рекламы глицеринового мыла № 4711, и стойки, и шкафы не сверкали и не сияли, а солидно поблескивали. Она, аптека Горста, вспоминается коричневой. Аптека же Альтшуллера к тем временам переехала в их новый двухэтажный дом. Большие витрины. Шары за окнами. Синие. Вечером они бросали синие круглые отражения на асфальт — чуть ли не единственный в городе. Высокие стены, белые полки. Аптека Альтшуллера вспоминается белой и светлой. Хозяин — с длинной, надвое разделенной белой бородой. Жена его — с мягким, добрым лицом, в очках. Фигуры привычные — в театре, на улице, в кино. Сын их, Володя, учился, кажется, за границей. С другой стороны, я вспоминаю его в студенческой тужурке. По семейным рассказам я знаю, что он был долго и безнадежно влюблен в мою младшую тетку — Феню.

29 марта 1952 г.

Ко времени образования (или открытия) народного университета Володя Альтшуллер уже кончил университет, и Володей звали его только у нас в доме, в память тех дней, когда он был мальчиком и ухаживал за Феней. Он выглядел старше своих лет — редеющие над лбом волосы, бородка, очки, сутуловатость. У него был тот обманчиво-хрупкий вид, который так часто встречается у евреев. Обманчиво-болезненный. Насколько мне известно, он жив и до сих пор, работал всю жизнь много и усидчиво и никогда не болел. Тон у него был кроткий, но независимый, внушавший уважение. Познакомился я с ним века спустя, когда в 13-м году провел в Москве одно учебное полугодие, посещая, точнее, не посещая, университет Шанявского и готовясь, точнее, притворяясь, что готовлюсь, к экзамену по-латыни. После чистенького, выбеленного, светлого, хоть и не мощеного Майкопа, осенняя, грязная, оскорбительно многолюдная Москва ошеломила меня. И вот тогда-то дом Альтшуллеров был для меня утешением иной раз. Но это — века спустя. А в 11-м году он прочел первую лекцию в нашем народном университете. И вот в жизни моей прибавилось несколько памятных дней. Вечер. Мы толпимся в фойе Пушкинского дома. Оставшийся от какого-то торжества огромный портрет Шевченко, писанный углем, натянутый на раму, стоит у стены. Под усатой большелобой головой идет надпись: “Як умру — похороните мене

на могили". Я не знал тогда, что это значит "на кургане", и удивлялся этим строкам. Здесь и Женька Фрей, и Юрка Соколов, и Матюшка Поспеев. Пришла на лекцию и моя мама, и Беатриса, и Соловьевы. Я стою, болтаю и смеюсь.

30 марта 1952 г.

И вдруг меня словно током ударяет, сжимается сердце: я вижу две косы, светящийся ореол волос над лбом — это Милочка в своем синем форменном платьице, маленькая и все преобразившая, все изменившая вокруг. Я кланяюсь ей, и она отвечает ласково и чуть удивленно. И она, видимо, не ожидала меня увидеть тут. Она проходит в зал. Я стою перед портретом Шевченко, не смея идти в зал вслед за Милочкой. Мама с Беатрисой проходят мимо. И вдруг мама говорит испуганно и вместе с тем сердито, как всегда, когда обеспокоена: "Что с тобой? Почему ты такой бледный?" На что я отвечаю обычным своим тоном: "Ничего я не бледный!" И думаю с удивлением: "Вот как, значит, я люблю Милочку — бледнею, когда вижу ее". И вот и я вхожу в зрительный зал и занимаю такое место, чтобы видеть Милочку. Перед раздвижным занавесом, заменившим поднимающийся, с морем, Пушкиным, брызгами величиной с виноград, стоит столик с графином. Стул. Володя Альтшуллер появляется за столом. Воцаряется тишина. Володя своим мягким, достойным тоном читает очередную лекцию по политической экономии, которую я полностью пропускаю мимо ушей. Увы, только две вещи занимают меня: я сам и Милочка. Я издали вижу такое знакомое и такое каждый раз покоряющее меня удивительное существо. Сияющий нимб волос, косы. Она поворачивается к подруге, спрашивает ее о чем-то и оглядывается, может быть, почувствовав мой пристальный взгляд. Она не видит меня, но я и вижу и угадываю ее серо-голубые, огромные глаза. Когда же, наконец, перерыв? Встретившись, я не смею к ней подойти; сесть рядом с ней и думать нечего. Но в перерыве я подхожу и разговариваю храбро.

31 марта 1952 г.

Я говорю и жадно вслушиваюсь в каждое слово, ловлю каждый взгляд и вторую половину лекции переживаю это великое и памятное событие — встречу с Милочкой. Так проходит лекция по политической экономии. Помню чью-то лекцию о Лермонтове. Приезжий лектор картинно описывал, как нежно любила поэта

бабушка, как любовалась своим черноглазым внуком, сидящим на ее коленях. И я заметил, что мать Милочки, Варвара Михайловна, улыбнулась мечтательно. И горькое чувство, похожее на предчувствие, поразило меня. Я знал, что Варвара Михайловна меня не любит. Догадывался, что, слушая лектора, она мечтает о том, что вот Милочка выйдет замуж и у нее будут дети, но не такого мужа, как я, представляет в мечтах Варвара Михайловна. Нет, не жениться мне на Милочке! Вот все, что уношу я с лекции о Лермонтове. Иногда я слушаю лектора. С горя. Если Милочка не приходит. Квадратный Тан-Богораз читает лекцию о Балканах. Начинает он ее так: "Милостивые госудагы-ни и милостивые госуда-ги!" Кое-что из его лекции я помню и до сих пор: "На Балканах и цифгы сгажаются!" И Тан приводит статистические данные о количестве населения. Сначала, по сербским источникам, о Сербии и Болгарии, а потом наоборот. Читает лекции с туманными картинами художник-пейзажист, который бродит пешком по России. Свои пейзажи он продает желающим, и долго у нас в зале висит на стене в деревянной рамке какой-то пейзаж, сделанный тушью: озеро, лесок, даль. Даль — это его конек. Говоря о пейзажистах и показывая их картины с помощью волшебного фонаря, он больше всего говорит о дали. Немолодой, лысеющий, в брюках гольф, он говорил смело, решительно, даже сердито. Фамилию — забыл.

3 апреля 1952 г.

Музыку я любил всегда — и почтительной, и безнадежной любовью, веря в свою немузыкальность. За хороший слух я уважал любого человека. Даже злодея. Читая "Камо грядеши", я возмущался Нероном. Но в одном месте там Сенкевич написал, что среди приветствий толпы музыкальное ухо Нерона уловило и крики, обидные для него. Этих упоминаний о музыкальности было довольно для меня. Он уже был для меня злодеем, заслуживающим почтительного удивления. Фальшиво петь я отучился. Училище у нас было в основном казачье, а казаки народ музыкальный. Пели у нас на переменах, на прогулках, пели Соловьевы и Соколовы. Все больше украинские песни. Вторить я так и не научился, но в унисон пел, попадая в тон! У меня вдруг обнаружился сильный баритон, и наш учитель пения, чех Терсек, когда я иной раз, шутя, давал всю силу голоса, на которую способен, разводил руками и говорил даже как бы растерянно: "Да у него здоровенный баритон!" Как я читал вообще

и все вначале, так и музыку любил вообще. Но вот начался отбор. Первая музыкальная пьеса, которую я узнал и отличал, был “Жаворонок” Глинки. Его играла Леля Соловьева. И вместе с девочками Соловьевыми развивался музыкально и я. К тому времени я стал вдруг понимать Бетховена. Largo e maesto [so] — из Седьмой, кажется, сонаты; Первая соната, Восьмая, Четырнадцатая, “Аппассионата”. Шопена, один вальс — кажется, opus.59. И со свойственным мне подсознательным желанием остановиться, передохнуть, успокоиться, я очень неохотно соглашался слушать новое.

5 апреля 1952 г.

Я приближаюсь к самому светлому времени в моей жизни. И этот свет и ясность пугают меня. Это рассказать труднее, чем о первой женщине. Материал не грубый. Натура уж очень трудна. Очень сложна. Ну, поплыву. Учился я плохо. Тоска охватывала меня на всех почти уроках. “Сколько до звонка?” — спросишь одними губами, поймав взгляд одноклассника, имеющего часы. Он четыре раза сжимает и разжимает пальцы. Двадцать минут! Счастье, если это такой урок, на котором можно разговаривать или незаметно читать. Стены класса примерно до высоты человеческого роста выкрашены, кажется, клеевой краской, а повыше — выбелены. И я принимаюсь мечтать, что до границы краски наш класс наполнен водой, и я плаваю, плаваю от стены к стене, потом выплываю в коридор; в шестом классе были развешаны на стенах литографии с картин Иванова — старая Москва, бояре, церковки, улицы. Я начинал раздумывать о старой Москве и о боярах. Большие таблицы, не раскрашенные, черные, без растушевки, штрихами изображали исторических лиц: Валленштейна, Гумбольдта. У кого-то из них, кажется, у большелобого Гумбольдта, улыбка менялась: она была то холодноватой, то ласковой, так мне казалось. И я считался с этим.

7 апреля 1952 г.

В классе, как я уже говорил, я томился и скучал. Если допустить, что у меня был талант и я услышал его призыв, то он сделал одно: оторвал от обычных обязанностей школьника. От работы. Три четверти класса не работали — наслаждались жизнью. Иные уже выпивали. Почти все имели женщин. Многие посещали публичные дома и подробно рассказывали, жизнь заставляла их жить попросту, с наслаждением, увиливая от обязанностей. Для наших простых и

здоровенных казачат высшее удовольствие было "бардижать", или "партижать": удрав с уроков, отправиться в лес или бродить по городу. Не помню, кто угадал, что глагол этот, привезенный из казачьих станиц, и военный, и старинный, означает "партизанить". И звучание, и точный смысл слова исказился, но одно осталось: мы с наслаждением отрывались от главных сил и уходили в сторону. Но каждый по своей причине. Я, поняв, познав силу, и прелесть, и праздничность влюбленности и поэтической мечтательности, ушел партизанить. Зов таланта, если он у меня был, оказался достаточно сильным, чтобы увести от буден, но недостаточно сильным, чтобы найти дорогу к новой работе, к настоящей работе. Я понял прелесть свободы, но не догадывался, зачем она мне. [...] Сколько я ходил по городскому саду, пьянея от движения, от воздуха, в котором с февраля уже угадывалась весна, а потом читал, так же пьянея — и только.

26 апреля 1952 г. Целый день думал о том, какую форму выбрать для дальнейших своих записей о Майкопе. И не придумал. Буду писать, как писал: старательно и застенчиво, то есть холодно. Итак, в шестом классе я почувствовал, что, может быть, я и не хуже других. В мечтах своих я считал, что я сильнее и талантливее других и меня даже печатают в "Новом сатириконе". К этому времени мы стали дружнее в классе. И меня, пожалуй, любили. Класс наш считался неважным по успехам и совсем плохим по поведению. Об этом неоднократно говорил нам Харламов, поправляя нервно воротничок и постукивая на свой лад носком сапога. Он считал, что мы легкомысленны не по возрасту. И все вспоминал свой любимый класс, кончивший училище за два года до этого: "Тот класс, где учился Семен Герштейн". Я хорошо помнил Герштейна, небольшого, вежливого, точнее, доброжелательного еврея с приятным, серьезным лицом. Я спросил о нем у его бывшего одноклассника Сергея Соколова: действительно ли так уж хорош был Семен? "Он давал все, на что способен, использовал все, что имеет, добросовестно, до конца", — ответил Сергей, подумав, как это было свойственно Соколовым. И в самом деле, Семен Герштейн даже рассказы писал. Один из них начинался так: "Город спал. Втуне лаяли собаки". "Что значит "втуне"?" — спросили Сему. "Вдалеке",— ответил он. И Михаил Александрович любил Сему за серьезность и старательность. Мы же были безнадежно легкомысленны. Несмотря на

хорошие отношения, друзей у меня в классе не было. У меня были друзья классом старше — Соколов и Фрей, и приятели классом моложе — Истаманов, Камрас.

27 апреля 1952 г.

Мирон Камрас уезжал на лето в Новороссийск году в девятьсот десятом. Я с ним к тому времени уже не ссорился. Он остался на второй год в третьем или четвертом классе, и все прежние истории с бойкотом были давно забыты. Я стоял во дворе, когда к нам вошел Камрас. Это был другой Камрас — преодолевший переходный возраст. Он улыбался, как мне казалось, от сознания этого. Он раздался в плечах, выпирал из своего парусинового форменного костюма. Загорел. Вырос он не много, но это был другой, другой Камрас. Я это сразу угадал и позавидовал ему. Я даже пытался расспросить, как это с ним произошло, но он либо, как и все мы, не мог, не умел рассказать, либо и в самом деле не понимал, что с ним произошло. Мирон был прост в этом отношении. Он был хитер, но в этом отношении прост, во взгляде на себя со стороны, говоря приблизительно. Он подружился с Жоржиком. Младший Камрас, Леня, тоже. Вообще Жоржик стал средоточием в классе. Не помню, в эти дни или позже, в их классе завелась игра в трех мушкетеров. Вели они ее с увлечением, методично и изобретательно — дух, внесенный в игру Жоржиком. Я чувствую, что мало рассказал о нем. Пятый класс. Жоржик, один из лучших в классе учеников, в тот день не выучил или от избытка веселого безумия, которое часто находило на нас тогда, сделал вид, что не выучил истории. На перемене он написал на карте весь урок. Когда Валерьян Васильевич вызвал его, Жоржик, сняв очки и близко наклонившись к висящей на стене карте, стал оттуда попросту читать, что написал. “Истаманов!” “Что, Валерьян Васильевич?”—”Что вы делаете? Вы считываете урок с карты?”— “Я?” — “Да, вы! Вон, вон тут написан на Балтийском море весь урок”. Истаманов сделал вид, что видит эту запись впервые, и воскликнул, всплеснув руками: “Ах, глупостники!”

28 апреля 1952 г.

Еще одно воспоминание, относящееся тоже к четвертому-пятому классу. Идет Балканская война. Заходит разговор о том, что, может быть, и мы вмешаемся в войну. Разговор, кажется, идет на уроке истории. И вдруг, не помню по каким признакам, я

угадываю, что Жоржик, если это произойдет, бежит на войну. Его охватывает эта идея так, что он чуть не плачет. И я не сомневаюсь, что он и в самом деле убежит и, возможно, доберется до цели. А я нет. Не посмею. Жалко мать, страшно отца. И я испытываю глубоко печальное чувство: зависть к силе того, кого любишь. Училище готовится к празднованию двадцатипятилетия службы Василия Соломоновича. Бернгард Иванович приказывает Жоржику ласково, чтобы он вышел из класса, — мы будем обсуждать, что подарить Василию Соломоновичу. Жоржик вспыхивает, улыбается, и лицо его делается до того привлекательным, что даже отчаянные казачата любуются им. И я снова завидую и люблю его. Все мы в те времена влюблялись уже, и Жоржик выбрал гимназистку из многочисленной семьи Грузд, очень некрасивую и непривлекательную. Сделал он это, как бы споря с нашим легкомыслием и доказывая, что дело не в наружности. Но скоро это кончилось, и он влюбился очень сильно, на всю свою жизнь, в хорошенькую Полю Тарнопольскую. И вот он отстал от нашего класса и сделался средоточием у пятиклассников. А может быть, у шестиклассников, когда я перешел в седьмой класс? Да, вернее, что так. Жоржик пробыл в Батуме год, и я получил от него оттуда открытку, где крестиком было помечено, где он живет. Крыша их дома. Значит, приятели у меня появились среди шестиклассников годом позже, когда я перешел в седьмой.

30 апреля 1952 г.

То, что я пережил — пора перехода от детства к возмужалости, — каждый переживал по-своему, каждый из моих сверстников и сверстниц. В это время стала задумчивой Наташа (раньше, пожалуй). Наташа Соловьева из бойкой и уверенной девочки превратилась вдруг в задумчивую, даже как бы виноватую. Если она плакала в прежние дни, то по основательным причинам. Мы шли однажды с мамой вечером осенью и видим, что в темноте, зажигая спичку за спичкой, бродит Наташа и плачет и что-то ищет на земле. Ее послали в магазин, и она потеряла 25 рублей. Тут было чего заплакать. А в последнее время Наташа плакала неведомо отчего. Задумается — и вдруг слезы на глазах. Бывало это и с Лелей. Однажды я уходил домой, девочки провожали меня, и я увидел вдруг на упрямом Лелином лице мягкое и печальное выражение и слезы, все те же загадочные слезы. “Ты что плачешь?” — спросил я. “У женщин свои причины плакать”, — ответила за нее Наташа загадочно

и многозначительно. Однажды ночью Леля попросила меня кротко подождать, не переходить двор. Она, как я понял по стуку ведра и плеску воды, обливалась водой возле люка в цистерну. И я услышал как-то, как встревоженно жаловалась Вера Константиновна Василию Федоровичу: "Леля опять ночью обливалась холодной водой". Так мы росли и подчинялись законам роста, каждый на свой лад. Юрка Соколов и Фрей никогда не рассказывали о своих переживаниях в этой области, и у меня, как я уже говорил язык не поворачивался говорить о себе. Но иной раз невольно высказывались и мы. Юрка однажды сказал мне, когда мы пытались добросовестно и старательно определить, как действует на человека музыка: "Ты — щенок, ты не понимаешь: когда слушаешь музыку, то исчезает все безобразное, что есть в отношении к женщине". Я привожу его слова, конечно, приблизительно.Может быть, он сказал иначе, но смысл был именно такой. Об отношениях полов говорили мы часто, но не о себе в этом отношении. Рассказывая обо всем этом, я вдруг вспомнил то, что назвал выше. Мы как бы познавали мир заново — и добросовестно, и старательно, и правдиво пытались назвать и определить то, что видели, не слишком веря, что это уже кто-то назвал и определил. Я признавал, что у Чехова многое, все "хорошо замечено", но это не мешало и нам определять то, что видим. Наоборот, скорее поощряло.

2 мая 1952 г.

Вспомнив вдруг это, я вспомнил, о чем разговаривали мы чаще всего. Обо всем, но как бы определяя это заново. Вот мы весной стоим на участке Соколовых. И я прошу разрешения: "Разрешите "хорошо заметить". Я уже надоел Фрею и Юрке своими замечаниями, и они, полушутя, запретили мне продолжать это занятие. Но я все-таки сказал: "Сегодня в воздухе мягкость". Я хотел добавить еще что-то, но Юрка сказал: "Довольно, испортишь". [...] Участок Соколовых начинался на склоне горы. Под горой стоял выбеленный домишко в одну комнату, крытый толем, где жил сторож, маленький, молодой, черноглазый, с бородкой реденькой и черной. Был он, кажется, черемис. Тут же недалеко стояла конюшня, где жил смирный их конь самой рабочей наружности. Телега. Перед домиком расстилалась равнинная часть. Участок Соколовых был предназначен под виноградники. Лозы его уже росли, но плодоносить должны были начать, кажется, еще только через три года. Описывать этот

участок так же трудно, как лицо, да еще при этом близкого человека. Начиналась великолепная майкопская весна, по которой так тосковал тут, в Ленинграде, мой отец. Мы стояли, пройдя равнинную часть участка, — я, Юрка и Фрей, и я чувствовал острое желание добросовестно и точно определить, что меня трогает в этом первом, несомненно весеннем вечере. Зима совсем ушла, несомненно ушла. И я назвал то, что было до того заметно, что стыдно слишком легко было угадать — о мягкости, которая разлита была в воздухе.

3 мая 1952 г.

Это, как мне казалось, слишком легко было определить, и я решил попробовать еще что-нибудь назвать, и Юрка остановил меня: "Довольно, испортишь". Я начинал говорить раньше, чем мысль определялась, а Юрка — подумавши. Он и о рисовании своем говорил: "Линию надо обдумать". Прежде чем сказать что-нибудь, он раскачивался, сначала даже покряхтывал: вот-вот заговорит и... раздумает. Раскачивался не в буквальном смысле этого слова. Приготовлялся. Но все, что он говорил, было необыкновенно точно. Я на всю жизнь запомнил: идем мы, уже студентами, мимо Исаакия посмотреть на немецкое посольство, которое толпа разгромила в день объявления войны. Смотреть тут, в сущности, нечего. Оно стояло угрюмое. Казалось более значительным и угрожающим, чем в наши дни. (Сама форма архитектурная эта для меня утратила свою многозначительность.) И следов погрома не осталось. И, поговорив о том, что толпа тащила бронзовые статуи до самой Мойки (что меня особенно удивило, так как я спутал Мойку с Фонтанкой), мы заговорили о другом. Вернее всего обо мне. Потому что Юра сказал мне, подумавши: "Тебя любят всегда, а уважают иногда". В более ранние времена он сказал: "У вас нет семьи, поэтому ты все ищешь, где бы приткнуться". Придя с Фреем ко мне, Юрка долго то поглядывал на меня, то покряхтывал и, наконец, сказал: "Ты хозяином чувствуешь себя неловко". И Фрей понял сразу его мысль и пояснил: "Тебе мешает чувство ответственности". Точность этих высказываний я мог проверить на себе и поэтому запомнил их навеки, хотя они и устарели в какой-то части за сорок почти что лет.

4 мая 1952 г.

Я не могу слышать, когда о детстве или о молодости вспоминают снисходительно, с усмешкой удивляясь собственной наивности. Детство и молодость — время роковое.

Угаданное верно — определяло всю жизнь. И ошибки тех дней, оказывается, были на всю жизнь. То, что мы старались все называть, понимать как бы заново, в сущности, определило многое и в хорошую и в дурную стороны. Я научился вставать лицом к лицу с предметом. Без посредников. Но зато потерял веру в чужой опыт и в то, что можно что-нибудь узнать не непосредственно. Трудно описать, как мы постепенно, постепенно сближались. Первое время Юрка часто сердился на меня. Застенчивость моя в те дни до того меня охватывала иногда, что самому было противно. Я иду по улице. Навстречу Юрка. Ну что тут такого? А я начинаю горбиться, краснею, во весь рот улыбаюсь по-дурацки, так что Юрка даже прикрикнет на меня. Скоро его, полушутя, стали называть моим воспитателем. Да, теперь припоминаю, что первое время он спорил со мной, как он признался позже, просто иной раз потому, что его раздражала настойчивость и шумность, с которой я утверждал то или иное. Особенно о Чехове он много спорил со мной и, только когда мы были уже совсем хорошо знакомы, признался, что я прав.

9 мая 1952 г.

У меня жизнь двигалась по-зимнему. Я тогда гораздо сильнее зависел от погоды, чем теперь. Частые оттепели, мокрый снег, морозец — и туман, и слякоть — вот что такое майкопская зима. Я вышел на большой перемене во двор. Все тает. Серое небо. И тоска охватила меня. Я подумал: “Что напоминает мне эта погода? Что-то унылое, с невыученными уроками, с безграничными буднями? Что?” И вдруг понял: не напоминает, а есть, существует сейчас. И было, и есть. Чувство беспросветных будней исчезало из-за пустяка, из-за шуточной драки в коридоре, из-за того, что объявляли вдруг, что у нас свободный урок. И как острова в этих болотах — вечера, наши школьные вечера. И преступления — дождаться, когда уйдут наши и пробраться к новой домработнице, которая была добрее со мной, чем две предыдущие, но ни разу не сказала мне ни слова. Все происходило в темноте и в молчании. И я возвращался с чувством опустошения.

10 мая 1952 г.

Среди новых учеников, оставшихся на второй год, появился у нас Ромочка Долубеков, армянин, очень бледный, с невысоким лбом, густой шапкой волос, ладный, мужественный, наивный, склонный к красноречию, ласковый с близкими. Я слышал,

как он разговаривал с сестрой, и полюбовался на них. Оба бледные, миловидные, сестра повыше — наш Ромочка был небольшого роста, — они беседовали так ласково, сестра так заботливо поправила ему воротничок. В зрелище дружной семьи для меня тогда было особое очарование. Говорил Ромочка с эффектами. Однажды он сообщил: "У Дамаева голос лопнул — вся Москва рыдает". Чтобы быть совсем точным, надо добавить, что в речи его не было и признака армянского акцента — вещь обычная в наших краях, где армяне были больше нахичеванские, из-под Ростова, сильно обрусевшие. Сведения о Дамаеве, кстати, не подтвердились. Однажды мы услышали печальную новость: у Ромочки умер отец. Несколько дней не приходил он в класс, потом появился, еще более бледный и задумчивый. А месяца через два-три стал ужасаться тому, что жизнь его и всей семьи начинает входить в свою колею. Случилась беда, казалось, что жизнь разбита, дружная семья без отца, не сможет дальше жить. А она живет. И чем дальше, тем спокойнее. И Ромочка стал философствовать в своей эффектной манере. Стал доказывать, что жизнь бессмысленна. Наклеил в общей тетради вырезанное из какой-то газеты стихотворение, подтверждающее его мысли. Стихотворение кончалось так: "Жизнь — это бочка страданий / С наслаждения ложечкой в ней". Мы с ним спорили, и шутя, и полушутя. И однажды на уроке физики мы, притворившись, что Ромочка убедил нас, решили сказать хором: "Смысла в жизни нет".

11 мая 1952 г.

И мы так и сделали. Сказали хором, посреди урока: "Смысла в жизни нет". Вышло это эффектно. Яцкевич засмеялся, после чего это изречение мы повторили. И оно вошло в моду. От времени до времени на тех уроках, где мы это могли себе дозволить, по данному знаку класс произносил печально: "Смысла в жизни нет". Произошло это в двенадцатом году. Когда я приехал в Майкоп летом 1915 года, то узнал с удивлением, что после нашего окончания обряд этот не только не забылся, а напротив, вырос, усложнился. Откуда он пошел, новое поколение реалистов объяснить не могло. Но от времени до времени на тех уроках, где они могли позволить себе это, по данному знаку мальчики произносили следующее: "Смысла в жизни нет, жизнь наша копейка, Викеша — бузовар, Жако — душка, вздохнем ребятки! О-о-о-о!" (глубокий вздох). Кроме этого, в классе было много поговорок и словечек, происхождение которых

иногда было известно, иногда скрывалось во мраке времен. Не все они были пристойны. Иные из них, например: "Ангидрид твою перекись марганца", были достижением всех реальных и гимназий России. Специально майкопским было полупристойное восклицание: "Захотелось Викеше аре!" Что оно значило, никто не мог бы объяснить в точности, но... Любили мы повторять с армянским акцентом следующее: "Люблю ученик, бедный, стрядают!" Так будто бы говорил армянский артист Адамян (или Абрамян?), пропуская учащихся на свои спектакли бесплатно. Слово "грю̀бо" или "грюбо" выражало похвалу. Когда был построен во дворе флигелек для занятий аналитической химией с вытяжным шкафом, труба которого выходила на крышу, Миша Зайченко сказал: "Залезть на крышу, да голышом (т.е. камнем) да у трюбу — грюбо!"

12 мая 1952 г.

Возвращаюсь в Майкоп. Володя Тутурин, о котором я уже рассказывал, нескладный, огромноголовый, в очках, был нам ближе других, но не близок. Он не так разговаривал. Литературно. Мы над ним подсмеивались, как все. А он все так же был влюблен в Наташу — безнадежно, почтительно. Однажды мы пошли за Белую — девочки Соловьевы, я и Володя Тутурин. Мы прошли по шоссе дальше обычного, еще версты три за Курджипс. Тут мы разводили костер, и Володя особенно старался — тащил хворост, волок его из чащи, раздувал пламя. На обратном пути Володя загрустил и пожаловался на холодность Наташи. "Видел, как я старался, а она хоть бы спасибо мне сказала". Я несколько удивился этому желанию. За что тут было благодарить? Прогулка была не Наташина, а общая. Но я понял, что ему хотелось не благодарности, а чтобы Наташа заметила, во имя кого он так старался. И чтобы утешить его, я выразил уверенность, что Наташа еще поблагодарит его, когда мы будем прощаться. Володя предложил пари на десяток пирожных, что этого не случится. Я пари принял, потом присоединился к Наташе, которая задумчиво шла впереди, рассказал о случившемся и попросил поблагодарить Володю за его старание. Она выразила сомнение, будет ли это честно. Я сам не был в этом уверен, но сказал, что да. Будет честно. Что я читал какой-то американский рассказ, где пари было выиграно именно так. Во всяком случае, Наташа, прощаясь, поблагодарила Володю, и он радостно сверкнул своими карими глазами.

15 мая 1952 г. Володя Тутурин сверкнул на меня своими небольшими карими глазами из-под очков, и мы пошли с ним в булочную Окумышева, купили десяток пирожных и съели их всей компанией. Володя был одаренным математиком. Однажды разнесся слух, что он решил какую-то знаменитую теорему, за которую кем-то и когда-то была назначена какая-то премия. Ферма̀? Или другая? Есть, кажется, знаменитая теорема, связанная с теорией чисел. Отец Володи, профессор Новочеркасского политехникума, проверил и сказал, что решение найдено. Но Василий Соломонович отыскал в доказательстве ошибку и удивлялся, как ее мог просмотреть Володин отец. И Василий Соломонович добавил: "Без теории чисел эту теорему не решить". Слава Володи как математика от этого не упала — все-таки можно было подумать, что теорема решена. Но он потрясал всех при этом полной, болезненной почти, неспособностью к русскому языку. К литературе.

16 мая 1952 г. Он учился по всем предметам отлично и только сочинения писал не то что плохо — странно. Он много читал, был умный мальчик, но тут словно терял разум. Всех знакомых— ведь жили мы в Майкопе тесным кругом — беспокоил вопрос: кончит ли он седьмой класс (он был на два класса старше меня) или его оставят на второй год. Бедняга Володя с пятерками по всем предметам и с двойкой по-русскому. Однажды Василий Алексеевич, Юркин отец, доказывал при мне у Соловьевых, что у Володи неладно (это было его любимое слово) с координацией движений. (Тут я услышал это выражение в первый раз и часто пользовался им впоследствии.) Володя, по словам учителя, перед тем как начать писать, это ясно обнаруживал. Многие, взяв перо в руки, прежде чем приступить к самому процессу писания, как бы примеряясь, делают пером плавные движения. А Володя делает над строчкой движения ломаные, путаные и пишет безобразные буквы и делает необъяснимые ошибки. Например, слово "пьяный" он написал так — "пянный", пропустив мягкий знак и поставив два прописных "н" посреди слова. При мне Василий Соломонович сказал Володе, что педагогический совет решил оставить его на второй год. Он изменился в лице, но мужественно, ни слова не сказав, кивнул головой и ушел. Незадолго, а возможно, и задолго до этого, он болел брюшным тифом в тяжелой форме. Говорили, что у него падает деятельность

сердца и не знают, чем поддержать ее. Мне пришло в голову, что хорошо бы заставить Наташу навестить больного. Несомненно, это усилит деятельность его сердца. Но я не посмел сказать об этом ни Наташе, ни тем более никому из взрослых. Но придя навестить Володю, я в прихожей встретил Наташу, уходящую домой. Лицо ее было бледно и строго, и я понял, что Володю она навестила как больного товарища, но чувства ее не изменились. О деятельности сердца я промолчал.

17 мая 1952 г.

О том, что приход Наташи мог вылечить Володю, я не сказал ему ни слова. Помню кровать его в углу у окна, грустное выражение глаз без очков и что-то все же чуть-чуть литературное — не могу найти другого слова, — в выражении лица, что-то не вполне "естественное" (любимое мамино слово) в говоре, выборе слов. Он был очень разви-той, слишком даже развитой мальчик. Отец считал (его отец), что он — гениальный математик, что, возможно, соответствовало истине. Развился он рано, заговорил языком взрослых, книжным языком — да таким и остался. Он говорил не своим языком, что в то время мы не прощали. И сейчас, несмотря на тяжелую болезнь, измучившую мальчика, он оставался самим собой. Не помню, что он сказал, но, вероятно, что-нибудь вроде того: "Здравствуй, старина". В глубине души я считал, что Володя скоро поправится, — все равно, что бы старшие ни говорили. В глубине души я скрывал уверенность в том, что никто из моих близких знакомых умереть не может. Так оно и вышло, и скоро Володя появился в училище, и все забыли, что он болел. И он сам, скользя, как на коньках, по кафельному полу нашего длиннейшего коридора и вопя от избытка сил: "Охайо!", вряд ли помнил, как близок был к смерти. Любовь к Наташе, по воле насмешливой судьбы Володиной, подверглась отвратительным и дурацким бедам. Не любовь, история любви. Как я уже писал, Драстомат выписал из Парби двух своих племянников: Нерсика и Сашку. Нерсик был глуповат, а Сашка хитер, ленив и испорчен. Однажды Володя в саду у Соловьевых жаловался мне, как он это любил, на жестокость Наташи. Вот в это время мы были уже в шестом классе (я то есть — Володя старше, в седьмом). Свои жалобы он закончил так: "Если она будет обращаться со мною по-прежнему, я знаю, что сделаю". Это следовало понимать так: "Я возьму себя в руки и заставлю себя забыть обидчицу".

18 мая 1952 г. Через некоторое время Наташа, бледная, вызвала меня поговорить. Оказывается, Сашка рассказал, кому не знаю, наверное, мальчишкам, одноклассникам, что Володя решил изнасиловать Наташу, после чего она, разумеется, будет навсегда принадлежать Володе. Слух об этом дошел до Наташи и ужаснул ее так же, как и меня, услышавшего от нее эту неслыханную, небывалую клевету. Даже сейчас я пишу эти слова с напряжением. У нас влюбленность в те годы была до того далека от самой мысли об "обладании", и девочки, знакомые наши, стояли так в стороне от мира, где случались подобные непристойности, что бледность Наташи казалась мне законной. Даже, пожалуй, недостаточной реакцией, на то, что она услышала. Я, естественно, со всей энергией отверг эту клевету. Я сразу вспомнил наш разговор, Сашку на траве. Сашка понял Володины слова — "я знаю, что сделаю" — по-деревенски, по-восточному. Началось разбирательство. Взрослые замешались в это нелепейшее дело. Длилось оно недолго. Все знали, что Володя не мог сказать приписываемых ему Сашкой слов. Но Володя перенес ничем не заслуженную встряску. Оскорбительнейшую. Он сказал, когда дело уже утихло, что хочет высказать Сашке в лицо, что о нем думает. Взяв меня под руку, он пошел в дальний угол школьного двора, где в своей ленивой позе, опершись рукой на траву, сидел Сашка. Увидев нас, он стал глядеть в учебник. Володя подошел к нему вплотную и сказал: "Ты, братец, негодяй и подлец". На что Сашка пробормотал угнетенно: "Ты сам". На этом все и кончилось. Описывая вчера, как началось оно, я пропустил одно обстоятельство: когда Володей была произнесена его несчастная фраза, Сашка в той же позе сидел на траве неподалеку. На этом любовь к Наташе у Володи стала догорать. Во всяком случае, я помню, что он восхищался при мне какой-то гимназисткой. "Ты что, влюбился?" — спросил я. "Есть немнощко", — ответил Володя.

19 мая 1952 г. Повторяю "есть немнощко" — ответил мне Володя, заменив букву "ж" буквою "щ" для того, чтобы вышло посмешнее, небрежно и фатовато. Вон сколько я вспомнил о бедном Володе Тутурине и сколько рассказал о нем. Все оттого, что Юрку Соколова я слишком люблю и боюсь прикоснуться к нему, начать говорить о нем как следует, как подобает. В начале четырнадцатого года Володя был мобилизован. Нет, это случилось позже, когда стали призывать студентов.

Попал он в пехоту. Вскоре мы прочли в газетах, что он пропал без вести. Потом Анна Петровна получила от него открытку из лагеря военнопленных. Писал он оттуда в полагающиеся сроки и вдруг перестал. Умолк. И Анна Петровна получила страшное известие — прапорщик Владимир Тутурин убит при попытке к бегству. Произошло это, вероятно, в конце 15-го года. Это известие поразило нас. "Он первый выбыл из круга нашего". Как мог близорукий, нескладный Володя решиться на бегство из безпощадного, прусского лагеря. Один он решился на это? Кто решился взять его? Так не шло смешному, добродушному, литературному, профессороподобному Володе умереть от пули часового! Но тогда мы не знали этого. Ничего не знали. Горевали, получив двойку. Впрочем, по позднему времени я пишу пошлости. Да, мы ничего не знали, но что-то смутно предчувствовали. Меня легко охватывала тоска. Правда, мне даже нравилось это состояние. Предчувствие беды, ожидаемые события освобождали от майкопских мещанских будней, сулили освобождение от них. Они обещали и освобождение от обязанностей. Но все же эпидемия самоубийств разразилась в стране. Убивали себя люди внешне счастливые, даже удачливые, молодые и пожилые, без видимых причин, от предгрозовой тоски, позволю себе это выражение за поздним временем. У нас в народном университете читались лекции об эпидемии самоубийств.

20 мая 1952 г. Эпидемия самоубийств у одних, увлечение спортом, борьбой, Джеком Лондоном у других — все это было неосознанным предчувствием наступающих событий. Одни в ужасе спасались бегством на тот свет, другие готовились к драке. Как теперь ясно, признаков готовящегося взрыва было множество, так что в этих предчувствиях не было ничего странного. Разве одно — что они были так мало осознаны. Нас они заражали стороной — и самой здоровой. Мускулы, Миллер, спорт. Когда подсыхало, то тут, то там во дворе схватывались пары — французская борьба. (Во дворе нашего училища, хочу я сказать.) Боролись по правилам, знали названия всех приемов из книжек. Появились книжки о французской борьбе и о джиу-джитсу. Многие овладели приемами этой последней борьбы. Помню, как высокому худенькому семикласснику Всеве Коцару кто-то в полушуточной драке приемами джиу-джитсу нанес удар — ребром ладони, по кадыку. И Всева, пошатываясь и держась за горло, отошел

к забору. И мне показалось, что это идет ему — с его черненькими усиками и бледным лицом, отходить в сторону вот так, пошатываясь. Благородно пошатываясь. (И он был призван на войну, и воевал, и много. Был ранен. Возвращался на фронт, как рассказывали, с печальными предчувствиями. И был убит во время какого-то нашего наступления в шестнадцатом году.) Приехал в Майкоп цирк и объявил чемпионат французской борьбы. И мы своими глазами увидели то, что читали в газетах. Может быть, это было и не предчувствие. Люди начинали меняться, и их привело это к тому, что они сделали? Люди, а не человек, вот что в последнее время занимает меня. Впрочем, рассуждать я умею плохо. Буду я лучше продолжать рассказывать о том, что видел. Так как приезд цирка с чемпионатом был в то время событием в нашей жизни заметным, то я расскажу о нем, лишь бы не приступать к главному — к рассказу о нас, о друзьях.

22 мая 1952 г.

Чемпионат в Майкопе у нас был окружен обаянием и недоверием. В те времена уже появилась разоблачительная статья или книжечка Брешко-Брешковского о том, что все существующие чемпионаты поддельны. У него или у другого какого-то разоблачителя рассказывалось, что не только победы и поражения, но и роли между борцами распределены заранее. Есть борец-грубиян, борец-комик, борец, теряющий голову в пылу борьбы. И мы верили этому и не верили. Мы сидим в городском саду. Борцы, гуляя и показывая себя, проходят по дорожкам сада. Они и в самом деле богатыри на вид. Тяжелы, высоки. И среди них, такой же огромный, как все, вызывая всеобщее внимание, легкой походкой, несмотря на свой вес, шагает негр, который в чемпионате называется почему-то чемпионом Великобритании. Он проходит мимо нашей скамеечки, и мы замечаем, что внутренняя сторона пальцев и ладони — у него белые. Боже мой! Значит, это поддельный негр, крашеный! С ладоней краска стерлась, а он и не заметил! Мы, хохоча, негодуем, рассказываем о своем открытии товарищам. Прав Брешко-Брешковский! Да и странно было бы думать, что в наш маленький Майкоп приедет настоящий негр. И только на другой день мы узнаем, что белые ладони — свойство настоящих негров! Это несколько повышает наше доверие к чемпионату. Да и не интересно было бы не верить. Начинается массовое посещение цирка. Разрешалось оно реалистам только под праздник.

23 мая 1952 г.

Но настоящие любители борьбы ходили в цирк чуть ли не на каждое представление. Они переодевались и прятались среди зрителей галерки. Впрочем, прятаться было легко — учителя и надзиратели цирк посещали редко. Я был в этом увлечении — из последних. Гимнастику по Миллеру я мог делать. Но в драках по системе джиу-джитсу, в борьбе, как некогда в игре в лапту, я был из рук вон плох. Тем не менее я всех борцов знал по именам. Примерно в середине чемпионата произошла сенсация — появилась "Черная маска". Некто в маске, закрывающей всю голову до шеи, появился во время очередного представления и положил на стол жюри письмо с вызовом. Он вызывал всю труппу борцов. Все мы понимали, что в этой таинственности есть нечто смешное. Но верить — интересно! И я пошел поглядеть на "Черную маску". В первой паре боролся чемпион Палестины Гиндельман с негром и был побежден. Во второй — не помню кто. И в третьей — чех, комик с "Черной маской". Таинственный борец был легок и ловок, и грузный чех, к величайшему удовольствию зрителей, сердился, кричал, применял в азарте неправильные приемы. Бросив противника через голову, он спрашивал у зрителей, не оборачиваясь: "Лежит?" Борьба кончилась вничью. "Черная маска" был побежден в самом конце чемпионата и по условиям борьбы снял маску. Как сообщила "Майкопская газета", он оказался известным борцом Севериным. Почему он выступал в черной маске, газета не объяснила.

24 мая 1952 г.

Наши школьные вечера всегда казались необыкновенными, все обязанности снимающими, все угрызения совести учащающими, событиями. Что там думать о запущенных делах своих и о страшных драках, когда завтра вечер. Да еще устраивались они, как правило, по субботам или под праздник. Значит, после вечера еще целый день, в который можно чего-нибудь придумать: дописать сочинение, на которое дано было две недели, а я еще к нему и не приступал. Довольно рассуждать. Реальное училище, переродившееся, потерявшее все признаки будней. На вешалках младших — пальто гимназисток, пахнет духами. В синих платьицах с белыми фартуками, таинственные, приводящие в мучительное смущение, цепенение, едва только подумаешь о том, чтобы заговорить с ними, девочками. Я только кланяюсь и вглядываюсь. Где же Милочка? Издали вижу — не смею видеть, — угадываю я знакомый ореол волос и

сине-серые глаза. И тогда праздничность и волшебность происходящих событий подтверждаются. Я здороваюсь издали. Подойти не смею. Потом. Когда начнутся танцы. Умеющие рисовать дарят своим избранницам программы вечера — бристольский картон, нарисованные на самом лучшем бристольском картоне розы или фиалки, или пейзажи окружают старательно написанный текст: "Первое отделение — то-то и то-то, второе то-то — танцы". В зале стоят стулья для первых рядов, скамейки для последних. Для гостей и для хозяев.

25 мая 1952 г.

Освещены все длинные коридоры училища, а не только начало, как в те вечера, когда приходишь на занятия в физический кабинет. Налицо не только учителя, но и их жены. Все они вместе с членами родительского комитета будут сегодня помогать приему гостей — в одной из комнат, в одном из классов вынесены парты, стоят столы с конфетами, пирожными, кипит огромный самовар, стоят в огромном количестве стаканы, блюдечки. Ложечки лежат грудой — прозаические, вероятно, оловянные ложечки нашей школьной столовой (на большой перемене мы получаем горячие завтраки). Но даже они не нарушают общего праздничного характера вечера. Впрочем, комната эта придет в действие много позже, во время танцев, а сейчас вечер только начинается. Бегают распорядители с бантами. Гуляют по коридорам гостьи — в начале вечера отдельно. Так же — отдельно девочки, отдельно мальчики — рассаживаемся мы в зале. Эстрады нет. Рояль стоит ближе к середине, перед первым рядом. Тут же выстраивается наш хор, которым дирижирует Терсек. Участвовал в этом хоре и я, когда был исполняем "Хор охотников" из оперы Вебера "Волшебный стрелок". Так было написано в программе. Мы пели: "На свете что лучше, отрадней охоты, когда веселей в нас ключ жизни кипит. Преследовать зайца [или волка], что в поле гуляет, и выследить, выгнать из леса лису?" Маленький, стройненький, непоколебимо серьезный Миша Чернов обладал приметным дискантом. Однажды он пел что-то, а подпевали ему четыре мощных баса из семиклассников. Вот это был единственный случай, когда хор имел настоящий успех и бисировал. Обычно ему вежливо хлопали. И только. За хором кто-нибудь читал. Или мелодекламировал, что было модно.

26 мая 1952 г.

Мне не хочется перечитывать все, что я писал о себе. Я не могу вспомнить, — рассказывал ли я о своих выступлениях на училищных наших вечерах. Я выступал на них дважды, вероятно, в четвертом и пятом классах. Мелодекламировал. Один раз читал: “Трубадур идет веселый” Немировича-Данченко, музыка Вильбуевича. Второй раз: “Каменщики” Вал.Брюсова, как сообщалось в украшенных акварельными рисунками программах из бристольского картона. Читал я и на вечере памяти Кольцова. Бернгард Иванович много возился со мной, добиваясь, чтобы из меня вытащить хоть что-нибудь, но результаты, видимо, получились средние, потому что Марья Александровна сказала: “Что это все ты да ты читаешь. Пусть Жоржик попробует”. И Жоржик тоже однажды появился перед публикой. С обычной своей гримаской, выражающей у него смущение, которое он решил во что бы то ни стало преодолеть, Жоржик прочел под аккомпанемент Бернгарда Ивановича какие-то стихи и сделал это, несомненно, не хуже, чем я. Кроме “Трубадура” и “Каменщика” я читал в одном случае на бис: “Нет, я не верю в смерть идеала”. Вспомнил! Четвертое стихотворение было “Галилей”. Четыре стихотворения на два выступления. Так полагалось.

27 мая 1952 г.

Стихотворение “Галилей” вдруг всплыло в памяти почти целиком: “Изнемогая от мученья / Под страшной (или тяжкой?) пыткой палачей / На акт позорный отреченья / Уже согласен Галилей. / Ликует судей сонм пристрастный! / “Фанатик мысли побежден” / И вот предстал пред ними он — / Большой, измученный несчастный / Он шепчет: “Да, мое ученье — / Клянусь, с начала до конца — / Больного мозга заблужденье / И бред, безумный бред глупца. / Я еретик, я без боязни / (выпало — что? вспомнил:) Ученье церкви отрицая, я веру в бога колебал. / И сознаюсь — достоин казни”. (Тут несколько строк не выплыли из тумана. Помню только, что Галилей слышит, как суд “над ним безбожно вслух смеется”). И кончалось стихотворение так: “Я стар, я раб, я изнемог, / я трус, а все-таки — вертúтся”. Стихотворение мне нравилось. Но про себя я, никому не смея в этом признаться, осуждал два последних слова. Мне казалось, что полагается говорить “вертится”. И следует сказать, кто именно. Например: “А все ж она вертится”, если по условиям техническим нельзя изменять ударения. На наших вечерах иногда выступали и гимна-

зистки. Одна из них, фамилию которой забыл, смелая, разбитная, первая из многочисленного разряда женщин, попавшаяся мне, некрасивых, но державшихся, как хорошенькие. Она читала, и очень ловко, стихотворение: "В защиту маленьких". Кончалось оно строчкой: "И только, только одному есть место в маленьком сердечке". Прозвище этой гимназистки было Настурция. Прочтя эту строчку, как бы в страшном смущении Настурция, закрыв лицо фартуком форменного своего платья, убежала под гром рукоплесканий. Любопытно, что была она не маленького роста.

28 мая 1952 г.

Затем выступал кто-нибудь из наших музыкантов — играл на скрипке маленький Терсек, иной раз составлялся квартет, струнный, забыл какой. Вел сильным металлическим тенором Тер-Егиазаров: "За чарующий взор искрометных очей я готов на позор, под бичи палачей" — здоровенный, с синими свежевыбритыми щеками, почти без лба, невероятно волосатый. Учился он медленно. Году в одиннадцатом, когда все уже приутихло в политике, его, к общему удивлению, посадили в тюрьму за участие в какой-то давно ликвидированной экспроприаторской группе. Вскоре выяснилось, что это ошибка, и Тер-Егиазарова выпустили. В тюрьме, как рассказывали, он, боясь насекомых, побрился с ног до головы и через день-два не мог спать. Тело его покрылось щетиной, которая колола беднягу, когда он ворочался на жесткой тюремной койке. Итак, он пел тенором. Читал юмористические стихи и рассказы Женька Гурский. В заключение играл оркестр мандолинистов, балалаечников и гитаристов. Оркестр готовился к выступлениям тщательно. Помню, как мой одноклассник Евгений Федоров (не писатель) звал со своей характерной картавостью: "Рлебята, вечрлом на сыгрловку". Два отделения заполнялись, таким образом, довольно плотно. Но самым привлекательным для меня был антракт. В антракте я, как правило, решался наконец подойти к Милочке, я был с ней на "ты". В те дни нашего долгого романа она была со мною ласкова, что же меня пугало? То самое, что определяло судьбу моей любви и привело ее к печальному концу,— беспредельная, религиозная почтительность перед Милочкой. Впрочем, я и сейчас не пойму — печальный ли это конец? Да, она не вышла замуж за меня. А впрочем, конечно, это было печально.

29 мая 1952 г.

Да, я решаюсь подойти к Милочке, поговорить с ней и с теми девочками, которые сияют отраженным ее светом. В одиночку гимназистки не ходят, ходят стайкой. Но здесь начинает работать почта. Первая из обязательной для танцевальных вечеров тройки: "почта, конфетти, серпантин". Кто разносит разноцветные треугольные секретки? Не помню, вероятно, добровольцы из реалистов посмелее. Не знаю точно и что писалось в секретках. Я их не получал. Моя влюбленность в Милочку была настолько заметна, что я как бы выпадал из игры. Итак, я подходил к Милочке в антракте и заговаривал с ней. Чаще всего Милочка шла под руку или держа за руку Олю Янович, младшую из многочисленной польской семьи. О старшей ее сестре мама говорила, что у нее болезнь: истерическая склонность к лжи. Вторая, Нина, была таинственна, смела, казалась мне по поведению своему чем-то похожей на Настурцию. Об этой мама говорила, что в ней чувствуются признаки вырождения. И только об Оле ничего дурного нельзя было сказать. У нее было детское личико, круглое, с необыкновенно кротким и милым выражением. Много веков спустя, уже актером "Театральной мастерской", я встретил Олечку в Ростове. Было ей в те дни не больше двадцати двух или трех лет. По-прежнему на меня приветливо глядели ее добрые глаза, и лицо осталось прежним, круглым, кротким и милым. Но волосы ее поседели, стали белыми как снег в 22 года. Почему? События, бушевавшие вокруг, мало задели семью Янович. Я впервые видел седые волосы у друзей ранней юности. И я еще больше почувствовал, что от моих школьных лет меня отделяют века, века. Но пока все было скрыто от нас. Я разговаривал с девочками, но когда раздавался звонок, мы расставались. Я не смел сидеть рядом с ними на глазах у всех. Да и остальные пока не смели.

30 мая 1952 г.

Но вот оркестр из балалаек, мандолин и гитар в последний раз исполнял на бис обычно какую-нибудь украинскую песню и вставал, улыбаясь. Оканчивалось и второе отделение программы. Зал освобождали от стульев — частью выносили их, частью уставляли вдоль стен под репродукциями картин из Третьяковской галереи в светло-коричневых рамках. Среди них помню Маковского "Федосеич" (кажется. Может быть, какое-нибудь другое отчество?). Висели на стенах и портреты великих писателей. Толстой, Тургенев, Чехов. Справа висел

портрет Костомарова, имя которого я узнал до того, как прочел его. На левой стене долго висела копия маслом с нестеровского "Великого пострига" работы Фрея — того Жениного брата, что учился в Мюнхене. Копию мы считали неудачной. У девушки, несшей свечу, руки были синие. Говорю справа и слева — если стоять лицом к деревянной перегородке, отделяющей от зала фундаментальную библиотеку. Класс, расположенный на противоположной стороне, рядом с залом, тоже был отделен от него только створчатой высокой деревянной стеной. Эта стена открывалась, сдвигалась, и тогда класс представлял как бы сцену. Для концерта этим при мне не пользовались. Но когда зал освобождали, деревянная створчатая стена раздвигалась, и в классе, из которого парты к тому времени убирались, располагался с детства знакомый оркестр под управлением Рабиновича. Пол посыпали белым порошком. Мыльным, чтобы ноги скользили по крашеному, деревянному полу, как по паркету. Воля Рудаков (сын нового податного инспектора, переведшегося недавно в Майкоп), стройный, красивый, высокий и легкий, дирижировал вдохновенно танцами. "Вальс", — объявлял он тенором и приглашал старшую Авшарову. И начиналась самая интересная, главная, богатая событиями часть вечера, от которой зависело все.

31 мая 1952 г.

Воля Рудаков, изяществу которого я так завидовал, высоко подняв маленькую голову, открывал танцы. Старшая Авшарова, несмотря на армянскую кровь, сероглазая, светловолосая, под пару ему по всем статьям, со своей чуть надменной, но и милостивой улыбкой, кружилась с ним под звуки неизменного в начале вечера вальса "На сопках Манчжурии". Позже появились и другие вальсы ("Осенние листья" — больше названий не помню). Еще танцевали: падекатр, венгерку, коханочку (в этом танце было и такое па — разойдясь и перевернувшись, танцующие ударяли в ладоши), ой-ру (здесь Воля Рудаков, растанцевавшись, вскрикивал в такт: "Ой-ра, ой-ра!" и многие поддерживали его), краковяк, хиавату (много позже я узнал, что слово это произносится гайавата), падеспань. Полька совсем вышла из моды. Впрочем, "Ой-ра" была очень на нее похожа. В середине вечера оркестр иной раз играл лезгинку, чаще всего наурскую, танцевали наши грузины и армяне. Вспоминаю сейчас, что в Майкопе, ныне адыгейском центре, в реальном училище не было ни одного черкеса. Во всяком случае я не могу припомнить, разве вот

Бек-Мурзаев, о котором рассказывали, что он из черкесских князей. Он учился с нами, кажется, до третьего класса, а дальнейшей судьбы его не помню. Играл оркестр и русскую. Играл и гопака — тут среди казаков наших было много желающих показать себя окружившим их толпой зрителям. Когда мы были в четвертом классе, появился в реальном учитель танцев. Уроки его были необязательны, чем я и воспользовался. Я знал свою нескладность и был уверен, что меня засмеют. Но потом сам научился танцам попроще: ой-ра, падекатр. Вальс так и не одолел, у меня уж очень кружилась голова. Ни карусели, ни перекидных качелей, ни вальса я не выносил.

1 июня 1952 г.

К этому времени, то есть к началу танцев, я был уже в зале и после ряда ходов, не менее сложных, чем шахматные, оказывался рядом с Милочкой. То, что я подходил к ней в антракте, казалось мне событием устаревшим, не дававшим никаких прав, несмотря на то что был ею встречен приветливо, но вот я возле — до сих пор не смею сказать: “Мы вместе”. Это слова грубые и отрезвляющие. Подойти мне удавалось вместе с кем-нибудь из Соловьевых или заговорив с кем-нибудь из стоящих возле Милочки. Иногда я решался пригласить Милочку на какой-нибудь из легких танцев. Но так или иначе, подойдя к Милочке, я не отходил уже от нее весь вечер. Но и тут я тщательно избегал, избегал, словно кощунства, всякого намека на мою влюбленность. Я был путаным, слабым, ленивым человеком, но одно во мне горело сильно и ясно полным огнем: это любовь к Милочке. Я иной раз писал на листе бумаги слово “Милочка”, и мне казалось, что даже в этом сочетании букв есть нечто необыкновенное, необъяснимо волнующее душу. О чем мы говорили? Обо всем. Об учителях, об училище, о товарищах и подругах. И если разговор завязывался, то вечер я считал счастливым, и у меня появлялась тень надежды, что Милочка меня не то чтобы любит, куда там, а выделяет. Разговаривали мы, гуляя по коридорам. Однажды мы сидели в нижнем коридоре на скамеечке. У Милочки была привычка — держать руки под фартуком. Анна Петровна Тутурина, проходя мимо, подошла, молча, и переложила ее руки на фартук. Милочка смутилась, а я удивился, что начальница так обращается с ней.

2 июня 1952 г.

Мне показалось, что это кощунство. Так обращаться с Милочкой. И еще более удивительным, что Милочка смутилась. И почему нельзя держать руки под фартуком? После вечеров наших проводить Милочку мне обычно не удавалось, чаще всего она уходила домой с братом, с Васькой. Если Наташа и Леля Соловьевы присоединялись к ним, то и я шел с ними до полдороги, то есть до нашего дома, и тут происходило прощание, которое я уже как-то описывал. То есть не прощание я описывал, а объяснял, как важен был для меня в те дни этот обряд и какое огромное значение я придавал ему. Удачный вечер, то есть такой, когда Милочка приходила на вечер, разговор с ней удавался и прощание тоже, наполнял меня счастьем на долгие дни. Ужасны были вечера, когда ожидание у гардероба гостей кончалось ничем. Вот приходит Васька, аккуратный, хорошенький. Из-за воротничка его серой, форменной гимнастерки выглядывает белоснежный крахмальный воротничок, который мы, неряхи, ненавидим и называем хомутом. Он спокоен и весел — но один! Что это значит? Придет ли Милочка с Олей или совсем не придет? Раздумала? Нездорова? Спросить Ваську мне и в голову не приходило, как можно! Звонит звонок. Прошли последние запоздавшие гости. Начинается концерт. Надежда потеряна — я в тоске иду по лестнице, широкой до первой площадки и вдвое более узкой отсюда. Здесь она разбивается на две: левую и правую. Иду по правой, которую считал более счастливой, но счастья не жду. Но домой уйти не могу. А вдруг случится что-нибудь счастливое? Но нет, ничего не случается. Вечера с разговорами неудавшимися в те времена случались редко. Пока я был в шестом классе.

3 июня 1952 г.

Последняя, молчаливая и добрая наша прислуга жила у нас долго. Она никогда и ни о чем не говорила со мной. Я тоже. Каждый раз, когда я собирался идти к ней, происходила борьба с собой, я бросал жребий. На одной бумажке почему-то по-французски писал: “oui”, на другой “non”. И давал страшные клятвы подчиниться жребию. И в случае “non” никогда не слушался. Почти никогда. Давал “обратные клятвы”. Переигрывал. У нас был энциклопедический словарь “Просвещение”. Я, закрыв глаза, становился у шкафа и тыкал пальцем наугад, в какой том попаду. Если в соответствующем томе попадалась картинка с голой женщиной, это значило: “Иди”. Том “Сальвадор — Статистика” заклю-

чал в себе статью "Скульптура" — это значило, несомненно: "Иди".

4 июня 1952 г.

Открывал я и "Ниву", которую мы выписывали, примерно в этот год, или за год до этого — не могу вспомнить. И если там находил, в том номере, который открывал, соответствующий рисунок, это значило: "Иди!" И тут я твердо решал, что надо идти. Не то пишу, устал. Когда я твердо решал, что надо идти, язык пересыхал разом, в голове стучало, и я открывал тихо дверь во двор. Радостно бросались ко мне собаки. Но я шел в кухню. Навеки памятный запах плиты, только недавно выскобленного и вымытого кухонного стола, и я пробираюсь во вторую комнату, где уже не спит, как бы тихо я ни шел, молчаливая женщина, имя которой не могу вспомнить. Не могу, да и только. И когда я иду, то думаю: "Как я мог забыть, как это прекрасно", а возвращаясь: "Как я мог забыть, какой это позор". И клал в ботинок камушек, чтобы на другой день утром по дороге в училище мучениями искупить свои греховные наслаждения. Но утром я, как правило, просыпался с таким отличным состоянием духа, так был бессмысленно счастлив, вспоминал свои ночные похождения с такой гордостью и особым чувством тайны ("никто не знает, что мы делали"), что камушек из башмака выбрасывал. Угрызения совести вспыхивали, когда я их не ждал, ненадолго. Тем более что каждый раз я решал, что это было в последний раз. И он пришел наконец. Этот последний раз. Кухарка поссорилась с мамой и ушла. Когда я вернулся домой, ее уже не было. И я огорчился. Поступила она к кому-то из наших знакомых. И через полгода примерно кто-то из них увидел на внутренней крышке ее сундука мою фотографию. И сказал маме. Мама спросила меня, что это значит. Я поклялся, что не дарил своей карточки нашей кухарке, что вполне соответствовало истине. Мама успокоилась. А я был тронут. Значит, она помнит меня?

5 июня 1952 г.

Это была молодая, застенчивая до угрюмости, молчаливая до странности женщина. Серые глаза ее глядели упрямо. Как при ее неприветливости я решился к ней отправиться вечером? Помню, что я не боялся ее и шел к ней в первый раз без страха. Видимо, несмотря на угрюмый вид ее что-то подсказало мне, что бояться нечего. Это была третья женщина, с которой я был близок. И ласковость ее со мной при суровости со всеми и то, что она, уходя, похитила мою карточку,

прибавили мне самоуверенности. Несмотря на талант к похмелью и раскаянью, на “страх божий”, навеки приобретенный в Жиздре, несмотря на всю путанность свою, в этой связи было что-то, пробудившее здоровые стороны моей натуры. Хотя бы радостное пробуждение по утрам после очередного грехопадения. Подобных чувств я до сих пор не знал. Или не знал в таком чистом виде. Это было шагом к тому, чтобы я стал цельным человеком, несмотря на все превратности и болезни роста. Но как нарочно, на правой, счастливой лестнице произошел несчастный разговор, вдруг поразивший меня с неожиданной силой. Мой бывший одноклассник со странной фамилией Трейгуб, как рассказал мне кто-то, пытался соблазнить дочку своей квартирной хозяйки, гимназистку. Я почему-то спросил его — правда ли это? Он ответил, что нет, неправда. Он и не пробовал, ничего не вышло бы. И он объяснил почему: “На образованных у меня не...”. Несколько мгновений я не понимал его. В те годы я не мог понять, что это бывает. Мне казалось, что человек всегда приходит в нужном случае в нужное состояние. Я слышал шутки и анекдоты на эту тему, но не относил их к себе. И тут вдруг меня с непонятной силой ударила мысль и вдруг: “А вдруг и я с образованными, то есть в случае женитьбы на Милочке, вдруг...”. И так далее. Несколько дней это было настоящей навязчивой идеей.

6 июня 1952 г.

И столь двойное отношение к женщинам, столь двойственное, хотел я сказать, которое могло бы при счастливых обстоятельствах сложиться в цельное гораздо раньше, чем сложилось, и упростить мою путаную, полную угрызений совести жизнь, вместо этого после несчастного замечания Трейгуба затянулась надолго. То, что носилось в воздухе, — “тело”, “культ силы” и прочее — для нас было только любопытно, но не стало общим местом, аксиомой. А у Вали и его сверстников, которые родились уже в новом столетии, все в этой области казалось простым. У меня в середине двадцатых годов даже была теория на этот счет о людях, задетых XIX веком. Теория эта, впрочем, верна для людей нашего майкопского круга, где девятнадцатый век отступал нехотя и, скажем, в семействе Соловьевых и Истамановых царил полновластно. Семидесятые, много восьмидесятые годы. А новое отрицалось брезгливо и называлось: “декадентство”, “порнография”, “реакция”. Это был здоровый и чистый, даже монашеский мир, и я знал, что мои связи с прислугой тут были бы

оценены как непростительный грех и позор. Итак, я снова почувствовал себя грешником. Я говорил уже, что любовь ощущал как нечто совершенно особое, не имеющее отношения к греху. Но услышав слова Трейгуба, понял, что тайно мечтал о Милочке. Нет, не то. Мечтал жениться на ней, и тут все было освещено ею и моей любовью. И вдруг... Ужасно немым я чувствую себя, рассказывая о столь сложных вещах. Но рассказывать о молодости и скрывать эту сторону жизни все равно, что ничего не рассказывать.

21 июня 1952 г. Я вспомнил, что ровно сорок лет назад, 3 июня по старому стилю, я объяснился в любви Милочке. Два дня — 8-е и особенно 9-е июня — считал я всю жизнь знаменательными. В шестом классе мы держали выпускные экзамены. Первые выпускные. Никаких прав шестиклассное образование не давало, но тему для сочинения получали мы из округа (плохо пишу сегодня), задачи тоже, и рассаживали нас за столиками в зале, и весь педагогический совет присутствовал при начале экзаменов. В седьмом классе, который считался добавочным, все повторялось сначала. Для экзаменов составил я расписание на куске картона, кажется мне, на обратной стороне папиной счетной книги, такого же формата, как и эта, на которой пишу. Папа собирался когда-то заняться частной практикой, но, как всегда, возненавидел это дело. А книги для записей пациентов пошли мне на черновики. И на обложке я написал расписание и вычеркивал предмет за предметом, зачеркивая сплошь так, чтоб получился прямоугольник. Так превратилось в черный прямоугольник, в два прямоугольника все расписание. И я перешел в седьмой класс. Предполагалось, что выпускного вечера у нас не будет. Но вот, кто-то из товарищей забежал сказать, что он все-таки состоится. И я, и без того полный счастья от того, что кончились благополучно экзамены, от лета, от хорошего дня (был дождь, но прояснилось) — совсем опьянел. И понял, что это только начало. Я не то что предчувствовал, что вечер будет счастливым, а был спокойно уверен в этом, как это изредка случается и сбывается в удачные дни. И вот он пришел. И я, как всегда, стоял у входа. И угадал Милочку еще издали, когда она шла, приближалась к калитке училищного двора мимо решетчатого нашего забора вместе с Олей Янович светлым июньским вечером. Но он успел уже потемнеть, пока кончилось первое отделение программы и я поговорил с Милочкой и

второе, когда я подошел к ней наконец. Во время перерыва в танцах мы вышли во двор сначала большой компанией, потом мы остались втроем, и, наконец, ушла и Оля. Ночь была ясная. Окна училища освещены. Мы подошли к бассейну, где у нас плавала единственная рыбка. И я, сделав над собой сверхъестественное усилие, спросил Милочку, что бы она ответила, если бы я объяснился ей в любви? Милочка сказала, что она не поверила бы мне, потому что я, как ей кажется, люблю другую. Кого же? Олю Янович. Я стал возражать, и постепенно мое объяснение из предположительного превратилось в утвердительное. Я был как в тумане. Страха я уже не чувствовал. Я упорно не соглашался ни на какие отговорки, настаивал на одном: "Милочка, я тебя люблю. Скажи мне — любишь ли ты меня?" Конечно, я не смел говорить об этом так прямо, как написал сейчас. Я спрашивал: "Как ты ко мне относишься?" Васька, очевидно, не пришел на вечер, потому что я провожал Милочку домой. По дороге она попробовала сказать, что нам о любви говорить рано, мы еще дети. Я резко возразил против этого, хотел сказать, что мне уже пятнадцать лет, но не сказал. Цифра эта показалась мне не слишком внушительной. И так мы шли темной, но ясной ночью и дошли наконец до Милочкиного дома. Но я не отпустил ее. Я преградил ей путь к калитке, упершись рукой в забор, и требовал ответа. Я требовал только, чтобы она ответила мне — да или нет. Если нет, я никогда больше не буду говорить с ней о своей любви. Если да, то я ее буду любить всю жизнь и никогда не оставлю ее. Таков смысл того, что я бормотал, стоя прямо против нее, упершись рукой в забор. Милочка молчала, опустив голову. Один раз начала, но запнулась на первой букве, а какой — "н" или "д" — я не мог понять. "Если она скажет — да, надо будет ее поцеловать",— подумал я. Но она все молчала. Я чувствовал, что она не может сказать "нет", но радости не было в моей душе, потому что я был отуманен, ошеломлен необычностью происходящего, собственной моей непонятной мне настойчивостью. И вот вдруг Милочка сказала: "Да". Я сделал шаг вперед, протянув руки, и напугал бедную девочку. Она метнулась вправо и, молча, скрылась, я слышал, как побежала она по двору. А я пошел домой, не понимая, что произошло. Она сказала: "Да". Но я напугал ее. Она обиделась. Убежала. Но все-таки она ответила: "Да". Зачем я протянул к ней руки? Что будет? На все это я получил ответы завтра, 9 июня. Вот что произошло сорок лет назад.

22 июня 1952 г.

Утром 9 июня, старого стиля, то есть ровно сорок лет назад, я проснулся с ощущением неблагополучия. Я уже не помнил, что Милочка сказала мне: “Да”, не придавал этому значения. Передо мной стояло одно: Милочка, когда я хотел ее поцеловать, протянул к ней руки, сделал шаг вперед — ужаснулась, рванулась в сторону и убежала. Я шагнул вперед молча, неуклюже. Зачем я это сделал? В середине дня меня известили, как вчера, что у гимназисток будет вечер выпускниц и мы приглашены. Мне стало как будто полегче. И вот я пришел на вечер в женскую гимназию. Это было одноэтажное здание, единственное, кажется, в Майкопе не выбеленное, а покрашенное клеевой краской в желтый цвет. Думаю, что это было одно из самых старых зданий в нашем молодом городе. Вероятно, здесь было что-нибудь вроде офицерского собрания. Построено здание было в шестидесятых-семидесятых годах, но на Кавказе еще сохранялся в те годы николаевский, петербургский ампир. Высокие сводчатые окна, высокие потолки, и к 1912 году — на всем налет старости. Небольшой двор, засаженный кустами акаций, ограничен был зданием гимназии в форме буквы “Г” и забором. А против коротенькой стороны “Г” в том же дворе белели стены тутуринской квартиры — квартиры начальницы. Первое, что я обнаружил, придя на вечер, — Милочка не пришла! Я стал искать ее. Вышел на улицу. Крачковские жили совсем близко от гимназии. Дошел до поворота к ним. Милочки нет. Тогда я попросил Олю Янович и Лелю Соловьеву пойти узнать, что с ней. Это было так же несвойственно мне, как и мое вчерашнее поведение: я посмел показать свои чувства! Но Оля и Леля не удивились и не смутились, а очень просто согласились. И через полчаса вернулись с Милочкой. Но Милочка едва поздоровалась со мной. Я пришел в отчаянье. Студент Шапошников залюбовался Милочкой и попросил меня познакомить его с ней. Я резко отказал, чем крайне удивил его. А я подошел к Милочке, которая упорно не отходила от подруг, и сказал, что хочу поговорить с ней. Она пожала одним плечом, но послушалась. И вот, ходя взад и вперед по дворику, освещенному гимназическими окнами, мы объяснились. Я ходил, срывал листики акаций, сдергивал в пучок и был счастлив. Ровно сорок лет прошло.

23 июня 1952 г.

10 июня сорок лет назад я проснулся с ощущением счастья. После вчерашнего разговора я был переброшен в новый мир. Я чувствовал себя куда более новым человеком, чем

после прошлогоднего падения в Сочи. Я, бродя с Милочкой взад и вперед по гимназическому длинному дворику, выяснил все: что она в самом деле рассердилась на меня вчера. (За что? Это не было названо.) Но теперь — прощает. (Почему? Это не было тоже сказано. Я был так сокрушен своей дерзостью, что даже назвать ее не смел. Подумать даже не мог о таких словах: "Милочка, прости за то, что я хотел тебя поцеловать".) Теперь я понимаю, что мы говорили обо всем этом, но другими словами. И она подтвердила, что любит меня тоже. И мы с наслаждением стали говорить о том, что до сих пор только смутно угадывали. О том, когда она впервые заметила, что я люблю ее, о разных встречах в прошлом, несчастных и счастливых, и о том, почему это получилось так. Но вот загремел последний марш, и Милочка простилась со мною. Кто-то из подруг ночевал у нее, поэтому проводил я ее только до уголка. Я сказал шутливо, что, как рыцарь, буду стоять тут на углу, ждать, пока они не дойдут до дому. И мы расстались. Днем я встретил ее с Олей, и мы немножко поговорили, и Милочка была со мной ласкова. И этот день я причислил к счастливым. Вечером у папы играли бетховенские квартеты. Он играл первую скрипку, сердился, останавливал партнеров, но вот, наконец, они сыгрались, а я сидел в уголке и слушал. Впервые со всей ясностью ощутил я, что произошло, и поверил, что можно радоваться. Эти дни сорок лет назад во многом определили мою жизнь. Началась полоса радостей, а больше мучений — такой силы, что заслонили от меня весь остальной мир. История с неудавшимся поцелуем тоже определила многое. Я был немыслимо почтителен к Милочке. Я не смел "назначать ей свидание", самая мысль об этом приводила меня в ужас. Поэтому я бегал по улицам, искал встречи. Я не смел сказать ей ласкового слова. Но любил ее все время. Всегда. Изо всех сил.

24 июня 1952 г.

Сегодня исполнилось два года с тех пор, как начал я вести эти тетради на особых условиях, заключенных с самим собой. Многолетние занятия детской литературой ограничивают круг предметов, о которых позволяешь себе писать. Детский писатель — сочинитель, литератор по преимуществу, потому что имеет дело с читателем, требующим особой формы рассказа. Желая избавиться от всех этих неудобств, я решил во что бы то ни стало писать нечто ни для чего и ни для кого. Научиться рассказывать все. Чтобы совсем избавиться от попыток

даже литературной отделки, я стал позволять себе все: общие места, безвкусицу. Боязнь общих мест и безвкусицы приводят к такой серости, что читать страшно. Пустыня желтого цвета под солнцем имеет выражение. Пустыня серого цвета без солнца с серым небом — это уже и не страшно хотя бы. Позволив себе все, окончательно запретил себе зачеркивать что бы то ни было, даже попытки литературной отделки. Запретил себе переписывать то, что написано, так что я, вероятно, повторяюсь. К чему это привело? Начав писать все, что помню о себе, я, к своему удивлению, вспомнил много-много больше,чем предполагал. И назвал такие вещи, о которых и думать не смел. Но боюсь, что со всеми своими запрещениями я их именно только назвал, а не описал. И чем я взрослее, тем труднее мне описывать. Но я не врал. В первые дни записей я своими рассказами раза два был близок к тому, чтобы заслонить от себя пережитое или по-новому осветить. Но это прошло. Пережитое воскресало для меня день за днем, иногда с такой ясностью, что терялось ощущение чуда, с которым я смотрел на майкопские времена. Но, видимо, пришло время ставить себе задачи потруднее. Написав эти слова, я с удовольствием и удивлением заметил, что мне жалко будет бросать эти воспоминания. Привыкнув относиться с уважением к работающей части, к производящей части своего существа, я считаюсь с его желаниями.

26 июня 1952 г. Этим летом, то есть летом 12-го года, мы — я, мама и Валя— поехали в Анапу. Я долго ловил на улице Милочку, чтобы сказать ей об этом, да так и не поймал. И уехал. О том, чтобы переписываться с ней, я, конечно, все равно и не заикнулся бы. И передать записку через Олю или кого-нибудь еще, что, мол, до свидания, Милочка, уезжаю, я и не подумал. Это было бы неслыханной дерзостью. Ехали мы в Анапу не через Туапсе, а железной дорогой, через Екатеринодар, до станции Тоннельная. Там мы наняли извозчика и отправились в Анапу. Эта дорога тоже очень памятна мне. Шла она полями и степью все вверх да вверх. Хуторок в деревьях, с палисадниками, дети бегут за фаэтоном, бросают букетики полевых цветов, и снова пыльная дорога все вверх да вверх. Но вот подъем достиг высшей точки, и мы видим синюю, знакомую, вечно праздничную пелену моря. Не пелену. Нет. Мы видим море, и каждый раз, хоть мы и ждем этой встречи, но удивляемся радостно — и я, и мама, и Валя:

"Море!" Поселились мы в комнатке с выбеленными стенами и кривым зеркалом, и началась анапская жизнь. Мы отправлялись с утра к морю, а потом я сбегал. Я никогда в жизни не любил в жару подолгу лежать на солнце. Меня через двадцать минут охватывала тоска. Я купался, плавал как можно дольше, одевался не спеша, но к двенадцати часам мне уже нечего было делать на море. И я тянулся, не спеша, по главной улице к бульварам, мимо магазина с рыбками, раковинками, сушеными крабами, тросточками, открытками, к городскому саду.

27 июня 1952 г.

В то лето мой дядюшка адвокат, как и все Шварцы того поколения, страстно влюбленный в театр, решился попробовать себя в качестве антрепренера. Стройный, густоволосый, толстогубый, как все Шварцы того поколения, скорее негритянского, чем семитического типа, он вызывал у меня зависть, которую я тогда не понимал ясно. Я завидовал и восхищался. Цельность, простота и сила моих старших родственников — вот что вызывало чувство, похожее на ревность. Бог дал им силу, а меня обошел. И в тоске по простоте я искал у себя шварцевских черт и не находил. А они любили говорить: "По-шварцевски", "Мы, Шварцы" и так далее. В маленьком летнем анапском театре в это время обычно шла репетиция. Саша взялся держать антрепризу, для того чтобы играть. Он играл героев-любовников под псевдонимом, если я не ошибаюсь, Молотов. К этому времени в труппе все успели уже перессориться. Если мне удавалось проникнуть в пустой зал, то репетиции не доставляли мне никакого удовольствия. Артисты либо репетировали в полтона, нет, в четверть тона, с таким видом, будто делают кому-то величайшее удовольствие. (Я хотел сказать — одолжение.) А еще чаще они не репетировали, а препирались. Саша, бритый, в белом костюме, с широким резиновым поясом, заменяющим в то время жилет, брал в этих боях верх, во всяком случае, на словах. Он принадлежал к числу тех людей, которые умнеют, когда сердятся. Он заставлял противников умолкнуть, но положение от этого не упрощалось. Актеры умолкали, но пожимали плечами и сохраняли негодующее выражение на бритых своих лицах. Беда была в том, что дело прогорало, а в таких случаях сохранять уважение к антрепренеру было бы нарушением всех актерских привычек. Анапская газета в довершение всех бед ругала труппу и холодно отзывалась об игре г-на Молотова. Из всей

труппы запомнил я только Урванцева, фамилию которого встречал в журналах "Театр и искусство". Он писал для "Кривого зеркала" пьесы, имевшие успех, и считался настоящим петербургским артистом. Но и он был сердит и репетировал едва слышно.

28 июня 1952 г.

Кончилось дело тем, что комическая старуха ушла из труппы как раз перед Сашиным бенефисом и он попросил маму выручить — сыграть характерную роль в какой-то пьесе, которую я забыл начисто. На спектакле я не был: оставался с Валей. Но в газете появилась рецензия, в которой о бенефицианте писали холодновато, а маму очень хвалили, радовались, что труппа приобрела такую сильную актрису. Похвалу эту мама приняла не пошварцевски (по-шелковски): прочла ее недоверчиво и весь день была не в духе. Больше она не играла. Я посмотрел у Саши только один спектакль: "Темное пятно". В театре, полупустом, на стенках висели объявления: "Просят занимать места согласно взятых билетов", что мне показалось неграмотным и увеличивало недоверие ко всему учреждению. Но немецкая комедия, где главного героя, адвоката-негра, играл Саша, увлекла меня. Саша играл с английским акцентом и был в самом деле похож на негра. Не только цветом лица. Актеры забыли, что они в ссоре. Малочисленная публика подобралась удачно, много аплодировали, смеялись. Если бы я думал о Саше с осуждением — как мог молодой адвокат, на хорошем счету, заняться антрепризой — то во время этого спектакля понял бы его поступок. Но я и без того не осуждал Сашу. Это ему шло. Итак, после купанья я приходил в городской сад, но и тут, среди кустарников и низкорослых деревьев, долго не усидишь. В театре тоска, в саду жара, и я шел домой, где хоть прохладно. Дома произошло очередное мое грехопаденье с соседкой, видимо, полугречанкой, которой помогал я достать из колодца сорвавшееся с веревки ведро. Это привело меня в ужас. Я решил, узнав, что Милочка меня любит, покончить со взрослыми грешницами и ждать — чего, я не называл. И вот в Анапе от безделья, жары, моря я без всякой борьбы, а с восторгом поддался искушению. Эта возлюбленная была женщина шумная, я и не знал, что так бывает на свете. К чувству опустошенности прибавлялся ужас: "А что если Милочка разлюбит меня и когда-нибудь с кем-нибудь, как я...".

30 июня 1952 г.

Возвращаюсь за сорок лет назад в Анапу, в лето 1912 года. Пожалуй, это наименее счастливые каникулы в тот период моей жизни. Я затосковал. Я ненавидел середину анапского дня, когда я тянулся по раскаленным с жидкими деревцами улицам домой и надеялся, а вместе с тем и боялся встречи с многошумной соучастницей моих грехопадений. Проходили эти встречи всегда одинаково. Вначале я удивлялся, как я мог э т о забыть. Забыть, как это прекрасно. Ничего на свете и сравниться не может с э т и м. И сразу, без перехода наступала, охватывала меня такая же непреодолимая трезвость. Холодное отвращение вызывало именно то, что так притягивало, восхищало безудержно за миг до этого. А затем охватывало меня чувство вины перед Милочкой и страх неизбежного наказания судьбы за то, что я не жду терпеливо. Познав женщин, я о каждой из них мог подумать с известной точки зрения. Это была не мысль, а отчетливое представление. Зрительное и не зрительное. Всегда непроизвольное. Иногда привлекающее, иногда — отталкивающее. И только Милочка вызывала чувство, близкое, страшно признаться, к религиозному. И я грешил не вообще, а перед ней. Как я теперь понимаю, близость с женщинами за год не освободила меня от вечных мыслей о них, а придала им силу знания. Определила желания. Но не освободила и не упростила мою духовную жизнь, как это бывало с более простыми и цельными сверстниками моими. Итак, я затосковал и стал проситься в Майкоп. Мама должна была пробыть в Анапе до конце лета, то есть еще более месяца, что мне казалось убийственным. И наконец мама сдалась. Она послала меня к Саше, который задолжал папе в связи со своей несчастной антрепризой, чтобы я взял у него денег на дорогу. Саша только что проснулся — “как все Шварцы”, он спал после обеда. В своем большом номере в гостинице он вовсе не был похож на разорившегося антрепренера. Напротив, казалось, что жить ему очень интересно. Но тем не менее, видимо, денег у него совсем не было, и моя просьба его несколько озадачила.

1 июля 1952 г.

Подумав, Саша предложил следующее: он завтра едет за деньгами в Екатеринодар. Я поеду с ним, а он уже в Екатеринодаре даст мне денег на дальнейшую дорогу. Когда, попрощавшись с мамой и Валей, со знакомым с детских лет кожаным саквояжиком в руках я пришел в гостиницу, Саша сказал с несколько скон-

фуженным видом, что он должен будет поехать на другом извозчике. Попозже. Мы пошли на извозчичью биржу возле какого-то скверика. Там едущие в Тоннельную договаривались с ними. Одиночки сбивались в группы по четыре человека, по числу мест, и я был включен в такую группу: господин в белом костюме с сыном-кадетом, хмурый бородач, оказавшийся статистиком. Саша ушел, а мы сели и поехали. Я сидел на передней скамейке рядом с кадетом. Мы поднимались к перевалу, а море синело своим светом, все шире захватывая горизонт, прощалось до будущего года. Кадетик оказался общительным и сразу стал рассказывать мне о принце, который ехал впереди. Это был один из бесчисленных сыновей шаха персидского, воспитывавшихся в России. Одного такого я уже видал в раннем детстве в Майкопе — он был полковником в казачьей артиллерийской части. Я тогда только что прочел “Принц и нищий” и был под обаянием этого титула. Но полковник совсем не походил на принца в моем представлении. Когда поили лошадей в середине пути, мы увидели принца, который оказался тоже кадетиком, как мой спутник. Этот второй принц, которого я встретил в моей жизни, был худеньким, нежным, черненьким мальчиком, очень вежливым и гораздо более похожим на мое детское представление о принцах. Мой спутник ужасно суетился вокруг него, что мне показалось недостойным. Я даже поделился своим возмущением со статистиком, но он не поддержал меня. В Тоннельной я Сашу ждал недолго. Вскоре он появился на извозчике с очень хорошенькой гимназисткой лет семнадцати — Наташей Дурасовой, из Екатеринодара. У них было имение недалеко от Новороссийска. Саша был весел, и спутница его издали ласково кивнула мне. И я понял, почему он не мог ехать со мною. И в вагонах мы ехали разных. В Екатеринодаре мы поселились в гостинице. Я пишу сегодня необыкновенно вяло.

2 июля 1952 г.

В Екатеринодаре мы остановились в гостинице, казавшейся мне великолепной, да и в самом деле большой, в здании, облицованном зеленым кафелем. Ужинать меня Саша повел в ресторан, где заказал бефстроганов. Я несколько удивился, что Саша, у которого не было денег, чтобы отправить меня сразу дальше, мог ужинать в ресторане. Не удивился, а отметил как все ту же завидную, мужественную черту характера. Для себя у него деньги были, и он их тратил, а для меня не было. Бефстроганов подали в невиданных, подрумяненных, завивающихся,

тончайших картофельных стружках, хрустящих на зубах. Я не мог скрыть своего удивления, и Саша объяснил, что это блюдо так и полагается подавать. За ужином он был добр и задумчив, и я был уверен, что Саша вспоминает свою хорошенькую спутницу. Утром он спросил меня, пристойно ли он вел себя во сне. Я ответил, что не слишком, вчерашний ужин, видимо, тяжело двигался в его животе. Саша сказал сокрушенно: "Вот и женись тут". Обедал я у Исаака. Тоня жил с кем-то из знакомых на Черном море. К величайшему моему удивлению, я узнал тут, что у меня есть не только двоюродный брат, но и двоюродная сестренка по имени Валя. Было ей тогда года три. Я к этому времени перестал прислушиваться к разговорам старших, а сами они не сочли нужным извещать меня об этом событии в семье Исаака. Я знал, что у Саши есть дочка Таня, что он разошелся с Анжеликой Максимовной, но про Исаака ничего но слышал. Неожиданно обнаруженная сестренка оказалась нежной, худенькой и очень ласковой. Беллочка весь обед хвалила Тоню, точнее, хвалилась им, что я и не думал осуждать. Слушал с интересом. Беллочка рассказывала об удивительных дарованиях сына. Он и декламировал, и стихи сочинял.

3 июля 1952 г.

Беллочка рассказывала о том, как богач Юкелис из Новороссийска сказал Тоне: "Сочини четверостишие на такую-то тему (не помню на какую). Сочинишь — дам пять рублей". Тоня в один миг сочинил. И так далее и так далее в том же роде. Беллочка рассказывала и об его успехах в учении и во французском языке и так далее и так далее. На вокзал провожал меня почему-то Исаак. Вышли мы рано. По дороге зашли в какой-то ресторан с садиком, где Исаак выпил бокал пива, а я отказался, ибо испытывал внушенный с детства ужас перед любыми спиртными напитками. Исаак был суров, почти не разговаривал со мной, и я был рад, когда, взяв мне билет, он попрощался и ушел. Я его боялся. И вот я на рассвете приехал в Армавир, где долго глядел с пешеходного мостика над путями, как маневрирует паровоз, составляя майкопский поезд. И приехал в Майкоп. Когда увидел я из окна вагона беленькие домики, пирамидальные тополя, пустырь за вокзалом, знакомые горы, то есть все, о чем мечтал в Анапе, свершилось — я даже несколько испугался. Все это было слишком уж просто. Дня два я ходил по улицам, а Милочку никак не мог встретить. Но вот встретил наконец. И даже поговорил с ней. И наступила

вторая половина лета 1912 года — одного из счастливейших в моей жизни. Анапскую тоску словно вихрем смело. Папа отнесся к моему возвращению неодобрительно. Его сердило, что я в Анапе скучал. "Успеешь еще искалечиться", — сказал он. Под этим он разумел нездоровую, с его точки зрения, тягу к городской жизни. А между тем здоровая жизнь, не городская, только теперь и началась. Юрка занимался с Сережей латинским языком. Братья занимались, сидя под окнами своей квартиры в соловьевском саду. От времени до времени Юрка, сохраняя глубокую серьезность, поднимался и целовал Сережу в темя. В знак благодарности за науку.

4 июля 1952 г.

Сережа поднимался тотчас же и отвечал брату таким же поцелуем. Занятия у них шли медленно. Помню, что Юра писал мне в Анапу, что Женя Фрей занимается латынью усиленно и успешно, а "мы с Сережей только целуемся". Приехав в Майкоп, я попал в обожаемую мной соколовскую среду, по которой тоскую до сих пор, как по родине. Сережа решил построить большой телескоп. Работа над ним шла у Соловьевых на чердаке. Не на чердаке дома, а над бывшими конюшнями. Братья шлифовали кирпичным порошком большое круглое стекло упорно, изо дня в день. Все знакомые принимали в этом участие или просто приходили в гости посидеть. Приходил Коля Ларчев, который к тому времени учился в Академии художеств, если не ошибаюсь. Бывал Фрей, бывали Соловьевы. На нас нападало тут то безумное оживление, в которое впадают, играя, котята, а Соколовы вносили в него особую, обожаемую мной русскую артистичность. Талант здесь не выставлялся. Не было скрытого выражения: поглядите, что у меня одного только и есть. Талант играл. Играл от избытка сил. Однажды Юрка, пародируя актерскую игру, читал монолог Скупого рыцаря, показывая чудеса гимнастического искусства, что придавало его чтению неслыханную экспрессию. Слова: "Вот дублон старинный" — он произнес, вытащив откуда-то из тьмы чердака старую калошу. Я был поражен его искусством, таким неожиданным в нем, подчеркнуто замкнутом и сдержанном. Когда я рассказал об этом Юриной матери Надежде Александровне, сказал, что он настоящий артист, она засмеялась и твердо ответила: "Ну это уж выдумки". Сережа преувеличенно тремолируя, чтобы не стыдно было, рассказывал об очередных спектаклях в народном доме. Пел куски опер, тремолируя, а рассказывал без тремоло.

Тут я вдруг влюбился в арию Олоферна из серовской "Юдифи": "Степью мы знойной идем". Мне казалось, что суровость и однообразие пустыни необыкновенно тут чувствуются. Иногда братья Соколовы, все рослые и крепкие, поднимали на вытянутых руках маленькую, худенькую Надежду Александровну и, несмотря на ее протесты, носили по соловьевскому саду.

5 июля 1952 г.

За Белой, вправо от красного моста с надписью: "Езда шаром", лежал путь на мельницу Зайченко. Второй раз за последние дни у меня вдруг вспыхивает ощущение, что я рассказываю сны. Квартира Соколовых в соловьевском саду — вечный мой сон. Я попадаю туда теперешним и узнаю, что Юрка жив, только его все дома нет. Так же часто вижу я во сне, что мы идем к Зайченко на мельницу. Путь на мельницу Зайченко лежал мимо низеньких домишек скоро за мостом. Кажется мне, что там жили гончары. Потом эти домишки исчезали. Белая шумела справа. За ней желтела круча, над кручей — забор сада Агарковых. Пройдя дальше, видели мы на той стороне внизу купальню и над ней, над зеленой кручей, — тополя, каштаны, акации и дубы городского сада. Но вот ту сторону Белой закрывали ветлы, не широкий, но густой лесок поглощал нашу дорожку. Теперь вода шумела и слева, и справа от нас — Белая с одной стороны, а с другой — канал, отгороженный плотиной, ведущий к мельнице. Кирпичный дом владельцев показывался среди деревьев. По этой дорожке мы попадали к Зайченко мимо то шумящей и стучащей, то притихшей мельницы. Во двор глядела длинная застекленная терраса, с которой и замечал нас кто-нибудь из многочисленного зайченковского семейства. Но чаще мы обходили полем и звонили в парадную дверь, чин чином. Сам Зайченко носил рыжеватую бороду и усы. Он сильно походил на Николая II. Только в плечах был пошире. Жена его в свои сорок примерно лет была красива, величественна, черноброва, сероглаза, степенна и нетороплива: истинная хозяйка. Но королевой дома была курсистка московских курсов Герье, славящаяся в городе красотой, изяществом и музыкальностью, — Маруся, старшая дочь Зайченко. К ней-то мы и приходили в гости. С гимназических лет тянулся ее роман с Сергеем Соколовым, но так тайно и достойно, что никто не осмелился их поддразнивать. Не такие были люди. Внушали почтение.

6 июля 1952 г.

Маруся принимала нас как старшая и как равная, поэтому мое восхищение было полно уважения, а вместе с тем я чувствовал себя взрослым. Она играла нам на рояле. Впрочем, я опять начинаю называть. Мое умение рассказывать не развивается, а жизнь, которую я описываю, делается все сложнее. До этого лета я Марусю видел только издали. Близко из их семьи я знал только Лелю, одноклассницу Лели Соловьевой и Милочки. Леля Зайченко, единственная во всей семье, была больше чем некрасива. Огромное лицо, огромный толстогубый рот, широкоплечая, сутуловатая, приземистая, она обладала одной особенностью, странной особенностью: у нее все внутренние органы расположены были в обратном порядке, то есть сердце справа, печень слева и так далее. Конечно, на ее наружности это не отражалось, но как-то подчеркивало, что она не такая, как все. Для меня она имела еще одну особенность. Когда мы были в третьем классе... Впрочем, об этом рассказывать мне расхотелось. Ее оклеветал в разговоре со мной мальчишка Евдокимов. Сказал, что она пришла к его сестре, не застала ее дома, и тогда он, Евдокимов, завел ее в спальню и... Впоследствии, много позже, он признался, что соврал. Я сначала поверил ему только наполовину. Но тем не менее некоторые странности ее характера я долго объяснял себе ее грехопадением. Леля была религиозна страстно, легко плакала и сектантски любила обличать и осуждать. Ко времени моего рассказа она была баптисткой, как и старшие Зайченко, отец и мать. Следующим по возрасту был Миша, классом моложе меня, парнишка здоровый и простой. Это он сказал, когда был построен вытяжной шкаф в лаборатории: “Вот бы залезть, да голышем, да у трюбу — грюбо!” Вместо “г” у него в речи всюду звучало “һ”, как, впрочем, у очень многих майкопцев. Младшими в семье были Туся, лет семи, и Милочка — шести, хорошенькие, темноглазые, ласковые. Они очень любили меня.

7 июля 1952 г.

До этого лета я любил детей, но побаивался их. Не умел с ними разговаривать. Тут же, у Зайченко, от хорошего отношения Маруси, от вдохновенного состояния того лета я стал болтать с детьми, с Тусей и Милочкой. Я сам не помню, когда учился лаять по-собачьи, несколько хуже умел я мычать и кукарекать. Этот дар и веселое безумие — основное состояние конца лета — покорили сердца маленьких моих подруг. Они радовались моему приходу, забирались ко мне на

колени, обнимали меня. Мы в доме были неласковы, и эти ласковые девочки разбудили во мне нежность, у меня теплело на сердце, когда они наперегонки мчались мне навстречу. И это вносило свою радость в многосложное счастливое лето того года. У Зайченко я ни разу не был один. Во мне еще оставалась непреодолимая застенчивость, и требовалась дружеская поддержка для того, чтобы осмелиться прийти даже в такой доброжелательный дом. Сергей руководил этими посещениями. Точнее, он назначал дни, когда они возможны. Он объявил себя оракулом, угадывающим дни, когда они возможны. И я был до того отуманен своими чувствами, что и не подумал ни разу, что эти предсказания показывают. Юрка объяснил мне как-то, что это значит, что Сергей бывает на мельнице и без нас. А я принимал их, не думая. Предсказания так предсказания. Если нельзя было пойти к Зайченко, мы шли за Белую на участок Соколовых, и все смеялись. Как-то мы валялись на берегу Курджипса вечером, а Сергей придумал: "Давайте положим друг другу головы на живот, получится машина для смеха". Нас было четверо: я, Сергей, Юрка, Женя Фрей. Так мы и сделали. И когда кто-нибудь из нас говорил что-нибудь смешное, то животы от смеха прыгали, головы тряслись, и машинка работала. И вот однажды наш оракул объявил: "Завтра нас ждут на мельнице с Соловьевыми и Крачковскими". В ночь на счастливый этот день мы ночевали на участке у Соколовых. Больше всего я боялся, что дождь загубит нам праздник. Я проснулся на рассвете. Серое небо низко-низко стояло над деревьями, касаясь верхушки холма.

8 июля 1952 г.

Но вот через эти облака, как через бумагу переводных картинок, сначала чуть заметно выступила синева неба. Чуть покрапал дождь, не дождь — роса, и солнечные лучи пробились и утешили меня. Небо прояснилось. Установилось надежно прекрасное летнее утро, лучше и желать нельзя. Вместе с Олей Янович и Соловьевыми к вечеру — я радостно, как опьяненный, болтая, смеясь и смеша, дожил до этого часа — пошли мы за Милочкой. Варвара Михайловна со своим "исплаканным лицом" приняла нас милостиво, чуть улыбаясь привычной своей улыбкой. Я впервые увидел низенькие комнатки новой квартиры Крачковских и принял их к сведению, отвел им место в сердце своем. Вася, к тому времени кончивший на все пятерки реальное училище и перешедший на второй курс путейского института, чистенький, кругло-

лицый, миловидный, щуря глаза (тогда быть близоруким считалось элегантно), вышел к нам, а за ним показалась и Милочка, и жизнь стала полной. Мы пошли тогда, не задерживаясь, на волю, хотя Варвара Михайловна и предлагала посидеть немного у них в гостях. Я не посмел сказать, что надо зайти за Соколовыми, и мы пошли наискось, через площадь, минуя соловьевский дом с соколовским флигелем. Я только помахал им издали, увидев Сережу и Юрку у окна. И мы прошли через городской сад и, перейдя деревянный мостик, повернули направо по аллее к агарковскому забору, далеко внизу шумела река. Вот мы пошли узенькой дорожкой, под забором над кручей, над желтым песчаным обрывом. Крутой спуск к шоссе и красному железному мосту. Домики гончаров, лесок поглощает нашу тропинку. Но мы не идем к мельнице, а идем полем к дому Зайченко. Повыше, вправо горит костер, белеют палатки, стоят телеги с задранными к небу оглоблями— цыганский табор. Мы звоним чин чином в парадную дверь, и Туся и Милочка с визгом летят мне навстречу, и я радуюсь их радости. Зал с цветами в кадках, с мебелью в чехлах, с роялем в чехле, с этажеркой для нот. Выходят и Леля и Маруся. Через несколько минут появляются и Соколовы.

9 июля 1952 г.

Впрочем, Соколовы пришли, вероятно, минут через двадцать после нашего прихода. Я стоял по привычке своей у стены, заложив руки за спину, будто грея ладони у печки. При выбеленных майкопских стенах это приводило к тому, что спина моя вечно была в извести. Сергей подошел ко мне и, играя строгого воспитателя, побранил меня за то, что я не зашел за ними. И я, так же играя воспитанника, робко оправдывался. И эту игру все поняли, кроме Лели Зайченко, которая (как я с удивлением услышал через некоторое время) осудила Сергея за излишнюю строгость. Между тем наступил теплый и темный майкопский вечер. Маруся сыграла нам на рояле. Мягкая, свойственная всей фигуре ее гибкая игра, и таинственная, как вся она, была принята мною к сведению и заняла место в сердце моем. Целый ряд явлений я не обсуждал тогда и принимал такими, как получал, и жил ими. Играла Маруся Шопена. Потом мы вышли в поле. На уступах за домом все горел костер в таборе, и мы пошли на огонь. Цыгане окружили нас, цыганята разглядывали Марусины бусы и щелкали языком от восторга. Старуха у костра гадала всем по очереди. Мне она сказала, что меня любит одна девушка, которая “недалеко, близко”,

и все засмеялись. Нет, улыбнулись. Улыбнулась и Милочка, и я с восторгом угадал, увидал, что она смутилась. В таборе бесстыдно пахло человеческими отбросами, и запах этот так долго преследовал нас, что я даже украдкой осмотрел подошвы своих сандалий. Но даже это не отняло у вечера его таинственной, отнимающей разум прелести. Я не отходил от Милочки и знал, что ей это нравится. Взошла луна. Мы все вышли в лесок, и вода шумела вокруг. Мы уселись, разговаривая, у шлюза, отводящего воду к мельнице. Милочку, сидящую на столбике шлюза, освещала луна.

10 июля 1952 г.

Вот, собственно говоря, и все. Но я долго считал этот вечер самым счастливым в моей жизни, и при бессоннице, когда хорошие воспоминания должны помочь уснуть, как говорят, я перебирал либо этот вечер минуту за минутой, либо мое путешествие летом 1914 года с Юркой Соколовым. 9 июня 12-го года я обещал Милочке не говорить с ней больше о любви, но как-то само собой это запрещение отпало. Благословением и горем этого моего чувства была его сила. Любовь поглотила меня целиком. Наступил последний мой учебный год. Соколовы переехали в эту самую квартиру, где мы жили когда-то, — во второй этаж к Санделям. И сразу тут установился соколовский дух, так что ничего тут не напоминало о нашем шварцевском прошлом. В зале поселились Юрка и Алеша. Как иногда бывает у художников, а Юрка уже стал им, — в комнате угадывался человек ручного труда. Стояли подрамники. Мольберт с какими-то усовершенствованиями, самодельный. Столик с тисками. И все у Соколовых было чуть самодельно.

11 июля 1952 г.

Им приходилось трудновато с такой большой семьей. Если монашеский дух, о котором я рассказывал когда-то, свойственный интеллигентским семьям, у Соловьевых смягчался коврами на стене, гравюрой с изображением "Острова мертвых" Беклина, цветами, а у нас мягкой мебелью, то у Соколовых он принимал уже аскетический характер. Ничего лишнего и украшающего. Дело было не только в деньгах, а в натуре Соколовых, в особенности Соколовых-старших, Василия Алексеевича и Надежды Александровны. Вчера я читал повесть Данина, которую он сейчас переписывает. Первые 84 страницы повести мне очень понравились. Ему в повествовательной форме удобно. Свободно. Он легко

находит средства для того, чтобы рассказать то, что ему нужно, и не теряет спокойного, убедительного тона. Степенного, истового. Кажется, что у него много сведений, а слов достаточно. Вполне достаточно для большого количества сведений, но только для них, для этих сведений, для передачи этих сведений. Будь их чуть больше, могло бы показаться, что рассказчик привирает, старается убедить меня в чем-то. А я вот никак не могу добиться той свободы, когда слова сами идут под руку, не овладел я прозой за два года. Не хватает мне средств для того, что я хочу рассказать. Лето 1912 года не то что неверно, а грубовато рассказано мной. В моих воспоминаниях оно чуть туманнее, но и сложнее. Я обвел события по контуру, или, повторяю в сотый раз, жизнь, которую я припоминаю, становилась все сложнее, а пишу я все так же небогато. Оттого, что я пишу ежедневно, я не стал писать свободнее. Оттого, что я не вру, я не стал говорить правду. Ну, ладно. Лето 1912 года незаметно-незаметно перешло в осень, а каникулы — в последний год учения в майкопском реальном училище, но я был полон одним: своей неизменной любовью, поэтому все внешние изменения проходили где-то за пределами жизни. Занятия, уроки, будни, праздники — все это было фоном, который был сознаваем по одному признаку: мешал он или способствовал встречам с Милочкой. Но я менялся.

12 июля 1952 г.

Правда, все по-прежнему я развивался душевно и отставал умственно, как и всю мою жизнь. Но душевная жизнь заставляла меня и задумываться. Вот тут и образовалась особенная манера думать— лицом к лицу с предметом, — о которой я писал. А кроме того, произошло событие, определившее мою жизнь. Событие это было более важным, чем встреча с моей первой женщиной. Произошло это так. Осень стала вполне осенью. Прошел день моего рождения, 8 октября, и мне исполнилось шестнадцать лет. Я часто теперь встречался с Милочкой. О свидании я, конечно, и думать не смел. О том, чтобы назначить свидание. Я ловил ее на улице, по дороге в библиотеку. Первая ученица в классе, Милочка кроме того читала так же много и беспорядочно, как я. Я уговаривал ее, когда она выходила, переменив книгу, пойти погулять в городской сад, и она соглашалась, молча поворачивая в боковую аллею. Иногда она сама поворачивала туда. Это время было самым трудным в истории наших отношений. Мы еще дичились друг друга. Говорить было не

о чем. И осенний сад с мокрыми деревьями — в эти часы и в такие дни я не бывал в нем до сих пор — глядел незнакомо и неласково. Но я стал писать в эти дни. И произошло вдруг то событие, о котором я говорил. Я писал стихотворение, как всегда, очень приблизительно зная, как я его кончу. Писал просто потому, что был полон неопределенными поэтическими ощущениями. И вдруг мне пришло в голову, что я могу описать облако, которое, как палец, поднялось на горизонте. Я его не видел, а придумал. И это представление с непонятной мне сегодня силой просто ударило меня. Не самый этот образ — сознание того, что в стихотворении я хозяин. Что я могу придумывать. Эта мысль просто перевернула меня. Я хозяин! И я написал стихи о распятии, очень плохо вырезанном деревенским плотником, но перед которым, плача, с деревенской верой молилась женщина. Я был в восторге.

13 июля 1952 г.

Эта выдумка тоже с неожиданной силой осветила или, не знаю как сказать, переделала мою привычную систему писать. Нет, даже способ жить. Я не могу теперь объяснить, что особенно необыкновенно значительное чудилось мне в этой выдумке. Но я помню чувство счастья, когда описывал погоду, в которую молилась у креста женщина. Я до такой степени ясно представил себе камни возле дома Санделя, камни, на которых появились точки от дождевых капель, камни, “рябые от дождя”, как я написал, что даже сегодня это стихотворение, когда я стал вспоминать его, показалось мне связанным с квартирой Соколовых. Потом я описал заросли мака по дороге к “камням” за Белой. И это ощущение огромного хозяйства, мне принадлежащего, состоящего из вещей и пережитых, и найденных, не случайных, а передающих то, что мне нужно, перевернуло мою жизнь. Я словно заново научился ходить и смотреть, а главное, говорить. Полная моя невинность в стихотворной технике не только не мешала, а скорее помогала. Я просто ломал размер. Я обожал Гейне в чтении Бернгарда Ивановича, и размер его стихов помог мне втискивать то, что я хочу, в мои разорванные стихотворные строки. Кроме того, мне помогло следующее событие. Я за это время получил право заходить внутрь библиотеки к книжным полкам, выбирать себе книги. И я вытащил книжку небольшого формата с непривычного цвета переплетом. Открыл ее и прочел: “Целовала их ночь в глаза”. И эта строчка ударила меня и словно раздвинула границы моего хозяйства еще шире. Это были пьесы Блока. Я прочел загла-

вие и положил книжку на место. Мир мой расширился, но лень и страх перед напряжением, усилием, перед новыми открытиями пребывали в нем по-старому. Я прочел из Блока всего одну строчку и стал его хвалить чуть не в каждом разговоре с Фреем и Юркой Соколовым, но прошел год, прежде чем мне попались его стихи. А пьес я так и не трогал. Итак, я писал помногу— целые поэмы.

14 июля 1952 г.

Названия этих первых вещей я помню до сих пор: "Мертвая зыбь", "Четыре раба", "Офелия", "Похоронный марш". Были эти стихи необыкновенно мрачны. Я был до того счастлив в то время, что не боялся описывать горе, мрак, отчаяние, смерть. Для меня все эти понятия были красками — и только. Способом писать выразительно. Я нашел способ что-то высказывать, говорить свое — и вместе с тем как это было скрыто, запрятано за картинами вроде той, что я описывал: дождь, распятие, вырезанное деревенским плотником, женщина, плачущая у этого уродливого креста. Рассказывалось все это тяжело, нескладно, но я был счастлив и доволен. Вот это и было событием более важным, чем сочинская встреча с женщиной — я овладел или нашел дорогу к овладению — тем, что стало для меня и верой и целью, самым главным в жизни, как теперь вижу. Я нашел дорогу к писательской работе. Понял, что есть вещи и я. И я тут полный хозяин. И все. То, что я писал, было, конечно, чудовищно. Это было бормотанием одиночки в пустыне. Но я бормотал не что придется, а высказывался. Прошло, вероятно, с полгода, пока я прочел свои стихи Милочке. Прочел сам, ибо непривычный человек не мог бы поймать мой размер. Читал я, объясняя и доказывая, что тут я хотел сказать и как хорошо сказал. И Милочка иногда соглашалась со мной, а иной раз по правдивости своей не скрывала, что стихотворение ей не понравилось. Любопытно, что чужие стихи раздражали меня. Хвалил я одного Блока, не читая его. Пушкин не открылся мне. Лермонтова не понимал. Конечно, я схватывал нечто у своего времени, у своих современников, но бессознательно. Прочел я два стихотворения Маяковского, напечатанные, кажется, примерно в это время в "Новом сатириконе", — и пришел в восторг. Мне почудилось, что у нас есть что-то общее. Но не искал других его стихов, не испытывал потребности. "Потом как-нибудь". И писал с каждым днем косноязычней. Я-то понимал, о чем бормочу, и радовался.

15 июля 1952 г.

Овладев этой своей дорожкой, я стал смелее и увереннее. Теперь я не сомневался, что “из меня что-то выйдет”. Самомнение мое умерялось одним только сознанием: “Еще никто не знает, что я за молодец”. Я стал много спокойнее и увереннее, особенно вне дома. Я изменился, а в семье все осталось по-прежнему. Вот тогда-то Юрка, по своей манере начиная, и отдумывая, и снова набирая дыхание, сказал наконец по зрелом размышлении: “У вас нет семьи. Поэтому ты ищешь ее у нас или у Соловьевых”. У нас и в самом деле семьи не было. И я был одним из самых неприятных обитателей капустинского дома. Моя ненависть к Вале, грубости матери, глупости, которые я нес, разговаривая с отцом, создавали совсем уж унылую обстановку у нас. Все ухудшались и отношения с Бернгардом Ивановичем. Он с чуткостью ненависти заметил, что я стал много самоувереннее, чем раньше, и считал, что никаких оснований для этого у меня не имеется. С остальными же — от одноклассников до знакомых — отношения мои сильно улучшились. Несмотря на то, что я писал мрачные стихи и иногда и в самом деле приходил в отчаянье, в основном я был весел, и не просто, а безумно весел, и часто заражал этим свойством моих друзей. Кажется, в это же время я спросил Юрку Соколова, когда мы гуляли в леске за Белой, умен ли я. Усмехнувшись, Юрка дал уклончивый ответ. И когда я удивился и обиделся, он ответил: “Чудак ты — да разве дело только в уме?” О Фрее же он говорил: “Вот очень хорошо устроенная голова”. Оба они уже кончили в это время реальное училище и готовились в университет. Точнее, готовили латынь, чтобы поступить в университет. Мы снялись втроем у Лабунского, который считался лучшим фотографом, чем Амбражиевич. Вот эта фотография. Оба расписались на память, и оба пародировали меня. “Хуже всего быть лишним и смешным”, — сказал я Оле Янович как-то, когда мы возвращались от Зайченко. А они подслушали. А “хорошо замечено” — я говорил, хваля прочитанное.

16 июля 1952 г.

Юрка Соколов на этой карточке сидит в светлой рубашке, Женя Фрей стоит. Чтобы получилась правильная линия, отчетливая композиция сверху вниз, Лабунский поставил Женю Фрея на кирпич. Фотография помещалась между бузной и домом Игнатьевых — деревянный павильон со стеклянной крышей. Лабунский долго сдвигал шестом занавесь под стеклянной крышей, искал нужное ему

освещение. Снимались мы, судя по надписи, в июне, и первого июля уже надписывали друг другу карточки. Значит, позавчера прошло сорок лет с этого дня. Значит, на другой день после этого, а может быть, дня через три, мы уехали в Анапу. Фотографию считали удачной. Хуже всех вышел Юрка. Из-за позы, при которой ноги мои оказались ближе к объективу, чем следует, я кажусь длинноногим и узкоплечим, хотя отличался сложением "геркулесовского типа", как вычитали мы в какой-то брошюре о гармоническом развитии тела. Торс я имел развитой. Возвращаюсь к зиме 1912 года. Юрка и Фрей готовили латынь, и на рождественские каникулы Юрка поехал в Тифлис, чтобы сдать экзамен при кавказском учебном округе, к которому мы принадлежали. Приехал он грустный — экзамена не выдержал. В то время в округе экзаменовали строго. Смеясь, рассказал он, что в номерах, на доске, где записывали приезжающих, его записали так: Цагадов, и об экзамене не распространялся. А я жил одним — своей любовью. Характерной в моем чувстве к этому времени была полная утрата масштабов. Каждая мелочь, каждое слово Милочки, каждая интонация переживались, как настоящее счастье или как настоящее горе. Давно уже было отброшено и забыто Милочкино запрещение говорить о любви. Только об этом я и говорил. И все спрашивал, любит ли она меня. И мучила меня ревность. У Агарковых взрослый человек, казачий офицер Самохин, рассыпался в похвалах Милочке: "Цвет лица, глаза, личико, фигурка". Все посмеивались, поглядывали в мою сторону. Самохин заметил это и тоже взглянул на меня с выражением: "Куда тебе". И я ужаснулся.

17 июля 1952 г. Зимою приехала в Майкоп опера. Откуда? Не помню. Шли "Аида", "Кармен", даже "Борис Годунов". Это было событием. Бернгард Иванович имел с нами предварительную беседу о предстоящих спектаклях. Одни оперы он хвалил больше, другие меньше. Вспомнив, как он играл нам дома „Кармен" и хвалил эту оперу, я поторопился назвать и ее. Но в ненависти своей ко мне Бернгард Иванович, не глядя на меня, заявил: "Многие до сих пор считают, что "Кармен" не опера, а оперетта". Я к тому времени знал историю оперы. Фрей рассказал мне, что говорил о ней Ницше, — со слов Фрея, я имел представление об этом философе примерно такое же, как по одной строчке о Блоке, и относился к нему с уважением. (Сейчас понял, как я развивался. Я делал прыжок, а

потом надолго задерживался на одном месте, отбрасывал в страхе то, что могло бы заставить меня идти дальше. Поэтому ровно идущие сверстники то отставали, то перегоняли меня.) Я любил “Кармен” еще и вот почему. Летом в Анапе я иной раз вечером шел в городской сад, где в белой музыкантской раковине, выходящей на большую площадь, среди низких кустов играл довольно хороший оркестр. Они вывешивали в рамке, справа от раковины, программу концерта, что мне казалось признаком высокого мастерства. И вот там впервые в жизни я услышал Антракт к четвертому действию “Кармен”. Когда после первых аккордов мелодии все инструменты, нет — скрипки трелями пошли подниматься все выше и выше, захваченная врасплох вялая душа моя очнулась и тоже влилась в это движение, понеслась ввысь. Это было такое ясное, почти зрительное ощущение движения, именно вверх, под углом, что я изумился и обрадовался этому чувству, как подарку. А Бернгард Иванович обругал оперу! Тем не менее я пошел ее слушать. Слушал и “Аиду”, и “Бориса Годунова”, и вот тут оперу я полюбил. На всех представлениях в первом ряду сидел Бернгард Иванович. Он сказал, что удивлен, — оркестр небольшой, но хороший, отличный дирижер, есть и приличные певцы, в особенности баритон. После этого разъяснения мы стали слушать оперу еще доверчивее. С восторгом.

18 июля 1952 г.

Тут я впервые услышал об успехе “Бориса Годунова” в Париже, о Дягилеве, о Баксте, о русском балете. О балете говорили не с монашеским интеллигентским насмешливым осуждением, а как о высоком искусстве. Говорил Фрей, который читал и знал много больше меня. Для Юрки все это не было новостью. Я помню, как после “Бориса” он говорил, что французам, вещи нам столь близкие, должны казаться загадочными, — Восток! Так прибавилось имя Дягилева, Анны Павловой, Бакста к представлениям об искусстве, существующим у меня. С фантазией лентяя представлял я себе, что это за постановка, что это за художники, что это за актеры. С боязливой фантазией — а вдруг все это окажется не так, как я представляю себе? И я не читал ничего о них, бегло просмотрел эскизы Бакста и со страхом почувствовал, что они кажутся мне слишком красивыми, и задушил эту мысль. И всем расхваливал Дягилева и “Мир искусства”, как Блока — по одной строчке. Сейчас вдруг мне показалось, что, может быть, в этом страхе было здоровое ощущение, что мне

предстоит своя дорога, что на учение я туповат? Кто знает. К приезду оперы мы с Милочкой уже часто ссорились, что было естественно, и я стремился скорее, любой ценой, выпросить прощение, помириться в тот же день, что уже было неестественно. У нас в реальном было особое выражение: "Солка". Это значило — насолить той, в кого влюблен, если поссорился с ней. Не подходить к ней на вечере. Умышленно ухаживать за другой. Кто-то из наших, на вид грубоватый куркуль, сказал, что в любви "солка" самое главное. И Юрка сказал, что после этих слов он почувствовал к нему уважение. Вот это было для меня больше, чем недоступно — мне просто и в голову не приходило хитрить, обижать Милочку умышленно, чтобы наказать. Я был прямо и открыто влюблен, да и только. А Милочке хотелось, чтобы я главенствовал, был строг и требователен. Узнал я это на одной из опер. За день до этого мы собирались к Зайченко. Милочка сказала, что она не пойдет. Отказался идти и я. В театре из разговоров в антракте выяснилось, что Милочка все-таки была у Зайченко. Я не посмел обидеться. Каково же было мое удивление, когда Милочка, выбрав минутку, попросила меня: "Не сердись". "Не сердись", — повторяла она с наслаждением.

19 июля 1952 г.

И меня осенило — таков был мой излюбленный способ мыслить, я хотел сказать — единственный способ думать в те дни. Единственный доступный для меня. Когда Милочка с явным, глубоким наслаждением сказала: "Не сердись", меня осенило — она в глубине души жаждет властного мужского обращения. А я, дурак, молюсь на нее, выпрашиваю чуть-чуть любви, не смею даже спросить, в котором часу она пойдет в библиотеку. И часто потом Милочка говорила мне "не сердись" без всякого повода с моей стороны. Но от понимания до действия у меня было так далеко! Я был связан по рукам и ногам страшной силой своей любви. Или своей слабостью? Однажды мы шли вечером через большой пустырь, тот самый, где в 1905 году я увидел первый в моей жизни митинг, где ходили канатоходцы, крутились перекидные качели и вертелась карусель на Пасху. Теперь тут было пустынно, темно. Мы остановились возле остатков какого-то решетчатого забора. Видимо, креста — кто-то когда-то собирался огородить эту площадь, да и раздумал. Мы, как это бывало часто, ссорились. Выясняли отношения. Слова "наши отношения" я повторял так часто, что Милочка воскликнула однажды: "Не могу я больше слышать

этих слов", после чего меня осенило, что я дурак. Но тем не менее я продолжал расспрашивать Милочку — любит ли она меня, не кажется ли ей это, и так далее — при каждой встрече. Что-то подобное, вероятно, происходило и на этот раз. И в пылу ссоры, чтобы уверить Милочку в чем-то, я взял ее за руку — и сразу умолк. Замолчала и она. Это было счастье, какого я не переживал еще. Счастье особенное, освященное силой любви, близости. Так мы и пошли — потихоньку, молча, держась за руки, как дети. С этого скромнейшего прикосновения началась новая эра в истории нашей любви. Ссориться мы стали меньше. При каждой встрече я брал Милочку за руку. Ее чуть полная по-детски кисть, чуть надушенная духами, которые я узнаю и теперь, серо-голубые глаза, ореол светящихся надо лбом волос — вот что заслоняло от меня всю жизнь. И однажды я обнял Милочку за плечи.

20 июля 1952 г.

Дело уже шло к концу учебного года. Пришла ранняя майкопская весна. Теперь мы добирались домой дальними дорогами, спускались вниз к Белой, шли дорожкой между кустами, где по майкопскому обыкновению то пахло цветами и тополем, то тянуло человеческими отбросами. Проходя узкой дорожкой между деревьями, мы иногда останавливались, и я обнимал Милочку, она опускала мне голову на плечо, и так мы стояли молча, как во сне. И много-много времени прошло, пока я осмелился поцеловать ее в губы. И то не поцеловать, а приложиться осторожно своими губами — к ее. И все. За все долгие годы моей любви я не осмелился ни на что большее. В 21-м году, когда мы переехали в Ленинград и мне казалось, что я погубил свою жизнь, я уходил на Васильевский остров, на Средний проспект, к тому дому, где встречались мы с Милочкой в последние месяцы моей любви. Я смотрел на окна ее комнаты, и мне казалось, что, будь она моей женой, вся моя жизнь была бы другой. Не знаю, было бы это на самом деле? Но тогда я бывал от этих детских ласк, от стихов, от весны как в тумане. И если бы мне сказали, что Милочка выйдет за другого — я просто не поверил бы. Это было бы уж слишком страшно. О нашей, нет, о моей любви знали все. И вот однажды Василий Соломонович позвал меня в свой кабинет после уроков. Он спокойно и серьезно, без тени раздражения, спросил меня, не хочу ли я остаться на второй год? Нет ли у меня для того особых причин? Если нет, то он предлагает мне подтянуться, иначе меня не допустят к экзаменам. Я

сказал, что причин таких у меня не имеется, и обещал подтянуться. Оказывается, на совете в дружеских, правда, тонах говорили о моей влюбленности и высказывали предположение, что я хочу остаться на второй год из-за Милочки — в женской гимназии восемь классов, следовательно, она кончала школу свою годом позже меня. И я стал изо всех сил стараться исправить свои отметки. Страх второгодничества еще крепко сидел во мне.

21 июля 1952 г. Вот пришел день последней классной работы по аналитической геометрии. Решил я задачу правильно — мой ответ совпал с ответами остальных. Как всегда, раздавая тетрадки с отметками, Василий Соломонович говорил каждому несколько слов о его работе. Моя тетрадь лежала последней. Взяв ее, Василий Соломонович улыбнулся и сказал: “Вот как мы с вами кончили учебный год”. Задача была решена на пятерку. Мне удалось догнать класс, не слишком-то, впрочем, надежно. Василий Соломонович был удивительный человек. Боюсь, что я недостаточно дал это понять. Как я узнал потом, Бернгард Иванович говаривал, что если бы не Василий Соломонович, то он ни за что не остался бы преподавателем. Мы вспоминали училище с нежностью, а даже Тоня, первый ученик в своей екатеринодарской гимназии, — безразлично. Любимых учителей у него не было. О директоре он и не вспоминал. А нас Василий Соломонович вел твердо, но внимательно. Его мы побаивались и верили ему. Был у нас необыкновенно талантливый ученик, товарищ Фрея по классу. Не Жени Фрея, а Фрея-старшего, художника, Толи Фрея. По фамилии Борщевский, из казаков. Он, будучи в шестом классе, нарисовал со свойственным ему даром карикатуру: Василий Соломонович и Харламов, директор и инспектор, идут пьяные в дым по улице. У одного в руках — четверть водки, у другого — селедка. Помимо сходства смешил немыслимый сюжет — все знали, что оба совсем не пьют. Борщевский имел неосторожность показать рисунок Вышемирскому. Тот отнял карикатуру и отнес директору. И вот после уроков Борщевского вызвали к Василию Соломоновичу. Со страхом вошел тот в директорский кабинет. Достав карикатуру из стола, Василий Соломонович поглядел на нее, усмехнулся и, протянув Борщевскому, сказал: “Возьмите. Но смотрите, чтоб маленьким не попалась! Еще поверят!” Мы не знали внеклассного надзора, у нас не орга-

низовывали “потешных”. Василий Соломонович был, очевидно, и со старшими, с начальством, тверд и самостоятелен. Но зато после двадцати пяти лет службы округ продлил ему право оставаться на посту только на три года вместо обычных пяти.

24 июля 1952 г.

Пришли последние дни экзаменов — нет, не то я написал. Пришли дни последних выпускных экзаменов, месяц прощания с майкопским реальным училищем. Как и год назад, добыл я картонку от счетной книжки, от переплета счетной книжки, такого же примерно формата, как та, на которой я пишу. На картонке этой я написал расписание выпускных экзаменов и вычеркивал потом с суеверной тщательностью, как в прошлом году, каждый из них после того, как я сдавал его. Изменившийся строгий зал наш, с далеко отставленными друг от друга столами. Дружная майкопская весна, уже, в сущности, лето. Первый экзамен — по русскому языку. Василий Соломонович прочитывает вслух и потом пишет на доске не совсем обычную тему: “Влияние воспитания на образование характера по роману Тургенева “Дворянское гнездо” — и не помню еще по каким сочинениям. Помню, что я доказывал, что воспитание не является единственным влиянием в образовании характера. Получил я за сочинение свое четверку. Зато едва не провалился по аналитической геометрии, сделав неправильный чертеж: в припадке затмения не поместил вершину эллипса на пересечении координат, за письменную работу я получил двойку и выплыл с трудом на устной. Выплыл я и на физике и получил тройку по закону божьему, два самых опасных для меня экзамена. Со второй половины экзаменов страх почти пропал, волновался я больше из суеверия. Дни, назначенные на подготовку, мы занимались с утра до вечера. Летом собирались рано утром в опустевшем уже училище — занятия в младших классах и их экзамены уже кончились. И мы выясняли, как сегодня вызывают: по алфавиту или с начала и с конца. Если по алфавиту, то я был свободен на час-другой. Ведь в седьмом классе от сорока пришедших в приготовительный класс осталось человек восемь, а с второгодниками было нас всего двадцать с чем-то. И когда, ответив и получив очередную тройку, я выходил из училища, то было обычно около часу. И я шел в городской сад.

25 июля 1952 г.

Нет, я все-таки глухонемой. Время, когда шли выпускные экзамены, лето 1913 года, то есть месяц моей жизни, оставивший неизгладимые следы в моей душе, я не умею записать. А ведь это было последнее лето девятнадцатого века. Двадцатый вступил в силу у нас через год, первого августа (нового стиля), а пока романы Уэллса, разговоры о белой расе в рассказах Киплинга, джек-лондоновское религиозное уважение к силе — все казалось только способом выражения, новым любопытным материалом чисто литературной категории. Никто из нас и поверить не мог, что он перейдет в действие. Мы измеряли веревочкой мускулы — бицепсы считались главным признаком силы, хотя рассуждения Миллера о гармоническом развитии всех мышц мы считали для себя обязательным. Все чаще и чаще слышал я разговоры о Ницше, о белокурой бестии, о сверхчеловеке, о хлысте, который полагается брать, когда идешь к женщине. И тут я прочел одну строчку из “Заратустры”: “Люблю тех, которые, играя в карты и выигрывая, думают: “Неужели мы играли нечестно?” — и пришел в восторг, потому что узнал в этих словах себя. И по одной этой строчке стал хвалить Ницше, не представляя себе, что придут “свиньи Заратустры и обезьяны Заратустры”, о которых со страхом говорил он. И, забывая, что к вышеупомянутой фразе он добавлял (об играющих в карты) — “ибо они погибнут”. Я не предчувствовал, или предчувствовал глухо, или с детским восторгом грядущие события: “Ох, что-то будет!” А главное, угадывал в них то, что так нравится русским: освобождение от всех обязанностей и тягостей. Итак, шло лето 1913 года, и я сдавал последние мои экзамены. В неопытной, детской, человеческой, майкопской среде я занимал свое место. И все происходящее — и страшные экзамены, и мучения, которые причинял рост моей любви, — все это радовало скорее. Я живу! Иногда напряженная радость жизни приводила к тому, что я приходил в восторг от самого себя, я верил, что я замечательный человек — из-за моих стихов, из-за любви, не знаю из-за чего. Мне нравилось теперь разговаривать с людьми. Я перестал их бояться, но еще больше теперь зависел от них.

26 июля 1952 г.

В этом моем незнании того времени, в восторгах по поводу одной строчки была своя прелесть. На неведомых мне, только едва блеснувших участках человеческого знания я представлял не совсем то, а, бывало, и совсем не то, что там на самом деле

существовало. Но они казались мне достаточно понятными, обещающими, великолепными, поэтическими. Как теперь мне чудится, в страхе перед новыми знаниями был не лишенный здоровья страх потерять только что намеченный путь к самостоятельности. Возвращаюсь к маю 1913 года. До первых чисел июня собирались мы в опустевшем училище, никак не понимая, что кончается огромный период нашей жизни и мы расстаемся навеки. Очень уж весело нам было в то время. До того весело, что мы не говорили, а орали, не ходили, а бегали. Шум в пустых, гулких коридорах училища поднимали мы такой, что Михаил Осипович Чехаидзе, наш надзиратель, то и дело бегал нас успокаивать. На балконе, расположенном на крыше широкого крыльца, на стенах у стеклянных дверей, ведущих в зал, расписались все на память, а я нарочно крупнее всех, да еще обвел фамилию свою рамкой. На беду расписался я химическим карандашом, и, когда прошел дождь, фамилия моя выступила с ужасающей ясностью. И Бернгард Иванович вызвал меня на балкон, и не глядя на меня из ненависти, так отругал, что я совсем забыл о том, что живу взрослой, сложной и счастливой жизнью. Так я получил свой последний выговор в училище. И печальнее всего было то, что я любил Бернгарда Ивановича и восхищался им, несмотря ни на что. Так мы и расстались, не объяснившись и не договорившись. Но самым счастливым временем тех дней были поиски Милочки. Свидания все не назначались, я должен был искать ее. В городском саду я угадывал ее издали-издали, стоило только ее косам мелькнуть и просиять на солнце. Помню день, когда я уже не надеялся найти Милочку, пришел в отчаянье и вдруг увидел ее за оранжереей, за домиком садовника. И, когда я подошел к ней, задыхаясь, запаренный, и спросил: “Наверное, у меня дикий вид?”, — она молча и с нежностью взглянула на меня.

27 июля 1952 г.

Встречи наши усложнились еще и тем, что Варвара Михайловна терпеть не могла меня. Она обожала Милочку и каждого, кого считала возможным женихом, каждого, кто влюблялся в нее, начинала ненавидеть всеми силами своей измотанной, сердитой души. Когда о моей любви заговорили на педагогическом совете, там, на мою беду, присутствовала и Варвара Михайловна как член родительского комитета. Она всячески нападала на меня и до этого. Нападала в разговорах с Милочкой. Уничтожала меня в ее глазах, действуя очень разумно:

доказывала, что я неряха — вон, мол, брюки чуть не до колен в майкопской грязи. И волосы растрепаны. И козырек на фуражке висит — надорван с одной стороны. И неловок — не танцую, горблюсь. И плохо учусь. От Милочки я знал об этой вражде, которая еще выросла после педагогического совета. "Если при мне так говорят, то что же говорят за глаза!" — сказала она Милочке. Из-за всего этого встречаться нам приходилось, соблюдая осторожность. Боюсь, что Милочке доставалось от матери сильнее и чаще, чем я думал. А она, Милочка, жалела ее и любила. Итак, шли последние экзамены, дни стояли удивительные. В эти как раз дни Леля играла "Grillen" Шумана, и достаточно мне услышать эту вещь, как прошлое не вспоминается, а воскресает во мне и теперь. (Впрочем, может быть, годом позже? Две похожие весны были в моей жизни. В прошлом, которое воскресает, как я почувствовал сейчас, нет ощущения экзаменов. Постараюсь вглядеться.) Как раз в эти дни уезжал сдавать латынь Юрка Соколов. Уезжал он на этот раз в Армавир. Вечер. Мы стоим возле соловьевского дома и говорим о предстоящем событии. И Юрка говорит, что если и теперь он не выдержит экзамена, то это будет ужасно. Хоть умирай. Почему? Выясняется, что он старше меня чуть ли не двумя годами. Ему скоро восемнадцать. И эта цифра поражает меня. (А может быть, девятнадцать?) Но он возвращается веселый из Армавира. Экзамен сдан, и он посылает свои документы на естественный факультет Петербургского университета. Закончились и наши экзамены двумя выпускными вечерами — нашим и гимназическим. Все. Безумно веселый, все понимающий и ничего не понимающий, стою я на пороге жизни и не сознаю этого.

28 июля 1952 г. Мне выдали аттестат об окончании реального училища. Кем быть? Я давно решил стать писателем, но говорить об этом старшим остерегался. Считалось само собой разумеющимся, что я должен после среднего получить и высшее образование. Но куда идти? Казалось бы, что самым близким факультетом к избранной мной профессии был филологический. Но для реалиста он был невозможным из-за латинского и греческого языков. И, как все, не знающие, куда идти, я выбрал юридический факультет. В этом году ввиду незнания латыни (трудно мне сегодня писать) я не мог поступить в университет. Но в Москве открылся Коммерческий институт, куда ушли все лучшие профессора из уни-

верситета после разгрома Кассо. Старшие решили так: послать мои документы в Коммерческий институт. Если меня туда не примут, то все-таки жить в Москве, слушать лекции в университете Шанявского и готовить латынь, которую и попытаться сдать в декабре. И вот и мои документы уехали в Москву. Теперь мне более печально расставаться с реальным, чем тридцать девять лет назад. Подожду еще. Буду рассказывать то, что я забыл. В седьмом классе Бернгард Иванович заново поразил нас — он преподавал в седьмом классе законоведение. Юрка Соколов сказал по поводу этих уроков: "Его нервная система работает вдесятеро быстрее, чем моя". Его красноречие было редким, да, пожалуй, я в жизни не видел подобного оратора. Как в шутках своих и в манере преподавать он был смел, повелителен и парадоксален. И в речах своих (а уча нас законоведению, он именно произносил речи, а не рассказывал по-учительски) он был своеобразен, смел. Он говорил бурно, быстро, ясно и, когда хотел, шутливо. И металлический тенор его весной, когда были открыты окна, отчетливо слышался на другой стороне улицы. Кончив речь, он заставлял нас выступать, причем непременно выходя со своего места, становясь перед партами, лицом к классу. "Приучайтесь говорить. В высших учебных заведениях вам придется выступать на семинарах, читать рефераты". Я был смел в те дни и поэтому выступал довольно часто, применяя все тот же единственный мой метод мышления: лицом к лицу с предметом.

29 июля 1952 г.

К моему огорчению, эта система в данном случае оказывалась бесполезной. Чаще всего Бернгард Иванович заставлял нас определять, что такое общество, что такое государство и так далее. С наивной смелостью малограмотного человека я брался решать эти задачи и убеждался быстренько, что говорю глупости. Говорили глупости мы все, но Бернгарда Ивановича больше всего раздражали мои. Он утверждал часто, что самоуверенность вообще необходима, но у меня она переходит границы. Вот мы говорим по очереди, а Бернгард Иванович слушает внимательно, прикрыв по своей привычке рот и подбородок маленькой белой рукой. Иногда, если мысль кажется ему интересной, он взглядывает в лицо говорящему своими острыми черными глазами. И я, как всегда с людьми, которых я люблю, угадываю каждое его чувство, не мысль, а окраску его мыслей. Я давно уже привык к его возрастающей с каждым

годом неприязни, но все удивляюсь: "Как же это можно не любить меня?" Так же наивно удивлялся я ненависти Варвары Михайловны, пока однажды не стал на ее точку зрения. Пока не увидел однажды себя со стороны. Я не перечитываю, что пишу, точнее, перечитываю редко — по условиям, заключенным с собой. Но меня давно уже смущала запись, касающаяся не меня. Я решил рассказывать все о себе, но никто не давал мне права рассказывать о чужих тайнах. И вот я зачеркнул две страницы, написанные 29 июля 1951 года. В седьмом классе у нас оказался новый преподаватель русского языка— Петр Николаевич Колотинский. Харламов перевелся инспектором, помоему, в Ставрополь. К нам назначили нового инспектора из Владикавказа. Ходили слухи о том, что это человек крутой и строгий, но я не заметил в новом инспекторе этих свойств. Зато Петр Николаевич оказался человеком весьма заметным — я его любил. Несмотря на свой маленький рост и два прозвища — Чижик и Тушканчик, он умел внушить классу интерес к своему предмету и уважение к себе. Он заставлял нас знакомиться и с современными критиками. Например, поручил мне прочесть и доложить "Гоголь и черт" Мережковского.

30 июля 1952 г. Мне казалось, что Петр Николаевич относится ко мне так же хорошо, как и я к нему. Уже студентом заходил я к нему в гости. В последний раз был я у него в Краснодаре, году в шестнадцатом. У него была молчаливая, очень молодая жена, его бывшая ученица, и две маленькие девочки. И мне казалось, что Петр Николаевич рад мне. В 1936 году, узнав, что он в Сухуме, где в то лето я жил, я к нему отправился. Был он со мной суховат, все время держал камень за пазухой, и я уж и не рад был, забрался на гору, отыскал его в пединституте, где жил он с дочкой-студенткой и ее мужем. Я старался развеселить его, напомнить старые, легендарные, безумные ученические годы, наш класс, но передо мною сидел пополневший седоусый Чижик, не похожий на себя, не учитель, а профессор, недовольный моим посещением. Только узнав, что папа был недавно близко, в Новом Афоне, он сказал, оживившись, что его он повидал бы с удовольствием. И я в его словах ясно услышал: "Вот е г о бы я принял иначе". Мы приехали в Сухум поздно, в октябре, ночи уже были темные, а в эту ночь еще собиралась гроза, и проводить меня темными переулками до шоссе пошла дочка Петра Николаевича с мужем. Дорогой мы разгова-

ривали легче, чем при старом моем учителе. Я узнал тут, что у Петра Николаевича были в институте, где он профессорствовал, какие-то неприятности, кажется, по линии педологии, но он вынес их мужественно. Идя по темному шоссе к Алексеевскому ущелью, где жили мы в то время, я никак не мог отделаться от неприятного чувства, в душе словно заноза сидела. И я решил, что в 12—13-м году, да и в шестнадцатом, когда зашел к Петру Николаевичу в Краснодаре, был я так полон собой, своей радостью, своим доброжелательством, исходящим из того же сознания праздничности, что не видел, как люди относятся ко мне на самом деле. Пошел дождь, а дорога моя лежала мимо кладбища. И эта южная ночь, и белевшие за оградой памятники, и шум прибоя постепенно утешили меня. Тут все было высказано, а там все неладно и тяжело. Хозяин дачи уже шел меня встречать с фонарем, когда я входил в ворота. И я с радостью вернулся в 1936 год.

31 июля 1952 г.

Больше не буду рассказывать о реальном училище. Пойду дальше. Сегодня голова работает вяло, небо облачное, ветер. Скажу только, кстати, о погоде, что в моей жизни тогда играла она не по масштабу большую роль. При некоторой недоверчивости, насмешливости, рассудочности, порожденной временем, “Новым сатириконом”, свойствами души, я, как писал уже, был в каком-то смысле не то что умственно отсталым, а умственно бессильным человеком. И тоска, охватывавшая меня, когда шел дождь, ничем не умерялась. А осенняя тоска доходила до того, что я сам себя сравнивал с юнкером Шмидтом. И вспоминаются мне все летние времена, а зимы сливаются в одно. Я потерял с годами этот дар — умение меняться в зависимости от погоды и переездов с места на место, но, к счастью, в последнее время он, дар этот, стал возвращаться. В большом городе... Ну ладно. Опротивело рассуждать. Вскоре после окончания экзаменов я получил от Антона открытку. Он приглашал меня приехать к нему в Екатеринодар и вместе погостить на Черном море у его знакомых, Рейновых. Открытка кончалась латинской цитатой: “Sic volo, sic jubeo” (Так я хочу, так я приказываю). Я ответил ему открыткой же, которая далась мне не без труда, я переписал ее раза четыре, чтобы слог был достоин адресата. В этой открытке сообщалось, что предложение принято и я выезжаю. Дорогу в Екатеринодар не помню, будто ее и не было. Тоня оказался меньше, худее и бледнее, чем я думал, даже уже после карточки,

где он стоит, прислонившись к стене. Держался он просто, гениальностью не мучил, не давил, чего я боялся после рассказов Беллочки и папы. Мы познакомились быстро и даже подружились, чему способствовало отсутствие старших, уехавших в Кисловодск. Я быстро пришел в свое безумно-веселое состояние, которым заразил и Тоню. Вечером я швырял в него башмаки, а он отвечал мне тем же. И Тоня сказал мне: “Я с тобой превращаюсь в мальчишку”. И мы уехали к Рейновым. После станции Тоннельной и тоннелей я увидел море, и жизнь стала приморской. У вокзала наняли мы извозчика и поехали через Новороссийск, огибая порт, к цементным заводам. Мы едем по шоссе, город кончается, пыльные кусты ажины по обочинам.

1 августа 1952 г.

Мы едем в Кабардинку, селение между Геленджиком и Новороссийском. Вот шоссе поднимается на гору, я вижу море и испытываю такую радость, что и сейчас, в 1952 году, через тридцать девять лет, ощущение праздника охватывает меня. Мы все смеемся, потому что я в безумном состоянии, в безумно, заразительно радостном. Я все спрашиваю, а какая дача у Рейновых — меньше той, мимо которой мы сейчас проезжаем, иЛи больше. Дача оказалась большой, часто в те дни встречавшегося вида — серо-цементного цвета, оштукатуренная, с четырехугольной башней. Во втором этаже этой башни мы и жили. Из нашей комнаты был выход на плоскую крышу над основной частью здания. В общем в даче этой было комнат шесть, больших и высоких. Душой дачи была Милочка Рейнова, гимназистка старшего класса, умненькая, не по-майкопски воспитанная, по-девически внимательная ко всему миру, немножко слишком полная, немножко слишком приземистая, черноглазая, большеглазая, все понимающая девочка. Из старших на даче жили еще мать Милочки, ее гувернантка, приезжал как-то лысый, молчаливый, рыжеватый адвокат Рейнов, не мешающий общей жизни, но и не участвующий в ней. Гостил там молчаливый гимназист Черномордик, который и сказал как-то о себе без улыбки, басом, когда хозяйки упрекали его в мрачности: “Я веселый!” Гостил хорошенький, тихий, веснушчатый Витя Бродский. Но они быстро уехали. А мы, я и Тоня, прожили у Рейновых две блаженные недели, четырнадцать райских дней. Моя недавно приобретенная храбрость помогла мне сохранить безумно-веселое состояние, и

это завоевало симпатию хозяев. Они радовались за меня. Они говорили, что я весь полон смехом и радостью. Говорили за глаза, до меня это дошло через год, но я чувствовал, что нравлюсь им и без слов, и еще больше болтал, пел, играл, рассказывал — и мы были счастливы. Тоня ухаживал за Милочкой.

2 августа 1952 г. Привыкнув к тому, что знание дается мне вдруг, что меня осеняет неожиданно, — я все жду такого толчка или прыжка с прозой, какой был со стихами сорок лет назад или когда я в 1928 году писал "Ундервуд" и вдруг догадался, что пьеса не постройка, а скорее рудоносная жила, и ты должен подчиняться ее законам, угадывать, куда свойственно идти героям. Это не затрудняет, а облегчает работу, так как форма подсказывается тебе. А необходимость писать правду ограничивает в худую сторону. А кроме того я пишу немузыкально. У меня почему-то слишком много местоимений и вообще лишних слов в каждом предложении. И с этими своими небогатыми средствами я подошел к самым счастливым и печальным временам моей жизни. Что всегда напоминало мне дачу Рейновых? Аллеи в саду осыпаны не песком, а мелкими морскими камушками. Невысокие кусты, серовато-зеленые. Две террасы. Одна — просторная, выходящая в сад, другая, поменьше, на море. На террасе, выходящей в сад, обедают. На террасе к морю — бетонные перила, бетонные вазы по обе стороны ступенек, соломенные кресла. В море ведут узенькие мостки. Совместное купание в те дни — неслыханная вольность. Купаемся мы раздельно. Вот Тоня, узенький, белотелый, задумчивый, стоит на мостках и вдруг неожиданно и неловко бросается в воду. Это так несвойственно его обычному методу купанья, что я догадываюсь — он загадал что-то: "Если прыгну сразу — мое желание сбудется". Мы гуляем вечером и рассказываем страшные истории, и Милочка Рейнова признается, что ей страшно. И со своей девической внимательностью размышляет: почему это с нами ей страшно, а если бы здесь был Исачка Пембек, то ей было бы спокойно. Он ей, если разобраться как следует, не так уж и нравится, но в его присутствии она себя чувствует как за каменной стеной. И моя широко открытая душа проникается таким уважением к Исачке Пембеку, что, познакомившись с ним года через два, я разговариваю с ним робко.

3 августа 1952 г.

Он оказался полным, преждевременно лысеющим, добродушным студентом с глазами доброго мопса, чуть оттянутыми книзу. И в самом деле, он выглядел взрослым и надежным среди нас. Когда мы познакомились, шла уже война, спиртные напитки были запрещены (чего мы в сущности не замечали), но тут откуда-то добыли три бутылки вина. Нас было трое — я, Тоня и он, Исачка Пембек. Каждому пришлось по бутылке. Я и Тоня перенесли это легко, да и вино было легкое, а Исачка Пембек заскучал. Но при этом добродушно подшучивал над своим опьянением, что мне очень нравилось. Высунувшись в окно и глядя во двор, он сказал: "Какой печальный ландшафт!" И я смеялся, и почтительно любовался им, и старался ему понравиться — все потому, что впервые услышал о нем на берегу моря, когда душа была открыта от счастья и каждое слово западало глубоко. Лежа на берегу все на таких же камушках, приморских, летних, какие скрипели на аллее сада и шуршали сейчас в прибое, мы разговаривали обо всем. Я привел как-то слова Гегеля: "Все существующее разумно", придав им такой смысл: "Все к лучшему". Тоня спокойно разъяснил мою ошибку, и тут впервые я услышал о тезе, антитезе и синтезе. Познание по одной фразе начинало мешать мне. Здесь же, у моря, Тоня изложил иносказательно, со свойственным ему, с нашей, шелковской, точки зрения, красноречием, красивым своим голосом историю своей любви к Милочке Рейновой, что она слушала с интересом. Оканчивалась эта история тем, что помешал его успеху некий "появившийся на горизонте обаятельный и умный студент", как выяснилось, все тот же Исачка Пембек. И тогда Тоня стал искать утешения "у девушки с прекрасными серо-голубыми глазами", Милочка сказала не без легкой досады: "Глаза у нее действительно прекрасные". В нашей комнате Тоня сказал холодно: "А, ладно. Я никогда и не был по-настоящему тут влюблен. Теперь влюблюсь в Веру Михайловну, и все!"

4 августа 1952 г.

И услышавши эти Тонины слова, я испытал неловкость, как и во время его речи о любви на берегу меря. Это звучало как-то фатовски, и вот нашему пребыванию у Рейновых пришел конец. Я, прощаясь, почувствовал, что меня, нового знакомого, тут считают другом и зовут в гости в будущем году с искренним дружелюбием, и возгордился. Я в глубине души в те годы считал, что я особенный

человек, только не все это пока что знают. В Новороссийске Тоня решил зайти к Юкелисам, которыми так восхищалась в прошлом году Беллочка. Мне это показалось тоже интересным — я еще ни разу не бывал у миллионеров. В маленьком, мощенном серым камнем переулочке, с травой серой, новороссийской, пробивавшейся между камнями, стоял длинный одноэтажный дом с закрытыми ставнями. Тоня позвонил. Недовольный женский голос спросил, кого нам надо, и потом сообщил, что хозяева уехали в Кисловодск. К вечеру мы распрощались с Тоней, и я поехал в Майкоп. Все дни, едва я оставался сам с собой, все дни моего пребывания в Кабардинке, за всей радостью лета, моря, сознанием успеха — царствовало одно, основное, единственно жизненно важное ощущение: Милочка. Не хозяйка дачи, а та, в Майкопе. Я иной раз радовался и тому, что мне весело и тут, без нее. Вот, значит, я какой! Но вместе с тем я сознавал, что радость без Милочки — не совсем настоящая. Второстепенная. И по дороге, глядя в окна вагона, когда ехал уже из Армавира в Майкоп, я думал только о Милочке как сумасшедший. Как благовест над всем, что я вижу и слышу, звенело одно чувство — безумная, открытая моя любовь. И майкопские белые домики из окон вагона казались мне таинственными, освященными пребыванием в городе Милочки. Рассказывая о Рейновых, я сказал Милочке, что из-за имени ее не мог относиться к Милочке Рейновой, как к другим девушкам. “Понимаешь?”— “Конечно, понимаю, Женечка”, — ответила она мне ласково.

5 августа 1952 г.

Уже тогда полностью определился основной мой недостаток: я через посредство людей ощущал и постигал божество. Я зависел от людей. В Милочке заключалась для меня поэзия. Может быть, и набожность прежних дней целиком ушла в чувства к ней. Я постигал божество только через людей и себя расценивал в зависимости от их оценки, от их отношения. Мы ссорились все чаще. Чем ближе подходили мы друг к другу, тем большей близости бессознательно хотели. Но она была невозможна. И со своей открытостью и бесхитростностью я все обвинял Милочку. В чем? Что она не так сказала что-то мне, обнаружив тем самым равнодушие. Что она только притворяется, что любит меня. Боже мой — и сейчас стыдно вспомнить, как я был придирчив и надоедлив. Но все же пока что это богатое событиями лето шло счастливо. Мы продолжали встречаться каким-то чудом в маленьком городке, ни разу

не попадаясь Варваре Михайловне. Один раз, правда, увидел нас Васька Крачковский в городском саду. Он шел по боковой аллее, сначала не глядя в нашу сторону, но я настолько растерялся, что стал звать его. Милочка сказала мне с тоской: "Зачем, зачем ты его зовешь?" "И в самом деле — зачем?" — подумал я, но было уже поздно. Вася, сияя студенческой курточкой, пуговицами путейской куртки, аккуратный, миловидный и недовольный, щурясь, двигался теперь прямо на нас. Но он не пожаловался Варваре Михайловне. И еще как-то я со своим зрением узнал Варвару Михайловну за несколько кварталов, когда она только выходила на площадь с остатками изгороди, о которой я говорил. И я исчез с такой быстротой, что Милочка даже поддразнивала меня потом. Но именно поэтому Варвара Михайловна и не разглядела, что Милочка шла со мной. В городе жило польское семейство Войцеховских. Варвара Михайловна бывала у них. И вот при Милочке они завели разговор о том, что у меня и моей мамы есть что-то неприятное в лице: "Фамильное неприятное", — сказал старик Войцеховский. Нет, Милочка любила меня, как я теперь вижу.

6 августа 1952 г. Я вдруг ясно вспомнил вчера, с каким выражением рассказывала Милочка о словах старика Войцеховского, и понял, что была она на моей стороне. Тогда я не понял этого, точнее, и не подумал об этом, ошеломленный, словно настоящей бедой, словами незнакомого старого поляка. А Милочке приходилось нелегко между моей любовью и любовью матери. Много позже в одном из писем Милочка рассказывала свой сон. Она видела во сне, что шла по майкопской улице с матерью и встретила меня. И поскорее опустила голову, чтобы Варвара Михайловна не заметила, что она покраснела. Поскорее опустила голову, чтобы поля шляпы закрыли ей лицо. А я даже и не думал, что Милочка могла покраснеть при встрече со мной. И обижал я ее от сознания незначительности своей, беспомощности. Я не верил, что я могу обидеть Милочку. В одну из наших ссор я принял неожиданное для себя решение. Вместо того чтобы на другой же день искать с ней встречи, я ушел в горы с Соколовыми и Соловьевыми. Они готовились к этому путешествию давно, но я в то лето стоял от всех в стороне. Предполагалось, что я плохой ходок — раз, и утонул в своих любовных делах — два. Но когда я сказал, что присоединяюсь к путешественникам, они приняли меня охотно. И к событиям

моей жизни прибавилось еще одно. Еще одно радостное событие, свет которого согревает и светит через все годы до сегодняшнего дня. Вышли мы из города на рассвете в сторону станицы Тульской. Мы редко ходили гулять в эту часть, степную часть майкопских окрестностей. Малознакомая и вместе с тем до мелочей понятная степная дорога то отходила, то вплотную приближалась к обрывистому берегу Белой. Курганы, большей частью разрытые в давние годы и снова заросшие травой, тянулись по нашему пути. Каменная баба белела на одном из них. Часа через два мы шли уже через Тульскую, через площадь со станичным управлением, церковью, школой, лавкой. Майкоп ушел за тридевять земель. Жизнь уже стала дорожной.

7 августа 1952 г.

Мешки, которые мы несли, дорожные мешки, рюкзаки, назывались почему-то "сидорà". Так называют их в туристских группах и сегодня. Лямки сидоров еще не натерли плечей. Мешки удобно лежали за спиной. В них мы несли одеяла, крупу, шпик, смену белья — общественный и личный багаж. Я со страхом ждал минуты, когда начну отставать и задерживать всех, но, к великому счастью моему, минута эта все не наступала. За Тульской дорога не изменилась — та же степь, курганы, пыль поднимается и не хочет улечься. Быки, косясь удивленными, ошеломленными глазами, скрипя деревянным ярмом, шагают, везут можары с мешками, со снопами. Возчик, косясь на нашу непонятную городскую компанию, покрикивает: "Цоб! Цобе!" Настоящего значения этих слов я по непростительной беспечности, по знаниефобии моей не удосужился узнать. Каждая минута дороги полна своим содержанием, медленно-медленно, изменяющимся, когда идешь пешком. Вырисовывается лесок на горизонте. Медленно-медленно, все меняя место: то он левее, то он правее дороги, входит он в нашу жизнь. Теперь уже понятно, что дорога не минует его, и я жду с нетерпением этого счастья. И оно наступает. Мы идем в тени, спускаемся в балочку, по дну которой бежит ручей. Пить до привала воспрещается, и, с тоской поглядев и послушав, я прощаюсь с водой и в шевелящейся тени деревьев выбираюсь наверх. Снова степь. Теперь на горизонте широко разлеглась станица Абадзехская — синеют ее пирамидальные тополя, голубеет церковь. Воздух дрожит от зноя. Лица девочек Соловьевых принимают спокойное до суровости выражение — они скрывают усталость. Юрка Соколов замечает, что сидора обнаглели. Но вот, наконец, станица Абадзех-

ская входит в нашу жизнь, окружает белыми хатами, палисадниками с мальвой.

8 августа 1952 г.

Здесь мы сделали первый привал. Берег реки, низенькая изгородь, чьи-то сады. Купанье в знакомой воде с незнакомого берега. Все довольны переходом и приятно удивлены тем, что я не устал, а я больше всех. Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кондер — не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом. Не то очень густой суп, не то жидкую кашу. Сейчас я почувствовал вкус его и вкус деревянной ложки. К вечеру мы были в Каменномостской, и я увидел тот самый цвет воды, что подействовал на меня с такой неожиданной силой, когда я узнал его впервые. И чувство это не обмануло, оказалось стойким, вспыхнуло с той же ясностью. Мы посидели над скалой, с которой, по преданию, черкесы сбрасывали пленных. Потом решили спуститься к самой воде, что я совершил со страхом. Тропинка была узкая и в одном месте совсем исчезала, пришлось делать не то шаг, не то прыжок, скорее прикасаясь к скале, чем держась за нее. Вода не теряла своей прелести внизу, была еще прекрасней и, как всегда, тянула за собой. Юрка швырнул, столкнул, скатил бревно с острого и крутого камня в как бы построенный из синей воды, как бы неподвижный и страшно напряженный порог, стоящий над плоским камнем. Бревно исчезло, потом вынырнуло, стоя, да так, стоя, и пронеслось между всеми теснинами и стремнинами и плавно вынеслось на берег, в заливчик пониже. И Юрка забегал по берегу, запрыгал с камня на камень, делая вид, что сейчас бросится в воду, чтобы так же выплыть в заливчик между скалами. Обратно идти было так же страшно, но другого пути не было. И мы благополучно поднялись наверх, и загорелся вечерний костер. И запах дыма навеки соединился с тех пор с дорогой.

9 августа 1952 г.

Когда в Комарово весной жгут листья, прибирают во дворах и на пустырях, я сразу пробуждаюсь от сегодняшнего дня и чувствую дорогу, ночлег в горах, не унизительную, будничную, а праздничную тревогу тех дней. Мы спали, завернувшись в одеяла. Я все не мог закутаться. И девочки Соловьевы заботливо помогли мне. Я болтал, смешил всех. Лицо горело, я был опьянен и все не давал спать никому, да и никто не хотел спать. Со стороны мы, вероятно, показались бы сумасшед-

шими, вот почему я так снисходителен к компаниям наших сверстников (сверстников по тогдашнему нашему возрасту), которые так шумно, взявшись под руки, шагают по комаровским улицам или хохочут, заняв скамейки, друг против друга в электричке. Хохочут во что бы то ни стало. С утра мы двинулись в путь. Степная дорога осталась позади. Даховское ущелье с бешеной синей Белой на дне. Лесные склоны до неба. Вот ради чего мы отправились путешествовать — это уже мы в горах. В Даховской ночевали мы в школе. У сторожа в хате висел на стене отрывной календарь с картинкой: девушка смотрит в окно. Она оказалась похожей на Милочку, и печаль охватила меня, тоска, которою я, как теперь вижу, ужасно дорожил. Настоящие мучения любовь принесла мне только через два-три месяца. Куда, в какую сторону пошли мы от Даховской? Хамышки, следующую за Даховской станицу, мы миновали. Теперь мы углублялись в горы. В Геймановской сторожке — почему она носила имя старого кавказского генерала Геймана, не помню, — мне ужасно хотелось есть. Девочки пекли тут пирожки, и мне казалось, что время, когда они будут готовы, никогда не придет. Мы были уже на территории заповедника, где зубры доживали мирно последние годы, последнее десятилетие своей истории. В двадцатых годах их истребили браконьеры. А пока сторож рассказывал, как зубры любопытны: бегут на шум шагов — и добродушны: никогда не бодаются.

10 августа 1952 г.

И сторож показал нам фотографии, сделанные каким-то путешественником возле сторожки в лесах. Старый бородатый бык удивленно глядит из-за дерева. Стадо зубров бредет лесом. К вечеру, если я не забыл сроков, пришли мы к Желобу. Так называлась узкая расщелина между скалами. В начале своем ущелье это было настолько узким, что дикие козы легко перепрыгивали с одной его стороны на другую. Это наблюдали Соловьевы в одну из своих предыдущих экскурсий, дальше Желоб несколько расширялся. В проходах между скалами открывался вид на лежащую глубоко внизу долину и горы вокруг. Ночью мы вышли на скалу и, лежа над долиной, глядели, глядели. В небе стояла полная луна, горы чернели на светлом небе. Нет, не чернели. Они были темнее неба, мы видели только зубчатые их очертания — остальное исчезало в темно-серой тени. Они казались легкими, и мы понимали, что это чудо, что это только на несколько часов совершилось с ними. Я, как всегда, мучился

сознанием, что обязан ответить на то, что происходит. Я хотел это сделать немедленно, но меня довольно строго остановил Юрка. И не напрасно. Даже теперь, подумавши, мне трудно ответить на то, что было пережито. И эта ночь осталась верной спутницей на всю жизнь. И уже много позже в разговорах, желая определить нечто несомненно прекрасное, Юрка говорил значительно: "Это как тогда на Желобе". Тут недалеко впервые увидел я кош, черкесскую пастушескую хижину. Коровы, которых выгоняли на подножный корм, отвыкали за лето от людей. Увидев нас, они очень удивились. Они ходили за нами следом. Остановишься — и коровы остановятся, пойдешь — и они идут. Глядят сердито, опустив голову, исподлобья. Пастухи, узнав, что мы знакомы с Христофором Шапошниковым, пригласили нас в кош, угостили сыром. Христофора они необыкновенно уважали. Обратный путь оказался легче для меня — я верил в себя.

11 августа 1952 г.

Последний переход сделали мы большой, и, к моему тайному удивлению, Алеша Соколов сказал, что в город приходить ночью бессмысленно, что он, лично, будет ночевать здесь, на берегу реки. Я стал было возражать, ведь до города оставалось всего верст шесть, но Юрка сделал мне знак, чтобы я не спорил. А Сережа, улыбаясь, сказал, что Алеша прав и он останется с ним, переночует у речки. И я понял, что Алеша просто устал, и порадовался тайно. Не я сдал! В город мы вошли лунной, поздней ночью. Мы пробыли в отсутствии неделю, но город выглядел таинственным, новым и многообещающим, в особенности многообещающим. Укладываясь спать на кушетке в папином кабинете, я не сомневался, что все будет отлично. Лунный свет врывался в окна, и я верил, что все, все изменилось к лучшему. На другой день мы все договорились идти к Зайченко. Я, новый, изменившийся к лучшему, вместе с Соловьевыми пошел к Крачковским. И я вошел в таинственные и прекрасные низенькие, тесные комнаты. С новой своей уверенностью вошел я и в комнатку Милочки. Она, сконфуженно улыбаясь, спрятала в стол какую-то записку, которую писала перед нашим приходом. Так я до сих пор и не знаю, что это была за записка. Она была гораздо тише, еще тише, чем обычно. Она была очень мягка, и я думал, поглядывая на нее: "Да, все идет по-новому, все изменилось". И все откладывал, все не начинал разговора о "наших отношениях", боялся, что все на самом-то деле идет, как шло. Но вечер

оказался счастливым. По дороге на мельницу мы объяснились. Милочка призналась, что мое исчезновение удивило, поразило ее. "А я-то шла в библиотеку новой дорогой, чтобы не встретиться с тобой..." Итак, мы помирились. Но через несколько дней все пошло по-старому: я занял свое место у ее престола. У папы на письменном столе лежали длинные полоски бумаги для рецептов. Вот на них-то я и писал свои стихи, писал часто, чуть не каждую ночь — ведь они давались мне легко. И становились все неуклюжее — как я убедился в 23-м году, перечитывая их с ужасом.

12 августа 1952 г.

Еще одно счастливое путешествие — в Семиколенье. Это путешествие продолжалось всего только день, но и оно светит мне до сих пор. Двинулись мы из Майкопа целым табором: Соловьевы, Истамановы, мой папа, Андрей Андреевич Жулковский, Соколовы. И, вероятно, потому, что общество подобралось такое почтенное, Варвара Михайловна отпустила Милочку. Был с нами еще батюшка. Он шел в подряснике, в мягких высоких сапогах, который-то из его младших сыновей сопровождал его. Несмотря на редеющие рыжеватые волосы и бородку, по-священнически отпущенные, он походил на казака в бешмете. Высокий, узкий, задумчивый, шагает он в стороне, простой в обращении, правдивый по всему своему облику, самостоятельный. Когда мы вышли за город, тоже в направлении Тульской, а потом свернули проселком влево, Андрей Андреевич словно опьянел от воздуха и летнего утра. Он стал бегать по кругу, обгоняя линейку, и все приговаривал: "Ах, господи, как хорошо". Василий Федорович взглянул на него внимательно и сказал: "Довольно тебе, старик, сердце лопнет". Я огорчился словами Василия Федоровича и сказал об этом Юрке, но он не поддержал меня. Мягкие холмы Семиколенья представляются мне сейчас кудрявыми. Хуторок стоял у подножья холма. Станичные собаки бросились на Соловьевых, а я, воодушевленный присутствием Милочки, на них. Араго, маленький, ударил в прыжке лапами в грудь огромного овчара. Папа закричал на меня. В результате станичные псы отступили, что папа приписал храбрости Араго. Мы вошли в лес и сразу потеряли представление о форме и виде холмов — деревья окружали нас. На большой поляне возле дома лесника Чаплыгина, плотного человека в черкеске, наш обоз остановился. Приняли нас приветливо. Во дворе стояли качели. Нет, в саду стояли качели с доской. И мы

качались. И я осмелился качаться с Милочкой, и к счастливым воспоминаниям прибавилось еще одно — Милочка на качелях.

13 августа 1952 г. Забыл рассказать. Когда от Желоба пришли мы опять в Даховскую, было воскресенье. Возле станичного управления на завалинке сидели бородатые казаки и смотрели на нас внимательно. Они отлично знали, зачем появляются в их станице такие господа, как мы, но тем не менее один из них спросил не без яда в голосе: “Чего это вы сюда пришли, что смотрите?” И Юрка с мрачной серьезностью ответил: “Пришли на стариков посмотреть. Говорят, они тут хороши!” И вся завалинка ответила на эти слова одобрительным смехом. И я умилился и восхитился. Сейчас мне кажется, что, несмотря на свою хромоту, Фрей ходил с нами. Он шутил замысловато. Увидев у Юрки нож, к которому пристали комья земли, Женька сказал: “Убийца Адама”. Впрочем, возможно, что он сказал это, когда мы были в Семиколенье, куда я и возвращаюсь. Покачавшись на качелях, мы пошли гулять, точнее, отошли в сторону по большому лугу так, что нас видели все. Вероятно, таков был приказ, полученный дома Милочкой. Варвары Михайловны не было, но тревожная душа ее царила над нами. Милочка отказывалась идти гулять, я спорил с ней по этому поводу, и вдруг отчаянный крик — “Женя, Женя!” — привлек меня. Звал детский голос со стороны леса. Я побежал на зов. Батюшкин сынишка, худенький и длиннолицый, с ужасом вглядываясь в чащу, сообщил, что оттуда вышел волк и стал на него смотреть. Волка я не обнаружил. Скоро подоспел и батюшка. Мальчика, очевидно, напугала одна из хозяйских собак. Батюшка удивился, что мальчик его позвал на помощь именно меня. Я же был польщен и в глубине души считал это подтверждением того, что я человек особенный. Хозяин-лесник повел нас гулять куда-то. Вдруг на дорожку из леса выбежал нескладный и неуклюжий зверь. Выхватив револьвер, лесник выстрелил в него дважды и промахнулся. Стреляя, он кричал: “Глядите, барсук!” Зверь умчался в чащу, а за ним соловьевские собаки. Как длинен был этот день.

14 августа 1952 г. Мы бродили и всем табором, и поодиночке лесами и лугами. Марья Александровна позвала гулять меня с Милочкой. Против лужка, где мы сели отдохнуть, лежал холмик правильной, полукруглой формы, с полукруглыми невысокими

стогами только что скошенной травы. Я сказал, указывая на холмик: “Вот доказательство того, что Земля круглая”. Милочке очень понравилась эта шутка, и она заставила меня повторить ее погромче, чтобы и Марья Александровна расслышала. Марья Александровна рассеянно улыбнулась. Она устала от прогулки, поездки, целого дня на воздухе. Не то что устала, а была как бы в тумане и все засыпала. Как я ужасно пишу сегодня. Не засыпала, а начинала дремать. Но я не смел говорить с Милочкой о моей любви — стыдно было пользоваться глухотой Марьи Александровны! Я звал Милочку, уговаривал знаками уйти от задремавшей спутницы нашей, но она не соглашалась. Марья Александровна, видимо, отлично замечала все это. Она сказала неожиданно: “Я все вижу и все слышу”, и Милочка большими глазами посмотрела на меня. Обратно мы шли, когда было уже темно, и Милочка сказала мне: “Почему ты избегаешь называть меня по имени?” Я не мог объяснить ей богобоязненность моих чувств и стал отрицать самый факт этот. И мы вернулись домой. А теперь мне предстоит рассказывать о временах печальных. Небо заволокло тучами (я говорю о “наших отношениях”). И только я был в этом виноват. Я ото дня ко дню становился придирчивее и непростительно просительно-требователен. Лето подходило к концу. И вот Соловьевы собрались в большое путешествие в горы — с палаткой, лошадьми, вьюками. И Милочку отпустили с нами. И я весело, не ожидая никаких бед, отправился в дорогу.

16 августа 1952 г.

Не хочется мне рассказывать подробно об этой поездке. До сих пор вспоминаю я о ней с горечью. Я все мучил Милочку своей любовью, добивался от нее — чего? Сам не знаю. Мы добрались до гор Фишт и Аштен. Шли горными тропами, ведя под уздцы навьюченных коней. Ночью раскладывали палатку, просторную, вмещавшую всех. Спал я рядом с Милочкой. Нечаянно коснулся ее колен своими и испытал счастье, доходящее до печали. Милочка не отодвинулась, смотрела на меня загадочно. Я сам подумал: “Нет, это уж слишком”, и почтительно подобрал ноги. А ссориться с ней я не стеснялся. И я ужаснулся, когда наконец довел Милочку до того, что она просто перестала разговаривать со мной. Довел своими придирками, обидами, сценами ревности. Стыдно рассказывать! Я со своим страхом боли пришел просто в ужас. Милочка не хотела мириться, не принимала извинений, не сдавалась.

И тут я стал думать о самоубийстве. Когда мы стали на ночлег недалеко от горного озера, я пропал. Ушел, чтобы утопиться или броситься в пропасть: будь я чуть-чуть деятельней, то я умер бы тогда. Но в мечтах я по дороге видел свою славу, полное примирение с Милочкой, и, когда я добрался до озера, умирать мне уже не хотелось. Но я все-таки влез по горло в воду, рассчитывая, что заболею воспалением легких. В лагере нашем обеспокоились. Я увидел мелькание фонарных огней, услышал зов: "Женя! Женя!" На душе у меня было совсем полегчало, но, вернувшись, я убедился, что на Милочку исчезновение мое не произвело впечатления. Дожди, обычные в горах по утрам, тут зарядили подряд на целые дни. Лошадь с вьюком, которую я вел под уздцы, по неосмотрительности моей заскользила, съехала с тропинки под гору и, рухнув набок, застряла между камнями. Беспомощность этого четвероногого, едва копыта его отделились от земли, оказалась ужасающей. Все мы собрались вокруг лошади, с трудом расседлали ее, точнее, распустили подпругу. Срубили дерево. Сделали из его ствола рычаг (они, а не я. Я стоял беспомощный и виноватый в стороне).

17 августа 1952 г. Рычагом этим лошадь подсадили, и ее обезумевшие глаза приняли осмысленное, напряженное выражение. Еще несколько мгновений криков, всеобщего старания (один я стоял, опустив руки и чувствуя себя преступником) — старания, у многих выражавшегося в том, что они вопили "но, вперед!" такими голосами, будто надрывались, надсаживались, — и лошадь поднялась, дрожа. Стояла она с еще более виноватым видом, чем я, и дрожала. Один бок ее измазан был в глине. И круп стал темно-коричневым, а она до этого была серой масти. Мне никто ничего не сказал, но я угадывал, что меня осуждают и за откровенные, распущенные чувства мои, и за то, что я дал коню сойти с тропки. Никто и не глядел в мою сторону, но коня передали кому-то другому. А я его еще так недавно похлопывал по шее и разговаривал с ним, а на привале угостил хлебом с солью. Обиженный, шагал я в стороне. На Аштен к леднику поднялись не все. Часть осталась в лагере, в долине. Ледник оказался совсем не таким, как я ждал, льда я не увидел. Белая пелена падала круто вниз между скалами, расширяясь по мере падения. Лед был покрыт фирном. К леднику пути не было. Мы скатывали вниз камни, чтобы хоть так прикоснуться к белому неподвижному потоку. Но и это, помнится, прекратили — кому-то

пришло в голову, что мы можем таким образом вызвать обвал. Не помню, этот лагерь или какой-то другой разбили мы в долине, которая задела мое воображение и на миг привела в порядок бесстыдно распустившуюся мою душу. По долине разбросаны были камни в человеческий рост, с острыми гранями. Мне чудились в этом каменном хаосе — какое-то выражение, чья-то воля. От этой каменной долины повернули мы домой. Вот тут дожди с особым упорством прихватили нас и не хотели отпускать.

18 августа 1952 г.

Дожди зарядили в горах. Милочка совсем перестала разговаривать со мной. Идти стало трудно, хоть мы и выбрались на какое-то подобие проселка, по колеям которого бежали вниз нам навстречу мутные, желтоглинистые ручьи. Всем приходилось туго, а Милочке в ее городских башмачках на пуговичках — хуже всех. А она об этом молчала из гордости. Каблуки у нее стоптались, ботинки совсем свернулись набок, она еле шла, что заметил наконец Коля Ларчев, здоровенный и красивый парень, художник, к которому я ревновал Милочку без всяких оснований. Только от сознания его силы. В простоте и добродушии своем он, конечно, и не подозревал этого. Он сообщил мне, что Милочка еле идет, и только тут я догадался, что сегодня суровое выражение лица ее вызвано болью, а не моим поведением. Кончилось дело тем, что мы взяли с Колей дощечку, и Милочка уселась на нее, как на скамеечку, и мы с Ларчевым понесли бедную девочку вверх по дороге, навстречу глинистым ручьям. Так мы добрались до Геймановской сторожки. Тут выяснилось, что Милочка натерла ногу до крови и идти не может. Но лошади наши из вьючных снова превратились в упряжных. От Геймановской сторожки шла проезжая дорога. И дожди вдруг прекратились. Я срываю веточку ажины, подаю, подаю Милочке, сидящей на телеге. Она берет ветку, но тут вдруг Коля Ларчев, не заметивший , что я подал Милочке ажину, протягивает ей новую веточку, гораздо более зрелую и крупную. И Милочка выбрасывает мою и берет Колину. Миша Зайченко хохочет надо мной, отвернувшись. Я в одиночестве, никто не сочувствует мне. Юрка Соколов подчеркнуто недоволен мной. Василий Федорович и не глядит в мою сторону. Уже недалеко от Майкопа Юрка, спокойно шагавший возле можары, вдруг почти без разбега перепрыгивает чехардой через идущего впереди высокого спутника. Делает он это так легко и красиво, что Василий Федорович смеется.

А я умиляюсь и огорчаюсь — я так не могу.

19 августа 1952 г.

В Майкопе уже чувствовалась осень, роковая, печальная осень моего счастья. Уезжал я в горы полный надежд, а вернулся в безнадежном унынии. Я оказался в одиночестве, друзья отвернулись от меня. Зрелище слабости моей отвратило их. Но я почти не замечал этого. Рядом с основным, все заполняющим событием — ссорой с Милочкой — все казалось легко исправимым, мелким. В последние дни в горах Милочка разговаривала со мною как бы издали или через дверь на замке. Я что-то сломал в ее любви ко мне. И чувствовал это безошибочно. Вернувшись, Милочка долго не могла ходить, все не заживали натертые ноги. Я ждал ее в городском саду, ловил на путях, которыми она обычно ходила, — и напрасно. Я шагаю под огромными акациями, мимо решетки городского сада. Мальчишки камнями и палками сбивают с веток коричневые рожки. И я думаю: "А вдруг все мои мучения выдумка? Вдруг я встречу прежнюю Милочку, а не эту, новую, как бы уснувшую, как бы притушенную". И, думая так, в глубине души я сознавал, что несчастья мои только начинаются. Милочку я увидел через несколько дней. Нет, это была ушедшая далеко-далеко Милочка. И после долгих разговоров она по особенной своей правдивости сказала, что не знает, любит она меня или нет. Это было ужасно и непоправимо. Я поверил, что никакими силами не восстановить мне того, что разрушено. Я и до сих пор умел мучиться, не зная масштабов. Но тут я ощутил разницу между вымышленной бедой и настоящей. Единственно правильного пути — взять да и отойти от Милочки — я не видел. Сила моей любви ослепила меня. Или по слабости моей я слишком уж сильно ее любил. Я ловил Милочку на каждом шагу и все умолял вернуться ко мне или ругался и проклинал и только губил дело. А погода была зловещая — все собирались грозы и не могли разразиться — как бы для меня.

20 августа 1952 г.

Мы идем от Зайченко поздно вечером, и молнии все мелькают где-то далеко, может быть, над лесными морями у перевала. У нас только вспыхивает горизонт в том направлении. "Воробьиная ночь", — говорит кто-то из моих спутников. Я впервые слышу это название. Вокруг меня осиротевший мир — ушло мое счастье.

Милочка идет с нами как бы уснувшая, непонятная. И я молчу, да и все молчаливы, спит мое безумное, заразительное оживление. Мне купили костюм, готовый у Богарсукова. У Чумалова купил я галстук и воротничок 37-й номер. Мы собираемся в Москву. Из Коммерческого института ответа все нет, но у папы отпуск, и он решает провести его в Москве, поработать у кого-нибудь из светил-хирургов, что тогда было принято, и заодно пристроить меня куда-нибудь, если не в Коммерческий институт, то к Шанявскому, чтобы год не пропадал. И мы едем. Незадолго до этого произошло крушение на станции Сосыка. Мы видим обожженную траву под откосом. Обломки вагонов. В первый раз в жизни попадаю я в вагон-ресторан — и радуюсь блеску судков, огромным окнам, мягкому стуку колес. Мы едем в III классе, и я считаю это вполне понятным, даже хорошим тоном. Так ездят и Соловьевы, и Истамановы, и даже Зайченко, люди состоятельные. Когда мы сидим в пустом почти вагоне-ресторане и обедаем, там появляется тощий странный человек с темными выпуклыми глазами. Он начинает приставать к инженеру-путейцу за соседним столом. Тот сначала терпеливо отвечает на его вопросы, потом, вспылив, приказывает ему уйти и тотчас же с улыбкой оглядывается на нас. Не с улыбкой, а с раздраженным коротким смешком: “Видали, мол, наглеца?” Странный человек удаляется. “Это пьяный?” — спрашиваю я отца. “Сумасшедший!” — отвечает папа. И сердце у меня сжимается. Тайный ужас перед осложнениями страшной папиной болезни не оставляет меня. Едем по Курской дороге.

21 августа 1952 г.

Я впервые в жизни вижу высокие белые вокзалы, и они кажутся мне чужими, неприветливыми, да и папа говорит, что Владикавказская железная дорога куда богаче и благоустроенней. Тоскливое чувство — вокруг новый мир, в котором я одинок,— не исчезает, а усиливается в дороге. Маленькая станция, раннее утро. Странный крик детских голосов. Они повторяют одно и то же слово — и знакомое, и незнакомое: “Млачка, млачка, млачка”. Я выхожу на площадку и вижу: с десяток девочек с кувшинами, бутылками, кружками продают молоко. На другой, такой же маленькой белой станции с желтеющими деревьями я был озадачен незнакомым птичьим криком. Кто-то объяснил мне, что это галки. Рассвет. Я стою на площадке вагона и слышу торопливые, как бы негодующие выкрики, слышу возню в ветках, хлопанье крыльев и удив-

ляюсь чужому миру. Десять лет я не выезжал с юга, и каких десять лет — от семи до семнадцати. В Москву мы приехали вечером и остановились на Тверской в меблированных комнатах "Мадрид" или что-то в этом роде. Помещались они на втором этаже, примерно на том месте, где Театр им. Ермоловой. Утром вышел я взглянуть на Москву. Чужой, чужой, мир, люди, люди, люди — всем я безразличен. Отвратительная суета, невысокие грязные дома, множество нищих, жалкие извозчики, одноконные, с драными пролетками. Я спустился к Охотному ряду — грязь, грязь — и дошел до Большого театра. Вот он мне понравился. Теперь я вижу, что шел я с папой, у "Метрополя" мы сели на трамвай и поехали в Замоскворечье, в Коммерческий институт. В Екатеринодаре тогда была всего одна трамвайная линия. Трамвай останавливался на каждом углу, и того же я ждал от московских трамваев. Папа, насмешливо улыбаясь, объяснил, что московские трамваи имеют разные номера и направления. В Коммерческом институте чужие и враждебные канцелярские служащие порылись в каких-то списках и сообщили: "Не принят за отсутствием вакансии".

22 августа 1952 г.

Как нарочно, я был так одинок, что и писать некому было. Кроме Милочки. Ей я сразу же послал письмо, причем слова "женская гимназия" на адресе были дважды жирно подчеркнуты, чтобы майкопские почтальоны, и без адреса отлично знающие, кто где живет, не отнесли моего послания к ним домой, Варваре Михайловне в руки. Подумавши, я послал открытку Ваське Муринову. Адрес мой пока был таков: 9 почтовое отделение, до востребования. И получив от Васьки ответ, я так обрадовался: Майкоп, значит, существовал еще! Я вышел из грязного почтового отделения в грязный двор, перешел через узкую, враждебную, безразличную ко мне Тверскую, с шумными и нарядными трамваями и грязными извозчиками, и в номере еще раз перечитал Васькин ответ. Майкоп существует еще! Вскоре мы сняли комнату — гостиница нам была не по карману. Папа нашел ее на Владимиро-Долгоруковской улице в семье какого-то тощенького военного чиновника с полной, несколько обрюзгшей молодой женой. Папа заметил, что у нее с почками неладно — отекает лицо. С переездом сюда московская тоска стала еще отчетливее, просто окружила меня. Домой я ходил по Малой Бронной. Не так пишу. Куда бы я ни шел, я попадал почему-то на Малую Бронную. Надо посмот-

реть, когда буду в Москве. Кажется, Малая Бронная была продолжением Владимиро-Долгоруковской, вела к Тверскому бульвару. Маленькие лавки, маленькие киношки, пивные, серый полупьяный в картузах и сапогах народ, вечером никуда не идущий, а толкущийся на углах у пивных, возле кино. Босяки, страшные, хриплые проститутки — тут я их увидел на улице впервые. Так вот она, столица! Вот предел мечтаний майкопской интеллигенции, город людей, из которых что-то вышло. Обман, мираж, выдумка старших. Где сорок сороков? Бедные, подмокшие на осенних дождях церквушки теряются среди грязных домов.

23 августа 1952 г.

Храм Христа Спасителя поражал своим невиданно огромным золотым куполом, но я знал, что знатоки не одобряют его и считают просто несчастьем, что витберговский проект не был осуществлен. Я пошел в неряшливо содержащийся Кремль. По его булыжной мостовой трещали колеса пролеток, проезжали ломовики с рогожными тюками, что казалось мне тоже признаком чисто московским. Рогожное богатство. Не понравился мне и дворец. Старая Русь и николаевская перемешаны, как в московской солянке. Общее было — рогожная, неряшливая, осенняя московская окраска. И духа истории поэтому не ощутил я в Кремле. Старая отодвинута, новая в Петербурге. Соборы внутри были как-то в дремоте, народу нет. Святые глядят отчужденно, не то что в Жиздре. Только Василий Блаженный привел меня в чувство, разбудил ненадолго. И внутри узкие переходы, узорная роспись стен. Он — не спал. В Кремле я бывал почти каждый день. Я попытался понять, откуда я глядел десять лет назад на дворцовую крышу? Где я увидел такую массу печных труб? И не увидел. Об истории больше не думал, не мучил себя. Это был Кремль 13-го года, площадь Москвы, огражденная древними, но живущими сегодня, сегодня стенами. Узнав, что в одном из кремлевских зданий заседает окружной суд, я зашел туда. В маленьком зале слушалось дело о краже. Молодой, но плешивый, длинный, узкоплечий адвокат, на которого я смотрел с уважением, с благоговением — московский адвокат! — оказался дурачком, в чем я не сразу признался себе. Присяжные были солидные, пожилые, седые, в визитках. Одному из присяжных во время складной, но ничтожной речи защитника стало дурно, что этот шшот, судя по улыбке, приписал мощи своего красноречия. Подсудимого оправдали. Я шел домой в тоске. Горевал.

18 августа 1952 г.

Я тосковал и горевал, потому что с каждым днем становилось яснее, что нет на свете той Москвы, о которой я привык думать как об окончательной, абсолютной инстанции, более высокой, чем Петербург, сборище совершенств во всех областях. На домах, знакомых по фотографиям, по открыткам, точнее, на знаменитых домах Москвы — штукатурка облупилась, темнели пятна, казались дома озабоченными, служащими. Только дом Пашкова — Румянцевский музей казался на своем холме прекрасным. Печально я шел из окружного суда на Владимиро-Долгоруковскую. На углах лотошники продавали виноград — новое разочарование. Ташкентский виноград по сравнению с нашим, майкопским, казался мне деревянным, не случайно засыпанным опилками, которые с трудом отмывались. Взяв у отца рубль, отправился я однажды в театр. Я, судя по Майкопу и Екатеринодару, считал, что подойдешь к кассе, купишь билет — и все. Но всюду все билеты были проданы. Маруся Зайченко рассказывала, что в Художественном театре билеты всегда проданы, но все было продано и у Корша, и в опере Зимина. Только у Незлобина мне удалось купить билет на галерку. Шло "Горячее сердце". Хорошо, но не слишком, почувствовал я с первых же явлений. Почему? Я знал, что мечта каждого актера служить в Москве. Почему же столько средних артистов ходит по сцене? Мне понравился Нелидов, но Лихачев! Какой же это Вася? Что это значит? Что за несправедливость, глупость, недоразумение? В конце спектакля вместе с актерами вышел кланяться лысоватый улыбающийся человек. Только утром из "Русского слова" я узнал, что это был режиссер спектакля Зонов. Я, сам того не подозревая, попал на премьеру. В рецензии Зонова хвалили, называли талантливым, и я пожалел, что не рассмотрел его получше. Борис Григорьевич Вейсман пригласил нас обедать. В Москве он процветал. Занимал он большую квартиру где-то на углу Тверской и одного из переулков, идущих к Дмитровке.

25 августа 1952 г.

Я шел к веселому, приветливому Вейсману, которого помнил с 1909-го (кажется) так, будто видел его вчера. Уехав тогда из Майкопа, куда приезжал на несколько дней, он прислал мне открытку из Константинополя, с Принцевых островов. На цветной открытке изображены были веселые мальчики, босые, оборванные. Смеясь, они стояли возле своих ослов. Вейсман объяснял в открытке веселым,

небрежным почерком карандашом, что эти мальчики — погонщики ослов. "Осликов", — писал он, что меня несколько даже обидело. "Так пишут детям",— подумал я. Одним словом, я считал Вейсмана старым другом. "Память сердца" тут впервые подвела меня, что в те дни было непривычно. Вейсман, вырвавшийся из майкопской жизни в другой мир, встретил нас приветливо, но в обращении его я угадал ту же враждебность, что мучила меня в московской толпе, что разлита была в осеннем, туманном московском воздухе. Мы были чужие тут. Я знал, что Вейсман развелся с Анной Ильиничной, рассказывали, что его новая жена красавица. Но эта пышная московская женщина была нам тоже чужда. Когда за обедом подали артишоки, папа, вместо того чтобы поглядеть, как их едят другие, сказал громко: "Объясните, как с этой штукой обращаются". А Вейсман, вместо того чтобы так же весело и шутливо ответить, стал объяснять без улыбки, что листики обрываются и съедается их мясистая часть. Не улыбнулась и его жена. Вейсман со своей квартирой и красавицей женой принадлежал к тому миру, который так страшен был мне, более того, он являлся одним из хозяев этого мира. Он рассказал за обедом, как они были на днях в Большом театре. Пел Собинов, и его освещали прожектором. Они сидели в ложе бенуара. Они стали громко возмущаться безвкусицей этого приема. Директор театра, который сидел в ложе рядом, встал и вышел, и прожектор погас. Ха-ха! Встал, вышел и приказал погасить дурацкий прожектор.

26 августа 1952 г.

В мою сторону хозяин московской жизни, по слову которого директор вставал и бежал гасить прожектора на сцене театра, и не глядел. Через несколько дней он позвонил к нам на Владимиро-Долгоруковскую. Папы не было дома. Вейсман сказал, что сожалеет об этом — у него есть место в ложе в Большом. "Ах, жалко, жалко!" — повторил он задумчиво. Я ждал, что он позовет меня, но не дождался. И больше мы никогда в жизни не разговаривали и не видались. Но краткая эта встреча прибавила к темной той московской осени еще одну тучу. Нет, счастье отвернулось от меня, просвета нет. Я в чужом городе, где такие, как я, никому не нужны. И я все бродил, бродил по улицам. На Тверской, примерно там, где теперь почтамт, один из домов почему-то выступал фасадом вперед до середины панели. Здесь образовывался угол, особенно теснилась толпа прохожих, и на зеленой стене, перегораживающей панель,

висела низко вывеска-реклама нескольких магазинов с зеркалом посередине. Сколько раз видел я свое унылое лицо в этом зеркале, а московская толпа колебалась, шагала, теснилась на ходу вокруг. “Да, тут знакомого на улице не встретишь!” — повторял много раз папа с некоторой даже гордостью за Москву, а меня это как раз и ужасало. Познакомились мы еще с одними хозяевами Москвы, совсем другого рода. Известный акушер и гинеколог (родильный дом на Молчановке до сих пор носит его имя) — доктор Григорий Львович Грауэрман приходился отцу двоюродным братом. В студенческие годы был он репетитором в семье Сатиных, да так и остался в этой известной дворянской, интеллигентской, московской семье на всю жизнь. О нем Беллочка говорила как о человеке, из которого что-то вышло. Блеск его имени увеличивался еще и тем, что Рахманинов был племянником Сатиных.

27 августа 1952 г.

Дом у Страстного монастыря. Позади Страстного монастыря. Второй или третий этаж. Высокий, выше моего высокого отца, стройный, аристократический Григорий Львович, молчаливый и сосредоточенный. За ним неотступно следует пес, шерстью напоминающий сеттера, но гораздо более крупных размеров. Григорий Львович так же чужд, глядит на нас так же издали, из другого мира, как и Вейсман, но мне это менее обидно. Григорий Львович просто занят, озабочен. Молчаливостью и повадками своими напоминает он мне Василия Федоровича Соловьева. За обедом мы знакомимся с четой Сатиных. Он низенький по сравнению с Григорием Львовичем, отяжелевший человек с седыми короткими волосами. Она — седая представительная дама. Но если бы меня спросили, кто из трех этих людей принадлежит к старой, интеллигентской, дворянской семье, я сразу указал бы на Григория Львовича. За обедом, не помню по какому поводу, разговор заходит о “Сережиных концертах”. Говорят о них так просто, что я не смею верить, что речь идет о Рахманинове. Полушутя, когда речь заходит о газетах, Григорий Львович говорит, что привык к “Русским ведомостям”. “Русское слово” я не умею читать”. Темная, тяжелая, солидная мебель, степенные, солидные люди. Возвращаясь домой, я не был обижен, как после обеда у Вейсманов, но все же огорчен. И среди внушающих доверие москвичей мне места не было. Дружески приняли нас у Володи Альтшуллера. Сутулясь и ласково улыба-

ясь, он разговаривал с нами знакомым по народному университету мягким, серьезным тоном, как с равными. Так же внимательна и ласкова с нами была его жена. Ласково приняли нас и в семье доктора Григорьева, папиного сослуживца по недолгой службе его в Дмитрове. Поехали мы к ним вечером, часов в восемь, на трамвае Б. Я успел вскочить на площадку, а папа нет. Глядя на него, не понимая знаков, которые он мне подавал, я прыгнул с площадки спиной к движению и упал. Папа долго бранил меня за это.

28 августа 1952 г.

После этого случая папа, все с той же гордостью за Москву, повторял не раз: "Тут надо выходить за час до назначенного времени. Вечером в трамвай не сядешь". Григорьевы жили в Замоскворечье. Длинный со впалой грудью отец, мать, сибирячка, широколицая, широкоскулая, черные глаза щелочками, и дети: Андрей, Тарас, Юра. Первому было лет пятнадцать-четырнадцать. Я обошелся с ними, как старший: смешил их, показывал, как могу, завязав веревку на бицепсе, шпагатик, точнее, разорвать его, напрягая мышцы, лаял по-собачьи. У Григорьевых познакомился я с сестрой хозяйки, кажется, ее звали Ольга Николаевна, и с мужем ее, здоровенным, решительным, очень некрасивым человеком по имени Николай Философович. У них собирались студенты, все сибиряки из Красноярска, родственники и друзья. Познакомился я там с Галей Ветровой и ее подругой, имя которой забыл. Николай Философович работал, помнится, в каком-то кооперативном издательстве или предприятии — в кабинете его лежали возле письменного стола образцы каких-то таблиц, стекла для волшебного фонаря. Студенты, с которыми я познакомился в их доме, приняли меня ни тепло, ни холодно. Они жили своим землячеством, чувствовали себя в Москве уверенно, и я им был ни на что не нужен. А с Галей и ее подругой я подружился в дальнейшем, когда московское одиночество окончательно скрутило меня. Я узнал, что Николай Философович знаком с писателями, и в том числе с Арцыбашевым. Я стал расспрашивать о нем почтительно, что рассердило Николая Философовича. Он сказал об Арцыбашеве насмешливо: "Этот на бильярде хорошо играет", и больше на эту тему не разговаривал.

29 августа 1952 г.

Я увидел афишу, что в Политехническом музее писатель Марк Криницкий прочтет лекцию на тему о слове, точное название забыл. Бородатый и нервный человек доказывал

не слишком красноречиво, но без признака робости, что слово бессильно, передает подлинный смысл приблизительно и несовершенно. Огромная аудитория музея была наполнена до отказа и слушала внимательно. Я был полон двумя чувствами. С одной стороны, я Криницкого презирал, так как не читал ни строчки его и знал, что его не принимают всерьез. С другой стороны, я необыкновенно уважал его и разглядывал, как чудо: все-таки он был настоящий писатель. Книжки его печатались, я видел их в книжных магазинах и железнодорожных киосках. Я не сомневался, что все московские писатели придут на лекцию, и жадно искал их в первых рядах. Особенно хотелось мне видеть Бунина. Одна строчка его стихов сыграла в моей жизни тогдашней роль вроде вышеуказанной блоковской. Я прочел у Бунина: "Курган был жесткий, выбитый, кольчуга колола грудь".

30 августа 1952 г.

По этой строке я влюбился в него, и любовь эта не ослабела с годами, нашла подтверждение. Бунина не было. Так как после лекции должен был состояться диспут, то создался президиум. В него не избирали, а сам Криницкий, обращаясь в публику, называл известных лиц, звал на эстраду. Одни отказывались, другие шли. Увы! Среди этих известных лиц я не знал ни одного. Кто-то из них выступал, кто-то сидел в президиуме молча. Криницкий стал просить, чтобы выступил сухенький, маленький еврей с неподвижным лицом, сидящий в первом ряду. Он отказывался. "Выступите!" — попросил Криницкий, и его лицо сложилось в гримасу, которую я понял так: "Ну что вам стоит! А мне это нужно". Еврей с неподвижным лицом согласился, маленькая его фигурка появилась на кафедре, и вдруг все с тем же неподвижным лицом он заговорил страстно, быстро, легко и литературно, за что я тотчас же осудил его. Ко времени диспута я уже пробрался к самой трибуне. Я глядел на оратора, на зал и вынужден был все-таки согласиться с тем, что речь держит мастер своего дела. Аудитория притихла, стулья не скрипели, все заслушались. Маленький еврей, фамилия его оказалась Абрамович, взял "слово" под защиту: "Камиль Демулен поднял народ на взятие Бастилии, слова спасают жизни и призывают смерть. Без слов у нас не было бы самого понятия "точность",— и так далее и тому подобное. Успех Абрамович имел огромный. Я, презирая Криницкого, тем не менее в глубине души верил больше его косноязычию, чем лихой, блистающей скорей клеенчатым, чем лаковым блеском речи его

оппонента. Криницкий в заключительном слове держался своего. "Это для вас — (и он назвал Абрамовича по имени-отчеству) — слова — друзья. А для меня..." и так далее. Приближался конец папиному отпуску. Он все это время работал у хирурга Герцена.

31 августа 1952 г.

Незадолго до его отъезда отправился я в университет Шанявского на Миусскую площадь. Там я записался на лекции юридического факультета. Мне очень понравилось в коридорах здания, показались необыкновенно уютными диванчики в углублениях за колоннами в холле второго этажа. Там свисали с потолка лампы в кубических матовых фонарях. С одной из лестниц в длинное окно увидел я Миусскую площадь — унылую, осеннюю, брандмауэры домов, закат за домами. Рамка придавала этому виду особую выразительность, примирившую меня с его московской окраской. В другое окно (кажется, из холла второго этажа) виднелся второй корпус университета, или второе его крыло. Я вглядывался в огни этого корпуса с особым уважением: говорили, что там работает профессор Бахметьев, болгарин. О его опытах по анабиозу рассказывали чудеса. Увидел я библиотеку, лекционные залы. Одна аудитория была очень велика — круто̀ падающим амфитеатром напоминала она мне большой зал Политехнического музея. Но была она парадна, нова. Стиль модерн, в котором был выстроен университет Шанявского, очень нравился мне. И был-то он выстроен недавно, году в 10-м, вероятно. В канцелярии были вежливы, но я чувствовал, что не нравился строгим девицам, записывающим меня, как не нравился Вейсману, Грауэрману, Сатиным, Москве вообще. Мы отправились с папой искать комнату и нашли ее на 1-й Брестской у площади Брестского вокзала, он же Александровский, ныне Белорусский. Прежняя наша комната на Владимиро-Долгоруковской была для одного меня велика. Новая комната оказалась длинной, кишкообразной, хоть и чистой. В углу у окна стоял дамский письменный столик с затейливым стеклянным шкафчиком модерн.

1 сентября 1952 г.

Крошечный столик с маленьким шкафчиком со стеклянной дверцей, поделенной на четырехугольнички. Лампочка в виде декадентски вытянутой бронзовой девушки. Собрание сочинений Уайльда в издании Маркса и Куприн в том же издании.

Тетрадки. Полоски бумаги со стихами и тоска, тоска, одиночество, одиночество. Сколько часов просидел у этого столика, в тысячный раз перечитывая Куприна и Уайльда, которых купил у букиниста, или сочиняя отчаянные письма Милочке, или стихи и даже рассказы. Любил я Уайльда и Куприна? Не знаю. Но они подвернулись мне и не беспокоили меня в моей знаниефобии. Занятия в университете Шанявского шли вечерами. И я убедился в ужасе, что не могу слушать профессоров — и каких! Мануйлов, читающий политическую экономию, Кизеветтер, о котором говорили, что он второй оратор Москвы (первым считали Маклакова), Хвостов, Юлий Айхенвальд (критик) и многие другие внушали мне только тоску и ужас, и я не в силах был поверить, что их дисциплины (тут я впервые услышал это слово) имеют ко мне какое-то отношение. В тайниках души я был уверен, что они ничего не стоят со своими дисциплинами. Помню, как, глядя на синеватый нос профессора Хвостова и на его сердитые глаза, я думал о том, каков он дома, и вспоминал, что курсистки кричали ему: “Свинство, свинство” за то, что он сорвал им какую-то забастовку. Не признал ее. Я помню его лицо, бороду, глаза, даже отдельные фразы (он сравнивал людей, разговаривающих ради процесса разговора, с галками, кричащими вечером в московских садах). Все это я помню, а что он читал, не помню. Как будто общую теорию права? Я не имел ни малейшей склонности к юридическим наукам и чем ближе их узнавал, тем более ненавидел. Папа уехал. Я проснулся утром в своей комнате с чувством свободы. Я сам себе хозяин! Сделав гимнастику, я вышел.

2 сентября 1952 г.

Вся Москва тогда была покрыта сетью молочных магазинов Чичкина и его конкурента Бландова. Чуть ли не на каждом квартале в облицованных кафелем (белым изнутри, зеленым с улицы) магазинах продавались молочные продукты и колбасы. В утро первого дня самостоятельной моей жизни я вышел на Тверскую и купил хлеба, газет и, подумавши, коробочку конфет — помадки в гофрированных белых бумажных одежках. Тут же меня озарила великая мысль, что обедать меня тут никто не может заставить. Точнее, есть первое. И я купил фунт колбасы у Чичкина, решив, что это и будет моим обедом. Горничная, с огромными светлыми ненавидящими глазами, молча принесла мне самовар. Я долго-долго пил чай, ел, причем съел нечаянно целый фунт колбасы,

принесенный на обед. Прочел "Русское слово", и в положенный час явился учитель латинского языка, еще одно московское горе. Предполагалось, что, выучив в полгода гимназический курс латыни, я сдам его в декабре при Московском учебном округе, где такие экзамены принимались. (Весной их разрешалось сдавать при любой гимназии.) Учителя папа нашел по газетному объявлению. Это был сердитый еврей с бородкой сероватого цвета. Когда он закрывал рот, бородка до странности сильно приближалась к усам, как это бывает с беззубыми. Но у учителя моего все зубы были на месте. Презирал он меня откровенно и не без основания: я не умел учиться. А высокая школьная техника уклонений и обманов не годилась для взрослого парня, встречающегося с учителем один на один. В течение часа, раздражаясь, захлопывая рот так, что усы и бородка смыкались в одно целое, требуя и объясняя, и насмехаясь, и пожимая плечами, он ругал меня и удалялся, наконец, причем я, в сознании вины своей, не радовался даже этому.

4 сентября 1952 г.

Итак, учитель, уходя, оставил меня в состоянии тяжелого недовольства собой. И я вышел из дому. За несколько дней до папиного отъезда приехала в Москву Маруся Зайченко. Поселилась она в Георгиевском переулке на Спиридоньевке. Она встретила меня приветливо, но тут я впервые ощутил разницу между летней и зимней дружбой. Она была озабочена курсами, музыкой, московскими своими делами. В Москве она была своя, пришлась ко двору, и ей не в силах я был втолковать, чем я тут огорчаюсь и мучаюсь. Но она видела, что в Москве я нелеп, и все уговаривала опомниться, взять себя в руки, найти себе тут место. Она водила меня по московским переулкам, чтобы показать, в чем особая прелесть города. И в самом деле, я полюбил Гранатный переулок и до сих пор не могу забыть его. И в первый день моей самостоятельной жизни я отправился, огорченный учителем, туда, в Гранатный. Мечтать. Собаки лечатся травой, а я успокаивал угрызения совести своей хождением. Сначала я останавливался у старинного особняка с колоннами. Одни говорили, что он уцелел от московского пожара, другие, что это позднейшая подделка. Правы оказались первые, но в 13-м году я не знал, кому верить, и это раздражало меня. Я выбрал для мечтаний особняк на другой стороне улицы. И сегодня я представлял себе в подробностях, как я в этом особняке

живу, окруженный почетом и славой. Ранними осенними сумерками побрел я в университет Шанявского. Деревянные Тверские-Ямские. На одном из самых печальных деревянных бедных домов мемориальная доска сообщает, что жил здесь народный поэт Дрожжин. И вот я в аудитории, с тоской еще более острой, чем в училище, жду перерыва между лекциями. И ничего-ничего не слышу.С почтением и презрением гляжу я на сосредоточенные лица профессоров: “Дисциплины ваши не то что противоречат, а несоизмеримы всему моему миру”. В перерыве я сижу на черном диване в нише за колоннами в холле второго этажа в тоске и одиночестве. И не иду на лекцию.

5 сентября 1952 г.

И возвращаюсь домой. И вижу, что у швейцара на столе уже лежит вечерняя почта, но конверта со знакомым, таинственным и прекрасным, острым почерком — не обнаруживаю. Я угадываю это сразу, едва взглянув на почту, и тоска уже открыто мертвой хваткой берет меня за горло. Таков был первый день моей вольной жизни в Москве. Не привыкший к систематическому труду, изнеженный мечтательностью, избалованный доброжелательными и терпеливыми друзьями, югом, маленьким городом, где половину прохожих я знал если не по имени, то в лицо, я оказался один — и при этом безоружным и оглушенным силой своей любви — в сердитой Москве. И понемногу я стал умнеть. Прежде всего я заметил, что я окружен людьми несчастными. Толкущиеся у пивных, у кино москвичи в картузах и сапогах томились и ругались, иногда и дрались, собирая вокруг молчаливую толпу. Вот женщина несет узел, который ее задавил. Она присела на выступе забора. Терпит. Счастливыми казались только молочно-розовые приказчики у Чичкина и Бландова да охотнорядские молодцы. И я стал думать — думать, вероятно, впервые в жизни. Однажды, сидя на черном диванчике в холле второго этажа и глядя на таинственные окна бахметьевской лаборатории, я вдруг понял, как легко человек понимает уже открытое, найденное, названное и как медленно открывает, что идет вперед. И ужаснулся. Я думал невесть как ясно и ново, но думал. Только не на лекциях. Понимал я только историка Фортунатова да критика Айхенвальда. Первого любил, а второго ненавидел. Я тогда уже понял, что у писателя и критика разные виды сознания, нигде не сходящиеся, противоположные. Больше общего можно найти между математиком и писателем. Айхенвальд весьма рассудочно старался быть поэтичным. Когда

он мягким и вкрадчивым голосом говорил: "Слог Гончарова напоминает ряд комнат, устланных коврами", — я испытывал отчаянье.

6 сентября 1952 г.

И уже тогда ужасало меня название книг его: "Силуэты русских писателей". Силуэты! Да еще в дополнение ко всему фраза о Гончарове, слог которого напоминает ряд комнат, полностью находилась в его книге. А я с безграничной требовательностью человека из маленького города, мальчика из маленького города ждал от профессора чудес. И не признавая, я все же прятал это в глубине души. Я испытывал отчаяние: "И тут ничего хорошего!" Но звание "профессор" имело для меня непререкаемое обаяние. В отрицании моем не было уверенности. Был страх: может быть, все-таки это я ничего не понимаю. Кажется, в этом же году Айхенвальд обидел Белинского, назвав его "умным мальчиком" или что-то в этом роде, а Сакулин гневно за него вступился. Где я слышал Сакулина? Это было имя еще более известное, чем Айхенвальд, во всяком случае, более солидное, почтенное, академическое. Но и он показался мне до такой степени чужим! К Белинскому у меня было свое отношение, я его ощущал живым человеком, любил, несмотря на то что он был критиком. Он жил в моей душе не только тем, что написал, а тем, что рассказывалось о его жизни. Словом, к моему отношению к Белинскому, так же как и ко мне лично, споры Сакулина с Айхенвальдом отношения не имели. Мне было неинтересно. Я поглядывал на Сакулина и все старался угадать в нем признаки выдающегося молодого ученого. И не мог угадать. А Айхенвальд на горячую речь Сакулина отвечал мягко. Сказал только, что в своем выступлении Сакулин оказался более критиком-импрессионистом, чем он, Айхенвальд. Впрочем, возможно, что спор о Белинском разгорелся позже, когда я уже был студентом настоящего университета. Но отношение мое к обоим спорщикам и предмету спора было именно такое, как я рассказываю. Зато Фортунатов мне ужасно нравился. У него была кроткая вразумительная стариковская речь. Вразумительность подчеркивалась еще и тем, что у него была привычка повторять концы фраз, как бы диктуя. Седая бородища.

7 сентября 1952 г.

Выпуклый лоб. Седые волосы. Мне всегда казалось, что большая борода скрывает, прячет подлинное лицо еще действительнее, чем маскарадная полумаска. Скрыты такие

определяющие человека черты, как рот и подбородок. Поэтому Фортунатов походил на Дарвина и на Уоллеса, но сквозь эту маску так и светилось добродушие, которого жаждала моя душа. Ученый он был, по слухам, второстепенный, но огромная аудитория на лекциях его была полна. Лектор-то он был первоклассный. Однажды в самой середине лекции из рядов слушателей раздался вдруг чей-то громкий, возбужденный голос, выкрикивающий короткие непонятные фразы. На таинственного нарушителя порядка зашипели, и он умолк. Через некоторое время, говоря об интендантах в середине XVIII века во Франции, Фортунатов рассказал, что короля еще можно было обидеть, но интендантов задевать не разрешалось. И снова чей-то голос, чудовищно врываясь в чинное добродушное стариковское журчание профессорской речи, прокричал: “Нельзя ли оставить интендантов в покое!” На этот раз множество голосов закричало в ответ: “Замолчите! Вон из аудитории! Не мешайте слушать!” Какой-то грузин, судя по акценту, выбежал на ступеньки в проходе между рядами и закричал: “Это провокация! Университет хотят закрыть! НЕ поддавайтесь на провокацию!” Когда установилось спокойствие, Фортунатов тем же журчащим голосом продолжил свою лекцию и довел ее до конца. В перерыве выяснилось, что кричал сумасшедший, которого увезли. С лекции я пошел к Марусе Зайченко, горя желанием рассказать ей о событии, но не застал ее дома. Больше происшествий не было. С каждым днем мучительнее было мне слушание лекций, не имеющих отношения ко мне. С каждым днем хуже делалась погода. А тут еще выяснилось, что я не умею обращаться с деньгами. Папа присылал мне по тому времени очень много: пятьдесят рублей в месяц. И они расходились у меня неведомо куда с загадочной быстротой.

8 сентября 1952 г.

Мне казалось, что я в Москве уже много-много лет. Я бывал у Маруси Зайченко, у Альтшуллеров, у Григорьевых и Николая Философовича с Ольгой Николаевной, но все это были люди занятые, и множество вечеров оставались у меня пустыми, я сидел дома с острым ощущением бездомности. Маруся Зайченко однажды, гуляя, завела со мною дружеский разговор о некоей подруге, в которую был влюблен один молодой человек. И этот влюбленный хотел убить свою любовь, потому что был скромен и прост, а она всем нравилась, любила общество и так далее. Я без труда разгадал, чтоМаруся говорит о себе и

Сергее Соколове, обрадовался, что Маруся удостоила меня своим доверием, обрадовался возможности поговорить умно, но, полагаю, ничего умного не сказал — Маруся переменила тему, когда я рассуждал. У Альтшуллеров меня принимали ласково. Младшую мою тетю, в которую был влюблен Володя, вспоминали они часто. Рассказывали, что она совсем оглохла и не может теперь заниматься адвокатской практикой. Что дочка ее не пошла на руки к Володе, и Феня сказала: "Она не любит мужчин, не в мать". Жили Альтшуллеры дружно. Однажды Володина жена, глядя на портрет Владимира Соловьева, сказала, что не хотела бы иметь такого мужа. Видеть дома такое лицо с утра до вечера — это было бы ужасно.Меня они принимали как будто бы дружески, но боюсь, что я ошибался, как с Петром Николаевичем. Мне немного надо было, чтобы считать, что меня любят. У Григорьевых и Ольги Николаевны я бывал, но у первых мальчики были маловаты для меня, а у вторых я не приживался. Утешала меня Галя Ветрова. Она дружески смотрела на меня своими черными узкими сибирскими глазами, и скуластое, простое лицо ее выражало доброту. Тоня летом у Рейновых уверил меня, что Игорь Северянин хороший поэт, и я читал Гале вслух его книжку "За струнной изгородью лиры". Приходила иной раз подруга ее. Валя?

9 сентября 1952 г.

И вот наконец мне достался билет в Художественный театр. Кажется, кто-то из многочисленных знакомых Маруси Зайченко не мог идти в этот день на спектакль, и мне уступили билет как новому человеку, которому пора приобщиться к главному чуду города. Трудно представить, каким благоговейным почетом окружен был в те годы Художественный. Слово "театр" не всегда прибавлялось, когда называли его. "Был вчера в Художественном. Достал билеты в Художественный". Николай Философович был знаком с Массалитиновым, и к моему уважению, даже некоторой робости перед этим сибиряком примешался оттенок почтительного удивления. Итак, я шел в Художественный. С утра я готовился к чуду, то есть совсем уже ничего не делал. И глупость моя и полное неумение жить привели к тому, что я в конце концов так плохо рассчитал время, что опоздал, подумать только — ухитрился опоздать в театр, который славился той особенностью, что опоздавших в зал не пускали. Вежливый пожилой капельдинер объяснил мне не без удовольствия, что придется обождать антракта. Шел спектакль "Николай Ставрогин", инсце-

нировка “Бесов”. Незадолго до премьеры в газетах появилось письмо Горького, полное упреков по адресу театра. Как можно инсценировать реакционнейший роман Достоевского? Режиссеры отвечали. Вся эта полемика была в те дни так же чужда мне, как спор Сакулина с Айхенвальдом. Я просто несколько удивился, что у Достоевского могут быть реакционнейшие романы, и не слишком поверил этому. В спектакле я пропустил только первую сцену, на паперти, — как я узнал потом, одну из лучших. Остальное произвело смешанное [впечатление] из-за двух развившихся в Москве чувств— из недоверия и желания верить. Безжалостный и не знающий скидок, суровый, выросший в стороне от Москвы один, — так сказать, демон, и другой, так страстно желающий восхищаться. Я не смотрел, я страдал.

10 сентября 1952 г.

Качалов мне показался маловыразительным, против чего демон почтения и славопочитания поднял такую бурю, что я сдался. Остальные тоже казались мне просто приглушенными, а не правдивыми. Исключение представляла Лилина, которая играла хромоножку удивительно, и одна только походила на героиню Достоевского. Произвел на меня впечатление и Берсенев — Верховенский-младший. Не помню, кто играл Шатова, но самые страшные сцены спектакля вызвали у меня не ужас, а смущение. Вот и еще одно московское чудо зашаталось! Но через некоторое время, когда я проходил Камергерским переулком, у самых дверей театра остановил меня мальчик и предложил билет на “Вишневый сад”. Несмотря на цену (три рубля) , я купил билет. Место оказалось удивительным - в партере, как раз напротив прохода, в самом центре. И тут оба демона умолкли, душа у меня открылась, и я уверовал. Фирса еще играл Артем, а Епиходов был неожиданный — Чехов. Понравился он мне необыкновенно - так я увидел этого удивительного артиста впервые. Сцену со сломанным кием, когда он беспомощно бунтует, зная, что ничего из этого не выйдет, просто от отчаяния, провел он так, что я с удивлением подумал: “Так вот, значит, как можно играть?” Так я впервые в жизни увидел артиста, лучшего из всех, каких я знал. Смотрел я третьим спектаклем “Синюю птицу”, которая понравилась, но меньше.

11 сентября 1952 г.

Я чувствую, что, рассказывая внешние события моей московской жизни, отступаю от истины. Невольно. Рассказывая о Художественном театре, об университете

Шанявского, о знакомых, я забываю, что видел их как сквозь дымку, не на первом месте. Вблизи, не отпуская, все заслоняя, царствовала моя несчастная любовь. Есть письмо или нет, маленький оттенок смысла, то или иное слово, когда письмо приходило, наконец, — вот что было жизнью. Вот пример моей болезни. Я полюбил Третьяковскую галерею, она казалась мне дружественной во враждебной Москве.Правда, в репродукциях картины нравились мне больше, чем в подлинниках, но я скоро к ним привык. Я ходил туда часто, когда тоска особенно сильно меня душила. Невысокий красный кирпичный дом каждый раз как-то успокоительно взглядывал на меня. Он стоял во дворе скромно. Он меня не разочаровал — я ничего не знал о нем заранее. И вот в одно из посещений, в комнате, где висели картины иностранных художников, подаренные, кажется, Морозовым, я заметил стоящие под стеклянным колпаком танагрские статуэтки (и картины, и статуэтки впоследствии из Третьяковки были переданы куда-то). Я увидел полуобнаженную фигурку, и навязчивое представление овладело мной на несколько дней: вот так же кто-нибудь увидит ее. Она меня не любит, никогда не будет моей, кто-то другой овладеет Милочкой. Вот в каком нездоровом, напряженном и беспомощном душевном состоянии находился я. И все думал, думал. Однажды я прочел афишу футуристов. Вечер должен был состояться на Дмитровке — забыл название учреждения, кажется, литературно-художественный кружок. У них над домом, у кружка этого, была на фронтоне мозаичная с золотом, как мне казалось, претенциозная вывеска. В афише запомнились слова: “Доители изнуренных жаб”. Я купил билет. Через туман и тревогу свою, как издали, без возмущения и восторга смотрел я на картины глухого, серо-синего тона с полосами и лучами, выставленные вокруг кафедры в зале. Чьи — забыл.

12 сентября 1952 г.

В картинах этих я ничего не почувствовал, да и не мог почувствовать, но угадал, что у художников есть какая-то своя задача и вовсе не наглость, безграмотность, стремление к саморекламе заставляет их писать таким именно образом. Рядом со мной стоял человек в визитке, адвокатского типа. Он смотрел на картины серьезно, без осуждения, как мне показалось. Я подумал наивно: “А вдруг эти картины можно легко объяснить?” И попросил своего соседа сделать это, но он пожал плечами, и я понял, что он, как и все газеты, считает картины безграмотными,

наглыми, саморекламными. В вечере участвовали Маяковский, братья Бурлюки и не помню кто еще. Зал, небольшой и неуютный, был не полон. Народ подобрался вялый, но явно недоброжелательный. И все участники вечера, кроме Маяковского, чувствовали это. Они эпатировали буржуа несвободно. Им было неловко, и только Маяковский был весел. Играл. Не актерски играл, а от избытка сил. Рост, желтая кофта с широкими черными продольными полосами, огромная беззубая пасть — все казалось внушительным и вместе с тем веселым. Понравились мне и его стихи. И еще стихи Бурлюка-младшего — рослого блондина в студенческом сюртуке. Маяковский был храбр, остальные храбрились, и чувство неловкости и напряжения все не проходило. В середине вечера среди публики выросла вдруг стройная фигура молодого человека во фраке. Столь же напряженно, но решительно храбрясь, стал он выкрикивать обвинения против устроителей вечера. Обвинил он их в самозванстве. Настоящие футуристы, эго-футуристы — в Петербурге. Маяковский, стоя на трибуне, жестами пытался остановить оратора. "Здесь только один настоящий поэт — Маяковский", — выкрикнул оратор. Тогда Маяковский развел руками: тут, мол, не поспоришь — и удалился. В дальнейшем выяснилось, что фамилия оратора — Вадим Шершеневич. Выступление его зал выслушал в гробовом молчании. Вообще весь этот бунтовской вечер казался любительским. Кроме Маяковского.

13 сентября 1952 г.

Только Маяковский и в самом деле не боялся зала. Время шло, выпал снег, извозчики выехали на санках. Санки были такие узкие, что дам полагалось поддерживать за талию. Седоку полагалось. Время шло, а я не привыкал к Москве. Напротив, окончательно ее возненавидел. Одиночество душило. А новые знакомства не завязывались да и только. Однажды у Шанявского я поспорил со швейцаром, который во что бы то ни стало хотел подать мне пальто. Мой сосед, щупленький, со впалыми щеками, слушал этот спор, улыбаясь. И к моему величайшему удовольствию заговорил со мной, когда мы вышли на темную и мокрую Миусскую площадь. Разговор было завязался, и спутник мой сказал: "Вы, я вижу, тоже не любите, когда швейцар подает вам пальто?" Я признался и объяснил это тем, что у меня не было денег, чтобы дать на чай. Спутник мой потемнел и сказал сердито: "Не в том дело! Противно это лакейство в человеке". "И это, конечно, тоже", — торопливо подтвердил я, но было уже

поздно. Спутник мой сухо попрощался со мной, и это знакомство не состоялось. Я вечерами с тоской глядел на окна соседнего корпуса. Тут семья сидит за самоваром, там дети готовят уроки, а я один. Хозяйка была немка с крашеными щеками и недоумевающими глазами, хозяин, плешивый немец, вспоминается мне всегда со спины, без пиджака, в помочах. А лица его я как будто и не видел. Знакомство с ними я и не пробовал завести. Горничная меня ненавидела. И вот я жил и жил в тоске и одиночестве. Никто не говорил мне: "Пойди постригись", и я ужасно оброс волосами. Калоши прохудились, и одна из них упала, когда я садился на трамвай, да так и осталась лежать на мостовой. У меня не было тут женщины. До сих пор это получалось как-то само собой, а в Москве я ничего не встретил, и тут остался в одиночестве.

14 сентября 1952 г.

Однажды тоска по женщине, тоска вообще, отчаянье от того, что Милочка долго не отвечала на письмо, которое, как мне казалось, должно окончательно объяснить ей, что она должна любить меня, привело меня к решению пойти в публичный дом. Я загадал. Если сегодня придут деньги из дому, а письма от Милочки не будет, то я совершу этот отчаянный поступок. Деньги днем пришли. В ожидании вечерней почты я бродил вокруг нашего квартала, стоял на мосту над путями Брестского вокзала и, наконец, через стеклянную дверь увидел пачку писем на столе у швейцара. Знакомый конверт отсутствовал. Я подумал сладострастно: "Клятва дана, отступления нет, я не виноват". И таким образом и состоялось единственное в моей жизни посещение этого места. Пришел я рано. В зале вяло играл тапер. Кутил какой-то инженер-путеец, которого мой приход сначала рассердил. Он заявил, что люди ему за неделю, что он в Москве, так надоели, что кроме девочек он никого и видеть не желает. Он индивидуалист. Затем, вглядевшись в меня, этот плотный человек с насмешливыми узенькими глазками ужасно расхохотался. "Глядите на его волосы! — закричал он. — Это дьякон. Отец дьякон, пожалуйте за стол. Девицы, угощайте дьякона". Девицы заявили, что для дьякона я слишком молод. Мне казалось, как это всегда бывало со мной, когда я шел уж очень наперекор себе, что я вижу себя со стороны. Меня оскорблял запах пудры, духов, пота — девицы танцевали друг с другом. А инженер философствовал: "Отец дьякон! Не верьте тем, кто борется с подобными вертепами. Тут у женщины наибольший коэффициент полезного действия. Вы берете у нее, что

надо, и только. И больше ничего она вам не навязывает. Радуйтесь, дьякон".

15 сентября 1952 г.

Я отказался пить, чем сначала ужасно рассмешил инженера: "Ну если он не дьякон, то монашек", а потом рассердил. "В трезвом виде сюда хорошие люди не ходят, — сказал он. — Да еще молодые". Он закусил губу, но тут тапер заиграл вальс, и одна из девиц, самая молодая, пошла танцевать со мной и посоветовала с инженером не спорить — он скандалист, его уже из двух домов выводили, и добавила: "Что такое? Как добрый человек, так скандалист. А скупой — тихий, да от него никакой радости". В комнате у этой девицы все кончилось слишком быстро. А когда я пробирался к выходу, меня встретил в коридоре инженер. Вглядевшись в мое лицо,он закричал: "Смотрите, какая отвратительная матовая бледность! Он сделал то, о чем мечтал". А когда я уже был в дверях, он добавил: "Вот не пил, не проспиртовался, значит, конец. Заразился! Заразился! Заразился!" Под эти зловещие вопли я выбрался на улицу, и положенное время я ждал с непередаваемым ужасом исполнения пророчества. Я никогда не был близок с такой молодой женщиной. Когда улеглись отвращение, ужас и стыд, когда пророчество инженера не сбылось, к моему удивлению, я вспоминал тоненькую знакомую мою с жадностью и любопытством. Но знал, что никакая сила не заставит меня повторить мое посещение. И ни разу я не напился! Почему? На каждом шагу в Москве 13-го года были пивные и винные магазины и кабаки. Ужас, вбитый с детства, останавливал меня. Я и не попробовал водки. И это спасло меня. От московской тоски я запил бы. Посещение "дома" долго, когда я просыпался утром или среди ночи, заставляло меня ежиться от ужаса. Но при этом сознании преступности тоненькая фигурка вспоминалась вне этого.

16 сентября 1952 г.

Все это вместе — отвращение к лекциям, одиночество, несчастный бунт — единственная попытка действовать, выразившаяся в посещении публичного дома, неудержимые мечтания о будущем счастье, сознание собственной слабости и любовь, любовь, все заслоняющая, мучительная любовь, — привели к тому, что я стал опускаться. Я сказал учителю, что заниматься с ним не буду больше. Распрощался с университетом Шанявского. Вставал в двенадцать, лениво валялся до часу — это в семнадцать лет! Потом покупал в киоске

газеты и тонкие журналы: "Огонек", "Всемирную панораму", еще какие-то. Кажется, "Солнце России". Те из них, которые в данный день вышли, и прежде всего "Новый сатирикон". И плитку шоколада. Возвращался домой, валялся и читал. Потом покупал колбасы на обед. Она казалась мне по сравнению с майкопской невкусной, что было не случайно. Карлович был учеником Вейденбаха, который владел секретом варить колбасу без крахмала. Вечером я шел бродить по улицам или в оперу Зимина, куда легко было достать билеты, или в цирк Никитина, где выступал укротитель Генриксен с недрессированным тигром по имени Цезарь. Этот последний выскакивал из клетки, точнее, из длинного железного решетчатого коридора, ведущего на арену, превращенную в круглую клетку. И укротитель заставлял Цезаря обойти арену и вернуться в решетчатый коридор. Все это я видел как бы издали, слышал, как будто уши мои были заткнуты ватой. И из оперы и цирка уходил я в Гранатный переулок к облюбованному мной особняку. В мечтах моих было одно здоровое место: начало. Начинались они всегда одинаково: я мечтал, что вот каким-то чудом начинаю работать. Меняюсь коренным образом, пишу удивительные вещи и, главное, с утра до вечера, не разгибая спины. Возвращался я домой утешенный, полный надежд, давая себе торжественное обещание завтра же начать новую жизнь. И с утра начиналось то же самое. Вот во что превратился я при первой же встрече с жизнью.

17 сентября 1952 г.

Года два назад пошел я взглянуть на Гранатный переулок, и,к некоторому даже ужасу своему, увидел юношу, шагающего по противоположной стороне. Он был давно не стрижен, одет неряшливо - в длинном пальто и мятой шляпе. Он неопределенно улыбался, видимо, своим мечтам, и вот пути наши, как нарочно, сошлись, и я увидел нечто подобное себе старых лет, особенно нелепое в Москве пятидесятого года. Итак, дни моей одинокой, самостоятельной, постыдной жизни приходили к концу. Предполагалось, что я останусь в Москве на зимние каникулы, но я послал маме умоляющее ласковое письмо с просьбой разрешить мне провести каникулы дома. До этого у нас произошла ссора без всякой вины с моей стороны. По маминому адресу пришел каталог книжного склада. Забыв, что в свое время она выписала мне из Петербурга полное собрание сочинений Гейне, не зная, что

фирмы такого рода рассылают потом годами свои каталоги заказчикам, мама решила, что это я подшутил над ней. В одном из писем она спросила, какие книги нужны мне для занятий, она пришлет деньги. Каталог показался ей моим ответом. Она обиделась, и я тоже. Но после моего ласкового письма она сразу ответила мне так же ласково. Предполагалось, что я поеду домой на деньги, высланные мне на декабрь. Увы, они были к 15 декабря истрачены, и я сам не мог понять куда. Пришлось просить о новых деньгах, которые я и получил с сердитым папиным письмом. В заключение расскажу о трех утренних путешествиях по Москве. Они первыми выплывают из тумана, едва я вспоминаю Москву того времени. Одно из них — осеннее, остальные относятся к последним дням моей жизни в городе. Однажды я сидел в гостях у Гали Ветровой. Там была и подруга ее, та самая, о которой я говорил, что не помню, как ее звали. И я, шутя, положил в карман ее кошелек. И, придя домой, обнаружил с ужасом, что забыл его вернуть. В кошельке были деньги — рублей пять и мелочь.

18 сентября 1952 г.

Поднявшись чуть свет, я пустился в первое из трех памятных путешествий по Москве тринадцатого года. В этот час весь город оказался во власти дождя, ломовиков, молодцев в белых фартуках, и кухарок с корзинками. Я шел пешком, у меня даже на трамвай не было. Тоскливее всего выглядел рынок на Арбате, кишевший серой толпой, и я в тоске вспомнил наш праздничный, широкий майкопский рынок, весь на возах или на циновках на земле. А эти жалкие ларьки казались созданными для того, чтобы торговать рогожами и мочалами. Кошелек я передал с заранее приготовленной запиской через сонную, удивленную прислугу и получил ответ от разбуженной Вали, начинавшийся словами: “Какой вы смешной”. Второе путешествие, почти перед отъездом, совершил я тоже ранним утром в сильнейшую метель. Я шел на Николаевский вокзал, чтобы повидать Наташу и Лелю Соловьевых, которые из Петербурга ехали на каникулы в Майкоп. Денег на трамвай у меня опять не было. Метель запомнилась мне почему-то особенно возле какой-то красной церкви, высокой, вероятно, старинной. Языки снежной бури так и лизали купола. Я чувствовал себя несчастным, но буря меня радовала. Все-таки тут выражалось что-то. Гнев. После такого убедительного гнева должно же было что-то измениться. Мне вспомнилось, что я шел не к Николаевскому,

а к Курскому вокзалу, куда подавали транзитные поезда. Девочки выбежали на площадку радостные, в вязаных платьях. Когда я попросил у них взаймы, они смутились. Денег у них тоже совсем не было. Я попросил их поторопить наших и взял у них денег на трамвай. Вот после этого я получил на дорогу деньги с сердитым письмом от папы. Осталось рассказать последнее, третье, путешествие.

19 сентября 1952 г.

Перед самым отъездом вечером зашел я попрощаться к Николаю Философовичу и Ольге Николаевне в высокий кирпичный дом на Пречистенском бульваре, где жили они на четвертом этаже. У них собрались гости, неизвестные мне, и поэтому я скоро ушел. Утром получил я записку от Николая Философовича, принесла их домработница. Я, уходя, обменял свою каракулевую дешевую шапку на дорогую, принадлежащую их вчерашнему гостю, — главному прозектору Яузской, кажется, больницы. Мне надлежало отправиться по указанному адресу и, разыскав там доктора, произвести обратный обмен. Так началось мое третье и последнее утреннее путешествие. Серенькое зимнее небо, ощущение предстоящего отъезда, которому я не могу радоваться — так запутались дела. После того как я заплатил за квартиру и приобрел билет, денег у меня почти совсем не осталось. Я купил фунт копченой колбасы, или два фунта, и попросил ее нарезать. Этим предстояло мне в дороге питаться двое суток. На хлеб денег не было. Все было рассчитано — вплоть до трамвая до вокзала. В Яузскую больницу шел я пешком. Я смутно представлял себе, что такое прозектор, и несколько удивился, когда мне сказали, что доктор в “часовне”, и указали на низкое кирпичное здание, мало похожее на таковую. В холодной прихожей сидел сторож. Узнав, зачем я пришел, он открыл дверь, и я с тоской увидел ряд столов, а на них трупы, трупы. Вышел доктор, высоко держа руки в мокрых резиновых перчатках.По его указанию сторож снял с вешалки мою шапку, а я вручил сторожу докторскую, и дверь в мертвецкую закрылась. Таков был последний привет Москвы последнего мирного года. Когда-то я считал этот случай вещим. Вот и все. И я уехал. Злой нашей горничной я не мог дать причитающийся за последний месяц рубль, обещал прислать из Майкопа. И она громко ругала в кухне людей, которые шоколад жрут, а долгов не платят. Так кончился бесконечный, как мне казалось тогда, и постыдный период моей жизни. Много лет я и вспоминать его не любил.

20 сентября 1952 г. Стою у вагонного окна и смотрю, смотрю и потихоньку ем копченую колбасу. Мне стыдно есть ее на людях без хлеба. Снег, снег, черные деревушки, все те же белые, неприветливые вокзалы — Тула, Орел, Курск. Я ошеломлен несчастной, постыдной своей жизнью в Москве и все думаю, думаю. Я за эти месяцы стал старше. Я отчетливо понимаю, что сам виноват в своих бедах. Лень, распущенность, смутное представление обо всем. Обо всем знаю одну строчку. И я мечтаю, как переделаю свою жизнь в Майкопе. О возвращении в Москву и думать не хочу. Я ошеломлен, что Москва приняла меня так сурово. Все вокруг ново и трезво. До сих пор ездил я поездом летом или осенью. Зимняя дорога непривычна для меня и печальна, как все, что пережил. Невесело думаю я и о Милочке. Она все та же и по-прежнему не знает, любит меня или нет. Но за всеми этими мыслями вспыхивает от времени до времени радость. Предчувствие счастья. Сознание праздничности самого бытия моего, эти вспышки радости вопреки всему — вечные мои спутники. И когда в Армавире встречаю я Копанева, Сорокина и еще кого-то из реалистов, а ныне юнкеров одного из петербургских военных училищ, тоже едущих домой на каникулы, я ощущаю себя прежним, смешу и смеюсь, как раньше, и даже сам удивляюсь этому. Где же перемены? В майкопском поезде встречаю и Тоню Тутурину, и она как-то странно поглядывает на меня. Вот и таинственные, значительные майкопские улицы. Всю жизнь вспоминала мама, как встретила меня на вокзале. “Я даже испугалась — волосы чуть не до плеч, штаны с бахромой, ступает как-то странно, мягко. Что такое? Оказывается, башмаки без каблуков и почти без подошв — вернулся сын из Москвы”. Два дня никуда я не выходил: меня переодевали, переобували, стригли. Тоня Тутурина сказала Соловьевым, что я ехал в ужасном виде. Старшие подумали и решили, что я останусь дома.

21 сентября 1952 г. Я стал заниматься латинским языком. Не то пишу. Решили, что латынь я могу выучить и в Майкопе и сдать ее весной при армавирской гимназии. А лекции слушать начну в настоящем университете, раз университет Шанявского мне так страшно не понравился. Папа, как мне кажется, не был доволен этим решением. Считал, что оно не мужественно, не просто. Так разумно придумали: чтоб не терять

года, я живу в Москве, учу латынь, слушаю лекции — и вот на тебе: я являюсь домой патлатым, страшным, разутым, лекций не слушал и латынь не учил. Что это значит? Что я за человек? Я и сам не мог на это ответить. Но мама испугалась моего вида, угадала, что первая встреча с самостоятельной жизнью далась мне дорого, и настояла, чтобы я остался в Майкопе еще на полгода. Не знаю, кто был прав. Мне в октябре 13-го года исполнилось семнадцать лет. Я считал себя взрослым, да в сущности так оно и было, если говорить об одной стороне жизни, и был полным идиотом во всем, что касалось практической, действенной, простейшей ее стороны. Поэтому, например, не хватало мне денег на месяц. Я просто не умел считать и надеялся, разбрасывая деньги по мелочам, но быстренько, что как-нибудь оно обойдется. Поэтому так же разбрасывал я и время. Поэтому мне и в голову не пришло пойти в какую-нибудь редакцию или к какому-нибудь писателю, показать, что я пишу, сделать хоть какой-нибудь шаг по писательской дороге, хотя уж давно не представлял я другой. Слабость и несамостоятельность, с одной стороны, и крайняя восприимчивость и впечатлительность, с другой, могли бы, вероятно, привести к роковым последствиям, если бы в идиотстве моем не было и здоровой стороны. Например, ужас перед пьянством. Чтобы напиться, действия не требовалось. Купить водку не трудней, чем плитку шоколада. Ну, как бы то ни было, я вернулся домой невредимым, причем считал себя очень поумневшим и очень изменившимся. Но не прошло и недели, как зажил я прежней майкопской жизнью, ссорясь с мамой и братом, будто и не уезжал.

22 сентября 1952 г.

Милочка была все та же. Чуть приветливее в первую встречу и так же далека и незнакома в последующие. Я все искал ее и бесконечно убеждал опять полюбить меня. В станице Лабинской не было восьмого класса в женской гимназии. Гимназистки приезжали оттуда доучиваться в Майкоп. Вслед за одной из гимназисток приехал жених, по фамилии, кажется, Вайнштейн, только что кончивший гимназию. Он проводил эту зиму в Майкопе. Вот у него-то мы и брали уроки латинского языка. Он снимал комнату в маленьком мещанском домике. Зало. Это "зало" с плюшевой мебелью, овальным столом против дивана, с плюшевой скатертью, с фотографиями в черных рамках по стенам, с искусственными цветами на бамбуковой этажерке — наводило

на меня тоску, казавшуюся мне, при неясности всех чувств, кроме одного,— непонятно ясной и сильной. Ту же тоску испытывал я по праздникам, когда хозяева домиков с женами и детьми выползали на улицу. Ужасали меня особенно штанишки младших ребят с разрезами на заду. К Вайнштейну в “зало” ходили брать уроки Истаманов, Левка Камрас и, кажется, Иван Васильевич Гостищев, единственный реалист, который был со всеми на “вы”. Со всеми соучениками. Он был упорен, туговат, много думал и до всего доходил сам. Новый учитель, не в пример московскому, был добродушен, и занятия пошли. По условиям экзамена мы должны были переводить Цезаря — любое место, знать и переводить одну из речей Цицерона (мы учили Pro Archea poeta), что-то из “Энеиды”, Овидия и Горация. Кое-что из всего этого я с грехом пополам усвоил. Ближе к весне я вдруг стал брать у Марьи Гавриловны Петрожицкой уроки музыки. Вышло это из-за “Grillen” Шумана. (Вот когда я полюбил эту пьесу, а не годом раньше.) Дав Леле Соловьевой разбирать эту вещь, Марья Гавриловна сказала, что вряд ли она кому-нибудь из слушателей будет нравиться. Узнав, что я влюбился в эту вещь, Марья Гавриловна решила, что мне следует учиться музыке. Наши согласились. И вот я стал учиться.

23 сентября 1952 г.

И к моему величайшему удивлению, я оказался музыкальным — так по крайней мере утверждала Марья Гавриловна. Ученье пошло с неожиданной быстротой. Инструмента у нас еще не было, но Варя Соловьева, взявшая надо мной шефство, не давала мне “повернуть в конюшню”, как впоследствии, много лет спустя, определил эту мою склонность Корней Чуковский. Она ловила меня на улице, один раз сняла с забора, через который я перелезал, убегая от нее, и с упорным, неподвижным лицом вела к роялю. И я сидел и играл упражнения тогда обязательного у всех учительниц Ганона. И какого-то Шпиндлера. Первая вещь, которую сыграл я по нотам, был его “Крестьянский танец”. Месяца через полтора разбирал я уже “Fur Elise” Бетховена, потом “Сольфеджио” Филиппа-Эммануила Баха. И ко всеобщему удивлению, с этой последней вещью Марья Гавриловна выпустила меня на ежегодном концерте своих учеников весной 14-го года. Приняли меня весело и добродушно — я играл после малышей — долго хлопали и удивлялись, какие успехи сделал я за два месяца. И я впитывал эти похвалы с особенной

жадностью после московского безразличия. Квартира дедушки ликвидировалась после смерти бабушки. И нам прислали рояль, тот самый рояль, на котором я играл спичечными коробками, когда мне было шесть лет. Была ранняя весна, отличная погода. Мы шли на станцию получать рояль, и я чувствовал себя необыкновенно значительным и небывало счастливым. Все что-то обещало мне. Кофейня, о которой говорили, что это майкопская биржа. Картина в окне табачного магазина — люди, дерущиеся и ломающие ограду из-за папирос Месаксуди или Шапшала. Склад велосипедов “Свифт”. Новый тротуар четырехугольными плитками возле дома богатого грека и кирпичный забор там же.

24 сентября 1952 г.

Кирпичный забор имеет строгий и неприступный вид — в его верхушку вделаны в цемент острые бутылочные стекла. Рояль выносят из склада грузчики. И мы идем обратно тою же дорогой. Уже стемнело, но вечер по-весеннему теплый. Теперь я начинаю играть упражнения и гаммы дома. Папа доволен тем, что у меня обнаружились какие-то таланты. Итак, я занимаюсь латынью и музыкой. Я не один. Московская жизнь кажется мне сном — таков внешний ход моей жизни от зимних каникул до весны. Четырнадцатый год мы встретили весело, ходили ряжеными по знакомым. Помню, что были у Шаповаловых, у Оськиных. Я был одет маркизом, мне напудрили волосы, и все говорили, что это мне идет. И Милочка была со мною ласковее обычного. Потом снова отошла от меня, как бы уснула, потом опять стала чуть ласковее. Вот это и являлось для меня настоящей жизнью. Однажды мы шли к Зайченко. Лед на Белой уже прошел. Мы шли мимо канала, подающего воду к мельнице. Милочка была в самом для меня непереносимом состоянии: в безразличном. Шли с нами Леля Зайченко, Оля Янович. И я, чтобы вывести во что бы то ни стало Милочку из безразличия, спросил Олю Янович: “Хотите, я прыгну в воду?” И прежде, чем она успела ответить, я так и сделал, переплыл канал одетым, в калошах, в шубе. Однажды я совсем уже решил покончить самоубийством. Даже украл у Сашки Агаркова из стола револьвер. Но выстрелить в себя не смог. Желая заболеть воспалением легких, я окунулся в воду, в Белую, и полдня, мокрый, бродил по лесу. И даже насморка не схватил, хотя на дворе стоял февраль. Ближе к весне Варвара Михайловна передала через Милочку приказ, чтобы я бывал у них дома. А то сплетничают, как объяснила мне

Милочка, что мы встречаемся тайно. И я стал бывать у Крачковских.

25 сентября 1952 г.

Дело, как я говорил уже, шло к весне. Майкоп этой зимой стал мне известен с новой стороны. Я бродил по его улицам ночами, чего не делал раньше, заново узнавал его после Москвы. Показалось мне, что он меньше, чем был. Но я, даже в самые несчастные дни, чувствовал себя увереннее, более защищенным, чем в Москве. И мне было легче с майкопскими людьми. Варя стала из младшей — равной, и с ней можно было говорить обо всем, она оказалась умнейшей из трех [сестер]. И я дружил с ней.Ранней весной приехал Юрка, появился Фрей. В той самой комнате, нет, в том самом флигеле родичевского дома, где жили в дни раннего моего детства чиновник с женой-ломакой, поселился Женя Фрей. И его брат, мюнхенский студент. Художник. Тут увидел я впервые "Симплициссимус" и горы художественных журналов. Борщевский, тот самый, что нарисовал когда-то карикатуру на Василия Соломоновича, стал бывать в нашей компании. Он был весел и талантлив во всех областях. В большом альбоме рисовал он то Наполеона с надписью: "Наполеон Бонапарте в сером пальте на острове святой Алены бросает ядра калены", то писал бульварный роман с графами и графинями, у которых все вещи были с инкрустациями **[так у Е.Ш.— Ред.]**, даже носовые платки. Восхищала нас фраза: "Граф побежал по аллее, скрипнув гравием".Был он высок, большерот и прост в обращении, но казался нежным, уязвимым. Появилась Мирра Табакова, которая жила в Ницце, — у нее начинался туберкулез. Видимо, она поправилась — приехала она с мужем по фамилии Мочульский, совсем молодым. Скоро по приезде родила Мирра мальчика. Старики покачивали головами — у Мирриного мужа начинался процесс. Он был писатель. Еще не печатался, но показывал свои вещи Куприну, и тот поощрил его.

26 сентября 1952 г.

У него была переплетенная книжка, точнее, тетрадь, в сером полотняном переплете. Там и были записаны все его сочинения — отрывок из романа, рассказ, какие-то наброски. Кажется, эта тетрадь и была у Куприна, и он дал совет Коле Мочульскому писать каждый день, наблюдать жизнь, быть кратким и так далее и так далее. Я не верил, что из Коли может выйти писатель, хотя сам он нравился мне чрезвычайно. Мирра была совсем еще девочкой, нашей сверстницей, и она

первая из нашего круга вышла замуж, ждала ребенка. Поселились они в доме Мужицкого, где в давние времена, еще до нашего знакомства, жили Истамановы. Я бывал у Мочульских, разговаривал с Колей о литературе и видел, что чувствует он ее много меньше, чем Борщевский со своими пародиями на бульварный роман. Он не казался мне н а с т о я щ и м, хотя объяснить, что это такое, я не мог бы. Впрочем, и сам Коля не решил еще окончательно, кем будет. Оказывается, он мечтал еще и о сцене. И на одном из концертов в Пушкинском доме он вдруг выступил с чтением отрывка из "Кому на Руси жить хорошо". Это было отлично. Он очень сильно сказал: "Он до смерти работает, до полусмерти пьет". Талант, подумал я с уважением. Пока Мирра была беременна, мы заметили, что Коля легкомыслен, невозможно легкомыслен, на наш взгляд. Несколько раз его замечали в саду с Ниной Янович, загадочной и капризной Олиной сестрой, которую моя мама упорно считала истеричкой. В один прекрасный день папа сообщил, что Мирра родила в больнице мальчика. Скоро я увидел его в большой комнате у Мужицких со стенами не майкопскими, не выбеленными, а выкрашенными масляной краской. И ребенок поразил меня своим необыкновенным сходством с отцом. А месяца через два тем, что сходство это исчезло начисто, когда черты лица ребенка округлились, расплылись.

27 сентября 1952 г.

Вот так я и проводил последние месяцы мирной жизни: то у Соколовых, то у Соловьевых, то во флигеле у Фреев. Юрка играл на скрипке, Фрей на виолончели, часто у Соловьевых собирались, играли трио Гайдна. И я, едва научившись разбирать ноты, все импровизировал на рояле, искал путей полегче, как бы избавиться от учения, "повернуть в конюшню". И все это было как бы фоном, как бы не в фокусе, а главной все оставалась моя любовь. Те немногие часы, что проводил я с Милочкой. Появились у меня еще одни знакомые — Зубковы. Старшая, в очках, серьезная, суховатая, была подругой Милочки. Вторая - Вариных лет. Старая, добрая мать, вдова, страдающая экземой, которую никто не мог вылечить. И кроме улицы, городского сада, дома Крачковских, появился еще дом, где я встречался с Милочкой. Я знал теперь Милочку много-много лучше, чем прежде. Я замечал, что у нее есть недостатки. Знал, что в искусстве она не видит часто того, что легко угадывали Юрка, Варя Соловьева и я. И на рояле играла она хуже Вари, Наташи, Маруси Зайченко. Иной раз

лицо ее, изученное до малейшей черточки, казалось мне не таким уж ослепительно прекрасным. Да еще ей почему-то пришлось постричься. Почему — она так и не сказала. Ее густые, несколько жесткие волосы исчезли. Ходила Милочка в чепчике. Нюра Зубкова однажды принудила Милочку снять его, и я увидел голову мальчика в густых вьющихся кудрях. К весне чепчик можно уже было снять, и Милочка стала похожа на Топси. Косы ей шли больше. Внутренний неподкупный наблюдатель говорил твердо: “Эта прическа хуже. Гляди — она сейчас некрасива. Слышишь — то, что она говорит, — нелепо”. Но это ни на капельку не уменьшало мою любовь. Мне только делалось больно за нее. И только. А время шло к весне, и Милочка начинала оживать. Она слышала то, что я говорю. Радовалась моему успеху на музыкальном утреннике. Позволяла иной раз взять себя за руку, обнять за плечи. К весне появился у меня новый друг — Левка Оськин. В реальном училище состоялся вечер — самый блестящий из всех. Его устроитель, Бернгард Иванович, поставил чеховскую “Жалобную книгу”, инсценировал старинную, трогательную, простенькую французскую песенку о солдате, который просит руки королевской дочери, и режиссировал и остальные номера́ вечера. И он прошел с огромным успехом. В песенке (ее пели по-французски, а на бис — по-русски) был прелестен Миша Чернов, исполнявший роль королевской дочки. Но неслыханный успех имел Левка Оськин. Он мелодекламировал “Чертовы качели” Сологуба так, что они произвели трагическое впечатление, и необыкновенно смешно сыграл человека, который в “Жалобной книге” написал: “Хоть ты и седьмой, а дурак”. Всю роль провел, хохоча. Я почтительно похвалил его, и мы стали друзьями с ним. Как я вижу теперь, Юрка Соколов появился в Майкопе очень рано. Теперь мне кажется, что по причинам денежного характера он не дожил второго семестра в Петербурге. Это при тогдашней предметной системе в университете было возможно, экзамены разрешалось сдавать и осенью. Во всяком случае, приехал он много раньше Сергея. Мы встречались часто, почти все время, говоря точнее, проводил я либо у них дома, либо на участке. Говоря точнее, мы скорее почти не расставались. Юрка рисовал, а я валялся на диване в той самой комнате, где прошло столько дней моего детства. Валялся и читал. Либо мы разговаривали о том мире, в который входили. После долгих колебаний показал я Юрке свое стихотворение “Четыре раба”, скрыв, что оно мое. А когда он сказал, что в стихотворении “что-то есть”, я назвал

автора с такой охотой, что Юрка улыбнулся. И с тех пор я все свои стихи показывал ему. И он обсуждал каждое мое стихотворение со своей обычной повадкой, начиная или собираясь начать говорить — и откладывая, пока мысль не находила наиболее точное выражение. И я обижался, если он ругал меня, и отчаянно, но не слишком уверенно спорил и полностью соглашался с ним, когда проходила обида. К этому времени у меня была теория, объясняющая необыкновенную неуклюжесть моих стихов. Я услышал где-то еще одну строчку, на этот раз Верлена: “Музыка прежде всего”, и стал доказывать, что это верно. Но музыка — не в аллитерации и не в звуках — тут стихам за музыкой никогда не угнаться. Музыка — в содержании. А та музыка, за которую сражаются сегодня (“лила, лила, качала два тельно-алые стекла”), гибельна и не нужна. Юрка принял эту теорию не без интереса. Итак, у меня было уже два читателя: Милочка и Юрка, а от всех остальных я скрывал свои стихи, как самую большую тайну. Только в одной области был я скрытен еще более — в любви. Ни одному человеку не рассказывал я о своих любовных радостях и бедах и очень удивлялся, когда читал юмористические рассуждения о влюбленных, всем надоедающих своими излияниями. И сверстники мои, рассказывающие в подробностях о своих связях с женщинами, тоже были непонятны мне. Связи мои не были любовными, но и о них молчал я как убитый. Мной с первой встречи овладело чувство прелести тайны в этой части моей жизни (“никто не знает, что мы делаем”). Итак, приближалась весна 1914 года, и я после Москвы наслаждался жизнью среди друзей, на юге, в маленьком, с детства понятном городе. Начались выпускные экзамены. И мне пришлось подналечь на занятия. И вот пришел ясный, совсем летний день, когда мы поехали в Армавир сдавать латынь. Нас было четверо: Жоржик Истаманов, Гостищев, Левка Камрас и я. Дорога была еще новая, нестрогая. На середине пути машинист взял нас на паровоз.

28 сентября 1952 г.

И, стоя рядом перед грудью паровоза, мы мчались через кубанские степные знакомые места и чувствовали себя до того свободными, и счастливыми, и беспечными! Было жарко, но степь еще жила. Это было в самом начале июня 1914 года. Отвратительно пишу сегодня. А чувствую то время, вижу его необыкновенно ясно. Не знаю, за что взяться. Я слишком люблю те дни, боюсь повредить

своим неумением, затемнить тот свет, которым светятся они. Они светятся. Все-таки я еще не умею говорить, все еще немой, после двух с лишним лет ежедневных упражнений. Между Майкопом и Армавиром, кажется, перед самой Курганной, справа от полотна дороги, в степи белели стены, краснели крыши чьих-то длинных хозяйственных построек. Вокруг стояли строем тополя. Белые низенькие стены отразились в большом прямоугольном пруде. Гуси плавали в нем. И я почему-то так любил этот возделанный, обстроенный, неожиданный в безлюдной степи уголок, что задолго начинал готовиться к встрече с ним. Я считал бы дурной приметой, если бы пропустил его. Но на этот раз я увидел тополя и белые стены задолго до того, как стал беспокоиться о том, не пропустил ли я их, как это случалось впоследствии. Я все забывал точно, где искать его — до или после Курганной.

1 октября 1952 г.

Итак, веселые и уверенные, ехали мы в начале июня 1914 года в Армавир сдавать латынь. Там остановились мы в гостинице Джихоидзе против вокзала. Славилась она тем, что на всех ножах, ложках, вилках и тарелках было написано: “Украдено у Джихоидзе”. По мощеным, но невеселым армавирским улицам (на них было, на наш взгляд, слишком мало зелени) пошли мы в гимназию узнать, когда являться на экзамен.

2 октября 1952 г.

Хмурый учитель латинского языка сообщил нам все нужные сведения, и мы вернулись в гостиницу и там в номере решили бороться. Я должен был бороться с Левкой Камрасом. Мы разделись до пояса, и я, увидев себя в зеркало, висящее над столом, очень ободрился: гимнастика, с которой я всегда начинал новую жизнь, все-таки сделала свое дело. Мускулатура моя показалась мне очень внушительной. Это меня так ободрило, что мне удалось положить Камраса на обе лопатки. Утром пошли мы на экзамен. Присутствовали на нем латинист, хмурый и нескладный, и инспектор — черный, моложавый, легкий. Был еще третий — забыл кто. Латинист сказал сердито, раздавая нам листки для перевода с латинского на русский: “Если что не поймете, меня спрашивайте”. Я имел глупость подумать, что и так все понимаю, отчего едва не провалился. Читая мой перевод, латинист только кряхтел и пробормотал в конце: “Говорил вам, спрашивайте меня”. Спас меня устный экзамен. Спра-

шивал меня инспектор необычайно легко. В те годы на экзамен для реалистов по латыни в большинстве гимназий смотрели как на формальность. Только при учебном округе экзаменовали на совесть. Из Армавира поехал я в гости к старому другу Соловьевых лесничему Косякину, в семье которого гостила Варя. Забыл название этой станции, первой от Армавира к Минеральным Водам. Кажется, Овечки. Там встретил меня сам хозяин на линейке. Ехали мы дорогой, проселком между высокой пшеницей. И я до такой степени чувствовал себя центром мира, что мне казалось, что пшеница, волнами ходящая под ветром, рада моему приезду, кланяется мне. И я отвечал ей тихо, про себя: “Здравствуй, здравствуй”.

3 октября 1952 г.

В большом доме Косякиных я чувствовал себя тоже необыкновенно значительным. Мне казалось только несколько странным, что старшие Косякины в лучшем случае скрывают тот восторг, что я должен был вызывать в них. Более того, они поглядывали на меня как-то странно, будто не понимая, что я за существо, будто москвичи. И много лет спустя, увидев любительскую фотографию, сделанную в те дни со всех нас в доме Косякиных, я ужаснулся. И все понял. Странный человек глядел на меня с фотографии. Волосы я опять сильно отпустил, да еще зачесывал их на лоб, потому что у меня появилась наверху лба какая-то упорная и непроходящая болезнь кожи — не то лишай, не то экзема, что я тщательно прятал. Прошла эта болезнь только после того, как я примерно через месяц, когда мы путешествовали с Юркой, тщательно вымыл лоб морской водой, купаясь где-то между Сочи и Хостой. Болезнь исчезла, будто ее и не было. А до тех пор я ее прятал с ужасом. Отцу, впрочем, показал. “Дерматит”, — сказал он небрежно и прежде всего приказал остричься наголо, чего я никак не мог допустить. Итак, я выглядел с этой прической, в какой-то дикой куртке не то ломакой, не то выродком, о чем, впрочем, не подозревал. Зарядили дожди. Мы все сидели дома, играли на рояле, слушали граммофон. Среди пластинок была одна — Толстой читал отрывок из “Круга чтения”, кажется. Я все заводил ее, и этот голос живого человека, старческий и слабый, мучил меня. Он никак не сливался с моим представлением о Толстом. Толстой был вне нашего мира, в мире воображаемом что ли, а голос-то был из обычного, ежедневного мира. У Косякиных пробыли мы дней пять и поехали с Варей в Майкоп. И

как рвался я к Милочке. Всю дорогу мечтал о ней.

4 октября 1952 г.

В Армавире, когда мы ждали поезда, я вдруг стал думать, думать, неотвязно думать — вдруг я чего-нибудь не понял, а на самом деле экзамена не выдержал? Это так меня измучило, что, несмотря на застенчивость мою, я пошел в гимназию. По дороге встретил черненького и худенького инспектора и спросил его: "Скажите, пожалуйста, все майкопские реалисты выдержали экзамен по латыни?" Инспектор успокоил меня. По дороге я так напряженно думал о Милочке, что сам осудил себя. Уже в поезде по дороге в Майкоп, я глядел на деревья у насыпи и думал: "Вот здесь бы идти с ней. И так все время, о чем бы я ни думал, на что бы ни глядел". И вот я увидел снова белые и таинственные, и необыкновенно уютные в зелени, и значительные, что-то обещающие майкопские дома. Мне все немножко страшно приступить к рассказу об этом времени моей любви. А вдруг выйдет непохоже? Ведь это было второе счастливое и несчастное лето. Самое счастливое лето моей жизни. Расскажу сначала о внешних событиях жизни нашей семьи. Папа решил во что бы то ни стало уезжать из Майкопа. Ему в четырнадцатом году исполнялось сорок лет, он все говорил о старости, о том, что жизнь уходит. Узнав, что в Нижнем Новгороде на постройке железной дороги нужны врачи, он отправился туда. Старший врач сказал папе: "Без протекции к нам не попадешь". "Вот вы и будьте моей протекцией!" — ответил папа. Старший врач (а может быть, это был главный инженер?) засмеялся, и через некоторое время папа получил назначение врачом при кессонных работах. Кончилась наша майкопская жизнь, капустинская квартира. За год или за два до этого старая мебель была продана. Знакомый с детства буфет, на дверцах которого были резные рябчики и куропатки, висящие вниз головой, и такие же рыбы, был заменен светло-серым буфетом-модерн, с мелкими стеклами на дверцах, который мне очень понравился. Соответственно заменена была и остальная мебель. А теперь распродали и ее. Я, занятый своим, не понимал важности происходящего, я был как во сне.

5 октября 1952 г.

Решено было, что старшие и Валя уедут в Нижний, а я на лето останусь у Соловьевых. Так и было сделано. В один прекрасный весенний день все друзья наши, вся майкоп-

ская городская больница пришли на вокзал провожать папу. Он, и веселый, и задумчивый, стоял на площадке, кто-то сфотографировал его. Загудел паровоз, и поезд плавно-плавно, без толчка тронулся с места. Кто-то рассказывал в Майкопе, что так именно трогаются царские поезда и что машинист нашей дороги большой мастер своего дела. Итак, наши уехали, а я остался один и ни на миг не почувствовал своего одиночества. Я давно уже в сущности только ночевал дома. В запале вечных своих перестроек Вера Константиновна в сарае, на месте бывших своих конюшен, приказала построить комнату. Вот там я и поселился. И комната эта стала любимым местом наших сборищ. В то лето вместе с Колей Ларчевым, который, кажется, поступил в Академию художеств, приехал его товарищ Шильниковский. О нем с уважением рассказывал Юрка, что он считается очень талантливым, что его иллюстрации к какому-то рассказу печатались в каком-то тонком журнале. Это был тощенький, сосредоточенный человек в очках. Носил бородку. Он рисовал с натуры сангиной Лелин портрет, и в сосредоточенности, с которой он делал это, мне почудилось, что он настоящий. Впрочем, Юркин портрет, сделанный с Лели, понравился мне больше. Однажды я видел, как Юрка разговаривал с Шильниковским об искусстве. Разговаривал против обыкновения Юрка, а Шильниковский помалкивал, что меня удивило. Я сказал об этом Юрке, и он смутился. Шильниковский держался от нас в стороне, а мы все держались стаей. С нами бывал часто и Володя Тутурин. Он писал стихи. Такие, например: "Не уходи, побудь со мною, я, как плащом, тебя укрою своей любовью и мольбой" — и так далее. Я все вызывал его писать стихи на заданную тему и требовал, чтобы судили: кто лучше. И Юрка сказал однажды сурово: "У тебя хуже".

6 октября 1952 г.

"У тебя стихи хуже, — сказал Юрка. — У Тутурина есть хоть и несамостоятельная, но форма, а у тебя стихи совсем бесформенные". И я удивился. Итак, весной 14-го года я остался в Майкопе один, но и не почувствовал отъезда наших. Непрерывное и неотвязное стремление разбудить Милочку, вернуть ее, заставить любить меня вдруг постепенно, постепенно стало побеждать, приводить к цели. Мы теперь часто бывали у Зубковых, где я встречался и с новым моим другом, с Левкой Оськиным. О нем расскажу позже. Я бывал и у Крачковских дома. Как относился я к Гоне, Тусе, Варваре Михайловне? Это разъяс-

нил однажды Юрка. В Майкопе появился железнодорожник-литовец с семьей. Мальчик его поступил в реальное училище, и я был знаком с ним, как и со всеми реалистами. Литовцы эти были в каком-то родстве со Звягинцевыми и Войцеховскими, бывали у них, а следовательно, и у Крачковских. Мы шли однажды с Юркой и встретили этого самого литовского мальчика. Видимо, я с этим мальчиком поздоровался не так, как с другими, потому что Юрка, подумав и взвесив, сказал, не называя меня, в пространство: "Есть такие влюбленные парни, для которых даже знакомые ее знакомых — существа особенные". Я ничего на это не возразил. Это было верно. И если знакомые знакомых были для меня существа особые, то что уж тут говорить о ее братьях, сестрах, матери. В этот период я страстно любил "Ворона" По в переводе Altalana (из "Чтеца декламатора"). Подвернулся мне случайно "Тристан" и "Тонио Крегер" Томаса Манна, и я вдруг узнал, что не я один. И я все учил Милочку своей московской мудрости: что хромой лучше знает дорогу, что в катакомбах проводниками были слепые, что без несчастья не поумнеешь. И каждый разговор кончался одним: когда же ты опять меня полюбишь? Потом я читал "Ворона" Гоне и Милочке и рассказывал "Тристана" и "Тонио Крегера". Иногда ночью я приходил к маленькому домику Крачковских и стоял под большим деревом напротив. И шелест листьев почему-то всегда утешал меня.

7 октября 1952 г.

И ближе к весне я почувствовал, что Милочка как будто слышит то, что я ей говорю. У Зубковых я играл на рояле все, чему научился (а к "Сольфеджио" и "Fur Elise" прибавились две прелюдии Баха и "Вальс" Грига), пел баритоном своим, изо всех сил форсируя звук, "Двух гренадеров" или "Заклинание цветов". Заводили граммофон. Плевицкая исполняла "Лучинушку", кто-то играл менуэт или гавот Годара на скрипке. А я следил за каждым движением, за каждым словом Милочки. Отец работал в больнице с утра до вечера, все время занята была и мать, даже Валя учился и готовил уроки, один я, как больной, угадывая иногда опасность своего состояния, не делал ничего, жил одним. И вот однажды в великолепный весенний вечер пришел я к Милочке, принес большой букет белых роз. И потребовал, чтобы она решила наконец, любит она меня или нет. Она играла на скромненьком и пожилом пианино, а я стоял возле и говорил. Требовал ответа — "теперь или никогда".

И Милочка призналась, что опять меня любит. На другой день я встретил Милочку у Зубковых и узнал, что больше у них мне бывать нельзя. Запрещено. У Крачковских запрещено бывать. Варвара Михайловна услышала мои слова: "теперь или никогда". Странно улыбаясь, Милочка привела ее обвинения: "Что значат эти слова? Они могут значить только одно!" Боже мой, до чего же далека от истины была Варвара Михайловна! Но так или иначе, мы продолжали встречаться, и я чувствовал, что Милочка и в самом деле снова любит меня. Вот как обстояли дела к тому времени, как сдал я латынь, побывал в гостях у Косякиных, проводил наших в Нижний Новгород. Я поселился в комнате, выходящей окнами в сад. И окончательно ушел в одно — в свою любовь, то есть в себя. Единственное, что оставалось во мне,— это любовь к литературе. Отрезвляющее умение видеть иногда все нелицеприятно и строго. И, вероятно, во мне было что-то, если на этот раз друзья прощали мне мою любовь. И я был весел, и мы были веселы все.

8 октября 1952 г.

У Фреев, в маленьком флигеле во дворе дома Родичевых, на меня вдруг повеяло мюнхенским ветром. Комплекты "Симплициссимуса" и еще каких-то, чисто мюнхенских журналов, рисунки, изображающие карнавал, рисунки стилизованные, рисунки с резкими контурами. Толя Фрей рассказывал об академии, о том, что Мюнхен — немецкие Афины, о том, как Штук знаменит в городе. Они вызвали его, насвистывая условную мелодию, на балкон. Штук вышел, увидел, что это незнакомые студенты, но не рассердился, а засмеялся. Эта мелодия была условным знаком близких друзей. Все это мне и нравилось и нет. И у Юрки, как выяснилось из наших бесконечных разговоров, было тоже ощущение, что это все-таки не настоящее. Прелестна карикатура в одном из журналов. Называлась она "Сила привычки". Только что умерший бородатый бельгийский король Леопольд приказывает апостолу Петру, который от удивления роняет ключи от райских дверей: "Eine Zimmer mit Zwei Betten"[1]. Великолепные карикатуры "Симплициссимуса" на Вильгельма — открытие памятника там, где лошадь его оставила навоз. Но вот стилизованный барельеф, где бородатые люди с нарочито толстыми икрами, — он должен быть гармоничным и лаконичным, как в Древней Греции, — вызывает раздражение. Должен признаться, что у меня, упорно неграмот-

[1] Одна комната с двумя постелями (нем.)

ного парня, раздражение усиливается тем, что в барельефе мне чудится профессорское высокомерие. Как это ни странно, но именно из-за этого барельефа, из-за репродукции с барельефа, по-мюнхенски стилизующего Грецию, из-за величины, так сказать, мнимой, началось расхождение наше с Фреем. Мы в это лето держались уже не втроем, а больше вдвоем. И с Сережей, с которым дружил я так же, как с Юркой прошлым летом, теперь началось некоторое охлаждение. Мы пошли встречать на станцию Марусю Зайченко, а приехало множество знакомых, и среди них Сергей. А мы за эти месяцы прожили такую огромную и богатую жизнь.

2 ноября 1952 г. Мы пошли встречать на вокзал Марусю Зайченко, а приехал Сергей Соколов кроме нее и еще много знакомых. Я сначала удивился, что не слишком обрадовался Сергею — в нем почудилось мне что-то чужое, даже как будто надменное. Я думал, что это объясняется тем, что он приехал слишком уж неожиданно — слишком много радости зараз. И даже сказал об этом Юрке, но он промолчал. Я загрустил, и он тоже как бы заскучал. Почему — ни тогда, ни теперь я не могу объяснить. Может быть, мы смутно чувствовали все-таки, что юности нашей приходит конец, что время, в котором мы росли, приходит к своему концу? Во всяком случае, мы загрустили и пошли гулять за Белую. Когда мы вернулись и подходили к дому Санделя, было уже темно, и вдруг низенькое, злобно хрюкающее стадо преградило нам дорогу. Гнали свиней, несытых, с острыми спинами, и они бежали торопливо, сердито. Мы переглянулись. Встреча эта показалась нам знаменательным завершением мрачного вечера, и мы вспоминали о ней. Теперь с робостью и молитвой приступаю я к описанию самых счастливых дней моей жизни — к пешеходному путешествию Майкоп — Красная Поляна, в которое отправились мы в июле 14-го года с Юркой Соколовым. Мне прислали из дому 25 рублей. Из Нижнего Новгорода прислал папа за то, что я сдал латынь. Юрка сначала отказывался путешествовать на мои деньги, но я обозвал его буржуем, обвинил в излишнем уважении к деньгам, и он согласился. И вот на рассвете с сидорами за плечами мы двинулись в путь.

3 ноября 1952 г. У Иосифа Эрастовича Агаркова попросил я бумагу, разрешающую ночевать в домиках шоссейного управления. Был он со мной уже всегда теперь насмешлив и нетерпелив,

я стал у Агарковых редким гостем, чужим. Он сказал: "Извольте, сударь, сами сочинить документ. Кто же за вас его напишет?" И я с трудом, ужасным своим почерком, сочинил и написал требуемое. Хмыкнув, Иосиф Эрастович скрепил подписью и печатью бумагу, которая теперь лежала у Юрки в боковом карманчике его рубахи. Отправился я в путь не без страха. Да, я ходил в горы, но все-таки сейчас путь предстоял более дальний, с очень хорошим ходоком. А он сразу взял быстрый темп, шагал большими шагами. Долго я шел возле Юрки, не отставая, но за Курджипсом стал задумываться. Так мы прошли восемь верст, десять, пятнадцать, но я не смел просить об отдыхе. Он шагал впереди, высокий, спокойный, не оглядываясь, не убавляя хода на длинных-длинных прямых подъемах среди высокого леса. Ругаясь малодушно про себя, двигался я следом, отстав шагов на пятьдесят, но не больше, сохраняя все время эту дистанцию. Шестнадцатая, семнадцатая, и вот она, наконец, восемнадцатая верста со знакомой и незнакомой станцией — ведь я столько веков пережил, пока мы виделись с ней в последний раз. Москва, зима, трамваи, метель, несчастная любовь — и вот снова жаркое лето, маленький домик под большими деревьями, чинары, каменный водоем, напоминающий, как всегда, о железной дороге через Главный Кавказский хребет. У водоема Юрка встречает меня, улыбаясь, и говорит: "Ну молодец! Прошел восемнадцать верст без отдыха, да еще быстро! Я не ждал. Просто молодец!" И я радуюсь. Юрка испытывал меня и теперь видит: дойдем.

4 ноября 1952 г.

Мы отдыхаем в прохладе, недалеко от колодца. Подходят реалисты, возвращающиеся из какой-то экскурсии. Хоть мы и кончили училище, они знают нас отлично, здороваются. Плотный пятиклассник Женя Тарасов разговаривает с нами, держа мокрый платок у ноздрей, — кровь носом пошла. И когда он отходит, Юрка посмеивается — полнокровный парень. Добродушный, крупичатый, плотный и несколько томный от этого происшествия идет Женя Тарасов с влажным платком у носа, с закинутой назад головой. Дальше уже нет таких долгих подъемов, и Юрка идет не так быстро, а я начинаю ощущать прелесть пешеходного путешествия. Мы сами себе хозяева. Мы сходим с шоссе, когда хотим, у речки Маленький Тук например. Мы спускаемся к воде недалеко от моста. Лягушки, распластавшись, лежат на воде, и Юрка высказывает предположение, что они наслаждаются жизнью так, как мы и вообразить не

можем. Этому легко поверить в такую жару. Лягушки лежат в воде под нависшей беседкой зеленью, выпучив от восторга глаза. Мы идем то лесом, то через кукурузные заросли. Ближе к вечеру замечаем нефтяные вышки. Скоро станица Апшеронская. В станице я предъявляю бумагу Агаркова, и мы ложимся спать в комнате с двумя постелями, где останавливается Иосиф Эрастович, когда выезжает на дистанцию. Майкоп со всей сложностью его жизни далеко-далеко, и о нем грустно вспоминать. Любовь к Милочке, ничем не заслоняемая и во все вплетаемая, занимает мои мысли, пока они не смешиваются. Второй день, считающийся в пешеходном путешествии самым трудным, еще больше ободряет меня. Я иду без труда, особенно разойдясь.

5 ноября 1952 г.

Из второго дня встает передо мною станица Хадыженская, пологий спуск к ней и обед в чайной. Мы ели борщ, и это в путешествии казалось столь же странным, как если бы дома готовили на костре пшенную кашу с салом — кондер. В первый день пути обедали мы по-дорожному — у речки (может быть, это и был Маленький Тук), у костра. Вижу и перевал. Вместо того чтобы следовать всем поворотам шоссе, Юрка шагает прямо вверх, в гору, обнаружив тропинку между кустами. Мне это не слишком нравится — и трудно, и я иначе представлял себе путь через перевал, по воспоминаниям прошлой поездки, и некоторая бессознательная законопослушность моей натуры протестует: хорошо ли уклоняться от шоссе? Но Юрка, не оглядываясь, шагает между кустами, и я молчу — понимаю неосновательность моего недовольства. На вершине перевала мы останавливаемся, и верная неизменяющая радость охватывает меня — я вижу леса, похожие на моря. Эта радость уцелела и после московских неистовых будней, не ушла, не обманула. Спускаемся с горы мы тоже прямиком. Походная жизнь кажется начавшейся давно, надолго установившейся. И прелесть ее в том, что ты все время бодрствуешь. На третий день совершил я ошибку: заменил обувь, что в дороге делать никак нельзя. Вместо башмаков со шнурками надел я чувяки и растянул сухожилие. Мы шли уже по долине Туапсинки. Юрка сначала не хотел замечать, что я охромел. Но идти мне становилось все труднее, и он понял, что это не распущенность. Я снова надел по его совету башмаки со шнурками и туго их затянул. Стало полегче. Подвез меня попутный возчик на телеге. Внизу желтели насыпи новой железной дороги. Мы спустились вниз и проехали немного балластным поездом.

6 ноября 1952 г.

Ничего особенно радостного тут со мной не произошло, скорее был я опечален тем, что захромал. Сумерки, медленно идущие платформы с балластом, мы на ступеньках площадки. Белые одинокие домики, кукурузные заросли за изгородью. Почему чаще всего вижу я во сне именно эту часть нашего пути? И еще — последнюю почтовую станцию на шоссе над обрывом. И тут мы шли либо в сумерках, либо на рассвете. Туго затянутые шнурки помогли. Днем я без труда ходил по Туапсе. Пароход отходил ближе к вечеру. Мы пообедали в леске над городом. Я купил открытку, чтобы написать Соловьевым, — репродукцию картины какого-то, кажется, шведского художника, — девочка лет четырнадцати, еще подросток, смотрит, стоя у забора, прямо перед собой. Мне в ее выражении, таинственном и суровом, почудилось что-то, напоминающее Милочку тех времен, когда знакомы были мы еще мало и только здоровались по дороге в классы. Более того, я вдруг почувствовал, что есть еще какое-то счастье, кроме связанного с Милочкой. Я не верил, что разлюблю ее, нет, но девочка эта, рослая и тоненькая, похожая на Милочку выражением, но не лицом, вдруг пробудила тревогу, печаль, но и туманную надежду на какое-то неясное, но прекрасное будущее. Ничего я этого Юрке не сказал, а только похвалил картину. Юрка взял открытку, улыбнулся и сделал безнадежную попытку показать мне то, что он видел, а я не умел видеть. Он доказывал, что швед — художник посредственный, а я обижался, будто он брал под сомнение мою надежду на новое счастье. Но вскоре я успокоился. Мы написали открытку, стараясь, чтобы она вышла посмешнее, поспали на траве и отправились через город в порт. В знакомом кооперативном магазине пополнили мы наши запасы.

7 ноября 1952 г.

И тут Юрка назвал, а я понял, что знал, а вместе с тем не понимал, что знаю, — одно удивительное свойство моря — горизонт его стоял на одной высоте с нами. Улицы Туапсе шли круто вниз, к морю, а оно не лежало, а синей стеной стояло в конце улиц и над крышами домов. Когда Юрка назвал, определил эту его особенность, я порадовался, как всегда, ясности ума моего друга, но вместе испытал чувство, похожее на ревность. Он лучше моего овладел тем, что я любил так сильно! В Сочи пароход наш пришел поздней ночью, дрожь, как всегда, пробирала меня, когда двигались мы на фелюге к берегу. Дрожь от

ночной прохлады, от того, что спали на палубе, от того, что чувство путешествия охватило меня, пробрало насквозь. На берегу мы узнали, что переночевать можно в кофейне возле пристани. Хозяин-турок указал нам место на полу и, подумав, потребовал деньги за ночлег вперед. Десять копеек за двоих. Утро тянулось долго и казалось необыкновенно праздничным — лес и нарядные, что-то обещающие, как вчерашняя открытка, дачи в садах, снова лес и море. С балкона одной дачи расшалившиеся девочки, почти барышни, приветствовали нас, как знакомых, кричали что-то издали, смеясь. Но вот дачи стали встречаться реже, а лес поднялся выше. Мы услышали стук копыт. Проехал извозчик. Человек очень восточного типа обнимал за талию молоденькую девушку, почти девочку, с черными кудрявыми волосами копной и миловидным лицом с полными губами. "Топси", — сказал Юрка. Куда везли ее? Я опечалился, но снова в печали моей мелькнуло не то воспоминание, не то предчувствие счастья. Мы спустились к морю. И после этого купанья избавился я навсегда от моей болезни — прошли красные пятна на лбу, те, что до сих пор прятал я под челкой. И мы пришли в Хосту.

8 ноября 1952 г.

Я рассказывал уже как-то, что Хоста считалась местом опасным, самым малярийным на Черном море. Хоста, как говорили, по-турецки — болезнь. Поэтому, разведя костер над речкой в кустах, мы пообедали наскоро и пустились в путь. Я все мечтал об Адлере, но поворот на Красную Поляну увидели мы, не доходя до него. Стрелка на столбе и надпись указывали, что отсюда начинается Краснополянское шоссе. Я был против поворота, о котором я до сих пор и не знал. Воображение подготовлено было к Адлеру. Я любил знакомые местности, как знакомые книги, знакомую музыку. Лень моя возмущалась. Я стал спорить и настаивать, чтобы мы не сворачивали. Юрка спросил: "Почему?" Сегодня я объяснил бы ему, у меня нашлись бы слова для истолкования моего страха перед новыми дорогами, но тогда я мог только сердиться, да и то недолго. Юрка, не споря со мной и не отвечая, спокойно и молча повернул на Краснополянское шоссе, и я за ним. К ночи небо покрылось тучами. Мы легли спать в лесу, и дождь разбудил нас. Жилья поблизости не оказалось. Мы шли по шоссе и шли, но вот увидели огонь — странно белый, резко ограниченной конической формы. Нас потянуло к огню — мы промокли. Мы свернули и между деревьями, высокими, как колонны, пришли к

пылающей печи, где черные— и чернобородые, и чернорукие — люди обжигали древесный уголь. Они пустили нас к печке, и мы уселись у гудящего пламени. Когда дождь затих, мы двинулись в путь — начинало светать. "Источник Елочки" снова, к моему удовольствию, повторил чувство — "имение". Только на этот раз я попытался понять, откуда оно. Но не понял. Дальше путь наш пошел по дороге, пробитой в скале.

9 ноября 1952 г.

Это уже было самое главное, самое прекрасное, отравленное мыслью, что оно кончится, что надо скорее смотреть, ничего не пропускать. Суббота всегда меня радовала больше воскресенья. Но солнце, серо-желтые скалы над нами, и зеленая чаща на той стороне, и сосны на вершинах скал скоро опьянили, и рассуждения умолкли. Недалеко от туннеля, у родника, тоненькой струйкой бегущего вдоль скалы, уселись мы, как садишься на пятый-шестой день пути, прямо на земле, у кучи щебня, которая служила спинкой, на которую мы и откинулись. Внизу шумела Мзымта. На шоссе показался прохожий — круглолицый, заросший давно не бритой, щетинистой бородой, в серой от пыли обуви, с мешком за плечами. Он подошел к нам и попросил кружку. Юрка дал ему свою сурово и неохотно. Почувствовав это, прохожий улыбнулся, показав отличные зубы, и заговорил с нами, и мы сразу примирились с ним. Просто и добродушно рассказал он о себе. Он артист, поет в оперетте в Москве у Потопчиной. Каждое лето он путешествует вот так пешком, месяца по два. Когда он ушел, Юрка его похвалил. Зимой в Москве я увидел этого артиста у Потопчиной в выходной роли, а в 1922 году вдруг оказался с ним в одной труппе в Театре Новой драмы. Фамилия его была Зайцев. Как я обрадовался, узнав его круглощекое, здоровенное лицо. И он узнал меня, и мы, улыбаясь, видели одно и то же шоссе, сосны на страшной высоте над нами, лето. Теперь он умер. Когда, напившись,— струйка воды медленно наполняла кружку — Зайцев ушел, Юрка похвалил его: "Вот это был настоящий путешественник". В Красной Поляне мы попросились на ночлег в школу, но учительница, молодая и сердитая, с негодованием отвергла нашу просьбу. Тогда мы сняли комнату.

10 ноября 1952 г.

Комната сдавалась за 15 рублей в месяц, но мы предложили хозяйкам, пожилой и молодой гречанкам, которые выслушали наше предложение виновато и напряженно улыбаясь,

что мы будем им платить по 50 копеек в сутки. Объявление о том, что комната сдается, пусть так и висит на калитке. Появятся солидные жильцы, и мы немедленно выедем. После того как мы повторили наше предложение три или четыре раза, хозяйки нас поняли, и сделка состоялась. Оставив мешки в нашей низенькой, выбеленной комнатке с глиняным полом и узенькой терраской под окнами, мы отправились бродить. Возвращаясь, мы на дорожке, пересекающей луг, увидели женщину, в которой Юрка узнал учительницу. Вероятно, по своей учительской мнительности она решила, что мы ее ругаем за то, что она не пустила нас в школу. Мы говорили вовсе не о ней, но она прошла мимо нас, глядя в сторону, с лицом, искаженным от злобы. Это было так нелепо, что мы расхохотались, что, вероятно, окончательно разъярило бедную учительницу. Но я пожалел ее только много лет спустя. Прожили мы в Красной Поляне дней пять-шесть. Мы выходили из дома рано утром — с чайником, ведерком, в котором варили кашу, и с мешком с пшеном и салом. Мы шли без всякой цели, с чувством полной свободы, не зная куда. Однажды, спустившись к Бешенке, в зеленом туннеле орешника мы попробовали работать. Юрка открыл альбом и стал зарисовывать ручей, а я — писать стихи. Юрка рисовал и повторял от времени до времени: “Кто сказал, что я пейзажист?” Обед мы готовили на костре на поляне в лесу, возле одичавших черешен, уцелевших от старых черкесских садов. Пообедав, влезали на дерево и ели черешни мелкие, почти черные и сладкие. “Наудавиться”, — называл это Юрка, то есть — наедались мы, как удавы.

11 ноября 1952 г.

Однажды развели мы костер, сделав из плоского камня подобие очага. На огне кипел кондер. Вдруг раздался взрыв, очаг, подпрыгнув, развалился, опрокинулось в костер ведро с нашим обедом. Мне на миг стало жутко. Шелковское чувство: “Нехорошо, не к добру”, охватило меня, но я немедленно в страхе, как змею, отшвырнул его прочь. Покачав головой, Юрка осмотрел взорвавшийся наш очаг и нашел объяснение: видимо, в одном из плоских слоистых камней между слоями оказалась в каком-нибудь углублении вода. Костер довел ее до кипения, и пар взорвал камень. Обратный путь к морю был особенно легок и весел — идти приходилось все время под гору. Мы и без того были дружны, а в пути на свободе, на природе особенно сблизились. Разговор всегда удавался и

был значителен. Он заводил меня, как пружина. И идти, и думать — все было легко. Посреди пути, между Красной Поляной и Адлером, был постоялый двор, где кормили коней, а проезжающие пили чай под длинным навесом за длинным столом, сидя на длинных скамейках. И навес, и стол, и скамейки были самодельные, сколоченные на живую нитку из жердей и горбылей, кукуруза росла за плетеной изгородью. Мы заняли местечко в углу стола, и я поднял газету, оставленную кем-то на скамейке. На первой странице крупными буквами сообщалось о сараевских событиях. Я сказал Юрке: "Австрийский эрцгерцог убит!" — "А тебе-то что!" — ответил он хмуро. "И в самом деле — мне-то что?" — подумал я. К Адлеру подходили мы, когда уже начинало темнеть, и в третий раз испытал я отчетливое предчувствие счастья, увидев белые стены города, и порадовался прочности этого чувства.

12 ноября 1952 г.

Мы зашли на базар, купили свежей, еще теплой колбасы в ларьке. Вот здесь заметил Юрка, а не я, фамилии владельцев ларька. Готошия, Цхонариа и Пирцхалава. (Я перенес эти фамилии в первое описание Адлера.) В агентстве РОПИТ'а купили мы билеты на пароход. Мы собрались поужинать, усевшись на широком подоконнике в агентстве, но тут зазвонил на улице колокол. Пароход пришел. Мы прошли по мосткам на фелюги. Было совсем уже темно, на пароходе зажглись огни. Мы выбрали себе место на пароходной палубе, устроились поудобнее и тут обнаружили, что колбасу забыли в агентстве на подоконнике, что очень огорчило нас. Ночью светила луна, сверкающая вода мчалась мимо, наискось, к далекому берегу, и много лет потом я видел во сне такую луну и такое же движение, только я скакал верхом по полю, наискось, без дороги, к далекому лесу. И наяву и во сне меня переполняло предчувствие счастья, а на самом-то деле беззаботные дни, счастливые дни были на исходе. Когда мы шли по шоссе домой, я уж и не думал отставать. У нас выработался ровный шаг — шесть верст в час, и, казалось, мы теперь можем идти, не уставая, сколько захотим. К вечеру первого дня встретили мы Мишу Зайченко, его двоюродного брата — Хоботова и не помню еще кого третьего. Они вышли из Майкопа на рассвете и к вечеру сделали больше семидесяти верст. До Туапсе собирались они дойти в два дня. Это нас подзадорило, и мы до ночи отшагали без особенных усилий столько же, сколько

они. Когда мы выходили из Хадыженской, встретили англичан с нефтяных промыслов. Рослые, самоуверенные люди, они вдруг вызвали у меня то мучительное чувство беспредметной ревности, которой я изводил Милочку. Особенно один — бледный, стройный брюнет. Но в мечтах я победил их всех.

13 ноября 1952 г.

К почтовой станции на восемнадцатой версте мы подошли часов в девять вечера на второй день нашего пути из Туапсе. Юрка хотел во что бы то ни стало идти дальше, но я решительно воспротивился. Дело было не в усталости, а в том, что в мечтах своих я приходил в Майкоп рано утром. Ночное появление в соловьевском доме представлялось мне почему-то обидным, что-то отнимающим у радости возвращения. И я настоял на своем. Если мы выйдем часа в четыре утра, то придем в Майкоп часам к семи, то есть пробудем в пути ровно двое суток. “Ну, это будет уже не то!” — сказал Юрка, но в конце концов согласился. В маленьком шоссейном домике оказался знакомый сторож: он когда-то служил у Агарковых дворником, а жена его — кухаркой. Оба меня узнали. Они поставили нам самовар. Сторож оказался словоохотливым и хорошим рассказчиком. Юрка, который смеялся не часто и никогда — из вежливости, как я, а тут хохотал, что как бы ставило пробу, позволяло мне с полным доверием восхищаться рассказчиком. Он описывал грязи на курорте в Крыму, где некогда работал: “Залезет больная в яму по самую шею, выставит сурлетку и сидит”. Рассказывал он об Агаркове, называя его, к некоторому смущению жены, “черт Агаркин”. На рассвете отправились мы домой. Шли мы рядом по длинным-длинным подъемам и спускам между высокими лесами, и еще и семи часов не было, как увидели Майкоп, таинственный и значительный. Мы были в пути меньше двух суток — и прошли за это время сто сорок верст, это я-то, который некогда еле добрался до третьей версты. Но дело было не только в этом. Это двухнедельное путешествие воспитало во мне — что? Не берусь определить и сейчас. Но, кроме знаний, которые имеют название, есть душевный опыт — драгоценный, но безымянный. И я был бы иным, и жизнь прожил бы иначе без этих неопределимых, но необыкновенно ясных и счастливых дней. Итак, Майкоп открылся перед нами.

14 ноября 1952 г.

Мы пришли в Майкоп, и жизнь некоторое время была так же ясна и полна, как в путешествии. Я каждый день занимал свое место под чучелом тура у окна в читальном зале библиотеки. И далеко-далеко узнавал кудрявую голову Милочки, узнавал ее платье табачного цвета, которое запомнилось мне почему-то больше, чем остальные. Впервые в это лето Милочка ходила не в форме — ведь она кончила гимназию и была уже принята на Бестужевские курсы в Петербурге. Если мы почему-нибудь не встречались днем, я подстерегал ее, глядя из окна санделевского дома, от Соколовых. Она поддразнивала меня этим. Я сказал как-то, высунувшись в окно: “Какой прекрасный закат”. Сергей и Юра ухмыльнулись, и немного погодя Юрка сказал: “Не пропусти закат”. Он сидел к окну лицом и заметил, что Милочка идет по другой стороне улицы. В эти дни у Соловьевых стала часто бывать, подружилась с Варей Вартануша Мнацканян — армянка, рослая, стройная, с длинной толстой косой, великолепными армянскими глазами, маленьким правильным носом, отличным цветом лица. Она была очень хороша, дышала здоровьем и простотой. Мне она очень нравилась. Я несколько раз начинал влюбляться в нее — в той небольшой степени, на какую был способен тогда. Вернее, я замечал, как тогда, глядя на открытку в Туапсе, что есть еще какая-то жизнь за чащей, глушью моей влюбленности в Милочку. Очень странно прошел первый припадок моей влюбленности в Вартанушу. Я был в Пушкинском доме на какой-то лекции или спектакле. Вдруг дверь распахнулась, и шумно вошла запоздавшая Вартануша. На нее зашикали. Она смутилась, вспыхнула и, сгорбившись, пробралась на свободное место. И вот вместо жалости, которую испытываю я, рассказывая теперь, испытал я раздражение, чуть ли не презрение, и любовь, или тень любви, исчезла. Но потом стала она пробуждаться вновь.

15 ноября 1952 г.

В те дни у Соколовых все поддразнивали Алешу. Нам понравился фельетон в “Сатириконе” — “Опрепищур”, “Опытный репетитор ищет уроки”. Мы все составляли сокращенные слова на этот манер, и Сережа дразнил Алешу словами “молбарочхор”. Впрочем, дразнил — это слишком по-шелковски. Не дразнил — шутил. Звали его и Ашела — он в раннем детстве сделал колпак и написал на нем вместо “Алеша” — “Ашела”. Однажды Сергей и Юрка стали подшу-

чивать надо мной. А у меня бывали дни, когда я не понимал шуток. Каждое слово больно ушибало меня. Я не сердился, понимал, что сердиться глупо, но не мог про себя не мучиться. Я был уверен, что мои дурацкие муки так при мне и останутся. Но когда я уходил домой, Юрка, спустившись со мной по лестнице, столь знакомой лестнице санделевского дома, взглянул мне в лицо и вдруг добродушно расхохотался, положив мне руки на плечи: "Бедный Шварц, мы парни грубые! Обидели! Не обращай внимания". И я был поражен Юркиной чуткостью. Я был в смутном состоянии. С Милочкой отношения сильно портились. Пришел из Армавира синий лист, глянцевитый, того же формата и вида, что и аттестат, выданный реальным училищем. Он и пришел на адрес реального училища, и был мне вручен под расписку. Я нес его домой и встретил Милочку со Звягинцевой, и показал им этот документ. Увидев отметку тройку, которой я так радовался, Милочка, с которой я за день до этого поссорился, вдруг напала на меня. Стала говорить, что с такими отметками никуда меня не примут. Я, дойдя до угла, попрощался и ушел. Когда я встретился с ней в следующий раз, Милочка сообщила мне с удивлением, что Звягинцева вступилась за меня после моего ухода. Сказала Милочке, что так с человеком разговаривать нельзя, что я ее скоро разлюблю. И Милочка задумчиво взглянула на меня, словно желая понять, возможно ли это.

16 ноября 1952 г.

И я подумал про себя: "Нет, это невозможно". Каждый день лета, которое началось так счастливо, все углублял да углублял мои ссоры с Милочкой. Воинский начальник, казачий полковник Третьяков с женой и двумя сыновьями стал бывать у Крачковских. Один сын был кадет, другой — юнкер, кажется, артиллерийского училища Петербурга. Для меня это было невыносимо — юнкер, простой, интеллигентного вида, в очках, явно увлекался Милочкой. Я видел, как две семьи, Крачковских и Третьяковских, идут не спеша, прогуливаясь, и рядом с Милочкой — юнкер. Я разум терял от ревности. И привело это к тому, что Милочка снова сказала мне, что она меня не любит. Вот о чем я думал, чем я жил, не думая и не замечая того, что творилось вокруг. Правда, тут я еще прочел в "Вестнике Европы" чей-то международный обзор, доказывающий, что войны не будет. Я не верил в события большие, идущие извне, — в моей жизни их не было. Те, что ворвались в мою жизнь в детстве, казались мне

доисторическими. От восьми- до семнадцатилетнего человека — огромное расстояние. И вдруг объявлена была всеобщая мобилизация. Улицы заполнились плачущими бабами, казаками, телеги, как во время ярмарки, заняли всю площадь против воинского присутствия. Пьяные с гармошками всю ночь бродили по улицам. Многие из знакомых вдруг оказались военными, впервые услышал я слово “прапорщик”. В мирное время ниже подпоручика не было чина в армии. Прапорщиками запаса оказались и Юрий Коробьин, и бухгалтер Азовско-Донского банка Мистергазе и даже сам Бернгард Иванович Клемпнер. Вот тут мы задумались, и оглянулись, и угадали, что газета, забытая между Адлером и Красной Поляной, сообщила нам роковые новости. Пришло письмо от папы. Его нижегородская служба оборвалась. Он был назначен по мобилизации в войсковую больницу Екатеринодара.

17 ноября 1952 г.

Я еще не мог представить себе, что спокойнейшей майкопской жизни с тоскливым безобразием праздников, с унынием плюшевых скатертей, пришел конец. Но вот к вечеру ясного дня закричали на улице мальчишки-газетчики. До такой степени поразила издателей майкопской газеты небывалая новость, что забыли они о расходах и доходах. Мальчишки бесплатно раздавали цветные квадратики бумаги, на которых напечатаны были всего четыре слова: “Германия объявила нам войну”. “Германия?” — спросил удивленно Василий Федорович. Все ждали, что начнет Австрия. Вечером того же дня, на закате, пошли мы к Соколовым на участок. По дороге говорили только об одном. Закат, уж слишком красный, раскинулся на полнеба, и Юрка сказал, что если бы был суеверен, то подумал, что в этом небе — какое-то пророчество. Немного погодя, сказал он, улыбаясь, что из четырех братьев, по теории вероятности, хоть один будет убит. На участке озабоченные взрослые обсуждали, когда кончится война, и тут впервые до высказывания Китченера, услышал я, что продлится она несколько лет. Сказал это Василий Алексеевич Соколов. Я, кажется, рассказывал уже как-то, что среди майкопской интеллигенции Соколовы отличались знаниями и умом. (У них я, например, услышал о теории относительности Эйнштейна, впоследствии названной малой, и Юрка и Сергей старались объяснить мне ее, начав с примера о поездах, идущих друг мимо друга. Было это, очевидно, непосредственно после ее опубликования). Среди общей уверенности в том, что немцев

раздавят разом (споры шли только о том, понадобятся ли для победы недели или месяцы), — заявление Василия Алексеевича неприятно удивило. А он спокойно и доказательно развил свою мысль, опираясь на факты Балканской войны, где понадобилось достаточно много времени, чтобы осилить слабую Турцию. На другой день, впервые во взрослом состоянии увидел я на улицах демонстрацию, но с трехцветными флагами, царскими портретами, иконами. Была уже ночь, когда на площади в пыли, поднятой толпой, священники служили молебен. Мне казалось, что я вижу сон. События ворвались в нашу жизнь и никак с ней не соединялись.

18 ноября 1952 г. Путешествие наше в Красную Поляну отошло далеко-далеко, казалось, что происходило оно века назад, да так и было в сущности. Да, ворвавшиеся в нашу жизнь события не усваивались, но непрерывно ощущались. Все было окрашено войной. Тут и начало развиваться губительное чувство, которое можно назвать так: "Пока". Все, что делалось, делалось на время. То, что совершалось вокруг, не принималось как настоящая жизнь. Когда кончится война, тогда я и начну жить и работать, а пока... Все пока да пока, а когда оставшиеся в живых несчастные мои ровесники приходили в сознание, то часто оказывалось, что жить уже поздно. Ошеломленный войной и любовью, поехал я в Екатеринодар к родителям. Армавир был неузнаваем. Я говорю о вокзале. Маленький армавирский вокзал впервые показал мне то, к чему так приучили нас войны. Целые семьи, проводившие отцов на фронт, спали на узлах и мешках. Прапорщики с новенькими чемоданами. Пассажиры, задержанные событиями в пути, потемневшие, помятые, пробирающиеся с курортов дамы с детьми. Отсутствие расписания. У кассы столпотворение. Я дал рубль носильщику, чтобы он достал мне билет. Когда подошел поезд, носильщик прибежал, схватил мой нескладный, слишком легко раскрывающийся чемодан и втиснул меня на площадку, набитую до отказа. Потом сказал, что я доеду и без билета, достану его по дороге, и исчез. Поезд тронулся. Я был в штатском костюме, что справили мне после окончании училища, в черной касторовой шляпе, которую достал неведомо где, я взял в дорогу "Пиквикский клуб", который лежал на чемодане, поставленном стоймя. Не успел я прийти в себя, едва отошел поезд, как на площадку втиснулся обер, сопровождаемый щеголеватым кондуктором. Со строгим лицом

обер рванулся ко мне, дернул меня за плечо так, что я перевернулся и опрокинул чемодан, отчего упал и рассыпался "Пиквикский клуб". В результате этих действий, против которых я громко протестовал, обер пробрался к двери.

19 ноября 1952 г.

Он отпер дверь своим ключом и втащил на площадку какого-то подростка в белой рубахе и казацких шароварах. И сразу же после этого напал на меня: "Человек на ступеньках висит, на краю гибели, а вы тут крик поднимаете". После этого, багровый, с трясущимися щеками, стал он проверять билеты. Узнав, что я безбилетный, приказал он щеголеватому кондуктору высадить меня на следующей станции, что тот и выполнил не без удовольствия. Наш вагон был одним из последних в длинном-длинном составе. Я бросился бежать к далекой станции, оставив чемодан и "Пиквикский клуб" на земле у вагона. Билет я успел взять. И когда мчался обратно, поезд тронулся. Изо всех вагонов кричали мне: "Прыгай! Садись!" Но я несся к своему чемодану. И когда добежал, было уже поздно. Поезд удалялся. С последней площадки щеголеватый кондуктор с усмешечкой смотрел на меня. Я уставился прямо ему в глаза с ненавистью, проклиная его в бессильной злобе, а поезд все набирал ходу. Когда я подходил в станционному домику, вокруг было уже тихо, как в степи. Я вспомнил вдруг Овечки и пшеницу, которая кланялась мне, и сердце сжалось в тоске о потерянном счастье. Над карнизом на доске чернело название станции: "Отрада Кубанская". Я вошел в пустую комнату с единственным диваном, с закрытым уже окошечком кассы, и вдруг тишину нарушил женский плач, горький, отчаянный вой. Вошел какой-то железнодорожник, и я узнал, что за стеной — гроб с телом молодого армавирского богача Баронова, разбившегося при автомобильной катастрофе. Жена плачет-убивается. И я ужаснулся. А железнодорожник, весь в машинном масле, тощий, пожилой, подсел ко мне.

20 ноября 1952 г.

Добродушно и наивно глядя на меня, он расспросил, как я попал сюда, кто такой и посочувствовал моему горю. Следующий поезд придет ночью. Железнодорожник скрылся за одной из дверей с надписью: "Посторонним вход воспрещен", а я отправился бродить вокруг, бросив на деревянном диване свой чемодан и "Пик-

викский клуб". Кому они тут были нужны? Кто их возьмет? За станцией дорога, убегающая в степь, уводящая из полосы отчуждения, от железнодорожного мира, тронула своей прелестью, шевельнулось было предчувствие счастья, но жалобный плач отрезвил меня разом. Ждать здесь до ночи показалось ужасным, непереносимым горем. Шелковское ощущение: "нехорошо, не к добру" стало все яснее говорить в душе. Кончилось все: мирная жизнь, счастье — что будет впереди? Почему я попал как раз на ту площадку, где оберу понадобилось открыть дверь? Неспроста высадили меня на станции, где стоит гроб и горько плачет женщина. Я вернулся на платформу. Железнодорожник подсел ко мне. Покачав головой, посочувствовал он плачущей и рассказал, как тонула его дочка. Так было жалко! Когда года через два умерла она от горла, он не так ее жалел, а вот когда тонула! Со стороны Армавира показался дымок паровоза. Железнодорожник скрылся и показался снова, с видом человека, несущего хорошие новости. Приближался воинский поезд. Если сесть на площадку офицерского вагона, можно доехать до Кавказской. Так и начальник станции советует сделать. Пришел поезд из теплушек и одного классного вагона. Мой доброжелатель, подмигивая мне и кивая обнадеживающе, помог внести чемодан на площадку, сказал: "Ничего, ничего, доедете", — и исчез. Я, держа в руке билет, ждал с нетерпением, чтобы мы тронулись. Пусть высадят, но хоть на другой станции. 21 ноября.

21 ноября 1952 г.

Но вдруг на площадке появился незначительного, скорей чиновничьего, чем офицерского вида, капитан. Увидев меня, он взъерошился и велел уйти вон. Показывая билет, я забормотал, что мне разрешил ехать тут начальник станции, что я пробираюсь к мобилизованному отцу — вот телеграмма, что я... Ничего не желая слушать, фыркнув: "Начальник станции — подумаешь!", — он решительно приказал мне высаживаться. "Не понимаю, чем я вам мог помешать", — сказал я и, взяв чемодан и книжку, двинулся к выходу. "Ах, это и есть весь ваш багаж? — спросил вдруг капитан мягко. — Ну ладно, тогда оставайтесь". Я снова поставил свои вещи у окошка, а капитан скрылся в вагоне. Поезд тронулся наконец. И я расплакался позорно, глядя в окошко и ничего не видя. Минут через десять капитан опять появился на площадке, может быть, для того, чтобы пригласить меня в вагон. Я не повернулся к нему, желая скрыть слезы. Но он их заметил, видимо, потому что стал объяснять, какая

ответственность лежит на нем как на начальнике эшелона. Тут поневоле будешь строгим. Я молчал, и капитан, не желая смущать меня, удалился. Слезы мои высохли. Я достал плитку шоколада, купленного в Армавире, и стал есть по кусочку. Но туман на душе не рассеивался, да я и боялся ясности. Смерть, плач вдовы, все мелкие и крупные обиды сегодняшнего дня — на все это лучше было не смотреть. И больше всего пугало сознание, что все эти события — только признаки, приметы недоброго времени, надвигающегося на всех. И в Екатеринодаре все было освещено новым, сумрачным светом. Наши поселились в одной из комнат большой Сашиной квартиры. Я встретился с Тоней, как в первый раз, — века прошли после нашей поездки к Рейновым. Мы подолгу говорили. Вышло так, что я показал ему мои стихи, поразившие его своей бесформенностью. И вместе с тем что-то задело его в них. Это он не сразу признал. Спорил.

22 ноября 1952 г.

Он даже написал пародию на мои стихи: "Стол был четырехугольный, четыре угла по концам. Он был обит мантией палача, жуткой, как химеры Нотр-Дам". Все это (кроме химер Нотр-Дам) было похоже. Особенно описание стола. Но я упорно доказывал, что я пишу по-своему, что таково мое понимание музыки. К моей радости, через некоторое время я заметил, что Тоня начинает относиться к моей ни на что не похожей манере писать с некоторым уважением. А я выслушал и запомнил разгром моих рифм, которые вовсе и не были рифмами. Наметилось некоторое подобие дружбы с Тоней, но я с майкопской, почти сектантской нетерпимостью не принимал многого из его высказываний. Самая манера выражаться, книжная и, о ужас, "неестественная", не нравилась мне, вызывала подозрение. Но я скоро заметил, что, не боясь пользоваться книжными, а не своими оборотами, Тоня говорит всегда умно. Он оказался куда образованнее меня, с чем я скоро вынужден был считаться. Итак, с Тоней завязалась дружба, я бывал в городском саду, в театре, ездил в рощу, — название которой забыл, единственная чахлая рощица в степных окрестностях Екатеринодара. Снова трамвайный звон вечером у городского сада как будто обещал счастье — но я чувствовал твердо: что-то отнялось. Я чувствовал, что пересажен, а привиться не могу, как только что в Москве. Я бывал у Рейновых, Милочка сыграла мне Дебюсси, которого я не слышал до сих пор, и он показался мне чужд. Ходили мы с

Тоней на Кубань. Большая река, но чужая. Папа ходил в военной форме. Саша рассказывал, что в адвокатской комнате суда вывесили расписание, кому заходить ночью в редакцию за последними новостями. Сделали на три недели, а внизу записали: "К этому времени война кончится". Мы собирались в Москву.

23 ноября 1952 г. Снова меня принялись одевать и обувать для Москвы. На этот раз в студенческую форму. Я подал заявление в канцелярию начальника области о выдаче свидетельства о благонадежности. Мне сказали, что его пошлют в Московский университет. На руки таковые не выдаются. Запах сургуча, унылые люди, чувство неловкости. С поездами дело было худо, но вагон "Петербург — Новороссийск" ходил. Беллочка устроила так, что кто-то из ее знакомых купил нам билеты в Новороссийске. Вообще вокруг нашего отъезда подняла она суету, характерную для нее. Писала в Москву двоюродному своему брату Аркадию об оказании нам покровительства, все время искала знакомых влиятельных московских людей, которые могли пригодиться нам на всякий случай. Этот коротенький екатеринодарский период жизни окрашен чувством конца чего-то, пустоты, чужого налаженного быта — Сашиного, Исаака. Мы ехали откуда-то на трамвае: Саша, Исаак, папа с мамой и я. Папины братья сошли на остановке, отправились в клуб. И он сказал мрачно: "Шварцы богатые ушли, а Шварцы бедные остались". Тогда я рассердился: ни Саша, ни Исаак богаты не были. Очевидно, отец хотел сказать: счастливые. Но, вспоминая, понял, что пугало отца. В сорок лет остался он вдруг без дома, без единой вещи, без уверенности в завтрашнем дне, с недружной и непонятной семьей. Было отчего заскучать. В назначенный вечер явились мы на вокзал. У вагонов шла чуть ли не драка, но нам вручили билеты, и мы заняли плацкартные места. И я поехал снова в Москву, в ту Москву, о которой вспоминал с ужасом. Но на этот раз Тоня, курсистки, с которыми мы познакомились дорогой, отличная погода— все утешало меня. Помню мать и дочь из Артвина на турецкой границе. Дочь и мать, жена офицера, ехали вместе на курсы. Дочь-овечка, голубоглазая, мать черная, худенькая.

24 ноября 1952 г. Мне показалась она женщиной сильно пожилой, и я никак не мог понять, зачем поступает она вместе с дочерью на курсы. Дочь мне нравилась, и я даже пытался целоваться с

ней на площадке, отчасти назло Милочке, отчасти для собственного удовольствия. Белые здания вокзалов Курской дороги уже не казались мне чужими, я ехал в студенческой форме, с Тоней. Вагон был полон студентами, все больше Коммерческого института, в большинстве грузинами и армянами. Все познакомились друг с другом, и главное московское горе, одиночество, теперь не грозило мне. Поднятая на ноги Беллочкина родня в первый же день, точнее, в утро нашего приезда, устроила целый консилиум. Один дядя, благообразный и красивый, давал множество советов: где снять комнату, сколько она стоит. Советовал Тоне называть себя Антон Исаич, чтобы не будить настоящим своим отчеством в людях антисемитизм. Я смутно чувствовал, что это смешно, но не признавался себе в этом, — столько наговорила мне Беллочка об уме своих кузенов. Дядя Аркадий, лысый, светлоглазый, скептический, с лицом человека, который не дурак пожить, больше помалкивал и позвал к себе обедать. Оба дяди считались дельцами. Но что они делали? Аркадий состоял, кажется, биржевым маклером. Его квартира выглядела по-московски знакомой. Все та же мебель модерн, пол затянут бобриком, пианино. Прилично и достойно жил дядя с молодой, разбитной, вечно напевающей женщиной, у которой был мальчик лет пяти. Русская, тоже очень московская, необыкновенно шла она к зиме, к магазинам Абрикосова, к опере Зимина, куда у дяди Аркадия был абонемент. Мы сняли с Тоней комнату наверху над дядиной квартирой в Дегтярном переулке на Тверской и стали постоянными его гостями. У меня всю жизнь отсутствовало канцелярское счастье. Когда мы пришли оформляться в университет, выяснилось, что свидетельство о благонадежности не пришло сюда.

25 ноября 1952 г.

Я дал об этом телеграмму в Екатеринодар. В канцелярии начальника области выяснилось, что свидетельство мое по ошибке заслали в Петроград. Мама, со своей подозрительностью, решила, что это подстроено мной, так как Милочка поступила на Бестужевские курсы. Я огорчился этой задержкой. Меня еще по пути мучило предчувствие, что в канцелярии меня как-то обидят. Но когда мы с Тоней зашли поглядеть на юридический факультет (правая дверь во дворе нового здания), меня утешил старик швейцар. Он повел нас в гардеробную. Там, по тогдашней традиции, уже висели отпечатанные на машинке карточки, указывавшие каждому его вешалку, и мы увидели три таблички: "Шварц

Антон Исаакович", "Шварц Борис Львович", "Шварц Евгений Львович". По странному совпадению студент, носящий имя и отчество моего старшего брата, умершего шести месяцев, поступил в этом же году в тот же университет, что и я. Оказался он, впрочем, остзейским немцем, неприятным и туповатым. Это выяснилось позже, а пока табличка с моей фамилией успокоила меня. Очевидно, университетская канцелярия, помещавшаяся где-то в мрачных катакомбах старого здания, не придавала значения задержке свидетельства. Оно и в самом деле скоро пришло, и канцелярское приключение забылось. Да, на этот раз у меня был студенческий матрикул. Я был студентом Московского университета. Он, правда, считался слабым. Я говорю о юридическом факультете, разгромленном Кассо. Но все-таки это был университет, Московский университет. И тем не менее тоска, московская тоска скоро охватила меня. Я не прививался! Одиночество прошлого года исчезло. В Москве жили Истаманов, Лешка Кешелов, Камрасы. Комнату я снимал вместе с Тоней — и ничему это не помогло. С первого же дня возненавидел я юридический факультет с его дисциплинами. Студенты, которые были, конечно, не глупее моих одноклассников, показались мне дураками, ломаками, ничем.
26 ноября.

2 ноября 1952 г.

Чужим я чувствовал себя и у дяди Аркадия. Это был Тонин дядя. И Тоня, выдержанный, хорошо говорящий, образованный, ясный, был принят в его семье как свой. У меня особенно испортились отношения с ним после одного случая. Маруся Зайченко делала сбор для какой-то курсистки, растратившей или потерявшей общественные деньги. Аркадий взял нас на "Лакме", к Зимину. В антракте я рискнул попросить у него для курсистки 25 рублей. Благодушное лицо Аркадия с устрашающей легкостью превратилось в каменное, надменное. И он отказал. Это было для меня открытием. Людей подобного рода я еще не видал в своей жизни. Ряд отвлеченных представлений вдруг наполнился содержанием. Я своими глазами увидел собственника во всей его силе. Сказался он по ничтожному поводу, но тем больше поразил. На Тоню он тоже произвел сильное впечатление. Дело было не в отказе, а в технике отказа. Я задел его веру в его божество — от этого и стало надменным его бритое, равнодушно-благожелательное лицо. И я впал у него в немилость. Он почувствовал во мне не врага, но чужого. Я продолжал бывать у него,

но он все поучал меня по мелочам: как причесываться, как одеваться — а иначе ничего, мол, из вас не выйдет. Анна Дмитриевна — так, кажется, звали его жену, имела много друзей. Бывала жена какого-то адвоката, которую всегда сопровождал длиннолицый парень с лицом убийцы. Сам адвокат, седой и недовольный, бывал в обществе жены редко. Бывал толстый Метнер, брат композитора, кажется, фабрикант, и худенькая женщина, его жена или тоже не жена, как Анна Дмитриевна Аркадия. Помню разговор, который я, может быть, и не понял, где Анна Дмитриевна о гордостью рассказывала, как эта самая худенькая женщина была в ужасном положении, но вот она познакомила бедняжку с Метнером, и та отлично устроилась. После монашеской интеллигентской майкопской среды эта и пугала и удивляла меня. Но легкая, практичная, трезвая, веселая, она шла по московским оживленным улицам с театрами миниатюр, ресторанами, тумбами с афишами, польскими кофейнями, спекулянтами.

27 ноября 1952 г.

Впрочем, два этих последних понятия только-только начали появляться и утверждаться. Ведь война только-только начиналась. Первых раненых мы увидели на маленькой станции по дороге в Москву, ночью, и мне стало жутко. Но первые беженцы, первые “варшавские кафе”, первые разговоры о спекулянтах — уже существовали. Москва была еще богаче, еще оживленнее, еще грязнее и еще мрачнее, чем в прошлом году. Но квартира внизу, где мы так часто обедали, не замечала невыносимой для меня тогда московской тоски. Любимым разговором было — сравнивать Москву и Петроград в пользу первой. Итак, я ходил в университет, слушал Байкова, читавшего римское право, лекции которого, и без того мне чуждые, окончательно отравлялись разговорами о том, что это карьерист, ставленник министерства, в науке — пустое место. Бывал и на практических занятиях по римскому праву у Бобина. Но больше всего пользовался я правами и преимуществами предметной системы, благодаря которой никто не интересовался, бываю я в университете или нет. Вот я и не бывал. И однажды в припадке тоски отправился вечером на Николаевский вокзал, не зная расписания, наугад. Мне, когда я поступал к Шелявскому, выхлопотали паспорт сроком на четыре года, до призыва на военную службу, что облегчало мое путешествие — университетское удостоверение было действительно только в Москве и на сто верст вокруг. Я

знал, что поезда в Петроград отходят по вечерам, и в самом деле, через час я впервые в жизни ехал по дороге, столь знакомой мне впоследствии, ехал в Петроград повидать Милочку, заставить ее меня полюбить. Она ведь снова не знала, любит ли меня. Было это, вероятно, 10—11 сентября. Я хотел побывать на именинах Милочки 16-го. Я вышел в Клину, который славился своими пирожками.

28 ноября 1952 г.

И почти весь вагон вышел в Клину. Пирожки и в самом деле оказались хороши, хотя у нас дома пирожками называлось нечто другое. Клинские, как и филипповские, походили на пончики, несладкие и несдобные, с мясной начинкой. Впрочем, и Клин с его пирожками, и вагон, и вечер — все казалось мне как бы несуществующим. Никогда я не уезжал так вот, вдруг, без вещей, по собственной воле. Встреча с Милочкой казалась тоже непонятной. И тоска, и желание увидеть ее как бы исчезли в тумане — я действовал, а не мечтал. В вагоне как будто только и ждали Клина — и едва поезд отошел, как все начали укладываться спать. Уснул и я на своей верхней полке. Несмотря на непростой мой нрав, на склонность к мучительным мыслям, бессонниц я не знал. В Любани на столах дымилось кофе, сияли вазы с пирожками и бутербродами. Вот тут я вдруг понял, что вырвался из чужой, не принимавшей меня московской жизни и увижу сегодня Юрку Соколова, Соловьевых. Встречу с Милочкой я не представлял себе, это было слишком уж важно. Тоска исчезла, как исчезает иной раз боль, едва приходишь к доктору. Испытывая легкую дрожь, увидел я город. Солнце светило, к моему удивлению. И вот я вышел на Невский, сел на трамвай седьмой номер. И скоро почувствовал в самой глубине, в трезвой и неподкупной глубине: да, это не Москва. Я еще не понимал, в чем дело, но чувствовал новый город. Юрка жил на Петербургской стороне, в огромном доме сразу за Тучковым мостом, выходящим и на Большой, и на набережную, и на Средний проспект. Вход был со Среднего. Юрка обрадовался, что всегда меня глубоко трогало. И пошел показывать мне город. На трамвае проехали мы садоводство.

29 ноября 1952 г.

На это садоводство я до сих пор взглядываю, проезжая. Оно против собора. Через остановку мы слезли и вышли к Неве. Я как-то не понял ее из трамвая по дороге с вокзала.

Но тут понял. И уже ясно почувствовал своеобразие города, о котором умалчивали у Аркадия. Мы дошли до спуска к Неве, с китайскими зверями, и сели на пароходик, который довез нас до пристани у Сенатской площади. И смутное чувство, что этот город не чужой, что и он принимает меня, зародилось во мне. Юрка вывел меня на Морскую. Богатство, как всегда в России, будило чувство неловкости, и дамы вызывающе глядели из колясок: “Мы в своем праве! Троньте только!” Возле памятника Николаю ходил старичок в старенькой солдатской форме и кивере. Такой же старичок шагал у Александровской колонны. Дворец глухого красного цвета не очень понравился мне. Статуи на крыше, казалось, толпятся и не связаны со зданием. К боковому подъезду подкатила маленькая каретка, лакей в ливрее помог выйти маленькой старушке. Кто приехал? Мы знали, что царь живет в Царском Селе. Какая-нибудь старая фрейлина? Но это было так далеко от нас, что едва задело воображение. Зато раздавшийся на Дворцовом мосту странный дуэт — флейты и барабана — ударил по сердцу. Шли юнкера, неспешным шагом, штыки в ниточку. И среди юнкеров мы увидели Сорокина, Копанева, которые чуть заметно улыбнулись нам. Обедали мы в польской столовой. И вечером пошли к Соловьевым. Жили они очень высоко, на Восьмой или Седьмой линии, у самого Среднего проспекта, дом 31-б. Они приняли меня ласково. У них сидела в гостях Милочка, странная, непонятная, петроградская. Она все постукивала носком башмачка, все думала о чем-то и улыбалась своим мыслям. И начались мои терзания. Юрка Соколов нарисовал карандашом карикатуру на нас.

30 ноября 1952 г.

Собственно говоря, это был рисунок, а не карикатура. За столом сидела Милочка, с новой своей неопределенной улыбкой, с шапкой вьющихся волос (после стрижки своей она все еще не носила кос), а из угла комнаты глядел на Милочку я, худой, угнетенный, мрачный, явно стараясь понять изо всех сил, что она думает, что с ней. Рисунок этот ужаснул меня, я даже хотел разорвать его. Во всяком случае — помял, чем рассердил Юрку. В любви своей дошел я до странного состояния, я отчетливо видел все недостатки Милочки. Она была не вполне нашей, не понимала того, что легко схватывали я, Юрка, из Соловьевых — Варя. Юрка рассказал мне, как в музее Милочка, глядя на какую-то картину, прошептала: “Хорошенькая головка!” Я был беспощаден к ней, какой-то

трезвый голос говорил мне: "Сейчас она даже некрасива. Смотри! То, что она говорит, не слишком умно. Слушай! Она не понимает того, что понимаем мы. Она не очень хорошо играет на рояле. Играя, она открывает рот, не разжимая губ. Это не слишком красиво". С удивлением я заметил однажды, что люблю Милочку для себя. Мне легче было бы пережить ее смерть, чем измену. Я никогда не жалел ее. Я любил ее свирепо, бесчеловечно — но как любил! То, что в других меня разочаровало бы, вызывало только боль, когда я замечал это в Милочке. Я не жалел ее, странно было бы жалеть бога. Поездка в Петроград оказалась мучительной. У Милочки бывал Третьяков, тот самый юнкер, которого я ненавидел в Майкопе. На этот раз были поводы для ревности. И я по своей слабости переживал это чувство открыто, не скрывал его. В Петрограде было много магазинов с вывеской "Цветы из Ниццы". Недалеко от Милочки (она жила на Среднем проспекте Васильевского острова в доме 47) был как раз такой магазин. Я купил букет хризантем.

1 декабря 1952 г.

Ничего другого, кроме этих цветов, лиловатых, растрепанных, с длинными лепестками, в магазине и не было, вероятно, по случаю войны. 16 сентября 1914 года пошел я вечером к Милочке, понес свои хризантемы. И мы поссорились в этот день, в день ее ангела. И, придя в ужас и отчаяние от невозможности понять новую, петроградскую Милочку, как не понимал, впрочем, за год до этого Милочку майкопскую, я выхватил из вазы растрепанные большеголовые цветы, бросил на пол и растоптал. И Милочка сказала дрогнувшим голосом: "Вот так у нас и будет. Все, что ты мне отдаешь, ты потом растопчешь". И это до того не было похоже на правду, что я подумал: "Нет, Милочка все-таки ничего не понимает. И сказала она это как-то неестественно". Я был беспощаден к ней — и как безумно я любил ее. Уже у Наташи и Лели были строгие лица, когда мы у них бывали. С такими лицами переносили они обычно зубную боль, температуру, неприятности в гимназии. В данном случае хотели они скрыть, как неприятно им видеть то, что Юрка так беспощадно изобразил в своем рисунке. И он, встретивший меня радостно, теперь стал суховат со мной. Не одобрял моего поведения. Но я видел это как бы сквозь сон. Я почти не разговаривал с Соловьевыми и Соколовыми. Кто-то из родственниц петроградских Юрки болел легкими. Какая-то Юрина тетка. Ему надо было проводить ее в Финляндию, в санаторию. Он предложил мне

поехать с ним, но я отказался, чего не могу простить себе до сих пор. Так во мгле и тумане провел я дней десять и вернулся в Москву. Взбудораженный, ошеломленный, я еще дальше чувствовал себя от московского круга. Примерно в эти дни произошел разгром немецких магазинов на Кузнецком? Негде проверить. Или это случилось во второе полугодие? В университете состоялась единственная студенческая сходка на моей памяти. Обсуждали и, помнится, осуждали этот погром. Во всех речах я чуял глупость.

1 декабря 1952 г.

И только один оратор потряс всех, и меня в том числе, до глубины души. Выступление его действовало, как это бывает с некоторыми одаренными ораторами, неведомо чем. Очевидно, не смыслом, иначе я запомнил бы, о чем шла речь. Вся большая аудитория замерла, повернулась лицом к маленькому бородатому человеку в черной рубашке и сапогах. Он заговорил неожиданно, не поднимаясь на кафедру, как другие ораторы, а со своего места — он стоял у первого ряда, справа. Все глядели на него. Чрезвычайно нравившийся мне незнакомый студент, с детским и красивым лицом и редким отливом рыжих волос, действительно золотым, с галстуком бабочкой, слушал эту речь как музыку, даже чуть улыбаясь растроганно. Оратору устроили овацию, окружили. Тоня пробился к нему, жал руку со слезами на глазах, а за Тоней — я. Так мы познакомились с Яшей Вульфом. Не знаю, занимался ли он политикой в тогдашнем смысле этого слова, но сразу на меня пахнуло майкопским духом, духом людей папиного прежнего круга. Яша ворчал на меня за неясность моих политических убеждений и еще больше за нежелание их уяснить. Его любимой, единственной темой были эсдеки, эсеры, кадеты. Он рассказывал, что студент Бобрищев-Пушкин, сын известного адвоката, вошел в кадетскую партию, чем огорчил отца — кадета же. Отец сказал сыну: “Когда плывешь по течению, забирай выше”. И Вульф повторял эти слова часто, многозначительно поднимая палец вверх. Громил он с наслаждением падение нравов, половую распущенность студентов, да и всей буржуазной Москвы. Как сквозь сон, слушал и разглядывал его. Петроград все мучал меня. И вот я сочинил поэму, шуточную и грустную в такой мере, что в любом месте можно было сказать, что это я так. Тоже для смеху. В ней я описывал свою поездку.

3 декабря 1952 г.

О самом главном в поэме умалчивалось. Ни о любви моей, ни о Милочке не говорилось. Более того, перечисляя друзей, собравшихся у Соловьевых, я Милочку не назвал, но написал умышленно: “Мы в сборе, теперь мы все”. Написав, послал Юрке. И вдруг получил от него ласковое письмо, в котором он поэму хвалил. Написали мне об этом и девочки Соловьевы. Однажды я встретил девушку, лицо которой показалось мне знакомым. Это была Зина Лабзина, та, что некогда дружила с Милочкой, жила рядом с ней. Она узнала меня. Я зашел к ней в гости. Говорили о Майкопе, о школьных наших годах и, естественно, о Милочке. Вышел я от нее полный такой тоски, что заехал домой, взял сверток с бельем, несессер, который купил в минуту расточительности, в сафьяновом футляре, с мыльницей, щеткой, флаконами для одеколона, впрочем, пустыми. Тоня на этот раз встретил мой отъезд неодобрительно, что на мое решение не повлияло. На этот раз попал я на почтовый поезд, шедший бесконечно долго. Приехал я в Петроград часа в три дня. Встретил меня Юрка весело: “Написал поэму, а теперь приехал посмотреть, какое впечатление произвел?” Он, оказывается, переписал ее и сделал к ней концовочки пером. Я был счастлив: первый раз Юрка меня так похвалил. Именно в этот приезд сказал он мне: “Тебя любят всегда, а уважают иногда”. Милочка вспыхнула, когда увидела меня, — обрадовалась, она не ждала моего приезда. Но уже на другой день все полетело кувырком. Третьяков, несомненно, стоял на моем пути, и я обезумел, потерял голову от ревности. Пришел он к Милочке. Посидев некоторое время, я сбежал, потом вернулся во двор, пробрался в какой-то закоулок под Милочкиным окном. Тускло светились двойные рамы, занавески. Стоял туман. Я глядел и не знал, что делать, готов был на все. Жила Милочка в полуторном этаже. Швырнуть полено? Взобраться по трубе? И я вернулся к Милочке.

4 декабря 1952 г.

Вернулся туда, к ним, спокойный, как ни в чем не бывало. Милочка и Третьяков сидели чинно за столом, беседовали. Надо сказать, что соперник мой не имел ничего юнкерского в своем характере, был, может быть, еще более робок, чем я. Он только, вероятно, начинал влюбляться в Милочку, поглядывая на меня сквозь очки несколько смущенно. Он не мог не знать, что я в нее влюблен много лет. Когда Третьяков стал прощаться, я заявил, что побуду еще немного.

Милочка сделала недоумевающее лицо и пошла проводить Третьякова до двери. Вернувшись, отказалась она говорить о Третьякове, своих чувствах к нему и ко мне. На другой день я пришел рано, Милочки не было дома. Злая хозяйка ее, ожесточившаяся от одиночества, не здороваясь, пустила меня в Милочкину комнату. Подождать. Там я увидел на столе тетрадь, Милочкин дневник, как я подозревал. Без колебаний и угрызений совести открыл я его. Боль моя к этому времени достигла такой силы, что, кроме нее, ничего я не испытывал. Я столько раз ревновал Милочку без всяких причин, что и на этот раз хотел одного: успокоиться — и верил в это. Прежде всего увидел я запись в день моего приезда: “Я почему-то очень обрадовалась”, — писала она. Дальше она рассказывала, что обращалась со мной ласково, и заканчивала пренебрежительно: “Он, конечно, страшно рад”. И не веря себе, ужасаясь, прочел я правду: Милочка влюбилась в Третьякова и жаловалась на его непонятное поведение: “Он избегает называть меня по имени”. Уж я-то понимал почему! Никаких признаков любви она в Третьякове не замечала. Но я-то их видел отлично. Да и не в его чувствах было дело, а в ее! Я ушел, не дождавшись Милочки, бродил по переулкам, которых никогда потом не видел. Вышел на узенький канал с деревянным мостиком, постоял у перил. Все выглядело новым, ясным, безнадежно ясным — беда пришла. Вернувшись к Милочке, я не признался ей, что прочел ее дневник. Я сказал, что меня “осенило”.

5 декабря 1952 г.

“Меня осенило! — сказал я Милочке. — Я больше не буду тебя ни о чем спрашивать. Мне все и так понятно”. И я, приводя разные случаи, замеченные и вычитанные в дневнике, закончил решительным и твердым утверждением: “Меня ты больше не любишь. Ты влюблена в Третьякова”. Все это Милочка выслушала покорно, с легким смущением, не отрицая и не подтверждая, да я и не давал ей говорить. Мы попрощались с ней на углу, у остановки 7-го номера. И я уехал на вокзал. Все было по-новому ясно, и улицы, и город лишились значительности, не обещали мне больше счастья. Я ходил взад и вперед мимо своего вагона, и вдруг на перрон, откуда-то снизу, с пустого пути, прыгнул Юрка. У него не было денег на перронный билет и на трамвай. Он пешком пришел на вокзал и по путям пробрался к поезду. Он не собирался провожать меня, появился на вокзале неожиданно. Он был скорее печален,

чем сердит. Разговор завязался неопределенный, я не в силах был рассказать ему о своей беде, а он чувствовал, что произошло нечто более тяжелое, чем обычная ссора с Милочкой. В поезде не стало легче. Вся с детства любимая прелесть железнодорожного путешествия исчезла. Гудел паровоз, стучали колеса — ну и что? Оставив на своем месте пальто, я вышел на какой-то станции. Вернувшись, увидел, что место мое занято. Я подошел к студенту, занявшему место, и со всей ясностью и простотой, новой у меня, попросил его пересесть. Он попробовал спорить, но потом смутился и послушался. И мне на миг стало легче. Легче мне стало и когда какой-то молодой человек уже под Москвой помог мне собрать вещи, завернул мой узелок в газету. "Наверное, видно, как я измучен", — подумал я. И, приехав в Москву, я почувствовал, что жить не могу. И я решил идти на войну.

6 декабря 1952 г.

Когда я решил идти на войну, мир, потерявший цвет, ласковость, таинственность, стал понемногу как бы приходить в чувство. Я не был уже в одиночестве, один против своей беды. Я стал мечтать, к сожалению. У меня появились надежды, бессмысленные, но успокоительные, одурманивающие надежды — поразить, наказать Милочку за ее измену военной славой или славной смертью. Кроме того, уход на войну одним ударом разрубал запутавшийся узел моих университетских дел. Я безнадежно отстал, не бывал на семинарах, лекциях и так далее. Я ненавидел юридические "дисциплины", само это слово наводило тоску. И я не верил, что подготовлюсь к экзаменам. Точнее, понимал, как это будет трудно, труднее, как мне казалось, чем воевать с немцами. И, наконец, третье, чтобы до конца оставаться правдивым. Меня и в самом деле мучило достаточно ясное чувство вины. Правда, мой возраст не был еще призван, но кое-кто из наших реалистов уже воевал. Мне казалось, что я мог бы взять на себя часть общей тяжести. Сначала я решил поступить в военное училище. Я поехал куда-то далеко, опять к Яузе, там, мне сказали, я могу получить все справки о поступлении на военную службу. Весь мир уже не был так оголен, как в первые дни моего горя. Мне показалось значительным, что воинское присутствие — недалеко от больницы, где я заглянул год назад в прозекторскую. В угрюмой, сургучной, канцелярской, недоброжелательной комнате писарь неохотно дал мне все справки. Выяснилось, что я православный, рожденный русской, по документам — русский, в

военное училище поступить могу только с высочайшего разрешения, так как отец у меня еврей. Для поступления же добровольцем препятствий не имелось. Писарь дал мне книжечку: правила поступления охотником. Я выбрал артиллерийский дивизион, расположенный на Ходынке, кто-то посоветовал мне идти в артиллерию. Тоня сказал мне насмешливо: "Ты уже потому охотник, что несешь дичь". Но я был тверд. Я сообщил домой, что иду на фронт добровольцем. Написал Юрке и получил ответ. Он отговаривал меня от этого. Он осторожно намекнул на подлинную причину моего решения: "Мяса ешь поменьше!" В то же время сообщил он мне, что Наташа бросила курсы, пошла в сестры милосердия — в Еленинскую общину. Там был почти монашеский устав — домой не отпускали, посещение знакомых не допускалось. Когда (несколько месяцев спустя) она уезжала на фронт, Соколовы стояли вдали, только знаками с ней попрощались. И это укрепляло мое решение. Если бы не отвратительная, невыносимая для меня канцелярская застава, через которую в первые месяцы войны надо было пробиться, чтобы попасть в армию, я пошел бы добровольцем. Несмотря на то что мне исполнилось уже восемнадцать лет, я терялся, выходя из привычного мне круга. Меня оскорблял и пугал тон, с которым писари разговаривали со мной. А тут еще пришла телеграмма отца: "Запрещаю как несовершеннолетнему поступать добровольцем". И вторая телеграмма, извещающая о приезде мамы. Она приехала растерянная, и давно утраченная близость между нами помешала настоящему объяснению. Спорить нелепо, раздраженно я мог, но тут было не до того. В общем, все же мое желание идти на фронт дрогнуло. Я сдался. Мама провела в Москве недели две. Я доставал ей билеты в театр. Обидел ее без всякой вины с моей стороны: обещал ее встретить и проводить после спекталя в Художественном, и мы разошлись с ней в толпе, а она так и не поверила, что я пришел вовремя. Побывали на торжественном спектакле в Большом: в пользу инвалидного фонда (шел один акт оперы, акт из Островского — "Свои люди — сочтемся" и акт из балета). Я был на галерке, а мама в партере. Очень долго играли гимны союзных держав, и, глядя на маму сверху, я боялся, что ей трудно стоять.

8 декабря 1952 г.

Было ей тогда тридцать девять лет, здоровье ее с годами окрепло. Выяснилось, что порок сердца, который прослушивали у нее все врачи, исчез. Да, исчез начисто, шумы в

сердце пропали, мои детские страхи оказались напрасными. Но я привык бояться за нее и угадывал, что ей неудобно и трудно стоять между креслами, что и подтвердилось. Мама сказала после спектакля, что она боялась упасть. Садовская играла сваху в “Свои люди — сочтемся”, пела и даже сплясала или показала вид, что это сделала. И мама впервые увидела артистку, которая, как думал Дризен, повлияла на восемнадцатилетнюю любительницу. Садовская была прекрасна. Побывали мы с мамой и в Третьяковке. Румянцевский, помнится, почему-то был закрыт в это время. Повидала мама Камрасов, Истаманова, побывала у Аркадия и поняла, как я живу. И пришла в ужас. И, как я узнал потом, писала папе, что я ничего не делаю, “ничем не интересуюсь” (вот вечное обвинение тех лет) — и, может быть, лучше было бы пойти мне и в самом деле на войну? Теперь мне кажется, что она была права. Но она не решилась, не посмела отправить меня в эту жестокую школу. И уехала. Приближались рождественские каникулы. Мы с удовольствием думали о поездке домой. Отношения с Тоней у нас чуть охладились — жизнь в одной комнате еще нам мешала. Впоследствии мы лучше поняли друг друга — стали обходить углы. Кроме того, хоть мы получали из дому одинаковые деньги, я задолжал ему за первый семестр около тридцати рублей. Итак, я весело думал о поездке домой. Мне опротивела наша комната на Дегтярной. Аркадий стал окончательно презирать меня, узнав, что я собирался на фронт, и у них я почти не бывал. Очень я подружился с Левкой Оськиным. Жил он за Покровскими воротами, в Дурасовском переулке, за казармами. Это был ум трезвый, что уживалось в нем с талантливостью.

9 декабря 1952 г.

Он тоже вырос в совсем другой среде, как и Сашка Агарков. Я говорю о домашней его среде. Отец — крупный торговец, субботник, окончательно уже оевреившийся, был человеком суровым. Он женился вторым браком на умной и доброй Марье Борисовне. Эту в городе любили и уважали — она была отличной матерью и пасынкам, и родным детям. Дом их был построен и велся скорее на помещичий, чем на купеческий лад: гончие, кони, двор, вдоль которого тянулись длинные сараи, конюшни, еще какие-то службы. От улицы двор отделялся таким же длинным белым одноэтажным домом, с высокими, запертыми всегда воротами вправо от него. Левка жил во дворе во флигельке, возле баньки. В этой баньке летом 14-го года принимали мы душ часто — дружба

моя с Левкой началась после выступления его на вечере в реальном училище в начале четырнадцатого года. Он многое понимал, как я, а многое понимал совсем не по-нашему, сказывался дух высоких ворот, длинных служб, скобяной лавки на базаре. Помню, как поразил меня разговор о профессиях. Он собирался быть инженером, потому что у них большие доходы. Не жалованье, а именно доходы, то есть взятки. И мой ужас был ему непонятен. Он был влюблен в старшую Зубкову и тоже трезво рассуждал. Говорил, что это ни к чему. Они одного возраста, она русская, бесприданница — и так далее. И это было непонятно мне. Но его наблюдательность, юмор, твердость утешали и помогали мне. Я ездил к нему трезвыми зимними днями, сначала на Чистые пруды, где учился бегать на коньках, а потом мимо казарм в Дурасовский переулок, в маленькую комнатку в одноэтажном домике во дворе. И все майкопцы охотно бывали у него. И ему одному рассказал я о том, что прочел в дневнике Милочки. Левка огорчился. Он пригласил меня приехать к ним на каникулы, и я обещал. Итак, приближался конец четырнадцатого года. И тут произошло одно событие — я получил от Милочки открытку, которую так и вижу перед собой.

10 декабря 1952 г.

Чем объяснить ее, что заставило Милочку выдумать то, что она мне написала, не понимаю до сих пор. Вся открытка была написана спокойно, суховато. Милочка рассказывала о своих делах, о том, что собирается ехать в Майкоп на каникулы. А в первых двух строчках сообщала: “Ты, вероятно, знаешь, что Наташа Соловьева умерла от брюшного тифа. Похоронили ее на Смоленском кладбище”. Это было первое известие о смерти человека близкого. Мне и в голову не пришло проверять, так ли это. Да если я и теперь не понимаю, что могло заставить Милочку пошутить так страшно, то в те дни мне и в голову не пришло, что это неправда. Известие о Наташиной смерти немедленно разнеслось между майкопцами, живущими в Москве. И я был поражен еще и тем, что даже не заплакал. И когда я сказал об этом Жоржику, то выяснилось, что и его поразила собственная холодность: “Это значит, если отец или мать умрут, я тоже не заплачу”. Приехал в Екатеринодар, где наши в то время снимали комнату у тихого, беленького человека, заведующего магазином икон и церковных принадлежностей, забыл, как это называется. Это была большая комната с роялью. Приехал я рано. Мама еще спала за ширмой. В дороге я

был спокоен. Спокойно вошел я в комнату, не сказав маме о Наташе, — вдруг неожиданно для себя расплакался. Заплакала и мама. В этой комнате прожил я с неделю, в тумане и тоске я уехал в Майкоп, где остановился у Левки Оськина во флигельке, во дворе. И тут праздники были не в праздники. Я был весел, но не заражал своим весельем на этот раз никого. Милочку встретил на улице раза два, но разговор вышел враждебный. И я не искал с ней встречи. Что-то перевернулось во мне, но я еще не знал, что Милочка удивлялась, как я мог поверить, что Наташа умерла. Она шутила. У Соловьевых все было спокойно. Но я не верил, что Милочка могла так шутить.

11 декабря 1952 г.

После шумного, но не веселого Рождества выехал я из Майкопа в Екатеринодар. Я обнаружил, что в одном со мной поезде едет Милочка. Последний с ней разговор был так тяжел, что мне и не хотелось с ней говорить. Я не пошел к ней, и мне это не стоило ни малейшего усилия. Что-то случилось. Многолетняя, тяжелая моя любовь сорвалась, рухнула, осталось только место в моей душе, которое эта любовь занимала. Я еще не понимал этого, но смутно было у меня на душе. В Армавире было много народа на станции, как всегда в военное время, расписание шалило. Я встретил Веру Константиновну, возвращавшуюся откуда-то в Майкоп. Мы разговорились с ней, шагая взад и вперед по залу. Вдруг Вера Константиновна заметила Милочку и сказала: "Тебе, верно, не до меня, ты иди себе — вон Милочка тут". Но я отказался. И Вера Константиновна взглянула на меня внимательно. Когда поезд пришел наконец, это было уже ночью, я заметил, что Милочкин носильщик несет ее вещи в тот вагон, куда вошел я. Я оглянулся, и Милочка сделала, не глядя на меня, гримасу, показывающую, что поступок носильщика ей неприятен. Едва поезд тронулся, как я вышел на площадку. Там я и стоял до самой Кавказской. Милочка выходила на площадку раза два-три. Я видел ее отражение в стекле передо мной. Но ни разу я не оглянулся, и это не стоило мне ни малейшего усилия. Перед Кавказской я вынес на площадку мой многострадальный складной чемодан. И Милочка вышла следом. Уже сойдя на перрон, я сказал: "До свидания, Милочка". "До свидания, Женечка". Ответила она так ласково и печально, что у меня перевернулось сердце. Я дошел до станции — поезд наш стоял на третьем пути — и оглянулся. Милочка стояла у вагона, глядела мне вслед.

12 декабря 1952 г. Дело шло к рассвету, поезд спал, на перроне было пусто. Я положил свой чемодан у стены, вернулся к Милочке. Она заговорила со мной ласково и покорно, как никогда до сих пор. Она сказала, что любит только меня. Я испытывал счастье, но по привычке. Не смел признаться себе, что все ушло. Я надорвался, перегорел, переболел. В Москву я ехал один, без Тони, и на этот раз через Воронеж, Рязань — путь, который считал счастливым. И по дороге я был счастлив, но не прежним безумным счастьем, а как выздоравливающий. Мне было легко, и я не жалел об этом, тем более что не мог, не хотел понять почему. Извозчик привез меня к незнакомым номерам в переулках возле Тверской в высокий, узкий, трехэтажный дом. Было еще не поздно. Я вышел пройтись и в почтовом, вероятно, все в том же 9-м отделении, спросил, нет ли мне писем до востребования. Я дал Милочке этот адрес. Увидев знакомый конверт со знакомым почерком, я обрадовался по многолетней привычке. Но когда я прочел письмо, то старая любовь со всем старым хмелем с прежней силой оглушила меня. Никогда не писала она мне так ласково, и печально, и покорно. Я решил немедленно, сейчас же ехать в Петроград. Но пока я дошел до своих номеров — все рассеялось. Последняя вспышка моей любви погасла. На этом следовало бы прекратить рассказ о себе. Крушение моей любви, как я понимаю теперь, надолго опустошило меня. Ничто не пришло на смену. Я стоял перед жизнью, не умея работать, привыкнув к восторгам и катастрофам, потеряв уверенность в своей манере писать открыто, когда-то с такой радостью, без веры — только с потребностью веры. Любовь ушла, обнажив пустоту в душе. В Петроград я не поехал. Пустоту обнаружил я много позже, а пока наслаждался радостью выздоровления.

13 декабря 1952 г. С уходом любви словно пружину вынули из души. И я стал через недолгое время ничем. Трудно теперь подвести итоги, “с расходом свесть приход”. До сих пор вижу я Милочку во сне, все на майкопских улицах. С неделю назад видел ее с гладко зачесанными волосами, и она просила, чтобы я не гладил ее по голове — она бережет новую прическу. Я не понимал — теперь я с ней встретился или в те дни. Позавчера же увидел ее постаревшей, но не очень. Но по улыбке ее — она не разжимала губ — догадался, что выпал у нее передний зуб. Любовь ушла, но место, которое занимала она в душе, осталось. И мне до сих пор

несладко вспоминать о Москве 13-го года или о зиме 14-го. На этом, собственно говоря, следовало бы и закончить. В восемнадцать лет я был в основном готов, в дальнейшем шла отделка да ожидание чуда вместо чудес, что совершались со мной до тех дней. Неинтересно рассказывать. Жил я один (во втором семестре в первой половине 15-го года) на Лебяжьем переулке. Рядом жила курсистка, суровая девушка. Юрка Соколов приехал ко мне в гости, и она крикнула через дверь, что разговорами своими не даем мы ей спать. Юрка показал кулак в сторону двери. Месяца через два она, проплакав целую ночь, уехала на фронт сестрой милосердия. У нее убили жениха. На ее месте поселился студент, большой, с большим лицом. К нему приходила любовница, высокая дама под вуалью, и я все слышал, я даже в упадке своем безуспешно старался подсмотреть. Была и у меня возлюбленная, но об этой стороне жизни рассказывать не буду. Первые мои женщины что-то определяли в моей судьбе, а теперь все шло, как у всех. Приближалась Пасха. Маруся Зайченко собралась в Петроград.

14 декабря 1952 г.

Возвращаюсь в 15-й год, хотя это и безрадостно — это время моего охлаждения и разложения. Я не слышал Шаляпина: ждал, пока билеты свалятся мне в руки. Да так и не дождался. Я не читал почти ничего нового, а все перечитывал Толстого и Чехова. “Анна Каренина” так и лежала у меня на столе, ездила со мной всюду, как недавно “Пиквикский клуб”. Читал “Новый Сатирикон” и тоненькие журналы, а толстые не читал. Разве если попадутся под руку. Дочка Марии Гавриловны, Маруся Петрожицкая, незадолго до того кончившая с серебряной медалью Московскую консерваторию, решила, что мне следует заниматься музыкой. Чуть странная, в платьях вроде античных хитонов, с большим бледным лицом и небольшими глазами, она взялась за это дело энергично, даже комнату ходила снимать со мною, искала подходящую для занятий музыкой. Впрочем, в Лебяжьем переулке поселился я самостоятельно. Туда я привез пианино, взятое напрокат, кажется, Блютнера, с тремя педалями, средняя являлась модератором. Я брал уроки у прекрасной пианистки, повесил над пианино портрет Бетховена, но уроков не учил и так и не научился хоть ноты читать. Комната у меня была странной формы, многоугольная. Окно выходило в сторону Москвы-реки — виден был Каменный мост, набережная, вода.

15 декабря 1952 г.

Я слышал, как гудел лифт, поднимаясь, — углы моей комнаты были вызваны необходимостью построить шахту для него. В консерватории объявили вечер памяти Чюрлениса. Маруся Петрожицкая должна была играть по рукописи его вещи. Она взяла меня на репетицию перелистывать ноты. Оказывается, я и этого не умел. Были мы на выставке этого художника, где-то на Тверской. Он писал музыку, и тогда мне в тумане моем казалось, что я понимаю его. Все больше и больше военных встречалось теперь на улице и в театрах. По офицерской традиции они стояли у своих мест, повернувшись лицом к сцене, пока в зрительном зале не гаснул свет. Объясняли эту традицию по-разному. Кто говорил, что офицеры стоят лицом к тому месту, где положено быть царской ложе, кто — исходя из предположения, что в зале находится некто невидимый старше их чином. В переулках, на площадях, у казарм — всюду, всюду учили солдат. Однажды, это уж ближе к весне, пошел я к вечеру в Кремль. Возвращаясь, я увидел, как со Знаменки навстречу мне идут не спеша рослые люди, на которых все оглядываются. Иные даже останавливаются, смотрят им вслед. И когда они подошли ближе, священный трепет, майкопский благоговейный ужас охватил меня. Шел человек, из которого воистину "вышло что-то": Шаляпин! Предполагали снимать картину "Иван Грозный". Видимо, с тогдашними киношниками и шагал Шаляпин в Кремль. Он угадывал наш трепет, но был царственно спокоен. И я подумал, что надо же наконец увидеть Шаляпина на сцене. Милочка писала мне все такие же добрые письма, и я радовался — ведь место в душе, некогда занимаемое любовью к ней, как отпечаток на воске, не исчезало.И вот перед Пасхой Маруся Зайченко поехала в Петроград, и я поехал повидать друзей.

16 декабря 1952 г.

Как всегда, билеты поручил я купить носильщику, но в первый раз в жизни едва не опоздал на поезд. Маруся наняла извозчика, и все-таки носильщик ждал уже у поезда. И в первый раз в жизни волновался носильщик с билетами в руках, а не я. Я дал ему рубль, и мы поехали в плацкартном вагоне третьего класса в Петроград. Я теперь с полной ясностью припомнил и установил следующее: тогда я не знал еще, что разлюбил Милочку. Я с недоумением и радостью ощущал одно — боли нет. И радовался живее предстоящей встрече с Юркой, чем с Милочкой. Юрка приезжал ко мне за месяц до этого, как я уже рассказывал.

Мы побывали с ним в Третьяковке. И я не то что взглянул на картины, как Юрка, но угадал, что если постараться, то я могу понять их точнее. И тотчас же подумал: "Потом, потом, когда начнется настоящая жизнь". Побывали у Маруси Зайченко, которая до сих пор видала Юрку только в компании. Поговорив с ним, она его очень оценила. И, стараясь определить, сказала: "Он весь как бы на веревочках. Держит себя как бы на веревочках". И Юрка, когда я передал ему Марусины слова, усмехнулся и ответил: "Это так верно, что даже обидно". И сейчас, лежа на своем плацкартном месте и засыпая, думал я больше всего о том, что скажет Юрка о последнем моем стихотворении. Это были крайне мрачные стихи о похоронах. Но мрак этот имел одну цель — произвести впечатление — и не был связан ничем с моим душевным состоянием. Юрка о стихах отозвался сдержанно. Спорил я о них, укладывая на пол тюфяк, набитый сеном, который дала Юркина хозяйка для моего ночлега. Уложил я его крайне нескладно, и Юрка сказал, что и стихи написаны так же. Никакой формы. Жил теперь Юрка один. Сергей учился уже в артиллерийском училище. Жил на Среднем проспекте, примерно против Милочки, во втором этаже.

17 декабря 1952 г.

Милочка жила все в том же доме на Среднем проспекте Васильевского острова, в той же квартире, только в новой комнате, большей, с роялью. Двери открывала все та же хозяйка, окостеневшая в одиночестве, изощрившаяся в недоброжелательстве. Была Страстная суббота. Милочка встретила меня кротко и ласково, и я был счастлив, но спокоен. Мир оставался видимым — прежде я не замечал ничего вокруг, кроме нее. Может быть, любовь повернулась бы по-новому, если бы я посмел понять, что Милочка — женщина. Но прежний, полный почтения и восторга, ужас даже целовать не позволял ее по-человечески. Я осторожно прикладывался губами к ее губам, и только. Тихо-тихо. Много лет спустя, века спустя, в 21-м году, поселившись в Петрограде, я бродил в тоске по Васильевскому острову, по знакомым местам. Да и позже, в середине двадцатых годов, измученный друзьями, которые, не в пример Юрке, за слабостью моей не хотели видеть, в чем я силен, устав от превратностей моей тогдашней семейной жизни, я ругал себя за то, что не посмел взять Милочку в жены. Мне с удивительной ясностью представлялось, что я был бы так счастлив, что это целиком изменило бы всю мою жизнь. Не знаю.

Тогда место, оставшееся после любви в моей душе, позволяло мне поступать именно таким, а не иным образом. Хотя быть почтительным мне иногда было физически мучительно, мне потом бывало просто больно. Но это уже переходит в ту область, о которой я решил не писать. Итак, я сидел с Милочкой в ее новой комнате. Был вечер Страстной субботы 1915 года. Рояль в те годы неудержимо притягивал меня. И я решил показать Милочке то, что выучил за последние месяцы. Оказалось, что хозяйка запретила играть на рояле в Страстную субботу. Мы продолжали разговаривать. Милочка, улыбаясь, сообщила, что с того вечера Третьяков так и не был у нее ни разу. То, что я остался, показалось ему признаком того, что я тут хозяин. И по улыбке Милочки я угадал, что это ей нравится.

18 декабря 1952 г.

И меня это радовало, но не так безумно, как до сих пор. И я, встав и потихоньку включив модератор, сыграл детские вещи Шумана: “Первую утрату” и “Крестьянский танец”. В дверь постучали, Милочка вышла, и в коридоре злобно забормотала и зашипела хозяйка. Она отказала Милочке от комнаты за то, что я играл на рояле в Страстную субботу. Ночью попробовали мы пойти к заутрене в Исаакиевский собор. Но площадь была окружена полицией. По особым пропускам подъезжали туда кареты. И я смотрел на них даже без любопытства, они были до такой степени далеки, что не будили воображения. Хозяева города казались чуждыми, и не было в их пышности хотя бы декоративности. Городовые в нескладных шинелях, истерические околоточные. Не помню, дождались ли мы крестного хода. Смутно вижу в тумане сырой ночи факелы — но где? На площади? В этот приезд мы много бродили с Юркой — у меня было время и думать, и говорить. Однажды мы сидели в Румянцевском сквере на угловой скамейке, в глубине, на той линии, где Академия. Разговор у нас завязался. Но тут мы увидели, что к скамейке подвигается маленькими шажками сильно пожилой человек с палкой, видимо, собираясь к нам подсесть. Глядя на него пристально, Юрка проговорил тихо и угрожающе: “Урюк с помидорами”. Старик попятился в страхе и побрел обратно. Не знаю, что ему почудилось. Юрка не хотел его прогонять, он только выразил свое недовольство. Сегодня мне жалко старика. А тогда мы засмеялись. Теперь эта скамейка — моя любимая в скверике. Особенно года три назад я все ездил туда. И удивлялся:

как это я пятнадцатого года не видел себя сорок девятого. И что я подумал бы о себе, если б увидел. В Москву я вернулся в тревоге. Правда, чтобы перейти на второй курс, мне полагалось сдать всего один экзамен, но я боялся и этого единственного. Я стал готовиться по истории философии права и по римскому праву. Готовился один, обманывая себя и чувствуя это.

19 декабря 1952 г. Итак, первый год моего учения — и богатый событиями, и бесплодный, и счастливый, и несчастный — приближался к концу. Я почти не тосковал по Милочке — изредка только вырастала передо мной ее траурная маленькая фигурка в косынке сестры милосердия. Милочка работала в каком-то госпитале, как все почти знакомые девушки. Лазареты теперь были на каждой улице, и раненые, поразившие нас на маленькой станции, встречались на каждом шагу. Я побрил голову, не думая теперь о своей наружности, хотя и был влюблен в двух девушек: в Веру Соколову, курсистку из Юхнова, и в Елену Константиновну Булгакову, дочку хозяйки, у которой снимала комнату Валя Гиацинтова, моя землячка. Я уже не ощущал себя виноватым, что не воюю. Ведь никого из моих сверстников не призвали еще. И вот пришли экзамены. Я не был активен на семинарах по римскому праву, но по некоторым признакам, едва заметным, угадывал, что наш доцент Бобин относится ко мне дружески. По странному затмению, пошел я не к нему, а к Вульферту, и провалился. Бобин потом говорил громко группе студентов, окруживших его, что напрасно участники его семинара идут экзаменоваться к другим, но было уже поздно. Историю философии права (или историю права) сдал я с грехом пополам и перешел на второй курс. На этом я и кончу рассказывать о себе. Дальше — неинтересно. Я остывал и портился. Без огня моей любви я опустел. Мне не хочется рассказывать о тех годах. Я просто жил и хотел нравиться — только нравиться, во что бы то ни стало. Куда меня несло, туда я и плыл, пока несчастья не привели меня в себя и я не попал в Петроград 21-го года артистом Театральной мастерской. Я был женат, несчастен в семейной жизни, ненавидел свою профессию, был нищ, голоден и худ, любим товарищами и весел, весел до безумия и полон странной веры, что все будет хорошо, даже волшебно.

20 декабря 1952 г. Лето 15-го года провел я в Майкопе. Мы снова пошли в горы, нас было девять человек. Шли мы через заповедник, нас сбивали оленьи тропы, но егеря великокняжеской охоты ставили зарубки на деревьях, так мы и шли — от зарубки к зарубке. И в одном из писем Юрка напоминал мне об этих зарубках, рассуждая, как всегда сдержанно, даже застенчиво, о том, как жить. На альпийских лугах дорожки совсем исчезли в низеньком густом травяном ковре. И Юрка вел нас, нащупывая дорожку в траве, как бы скользя, а мы за ним гуськом. В охотничьем домике пахло известкой, печкой. Вдоль стен тянулись нары. На выбеленной стене углем ясно и грамотно написал некто: "Егеря! Мы тут были, застрелили двух оленей и козла. Браконьеры". Стоял этот домик за альпийскими лугами на крутом склоне горы, кажется, Абаго. Далеко-далеко внизу между горами синели заросли леса — долина реки Лабы? Во всяком случае, не Белой. Прошел дождь, облака поползли вниз. У наших ног, между горными вершинами кипел туман — вздымался и падал — белый, сизый, красный, — солнце заходило, опускалось в этот котел. Мы шли без проводника. Егерь великокняжеской охоты, бывший некогда спутником погибшего в начале века географа Воробьева, слишком дорого запросил. О Воробьеве он рассказывал, что тот был "вроде как бы смелый". Желая отговорить нас пускаться в путь самостоятельно, рассказал егерь, что при всей своей опытности "пять дней видел Красную Поляну, а подойти к ней не мог". Рассказал о трех старушках, шедших через перевал из монастыря. Они заблудились, ослабели, одна из них умерла. Они обрядили подругу, легли возле и стали ждать смерти. Тут их нашел и спас егерь. Однако рассказы его не устрашили нас, и мы пошли в путь. Было нас десять человек и прозвали мы себя "неробкий десяток". Шли по карте.

21 декабря 1952 г. Рассказываю обо всем этом, чтобы докончить историю моей дружбы. История моей любви кончилась сама собой, а история моей дружбы была оборвана войной. Впрочем, об этом в свое время. Когда, расставшись с егерями, пошли мы через горы, я заболел ангиной. Нашего путешествия это не остановило. Только раз, когда мы шли через какой-то широкий, но мелкий ручей, Наташа, как сестра милосердия, нашла нужным, чтоб меня перенесли на руках. Да, да Наташа Соловьева, о смерти которой прочел я в памятной открытке, поработавши

на фронте, приехала в отпуск и шагала живая, здоровая рядом с нами. Слухи о ее смерти проникли и в соловьевский дом, к счастью, не дойдя до Веры Константиновны. Меня допрашивал с глубоким волнением Андрей Андреевич Жулковский — что это значит? Кто сказал, что Наташа погибла, и я выкручивался как мог. Должен признаться, что по странности моего мышления я смутно и вместе с тем глубоко сомневался в том, что Наташа жива. И вот однажды, стоя в комнате девочек, увидел я, что по площади поворачивает извозчик. Сияя доброй улыбкой, распустив серебряную свою бороду по жилету, сидел в фаэтоне старик Альтшуллер, вглядывался исподлобья в окна соловьевского дома. А рядом — Наташа! Я открыл дверь, и Альтшуллер, сияя, помог Наташе вынести вещи. Он встретился с Наташей в поезде и подвез домой, радуясь живому опровержению страшных слухов. Я на радостях уговорил Наташу поразить Андрея Андреевича — выйти на него неожиданно из-за двери. Он упал на стул, схватившись за сердце, побелел. Потом все похлопывал Наташу по рукам, сидя рядом с ней, и сквозь слезы радовался: "Ну, слава богу, ну, наконец-то. Тут эти слухи поганые, а ты приехала". Я послал Лелю в ванную, не сказав, что Наташа там, и она закричала, будто увидев привидение, тоже едва не потеряла сознания. И вот Наташа шла с нами в горах. И я уже не понимал, как мог поверить Милочкиной открытке.

22 декабря 1952 г. Мы шли через Главный Кавказский хребет, через Пчебайский перевал, если я опять не путаю названий. Даже тогда, в горах, я, по странности мышления своего, как бы боялся узнавать и запоминать названия. Факты были враждебны моему туманному миру, из которого я только раз и вылетел, прочтя Милочкин дневник. Ангина моя прошла. Я вспомнил, что в каком-то переводном французском романе доктор предписывает героине глотать кусочки льда как лекарство от ангины. И я пил глоточками ледяную воду из всех встречных источников. После охотничьего домика с браконьерской надписью ночевать мы предполагали в карантинном бараке—там жила осенью комиссия, осматривающая скот, который гнали с альпийских пастбищ. На карте обозначен был этот барак на нашей стороне реки Уруштен, или Черной речки. И мы радовались. После дождей река вздулась и в самом деле стала похожа на Черную. Вброд ее перейти стало невозможно. Но мы шли да шли, а бараков все не было. Зарядил

дождь. Стемнело. Мы уперлись в непроходимую гряду скал. Карта соврала — бараки были, видимо, на той стороне реки. Мы поднялись вверх, из лиственного пояса в хвойный, — хвоя горит и мокрая, — и там развели мы костры, и там и ночевали у огня. Серым утром спустились мы вниз к реке. Ножами и кинжалами — топорик забыли на одном из ночлегов — срубили березу, и она легла поперек реки. По этому мосту и перебрались мы на ту сторону, где карантинные бараки нашлись. Пришли мы к Уруштенскому леднику, где, кажется, погиб Воробьев лет за десять до нашего путешествия. Вот это был настоящий ледник, как я его себе представлял: чистый лед, синеватый, стоял стеной, круто шел вниз с Черных гор. Здесь и начиналась Черная речка. Большой табун без пастуха, увидев людей, двинулся к нам осторожно. Став на высокий плоский камень, я обратился к нему с речью.

23 декабря 1952 г.

Лошади меня слушали, все подступали ближе и ближе. Я стал плясать на камне, и они шарахнулись всем табуном, кинулись в горы. А Юрка с кем-то разбирал карту. Здесь Черная речка была еще синего цвета и не похожа на реку — ручьи, множество широких, но мелких ручьев бежали по каменистой долине, и мы перешли их вброд, вода была ледяная, ноги ломило. Черкес прошел мимо — первый человек, которого увидели мы с тех пор, как расстались с егерями. Было это дней десять назад? Или неделю? Мы любовались тем, как легко и красиво шел черкес. Будто танцевал. На перевале люди попадались чаще. Прошла арба, запряженная буйволами. Мы снова попали в облака, они так и кипели вокруг. Здесь уже было подобие дороги — может быть, тут Абаза и начал прокладывать шоссе на Майкоп. Когда рассеялись облака, мы увидели знакомые крыши Красной Поляны. В первый раз я подходил к ней не с моря, а с гор. Внизу шумела Мзымта. Мы перешли ее по пешеходному мостику. Вот и эстонские селения. Соколовы-старшие жили в Красной Поляне в том же доме, где мы с Истамановыми пять лет назад. Мы вошли в дом одичавшей, шумной толпой, заняли свободную комнату. Юрка с дикими воплями обнял мать и, смеясь, рассказывал потом: “Мама сказала конфузливо: “Отойди, от тебя козлом пахнет”. В Адлер ехали мы всем десятком в одной телеге. Вез нас молодой черкес. Держался он с таким достоинством, что вопли нашей одичавшей компании смущали меня. Юрка заметил это и сказал сочувственно: “Да, иногда трудно понять, почему мы завоеватели”.

24 декабря 1952 г. Возвращаюсь на Краснополянское шоссе 15-го года. Итак, наш одичавший десяток двигался к Адлеру с ревом и пением полюбившейся нам одной строчки из украинской песни. Орали изо всех сил, надрываясь: “Ой, были у кума бдже, ой, были у кума бдже, бдже-о-о-олы!” Адлер приближался. И в последний раз в жизни испытал я предчувствие счастья, загадочно связанное именно с этим отрезком пути. Больше ни разу я не был в Красной Поляне. Летом 46-го года совсем уж должен был ехать, но все сорвалось. И я предчувствовал это — уж слишком хотелось мне в Красную Поляну. Но тогда я и не думал, что тут в последний раз и больше не путешествовать нам с Юркой. Война разгоралась, принимала дурной оборот, но мы не понимали еще, как близко это касается нас. В Красной Поляне узнали мы, что немцы взяли Варшаву. Несколько мгновений мы помолчали, а потом опять ревели, радовались, безумствовали от избытка силы. В Адлере в агентстве мы узнали, что между Батумом и Сухумом ходит теперь один только пароход, маленький, колесный “Король Альберт”, — остальные мобилизованы, стали военными судами. Вскоре маленький “Король Альберт” появился на рейде. Сильно качало. Мы с трудом перегрузились с баркасов на пароход. Боялись, что он пройдет и не захватит нас. Шторм все усиливался. Вода у низких бортов “Альберта” казалась зеленой.

25 декабря 1952 г. Подобного цвета не видал я ни разу — сильного и светящегося зеленого рядом с белой пеной от колес. Шторм все усиливался, и тут я сделал приятное для себя открытие: меня не укачивало. В Туапсе пароход вошел с большим трудом в порт. Я сидел на корме, завернувшись в одеяло, и не понимал всех маневров “Короля Альберта”. И только на крутых туапсинских улицах из разговора прохожих узнал я с гордостью, что шторм нас так мотал, что страшно было смотреть. Ночевали мы почему-то в сельскохозяйственной школе. Ах, как надоело мне называть, не передавая. А ведь это были последние счастливые времена. К утру дождь прошел, шторм улегся. Зеленый, подчеркнуто возделанный, показательный огород школы. Придурковатый, искренне обрадованный, добрый Персик — не одолев реального училища, он перевелся сюда. Всю дорогу я держался в стороне: нетвердо знал, куда мы идем, не смотрел на карту — не знаю почему. Я собирал хворост, и разводил костер, и нес ка-

кую-то часть общей поклажи — и все. Даже денег у меня не было ни копейки. Почему-то за меня платили Соловьевы. И я, да и все, спокойно принимали это. Вел Юрка. Взрослый лет двадцати восьми по имени Костя, без которого не пустили нас в такой далекий путь, совещался с ним. В Туапсе выяснилось, что у нас не хватит денег на билеты. Костя спросил, нет ли у меня денег. Нет. Что делать? Долго сидели все рядышком на скамейке, набирались решимости. Приходилось идти просить взаймы у Вышемирского, который, как всегда, жил летом в Туапсе. Денег он дал. Уже вечерело, когда впервые в жизни поехал я по Туапсинской дороге, которая уже действовала с этого лета. Зубчатый лес на красном небе. Майкоп — простой и не загадочный. Последняя радость — без мыслей, что она на крови. Но война приближалась.

26 декабря 1952 г.

И вот пришел день, когда мы увиделись с Юркой в последний раз. До этого побывал я в последний раз в Майкопе. Был я влюблен в Марусю Шаповалову, уже зная, догадавшись, что я Милочку больше не люблю. В Майкоп я приехал на рождественские каникулы глуповатым, пустоватым, бесплодным щенком. И тут получил последний удар в самое сердце, связанный с Милочкой. Я получил письмо от Варвары Михайловны. Оно начиналось так: "Когда Вы, наконец, оставите мою дочь в покое?" И так далее, все в том же роде, с угрозами, оскорблениями. Кончалось оно так: "Подписываться считаю для себя унизительным". Все это было до такой степени незаслуженно, так не соответствовало самому существу моей любви, и так страшно! Да, любовь моя умерла, но меня обожгло это поруганье над умершей. Я до сих пор не встречался с открытой ненавистью, да еще при этом взрослого человека. Уезжал я из Майкопа на рассвете. Чуть морозило. Город казался мне синеватым. Проехал я мимо армянской церкви, мимо длинного белого дома Оськиных. Мне казалось смутно (я не любил верить печальным предчувствиям), что в Майкоп не вернуться мне больше. Так и вышло, я не был в Майкопе с тех пор, а если и попаду когда-нибудь, то увижу совсем другой город. Даже аллеи в городском саду обвалились, подмытые рекой. Так я увидел в последний раз Майкоп. В Москве поселился я почему-то во втором семестре очень далеко, в одном из Павловских переулков за Серпуховской площадью. Кажется, в 3-м Павловском. Юркиного адреса у меня не было, и я послал письмо просто так:

Петроград, Юрию Васильевичу Соколову. И получил ответ. Я шел куда-то в гости, встретил почтальона, спросил, нет ли письма, и увидел конверт со знакомым Юркиным почерком.

27 декабря 1952 г.

Почтальон отказался дать мне письмо на улице, и я, сидя в гостях, думал о радости, которая ждет меня дома. Письмо оказалось длинным и интересным. Юрка с обычной сдержанностью рассказывал о своих делах в школе Общества поощрения художеств. На первом его рисунке (или этюде) в живописном классе была поставлена надпись: "Принять. Оставить в классе". Он думал, что относится это к нему. Оставить его в классе, так как это первый рисунок. Оказалось же, что рисунок оставлен в классе как образцовый. Потом описывал он целое возмущение по поводу того, что его не освободили от платы. Сам он в этом бунте не участвовал. Его именем пользовались обиженные — вот как несправедливо вынесли решение: Соколова — и то не освободили. Рассказывал, как, войдя в класс, Рерих сказал: "Продолжайте, продолжайте, я только посмотрю, как Соколов". И я радовался, читая письмо, по двум причинам: что у него так удивительно идут дела и что он мне об этом рассказывает. Я узнал, что, кроме меня, никому он не напишет о своих делах. Весной уговорил я его приехать в Москву. Он написал, что поезд его придет на Курский вокзал. Я отправился встречать его — и не встретил. Я поспешил домой, надеясь, что найду его там. Но и там его не было. Мрачно стало у меня на душе. И я пошел прочь из дому. И вдруг на углу своего переулка увидел я знакомую высокую фигуру в черном студенческом пальто. Я боялся верить глазам, но это был он. И он тоже, к моей гордости, обрадовался, увидев меня. Я так презирал себя в этот период жизни, что дружба Юрки только и помогала мне верить в себя. Оказывается, он ошибся номером поезда. Так началась наша последняя, самая короткая встреча.

28 декабря 1952 г.

Итак, я все-таки встретил Юрку. Но чуть ли не на другой день, развернув за чаем газету, прочел он о призыве на военную службу студентов его возраста, первых трех курсов. Я не знал, что из-за Школы поощрения художеств остался он на третьем курсе на второй год. Мы не успели ни поговорить, ни побродить. Побывали только в Третьяковской галерее, после чего из-за суриковской "Боярыни

Морозовой" завел я спор, боясь ученья, доказывая, что пишутся картины не для художников, а для таких, как я. Юрка возражал мягко, угадывая, видимо, что я раздражаюсь и спорю, огорченный его отъездом. На вокзале мы попрощались, и Юрка ушел в вагон — до отхода поезда оставалось две-три минуты. И я решил было отправиться домой, но что-то заставило меня подойти к окну вагона. Заглянув внутрь, я сначала не мог найти Юрку среди других пассажиров и вдруг увидел: он стоит в проходе и с доброй и ласковой улыбкой ждет, пока я замечу его. И встретившись со мной глазами, несколько раз кивнул мне. И больше мы не встретились. Он пропал без вести в конце войны. Я не почувствовал тогда у окна, что вижу его в последний раз. Да и до сих пор не верю в это по-настоящему. Во сне я говорю ему при встрече: "Сколько раз мне снилось, что ты жив — и вот наконец мы и в самом деле встретились!" На этом я и кончу рассказывать о себе.



Ф. Шелков — дед Е. Шварца.
1880-е годы. Рязань.



Евгений Шварц. 1899 г. Екатеринодар.



Б. Шварц — дед Е. Шварца с сыновьями (слева направо): Самсоном, Львом, Александром и Исааком. 1890-е годы. Екатеринодар.

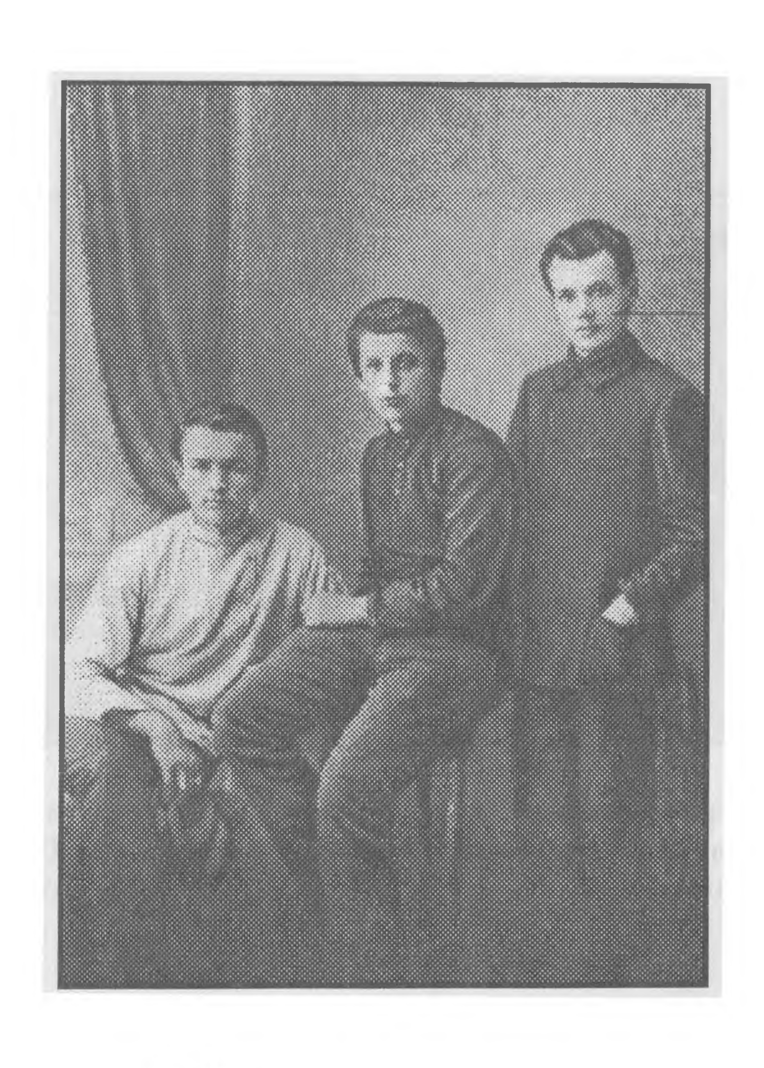
Лев Борисович и Мария Федоровна Шварц с сыновьями: Евгением (слева) и Валентином. 1904 г.



Е. Шварц. 1911 г. Майкоп.



Л. Крачковская. 1912 г. Майкоп.



Е. Л. Шварц с друзьями юности
Ю. В. Соколовым (слева) и Е. Я Фреем (справа).
1912 г. Майкоп.



Фотография, сделанная одноклассником Е. Шварца Л. Оськиным во дворе Майкопского реального училища. 1911 год. Е. Шварц на переднем плане (полулежит). Публикуется впервые.

В имении К. Д. Косякина. Е. Шварц на переднем плане

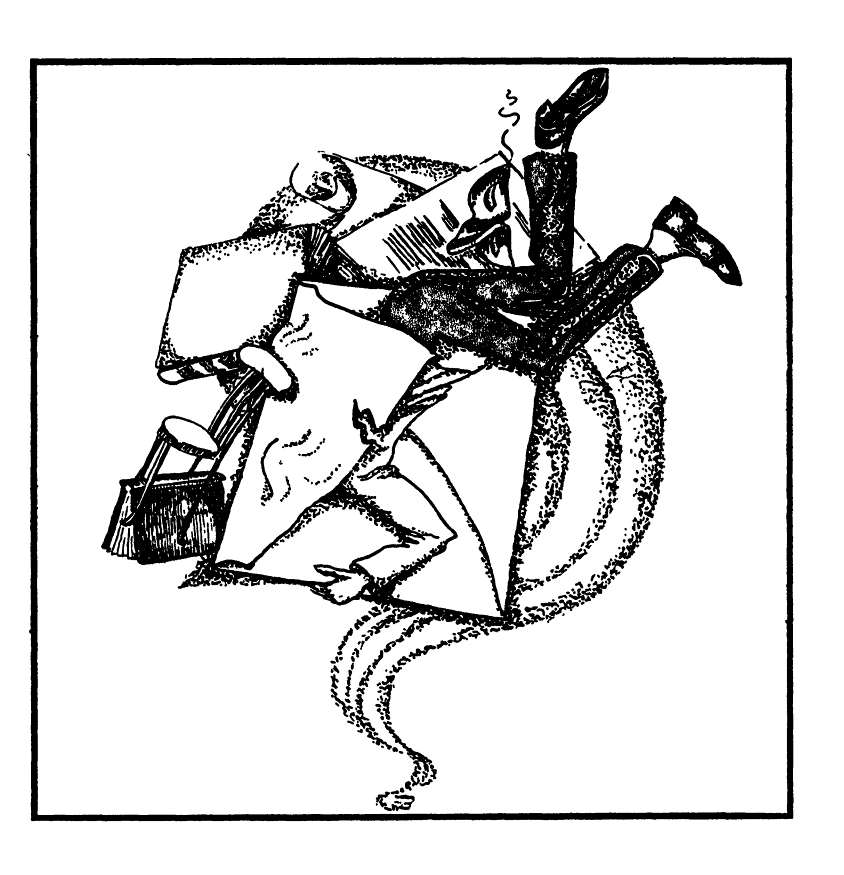
Е. Шварц (первый слева во втором ряду) с друзьями юности Л. Оськиным и сестрами Е. и М. Зайченко (сидят) 1915

Университет Шанявского в Москве, где учился Е. Шварц. Открытка.

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

Автограф письма Е. Шварца к матери. Публикуется впервые (оборотная сторона открытки).

Письма



Родителям. (Открытка с видом Красной Поляны)

Жду писем. Пишите — Красная Поляна. До востребования. Сюда приехал вчера, хотел послать телеграмму, но телеграф был закрыт. Из Адлера сюда отличное красивое шоссе с тоннелем в 45 саженей с иконой, от которой осталась одна рама, высеченная в скале. Само же изображение сгорело от лампадки, которую зажигали по ночам. Квартиру нашли. Стоили 2 комнаты 15 рублей. Вид с нашей квартиры... отличный. В 3 верстах замок императора в ... стиле...[1]

13/VII — 10

---

[1] *Открытка написана карандашом, который от времени стерся, и поэтому некоторые слова неразборчивы.*

М. Ф. Шварц. (Открытка с видом университета им. Шанявского)

Москва, 8. 11. 13.[1]

Дорогая мама!

Может быть тебе будет интересно посмотреть на здание нашего университета. Аудитории наши в центре здания. Здесь в этом корпусе — помещаются в углу — как видно по надписи — педагогические курсы, а в остальных помещениях аудитории и т.д., и т. д. Часть университета с научно-популярным отделением снимает дома в средней части города. Недавно... в конце октября...[2]

---

[1]*Дата определена по почтовому штемпелю.*

[2] *Далее неразборчиво.*

В. В. Соловьевой. (Майкоп)

Краткое и энергичное воззвание[1] не могло не подействовать на лучшие свойства моей души. Письмо твое заставило действовать. Девочки пишут и снабжают марками и запоздавшими майкопскими новостями. Послал им свою карточку (в новом костюме снят). Если хочешь, пришлю и тебе. У меня черт-те сколько. Слышал я два раза "Кармен", раз в Большом театре и раз у Зимина, причем в роли Дон Хозе выступал Дамаев. Фигурой, грацией он отдаленно, но напоминал знаменитого Костаньяна. Слышал Дамаева в "Пиковой даме". Томский был плохой и мою арию про графа Сан или Сен-Жермена исполнил отвратительно. Видел моцартовского "Дон Жуана". Вообще таскаюсь по театрам охотно. Маруся Зайченко переехала на квартиру с роялем, и иной раз 34-й opus услаждает мой слух, напоминая Майкоп. Надеюсь, что мой репертуар не забыла? Ведь очень возможно, что я приеду на Рождество. Произведу строгую ревизию. Духи у меня еще не все вышли. Я их расходую крайне экономно. Шоколад, который ты мне подарила тогда, мы с малюткой Жоржем слопали по дороге на вокзал. Москва хороша шоколадом. Простой шоколад, свежий, только потому, что его поломали при упаковке, продается по 35 копеек фунт. Я, как тебе известно, обучаюсь в университете имени генерала Шанявского. Дела у меня много, развлечений порядочно, даже слишком порядочно, но временами скучновато. Не привык я один пока. [...] Теперь, Варя, позволь мне извиниться. Ужасно извиняюсь. Дело в том — прямо сказать страшно. Скажу с разбегу. Борода у меня опять выросла и в три раза больше прежней. Извини, пожалуйста. Борода — предмет неодушевленный и потому не поддающийся логическим убеждениям. Пиши о Майкопе как можно больше. Я свинья действительно, что не писал раньше, теперь буду отвечать аккуратно, ежели ты меня помилуешь. Да что там я спрашивал — слать карточку! Шлю. Не понравится, отправляй обратно!

Не сердись за молчание и пиши сейчас же. Как Матюшка и Костя? Что вообще нового? От друга своего Жоржика не имею известий. Напиши все, что знаешь о нем. Подрос ли он? Как попрыгивает Чижик-Петруша[2]? Какая погода и есть ли новые постройки? Как в гимназии Надежда Александровна[3]? Кланяйся ей от меня. Кто теперь в библиотеке?Кланяйся Вере Константиновне и Василию Федоровичу, Матюшке, Косте, Павлу и всем

прочим чадам и домочадцам. Чтобы не утомиться, можешь кланяться не очень низко. А то голова заболит. Между прочим. В Москве хорошие гравюры удивительно дешевы. Я купил гравюру — Генрих Гейне (никогда не видал такого портрета — особенный) за двадцать копеек. Гравюры в длину около 1 $^1/_2$ моих четверти. А моя "четверть" хватает на две ноты больше октавы. Лорды Noël Byron'ы здесь во всех и во всяких видах. Если бы взять две гравюры, обе изображающие лорда Byron'а, и, показав на одну, сказать — Lord Byron, а на другую — его брат, то несведущий человек нашел бы, что братья вовсе не похожи друг на друга. Ну так вот — ежели понадобится, я могу привезти в Майкоп любого композитора, или писателя, или ученого, затратив на каждого не более тридцати копеек. Письмо твое очень рассердило мою хозяйку — почтальон пришел рано и разбудил ее звонками. Она его выругала чертом.

Жду писем. Где ты выцарапала мой адрес? Не знаю, как дошло письмо. Пришло с опозданием. Нужно писать 1-ая Брестская — их целых 3.

Е. Шварц

---

[1] Е. Шварц. получил от В.В. письмо, состоящее из одного слова: "Свинья".

[2] Петр Николаевич Колотинский, преподаватель литературы РУ, был маленького роста.

[3] Н.А.Соколова, мать братьев Юрия и Алексея Соколовых, заведовала городской библиотекой, потом перешла на преподавательскую работу в женскую гимназию.

(Ноябрь 1913)

Уважаемая Варвара Васильевна!

Напрасно вы приняли выражение "выцарапывать" в смысле "отыскивать, искать". Сей вопрос, вопрос о выцарапывании был задан во избежание дальнейших ошибок в адресе на конвертах посылаемых мне писем и из любви к несчастным, усталым почтальонам. Жоржик мне прислал одно письмо (за это время), которое было получено мною много спустя после отправления моего послания к тебе. Так что я не врал, и Жоржик не врал, а

просто произошла ошибка во времени.

Я недавно отличился — послал Юрию Васильевичу письмо, не указав улицы. Написал только “Петербургская сторона”. И письмо пришло, запоздав на четыре дня, все покрытое штемпелями и справками. Юрий Васильевич рассказывает, что почтальоны с нетерпением ждут моего появления в Петербурге, чтобы совершить надо мною жестокое убийство с целью мести. Если хочешь порадовать меня, старика, то пришли ты мне свою карточку. Но очень прошу наклеить марок, сколько нужно, ибо я сижу в стесненных обстоятельствах, и средства рассчитаны до копейки. Пришли, пожалуйста, свою карточку, и (если вышли) те, которые сняла за Белой Нина Косякина[3]. Жду с нетерпением подробного письма о Майкопе, его жителях, и о Жоржике в частности, на которого, если увидишь, воздействуй в смысле написания мне письма.

Что за новая шестиклассница у вас появилась? Молю бога, чтобы родители взяли меня в Майкоп. Девочки зовут в Петербург, соблазняя посылками из Майкопа, конфетами и шоколадом. Есть ли у тебя духи? Здесь тепло, снегу нет, недавно шел дождь, грязь отчаянная. Проклятые театры дразнятся и зовут, а денег лишних нет. Когда приеду в Майкоп, вернее, если приеду, научи меня петь Лазаря.

Москва — город прекрасный, жизнь моя поинтересней жизни моей в Майкопе, но тянет хоть ненадолго домой. Посещаю я лекции, слушаю известных профессоров, посещаю театры, наслаждаюсь игрой величайших артистов земли русской. Недавно видел “Вишневый сад” в Художественном театре и не знаю наверное, пришел ли в себя теперь или нет. [...]

Когда пишу, слышу отчаянные звонки трамваев и свистки городовых. Может быть, раздавили кого-нибудь, а может быть, скандал. Нигде нет такого скандального города. Нет случая, чтобы прошел день без того, чтобы не изувечил кого-нибудь трамвай. Не было случая, чтобы, возвращаясь домой в праздник, под праздник, откуда-нибудь вечером, я не натыкался на скандал, драку, ограбление. Обязательно где-нибудь толпа народу, и городовой свистит. А пьяных тут! “Господин, послушайте”, тебя бы здесь вогнали в гроб.

Пиши о майкопской погоде. [...] Что и как Драстомат? Не погиб ли он у вас в саду? Кланяйся Зайченко и Тусе Зайченко. Как она поживает и что делает? Пиши о вечерах. Устраивала ли Мария Гавриловна еще музыкально-мучительные утра?

Пожалуйста, пиши, Варя, побольше и подробнее. Мне почти никто не пишет, и каждому письму я очень рад. Одеколон твой послужит решающим толчком. Знаешь, в таких колебаниях самое незначительное воздействие бывает решающим. Цитирую Лелино мнение о поездке: "Знаешь, нас тянут домой. Мама очень скучает, право, не знаю, что и делать, поедем ли, нет ли, неизвестно". Во всяком случае, Леля не очень протестует.

Потом я взывал к сестриным чувствам. "Посмотрите, — рыдал я, — как выглядит Варя без вас! Она вдвое пополнела и поправилась! Возвращайтесь, если не хотите, чтобы она совершенно растолстела!" Надеюсь, хоть это их проберет. Я неточно цитирую свои слова, это верно.

На твоей карточке похоже, что зверь Лабунский[1] разбудил тебя чуть свет, не дал даже причесаться как следует и злобно защелкал фотографическим аппаратом. Удивительно у тебя сонный и встрепанный вид. Или ты снималась до обеда? Однако ты поправилась! Хотя, может быть, карточка врет? Или действительно, отсутствие трио так благотворно на тебя повлияло? Маруся Петрожицкая в феврале дает здесь концерт. Петя Петрожицкий в Майкопе? [...] Послал я сегодня Зайченко младшим открытки, а Леле письмо. Открытки недурные. Правда, хорошая открытка, что я тебе послал? Это теперь модные в Москве — "английские головки". Нет ни одной витрины книжного магазина в Москве, где бы их не было черт-те сколько. Что ты в каждом письме обещаешь писать подробно, и обрываешь их все посередине. Письмо твоим почерком в три листа — это моим в один. Кстати, делаю тебе обещанный выговор. Ты за фразу, вторую сначала, начинающуюся со слов: "Могу тебя обрадовать"и т.д. и т.д., нуждаешься[2] в выговоре. Не могу найти сейчас подходящего выговора и выражений; ничего, выругаю при свидании. Сейчас только показываю тебе мысленно кулак.

Переснимись у Лабунского по возможности до обеда.

Твое послание помогло мне ясно представить вашу новую шестиклассницу.

Воображаю, как суетится теперь Анна Петровна[3] по случаю эпидемии. Не дай бог.

Слушай, сделай Малютке выговор, если увидишь его. Этот Жорж за все время писал мне только раз.

Слушай, любезная, что за необразованность в твои годы? "Петь Лазаря"— это значит милостыни просить. Невежество! Выеду я, вероятно, числа

двадцатого. Не раньше 18-го.

Надеюсь, на этот раз ты ответишь аккуратнее, т.е. не через сто лет, как в прошлый раз. Как Костино здоровье[3]? Где Нерсик?

Поклонись Василию Федоровичу и Вере Константиновне. Жду письма.

Е.Шварц

Нравится тебе моя почтовая бумага?[5]

---

[1] *"Фотография А.С.Лабунского. Майкоп (Куб. об.)"*

[2] *Подчеркнуто автором.*

[3] *А.П.Тутурина, преподаватель математики женской гимназии.*

[4] *Катаясь на велосипеде, Константин Соловьев разбил колено.*

[5] *Письмо написано на голубой лощеной бумаге.*

(Январь 1914)

Признаться, я предпочел бы заплатить еще раз за прошлогоднюю свинью с четырьмя восклицательными знаками и ходить весь день из-за этого без обеда, чем получить это оплаченное, оглушительное краткое письмо. Помимо всего прочего, адрес неверен! Я только 23-го в 7 часов вечера вернулся из Петербурга и доподлинно знаю, что девочкам надо писать — 12 линия, д. 31 **б**, а не просто 31 — ибо там существуют дома **31 а, 31 б и 31 в.**

Письмо дойдет и по твоему адресу, но с некоторой задержкой, а лично присутствуя в Петербурге, будешь метаться напрасно между а, б и в и проклинать давших такой подлый адрес. К счастью, я поехал просто к Юрке, а он меня свел к девочкам. Спасибо, что не прислала адреса раньше!

Теперь перейдем к краткости и лаконичности. Чем я провинился? Если даже преступление мое так ужасно, то неужели оно так невыносимо, тяжело и черно, что твоя клетчатая почтовая бумага разорвется и истлеет от описания его? В Англии раньше вешали охотно; но всем разрешалось перед повешением произнести защитительную речь, как бы гнусно он ни наподличал. И был (правда, один за все время) случай, когда преступник произнес такую основательную и справедливо-горячую речь, что его оправдали на глазах у разомлевшей и мрачно

разочарованной виселицы.

Мне, честному, ни в чем не признающему себя виновным, студенту юридического факультета, не дают и этой слабой возможности, которую даже кровожадное английское правительство старых времен считало необходимой. Моя честность и невинность сослужили в данном случае мне скверную штуку, ибо я не имею никакой, даже маленькой черточки, пятнышка, которое могло бы сойти за преступление и дать основание оправдательной речи. Ради бога — в чем меня обвиняют? — как сказал один воробей, обвиненный в краже 3 фунтов мяса из мясной лавки. — Будем надеяться, что обвиняют меня столь же основательно, сколь и вышеупомянутого злосчастного воробья. Жду ответа, перемигиваясь с виселицей на досуге.

Описал бы Петербург, где прожил дней 10 — 11, да ты вот чего-то ругаешься. Во всяком случае, передаю поклон от Лели и сообщение от нее же, что она пока писать не намерена: "Не знаю, когда напишу", — вот ее точные слова. Остаюсь, с тревогой ожидая ответа, невинный преступник, кровожадный воробей.

Е. Шварц

P. S. У меня больше оснований ругаться, ибо это второе письмо тебе, а ты мрачно молчишь или ограничиваешься 5 словами.

(Весна 1914)

Надоело мне торчать в Москве до смерти. Погода хорошая, а пойти некуда, всюду наперлись москвичи и гуляют, и скандалят, и поют. На Воробьевых горах на каждое дерево приходится по три туриста. А на бульварах деревья кажутся перепуганными и заблудившимися в гнусной толпе. Первый раз в жизни я провожу весну в большом городе, и прескверно провожу. Что же касается до экзаменов, то их не проведешь. Раньше я был уверен, что сдам один. Теперь я ни в чем не уверен. В общем, чувствуешь себя так гнусно, что выть хочется. Тем более, что не сдать экзаменов — это потерять свободу летом. В довершение всех благ деньги объявили мне бойкот. Покинули и не думают вернуться. Жалуются на небрежное обращение. Знакомые утверждают, что я сам виноват. Слишком распустил их, дал власть им. Что нового в Майкопе? Кто остался на второй год, кто

вылетел, кто переходит? Есть ли надежда у кого-нибудь на золотую медаль? О полете Пахомова я слышал. Будем надеяться, что Бидерман, по вашему выражению, достаточно “разочаровалась в нем”, и они не поженятся.

Вчера Левке Оськину прислали майкопские газеты, и я проливал слезы умиления над описанием “феерического блеска городского сада при электричестве” и историей мадам Никулиной и Линского[1]. Стихи же, где проносится “городская такса”, над которой торговцы смеются, “как с Линдера Макса[2]”, меня убили совсем. Хороший город. Где теперь Драстомат! Что Василий Федорович? Что Наташа?

---

[1] Или Ленского? (примеч. Е.Шварца)

[2] Линдер Макс(Габриэль Максимиллиан Левельё) (1883—1925) — популярный в то время французский комический актер

Н., Л. и Вере Соловьевым (открытка)

6 июня (1914) 10 часов утра.

Четвертые сутки нашего путешествия застали нас в Туапсе. Ага! Оценили вашу заботливость, найдя в сидорах массу сюрпризов. От шоколада я воздержусь. В 4 часа уезжаем в Красную Поляну, потому что нам так хочется.

Трампы Ю.Соколов, Е.Шварц.

Спасибо за все.

(Екатеринодар, август 1914)

Уважаемая Ваврара* Васильевна!

Как вам ходилось в горах и дышалось под небесами? Какими оказались ваши спутники и какой спутницей оказались вы сами? Как выглядит Майкоп без нас и какова жизнь среди опустевших стен? Каков адрес девочек? Студент (вероятно) Шварц получит эти сведения, если вы соблаговолите направить их студенту (вероятно) 1-го курса юридического факультета Московского Императорского университета (т.е. в университет). Теперь о том, как выглядим мы (Шварцы) без Майкопа. Папа обменял штатский костюм на мундир

ординарного врача Екатеринодарской войсковой больницы[1]; Валя обменял форму реалиста на форму гимназиста 2-го класса 1-й Екатеринодарской гимназии; мама осталась без перемен, той, какой была в Майкопе.

Я веду безумно разгульную жизнь. Бываю почти каждый день в оперетке (Шварцы имеют 3 места в 5 ряду) (жаль, что не наоборот, т.е. 5 в 3). Знаю наизусть каскадную песенку: "Серафи-и-и-ма, вот она какая"**, курю трубку, которую подарил мне двоюродный брат Тоня, пью вино, ужиная во II-м общественном собрании, и безумно увлекаюсь тремя девицами, из коих одна примадонна Глория, а другие неизвестны (ни с одной из них я не знаком). От такой жизни мой красивый лоб побледнел, а красивый нос покраснел еще больше. Буквы путаются, а предметы двоятся, двоятся. Ничего, в Москве поправлюсь. (В Москву едет масса народу — не знаю, как доберусь). Познакомился я здесь с одним юношей, который влюблен в Шопена и прекрасно его передает. Он сыграл мне массу его вещей и, между прочим, прелюд ex re (который играет Наташа) и поразительно. Прямо сбил меня с ног. Я разобрал здесь сам "Грустную песенку" Калинникова*2* и половину уже выучил наизусть. Узнай, сколько я должен Марии Гавриловне и напиши папе — (угол Борзиковской и Дмитриевской, д[ом] Садилло). Пришли мне адреса всех уехавших майкопцев, которые знаешь. Пиши.

Гогенцоллерн[3].

Привет всем вашим!

* Перепутал все буквы от разгульной жизни и пьянства. (прим. Е. Шварца)

**Всю цитировать нельзя — помилуйте. (прим. Е. Шварца)

---

[1] Т.к. семейство Шварцев было "приписано" к Екатеринодару, то, по началу войны, Льва Борисовича призвали в армию там и назначили в войсковую больницу. Вскоре в Екатеринодар переехала и Мария Федоровна с сыновьями (Валентин родился в 1902 г.)

[2] Калинников Василий Сергеевич (1866—1900), русский композитор, талантливый продолжатель традиций П. Чайковского и "могучей кучки". "Грустная песенка" пользовалась большой популярностью.

[3]Гогенцоллерны — династия прусских королей и германских императоров. В данном случае шутка Е. Шварца, связанная, очевидно с началом войны с Германией.

(Москва, ноябрь 1915)
Неуважающая старших!

Ты, которая прислала только одну открытку и задаешься! Выслушай мои искренние советы и попытайся поступать сообразно им. Во-первых, на Рождество во всей Москве не останется ни одного знакомого, все едут домой (все тоскуют и проклинают остаток дней, уменьшающийся, но отделяющий время до 5 — 10 декабря, когда начнут выдавать отпуски). Во-вторых, все театры забиты желающими попасть в них на Рождество. Билеты начнут продавать числа 15-го, к этому времени в Москве будет столько же майкопцев, сколько в Париже. На Пасху все мы будем здесь. На Пасху сюда приедет музыкальная драма. На Пасху Шаляпин будет в Москве и прочее и прочее. Мы (майкопцы) настойчиво просим тебя приехать на Пасху. Заутреня в Кремле — это сюжет, достойный кисти Шильниковского. Я (между прочим) очень, как никогда (если не считать предыдущего, т.е. пред-пред-предыдущего, самого первого приезда сюда) тоскую и, главное, о, тоска, о, слезы (которые при сем прилагаются), тоскую по Майкопе. Я надеялся, если кто-нибудь меня пригласит (это вовсе даже не намек), побывать и в Майкопе. Этак на неделю. Ну, не надо.

Я, кажется, хорошо себя вел летом? Я не помню, чтобы мы ссорились особенно. А если ссорились, то выругай меня, только поскорей, и, ругаясь, опиши майкопскую жизнь вообще. (Кстати, пришли мне бандеролью несколько номеров “Майкопского эха” с отделом “Местная жизнь”. Очень прошу.) За Майкоп я бы сейчас отдал полцарства, все царство. Брехаловку только себе. Ужасно хочется видеть вас, Соловьевых, и провести время в зале, у рояля, даже с риском быть придавленным подушкой и защекоченным насмерть. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Всегда особенно хочется в Майкоп, когда нельзя, а когда в Майкопе, хочется уехать. Впрочем, насчет последнего вру.

Ты знаешь, конечно, от Лели, что Матвей Поспеев живет теперь со мной и Левкой. Живем дружно, пока не ссорились еще. Хозяйка у нас антик. Льстива до слез. Увидела у меня на подбородке прыщик и говорит: “Как вам идет эта родинка, Евгений Львович”. Я сделал вид, что это действительно родинка и убежал смеяться к себе в комнату. Она все добивалась узнать, не еврей ли я, и, узнав истину, останавливает дочку, когда она громит жидов

басом. Дочке около тридцати. Вес неприличный. Ходит дочка целый день в капотике, с открытой шейкой. Капотик коротенький, и поэтому мы наверное знаем, что у дочки голубые чулки и одна подвязка безнадежно потеряна, ибо на правой ноге чулок регулярно болтается весь в морщинах у самого башмака. Башмаки серые от жажды ваксы и расстегнуты. Дочка кричит всегда басом и всегда сердится. Сейчас, я слышу, она орет матери: "Я не отрицаю, что самоеды не моются". Вообще она талант. Когда я достигну такого же веса, то всякий сможет сказать, глядя на меня: "Вот зарабатывает, должно быть, обжора". На днях она влетела в комнату, и у нас произошел такой диалог.

— Простите, я по делу влетела. У вас есть отец и мать. Т. е. есть конечно. Я хотела сказать — живы?

— Да.

— Так живы? А то один идиот говорит, что у кого там, если мать умерла или отец, так какой-то дурак купец дешево комнату сдает. Живы, значит?

— Живы, живы. — Очень жалко, до свидания.

Я ужасно испугался.

У нас есть еще мопс — Мурочка. Характер у него хороший, но каждый день хозяйка причитает: "Бедный мой деточка, никогда с ним такого не было и чего это он скушал?" Подробности и комментарии недопустимы.

В университете я бываю (именно бываю), но до Рождества экзаменов сдавать не буду. То-то и оно. [...]

Слушай. Я кончаю письмо, ибо пора идти обедать. Я только в том случае буду сохранять дружеские отношения с тобой, уважаемая держава, если ты немедленно ответишь мне на это письмо. Вспомни, как аккуратно я отвечал тебе первый год своей жизни здесь. Вспомни — и учись. Ты даже не поздравила меня с днем рождения! А я — послал тебе коробку конфет. Немедленно поздравь (лучше поздно, чем никогда) и напиши, хороши ли конфеты. Вообще пиши, пожалуйста. Леле напишу, сейчас тянут обедать. Мой адрес просто Филипповский переулок. Без "Арбат". Это лишнее. Ну, au revoir.

Е.Шварц.

Москва, Филипповский пер., д. 9, кв. 3.

В оригинале письма в пробелах нарисована "слеза". — (Прим. сост.)

(Москва, конец ноября — нач. декабря 1915)

Девочки!

Спасибо за ответ и за приглашение. Еще одна просьба повторить это приглашение числа так 20 — 23 декабря, когда я буду в Екатеринодаре. Это нужно для родителей. Поблагодарите Веру Константиновну за приглашение.

Напишите самым откровенным образом — не будет ли мой приезд неловким.

5 — 6 — 7 декабря я уезжаю из Москвы. В Майкоп поеду (если поеду) числа 27 — 28 декабря. Мне хочется встретить Новый год в Майкопе. Не знаю — улажу ли с родителями и будет ли настроение.

В денежном отношении я обеспечен. Камразе взял у меня 15 рублей взаймы и обещал не отдавать до Рождества. Но вы не беспокойтесь, больше 4 — 5 — 6 — 7 дней я во всяком случае не пробуду.

Еще, самая главная просьба, кто бы ни спрашивал, никому не говорите, что я думаю приехать. Наоборот, отрицайте вовсю. Пусть знают только вы, девочки и Вера Константиновна, чтобы для нее мой приезд не был уж слишком неожиданен.

Я вас еще раз прошу, девочки, серьезно и правдиво написать, удобно ли мне приехать, и не из любезности ли — так просто, неловко отказать, зовет меня Вера Константиновна. Я не сомневаюсь, что она относится ко мне хорошо, но я могу, несмотря на это, и стеснить и все такое, и все такое прочее. Гораздо лучше не приехать, чем приехать и чувствовать себя не на месте, мешающим, непрошеным. То-то и оно. Посему — разъясните. Окончательно, конечно, сообщу только из Екатеринодара. Кстати, на всякий случай, вот мой екатеринодарский адрес, чтоб не забыть: угол Дмитриевской и Борзиковской, д. Садилло, мне. Без всяких эпитетов. А то хозяйская дочь, описанная в предыдущем письме, долго и басисто хохотала над титулом “Жирный мальчик”[1], а потом спросила: “Вы, должно быть, сотрудничаете в газете, и это ваш псевдоним?” Пришлось согласиться. Пожалуйста, не делай этого больше. Теперь я сообщу нечто, только не презирайте меня. Вчера был именинник один из моих здешних приятелей. У него собралась компания в 22 человека, курсисток и студентов. Был коньяк и портвейн. Все поголовно (гости то есть) были с Кавказа. Пели и пили, пили и пели. Когда опомнились, было 7 часов утра и ходили трамваи. Вот! Так что я спал всего

2 часа. Лег в 7, разбудили меня в 9, сейчас 2 $^1/_2$. Скажите Фрею, что я ему кланяюсь. А я попытаюсь заснуть еще. Желаю всех благ.

Е. Шварц.

Отчаянно скучаю за родителями и около трех четвертей отчаянно за Майкопом.

---

[1] "Жирному мальчику Е.Л.Шварцу" — значилось на конверте из Майкопа.

(Москва, конец марта 1916 г.)

Черт знает что такое! В прошлом году в это время здесь солнце было, и все такое. А теперь — дождик, сыро, холодновато и уныло. Всякое упоминание о весне в Майкопе — острый нож в сердце. Пришли фиалку в письме, предварительно ее расплющив — иначе не дойдет. Кстати, напоминаю, что № квартиры моей теперь 1. Я переехал этажом ниже.

Вчера, сделав точный подсчет, я вычислил, что для экзаменов каждый день нужно читать 90 страниц. Первый экзамен 17 апреля. В начале мая я свободен, как птица, следовательно. Не дай бог, провалюсь! Изнывай тогда все лето. Помолись за меня.

Встретил на днях Костю[1]. Он шел в баню. Застать его дома — это попасть на Шаляпина. Где он только пропадает? Должно быть, роман крутит. Все майкопцы стали серьезными, и в разговорах появились книжные обороты— много читают к экзаменам. Тяжелое время — погода и экзамены.

Юрий Васильевич[2] [...] ответил на приглашение полусогласием, а потом умолк. Я ему послал вчера крайне неприличное письмо — ругаюсь и нелестно характеризую всякими словами. Если он и после этого будет молчать, дело безнадежно. Не раскачаешь его.

Представь себе, несмотря на погоду и зловещие угрозы висящих над головой экзаменов, настроение у меня игривое и бодрое. Должно быть, потому, что отъезд сравнительно близок, и все-таки чуть-чуть попахивает весной — идет дождь, а не снег. Надоела весна, как Колокола Бородина.

В Майкопе должен на днях (а может быть, и появился уже) взойти и засиять полным светом прапорщик инженерных войск Иван Васильевич Гостищев[3]. Опиши. Я часто вспоминал его, присутствуя на заседаниях литературно-художественного кружка при филологическом факультете. Он там

поговорил бы.

Тоскливый кружок. Все боятся, но говорить хотят. Выходят, теряются и медленно умирают. Не боятся только заправилы, но и те говорят глупости, уже от развязности. Я хожу слушать и слушаю молча. Завтра там вечер поэтов. Иду критиковать, опять-таки молча. Я боюсь сильнее, чем хочу говорить, и посему воздерживаюсь, дабы не быть осмеянным.

Видела ли Левку Оськина? Опиши. Что у тебя за принцип исписывать только два листа. Сама говоришь, что много новостей, и умолкаешь. Жду продолжения. Привет Вере Константиновне, Вартану[4] и Леле.

Пока. Плюю на красный бант.

Е.Шварц

---

[1] К.Соловьев, в ту пору тоже студент юридического факультета.

[2] Соколов.

[3] И.В.Гостищев, бывший реалист.

[4] Вартануша Мнацаканова, подруга В.Соловьевой по гимназии.

(Анапа, лето 1916)

Многоуважаемая!

Так давно не касалась рука моя бумаги, что я с некоторой радостью и радушием гляжу на буквы. Старые знакомые, несколько искаженные моей дерзкой рукой.

Я не вполне уверен, что письмо мое захватит тебя дома, а не явится во время твоего путешествия в горы. Ежели оно захватит тебя, ты мужественно побори лень и отвечай сразу — меня со дня на день могут угнать за тридевять земель, в запасной полк. Я свинья. Я никому почти не писал, замотавшись в курортной жизни. Ты можешь гордиться мной, если вздумается, — я не стал типичным студентом-курсовым, который каждый вечер в курзале, и в перчатках, и с дамами. В саду не бываю, купаюсь и даже (можешь себе представить!) самостоятельно организовал экскурсию за двадцать, правда, только верст, на остров Сукно. Я набрал компанию в 8 человек мальчишек (включая меня) и прожил дикой жизнью двое суток. В отличие от неробкого десятка, экскурсанты были названы дикой восьмеркой. Пели песни, раз-

водили костры, и я чувствовал себя молодым и экскурсионным. Среди них я был самым опытным и самолично, не без трепета варил кондер. Представь— вышел хорошо. Я же жарил яичницу. Хвалили. Они по неопытности сидора называли охотничьими мешками, но ныне бросили это заблуждение. [...] Собирались пройти еще и в Новороссийск, но я жду призыва и сижу на месте.

Я мечтал, дорогой сюда, ездить и много ездить на лодках, но увы, не удалось. Во-первых, лодочники обнаглели до того, что берут рубль в час, а во-вторых, запрещено лодкам выезжать за линию пристани и бака, и вообще показываться в море после захода солнца. [...]

Вообще здешней жизнью я почти доволен. Вечера прохладные, берег красивый, и есть место — вроде майкопской за Белой — Лысая гора. Вид оттуда до того хороший, что даже неловко делается. Особенно в норд-ост, когда море чистое и далеко видно дно.

Компания славная. Виолончелист, в этом году кончивший гимназию и подающий в консерваторию, очень напоминает (временами даже лицом) Юрку Соколова. С ним я дружу и поругиваюсь, как подобает в компании. Шляюсь.

У нас стоит пианино, на редкость приятное по звуку. Я его бью. Поговаривали о квартетах, но результата нет пока и, кажется, не будет.

Но вот, понимаешь, скандал. Последние дни, несмотря на гладкое житье, на меня напала тоска по родине, которая усугубляется полной невозможностью приехать. Меня вот-вот заберут, и на день страшно уехать — а смертельно тянет. Я и ругался, и выл, и писем ждал, наконец, сам сел за письмо, чтобы хоть этим, если удастся, — вырвать ответ.

Анапа вечерами местами до странности напоминает Майкоп. Даже в нашей квартире точно такое же расположение комнат, как у Капустина. До того похоже, что я совершенно машинально иду умываться в кабинет, как у Капустина, хотя здесь у нас умывальник в столовой.

С печалью и скуля думаю о Городском саде, обрыве и всех мелочах улиц, которые так надоедают в Майкопе. Например, “Дума, управа и сиротский суд”, где “м” в слове “дума” похожа на “ш”. Тысячу раз совершенно машинально я думал об этом по дороге из реального домой и не предполагал, что буду когда-то вспоминать и тосковать даже по этой вывеске. Часто во сне еду на извозчике с вокзала, смотрю на трехэтажную мельницу,

на лазарет, на пыль и думаю, слава богу, я в Майкопе! Черта с два. Просыпаюсь каждый день в Анапе.

Но у меня есть надежда, правда, очень маленькая. Меня, должно быть, назначат куда-нибудь на Кавказ. Ехать придется, наверное, через Армавир. Обычно на дорогу дают лишний день-два, и я хоть на это время приеду. [...] Ты, по слухам, в Москву не едешь? Едет ли Леля? Едет ли армянин Вартан? По-прежнему ли течет майкопская жизнь? Разразись ты хоть трехэтажным письмом. Пиши его несколько дней, по нескольку часов, так, чтобы в нем было все майкопское и масса интересного. Ты человек ленивый и упрямый, и я мало надеюсь. Привет Леле. Свиньи вы. Я вас всех люблю, а вы задаетесь. Тут я сконфузился.

Ш

Фрей тоже свинья. Я ему больше не писал.

ПРИМЕЧАНИЯ

Без даты. Эта запись — один из ранних вариантов воспоминаний Е.Шварца о детстве — сохранился в архиве писателя в виде отдельного листка. Составители сочли возможным использовать его в настоящем издании вместо близкой ему по содержанию записи в дневнике от 30 июня 1950 года, которая воспроизведена в книге "Живу беспокойно... Из дневников" Л. 1990 г.
...*Сколько тебе лет?... Два года...* — Евгений Львович Шварц родился 8 ок-тября 1896 года (по ст. стилю).

1950

25 июля 1950 ...*отца арестовали и увезли в Казань* ... В сохранившемся в Госархиве Краснодарского края постановлении Кубанского областного жандармского управления от 4 февраля 1913 г. дана следующая характеристика революционной деятельности Л.Б.(по крестному отцу — Л. В.) Шварца: "Лев Васильев Шварц выкрест из евреев, мещанин, по окончании курса Екатеринодарской гимназии в 1892 г. поступил в императорский Казанский университет, который окончил в 1898 г. со степенью врача. Состоя студентом названного университета, в 1898 г.он был заподозрен в преступной пропаганде среди рабочих Алафузовских фабрик в гор. Казани (причем среди рабочих известен был под именем "Льва Борисовича"), ввиду чего подвергнут был обыску и аресту и привлечен при Казанском губернском жандармском управлении к дознанию в качестве обвиняемого в преступлении, предусмотренном 251, 252 и 318 ст. Улож. наказ., каковое дознание, как уведомил департамент полиции, разрешено было по отношению к Шварцу в административном порядке, согласно высочайшего повеления 5 июля 1900 г., подчинению его гласному надзору полиции в избранном им месте жительства, но вне столиц, столичных губерний, университетских

городов и тех местностей фабричного района, в коих пребывание его будет признано министерством внутренних дел нежелательным — на три года. Проживая затем в гор. Майкопе, Лев Шварц, как лицо вредное для общественного спокойствия и порядка, приказом по Кубанской области от 29 декабря 1907 г. за № 363 был выдворен из пределов области на все время действия в ней военного положения. Кроме того, Шварц, проживая в гор. Майкопе как ранее, так и в настоящее время поддерживает близкое знакомство с лицами неблагонадежными в политическом отношении." Далее начальник Кубанского жандармского управления писал: "Признавая указанную противоправительственную деятельность вышепоименованных лиц весьма вредною для общественного порядка и спокойствия и опасною по своим последствиям в политическом отношении, в целях ограждения местного населения от их зловредного на последнее влияния, следует признать безусловно необходимым примененное удаление сих лиц из пределов Майкопского района... причем полагал бы... Льва Шварца, Василия Соловьева, Минаса Шапошникова... [выслать] из пределов Кубанской области на два года".

26 июля 1950 ***...У родителей отца в те времена мы не жили...*** — Бабушка — Бальбина Григоревна Шварц; дед — Шварц Борис (отчество деда неизвестно). ***...сюда я ездил с мамой к ее родителям...*** — Имени бабушки Е. Шварц не упоминает. Дед по матери — Федор Шелков (отчество неизвестно).

28 июля 1950 ***...мы сидим рядом с Тоней ...*** — Тоня — Шварц Антон Исаакович (1896-1954), двоюродный брат Е. Шварца, впоследствии известный чтец, мастер художественного слова. ***...любительский кружок, в котором играют почти все Шелковы...*** — Шелковы — братья и сестра Марии Федоровны: Федор Федорович — мировой судья, артист любитель; Николай Федорович — акцизный чиновник, скульптор-любитель; Гавриил Федорович — юрист, акцизный чиновник; Александра Федоровна, по мужу Проходцова. ***...помню фамилию барон Дризен...*** — барон Остен-Дризен Николай Васильевич (1868 — 1935) — театральный деятель, историк театра, один из организаторов Старинного театра в Петербурге.

2 августа 1950 ***...Помню спектакль "Волшебная флейта"...*** — "Волшебная флейта, или Танцовщики поневоле" — водевиль И. Ермолова.

3 августа 1950 ***...разговоры о деле Дрейфуса...*** — Дрейфус Альфред

(1859 — 1935) — офицер фрацузского Генерального штаба, обвиненный в 1894 г. в шпионаже в пользу Германии. Помилован в 1899 г. Реабилитирован в 1906 г.

18 августа 1950 ***..Помню... гимназистку тетю Феню...*** — у Л. Б. Шварца было три брата — Исаак, Самсон и Александр, и три сестры — Розалия (по мужу Браиловская), Мария (Маня, по мужу Мелиор) и Феня.

28 августа 1950 ***...появились у нас следующие знакомые...*** — Соловьевы: Василий Федорович (1863 — 1952), врач, член социал-демократической группы в Майкопе (см. прим. к 25 июля 1950); Вера Константиновна, его жена, и их дети — Костя, Наташа, Леля, Варя, друзья детства Е. Шварца. Соловьевы: Алексей Федорович, брат Соловьева В. Ф., Анна Александровна, его жена.

29 августа 1950 ***...сестра Островского ... жила с ними...*** — Беатриса Яковлевна Островская была близкой подругой матери Е. Шварца и некоторое время жила в их доме.

16 сентября 1950 ***...появляются у нас еще знакомые...*** — Жулковский Андрей Андреевич (1853(4?) — 1917) профессиональный революционер-большевик, руководил социал-демократической группой в Майкопе.

17 сентября 1950 ***...доставал штуки сарпинки...*** — сарпинка — хлопчато-бумажная ткань в клетку или полоску; по названию р.Сарпы.

23 сентября 1950 ***..Минаса, тогда еще студента-юриста...*** — см. прим. к 25 июля 1950.

24 сентября 1950 ***...увидел я впервые Милочку Крачковскую...*** — Крачковская Людмила Поликарповна (Милочка) (1897 — 1986) — первая любовь Е. Шварца, впоследствии известный селекционер.

28 сентября 1950 ***...стала уговаривать нового сына своего...*** — брат Е. Шварца Валентин Львович Шварц (1902-1988).

1 октября 1950 ***...пришел крестный отец Константнн Карповоич Шапошников...*** — Шапошников Константин Карпович — первый учитель Е. Шварца, готовивший его к поступлению в реальное училище; ***..крестной матерью была Анна Александровна...*** — жена врача А. Соловьева.

4 октября 1950 ***...читал "Образовательное путешествие"...*** — Вёрисгофер Сю (1839 — 1890) — немецкая писательница.

8 октября 1950 ***...начинался он словами: "Я ласточку видел..."*** — романс "Разбитое сердце" А. Г. Рубинштейна на слова В .А. Крылова. В тексте

"Я бабочку видел с разбитым крылом".

27 ноября 1950 ***...Увидел я скоро Исаака,... дядю Самсона...*** — см. прим. к 18 августа 1950.

28 ноября 1950 ***...заехали к папиной сестре Розалии...*** — см. прим. к 18 августа 1950.

1951

5 января 1951 ***...увидев Вячеслава Александровича Водарского...*** — Водарский — учитель русского языка и литературы в реальном училище г. Майкопа.

8 января 1951 ***...Вера Константиновна выписала откуда-то учительницу...*** — учительница детей Соловьевых, Гумилева Надежда Степановна, сестра поэта Н. С. Гумилева.

5 февраля 1951 ***...оркестр играл... "Пой, ласточка,пой..."*** — романс Ф. К. Садовского на собственные слова.

8 февраля 1951 ***...прочел я книгу под названием "Руламан"...*** — книга Д. Ф. Вейланда о первобытном человеке.

23 февраля 1951 ***...Борис Житков, тоже... болевший малярией...*** — Б. Житков (1882 — 1938) известный детский писатель. О нем у Е. Шварца см. "Превратности характера".

12 марта 1951 ***...Ковалев появился возле флага...*** — Е. Биневич утверждает, что это был Ф. Т. Коновалов, член майкопской социал-демократичекой группы.

5 мая 1951 ***...спел нам целую оперу"Фра-Дьяволо"...*** — опера Д. Ф. Обера на либретто Э. Скриба.

7 мая 1951 ***...ставили пьесу..."Благо народа"...*** — пьеса Ф. Герцля.

9 мая 1951 ***...появился рослый Селивановский...*** — Селивановский К. А. — секретарь правления майкопского артистического кружка.

13 мая 1951 ***...помню отчетливо разговоры...***— речь идет о событиях революции 1905 — 1907 годов. Первая Государственная дума (1906 г.) была распущена правительством. Депутаты Думы собрались в Выборге и обратились к народу с призывом не платить налогов и не давать рекрутов до созыва новой Думы. За воззванием последовали вдохновляемые полицией убийства революционеров, еврейские погромы. Был убит депутат Первой думы Герценштейн. Союз русского народа (СРН) — черносотенная организация, один из ее создателей — доктор Дубровин.

13 июня 1951 ... ***“Суету”, которую смотрел в малороссийской труппе...*** — “Суета” — пьеса И. К. Карпенко-Карого.

21 июня 1951 ***...читал “О вреде табака”...*** — рассказ А.П.Чехова.

16 июля 1951 ***...любимой писательницей была Элиза Ожешко...*** — Элиза Ожешко (1841 — 1910), польская писательница, популярная в демократической среде.Одна из тем ее творчества — борьба женщин за человеческое достоинство.

14 августа 1951 ***...поселился писатель Иван Шмелев...*** — Шмелев Иван Сергеевич (1873 — 1950), — писатель, участник сборников товарищества “Знание” и литературного объединения “Среда”. Эмигрировал в 1922 г.

15 августа 1951 ***...повесть его “Человек из ресторана” имела настоящий успех...*** — повесть была напечатана в XXXVI сборнике “Знания” ***...пророческий рассказ о спекулянте...*** — Е. Шварц имеет в виду рассказ И. Шмелева “Забавное приключение”. (1916).

16 августа 1951 ***...знаменитым человеком в Туапсе был пианист Игумнов...*** — Игумнов Константин Николаевич (1973 — 1948), пианист, создатель одной из пианистических школ.

16 сентября 1951 ***...покупали и карманный календарь “Товарищ”...***— каледарь-справочник и записная книжка для учащихся.

15 октября 1951 ***...исхода из Валенсии или Парижа...*** — Е. Шварц имеет в виду военно-фашисткий мятеж в Испании в 1936 — 1939 гг. и оккупацию немцами Парижа в 1940 г.

16 октября 1951 ***...и прочел “Флорентийские ночи”...*** романтическая повесть Г. Гейне, где рассказывается об игре Паганини, Ф. Листа и о встречах с Беллини.

17 октября 1951 ***...прочел повесть А. Яблоновского о гимназистах...*** — А. А. Яблоновский “Очерки гимназической жизни”, Спб., 1907.

20 октября 1951 ***...книга “История воздухоплавания”...*** — вероятно, “Воздухоплавание в его прошлом и настоящем” (составитель Г. З. Барш. Спб. 1906).

23 ноября 1951 ***...устроили большой вечер памяти Толстого...*** — в Майкопе состоялось два вечера, посвященных памяти Л. Н. Толстого: 8 и 13 ноября 1910 г. Вечера проходили в помещении артистического кружка. 8 ноября собравшимися была послана телеграмма соболезнования С. А. Тол-

стой и в редакцию газеты “Русские ведомости”. Под телеграммой было более ста подписей (см.: Майкопская газета, 1910. 10 и 17 ноября).

11 декабря 1951 ***...реферат о Лютере, Кальвине и Цвингли...*** Лютер Мартин (1483 — 1546) — основатель немецкого протестантизма; Кальвин Жан (1509 — 1564) — один из наиболее крупных идеологов Реформации; Цвингли Ульрих (1484 — 1531) — деятель швейцарской Реформации.

13 декабря 1951 ***...началось у меня увлечение “Сатириконом” ...*** — журнал “Сатирикон” выходил в Петербурге с 1908 по 1914 г. под редакцией А. А. Радакова, с № 9 — под редакцией А. Т. Аверченко. В 1913 году часть сотрудников “Сатирикона” стала издавать на кооперативных началах журнал “Новый сатирикон”, также под редакцией А. Т. Аверченко.

24 декабря 1951 ***...приносил ему ... журнал “Родник”...*** — иллюстрированный журнал для детей, который под разными названиями выходил в дореволюционной России. Одним из его сотрудников был писатель В. Гаршин.

30 декабря 1951 ***...одета была Ксантиппой...*** — Ксантиппа, жена Сократа, славившаяся злобным характером, что, по преданию, и сделало Сократа философом.

1952

20 января 1952 ***...на полюсе дерутся Кук и Пири...*** — Джеймс Кук (1728 — 1779), английский мореплаватель, впервые в истории пересек Южный полярный круг в 1773 г.; Роберт Пири (1856 — 1920), американский исследователь Арктики, достиг Северного полюса.

4 марта 1952 ***...Не было и Беллочки...*** — Изабелла Антоновна Шварц (ум. 1953), мать Антона Шварца.

5 марта 1952 ***...лучшая опера “Сказки Гофмана”...*** — опера Ж. Оффенбаха.

20 марта 1952 ***...множество переводных романов...*** — Е. Шварц перечисляет новых для русского читателя авторов. Шницлер Артур (1862—1931), австрийский писатель, произведения которого отличаются пристальным интересом к интимной жизни человека. Габриэле Д’Аннунцио (1863 — 1938), эстет и ницшеанец, поддерживал фашистский режим Муссолини. Пшибышевский Станислав (1868 — 1927), один из наиболее популярных в России того времени польских писателей, последователь Ницше. “Весы” — литературный и критико-библиографический ежемесяч-

ный журнал (1904 — 1909, Москва, издательство "Скорпион"). Руководил журналом В. Брюсов. В "Весах" печатались русские писатели-декаденты, журнал широко освещал явления мировой литературы, привлекал иностранных авторов.

23 марта 1952 ***...Я тогда делил книжки на старые... и современные...*** — Шеллер-Михайлов А. К. (1838 — 1900), произведения этого автора ценили народные демократы 60-х — 80-х годов 19 века, но были быстро забыты читателями следующих поколений. Станюкович К. М. (18(30)43 — 1903), только его "Морские рассказы" сохранили свою привлекательность для читателя до наших дней. Мирбо Октав (18(48)50 — 1917), французский писатель, в произведениях которого обличались "язвы общества".

27 мая 1952 ***...Стихотворение "Галилей" вдруг всплыло ...*** — Е. Шварц читал стихотворение П. И. Кичеева "Eppur si muove!" ("А все-таки вертится!").

27 июня 1952 ***...дядюшка-адвокат ... решился попробовать себя в качестве антрепренера...*** — гастроли труппы А. Б. Шварца (псевдоним Молотов) проходили в Анапе с 27 июня по 22 июля 1912 года.

11 июля 1952 ***...читал повесть Данина...*** — Д. С. Данин работал в это время над повестью "Верность".

13 июля 1952 ***...прочел: "Целовала их ночь в глаза"...*** — строка из монолога Пьеро в пьесе А. А. Блока "Балаганчик".

28 июля 1952 ***...куда ушли все лучшие профессора из университета после разгрома Кассо...*** — министр народного просвещения Л. А. Кассо применял жестокие репрессии против революционного студенчества. В 1911 году по его указанию из Московского университета было исключено несколько тысяч студентов. В знак протеста университет покинула большая группа профессоров.

20 августа 1952 ***...если не в Коммерческий институт, то в университет Шанявского...*** — университет Шанявского, учебное заведение, основанное на частные средства в 1906 году в Москве.

23 августа 1952 ***...Храм Христа Спасителя поражал... золотым куполом...*** — Храм Христа Спасителя в память победы над французами первоначально предполагали построить по проекту А. Л. Витберга на Воробьевых горах в 1812 году. Был построен по проекту К. А. Тона в 1839 — 1859 гг. на берегу Москвы-реки, на месте старого Алексеевского монастыря. Снесен в 1931 г.

29 августа 1952 ***...прочел у Бунина...*** — строки из стихотворения И. А. Бунина "После битвы".

30 августа 1952 ***...Камиль Демулен поднял народ...*** — Камиль Демулен (1760 — 1794), адвокат и журналист, во времена Великой французской революции выступал против Робеспьера и идеи революционного террора, за что и был казнен.

7 сентября 1952 ***...походил... на Уоллеса*** — Уоллес Алфред Рассел (1823 — 1913) английский натуралист.

9 сентября 1952 ***...появилось письмо Горького...*** — открытое письмо М.Горького о "карамазовщине" было опубликовано в газете "Русское слово" 22 сентября 1913 года. Горький резко протестовал против проповеди "болезненных идей" Достоевского со сцены Художественного театра. Премьера спектакля МХТ "Николай Ставрогин" (по роману М.Ф.Достоевского "Бесы") состоялась 23 октября 1913 года.

10 сентября 1952 ***...не помню, кто играл Шатова...*** — роль Шатова играл Н.О.Массолитинов.***...Епиходов был неожиданный: Чехов...*** — М.А.Чехов был введен на роль Епиходова ввиду болезни И.М.Москвина 27 октября 1913 года.

11 сентября 1952 ***...название учреждения...Литературно-художественный кружок...*** — За время пребывания в Москве Е.Шварца зафиксировано два выступления В.В.Маяковского с футуристами. 11 ноября 1913 года на вечере "Утверждение российского футуризма" участвовали Д. Д. и Н. Д. Бурлюки, Маяковский делал доклад "Достижения футуризма", но вечер был при Политехническом музее.В Литературно-художественном кружке В. В. Маяковский выступал 13 февраля 1914 года на лекции Ф. Маринетти о футуризме и там же, в этот же день, в прениях по докладу С. Глаголя "О новейших течениях в современной жизни".

27 сентября 1952 ***...услышал строчку Верлена...*** — французский поэт Поль Верлен музыку слова, музыкальность стиха выдвигал в поэзии на первое место (см. его стихотворение "Искусство поэзии", ставшее впоследствии манифестом поэтов-символистов). ***... "лила, лила, качала два тельноалые стекла"...*** — строка из стихотворения Ф. К. Сологуба.

8 октября 1952 ***...Комплекты "Симплициссимуса"...*** — "Симплициссимус" — (простодушнейший — лат.) — немецкий сатирический иллюстрированный еженедельник. Издавался в Мюнхене с 1896 по 1942 год.

...как Штук знаменит в городе... — Штук Франц фон (1863 — 1928) немецкий художник, скульптор, представитель стиля модерн.

17 ноября 1952 ***...до высказывания Китченера...*** — военный министр Англии Г. Г. Китченер выступая 4 — 17 сентября 1914 года в палате лордов, охарактеризовал положение, сложившееся в английской армии, сообщил о предпринятом новом наборе и высказал предположение, что только к весне 1915 года Великобритания проявит всю свою силу сопротивления. ***...чтобы осилить слабую Турцию...*** — имеется в виду русско-турецкая война 1877— 1878 гг., начатая Россией для укрепления влияния на Балканах.

7 декабря 1952 ***... Побывали на торжественном спектакле в Большом...*** — 8 ноября 1914 года в Большом театре состоялся вечер в пользу убежища для престарелых артистов. Половина сбора предназначалась на образование фонда для оказания помощи больным и раненым воинам, их семьям и семьям лиц, призванных на войну.

15 декабря 1952 ***...Предполагали снимать картину "Иван Грозный"...*** — Ф.И.Шаляпин снимался в кинофильме "Царь Иван Васильевич Грозный" ("Дочь Пскова") по драме Л.А.Мея в 1916 году.

Оглавление:

Е. Л. Шварц. "...Я БУДУ ПИСАТЕЛЕМ" М.: "Корона-принт" 1999 г. 576 стр
ISBN 5-85030-059-7
5-85030-060-0
5-85030-061-9
5-85030-062-7

Литературно-художественное издание
Евгений Львович Шварц
...Я БУДУ ПИСАТЕЛЕМ.

Дизайн и верстка: К. Шершнев.
Корректор: Л. Д. Титова.

Издательская лицензия ЛР № 060019 от 15.11.96.
Формат 60X84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36. Тираж 5000 экз. Заказ № 5338.
Издательство ТОО "Корона-принт".
Отпечатано в ППО "Известия". 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.



